



This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <http://books.google.com/>

UC-NRLF



B 4 530 063



Полевой, Петр Николаевич
"

ИСТОРИЯ
Исторія русской литературы
РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

ВЪ ОЧЕРКАХЪ И БІОГРАФІЯХЪ.

ОСЧИСЛЕНІЕ

П. ПОЛЕВОГО.

ЧАСТЬ II.

НОВЫЙ И НОВѢЙШІЙ ПЕРІОДЫ: ОТЪ КАНТЕМИРА И ДО НАШЕГО
ВРЕМЕНИ.

~~~~~  
ПЯТОЕ ДОПОЛНЕННОЕ ИЗДАНИЕ.  
~~~~~

САНКТЪ-ПЕТЕРБУРГЪ.
1890.

Исторія писателей ~~есть~~ существенная часть исторіи Словесности.

МИТРОПОЛИТЪ ЕВГЕНІЙ.

Gift of James J. Landfield

Дозволено цензурою. С.-Петербургъ, 25 Августа 1890 г.

Типографія Товарищества „Общественная Польза“, Большая Подъячская, № 39.

PG2950
P65
1883
v. 2

ОГЛАВЛЕНИЕ.

НОВАЯ ЛИТЕРАТУРА.

Эпоха преобразований.

| | |
|---|----|
| Глава I. Вліяніе эпохи преобразований на общество и литературу. Кантемиръ, его литературная, ученая и общественная дѣятельность.—Татищевъ, его „Защита сѣмь“ и ученые труды. | 1 |
| Глава II. В. К. Тредіаковскій.—Біографическія подробности.—Ученые труды.—Услуги, оказанныя русскому стихосложению.—Личный характеръ Тредіаковского и отношенія его къ современникамъ. | 14 |
| Глава III. Значеніе Ломоносова.—Біографическія подробности.—Его дѣятельность ученая, литературная и общественная.—Ломоносовъ, какъ поэтъ и мыслитель; заслуги его по изученію языка и словесности. | 21 |
| Глава IV. Сумароковъ—первый русскій литераторъ.—Первыя драматическія произведенія его.—Основаніе русскаго театра въ Ярославлѣ и въ столицѣ.—Біографическія подробности.—Сумароковъ, какъ драматургъ и сатирикъ. | 43 |

ПЕРІОДЪ ШЕСТОЙ.

ВѢКЪ ЕКАТЕРИНЫ.

| | |
|---|-----|
| Глава V. Вліяніе Екатерины II на русскую литературу; ея сочувствіе современному философскому движенію на Западѣ.—Литературная и педагогическая дѣятельность Екатерины; участіе въ журналахъ.—Е. Р. Дашкова.—Значеніе вѣка Екатерины. | 56 |
| Глава VI. Фонъ-Визинъ и его отношеніе къ современности.—Біографія его.—Фонъ-Визинъ и Екатерина.—Значеніе сочиненій Фонъ-Визина, какъ протеста противъ существующаго порядка вещей.—Идеалы Фонъ-Визина.—Художественность выведенныхъ имъ типовъ. | 71 |
| Глава VII. Державинъ, какъ „пѣвецъ Екатерины“.—Характеристика Державина.—Біографическія подробности.—Державинъ и Екатерина II.—Державинъ и Александровская эпоха.—Значеніе Державина въ исторіи нашей поэзіи. | 84 |
| Глава VIII. Отсутствие критики, какъ отличительная черта екатерининскаго періода литературы.—Харасковъ.—Вогдановичъ.—Хемницеръ.—Капнистъ. | 99 |
| Глава IX. Первые русскіе журналы.—Сатирические журналы екатерининскаго времени.—Н. И. Новиковъ; его литературная и общественная дѣятельность. | 118 |
| Глава X. Важнѣйшіе представители науки екатерининскаго времени: князь Щербатовъ и Волтинъ.—Митрополитъ Плѣтонъ, какъ ученый пастырь и духовный ораторъ. | 131 |

ПЕРІОДЪ СЕДЬМОЙ.

ОТЪ КАРАМЗИНА ДО ПУШКИНА.

| | |
|---|-----|
| Глава XI. Жизнь и дѣятельность Н. М. Карамзина.—Біографическія подробности.—Сентиментализмъ и форма, приданная ему Карамзинимъ.—Услуги, оказанныя Карамзинимъ русскому литературному языку.—Карамзинъ, какъ поэтъ, журналистъ и критикъ. | 138 |
| Глава XII. И. И. Димітріевъ; его литературная дѣятельность, взглядъ на поэзію и важное значеніе въ средѣ современниковъ.—В. А. Озеровъ; его трагедіи и несчастія.—Литературная дѣятельность его, какъ переходъ къ романтическому направленію. | 162 |

| | |
|--|-----|
| Глава XIII. В. А. Жуковский.—Биографическія подробности.—Его дѣятельность журнальная и литературная.—Элегическое настроеніе и поводы къ нему.—Жуковский и его друзья-арзамасцы.—Заслуги Жуковского, какъ переводчика.—Вятниковъ и его отношеніе къ Жуковскому.—Вліяніе, оказанное на его поэзію эпохой поддиговъ и разочарованій.—Биографическія подробности | 175 |
| Глава XIV. Значеніе Крылова.—Биографія его.—Крыловъ, какъ сатирикъ и журналистъ.—Крыловъ и Карамзинъ.—Крыловъ, какъ писатель народный.—Значеніе „морали“ въ басняхъ Крылова | 197 |

ПЕРІОДЪ ВОСЬМОЙ.

ОТЪ ПУШКИНА ДО НОВѢЙШАГО ВРЕМЕНИ.

| | |
|---|-----|
| Глава XV. А. С. Пушкинъ.—Дѣтство и воспитаніе на французскій ладъ.—Пребываніе въ Лицѣхъ.—Пушкинъ и Жуковский.—Первыя произведенія юности-поэта и его изгнаніе.—Пребываніе на югѣ и байронизмъ.—Жизнь въ деревнѣ.—Эпоха наступленія сознательнаго творчества.—Періодъ колебаній и сомнѣній.—Пушкинъ и общество тридцатыхъ годовъ.—Значеніе Пушкина, какъ поэта народнаго | 207 |
| Глава XVI. Влижайшіе послѣдователи Пушкинской школы въ поэзіи.—Дельвингъ.—Варятинскій.—Лямковъ | 229 |
| Глава XVII. А. С. Грибоедовъ.—Гусарство и первые литературные опыты.—Служба въ миссіи и „Горе отъ ума“.—Неудачи и разочарованія.—Примиреніе съ жизнью и успѣхи по службѣ.—Трагическая смерть | 240 |
| Глава XVIII. Н. А. Полевой.—Отзывъ Вигеля.—Дѣтство и родители.—Коммерція и ученіе.—Литературныя попытки и участіе въ журналахъ.—«Московский Телеграфъ».—Романтизмъ и философія.—Занятія исторіею.—Ворьба и неудачи.—Вѣлинскій—преемникъ Полеваго | 245 |
| Глава XIX. Значеніе Лермонтова по отношенію къ его эпохѣ.—Биографическія подробности.—Письма Лермонтова и воспоминанія о немъ.—Русскій байронизмъ и русская дѣятельность.—Отзывы современниковъ о Лермонтовѣ | 253 |
| Глава XX. Н. В. Гоголь.—Биографическія подробности.—Романтическое фантазерство и высокое мнѣніе Гоголя о себѣ самомъ.—Переходъ къ простому наблюденію и спокойному изображенію жизни.—Неудачныя попытки въ области науки.—Сознательный періодъ творчества.—Вліяніе душевной болѣзни на дѣятельность литературную.—Жалкое положеніе Гоголя въ послѣдніе годы жизни | 263 |
| Глава XXI. В. Г. Вѣлинскій.—Дѣтство и отрочество его; учителя и ученіе.—Характеръ и направленіе умственной дѣятельности Вѣлинскаго.—Увлеченіе философскими теоріями и театромъ.—Три періода литературной дѣятельности.—Вѣлинскій, какъ истолкователь Пушкина, Лермонтова и Гоголя | 276 |
| Глава XXII. С. Т. Аксаковъ.—Два періода въ его дѣятельности литературной: раздражительный и самобытный.—Мастерскія описанія природы.—Положительный взглядъ на наше прошлое | 284 |
| Глава XXIII. А. В. Кольцовъ и среда, изъ которой онъ вышелъ.—Впечатлѣнія юности.—Серебрянскій и Станкевичъ.—Вліяніе кружка московскихъ друзей.—Неудачныя попытки измѣнить окружающую среду.—Значеніе поэзіи Кольцова.—И. С. Никитинъ, какъ поэтъ и общественный дѣятель | 289 |
| Глава XXIV. Важнѣйшіе проповѣдники новѣйшаго вѣка: Филаретъ, митрополитъ Московскій, и Иннокентій, архіепископъ Херсонскій | 297 |
| Глава XXV. Важнѣйшіе представители новѣйшей литературной школы: Гончаровъ, Тургеневъ, Островскій и Писемскій | 305 |
| Глава XXVI. Важнѣйшіе представители новѣйшей литературной школы (продолженіе): Некрасовъ, Григоровичъ, Достоевскій и Л. Толстой | 324 |
| Глава XXVII. Важнѣйшіе представители новѣйшей русской поэзіи: А. Майковъ, Л. Мей, А. Толстой, О. Тютчевъ, Я. Полонскій, А. Фетъ | 344 |



ЭПОХА ПРЕОБРАЗОВАНИЙ.

I.

Вліяніе эпохи преобразованій на общество и литературу. — Кантемиръ, его литературная, ученая и общественная дѣятельность. — Татищевъ, его „Завѣщаніе сыну“ и ученые труды.

Петръ Великій, въ неутомимомъ желаніи добра Россіи, старался достигнуть того, чтобы въ короткое время доставить ей возможность пользоваться плодами европейской образованности; развитію же литературы Петръ способствовалъ лишь на столько, насколько она могла быть полезна зарождающейся въ обществѣ новой жизни.

И въ литературѣ, и въ наукѣ Петръ одинаково искалъ только существенно-необходимаго для жизни, и на этомъ основаніи, не прилагая особенной заботы къ возвышенію общаго уровня русской образованности, онъ, въ то же время, съ большимъ трудомъ и усиліями старался направить способнѣйшихъ дѣателей къ искусственно-вызванному имъ спеціальному образованію, и съ удовольствіемъ смотрѣлъ на искусственно-создаваемую имъ литературную и научную дѣятельность, которая ограничивалась весьма опредѣленными и узко-утилитарными цѣлями. Въ результатъ выходило то, что ни наукѣ, ни литературѣ, въ собственномъ смыслѣ этого слова, при Петрѣ, не было возможности развиться. Въ

сто литературы, видимъ только примѣненіе литературныхъ приѣмовъ, какъ средства для распространенія извѣстнаго, опредѣленнаго количества идей и для достиженія извѣстныхъ опредѣленныхъ цѣлей; вмѣсто науки видимъ тоже, въ большей части случаевъ, лишь примѣненіе научныхъ приѣмовъ и свѣдѣній къ практической жизни. Какъ ни были важны тѣ результаты, которыхъ Петръ успѣвалъ добиться этимъ сокращеннымъ путемъ, однакоже послѣдствія показали, что этотъ сокращенный путь могъ только до нѣкоторой степени и на время способствовать достиженію главной цѣли Петра и его преобразованій, — т. е. внесенію въ Россію европейской образованности. Но до развитія у насъ умственной дѣятельности на столько, чтобы жизнь народная могла найти себѣ болѣе или менѣе полное выраженіе въ наукѣ и литературѣ — еще было далеко; очень долго не могъ у насъ въ обществѣ установиться даже серьезный взглядъ на литературу и на науку. Мало того: дѣятельность научную долгое время не отдѣляли отъ дѣятельности литератур-

ной, и собственно литературной дѣятельности въ началѣ не придавали рѣшительно никакого значенія. Положеніе и ученаго, и литератора было до такой степени ново въ періодъ, послѣдовавшій за эпохою преобразованій, что даже въ средѣ тѣхъ дѣятелей, которые посвящали себя литературѣ и наукѣ, долго не могъ выясниться правильный вѣзглядъ на отношенія между наукой и литературой. Многіе даже не рѣшались смотрѣть на литературу иначе, какъ на забаву, какъ на хорошее препровожденіе времени на досугѣ, между дѣломъ... И вотъ, на пространствѣ всего періода нашей литературы, непосредственно послѣдовавшаго за эпохою преобразованій, мы замѣчаемъ одно общее явленіе: наука оказывается тѣсно связанною съ занятіями литературными, а всѣ наши литераторы до конца царствованія Елисаветы Петровны являются въ то же время и учеными. На первый планъ въ ихъ дѣятельности выступаетъ наука, большею частью въ примѣненіи къ практикѣ, и только свои досуги посвящаютъ они литературѣ. Таковы были всѣ первые писатели наши, послѣ Петра: Кантемиръ, Татищевъ, Тредіаковскій и самъ гениальный Ломоносовъ. Таковъ былъ, наконецъ, и первый изъ свѣтскихъ писателей нашихъ въ настоящемъ смыслѣ этого слова, Теофанъ Прокоповичъ, небрегавшій возможностью посвящать литературѣ минуты отдыха. Выше мы уже упоминали о тѣхъ литературныхъ и дружескихъ связяхъ, въ которыхъ онъ находился съ Кантемиромъ и Татищевымъ; въ настоящей главѣ переходимъ къ возможно-полной характеристикѣ этихъ двухъ писателей нашихъ, которыхъ литературная дѣятельность была прямымъ слѣдствіемъ эпохи преобразованій.

Князь Антиохъ Дмитріевичъ Кантемиръ родился въ Молдавіи въ 1708 году, и ему было не болѣе трехъ лѣтъ отъ роду, когда отецъ его, Дмитрій Кантемиръ, бывшій господаремъ молдавскимъ, перешелъ на сторону Россіи во время несчастнаго Прутскаго похода, и потому самому долженъ былъ, съ семьей своею и съ 4,000 молдаванъ, перебраться вслѣдъ за русскимъ войскомъ въ Россію. Здѣсь принялъ онъ русское подданство, выговоривъ себѣ отъ Петра нѣкоторыя особыя права и привилегіи, и, между прочимъ, дозволеніе „сыновей своихъ

послать для наукъ въ знатные города и инныя христіанскія страны“.

Самъ Дмитрій Кантемиръ, судя по всѣмъ дошедшимъ до насъ свѣдѣніямъ, въ числѣ которыхъ сохранился между прочимъ и отзывъ о немъ самого Петра, былъ человѣкъ разумный и не только образованный, но даже ученый. Любовь къ научнымъ занятіямъ не оставляла его до конца жизни, и большую часть своего времени, послѣ переселенія въ Россію, гдѣ онъ получилъ обезпеченное и спокойное положеніе, онъ провелъ въ кабинетныхъ занятіяхъ. Петръ пользовался не разъ его совѣтами и помощью въ сношеніяхъ своихъ съ Востокомъ, и во время похода въ Персію, въ 1722 году, бралъ съ собою Кантемира, какъ человѣка, обладавшаго основательнымъ знаніемъ двухъ восточныхъ языковъ: турецкаго и персидскаго. Извѣстно даже, что на пути въ Персію, во время плаванья на судахъ по Волгѣ, Кантемиръ везъ съ собою походную типографію и занятъ былъ печатаньемъ на этихъ языкахъ прокламацій, которыя предназначаемы были къ распространенію на Кавказѣ.

Мать Антиоха Кантемира, гречанка изъ знатнаго рода Кантакузеновъ, находившихся въ родствѣ съ императорами греческими, была также женщина замѣчательнаго ума и образованія. На ней-то собственно и лежала забота о воспитаніи дѣтей, за которыми она зорко и строго наблюдала, при помощи ученаго грека-священника, Анастасія Кондонди, который жилъ въ домѣ князя Кантемира, въ качествѣ наставника при дѣтяхъ, и обучалъ ихъ греческому, латинскому и итальянскому языкамъ.

При такихъ благопріятныхъ условіяхъ, юный Антиохъ Кантемиръ дома приобрѣлъ такое образованіе, какое для другихъ оказывалось въ то время почти недостижимымъ. Еще будучи десятилѣтнимъ ребенкомъ, онъ уже на столько владѣлъ древними языками, что сказалъ однажды, въ присутствіи Петра, похвальное слово св. Дмитрію на греческомъ языкѣ: это происходило въ церкви, при московской академіи, гдѣ онъ нѣкоторое время учился, во время пребыванія отца его въ Москвѣ. Когда-же, по смерти первой своей супруги, отецъ Антиоха женился на второй женѣ, знаменитой красавицѣ, княжнѣ Трубецкой, выросшей и воспитывавшейся въ Швеціи на европейскій ладъ, всей семьѣ

Кантемировъ пришлось переѣхать на житье въ Петербургъ. Незадолго до этого переѣзда ученый Анастасій Кондоиди, понадобившійся Петру для перевода книгъ, былъ изъ семьи Кантемира, и мѣсто его заступилъ русскій воспитатель, Иванъ Ильинскій, бывшій студентъ московской академіи. Съ этого-то времени, вѣроятно подъ вліяніемъ русскаго воспитателя, господствовавшее въ домѣ греческое направленіе образованія уступило мѣсто русскому направленію; къ тому-же, достоверно извѣстно, что самъ Ильинскій, какъ одинъ изъ „латынщиковъ“, обладая общею всѣмъ воспитанникамъ московской греко-латинской академіи страстью къ стихамъ, счумѣлъ передать ее и воспитаннику своему, Антиоху Кантемиру, которому рано поправилось „вишеслагодѣтельство“.

Вскорѣ послѣ переѣзда въ Петербургъ, Антиоху Кантемиру и новому воспитателю его, Ильинскому, пришлось сопутствовать царю въ персидскомъ походѣ и совершить переѣздъ черезъ всю Россію до Астрахани и Дербента; а весьма-немного времени спустя, послѣ персидскаго похода, отецъ Антиоха заболѣлъ и умеръ въ своемъ малоросійскомъ помѣстьѣ. Такъ какъ ни одинъ изъ сыновей, по несовершеннолѣтію, не имѣлъ еще права наследовать князю Димитрію, то князь Димитрій и оставилъ завѣщаніе, въ которомъ просилъ самого царя распорядиться его состояніемъ и прибавлялъ отъ себя, что „успѣхи въ наукахъ должны рѣшиться, кому владѣть наследствомъ“, а рѣшеніе должно послѣдовать тогда, когда всѣ братья придутъ въ совершеннолѣтіе. При этомъ отецъ особенно выставлялъ Антиоха, и называлъ его „въ умѣ и наукахъ отъ всѣхъ сыновей своихъ лучшимъ“. На образованіе дѣтей князь Димитрій, въ завѣщаніи своемъ, указывалъ выдавать ежегодно по 3,000 руб., и просилъ государя оказать имъ такую милость — послать ихъ для окончанія образованія „въ иные страны“.

На этомъ основаніи, не много спустя послѣ смерти отца, шестнадцатилѣтній Кантемиръ сталъ проситься у царя за границу, для окончанія своего ученія; но просьба его, почему-то, оставлена была Петромъ, противъ всякаго ожиданія, безъ исполненія, и молодому человѣку пришлось оканчивать образованіе свое въ Петербургѣ, уже послѣ смер-

ти самого Петра, подъ руководствомъ первыхъ прибывшихъ въ Россію академиковъ: Бернулли ознакомилъ его съ высшей математикой, Байеръ — съ исторіей всеобщей, Гроссъ — съ нравоучительной философіей.

Восемнадцати лѣтъ Кантемиръ уже рѣшился издать въ свѣтъ первый литературный трудъ свой: „Симфонію на псалтирь“. Симфонія была напечатана въ 1727 году, съ предисловіемъ, въ которомъ объяс-



А. Антиохъ Кантемиръ

Кантемиръ.

нялась цѣль книги: авторъ высказываетъ въ немъ желаніе принести практическую пользу тѣмъ, кто любилъ ссылаться на изреченія Библии. Этотъ трудъ юности поэта свидѣтельствуетъ о томъ религіозномъ настроеніи молодого Кантемира, которое составляло и въ теченіе всей послѣдующей жизни одну изъ существеннѣйшихъ сторонъ его характера, несмотря на то, что онъ сильно вооружался противъ современныхъ ему церковныхъ настроеній и въ своихъ сатирахъ очень рѣзко отзывался о нѣкоторыхъ представителяхъ современнаго духовенства и о недостаткѣ образованности въ низшихъ слояхъ его.

Нѣсколько времени спустя, Кантемиръ поступилъ на службу въ Преображенскій

полкъ, и, вѣроятно, около того же времени сблизился съ кружкомъ Теофана. Оба эти образованнѣйшіе представители современнаго русскаго общества не могли не одѣнать другъ друга. Сближеніе Кантемира съ Теофаномъ, не смотря на разницу въ лѣтахъ, скоро обратилось въ тѣсную дружбу. Кантемиръ не былъ человекомъ, способнымъ принадлежать къ какой бы то ни было партіи; ни по лѣтамъ, ни по взглядамъ своимъ не могъ онъ сочувствовать интригамъ и борьбѣ, волновавшимъ тогда все общество. Но тягостныя обстоятельства скорѣе вынудили и благодушнаго Кантемира избрать себѣ партію и горячо отстаивать ея интересы. Въ концѣ царствованія Петра II, когда вся власть находилась въ рукахъ Верховнаго Тайнаго Совѣта, братъ Кантемира Константинъ женился на дочери одного изъ „верховниковъ“, князя Дмитрія Михайловича Голицына, и воспользовался этимъ случаемъ для приведенія въ исполненіе завѣщанія Кантемира-отца. Зять князя Голицына, Константинъ Кантемиръ, овладѣлъ всѣмъ имѣніемъ отца (болѣе 10,000 душъ крестьянъ). Антиохъ, вмѣстѣ съ остальными братьями и сестрами, остался безъ всякихъ средствъ къ существованію, кромѣ весьма скуднаго офицерскаго жалованья. Такая грубая несправедливость, поставившая Кантемира въ затруднительное положеніе, глубоко потрясла его, и заставила его стать на сторону той партіи, которая, противно желаніямъ верховниковъ, возвела на престолъ Анну Иоанновну „безъ всякихъ ограниченій ея власти“. Верховники погибли; отъ переворота и паденія верховниковъ, на первыхъ порахъ кое-кто и выигралъ; къ числу немногихъ принадлежалъ Теофанъ Прокоповичъ, избавившійся отъ наиболѣе опасныхъ враговъ своихъ, и Кантемиръ, которому возвращена была нѣкоторая часть его состоянія. Наконецъ, въ 1731 году, при могущественномъ содѣйствіи сильнаго въ то время при Дворѣ князя Черкаскаго и другихъ лицъ восторжествовавшей партіи, двадцати-двухъ-лѣтній Кантемиръ, котораго Черкасскій прочилъ себѣ въ зятя, былъ назначенъ резидентомъ въ Лондонъ.

До отъѣзда своего въ Лондонъ, Кантемиръ успѣлъ уже написать пять сатиръ, нѣсколько басенъ и посланій, и хотя ни одно изъ этихъ литературныхъ произведеній не было

напечатано, однакоже, обращаясь въ рукописи по рукамъ, они уже приобрѣли молодому автору довольно почетную извѣстность въ образованной средѣ современнаго русскаго общества. Почему Кантемиръ посвятилъ себя сатирѣ и сосредоточилъ на ней всю свою дѣятельность литературную—этотъ вопросъ объясняется для насъ не столько простою склонностью автора къ извѣстному литературному роду, не столько вліяніемъ классическихъ и французскихъ образцовъ (сатиръ Горация и Буало), сколько вліяніемъ того переходнаго времени, въ которое приходилось жить и дѣйствовать Кантемиру. Мы дѣйствительно видимъ, что сатира чаще всего проявляется въ литературѣ именно въ такіе періоды реформъ и переломовъ, переживаемые обществомъ, когда старый и новый порядокъ вещей рѣзко противопологаются одинъ другому.

Эпоха преобразованій, весьма естественно, и въ нашей образованной средѣ вызвала къ жизни направленіе сатирическое, и выразителемъ его явился молодой Антиохъ Кантемиръ, выказавшій много остроумія и наблюдательности въ своихъ сатирахъ. Изъ числа 9 сатиръ, пять написаны въ бытность Кантемира въ Россіи, четыре остальные—во время пребыванія его за границей.

Первая въ числѣ этихъ девяти была „сатира на хулащихъ ученіе“, въ которой авторъ, обращаясь „къ уму своему“, съ особенною горечью высказываетъ ту мысль, что современное ему общество не нуждается ни въ занятіяхъ наукою, ни въ ванятіяхъ искусствами, такъ какъ есть много другихъ путей къ славѣ. Въ доказательство этой мысли, авторъ рисуетъ въ своей сатирѣ отдѣльные типы представителей современнаго ему общества, выходя ихъ подъ вымышленными именами Критона, Силвана, Луки и Медора и поочередно заставляя ихъ высказывать взглядъ на науку и образованность, съ ихъ личной точки зрѣнія. Типы эти, вѣроятно взятые авторомъ изъ современной дѣйствительности очерчены очень ярко и естественно, и даютъ намъ довольно ясное понятіе о положеніи писателя и ученаго въ современномъ обществѣ (особенно такого писателя, какъ Кантемиръ); воплотивъ сознавая недостатки того общества, среди котораго онъ жилъ, и, въ то же время, стремясь принести ему положительную пользу, онъ

имѣлъ полное право сказать о себѣ: „все, что я пишу, пишу по должности гражданина, отбивая все то, что согражданимъ моимъ вредно быть можетъ“

Во второй сатирѣ, извѣстной подъ заглавіемъ „Филаретъ и Евгеній“ или „на зависть и гордость дворянъ злонравныхъ“, Кантемиръ описываетъ дворянскую спѣсь и притязанія дворянъ на получение высшихъ должностей безъ всякаго труда, по однимъ заслугамъ предковъ. Въ этой сатирѣ Кантемиръ является горячимъ защитникомъ введенной Петромъ I „табели о рангахъ“, которую Петръ хотѣлъ именно положить предѣлъ сословнымъ притязаніямъ и, вмѣстѣ съ тѣмъ, открыть доступъ талантливымъ труженикамъ изъ низшихъ слоевъ общества съ высшимъ должностямъ государственной службы.

Въ третьей сатирѣ, „о различіи страстей человѣческихъ“, авторъ, въ формѣ посланія, обращается къ архіепископу новгородскому, Теофану Прокоповичу, и задаетъ ему вопросъ:—почему именно люди, вообще столь близкіе другъ къ другу и похожіе по внѣшности, въ то же время бываютъ подвержены столь различнымъ страстямъ? Обращеніе къ Теофану даетъ намъ довольно ясное понятіе о томъ высокомъ уваженіи, которое питалъ къ нему Кантемиръ.

„Дивный первосвященникъ, которому сила Высшей мудрости свои тайны все открыла, И вся твари, что міръ сей отъ вѣка наполюняютъ, Показала, въяснени, отъ чего бываютъ! Теофанъ, которому все то далось знати, Здрава челоуѣка умъ что можетъ поняти! Скажи мнѣ, можешь-ли ты, всѣмъ всякаго рода Людямъ, давши тѣло тожъ и въ немъ духъ, природа Ова-ли нмъ разныя надѣлала страсти, Боторыя одолѣть уже не въ ихъ власти, Или другой ключъ тому ручью нескать нужно?“

За этимъ обращеніемъ слѣдуетъ, какъ и въ первой сатирѣ, рядъ типовъ, заимствованныхъ изъ современной дѣйствительности, и между ними особенно рѣзко выступаетъ на первый планъ типъ скупца Хризиппа, мота Клеарха и болтливаго хвастуна Лонгина.

Четвертая сатира „къ Музѣ своей“, „объ опасности сатирическихъ сочиненій“, заключаетъ въ себѣ любопытный сборъ различ-

ныхъ толковъ и мнѣній о сатирахъ Кантемира и ихъ авторѣ, возбуждавшихся весьма естественно въ современномъ обществѣ, для котораго вообще появленіе свѣтской литературы и свѣтскихъ писателей было дѣломъ новымъ, непривычнымъ, почти невиданнымъ. Вотъ почему авторъ и обращается къ Музѣ своей и говорить:

„Муза! не пора-ли слогу отмѣнить твой грубый, И сатиру ужъ не писать? Многимъ тѣ не любя, И ворчить ужъ не одинъ, что гдѣ нѣтъ мнѣ дѣла, Такъ мѣшаюсь, и кажу себя черезъ чуръ смѣла. ...Муза, свѣтъ мой! слогу твой мнѣ творцу ядовитый; Кто всѣхъ бить нахалится, часто живетъ битый; И стихи, что чтецамъ смѣхъ на губы сажаетъ, Часто слезъ издателя причива биваетъ. Зная, что правду пишу, и вѣдь не значу, ¹⁾ Смѣюсь въ стихахъ, а въ сердцѣ о алчавыхъ плачу; Да правда рѣдко любя, и часто не катитъ. Кто-же отъ тебя когда хотѣлъ правду знати?“

И затѣмъ, перечисливъ различные отзывы недоброжелателей о сатирахъ своихъ, Кантемиръ совѣтуетъ своей Музѣ лучше начать хвалить что ни попало, лучше привыкнуть къ лести, нежели всѣхъ вооружать противъ себя строгими отзывами:

„Есть о чемъ писать, была-бъ лишь къ тому охота, Было-бъ кому работать,—безъ конца работа; А лучше вѣкъ не писать, чѣмъ писать сатиру. Что приводать въ ненависть меня всему міру“.

Но авторъ замѣчаетъ, что его Муза стыдится такого занятія; что она не дастъ ему никакой возможности кого бы то ни было хвалить не по заслугамъ, и сознается, что и по самой природѣ онъ чувствуетъ въ себѣ, подъ вліяніемъ Музы, болѣе склонности къ сатирѣ, нежели ко всѣмъ остальнымъ литературнымъ родамъ:

...когда хвалы принимаюсь
Писать, когда, Муза, твой правъ сломишь стараюсь,
Сколько ногти въ гризу, и тру лобъ вопотѣлый,
Съ трудомъ стихика два сплету, да и тѣ не смѣлы,
Жестки, досадны ушамъ...
...А какъ въ правахъ вредно что усмотрю...
...Подъ перомъ стихъ течетъ скорее
Чувствую самъ, что тогда въ своей водѣ плаваю. ²⁾
И что чтецовъ я своихъ звать не заставляю...

... Однимъ словомъ, сатиру лишь писать намъ сходно,
Въ другомъ неудачливъ...

¹⁾ „Не значу“—въ см. „не обозначаю, не называю“.—²⁾ „Плаваю“—въ см. „плаваю“.

Вотъ почему, чувствуя это, авторъ рѣшается, не обращая вниманія на отзывы людей злонаправныхъ, продолжать свою сатирическую дѣятельность — „злой нравъ пятнать вездѣ неотступно“ — въ той надеждѣ, что „беззаконные“ оцѣнятъ его желаніе принести пользу отечеству.

Мы нарочно обратили особенное вниманіе на эту четвертую сатиру Кантемира, такъ какъ въ ней совершенно ясно высказывается его личный взглядъ на собственную литературную дѣятельность.

Остальныя сатиры Кантемира менѣе замѣчательны и менѣе оригинальны, нежели тѣ четыре, которыя упомянуты нами выше. Въ нихъ Кантемиръ обращаетъ вниманіе на „человѣческія злонравія вообще“, излагаетъ свои мысли о воспитаніи, указывая на необходимость воспитывать гражданъ, которые бы способны были проникаться не личными, а общими интересами.

Болѣе всего важною для характеристики Кантемира, какъ человѣка и писателя, является намъ его шестая сатира, написанная имъ въ 1738 году. Но о ней нельзя говорить, не упомянувъ о нѣкоторыхъ біографическихъ подробностяхъ. Выше уже говорили мы, что Кантемиръ въ 1731 году былъ назначенъ посломъ въ Лондонъ; въ началѣ 1732 г. онъ выѣхалъ изъ Россіи — и болѣе уже не возвращался: до самой смерти пришлось ему прожить за границей, сначала посломъ при англійскомъ дворѣ, а потомъ, съ 1738 года, при французскомъ. Все время, проведенное имъ за границей, было для него самымъ тяжелымъ и труднымъ періодомъ его жизни, потому что ему, при незначительныхъ средствахъ, получаемыхъ отъ правительства, при новостяхъ положенія русскаго посла среди европейской дипломатіи и придворной жизни, постоянно приходилось отстаивать честь и достоинство Россіи. При этомъ все время Кантемира уходило на дѣла посольскія, а также и на хлопоты по исполненію тѣхъ порученій, которыми весьма не деликатно обременяли посла то русскіе друзья и знакомые его, то наиболѣе вліятельные изъ русскихъ вельможъ. Только при необычайной усидчивости Кантемира и при его великомъ рвеніи къ наукѣ и къ занятіямъ

литературнымъ, онъ могъ находить, среди своего дѣла, досугъ и для этой дѣятельности, которая являлась ему отдыхомъ и услугой послѣ тягостей дѣятельности дипломатической. Не даромъ, въ одномъ изъ примѣчаній къ своимъ стихотвореніямъ, онъ говоритъ: „если бы изъ цѣлыхъ сутокъ одну четверть часа на письмо употребляли, то бы отъ того малаго труда въ годъ не малая книга произойти могла: непрерывный трудъ, сколько ни маловременъ, весьма скоръ“. И дѣйствительно, мы видимъ, что и среди весьма тревожной дѣятельности дипломатической. Кантемиръ не оставлялъ занятій науками и поэзіей: переводилъ Анакреона и Юстина, перевелъ сочиненіе Фонтенеля „о множествѣ міровъ“ и статью Альгароти „о свѣтѣ“, сносялся съ петербургской академіей, занимался математикой и чтеніемъ своихъ классическихъ авторовъ. И въ Лондонѣ, и въ Парижѣ выписывалъ онъ себѣ книги изъ Россіи, слѣдилъ тщательно за скромными успѣхами русской литературы и науки. Ознакомившись съ разсужденіемъ Тредіаковскаго о русскомъ стихосложеніи¹⁾, Кантемиръ и этого вопроса не оставилъ, не обследовавъ и не разсмотрѣвъ его очень внимательно. Однакоже, онъ не принялъ новой теоріи Тредіаковскаго, можетъ быть потому, что Тредіаковскій не въ состояніи былъ подтвердить ее на практикѣ хорошими стихами. Кантемиръ не отдалъ преимуществъ тоническому стиху передъ силлабическимъ и удовольствовался лишь тѣмъ, что нѣсколько видоизмѣнилъ свой силлабическій стихъ. Онъ понялъ, что опредѣленная послѣдовательность удареній, дѣйствительно, сообщаетъ русскому стиху больше гармоніи, а потому и рѣшился создать нѣчто среднее между тоническимъ и силлабическимъ размѣромъ. Стихъ его сатиры состоялъ изъ тринадцати слоговъ, раздѣленныхъ цезурой на двѣ части. Онъ нѣсколько измѣнилъ его въ томъ отношеніи, что не только далъ опредѣленное мѣсто цезурѣ (между седьмымъ и восьмымъ слогомъ), но и допустилъ еще въ каждой части, отдѣленной цезурой, по одному, рѣзко-замѣтному ударенію; въ первой части, изъ семи слоговъ, это удареніе должно было падать на пятомъ или на седьмомъ слогѣ, во второй — непременно на предпо-

¹⁾ См. далѣе главу II, стр. 17.

сѣднемъ. Новую теорію стиха своего онъ примѣнилъ впервые къ шестой своей сатирѣ (1738 г.). Сатира эта озаглавлена: „о истинномъ блаженствѣ“ — и въ ней-то, съ замѣчательною вѣрностью и правдой, положенъ взглядъ Кантемира на то, что въ теченіе всей жизни представлялось ему идеаломъ счастья. Сатира эта начинается такъ:

„Тотъ въ сей жизни лишь блаженъ, кто малымъ доволенъ,

Въ тишинѣ знаетъ прожить, отъ суетныхъ волеѣ
Мыслей, что мучать другихъ, я топчетъ надежду
Стеблю добродѣтели къ концу неизбежно.

Малый свой дохъ, на своемъ построенный полѣ
Кто даетъ нужное умѣренной волѣ,
Не скудный, не лишній кормъ, и средню забаву,
Гдѣ-бъ съ другомъ съ другимъ я могъ, по моему
праву

Выбраннымъ, въ лишны часы прогнать скуки
бремя,

Гдѣ-бъ, отъ шуму отдаленъ, прочее все время
Провожать межъ мертвыми греки и латины,
Наслѣдуя всѣхъ вещей дѣйства и причины,
Учась знать образцомъ другихъ, что полезно,
Что вредно въ нравахъ, что въ нихъ гнусно иль
любезно:—

Желанья всѣ мои крайни составляютъ“.

Въ этихъ немногихъ строкахъ шестой сатиры заключается вся нравственная философія, какою онъ руководился въ теченіи всей жизни, мало волнуясь всѣмъ, что составляло для другихъ главную цѣль ихъ желаній, умѣренный во всемъ и способный выше всего цѣнить только одно благо—независимость убѣжденій и спокойствіе совѣсти. Даже и среди неумолкаемо-шумнаго, блестящаго Парижа, Кантемиръ счумѣлъ себѣ создать мирный и укромный уголокъ, счумѣлъ окружить себя избраннымъ кружкомъ ученыхъ друзей, среди которыхъ находилъ себѣ отдыхъ отъ своей тяжелой по-сольской службы. Эта служба, наконецъ, истощила и безъ того уже слабое его здоровье. Не задолго до своей смерти, онъ просилъ у Двора позволенія оставить свой постъ при французскомъ дворѣ и даже получилъ разрѣшеніе отправиться въ Италію — но уже не успѣлъ имъ воспользоваться.

Ровно за годъ до своей кончины Кантемиръ собралъ свои стихи въ одну тетрадь, написалъ къ нимъ необходимыя пояснительныя примѣчанія, и рѣшился ихъ напеча-

тать. Сюда же прибавилъ онъ и стихотвореніе „къ стихамъ своимъ“, въ которомъ весьма опредѣленно высказываетъ тотъ взглядъ на свою литературную дѣятельность, который мы уже отмѣтили выше, какъ преимущественно принадлежащій всѣмъ писателямъ нашимъ XVIII вѣка „Многие“ — говоритъ въ этомъ стихотвореніи Кантемиръ — „будутъ хулить меня, читая мои стихи, за то, что

„... въ такомъ я трудѣ упражнялся,
Ни возрасту своему прилично, ни чину...“

и находить нужнымъ прибавить къ этому, въ оправданіе своей литературной дѣятельности, что

„... (стихи) не ущербилъ
Ни малый къ дѣламъ часть важнѣйшимъ и нужнымъ“.

Такъ же мало значенія придаетъ Кантемиръ своимъ стихотвореніямъ и въ томъ „писемѣ къ другу“, которое предпослалъ своимъ сатирамъ, вмѣсто предисловія; тамъ онъ даже прямо выражаетъ ту мысль, что вообще ему мало пришлось написать, такъ какъ онъ, по своей должности, не имѣлъ времени къ такому дѣлу, къ которому только въ лишніе часы „прилѣжать позволено“.

Къ небольшому кругу тѣсно-связанныхъ съ Теофаномъ образованнѣйшихъ дѣателей, вызванныхъ петровской реформой, принадлежалъ и Василій Никитичъ Татищевъ (род. въ 1686, ум. 1750 г.). Здравый, наблюдательный и острый умъ, обширное образованіе, а главное, одинаковость воззрѣній на эпоху преобразованій, все сближало Татищева съ Прокоповичемъ. Сверхъ того, мы видимъ въ Татищевѣ человека, который и по своимъ политическимъ убѣжденіямъ также шелъ рука-о-руку съ партіей Прокоповича: въ переворотѣ 1730 года Татищевъ, вмѣстѣ съ юнымъ Кантемиромъ, дѣйствовалъ заодно съ Прокоповичемъ противъ „верховниковъ“ и во всю остальную жизнь свою не отступилъ отъ своихъ убѣжденій; въ самомъ завѣщаніи своему сыну онъ еще повторялъ ему:—„съ хвалищими вольности другихъ государствъ и ищущими власть монарха уменьшитъ никогда не согласуясь, понеже оное государству крайнюю бѣду нанести можетъ“.

Образованіе удалось Татищеву приобрести отчасти въ Россіи, отчасти за границей, гдѣ онъ дважды побывалъ и пожилъ довольно долго. Одинъ изъ біографовъ Татищева полагаетъ, что Татищевъ или до поступленія его на службу, или послѣ того, учился въ московской артиллерійской и инженерной школѣ, находившейся въ заведеніи Брюса. „На это“, по мнѣнію біографа, „указываютъ хорошія свѣдѣнія Татищева въ артиллеріи и фортификаціи, и устройство имъ школъ на заводахъ, отчасти по образцу московской; наконецъ и то, что онъ такъ охотно принималъ на службу при заводахъ учениковъ московской артиллерійской и инженерной школы“. Свѣтлый, практический и глубокий умъ Татищева, въ связи съ той желѣзною волею, которою онъ обладалъ, дали ему возможность въ короткое время приобрести большой запасъ свѣдѣній и такую обширную начитанность, что очень немногіе изъ его современниковъ, кромѣ развѣ Ѳеофана, могли быть поставлены съ Татищевымъ на одинъ уровень по образованности. Впрочемъ, нельзя не замѣтить, что любознательность часто влекла Татищева въ подробное изученіе и такихъ отраслей знанія, которыя, повидимому, не имѣли никакого отношенія къ его дѣятельности. Такъ, напримѣръ, подобно многимъ другимъ изъ своихъ современниковъ, увлекался вопросамъ религіозными, вопросами о значеніи церкви въ обществѣ и объ отношеніи православнаго вѣроисповѣданія къ остальнымъ, Татищевъ такъ много прочелъ богословско-философскихъ и догматическихъ сочиненій, такъ отлично изучилъ св. Писаніе, что даже съ самимъ Ѳеофаномъ дерзалъ вступать въ богословскія пренія.

Большая часть жизни Татищева протекала на службѣ, и притомъ на службѣ грудной, требовавшей и ума, и твердости, и обширныхъ знаній. Татищевъ служилъ сначала въ артиллеріи, потомъ по горнымъ заводамъ и подъ конецъ былъ губернаторомъ въ Астрахани. Рано сдѣлался онъ лично извѣстенъ Петру, какъ человѣкъ пригодный

ко всякому дѣлу п обширно-образованный. „Ожелеваніе злодѣевъ“ (т. е. враговъ), по словамъ самого Татищева, чуть-чуть не подвергло его опалѣ и гнѣву Петра. Въ то время, когда, незадолго до смерти, Петръ вызвалъ Татищева съ екатеринбургскихъ горныхъ заводовъ въ Петербургъ, Татищевъ былъ обвиненъ передъ Петромъ во взяточничествѣ. На вопросъ Петра, справедливо ли обвиненіе, Татищевъ смѣло отвѣчалъ: „я беру; но въ этомъ ни предъ Богомъ, ни предъ Вашимъ Величествомъ не погрѣшаю“—и началъ рассуждать, что судья не виноватъ, если рѣшить дѣло, какъ слѣдуетъ и получить за это благодарности; что вооружаться противъ этой благодарности вредно, потому что тогда въ судьяхъ уничтожится побужденіе посвящать дѣламъ время сверхъ узаконеннаго и произойдетъ медленность въ рѣшеніи дѣлъ, тяжкая для судящихся. Петръ отвѣчалъ: „правда; но позволить этого нельзя, потому что безсовѣстные судьи, подъ видомъ доброхотныхъ подарковъ, станутъ насильно вымогать“. Откровенность Татищева и рекомендація его начальника по горнымъ заводамъ, Геннина,¹⁾ избавили Татищева отъ грозы, собиравшейся надъ его головою; но понравиться Петру онъ не могъ, хотя Петръ, зная за нимъ большія способности и обширныя знанія, конечно, не преминулъ воспользоваться имъ, какъ полезнымъ дѣтелемъ. Онъ отправилъ его въ Швецію, для призыва мастеровъ, потребныхъ къ горнымъ заводамъ. При отъѣздѣ, Петръ поручилъ Татищеву осмотрѣть „знатныя строенія, работы, горныя промыслы, заводы, денежное дѣло, кабинеты, библіотеки и особенно каналь Обнгскій; достать, по возможности, всему чертежи и описанія; взять изъ школъ молодыхъ русскихъ людей и раздать въ Швецію по заводамъ, для наученія горному дѣлу“; при этомъ дано было ему и секретное порученіе: „смотришь и освѣдомляешься о политическомъ состояніи, явныхъ поступкахъ и скрытныхъ намѣреніяхъ Швеціи“. Татищевъ возвратился изъ этого путеше-

¹⁾ Рекомендація эта сама по себѣ заслуживаетъ вниманія: „... къ тому дѣлу (т. е. горному) лучше не сыскать, какъ капитана Татищева; я надѣюсь, что В. В. позволите мнѣ въ томъ повѣрить, что я онаго Татищева представляю не въ пристрастіи, не изъ любви или какой интриги, иль-бъ чьей ради просьбы—я и самъ его рожи калмыцкой не люблю—но видя его въ дѣлѣ весьма права, и въ строеніи заводовъ смыслена, разсудительна и прилежна...“

ствія уже послѣ смерти Петра. Это вторичное путешествіе за границу, а также и частыя поѣздки его по Россіи и Сибири значительно способствовали развитію въ немъ наклонности къ занятію науками историческими. Поводомъ къ занятію Русской Исторіей послужило представленіе, сдѣланное Брюсомъ Петру Великому о необходимости составить подробную географію Россіи. Петръ поручилъ Брюсу заняться этимъ дѣломъ, а Брюсъ, въ 1719 г., передалъ работу Татищеву, отъ котораго Петръ потребовалъ плана работы. Принявшись за работу, Татищевъ, по собственному сознанию, почувствовалъ необходимость въ историческихъ свѣдѣніяхъ, и, отложивъ на время географію, принялся собирать матеріалы для исторіи.

Извѣстно, что уже въ 1720 году Татищевъ говорилъ съ Петромъ о планѣ своемъ, касательно сочиненій русской географіи и также о необходимости размежеванія Россіи и составленія общей карты ея. Впослѣдствіи всѣ досуги свои отъ тяжелой, многосложной и хлопотливой служебной дѣятельности Татищевъ посвятилъ на выполненіе двухъ любимыхъ мыслей Петра: на собраніе матеріаловъ по русской исторіи и по русской географіи. Географіи Татищевъ не успѣлъ окончить; что же касается русской исторіи, то ему удалось обработать ее довольно полно, въ пяти объемистыхъ книгахъ. Здѣсь особенно подробно разработалъ онъ древнѣйшій періодъ русской исторіи, до нашествія татаръ, а затѣмъ составилъ сводъ лѣтописныхъ извѣстій до царствованія Θεодора Ивановича. Сверхъ того, въ началѣ труда своего. Татищевъ помѣстилъ обзоръ русскихъ лѣтописныхъ сказаній и общее вступленіе, въ которомъ говоритъ о народахъ, обитавшихъ въ Россіи до поселенія въ ней славянъ, на основаніи источниковъ, представляемыхъ иностранными литературами по этому предмету. Трудъ Татищева не былъ изданъ при жизни его: лѣтъ 30 спустя послѣ его смерти, онъ былъ напечатанъ по повелѣнію Екатерины II подъ общимъ заглавіемъ „Исторіи Россійской, чрезъ тридцать лѣтъ (т. е. въ теченіи 30 лѣтъ) собранной и описанной“ Не смотря на то, что авторъ выказалъ въ этомъ трудѣ большую ученость и весьма обширную, замѣчательную и разнообразную начитанность, не смотря на то, что онъ показывалъ въ немъ и весьма здравый критическій

тактъ, на основаніи котораго принималъ или отвергалъ то или другое изъ приводимыхъ имъ извѣстій, — „Исторія Россійская“ все же не можетъ быть названа исторіею Россіи въ настоящемъ смыслѣ этого слова, какъ мы привыкли понимать ее въ нынѣшнее время: это не болѣе, какъ приуготовительная, хотя и весьма почтенная работа надъ историческимъ матеріаломъ, въ смыслѣ его разработки для другихъ будущихъ трудовъ историческихъ, до которыхъ еще было далеко.

Гораздо болѣе важнымъ для характеристики современнаго Татищеву періода является другое литературное произведеніе



Татищевъ.

его: „Духовное завѣщаніе и наставленіе сыну Евграфу“, написанное Татищевымъ въ 1733 году. „Духовное завѣщаніе“ есть ничто иное, какъ общій сводъ правилъ житейской мудрости, въ примѣненіи къ современнымъ Татищеву общественнымъ потребностямъ и взглядамъ. Многое изъ того, что заключается въ себѣ завѣщаніе, вовсе не относится къ сыну, а вообще внесено ради полноты свода правилъ, въ назиданіе всему молодому поколѣнію. Вотъ почему „Духовное завѣщаніе“ Татищева представляется намъ не болѣе, какъ послѣднимъ отголоскомъ тѣхъ „наказаній“ или „наставленій“ отъ отца къ сыну“, которыми такъ богатъ былъ древній періодъ нашей литературы, и которыя нашли себѣ такое полное выраже-

ніе въ подобномъ же памятникѣ XVI вѣка— въ „Домостроѣ“ пона Сильвестра.

Татищевъ начинаетъ свое „Духовное завѣщаніе“ съ сознанія своей грѣховности и съ приведенія различныхъ свидѣтельствъ св. Писанія, вообще касательно грѣховъ и пороковъ молодости, обыкновенно выказывающей менѣе склонности къ сознанію и раскаянію, нежели старость „Егда же человекъ приблизится къ старости“, говоритъ Татищевъ, „или скорби, болѣзни, бѣды, напасти и другія горести усмирять плоть его, тогда освобождается духъ отъ порабощенія, ометется умъ его и приметъ власть надъ волею, тогда познаетъ неистовство и пороки юности своей, и начнетъ прилежать о приобрѣтеніи истиннаго добра, прилежать о знаніи закона Божія“... Перехода отъ этихъ общихъ рассужденій къ себѣ лично, Татищевъ дѣлаетъ распоряженія относительно погребенія своего „безъ великихъ чиновъ и убранствъ по закону христіанскому“, и наконецъ излагаетъ свой взглядъ на жизнь, касаясь сначала религіознаго, умственного и нравственного воспитанія въ молодости, отношеній къ родителямъ, къ женѣ и семейству, а потомъ государственной службы — военной, гражданской и придворной; наконецъ, говоритъ о томъ, какъ слѣдуетъ распоряжаться богатствомъ, управлять дѣлами и деревнями.

Любопытно то, что Татищевъ, который между современниками своими, приверженными къ старинѣ до-петровской, слылъ за вольнодумца, выказывается намъ въ самомъ началѣ своего „Завѣщанія“ не только глубоко-религіознымъ человекомъ, но и признающимъ религію за основу всѣхъ свѣдѣній человѣческихъ, всего воспитанія. Онъ говоритъ, что наставлялъ въ вѣрѣ сына своего частыми и пространными разговорами, и все совѣтуетъ ему, сверхъ того— „почуваться въ законѣ Божьемъ день и ночь даже до старости: для сего нужно тебѣ со вниманіемъ читать письмо святое, т. е. біблію и кате-

хизисъ, а къ тому книги учителей церковныхъ, между которыми у меня Златоустаго (сочиненія) главное мѣсто имѣютъ, Василія Великаго, Григорія Назианзіна, Афанасія Великаго и Θεофилакта Болгарскаго; также печатныя въ нынѣшнія времена истолкованіе десяти заповѣдей и блаженствъ, которое за катехизисъ, а малая букварь или юности честное зерцало за лучшее правоученіе служить могутъ“¹⁾.

Послѣ чтенія религіознаго, Татищевъ совѣтуетъ сыну своему озаботиться болѣе всего о знакомствѣ съ науками. свѣтскими: сперва слѣдуетъ выучиться „право и складно писать“; потомъ заняться ариметикой, геометрией, артиллеріей, фортификаціей и другими математическими науками; слѣдуетъ обратить вниманіе и на изученіе нѣмецкаго языка. На свои матеріалы и бумаги Татищевъ указываетъ сыну, какъ на единственное средство къ изученію русской исторіи и географіи; при этомъ онъ замѣчаетъ, что привести ихъ въ порядокъ и напечатать „безъ помощи государя никакъ не можно“. Какъ на важную часть образованія Татищевъ указываетъ на необходимость изучать отечественные законы, не только по печатнымъ указамъ и уложеніямъ, но также изъ бесѣдъ о законахъ съ искусными въ законахъ людьми, по поводу собственныхъ своихъ и постороннихъ дѣлъ. Надобно знать и „ябедническія коварства“, чтобы при случаѣ умѣть отъ нихъ защититься.

Любопытнымъ признакомъ новаго времени является и слѣдующее мѣсто „завѣщанія“, гдѣ Татищевъ говоритъ о почтеніи къ родителямъ: „хотя я съ матерью твоею нѣкоторымъ приключеніемъ разлучился, чрезъ что наше общаніе брачное нарушено, но тебѣ нѣтъ въ томъ ни малой причины къ нарушенію твоей должности. И если ты повадишься на то, что матери тебя, по слабости женской, наказывать по достоинству

¹⁾ Здѣсь упоминается о книгахъ духовнаго содержанія, изданныхъ по повелѣнію Петра и особенно ненавистныхъ сторонникамъ старины: о катехизисѣ, изд. Ф. Прокоповичемъ, о букварѣ, изданномъ имъ-же, и о книгѣ, изд. въ 1719 г.: „Юности честное зерцало“, или показаніе ко житейскому обхожденію, собранное отъ разныхъ авторовъ, пользовавшееся въ свое время большимъ почетомъ. Въ составъ этой книги входили: изображеніе древнихъ и новыхъ письменъ славянскихъ печатныхъ и рукописныхъ; правила отъ св. писанія, по алфавиту избранныя; числа церковныя, арабскія и римскія; наконецъ „Зерцало житейскаго обхожденія“— собраніе правилъ, какъ себя держать въ обществѣ.

неудобно, то вѣдай и вѣрь подлинно, что Богъ обиды родителей безъ отмщенія не оставитъ“.

Переходя къ вопросу объ обязанностяхъ семьянина, Татищевъ высказываетъ слѣдующій взглядъ на женитбу и на отношенія между супругами. Лучшимъ бракомъ считаетъ онъ, для мужчины, бракъ въ тридцать лѣтъ. Въ супружествѣ не слѣдуетъ искать богатства, не слѣдуетъ увлекаться и красотою; „нищи главнаго“, — говоритъ Татищевъ— „то есть жены, съ кѣмъ бы можно въ веселіи вѣкъ свой препроводить.“— „Главнѣйшее въ женѣ — доброе состояніе (т. е. происхожденіе изъ хорошаго рода, изъ хорошей семьи), разумъ и здравіе“; а потому „посредственная красота и равность лѣтъ, или жена не менѣе десятию лѣтами моложе къ сожитію есть лучше“. Касаясь обязанностей мужа по отношенію къ женѣ, Татищевъ болѣе всего совѣтуетъ избѣгать ревности и жестокости: „имѣй и то въ памяти“, прибавляетъ онъ, „что жена тебѣ не раба, но товарищъ, помощница и во всемъ другомъ должна быть нелицемѣрнымъ; такъ и тебѣ съ ней должно быть; въ воспитаніи дѣтей обще съ нею прилежать; въ твердомъ состояніи домъ въ правленіе ея поручать, а затѣмъ и самому негнѣстно смотрѣть. Однакожъ хранишься надлежитъ, чтобы тебѣ у жены не быть подъ властью: сіе для мужа очень стыдно, и чрезъ то можешь у всѣхъ о себѣ худое мнѣніе подать и слабость своего ума изъяснить“. ¹⁾

Переходя отъ семейныхъ обязанностей къ служебнымъ, Татищевъ сначала говоритъ вообще объ отношеніи къ высшей власти: увѣщавая сына быть вѣрнымъ государю и ревностнымъ въ исполненіи обязанностей служебныхъ, Татищевъ напоминаетъ замыслы верховниковъ и остерегаетъ сына отъ всякаго участія въ политическихъ переворотахъ. Затѣмъ, всю служебную дѣятельность каждаго дворянина Татищевъ подраздѣляетъ на военную, гражданскую и придворную службу, предназначая вообще для служебной дѣятельности главную, наибольшую часть всей жизни, до 50-лѣтняго

возраста. Молодости соответствуетъ, по мнѣнію Татищева, служба военная (между 18-ю и 25-ю годами), и только по вступленіи въ зрѣлый возрастъ совѣтуетъ онъ приниматься за трудную службу гражданскую. Наставленія, касающіяся службы гражданской, такъ подробны, такъ обстоятельны и притомъ свидѣтельствуютъ о такой опытности и осторожности самого автора, что, перечитывая ихъ, кажется, видишь передъ глазами тотъ тяжкій и горькій опытъ, который приходилось переживать служащему русскому человѣку въ началѣ XVIII вѣка.

Съ явнымъ несочувствіемъ отзываясь Татищевъ о третьемъ родѣ службы — о службѣ придворной. Къ своему далеко непривлекательному очерку современныхъ придворныхъ нравовъ, Татищевъ прибавляетъ: „кромѣ повелѣнія монаршескаго, никакъ сего чина не нищи и никакимъ тутъ благополучіемъ не льстися“. Болѣе-же всего характеризующимъ возвращенію Татищева на службу кажется намъ слѣдующій совѣтъ сыну, которымъ онъ заканчиваетъ общій отдѣлъ о служебныхъ обязанностяхъ: „никогда о себѣ не воображай, чтобы ты правительству столь много надобно было, что безъ тебя и обойтись невозможно; равно и о другихъ того не думай: знай, что такихъ людей Богъ въ свѣтъ не создалъ“.

Изложивъ свои взгляды на различные роды служебной дѣятельности, Татищевъ переходитъ затѣмъ въ своемъ „Завѣщаніи“ къ изложенію тѣхъ обязанностей, которыя ожидаютъ дворянина по выходѣ въ отставку, когда онъ получитъ возможность возвратиться въ деревню. Первою заботою дворянина, по возвращеніи въ имѣнія, должна быть забота о церквахъ и духовенствѣ. „Старайся имѣть поа ученаго“, замѣчаетъ при этомъ Татищевъ, — „который бы своимъ еженедѣльнымъ поученіемъ и предиккою (проповѣдью) къ совершенной добродѣтели крестьянъ твоихъ довести могъ“.

Озаботившись о духовныхъ нуждахъ, Татищевъ настаиваетъ на необходимости обращать вниманіе и на другія, матеріальныя нужды крестьянъ; имѣнія должны

¹⁾ Свои совѣты о женитбѣ Татищевъ заключаетъ такимъ замѣчаніемъ: „не дѣлай свадебной церемоніи (пышной), чтобы не дѣлать изъ себя живой картины, какъ мыши kota погребаютъ“.

быть снабжены банями, больницами, домашнимъ лѣкаремъ и аптекою. Лѣкарь необходимъ для того, чтобы крестьяне не обращались „къ проклятымъ обманщикамъ, ворожеямъ, шептунамъ и колдунамъ“. На обязанности помѣщика лежить и прикартніе старыхъ и увѣчныхъ. Затѣмъ, съ разумительною точностію Татищевъ обращается къ заботамъ о распредѣленіи каждаго рабочаго дня крестьянъ и дворовыхъ, и входитъ въ подробности, которыя выказываютъ въ немъ не только опытнаго и дѣятельнаго хозяина, но и вообще человѣка расчетливаго, привыкшаго пользоваться всѣмъ и изъ всего извлекать выгоду. Сурово относится онъ къ нерадивымъ: „для винныхъ людей“, говоритъ онъ, „имѣть тюрьму; а затѣмъ наказывать за вину нещадно; одна милость, безъ наказанія, быть не можетъ, по закону Божию“. Но все же, и въ этомъ отношеніи, Татищевъ, конечно, стоитъ головою выше многихъ своихъ современниковъ: самъ неутомимо и постоянно трудясь и работая, онъ по Петровой системѣ, думалъ и всѣхъ окружающихъ увлечь къ труду, если не уговоромъ, то страхомъ наказанія, взысканія. Увлекался стремленіемъ къ труду, онъ и въ завіщаніи, говоря о крестьянскомъ трудѣ, восклицаетъ: „праздность человѣка приводитъ въ воровство и разбои. отчего послѣ на вѣки долженъ будетъ пропасть душою и тѣломъ; всякой крестьянинъ дѣтей своихъ долженъ въ великомъ страхѣ содержать, ни до какой праздности не допускать и всегда принуждая къ работѣ, дабы онъ въ томъ взялъ привычку, и, смотря отца своего неуспынные труды, себя къ тому приучить могъ; а дабы каждый праздно и въ молодости не былъ, то долженъ онъ (т. е. отецъ) отдать его какому нибудь художеству и рукодѣлью учиться, отъ чего всегда интересъ свой получить можетъ“.

Всѣ свои наставленія и совѣты сыну Татищевъ сводитъ къ одному общему выводу: „конецъ желаньямъ нашимъ ненасытнымъ въ свѣтѣ главный пунктъ деньги; не тотъ богатъ, кто ихъ имѣетъ много и еще жаждетъ; и не тотъ убогъ, кто ихъ имѣетъ мало, мало же скорбитъ о томъ и не жаждетъ: а богатъ, славенъ и честенъ тотъ, кто можетъ по пропорціи своего состоянія безъ долгу вѣкъ жить и честь свою тѣмъ хранить и быть судьбою довольнымъ, рас-

коши презирать, скупость въ домъ не пускать“

Послѣдніе годы своей службы Татищевъ провелъ въ Астрахани, гдѣ онъ былъ губернаторомъ. Здѣсь онъ, попалъ подъ судъ, которому его подвергли враги; и судъ этотъ, обвиняя его въ несоблюденіи самыхъ пустыхъ формальностей, привязываясь къ мелочамъ, длился безконечно. Василій Никитичъ, переселившійся изъ Астрахани въ свое подмосковное с. Болдино (Клинскаго уѣзда), содержался на домашнемъ арестѣ: при немъ, въ видѣ стражи, находились даже и солдаты сенатской роты. Здѣсь, въ Болдино, Татищевъ доканчивалъ свою „Исторію“, которую въ 1739 г. привозилъ въ Петербургъ, но къ которой не встрѣтилъ сочувствія: по поводу ея были даже возбуждены толки о его неправославіи. Толки эти побудили тогда-же Татищева измѣнить въ своей „Исторіи“ все то, что нашелъ нужнымъ новгородскій архіепископъ Амвросій. Вѣроятно эти воспоминанія были тяжки для нашего историка, и потому въ деревенскомъ уединеніи ему приходила смѣлая мысль: отправить свое сочиненіе въ Лондонское Королевское Общество съ тѣмъ, чтобы оно надало его въ переводѣ. Онъ даже писалъ объ этомъ одному изъ своихъ пріятелей-англичанъ; но дѣло не состоялось по немѣннѣю хорошихъ знатоковъ русскаго языка въ Англіи.

Въ іюлѣ 1750 г. ему стало хуже и онъ захотѣлъ проститься съ сыномъ, который явился вмѣстѣ съ женою на зовъ отца. Намъ сохранился рассказъ внука Татищева о послѣднихъ минутахъ жизни Василія Никитича. Простыя подробности этого разсказа на столько интересны, что мы далеко не лишнимъ считаемъ привести ихъ здѣсь. Съ замѣчательнымъ спокойствіемъ и твердостью духа приготовляясь къ смерти, Василій Никитичъ самъ распорядился о томъ, чтобы ему выкопана была на погостѣ, рядомъ съ предками его, могила, и самъ ѣздилъ пригласить къ себѣ на утро духовника своего. „Возвратившись домой, онъ нашелъ тутъ присланнаго изъ Петербурга курьера съ указомъ отъ Императрицы, что онъ найденъ (по суду) невиннымъ и награжденъ орденомъ св. Александра Невскаго. Василій Никитичъ написалъ благодарственное письмо къ Государынѣ, отослалъ орденъ назадъ, потому что уже приближался

конецъ его жизни, отпустилъ посланнаго — и тогда же снята была находившаяся при немъ стража. Ввечеру, когда, по обыкновению, пришелъ къ нему поварь-французъ, для полученія приказанія, что готовить на слѣдующій день, то онъ сказалъ повару: „я уже болѣе не хозяинъ вашъ, но гость; а вотъ хозяйка (указывая на свою невѣстку) — она тебѣ прикажетъ, что надобно — примолвя, что теленокъ начатъ и есть изъ чего готовить“. На слѣдующій день, исполнивъ всѣ христіанскіе обряды, простившись со всѣми, Василій Никитичъ

скончался на 65 году жизни своей, приказавъ напередъ, что когда примѣтять, что его душа будетъ разставаться съ тѣломъ, то чтобы не дѣлали никакого шума, дабы не продлить мученія тѣла, когда оно разстается съ душою. Когда же хотѣли снять съ тѣла мѣрку для дѣланія гроба, то столяръ объявилъ, что онъ уже, по повелѣнію покойнаго, давно сдѣланъ, подъ который ножки онъ, покойный, самъ точилъ“.

Василій Матищевъ

Подпись Татищева.

II.

В. К. Тредіаковскій. — Біографическія подробности. — Ученые труды. — Услуги, оказанныя русскому стихосложенію. — Личный характер Тредіаковского и отношенія его къ современникамъ.

Василій Кирилловичъ Тредіаковскій родился въ Астрахани въ 1703 году. Отецъ и дѣдъ его были священниками. Въ ранней молодости судьба свела его съ католическими монахами, жившими въ Астрахани, съ цѣлю распространенія католицизма между тамошними армянами и въ Персіи, и эта случайная встрѣча опредѣлила будущность юноши; отъ этихъ духовныхъ лицъ Тредіаковскій получилъ первыя свѣдѣнія въ латинскомъ языкѣ и въ словесныхъ наукахъ и, въ 1743 году, какъ самъ говорить, „по охотѣ къ ученію, оставилъ природный городъ, домъ и родителей, и убѣжалъ въ Москву“. Тамъ онъ нашелъ случай пристроиться въ Законодательскія школы, т. е. славяно-греко-латинскую академію, и, какъ ученикъ уже достаточно подготовленный, поступилъ прямо въ риторику. Въ академіи оставался онъ до 1725 г. и прошелъ въ ней курсъ схоластическаго ученія. Уже здѣсь сталъ онъ заниматься сочиненіемъ силлабическихъ стиховъ: написалъ двѣ драмы — „Лазонъ“ и „Титъ, Веспасіановъ сынъ“ — которыя были играны студентами академіи на ихъ домашней сценѣ, и элегію на смерть Петра Великаго. Въ то же время, какъ самъ о себѣ пишетъ Тредіаковскій, „проходя науки въ Спасскомъ Законономъ монастырѣ, превеликое онъ имѣлъ желаніе, чтобы оныя окончить въ Европскихъ краяхъ, а особливо въ Парижѣ“. Неудивительно, что вскорѣ послѣ того онъ и „нашелъ способъ уѣхать въ Голландію, гдѣ обучился французскому языку“. Это было въ 1726 году. Въ то время одною изъ главныхъ обязанностей русскихъ дипломатовъ за границею было попеченіе о русскихъ молодыхъ людяхъ, отправленныхъ для образованія въ чужіе края. На этомъ основаніи и Тредіаковскій, хотя побѣжалъ за границу по своей волѣ, прибѣгъ къ покровительству русскихъ пословъ — сперва въ

Гагѣ, а потомъ въ Парижѣ. Нашъ посланникъ въ Гагѣ, графъ Головкинъ, далъ ему рекомендательное письмо къ представителю Россіи въ Парижѣ, князю Куракину, но, вѣроятно, очень скудно помогъ ему деньгами; поэтому Тредіаковскій „съ крайнимъ претерпѣніемъ бѣдности“ отправился въ Парижъ, при чемъ большую часть пути прошелъ пѣшкомъ. Въ Парижѣ, пользуясь болѣе щедрымъ покровительствомъ Куракина, Тредіаковскій прослушалъ курсъ математическихъ, философскихъ и богословскихъ наукъ въ Сорбоннѣ и, по обычаю того времени, „содержалъ публичные диспуты въ Мазаринской коллегіи“, чему всему имѣлъ письменное засвидѣтельствованье парижскаго университета“. Въ то время парижскій университетъ сохранялъ еще свою старинную славу, и нѣтъ сомнѣнія, что Тредіаковскій, при своемъ усердіи къ ученію, приобрѣлъ въ немъ хорошее образованіе и основательно изучилъ нѣсколько языковъ (итальянскій, нѣмецкій), въ особеннности же французскій, на которомъ совершенно свободно излагалъ свои мысли и стихами, и прозой. Изъ позднѣйшихъ его сочиненій видно, что онъ основательно зналъ латинскую и французскую словесность, а также былъ знакомъ и съ французскою наукою (преимущественно съ областію историческихъ и филологическихъ знаній).

Въ 1730 году Тредіаковскій возвратился въ Россію съ намѣреніемъ посвятить себя литературной дѣятельности, но безъ опредѣленныхъ практическихъ цѣлей. Въ какой степени незавидно было матеріальное положеніе Тредіаковского, въ первое время по возвращеніи его изъ-за границы, можно судить уже потому, что онъ нашелъ себѣ пріютъ въ казенной квартирѣ академическаго студента Ададурова, „который принялъ пріѣзжаго въ видахъ извлеченія для себя поль-

зы изъ его знанія французскаго языка“. Не слѣдуетъ при этомъ забывать, что самое возвращеніе Тредіаковскаго въ Россію послѣдовало въ такое время, которое не благо-

приятствовало развитію у насъ литературы. Литература русская еще не существовала тогда, и даже тѣ люди, которые было принялись за обработку русской литературы и



науки, увидѣли себя на время вынужденными смолкнуть въ виду мрачной эпохи преобладанія Вирона и вѣтецкой партіи въ царствованіе Императрицы Анны. Кругъ самостоятельной, новой, печатной русской

литературы ограничивался только трудами Теофана, да юношескимъ произведеніемъ Кантемира — „Симфоніей на Псалтирь“, напечатанной въ 1728 году. Даже и сатиры его еще никому не были извѣстны.

Вскорѣ послѣ прибытія въ Россію, Тредіаковскій падалъ въ свѣтъ свой переводъ книги „Взда въ Островъ Любви“, подлинникъ которой, по его признанію, восхищалъ его еще въ Парижѣ. Этотъ переводъ, сдѣланный чрезвычайно толково и добросовѣстно, оказывался, по тому времени, весьма крупнымъ литературнымъ явленіемъ.

Книга Тредіаковскаго дѣйствительно надѣлала много шума, и ловкій Шумахеръ, тогда полновластно управлявшій судьбами академіи, поспѣшилъ сблизиться съ молодымъ переводчикомъ, вѣроятно имѣя въ виду его пригодность для академическихъ трудовъ и изданій. Нашлись, однакоже, люди, которые взглянули и весьма подозрительно на зарождающуюся пзвѣстность молодого Тредіаковскаго, такъ открыто заявлявшаго о своемъ пристрастіи къ французской литературѣ и наукѣ. Его бывшіе учителя, преподаватели Законоспасской академіи, распрашивали его, по прибытіи изъ-за границы въ Москву: „каковы ученія въ чужихъ странахъ онъ пріобрѣлъ? И Тредіаковскій-де сказывалъ, что слушалъ онъ философію. И по разговорамъ о философіи,—преподаватели академіи разсуждали, „что и оный Тредіаковскій, по слушанію той философіи, можетъ быть не безъ поврежденія“.

Но въ Москвѣ Тредіаковскій остается недолго. Въ 1732 году мы уже видимъ его въ Петербургѣ, гдѣ онъ, какъ новый русскій писатель, находитъ чрезъ своихъ покровителей случай быть представленнымъ Императрицѣ Аннѣ Іоанновнѣ, и вскорѣ вступаетъ на скользкій путь придворнаго поэта и панегириста, пишетъ по заказу Императрицы похвальные рѣчи и похвалыныя слова, подноситъ ихъ знатымъ особамъ, и за свои подношенія получаетъ отъ нихъ, по обычаю времени, подарки. Онъ же переводитъ и пьесы для домашняго театра, устроеннаго при Дворѣ... Съ того же 1732 г. начинаются его труды для академіи, которая даетъ ему для перевода весьма трудныя и серьезныя иностранныя сочиненія „понеже онъ французскаго языка весьма искусенъ“.

Однакоже не ранѣ конца 1733 года удалось Тредіаковскому добиться штатнаго мѣста и вступить въ академію на службу, при чемъ съ нимъ заключено было, президентомъ академіи, формальное условіе слѣдующаго

рода, прекрасно характеризующее ученныя права того времени:

„По указу Ея Императорскаго Величества принялъ я (президентъ Академіи) Василія Тредіаковскаго, родиною изъ Астрахани, въ Академію Наукъ по слѣдующимъ кондиціямъ: 1) Помянутый Тредіаковскій обязуется чинить, по всей своей возможности, все то, въ чемъ состоитъ интересъ Ея Императорскаго Величества и честь Академіи. 2) Вычитать языкъ русской, пишущи какъ стихами, такъ и не стихами. 3) Давать лекціи, ежели отъ него потребовано будетъ. 4) Окончить грамматiku, которую онъ началъ, и трудиться совокупно съ прочими надъ диксионаріемъ русскимъ. 5) Переводить съ французскаго на русскій языкъ все, что ему дастся. За сіе будетъ онъ имѣть годоваго жалованья 360 рублей, включая въ нихъ: свѣчи, дрова и квартиру, съ тѣломъ секретаря“. Состоя въ этой должности, онъ перевелъ нѣсколько серьезныхъ и обширныхъ сочиненій, которыя были истиннымъ пріобрѣтеніемъ для нашей литературы; таковы: Сент-Реміевы Артиллерійскія Записки (1732 г.), Военное состояніе Оттоманской имперіи, сочиненіе графа де-Марсилья (1737 г.), и въ особенности Древняя и Римская Исторія Роллена, одно изъ самыхъ дѣльных и въ то же время популярныхъ сочиненій своего времени; многотомный Ролленъ былъ даже дважды переведенъ Тредіаковскимъ, такъ какъ первый переводъ сгорѣлъ въ пожарѣ, постигшемъ переводчика въ 1746 году.

За недостаткомъ самобытной литературной производительности, переводная дѣятельность при Академіи Наукъ возбуждала мысль о необходимости литературной обработки русскаго слога, и вотъ, подъ вліяніемъ этой мысли, въ началѣ 1735 г. учредилось при академіи „Россійское собраніе“—первое ученое собраніе любителей русскаго слова. Тредіаковскій занялъ въ немъ почетное мѣсто, и открылъ его 14 марта 1734 года рѣчью „о чистотѣ русскаго слога“. По мысли президента академіи, барона Корфа, собраніе предназначалось главнымъ образомъ для исправленія академическихъ переводовъ. Переводчики академическіе обязывались два раза въ недѣлю, по средамъ и субботахъ, сходиться въ это собраніе, „сносить и прочитывая все, что кто перевелъ, и

имѣть тщаніе въ исправленіи російскаго языка случающихся переводовъ". Но Тредіакоскій предложилъ собранію болѣе обширную программу занятій: ссылаясь на примѣръ знаменитой французской академіи, онъ совѣтовалъ собранію заняться составленіемъ „грамматики доброй и исправной, согласной мудрыхъ употребленію“, и „дикціонарія полнаго и довольнаго“, риторики и стихотворной науки. „Изъ основательныя грамматики и красныя риторіки“—замѣчалъ въ своей рѣчи Тредіакоскій—„не трудно произойти восхищающему сердце и умъ слову піитическому, развѣ только одно сложене стиховъ неправильностью своею утрудить васъ можетъ, но и то, мои господа, преодолѣть возможно и привести въ порядокъ: способовъ не нѣтъ, нѣкоторыя же и я имѣю“. Но составъ собранія не соответствовалъ тѣмъ важнымъ трудамъ, совершеніе которыхъ предлагалъ ему Тредіакоскій, и потому изъ всѣхъ этихъ трудовъ былъ предпринятъ только одинъ, и то не всѣмъ собраніемъ, а лично самимъ Тредіакоскимъ: мы разумѣемъ составленіе нѣж „Новаго и краткаго способа къ сложению стиховъ російскихъ“, который былъ изданъ авторомъ въ 1735 году. Эта небольшая книжка составляетъ эпоху въ исторіи русскаго стихотворства: въ ней впервые была изложена теорія русскаго тоническаго стиха, употребляемаго нашими стихотворцами съ тѣхъ поръ и донынѣ. Опытъ же сочиненія стиховъ тоническаго размѣра былъ сдѣланъ Тредіакоскимъ еще за годъ до изданія „Способа“, именно, по случаю назначенія барона Корфа, 18-го сентября 1734 года, президентомъ Академіи. Тредіакоскій поднесъ ему стихотворное поздравленіе, которое и есть первенецъ русскаго тоническаго размѣра. Приводимъ здѣсь эту рѣдкость:

НОВОЮ ДОСТОЙНО УКРАШЕННУЮ ЧЕСТНО
ПРЕВОСХОДИТЕЛЬНѢЙШЕМУ ГОСПОДИНУ

Господину

Іоанну Альбрехту барону фонъ Корфъ

Ея Императорскаго Величества

САМОДЕРЖИЦЫ ВСЕРОССІЙСКІЯ
дѣйствительному камеръ-геру

НѢЖЕ ЖЕ

ВЪ САНКТПЕТЕРБУРГСКОЙ ИМПЕРАТОРСКОЙ АКАДЕМІИ НАУКЪ
ГЛАВНУЮ ИМѢЮЩЕМУ КОМАНДУ

ПОКОРНѢЙШЕЕ ПОЗДРАВЛЕНІЕ
отъ
ВАСИЛІЯ ТРЕДІАКОВСКАГО.

Здѣ сѣя, достойный мужъ, что Ты поздравляешь,
Вашша и день отъ дня чести толь желаетъ,
(Честъ, велика ни могла-бъ колы та быть собою,
Будеть, дастся какъ Тебѣ, вѣщая тобою)

Есть Россійская муза, всѣмъ и млада, и нова;
А по долгу Ты служить съ прочими готова.

Многи Ты сестры ея славятъ Аполлона;
Уза ко не отвори и отъ Росска звона.

Слово красно произнестъ та хоть не исправна,
Малыхъ но отцамъ дѣтей и пѣма рѣчь правна ¹⁾.

Всѣ желанія свои просто Ты вносятся,
Тѣ сердечны приими, се нижайша просить.

Щастлива и весела мудру Ты послужи.

Ибъ, можетъ чрезъ Тебя та достойна быти,
Славимъ воспѣвать дѣла чрезъ стихи избранны,
Толь великія въ женахъ Монархини Анны.

Нечего, кажется, прибавлять, какъ мало-удаченъ былъ этотъ первый опытъ Тредіакоскаго. Но какъ бы то ни было, онъ составляетъ важный шагъ впередъ въ развитіи русскаго стихосложенія. Тредіакоскій, во всякомъ случаѣ, первый понялъ, какъ мало свойственна русскому языку метрическая или силлабическая просодія. Читая теорію метрическаго стихосложенія у Смотрицкаго, говоритъ Тредіакоскій, „не можешь удержаться, чтобъ не быть смѣющимся Демокрытомъ непрестанно“. Что же касается стиховъ силлабическаго размѣра, то по мнѣнію Тредіакоскаго, приличнѣ ихъ называть „прозою, опредѣленнымъ числомъ идущею, а мѣры и паденія, чѣмъ стихъ поется и разнится отъ прозы, то есть отъ того, что не стихъ, весьма не имѣющею“. Основная же мысль тонической теоріи Тредіакоскаго заключается въ томъ, что „долгота и краткость слоговъ въ новомъ семъ російскомъ стихосложеніи не така разумѣется, какова у грековъ и у латинъ въ сложении стиховъ употребляется, но токмо тоническая, то есть, въ единомъ удареніи голоса состоящая, такъ что, сколь греческое и латинское количество слоговъ съ великимъ тру-

¹⁾ Т. е.—но отцамъ пріятна даже и вѣмая рѣчь малыхъ дѣтей.

домъ познавается, столь сіе наше всякому изъ великороссянъ легко, способно, безъ всякія трудности, и наконецъ, отъ единаго голько общаго употребленія знать можно“. Къ этой мысли, какъ свидѣтельствуєтъ самъ авторъ, привела его русская народная поэзія. „Даромъ“, говоритъ онъ, „что слогу ея весьма некрасивый отъ неискусства слагающихъ; но сладчайшее, пріятнѣйшее и правнѣйшее разнообразныхъ ея стопъ, нежели иногда греческихъ и латинскихъ, паденіе“, внушило ему мысль этого новаго размѣра стиховъ. Въ другомъ своемъ сочиненіи онъ свидѣтельствуєтъ еще о томъ, что тому нововведенію способствовало знакомство его съ стихотворнымъ размѣромъ сербодалматинцевъ. Впослѣдствіи Тредіаковскій не разъ возвращался къ теоріи русскаго стихосложенія (между прочимъ защищалъ превосходство хорей надъ ямбомъ) и совершенствовалъ ее въ подробностяхъ.

Несмотря однако на свои литературныя заслуги, Тредіаковскій не пользовался даже сколько-нибудь почетнымъ положеніемъ въ русскомъ обществѣ аниенскаго времени. Человѣкъ, котораго общественная роль опредѣлялась только его литературною дѣятельностію, былъ слишкомъ новымъ, небывалымъ явленіемъ для тогдашнихъ русскихъ людей и самое занятіе наукой и литературой для большинства представлялось даже нѣмѣющимъ нѣкоторую связь съ ремесломъ приказнаго, канцеляриста... Это особенно выясняется намъ изъ того собственноручнаго отзыва, который данъ былъ Тредіаковскимъ на запросъ Сената о служащихъ при Академіи (14 ноября 1737). Въ этомъ отзывѣ онъ съ особеннымъ усердіемъ выставляетъ на видъ Сенату, что его, Тредіаковскаго, президентъ Академіи Наукъ, фонъ-Кейзерлингъ, „опредѣлилъ секретаремъ въ Академію, гдѣ онъ и понынѣ упражняется въ разныхъ академическихъ дѣлахъ, касающихся до наукъ, а не въ приказныхъ“.

При этой новости положенія литературы въ русскомъ обществѣ, Тредіаковскій, къ тому же, ни по складу ума, ни по личному характеру своему не могъ выработать себѣ положенія почетнаго и самостоятельнаго. Неспособный къ борьбѣ съ грубыми общественными нравами, запуганный неудачами и бѣдностью, Тредіаковскій совершенно ут-

ратилъ всякую личность, всякій опредѣленный характеръ, а потомъ и всякое сознаніе собственнаго достоинства. Его нравственная философія была такъ податлива, его убѣжденія такъ шатки, его воззрѣнія и мнѣнія такъ уступчивы, что ни въ комъ изъ современниковъ своихъ онъ не сумѣлъ возбудить уваженія ни къ своей личности, ни къ своей дѣятельности... Товарищи его по ремеслу относились къ нему съ пренебреженіемъ и смѣялись надъ нимъ; „высокія персоны“ и „придворные милостивцы“ считали его шутомъ и скоморохомъ, и позволяли себѣ надъ нимъ страшныя шутки, не щади для него оскорбленій и униженій. Особенно ярко характеризующимъ ту мрачную эпоху является извѣстный въ біографіи Тредіаковскаго печальный эпизодъ его столкновенія съ Волинскимъ (въ 1740 г., по поводу шутовской свадьбы въ Ледяномъ домѣ), который его избилъ и страшно наувѣчилъ и жалобъ одного изъ своихъ приближенныхъ.

Тогдашній президентъ Академіи распорядился освидѣтельствовать Тредіаковскаго, приказалъ лѣчить его, но ничего не смѣлъ предпринять для преслѣдованія такого грубого насилія, и дѣло оставалось безъ всякаго разслѣдованія до апрѣля мѣсяца. Оно бы, по всей вѣроятности, осталось такимъ навсегда, если бы Волинскій не навлекъ на себя гнѣвъ фаворита Императрицы — Бирона. Биронъ подалъ Императрицѣ жалобу на оскорбленіе его Волинскимъ, и въ ней-то, между прочимъ, упомянулъ, что Волинскій „не устыдился недавно нанести побой нѣкому секретарю академіи, Тредіаковскому, во дворцѣ, въ покояхъ его, герцога, чѣмъ оказано неуваженіе Государынѣ, а Бирону—обида, извѣстная уже при иностранныхъ дворахъ“.

Только уже заручившись такимъ высокимъ (хотя и совершенно случайнымъ) покровительствомъ, Тредіаковскій тоже догадался подать жалобу Императрицѣ (въ іюнь 1740 г.) на Волинскаго, и такъ какъ обидчикъ былъ уже въ это время казненъ, то Тредіаковскій просилъ „за напрасное безчестіе и безвинное увѣче“ удовлетворить его изъ имѣнія „жестокаго мучителя и безсовѣстно злобнаго обидителя, Волинскаго“.

Отвѣтъ на эту просьбу послѣдовалъ уже

по кончинѣ Императрицы Анны, въ кратковременное регентство Бирона. 1 ноября 1740 г. Сенат постановилъ: Тредіаковскому, за безчестіе и увѣще его Артемѣемъ Волынскимъ, въ награжденіе выдать изъ взятыхъ за проданіе его, Волынскаго, пожитки и имѣющихся въ рентереи денегъ триста шестьдесятъ рублей*.

„Несчастное приключеніе съ Тредіаковскимъ ярко рисуетъ современную эпоху“—замѣчаетъ историкъ академій—„когда дикій произволъ знатнаго человѣка былъ обыкновеннымъ явленіемъ“... Но съ другой стороны, нельзя не замѣтить, что поведеніемъ Тредіаковскаго въ этомъ случаѣ вполне объясняется намъ, почему преданіе сохранило намъ о Василіи Кирилловичѣ столь много анекдотовъ, въ которыхъ его нравственная личность представляется намъ въ самомъ непривлекательномъ видѣ.

Не подлежитъ сомнѣнію, что если въ молвіи общества было преувеличеніе, то вмѣстѣ съ тѣмъ была и справедливая основа. И въ позднѣйшіе годы жизни низкіе инстинкты души нерѣдко руководили поступками Тредіаковскаго даже по отношенію къ его товарищамъ: онъ считалъ однимъ изъ удобнѣйшихъ средствъ борьбы—доносы, въ особенности на ихъ невѣріе: этою чертою окончательно обрисовывается его нравственная личность.

По воцареніи Елисаветы, Тредіаковскій воспользовался благоприятнымъ для русской партіи оборотомъ общественной жизни: онъ обратился къ покровительству духовныхъ лицъ, и при ихъ помощи, а также благодаря содѣйствію графа М. И. Воронцова, получилъ званіе „профессора латинской и россійской элоквиенціи“ въ академическомъ университетѣ. Вмѣстѣ съ Тредіаковскимъ Императрица пожаловала въ академики Домоносова, и въ адъюнкты—Крашенинникова. Разница была въ томъ, что двое послѣднихъ представлены въ помянутыя званія по общему соглашенію академическаго собранія, а Тредіаковскій по собственному прошенію, послѣ долгихъ, съ его стороны, кляузъ и хлопотъ, и на основаніи свидѣтельства синодальныхъ членовъ. Онъ открылъ свой курсъ 12 августа 1745 г. словомъ „о богатомъ, разлчномъ, искусномъ и несходственномъ впитѣствѣ“, которое тогда же и было напеча-

тано. Неизвѣстно, въ чемъ заключалось его преподаваніе, но не подлежитъ сомнѣнію, что это былъ по своему времени курсъ полезный и дѣльный: подъ профессорскимъ руководствомъ Тредіаковскаго воспитались два первые профессора русской словесности въ Московскомъ университетѣ—Поповскій и Барсовъ.

Ко второй половинѣ литературной дѣятельности Тредіаковскаго, кромѣ изданія Ролленовой исторіи и нѣсколькихъ другихъ переводовъ, принадлежать слѣдующія оригинальныя сочиненія: „Разговоръ объ ореографіи“ (1748 года), два тома Сочиненій (1751), трагедія „Дейдамія“, стихотворный переводъ Фенелонава Телемака, подъ названіемъ „Телемахида“, и разсужденіе „О древнемъ, среднемъ и новомъ стихосложеніи россійскомъ“. Въ „Разговорѣ объ ореографіи“ Тредіаковскій развиваетъ ту мысль, что писать должно такъ, „какъ звонъ требуетъ“, т. е., какъ велитъ произношеніе; но мысль эта, не разъ занимавшая филологовъ въ разныхъ странахъ, проведена имъ недостаточно послѣдовательно. Два томика собранія сочиненій своихъ Тредіаковскій называетъ „сработанными для юношества“; въ нихъ помѣщены главнымъ образомъ различныя статьи его по части исторіи и теоріи словесности, между прочимъ, переводы: „Науки Стихотворства“ Горация и Буало. Не смотря на близкое знакомство съ древнею литературою, Тредіаковскій, какъ литературный теоретикъ, былъ послѣдователемъ псевдо-классицизма. Въ то время, когда поэзія считалась не столько плодомъ личнаго творчества, сколько результатомъ школьной выучки и твердаго знанія литературныхъ правилъ, теоретическія статьи Тредіаковскаго особенно цѣнились и пользовались уваженіемъ нѣсколькихъ послѣдовательныхъ поколѣній.

Наконецъ, разсужденіе „О древнемъ, среднемъ и новомъ стихотвореніи россійскомъ“ любопытно, какъ памятникъ историко-литературныхъ свѣдѣній и сужденій Тредіаковскаго о русской литературѣ и какъ изложеніе его позднѣйшихъ мнѣній о тоническомъ разиѣрѣ.

Тредіаковскій профессорствовалъ въ теченіи четырнадцати лѣтъ. Послѣдніе годы своей академической службы онъ провелъ въ удаленіи отъ всѣхъ и въ постоянной

борьбѣ съ начальствомъ и товарищами-академиками и съ литературными противниками... Но ему не ведало: всѣ были противъ него — даже судьба, разорявшая его пожарами! — и несчастный стихотворецъ видимо слабѣлъ въ неравной борьбѣ. Неподдѣльнымъ и грустнымъ сознаніемъ нравственнаго безсилія звучать слѣдующія заключительныя строки одной изъ его статей, направленныхъ противъ Сумарокова:

„Не полно-ль, государь милостивый, вамъ на меня нападать? Я усталъ, отражая ваши обвиненія. Болѣе, по истинѣ, не хочу; и сіе письмо есть послѣдній мой отвѣтъ вамъ, въ чемъ по христіанству и по честности клянусь... Я уже въ лѣтахъ, и не болѣе пекусь о красномъ разумѣ, коль о добромъ нѣскольکو житіи. Я то хочу позабывать, что вы нынѣ толь благоуспѣшно знаете. Вѣрите, я всѣмъ отъ всего сердца признаваю (понеже вамъ, какъ видно, того только и желается) первенствующимъ нашимъ Вольтеромъ, хотя и не ругаюсь... Позабудьте, прошу, меня... Дайте мнѣ препроводить безмятежно остаточныя мои дни въ нѣкоторую пользу обществу... Попустите мнѣ несмущенно размышлять иногда и о совѣсти моей: настаетъ время и мнѣ туда явиться, куда должно всѣмъ человѣкамъ. Тамъ не спросятъ меня, зналъ-ли я хорошую сяду въ Сафической и Горацианской строфахъ, но былъ-ли добродѣтельнымъ христіаниномъ? Сжалитесь обо мнѣ, умилитесь надо мною, извергните изъ мыслей меня... я сіе самое пишу вамъ не безъ плачущія горести. Паки и паки прошу: оставьте меня отъ нынѣ въ покоѣ“.

Съ августа 1757 г. Тредіаковскій прекратилъ хожденіе въ Академію, а съ небольшимъ черезъ годъ, послѣ многихъ нацѣливаній ему со стороны начальства Академіи о его неисправности, вынужденъ былъ подать прошеніе объ отставкѣ. Прошеніе его было принято съ замѣтною готовностью удовлетворить желанію Тредіаковского; отставка дана ему тотчасъ же (30-го марта 1759 г.) и, вмѣстѣ съ тѣмъ, ему отказано во всякой, даже и самой незначительной денежной помощи.

„Такъ кончилась служба Тредіаковского въ Академіи“, — замѣчаетъ историкъ Академіи — „и должно сознаться, что Академія, въ лицѣ тогдашнихъ правителей ея судьбъ, т. е. Ломоносова и Тауберта, поступила жестоко съ этимъ старымъ и несомнѣнно оказавшимъ услуги русскому просвѣщенію писателемъ, который остался на старости съ семьей безъ всякихъ средствъ въ существованію“. Несмотря, однакоже, на крайній недостатокъ въ средствахъ несчастный труженикъ продолжалъ и въ отставкѣ заниматься переводами и обрабатывалъ „Рассужденіе о древности россійской“, — весьма слабое въ научномъ отношеніи сочиненіе о происхожденіи Варяговъ-Руси. Въ отставкѣ Тредіаковскій прожилъ еще десять лѣтъ, и скончался 6-го августа 1769 года, почти совершенно забытый современниками.

Въ переходную эпоху русской литературы, между XVII вѣкомъ и организаторскою дѣятельностью Ломоносова, Тредіаковскому принадлежитъ довольно видное мѣсто. Онъ оказалъ несомнѣнную услугу русскому просвѣщенію своими переводами; какъ знатокъ теоріи литературы, онъ далъ полныя для своего времени литературныя понятія; наконецъ, какъ филологъ, онъ возбудилъ нѣкоторые любопытные вопросы русской грамматики и метрики. Но желая создать русскій слогъ, онъ писалъ хуже, чѣмъ многіе изъ его современниковъ (не говоря о побольшии болѣе молодыхъ, къ которому принадлежали Ломоносовъ и Сумароковъ); а создавая теорію русскаго тоническаго размѣра, онъ не далъ ни одного хорошаго стиха въ подтвержденіе своего ученія.

Вообще говоря, ему нельзя отказать ни въ трудолюбіи, ни въ знаніяхъ; но вмѣстѣ съ тѣмъ каждому должно невольно поражать въ немъ полнѣйшее отсутствіе таланта.

Вскорѣ послѣ нескладныхъ опытовъ Тредіаковского, явились благозвучныя ямбы Ломоносова и совершенно затмили собою тяжеловѣсныя пѣтическія попытки „стихъ начавшаго стопой прежде всѣхъ въ Россіи“.

Басіли Тредіановскій 1736.

III.

Значеніе Ломоносова.—Біографическія свѣдѣнія о немъ.—Его дѣятельность ученая, литературная и общественная.—Ломоносовъ, какъ поэтъ и писатель; заслуги его по изученію языка и словесности.

На рубежѣ той эпохи нашего историческаго развитія, которой справедливо дано названіе „эпохи преобразованій“, и которая такъ ярко отразилась въ умственной и нравственной жизни нашего общества, является въ средѣ русскихъ учено-литературныхъ дѣятелей колоссальная личность крестьянина-академика, гениальнаго Ломоносова.

Михаилъ Васильевичъ Ломоносовъ родился 1712 г., въ выѣшней Архангельской губерніи, въ Куростровской волости (на островѣ Двинѣ), въ деревнѣ Денисовкѣ, близъ г. Холмогоръ. Отецъ его, крестьянинъ Василій Доросеевъ, занимался рыбацкимъ промысломъ, и сына своего также въ раннихъ лѣтахъ сталъ приучать къ тому же промыслу; до 16-ти-лѣтняго возраста Михаилъ Васильевичъ помогалъ своему отцу и раздѣлялъ съ нимъ всѣ труды и опасности, вераагучные съ жизнью нашего сѣвернаго рыбака-помора. Не разъ приходилось ему на легкомъ галютѣ совершать дальніе перѣѣзды по Бѣлому морю, въ Колу, Соловки и другія прибрежныя мѣстности, съ грузомъ или для закупки соли; случалось бывать съ отцомъ на промыслахъ даже и въ Сѣверномъ Ледовитомъ океанѣ. Нельзя отрицать того, что впечатлѣнія дѣтства и ранней юности Ломоносова сильно повліяли на развитіе личнаго характера его. Онъ проводилъ жизнь среди трудовъ безпокойной промысловой дѣятельности, среди опасностей и лишений, среди странствованій по непривѣтнымъ и бурнымъ волнамъ сѣверныхъ морей, въ непосредственной близости къ сѣверной природѣ, суровой и пустынной, но тѣмъ не менѣе величественной, — и тамъ выработалъ въ себѣ желѣзную волю и энергію, несокрушаемую никакими препятствіями. Притомъ же и смысленность, практичность, быстрота соображеній, независимость въ образѣ мыслей и самостоятельность воззрѣній на

предметы — главные отличительныя черты народнаго типа въ нашемъ сѣверномъ поморѣ, проявились и въ личности Ломоносова, въ которомъ ни образованіе, ни дальнѣйшая жизнь не могли стереть этого типа.

Нельзя отрицать того, что на Ломоносова рано и благотворно повліяла его мать, Елена Ивановна (дочь дьякона, изъ селенія Матигоры, въ томъ же Холмогорскомъ уездѣ).



Ломоносовъ.

Грамотѣ обучалъ его той-же волости крестьянинъ Иванъ Шубной, и, по замѣчанію одного современнаго свидѣтельства, „обучился онъ ей въ короткое время совершенно; охочъ былъ читать въ церкви псалмы и каноны, и житія святыхъ, и въ томъ былъ проворенъ, а притомъ имѣлъ у себя природную глубокую память: когда какое житіе или слово прочтаетъ, послѣ тѣхъ разсказывалъ сѣдѣющимъ въ трапезѣ старичкамъ сокращеніе на словахъ обстоятельно“.

По нѣкоторымъ дошедшимъ до насъ свѣдѣніямъ, въ раннемъ періодѣ своей юности Ломоносовъ вовлеченъ былъ даже въ расколъ, который такъ много имѣлъ приверженцевъ на нашемъ сѣверѣ. Поддаться вполне религіознымъ воззрѣніямъ раскольниковъ Ломоносовъ не могъ при своемъ здоровомъ умѣ и сильной волѣ, но чтеніе духовныхъ книгъ и толки о вѣрѣ вѣроятно еще болѣе способствовали развитію въ немъ природной пылкости и страстнаго желанія учиться. Псалтирь, переложенная въ стихи Симеономъ Полоцкимъ, грамматика Смотрицкаго и ариметика Магницкаго — эти первыя книги, изъ которыхъ Ломоносову удалось почерпнуть свои первыя знанія — вскорѣ перестали удовлетворять его любознательности. При томъ же и самыя условія

домашней жизни значительно ухудшились: мѣсто матери, оказывавшей благотворное вліяніе на сына, заступила алая и сварливая мачиха, о которой самъ Ломоносовъ, въ одномъ изъ писемъ своихъ, пишетъ, что она „всячески старалась пронести гнѣвъ въ отцѣ, представляя, что онъ всегда сидитъ по-пустому за книгами. Для того многократно (онъ) принужденъ былъ „читать и учиться, чему возможно было, въ уединенныхъ и пустыхъ мѣстахъ, и терпѣть стужу и голодъ“. Такое положеніе сдѣлалось наконецъ невыносимо для юнаго Ломоносова: горячее, страстное желаніе учиться одолѣвало его — и онъ рѣшился отправиться въ Москву. Это произошло въ декабрѣ 1730 года. Ломоносовъ получилъ отъ волости увольнительное свидѣтельство, по которому и



Подпись Ломоносова.

отпущенъ былъ въ Москву до осени слѣдующаго 1731 года; но такъ какъ онъ въ срокъ домой не воротился, то и числился съ 1731 года „въ бѣгахъ“. Преданіе гласитъ, что, на пути въ Москву, Ломоносовъ провелъ нѣкоторое время въ Антоніевомъ Сійскомъ монастырѣ, исправляя должность пономаря или причетника; что, потомъ, прибывъ въ Москву, онъ находился одно время въ школѣ при Сухаревой башнѣ, пока наконецъ успѣлъ попасть въ число студентовъ Московской Славяно-Греко-Латинской академіи (съ 15 января 1731 г.), гдѣ и пробылъ около пяти лѣтъ, начавъ курсъ съ самаго начала. Вотъ какъ онъ самъ описываетъ въ письмѣ къ И. И. Шувалову свое пребываніе въ этомъ учебномъ заведеніи:

„Обучаясь въ Спасскихъ школахъ¹⁾, имѣлъ я со всѣхъ сторонъ отвращающія отъ наукъ пресильныя стремленія, которыя въ тогдашнія лѣта почти непреодолимую силу имѣли. Съ одной стороны отецъ, никого дѣтей, кромѣ меня, не имѣя, говорилъ, что я, бу-

дучи (у него) одинъ, его оставилъ, оставилъ и все довольство (по тамошнему состоянію), которое онъ для меня кровавымъ потомъ нажилъ, и которое послѣ его смерти чужіе расхитить. Съ другой стороны несказанная бѣдность: имѣя одинъ алтынъ въ день жалованья, нельзя было имѣть на пропитаніе въ день больше, какъ на денежку хлѣба и на денежку квасу, прочее на бумагу, на обувь и другія нужды. Такимъ образомъ жилъ я пять лѣтъ (1731—1736) и наукъ не оставилъ. Съ одной стороны пишутъ, что, зная моего отца достатки, хорошіе тамошніе люди дочерей своихъ за меня выдадутъ, которые и въ мою тамъ бытность предлагали; съ другой стороны школьники, малые ребята кричатъ и перстами указываютъ: смотри-де какой болванъ лѣтъ въ двадцать пришелъ латинѣ учиться!“

Однакоже „болванъ лѣтъ въ двадцать“ оставилъ всѣхъ школьниковъ назадъ, и, обративъ на себя вниманіе учителей своими замѣчательными способностями, не терпѣлъ

¹⁾ Такъ называется Ломоносовъ академію, потому что она находилась въ Занковоспасскомъ монастырѣ.

ни минуты времени для приобретѣнія новыхъ знаній; и въ этомъ отношеніи академическая бібліотека много помогала ему своимъ довольно обильнымъ запасомъ книгъ и рукописныхъ хронографовъ, изборниковъ, лѣтописей. Вниманіе Ломоносова особенно привлекли нѣкоторые сочиненія, относившіяся къ естественнымъ наукамъ. Учителя его, болѣею частью воспитанники Кіевской духовной академіи, указывали ему на это заведеніе, какъ на такое, въ которомъ онъ могъ бы найти полное удовлетвореніе своему стремленію къ изученію наукъ физико-математическихъ. По совѣту ихъ, онъ отправился въ Кіевъ въ 1734 году, думая посвятить себя занятію этимъ отдѣломъ знаній; но преподаваніе академическое своими приемами и размѣрами не могло уже удовлетворить Ломоносова; онъ вернулся въ Москву, въ ту-же Заиконоспасскую академию. Здѣсь его собирались было постригать въ священники, предлагая отправить въ Корелу; какъ вдругъ счастливая случайность указала ему тотъ путь, которымъ ему надлежало слѣдовать. Въ Петербургъ потребовали изъ Московской академіи двѣнадцать лучшихъ воспитанниковъ для пополненія Академической гимназіи. Вѣроятно по недостатку въ такихъ „лучшихъ воспитанникахъ“, окончившихъ курсъ, отправленъ былъ въ числѣ двѣнадцати и неокончившій курса Ломоносовъ, находившійся тогда въ классѣ философіи. Въ Петербургѣ Ломоносову, въ теченіе того же года, посчастливилось попасть въ число молодыхъ людей, которыхъ правительствомъ посылало за границу для окончанія образованія и приобретенія свѣдѣній по нѣкоторымъ спеціальнымъ отраслямъ знанія.

„1736 г., марта 7-го дня Императорская Академія Наукъ тогдашнему Имп. Кабинету докладомъ представили, что ежели нѣсколько молодыхъ людей послать въ Фрейбергъ къ горныхъ дѣлъ физикъ Генкелю для обученія металлургіи, то можно туда послать Густава Ульриха Райзера, Димитрія Виноградова и Михайлу Ломоносова ¹⁾. На содержаніе ихъ въ каждый годъ потребно 1200 р., и хотя у нихъ изъ сей суммы въ Фрейбергъ по нѣскольку рублей останутся, однакожъ достаточныя деньги

пригодятся имъ на проѣздъ ихъ въ Голландію, Англію и Францію, куда имъ необходимо ѣхать должно для смотрѣнія славнѣйшихъ тамъ лабораторій химическихъ“. Августа 18-го, въ томъ же году, трое студентовъ,—Райзеръ, Виноградовъ и Ломоносовъ,—„по резолюціи Академіи Наукъ, съ данною имъ инструкціею, посланы въ Марбургъ; каждому изъ нихъ на содержаніе ихъ опредѣлено по 300 рублей (а не по 400, какъ предполагалось первоначально) въ годъ; которые деньги, кромѣ содержанія, употреблять имъ и на проѣздъ, и на другіе потребныя расходы. Остальные 300 р. (изъ опредѣленной Кабинетомъ суммы 1200 р.) удержатъ въ казнѣ на заплату въ потребномъ случаѣ чрезвычайныхъ расходовъ и проѣздныхъ денегъ, ежели они поѣдутъ далѣе въ Голландію, Англію и Францію“. Три года спустя, это ничтожное содержаніе отправленныхъ за границу молодыхъ людей было еще болѣе урѣзано. Въ 1739 году, въ мартѣ, по резолюціи за подписаніемъ бывшаго тогда президента, г. камергера барона Корфа, опредѣлено, чтобы имъ на содержаніе ихъ въ Фрейбергѣ впредь отпускать на годъ каждому не болѣе 150 р., и „онныя деньги не къ нимъ самимъ, но г-ну горныхъ дѣлъ физикъ Генкелю посылать на заплату изъ того на кушанье, квартиру, дрова, свѣчи и другіе потребныя расходы“. Вообще, по сохранившимся официальнымъ документамъ мы изъ года въ годъ знаемъ всѣ расходы Академіи на молодого Ломоносова за все время его пребыванія за границей въ Марбургѣ и Фрейбергѣ. Со дня отъѣзда изъ Петербурга, въ 1736 г., по 1741 г., на его долю выслано было Академіею 1779 р. 81 к., т. е. круглымъ счетомъ менѣе 300 р. въ годъ, считая въ томъ числѣ и расходы на содержаніе, и плату профессорамъ за обученіе. Нечего, конечно, удивляться тому, что молодые люди, посланные за границу, страшно бѣдствовали и въ Марбургѣ, и во Фрейбергѣ, тѣмъ болѣе, что и это скудное содержаніе высылалось имъ Академіею не всегда аккуратно, и, присланное за границу, не выдавалось имъ непосредственно на руки, а подлежало опека²⁾ ихъ руководителей-профессоровъ. А между тѣмъ Ломоносову, конечно, въ эту пору юности хотѣлось жить

¹⁾ Ломоносову показано было тогда 22 года отъ роду.

такъ же широко, шумно и разгульно, какъ жило около него все современное ему нѣмецкое студентство... И вѣсто этого приходилось сносить лишения, горькую нужду, а впоследствии и преслѣдованье за долги! Но никакая нужда, никакія страданія не могли отбить у него охоты къ занятіямъ науками; все, что извѣстно намъ о его пребываніи за границей, свидѣтельствуеетъ намъ, что онъ трудился неутомимо и не терялъ времени даромъ. Знаменитый ученый и профессор того времени при Марбургскомъ университетѣ, Христіанъ Вольфъ, которому порученъ былъ надзоръ за занятіями трехъ русскихъ студентовъ, постоянно доставлялъ въ письмахъ своихъ къ президенту Академіи, Блюментросту, самые похвальные отзывы о прилежаніи и способностяхъ студента Ломоносова, который быстро успѣлъ овладѣть нѣмецкимъ языкомъ и сталъ посѣщать въ университетѣ лекціи, преимущественно по математическимъ наукамъ, хотя занимался и философіей, и даже медициной. Добросовѣстный Вольфъ не скрываетъ отъ начальства Академіи, что русскіе студенты ведутъ жизнь разгульную и распущенную, обременены долгами; но въ то же время съ большою похвалою отзывался онъ о занятіяхъ и талантахъ студента Ломоносова, выражая совершенно искренно надежду, что деньги на него потрачены не даромъ, и что его, какъ ученаго, ожидаетъ блестящая будущность. Точно также лестно отзывался Вольфъ о Ломоносовѣ и въ аттестатѣ, выданномъ ему въ 1739 году отъ университета. Изъ Марбурга Ломоносовъ ѣздилъ во Фрейбергъ (въ Саксонію), для практическихъ занятій металлургіей подъ руководствомъ Генкеля; лѣтомъ 1740 г. занимался онъ на Гарцѣ изученіемъ на мѣстѣ горнаго дѣла. Въ то же самое время, онъ слѣдовалъ и академической инструкціи, на основаніи которой ему и товарищамъ его предписывалось, кромѣ науки, изучать языки: латинскій, французскій и нѣмецкій, не оставляя упражненій и въ русскомъ. Вслѣдствіе этого, между 1736 и 1741 гг., Ломоносовъ неоднократно доставлялъ въ Академію свои первые опыты

ученыхъ изслѣдованій, писанные на латинскомъ языкѣ, писалъ на нѣмецкомъ свои „доношенія“, и наконецъ представилъ также и первые опыты литературные въ совершенно новомъ родѣ. Въ 1738 г. прислалъ онъ свою оду изъ Фенелона, переведенную въ Марбургѣ хоренческими стихами („Горы, толь что дѣрзновенно“, и т. д.); въ 1739 г. прислалъ извѣстную „Оду на взятіе Хотина“, которая долгое время считалась первымъ нашимъ тоническимъ стихотвореніемъ: къ ней было приложено — „Письмо о правилахъ русскаго стихотворства“¹⁾.

Въ 1740 году Ломоносовъ женился въ Марбургѣ на Елисаветѣ-Христинѣ Цильхъ, дочери одного изъ тамошнихъ портныхъ, бывшаго членомъ Марбургской городской думы и церковнымъ старшиной. Матерьяльное положеніе Ломоносова, вслѣдствіе этого, сдѣлалось скорѣ почти невыносимымъ: онъ вынужденъ былъ даже на время бѣжать изъ Марбурга, скрываясь отъ преслѣдованья за долги. Здѣсь, до самаго возвращенія его въ Россію, наступаетъ довольно темный и мало извѣстный намъ періодъ его біографіи; предполагаютъ даже, что, во время своихъ скитаній по Европѣ, онъ, около Дюссельдорфа, встрѣтился съ партіей прусскихъ вербовщиковъ, которые его напоили, записали въ рекруты и увели на службу въ крѣпость Везель; что онъ успѣлъ оттуда спастись бѣгствомъ и вернулся въ Марбургъ.

Отсюда, въ ноябрѣ 1740 г., Ломоносовъ писалъ въ Академію о своемъ возвращеніи, и въ февралѣ 1741 года „на проѣздъ и на платежъ долговъ получилъ токмо сто рублей, и выѣхалъ за Вольфовымъ поручительствомъ въ отечество“. Въ академическихъ документахъ значится, что „1741 г. іюня 8 дня, г. профессоръ Ломоносовъ пріѣхалъ сюда назадъ изъ Марбурга“, а въ 1742 г. „января 8 дня, г. Ломоносовъ, по резолюціи Академіи Наукъ, впредъ до указу Правит. Сената и академической резолюціи, здѣланъ адъюнктомъ съ жалованьемъ по 300 р. въ годъ, вѣлючая въ то число дрова, свѣчи и квартиру съ 1-го января 1742 г.“.

¹⁾ Оба эти произведенія — и „Ода на взятіе Хотина“, и „Письмо“ — передамы были, по порученіи Академіи, на разсмотрѣніе адъюнкту Адохурову, который одобрилъ и теорію версификаціи, предлагаемую Ломоносовымъ, и стихи, написанные на основаніи ея.

Но и это скудное содержаніе досталось Ломоносову, какъ видно, не безъ затрудненій. Прибывъ въ іюнь 1741 г. въ столицу, „студентъ Михайло Ломоносовъ еще въ іюль мѣсяцъ того же года спедименъ своей науки въ конференцію подалъ, которой отъ всѣхъ профессоровъ оной конференціи такъ апробованъ, что сей спедименъ и въ печать произвестъ можно“. Не смотря на то, до января слѣдующаго года онъ оставался безъ мѣста, и, вѣроятно тѣснимый нуждой и бѣдами всякаго рода, рѣшился наконецъ подать на Высочайшее имя прошеніе, въ которомъ изложилъ, что „Академію Наукъ многократно о опредѣленіи моемъ просилъ, однако она на мое прошеніе никакого рѣшенія не учинила, и я, въ такомъ оставленіи будучи, принужденъ быть въ печали и огорченіи“... И только уже на это прошеніе воспослѣдовала вышеприведенная нами резолюція Академіи объ опредѣленіи Ломоносова адъюнктомъ.

И такъ, съ перваго шага въ Россію, съ перваго шага въ Академію, Ломоносовъ уже встрѣчаетъ разныя затрудненія и, повидимому, возбуждаетъ противъ себя даже нѣкоторыя опасенія со стороны нѣмецкой партіи въ средѣ академиковъ. Русскій человѣкъ, да притомъ же еще человѣкъ талантливый и трудолюбивый, былъ словно помѣхою въ этомъ учрежденіи, въ которомъ всѣ научные интересы оказывались въ рукахъ академической канцеляріи; а этою канцеляріею заправлялъ Шумахеръ, заботившійся не о наукѣ, а о своемъ личномъ благосостояніи. Не даромъ заслужилъ онъ отъ современныхъ профессоровъ названіе „бича профессоровъ“ (Flagellum professorum): — горе тому, кто рѣшался не заискивать у Шумахера! Молодой Ломоносовъ, горячій и пылкій, часто даже необузданный въ своихъ поступкахъ, совершенно безкорыстно преданный наукѣ, былъ далекъ отъ всякихъ житейскихъ расчетовъ и соображеній, неспособенъ былъ заискивать у Шумахера; а потому и отношенія его къ Академіи не замедлили опредѣлиться тотчасъ послѣ вступленія въ число академическихъ преподавателей.

Въ сентябрѣ 1742 г. Ломоносовъ началъ читать лекціи студентамъ по физической географіи, химіи и „исторіи натуральной о рудахъ, тако же обучать въ стихотворствѣ

и штилѣ російскаго языка“. Съ того же сентября начинаютъ сыпаться на его голову и разныя бѣды. Широкая и необузданная натура помора, — раздражаемаго препятствіями и стѣсненіями, которыми отовсюду окружали его непривычные академические порядки, — стала проявляться въ небрежномъ и презрительномъ отношеніи къ окружающимъ, въ „продерзости“ передъ конференціей Академіи, даже въ буйныхъ выходкахъ противъ нѣмцевъ. Ни одна изъ этихъ выходокъ, конечно, не обходилась Ломоносову даромъ: за буйство Ломоносовъ попадаетъ въ полицію; за „продерзости“ противъ конференціи онъ исключается изъ числа ея членовъ и теряетъ право присутствованія на ея засѣданіяхъ... Напрасно пытается онъ поправить свою неосторожность: нѣмцы-академики, очень довольные возможностью избавиться отъ безпокойнаго сотоварища, не внемлютъ никакимъ просьбамъ, и, на всѣ попытки Ломоносова снова войти въ конференцію, отвѣчаютъ систематическимъ отказомъ и устраненіемъ его отъ всѣхъ дѣлъ. Такое непомярно-строгое отношеніе къ Ломоносову со стороны людей, которые тоже не отличались особенною деликатностью обращенія, и развѣ только искусіе его умѣли скрывать свои „продерзости“, еще сильнѣе раздражило Ломоносова. Устраненный отъ участія въ дѣлахъ, тѣснимый нуждою, окружаемый отовсюду препятствіями въ своихъ любимыхъ занятіяхъ, онъ въ то же время не могъ не сознавать, что большинство стоявшихъ около него ученыхъ было ниже его и по знаніямъ, и по способностямъ: — отсюда снова цѣлый рядъ вспышекъ и „продерзостей“, проявленію которыхъ еще много способствовало и то, что, подъ вліяніемъ своего тягостнаго положенія, Ломоносовъ былъ склоненъ часто искать утѣшенія въ винѣ, а эта несчастная слабость побуждала его къ грубымъ выходкамъ по отношенію товарищей и къ неосторожнымъ поступкамъ противъ начальства.

Въ началѣ мая всѣ профессора Академіи уже обратились къ началству съ коллективной жалобой на Ломоносова, въ которой послѣ изложенія его поступковъ заявляли между прочнимъ: „всепокорнѣе просимъ приказать онаго Ломоносова арестовать, и разсмотря показанное намъ отъ него не-

сносное безчестіе и неслыханное ругательство, повелѣтъ учинить надлежащую правильную сатисфакцію, безъ чего Академія болѣе состоять не можетъ, потому что ежели намъ въ такомъ поруганіи и безчестіи остаться, то никто отъ иностранныхъ государствъ впредь на убыль мѣста приѣхать не захочетъ, также и мы себя за недостойныхъ признавать должны будемъ, безъ возвращенія чести нашей, служить Ея Императорскому Величеству при Академіи, понеже во всѣхъ государствахъ, гдѣ есть Академіи, такого ругательнаго приѣма, какъ намъ случилось, не бывало“...

Въ числѣ обвинительныхъ пунктовъ противъ Ломоносова видимъ между прочимъ и слѣдующее: „Ломоносовъ бранилъ всѣхъ, которые ему отказали въ конференціи ¹⁾, позорною нѣмецкою бранью. (Винцгеймъ) отвѣтствовалъ: „изрядно, я запишу и донесу въ надлежащемъ мѣстѣ“, и на то-де Ломоносовъ сказалъ: „я самъ столько разумѣю, сколько профессоръ, да въ тому-де я природный русскій“. И надѣвъ шляпу, повторилъ тѣ же рѣчи позорною нѣмецкою бранью, и называлъ всѣхъ ворами, которые ему отказали отъ конференціи, а потомъ съ гордою и презрительною поступкою пошелъ въ географическій департаментъ“.

По жалобѣ и прошенію профессоровъ Ломоносовъ былъ арестованъ въ маѣ 1743 г., и, несмотря на неоднократныя свои просьбы объ освобожденіи, продержанъ подъ арестомъ до января 1744 года, когда наконецъ конченъ былъ разборъ его дѣла и, по указу Императрицы, Ломоносовъ выпущенъ изъ-подъ ареста. Въ указѣ значится: „оного адъюнкта Ломоносова для его довольнаго обученія отъ наказанія освободить, а въ объявленныхъ, учиненныхъ имъ, продержаніяхъ у профессоровъ просить ему прошенія; а что онъ такіе непристойныя поступки учинилъ въ конференціи, за то давать ему, Ломоносову, жалованье въ годъ по нынѣшнему его окладу половинное; ему жъ, Ломоносову, въ канцеляріи Правительствующаго Сената объявить съ подпискою, что ежели онъ впредь въ таковыхъ

продержаніяхъ явится, то поступлено будетъ съ нимъ по указамъ неотмѣнно“.

Горькій опытъ и тяжкая нужда, которая не переставала угнетать молодого и горячаго ученаго, наконецъ научили его быть нѣсколько болѣе осмотрительнымъ и сдержаннымъ въ своихъ поступкахъ и не давать воли своему негодованію. Какова была нужда, которой Ломоносовъ подвергался около этого времени, т. е. до 1744 года, это видно изъ сохранившихся намъ академическихъ документовъ. Такъ, напримѣръ, намъ извѣстно, что 19 февраля 1743 г. въ канцеляріи академической доложены были просьбы секретаря Тредіаковского и адъюнкта Ломоносова о выдачѣ имъ въ счетъ жалованья за истекшій 1742 г.—первому 10 рублей, второму сколько за благодареніемъ. Определено первому выдать 10 рублей, второму пять! Въ маѣ того же года Ломоносовъ изъ-подъ ареста подаетъ въ канцелярію Академіи просьбу о выдачѣ того же заслуженнаго имъ за прошлый 1742 г. жалованья, и указываетъ на свою крайнюю нужду. На это прошеніе разрѣшаютъ ему выдачу жалованья только за одинъ мѣсяцъ. Въ іюлѣ — новая просьба Ломоносова, еще ближе знакомящая насъ съ положеніемъ его дѣлъ: „хотя я, низжайшій, прошлаго 1742 года за двѣ трети жалованье и получилъ, однако что чрезъ полтора года забралъ изъ канцеляріи по указамъ, все то у меня изъ оныхъ (двухъ третей) вычтено; притомъ же и долги заплатилъ, и затѣмъ у меня, низжайшаго, ничего не осталось. А понеже Академіи уже извѣстно, что нынѣ я содержусь отъ слѣдственной комиссіи подъ карауломъ, и чтобы надлежало въ домѣ (издержать, а издерживается и въ домѣ, и имъ отдѣльно отъ дома) то не малое излишество въ издержкѣ происходитъ. Того ради Академію Наукъ покорно прошу, дабы указомъ Ея Императорскаго Величества повелѣно было, для моей необходимой нужды въ платѣ выдать мнѣ прошлаго 1742 года хотя за два мѣсяца жалованья“. По этому прошенію определено выдать „за немѣніемъ денегъ“ всего десять рублей! 29 ноября 1743 года въ журналѣ канцеляріи Ака-

¹⁾ Т. е. тѣхъ, которые устранили его отъ участія въ засѣданіи конференціи.

деи́и Наукъ снова видимъ весьма поучительную для потомства записъ: „по доношенію адъюкта Михаила Ломоносова, которымъ требовалъ о выдачѣ ему для ево пропитанія (!) на счетъ его жалованья книгами, какими онъ пожелаетъ по цѣнѣ на 80 рублей, выдать ему, Ломоносову, изъ книжной (академической) лавки“. Изъ другой подобной же записи (отъ 4 іюля 1744 г.) узнаемъ мы и о томъ, какое помѣщеніе занималъ въ это время Ломоносовъ: „съ адъ-

юкта Ломоносова за двѣ (въ академическомъ домѣ)¹⁾ каморки, въ которыхъ онъ живетъ, вычесть изъ его жалованья... считая съ каморки по рублю на мѣсяць, и впредь вычитать по то время, пока онъ въ оныхъ пробудетъ, ибо ему жалованье производится съ прочими адъюнктами равное, а тѣ адъюнкты квартиры имѣютъ собственныя“.

По самому тону этой записи видно, что возможность занимать двѣ каморки въ ака-



Зданіе Академіи Наукъ во времена Ломоносова.

демическомъ домѣ, притомъ еще платя за нихъ деньги, считалась какъ-бы нѣкоторою льготою, особеннымъ преимуществомъ адъюкта Ломоносова передъ другими адъюнктами; но не слѣдуетъ забывать, что хоть въ вышеупомянутой записи и сказано, будто Ломоносовъ получаетъ „жалованье съ прочими адъюнктами равное“, однакоже ему въ это время все еще продолжали выдавать только половинный адъюнктскій окладъ, вычитая остальную полови-

ну по указу Правительствующаго Сената въ наказаніе „за его непорядочные поступки“. Хотя въ іюлѣ 1744 г. Ломоносовъ и былъ наконецъ избавленъ отъ этого тяжкаго наказанія, и полный окладъ ему возвращенъ, однакоже можно себя представить, каково долженъ былъ бѣдствовать Ломоносовъ, получавшій въ Петербургѣ въ теченіе цѣлыхъ полутора года всего на все по сту восьми-десяти рублей въ годъ, т. е. по 15 р. въ мѣсяць! Принимая это въ расчетъ, можно-

¹⁾ Этотъ академическій домъ находился на Васильевскомъ острову, около нынѣшняго Тучкова моста, на набережной Малой Невы.

ли удивляться тому, что онъ дѣйствительно нуждался и въ одеждѣ, и даже въ пропитаніи, какъ онъ совершенно искренно высказываетъ въ своихъ вышеприведенныхъ нами запискахъ и прошеніяхъ, и что расходъ въ два рубля, вычитаемые у него за квартиру, долженъ былъ для него являться весьма значительнымъ расходомъ.

Въ іюні 1745 г. Ломоносовъ возведенъ былъ наконецъ въ профессорское званіе, а съ марта 1746 года началъ получать и профессорское жалованье, по 600 р. въ годъ. Въ слѣдующемъ году получилъ онъ и довольно изрядную казенную квартиру; но крайняя бѣдность все еще продолжала держать его въ своихъ желѣзныхъ тискахъ, такъ какъ ему приходилось постоянно уплачивать старые долги, да къ тому же и жалованье выдавалось Академіею неакуртно, и по-прежнему часто выдавалось книгами изъ академической книжной лавки. По крайней мѣрѣ, въ ноябрѣ и декабрѣ 1747 года и даже въ началѣ 1748, мы опять встречаемся съ прежними „доношеніями“ Ломоносова (уже профессора, а не адъюнкта), въ которыхъ онъ проситъ о скорѣйшей выдачѣ ему заслуженнаго за прошлые мѣсяцы жалованья „для его крайнихъ нуждъ, и что жена его находится въ великой бѣдѣ, а медикаментовъ купить не на что“...

Только съ конца 1748 года денежные обстоятельства Ломоносова начинаютъ нѣсколько поправляться, вѣроятно вслѣдствіе одновременнаго полученія имъ 2.000 р. въ подарокъ отъ Императрицы за его „Оду въ день востества на престолъ Елисаветы Петровны“, поднесенную Государынѣ президентомъ Академіи Наукъ, графомъ Разумовскимъ.

Но и въ двухъ каморкахъ, и среди тяжелой нужды въ первѣйшихъ насущныхъ потребностяхъ, и среди множества неприятностей и препятствій, представляемыхъ молодому русскому ученому нѣмецкой администраціи Академіи, и даже подъ арестомъ за „непорядочные поступки“ — Ломоносовъ не оставлялъ своихъ непрерывныхъ занятій наукою, трудился, дѣлалъ опыты, приобреталъ на послѣдній грошъ книги, сносился съ учеными, изобрѣталъ новые способы изслѣдованій. Постоянно расширяя кругъ своихъ занятій, онъ наконецъ заставилъ и самыхъ враговъ своихъ обратить вниманіе на

его изумительную дѣятельность. Съ полнымъ сознаніемъ своего достоинства и силъ, твердо уповая въ свое будущее и постоянно стремясь къ развитію своей дѣятельности. Ломоносовъ, въ апрѣлѣ 1745 г., подаетъ въ канцелярію Академіи, на Высочайшее имя, прошеніе, въ которомъ говоритъ:

„Указомъ, даннымъ изъ высокаго Кабинета и по опредѣленію Академіи, посланъ былъ я, низжайшій, въ Германію... для наученія физики, химіи и горныхъ дѣлъ съ такимъ обѣщаніемъ, что ежели я указаннымъ мнѣ наукамъ обучусь и о томъ подамъ свидѣтельства и специминны, то по моемъ возвращеніи опредѣлить меня, низжайшаго, профессоромъ... Я черезъ полпята года указаннымъ мнѣ наукамъ обучился, и сверхъ того въ математикѣ и въ другихъ полезныхъ наукахъ довольное основаніе положилъ. Минувшаго 1741 г., ордеромъ, присланнымъ отъ Академіи Наукъ, призванъ я, низжайшій, изъ Германіи возвратно, и подавъ въ ону Академію свидѣтельство и специминны о моей наукѣ, которые отъ всѣхъ профессоровъ апробованы; а потому я, низжайшій, опредѣленъ при той же Академіи адъюнктомъ физическаго класса... Въ бытность мою при Академіи Наукъ трудился я, низжайшій, довольно въ переводахъ физическихъ, химическихъ и математическихъ съ Латинскаго, Нѣмецкаго и Французскаго языковъ на Россійскій, и сочинилъ на Россійскомъ же языкѣ горную книгу и Риторикѣ, и сверхъ того въ чтеніи славныхъ авторовъ, въ обученіи назначенныхъ ко мнѣ студентовъ, въ изобрѣтеніи новыхъ химическихъ опытовъ, сколько за немѣнѣемъ химической лабораторіи быть можетъ, и въ сочиненіи новыхъ диссертаций съ возможнымъ присужденіемъ упражняюсь; чрезъ что я, низжайшій, къ вышеупомянутымъ наукамъ больше знанія присовокушилъ. Но точію я по силѣ оного обѣщанія профессоромъ не произведенъ, отчего къ большому произысканію оныхъ наукъ ободренія не имѣю“.

Въ заключеніе Ломоносовъ просилъ о томъ, чтобы его пожаловали профессоромъ химіи. Вслѣдствіе этого прошенія, Академія Наукъ не могла отказать Ломоносову въ повиновеніи, и сама ходатайствовала о возведеніи его въ званіе профессора химіи. „Спе-

димины“ Ломоносова, „апробованные“ Академіею, посланы были на разсмотрѣніе иностраннымъ ученымъ, и одинъ изъ знаменитѣйшихъ современниковъ Ломоносова, извѣстный математикъ Эйлеръ, далъ о нихъ такой лестный отзывъ ¹⁾, что уже не оставалось болѣе мѣста никакимъ сомнѣніямъ относительно значенія учености и талантности новаго профессора. Волей-неволей приходилось признавать въ Ломоносовѣ то, чего не отвергли въ немъ первѣйшіе изъ современныхъ ему ученыхъ знаменитостей, и въ слѣдующемъ же 1746 году сама Академія удостоила своего новаго профессора самымъ лестнымъ отзывомъ. Отзывъ этотъ былъ сдѣланъ по поводу того, что Ломоносовъ сталъ просить о выдачѣ ему отъ Академіи тѣхъ денегъ, которыя были ему, по его расчету, не доданы за все время его пребыванія за границей. Ссылаясь на долги, оставленные въ Германіи, онъ требуетъ, чтобы назначенныя ему въ это время деньги были ему доданы: „и хотя бы такихъ долговъ по мнѣ въ Германіи не имѣлось, однако всю опредѣленную сумму на мое содержаніе и обученіе выдать надлежитъ, по примѣру всѣхъ посылающихся для обученія въ чужія государства, которымъ даются деньги всѣ сполна напередъ, не требуя отъ нихъ никакого щету. Сверхъ сего, опредѣленная на меня сумма не вотще, но къ подлинной пользѣ и чести государственной употреблена, что доказываетъ мое законное произведеніе въ адъюнкты и профессоры“. На прошеніе послѣдовала резолюція Академіи, на основаніи которой, — „за такіе реченнаго Ломоносова предъ прочими товарищи ево ревностные труды и особливую ево предъ нами къ пользѣ государственной дѣйствительно полученную науку и за разныя въ бытность здѣсь въ Россіи къ пользѣ и чести Академіи оказанныя услуги“ — рѣшено выдать ему, Ломоносову, означенную недодачу (380 р. 10¹/₂, к.), происшедшую въ Марбур-

гѣ и другихъ нѣмецкихъ городахъ. Недодача эта, по тогдашнему обычаю, выдана была Ломоносову книгами изъ академической книжной лавки.

Ободренный этими первыми успѣхами, гордый вѣрою въ свои силы и горячо преданный интересамъ „любезнаго ему Россійскаго отечества“, Ломоносовъ съ этого времени (т. е. съ конца 40-хъ годовъ XVIII вѣка) вступаетъ въ новый и лучшій періодъ своей жизни, наиболѣе обильный проявленіями его дѣятельности какъ ученаго, какъ литератора, какъ представителя современнаго ему русскаго общества, на пользу котораго онъ готовъ былъ всѣмъ жертвовать. Но въ этомъ второмъ періодѣ своей дѣятельности, проученный горькимъ опытомъ, Ломоносовъ является намъ уже не тѣмъ горячимъ, завосчивымъ, гордымъ юношей, который способенъ къ „продерзостямъ“ и котораго за „непорядочные поступки“ можно устранить отъ участія въ конференціи, и наказать уменьшеніемъ оклада или даже простымъ арестомъ... Ломоносовъ началъ понимать все ничтожество отдѣльной, хотя бы даже и гениальной, личности среди современнаго ему общества, и на этомъ основаніи старался искать себѣ поддержки и защиты въ средѣ „знатныхъ особъ“. Съ другой стороны, онъ воспользовался счастливымъ для Россіи оборотомъ въ сферѣ правительственной, гдѣ послѣ Бироновщины наступило время полного торжества русской партіи: Ломоносовъ постарался черезъ своихъ „доброхотовъ и покровителей“ обратить вниманіе правительства на свою литературную, научную и даже практическую дѣятельность. Постоянно выставилъ онъ при этомъ на видъ не личныя свои выгоды, но главную цѣль всѣхъ своихъ стремленій — „пользу, честь и славу любезнаго ему Россійскаго отечества“. Въ самыхъ отношеніяхъ своихъ къ этимъ „доброхотамъ и покровителямъ“ Ломоносовъ оставался такимъ же самобытнымъ и независимымъ поморомъ, какимъ

¹⁾ „Всѣ записки Ломоносова“ — такъ пишетъ Эйлеръ — „по части физики и химіи не только хороши, но превосходны, ибо онъ съ такою основательностью излагаетъ любопытѣйшіе, совершенно неизвѣстные и необъяснимые для величайшихъ гениевъ предметы, что я вполне убѣжденъ въ истинѣ, его объясненій; по сему случаю я долженъ отдать справедливость г. Ломоносову, что онъ обладаетъ счастливейшимъ гениемъ для открытія феноменовъ физики и химіи; и желательно было бы, чтобы всѣ прочія академіи были въ состояніи производить открытія, подобныя тѣмъ, которыя совершилъ г. Ломоносовъ“.

являлся онъ въ отношеніи къ своимъ товарищамъ-академикамъ. Онъ не стыдился просить, даже докучать своими просьбами вельможамъ, если предвидѣлъ, что отъ ихъ ходатайства передъ Императрицею, отъ ихъ покровительства и связей, зависѣлъ успѣхъ дѣла, задуманнаго имъ, или удачное примѣненіе къ дѣйствительности, ко благу народа, тѣхъ проектовъ, которые безпрестанно ронялись въ головѣ его. Часто прибѣгалъ онъ къ „знатымъ особамъ“ и въ самомъ разгарѣ борьбы за рѣшеніемъ какого нибудь вопроса, возникшаго въ стѣнахъ Академіи. Но личныя выгоды, узкіе интересы, матеріальныя или служебныя, занимаютъ очень незначительное мѣсто въ перепискѣ Ломоносова съ его высокими друзьями. Даже тамъ, гдѣ онъ хлопочетъ о награжденіи чиномъ, объ увеличеніи своихъ матеріальныхъ средствъ, о возможности быть избраннымъ въ члены какого-нибудь ученаго заграничнаго общества, — Ломоносовъ никогда не унижается до просьбы: онъ требуетъ повышения чиномъ или матеріальной помощи, ссылаясь прямо на заслуги свои, на труды, на пользу, которую онъ приносилъ и приносилъ. Указывая на блестящее положеніе ученыхъ за границею и сравнивая съ нимъ жалкое положеніе ученаго и литератора въ русскомъ обществѣ, онъ доказываетъ, что ему долге не слѣдуетъ оставаться въ этомъ положеніи, и что если правительство желаетъ прямой пользы русскому просвѣщенію, то прежде всего должно возвысить въ глазахъ общества значеніе ученаго и литератора. А такъ какъ современное общество придавало огромное значеніе чинамъ, то Ломоносовъ и требуетъ постоянно награжденія своихъ заслугъ чинами, наравнѣ съ другими, и даже очень ревниво отстаиваетъ передъ товарищами-академиками свое старшинство службой и рангомъ въ тѣхъ случаяхъ, гдѣ его стараются обойти при помощи канцелярской интриги или хотятъ отъ него избавиться, какъ отъ безпокойнаго и непокладливаго человѣка, который все хочетъ дѣлать по своему, всюду старается на первый планъ выставить русскіе интересы. Что у Ломоносова могли быть только такія чистыя и высокія цѣли даже въ тѣхъ случаяхъ, гдѣ онъ хлопоталъ, повидимому, о своихъ личныхъ выгодахъ, въ этомъ убѣждаетъ насъ та благородная гордость и глу-

бокое сознаніе собственного достоинства, которыя высказываются въ нѣкоторыхъ письмахъ его къ „знатымъ особамъ“ и подтверждаются свидѣтельствомъ даже не слыхомъ дружелюбно смотрѣвшихъ на него академиковъ-нѣмцевъ. Такъ, въ одномъ изъ писемъ своихъ къ И. И. Шувалову (14 января 1761 г.), — котораго вообще Ломоносовъ очень уважалъ, въ которомъ цѣнилъ многія стороны характера и ума, — недовольный тѣмъ, что Шуваловъ настаивалъ на примиреніи Ломоносова съ Сумароковымъ и старался ихъ сблизить, онъ прямо высказывалъ ему:

„Не хотѣлъ Васъ оскорбить отказомъ при многихъ кавалерахъ, показать Вамъ послушаніе; только Васъ увѣряю, что въ послѣдній разъ. И ежели, несмотря на мое усердіе, будете гнѣваться, я полагаюсь на помощь Всевышняго, который одинъ мнѣ былъ въ жизни защитникомъ, и никогда не оставилъ, когда я пролилъ предъ Нимъ слезы въ моей справедливости. Ваше Превосходительство, имѣя нынѣ случай служить отечеству спомоществованіемъ въ наукахъ, можете лучшія дѣла производить, нежели меня мирить съ Сумароковымъ... Не токмо у стола знатныхъ господъ, или у какихъ земныхъ владѣтелей, дуракомъ быть не хочу, но ниже у самого Господа Бога, который мнѣ далъ смыслъ, пока развѣ отнѣмъ... Ежели Вамъ любезно распространеніе наукъ въ Россіи; ежели мое къ Вамъ усердіе не исчезло въ памяти, постарайтесь о скоромъ исполненіи моихъ справедливыхъ для пользы отечества прошеній, а о примиреніи меня съ Сумароковымъ, какъ о мелочномъ дѣлѣ, позабудьте“.

Въ другомъ письмѣ, также къ И. И. Шувалову (отъ 17 апрѣля 1760 года). Ломоносовъ выражаетъ еще рѣче и примѣе свой взглядъ на отношеніе къ „знатымъ особамъ“... „Едва принимаю смѣлость“ — пишетъ онъ — „послать Вамъ сіи строки. И новѣе бы не послалъ, еслибъ меня общая польза отечества къ тому не побуждала. Мое единственное желаніе состоитъ въ томъ, чтобы привести въ вожделенное теченіе гимназію и университетъ, откуда могутъ произойти многочисленныя Ломоносовы: и для того Ваше Превосходительство всеуниженно прошу постараться, чтобы изъ конференціи, при Дворѣ учрежден-

ной, данъ былъ формуляръ привилегіи по прошенію Его Сіятельство Академіи Наукъ г. президента, чего при семъ копіи сообщаю ¹⁾). Сіе будетъ большее всѣхъ благодарѣніе, которыя, Ваше Превосходительство, мнѣ въ жизнь сдѣлали. По окончаніи сего только хочу искать способа и мѣста, гдѣ бы чѣмъ рѣже, тѣмъ лучше видѣть было персонъ высокородныхъ, которыя мнѣ нисколько моею природою попрекають, видя меня какъ бѣльмо на глазу⁴⁾.

Не слѣдуетъ забывать, что такую рѣчь къ „высороднымъ персонамъ“ держалъ современникъ Тредіаковскаго, не сумѣвшаго защитить себя даже отъ личныхъ оскорбленій! И только благодаря такой смѣлости геніяльнаго, самобытнаго и гордаго помора, выше слои современнаго общества начинали постигать настоящее значеніе литератора и ученаго въ средѣ общественной дѣятельности, начинали охотно оказывать ему покровительство и даже нѣсколько увлекаться тою ролью меценатовъ, которая выпадала имъ на долю. Въ числѣ такихъ меценатовъ, покровительствовавшихъ Ломоносову и дѣйствительно умѣвшихъ оцѣнивать его заслуги русской наукѣ, литературѣ и просвѣщенію, нельзя не упомянуть здѣсь съ благодарностью имена графовъ Орловыхъ, графа М. Л. Воронцова, графа П. И. Шувалова, и въ особенности Ивана Ивановича Шувалова, бывшаго кураторомъ Московскаго университета. Сблизившись случайно съ Ломоносовымъ въ 1749 году, онъ съ этой поры и до самой смерти Ломоносова не прерывалъ съ нимъ тѣсныхъ дружескихъ сношеній и переписки, оказывалъ ему постоянно самую дѣятельную помощь и содѣйствіе, не только въ дѣлахъ академическихъ, не только поощрялъ его къ занятіямъ русскою словесностью и русской исторіей, но даже помогалъ Ломоносову и въ тѣхъ практическихъ предпріятіяхъ, за которыя тотъ при-

нимался. Ему посвящалъ Ломоносовъ свои оды, съ нимъ дѣлился своими планами, его именемъ украшалъ посланія и проекты свои. Новѣйшіе біографы Ломоносова однакоже справедливо замѣчаютъ, что И. И. Шуваловъ оказалъ даже нѣсколько одностороннее вліяніе на Ломоносова, какъ ученаго, отвлекая его отъ занятій науками естественными и побуждая удѣлить слишкомъ значительную долю времени на занятія словесностью и исторіей. И дѣйствительно, хотя Ломоносовъ отчасти по собственному желанію, отчасти же побуждаемый къ тому Академіей, сталъ заниматься словесными науками и гораздо ранѣе сближенія своего съ И. И. Шуваловымъ ²⁾, однакоже вліяніе послѣдняго на дѣятельность Ломоносова не можетъ подлежать сомнѣнію. Какъ до 1749 года въ дѣятельности Ломоносова преобладаетъ наклонность къ наукамъ естественнымъ, такъ въ теченіе слѣдующихъ за этими семи или восемью лѣтъ (т. е. между 1749 и 1755, 1757 гг., въ первые годы сближенія съ Шуваловымъ) Ломоносовъ положительно склоняется въ занятіяхъ своихъ на сторону словесныхъ наукъ и даже изыщной литературы. Въ теченіе этого періода онъ пишетъ множество стихотворныхъ надписей на разные торжественные случаи, и по заказу, и по собственному желанію, пишетъ по заказу трагедіи („Тамира и Селимъ“ въ 1751 г., „Демофонтъ“ въ 1752 г.), сочиняетъ посланія въ стихахъ, идилліи, даже задумываетъ большую эпическую поэмю, въ которой намѣревается воспѣть Петра Великаго (1757 года) ³⁾. Въ тотъ же самый періодъ Ломоносовъ произноситъ свои замѣчательныя похвальные слова „Елисаветѣ“ (1749 г.), составляетъ „Россійскую грамматику“ (1755 г.), собираетъ (съ 1750 г.) матеріалы для Россійской Исторіи, готовитъ обширный „планъ филологическихъ изслѣдованій“. Кажется, однакоже, что Шуваловъ, недовольствуясь этою усиленною дѣятель-

¹⁾ Здѣсь идетъ дѣло объ университетской привилегіи, т. е. о привилегіи на открытіе особаго, отдѣльнаго отъ Академіи Наукъ, университета въ Петербургѣ.

²⁾ Къ 1739 г. относится его изъ-за границы присланное „Письмо о правилахъ Россійскаго стихотворства“, первая ода, а въ 1746 г. была уже готова „Риторика“, послѣ окончанія которой Ломоносовъ сталъ собирать матеріалы для русской грамматики. Въ 1748 году написалъ онъ разсужденіе „О пользѣ книгъ церковныхъ“.—³⁾ Только первая дѣя этой поэмы были написаны Ломоносовымъ. Множество разнообразныхъ занятій, а можетъ быть и сознаніе того, что трудъ сочиненія такой поэмы ему не по силамъ, воспрепятствовали продолженію поэмы.

ностью Ломоносова по литературѣ, исторіи и словесности, старался склонить его къ тому, чтобы онъ окончательно посвятилъ себя наукамъ словеснымъ, оставивъ занятія науками естественными. Ломоносовъ на это не соглашался и однажды даже высказалъ ему въ одномъ изъ своихъ писемъ: „Что же до моихъ въ физикѣ и химіи упражненій касается, чтобы ихъ вовсе покинуть, то нѣтъ въ томъ ни нужды, ниже возможности“ — такъ пишетъ Ломоносовъ Шувалову въ январѣ 1755 года. „Всякъ человѣкъ требуетъ себѣ отъ трудовъ упокоенія: для того оставивъ настоящее дѣло, ищетъ себѣ съ гостями или съ домашними препровожденія времени, картами, шашками и другими забавами, а иные и табачнымъ дымомъ; отъ чего я уже давно отказался, затѣмъ, что не нашелъ въ нихъ ничего, кромѣ скуки. И такъ уповаю, что и мнѣ на упокоеніе мое отъ трудовъ, которые я на собраніе и сочиненіе Россійской Исторіи и на украшеніе Россійскаго слова полагаю, позволено будетъ въ день нѣсколько часовъ времени, чтобы ихъ, вмѣсто бильярду, употребить на физическіе и химическіе опыты, которые мнѣ не токмо отмыною матерію вмѣсто забавы, но и движеніемъ вмѣсто лекарства служить имѣютъ; и сверхъ сего пользу и честь отечеству конечно принести могутъ, едва менѣе ли первой“. Нѣкоторое понятіе о неутомимой дѣятельности Ломоносова даетъ намъ его же письмо къ И. И. Шувалову, отъ 31 мая 1753 года, въ которомъ онъ представляетъ ему краткій отчетъ о своихъ текущихъ занятіяхъ:

„Доношу Вашему Превосходительству о томъ, что похвальная Ваша къ наукамъ охота требуетъ. Во-первыхъ, что до электрической силы надлежитъ, то изысканы здѣсь два особенные опыты весьма недавно,—одня г. Рихманомъ чрезъ машину, а другой мною въ тучѣ... Прижѣтилъ я у своей громовой машинки, 25 числа сего апрѣля, что безъ грома и молніи, чтобы слышать или видѣть можно было, нитка отъ желѣзнаго прута отходила и за рукою гонялась; а въ 28 число того же мѣсяца, при прохожденіи дождеваго облака безъ всякаго чувствительнаго грома и молніи, происходили отъ громовой машины сильныя удары съ ясными искрами и съ трескомъ издавекъ слышнымъ, что еще нигдѣ не прижѣчено. и

съ моею давнею теоріею о теплотѣ и съ нынѣшнею о электрической силѣ весьма согласно, и мнѣ къ будущему публичному акту весьма прилично. Оный актъ буду я отправлять съ г. профессоромъ Рихманомъ. Онъ будетъ предлагать опыты свои, а я теорію и пользу отъ оной происходящую, къ чему уже я приготавливаюсь. Что же надлежитъ до второй части руководства къ краснорѣчію, то она уже нарочито далека и въ концѣ октября мѣсяца уповаю изъ печати выйдетъ. О первомъ томѣ Россійской Исторіи по общанію моему стараніе прилагаю, чтобы онъ къ новому году письменной изготвился. Ежели кто по своей профессіи и



И. И. Шуваловъ

И. И. Шуваловъ.

должности читаетъ лекціи, дѣлаетъ опыты новые, говоритъ публично рѣчи и диссертации, и внѣ оной сочиняетъ разные стихи и проекты къ торжественнымъ изъясненіямъ радости, составляетъ прازیла краснорѣчія на своемъ языкѣ и исторію своего отечества. и долженъ еще на срокъ поставить, отъ того я ничего больше требовать не имѣю. и готовъ бы съ охотою имѣть терпѣніе, когда бы только что путное родилось“.

И всему этому Ломоносовъ предавался съ страстнымъ увлеченіемъ, съ непремѣннымъ желаніемъ принести пользу и твердую уѣ-

ренностью въ томъ, что онъ ее принести можетъ. Эту увѣренность онъ высказалъ совершенно ясно въ одной изъ своихъ замѣтокъ, писанной, вѣроятно, около 1750 г., т. е. именно того времени, когда Ломоносову впервые удалось вздохнуть свободно и, нѣсколько оправившись отъ нужды и бѣдствій всякаго рода, выступить вполне самостоятельно на поприще ученой и литературной дѣятельности. „Начинаю со словесныхъ наукъ“—говоритъ онъ въ этой замѣткѣ, вѣроятно набрасывая себѣ планъ занятій въ ближайшемъ будущемъ—„и ежели Богъ велитъ, покажу хотя нѣкоторый приступъ ко всѣмъ мнѣ известнымъ наукамъ... Я самъ и не совершу, однако начну, то будетъ другимъ послѣ меня легче дѣлать“. И къ этой-то цѣли онъ стремился постоянно, настойчиво, пренебрегая всѣми препятствіями, принося ей въ жертву и свои интересы, и свои силы. При этой постоянной и непрерывной дѣятельности, Ломоносовъ, по самой натурѣ своей, никакъ не могъ заставить себя ограничиться однимъ только кабинетнымъ трудомъ: ему непременно хотѣлось примѣнять свои теоретическія знанія къ практикѣ—къ мореплаванью, архитектурѣ, горнымъ промысламъ, искусству, фабричнымъ производствамъ—вносить въ русскую жизнь результаты своихъ теоретическихъ, научныхъ занятій, сближать русскую жизнь съ наукой, наглядно знакомить русскихъ людей съ пользою, которую можетъ наука приносить. На этомъ основаніи, напримѣръ, горячо принявшись за выдѣлку стекла, онъ, въ началѣ 1750 годовъ, при помощи правительства, самъ становится во главѣ стекляннаго завода, а потомъ, примѣняя къ выдѣлкѣ стекла свои химическія свѣдѣнія, берется за выдѣлку собственно-цвѣтныхъ стеколъ для мозаического художества. Первые успѣшные опыты въ этой отрасли стекляннаго производства увлекаютъ его къ дальнѣйшимъ и грандіознымъ примѣненіямъ мозаики для украшенія нашихъ церквей и увѣковѣченія подвиговъ Петра Великаго въ видѣ цѣлаго ряда громаднхъ мозаическихъ картинъ.

При всѣхъ этихъ должностныхъ и внѣ-должностныхъ своихъ занятіяхъ, Ломоносовъ былъ еще вынужденъ быть и цензоромъ, и корректоромъ произведеній литературныхъ, присылаемыхъ ему на разсмотрѣніе правительствомъ или поручаемыхъ Академію; онъ

самъ, кромѣ того, пишетъ и переводитъ учебники, сообщаетъ отчеты о ходѣ науки и литературы въ Европѣ, участвуетъ въ журналахъ, въ изданіи календарей, и прилагаетъ заботу ко всему, что можетъ быть дорого и близко русскому сердцу; рядомъ съ этими трудами онъ велъ цѣлый рядъ проектовъ, касающихся Россіи, умноженія ея населенія, экономическихъ условій жизни народной и государственной, изслѣдованія Россіи въ этнографическомъ и географическомъ отношеніи, открытія сѣвернаго полюса и т. д. Это необъятное разнообразіе дѣятельности выражалось отчасти и постепеннымъ расширеніемъ круга дѣйствій Ломоносова въ самой Академіи и внѣ оной, и постепеннымъ накопленіемъ новыхъ обязанностей, которыя долженъ былъ принимать на себя Ломоносовъ. Послѣ 1755 года, онъ становится сначала совѣтникомъ академической канцеляріи, потомъ принимаетъ въ свое вѣдѣніе академическую гимназію и университетъ, наконецъ является и во главѣ географическаго департамента. Съ этого времени заботы и потребности административной дѣятельности начинаютъ болѣе и болѣе привлекать къ себѣ его вниманіе и мало по малу овладѣваютъ всѣмъ его временемъ, которое онъ уже только урывками можетъ посвящать литературѣ и наукѣ. Къ этому періоду его жизни относятся всѣ составленные имъ уставы учебныхъ заведеній и проекты, касающіеся распространенія просвѣщенія въ Россіи. Двѣ любимыя мечты являются у Ломоносова, и онъ всею душою стремится къ осуществленію ихъ: одна изъ нихъ—отдѣленіе отъ Академіи университета, какъ особаго, высшаго образовательнаго заведенія, въ которомъ, притомъ же, всѣ профессора были бы русскіе; другая—преобразование Академіи Наукъ. Заявляя при этомъ случаи о необходимости отправленія молодыхъ русскихъ ученыхъ за границу для окончанія образованія, Ломоносовъ между прочимъ предлагаетъ, „чтобы о вынискываніи вновь и о приѣмѣ иностранныхъ профессоровъ безпрочное почти стараніе вовсе оставить, но крайнее положитъ попеченіе о наученіи и произведеніи собственныхъ природныхъ и домашнихъ, которые бы служили, нападѣ не оглядываясь и не угрожалъ контрактомъ и взысканіемъ абшита; а паче всего служили бы къ чести отечеству, кото-

рой отъ иностранныхъ нашему народу приписывать невозможно (2-го июня 1764)¹⁾. Но университетъ Петербургскій, не смотря на всѣ старанія и хлопоты Ломоносова, не былъ открытъ, хотя уже все было готово къ открытію его, и даже написана была Ломоносовымъ та благодарственная рѣчь Елисаветѣ, которую предстояло говорить на торжествѣ по поводу этого открытія: болѣзнь и смерть Императрицы Елисаветы помѣшали приведенію благого дѣла въ исполненіе... Не могла осуществиться и другая мечта Ломоносова: преобразование Академіи Наукъ по такому плану, при которомъ бы ученая дѣятельность академиковъ была вполне независимою отъ академической канцеляріи. По этому поводу составлено было имъ нѣсколько подробныхъ записокъ и между прочимъ „Краткая исторія о поведеніи академической канцеляріи въ разсужденіи ученыхъ людей и дѣлъ“. Въ ней Ломоносовъ излагаетъ дѣйствія своихъ главнѣйшихъ недоброжелателей (Шумахера, Тауберта, Теплова), рассказываетъ „академическія несчастія“, которыя приходится претерпѣвать наукѣ. Въ заключеніе краткой исторіи онъ восклицаетъ: „Какое же можетъ быть усердіе у Россіянъ, учащихъ въ Академіи, когда видать, что самый первый изъ нихъ, уже чрезъ науки въ отечествѣ и въ Европѣ знатность заслужившій, и самымъ Высочайшимъ особамъ не безызвѣстный, принужденъ безпрестанно обороняться отъ недоброжелательныхъ происковъ и претерпѣвать нападенія почти даже до самаго конечнаго опроверженія и истребленія?“... „Едино упованіе состоитъ нынѣ, по Божѣ, во всемилостивѣйшей Государынѣ нашей, которая отъ истиннаго любленія къ наукамъ и отъ усердія къ пользѣ отечества можетъ быть разсмотрѣть и отвратить сіе несчастіе. Ежели же онаго не воспослѣдуетъ, то вѣрить должно, что нѣтъ божескаго благоволенія, чтобы науки возрасли и распространились въ Россіи“.

Несмотря на эти временныя неудачи, на которыя такъ горько жаловался и сѣтовалъ Ломоносовъ, положеніе его въ это время, до конца царствованія Елисаветы (т. е. въ періодъ наибольшаго значенія И. И. Шувалова при Дворѣ), могло назваться блестя-

щимъ по сравненію съ тѣмъ, что ожидало его въ близкомъ будущемъ. 26 декабря 1761 г. Елисавета скончалась и началось кратковременное царствованіе Петра III, окончившееся 6-го июля 1762 г.

Эти событія должны были оказывать на участь Ломоносова неожиданное вліяніе. Выѣстъ со вступленіемъ на престолъ Екатерины II. Шуваловы и Воронцовы,—такъ много причинившіе ей непріятностей и въ то время, когда она была великой княгиней, и потому—въ царствованіе ея супруга,—должны были, конечно, пасть, можетъ быть даже подвергнуться преслѣдованіямъ... Ломоносовъ, пользовавшійся весьма громкою извѣстностью литературною, открыто стоявшій на сторонѣ усерднѣйшихъ сторонниковъ Шуваловыхъ и Воронцовыхъ, не могъ, конечно, рассчитывать на милости Екатерины и видѣлъ, въ близкомъ будущемъ, полное паденіе своего значенія и въ обществѣ, и въ средѣ академической. Тѣмъ не менѣе, суровый обычай времени требовалъ того, чтобы голосъ позвъ сочувственно отозвался торжественнымъ поздравительнымъ провозвѣщеніемъ и встрѣтилъ пріѣздомъ своимъ вступленіе на престолъ новой властительницы судебъ Россіи... И вотъ Ломоносовъ поспѣшилъ написать: „Оду торжественную ея Императорскому Величеству всепресвѣтлѣйшей, державнѣйшей великой государынѣ императрицѣ Екатеринѣ Алексѣевнѣ, самодержицѣ всероссійской, на преславное ея востановленіе на всероссійскій, императорскій престолъ іюня 28 дня 1762 года, въ изъясненіе истинной радости и вѣрнопоподаннаго усердія и искренняго поздравленія приносится отъ всеподданнѣйшаго раба Михайла Ломоносова“.

Но предупредительная поспѣшность Ломоносова не достигла своей цѣли: онъ не угадалъ характера новой Императрицы. „первой, покинувшей систему опалы и преслѣдованія людей, пользовавшихся значеніемъ въ предшествовавшія царствованія“¹⁾. Екатерина не мстила своимъ врагамъ и ихъ ближайшимъ сторонникамъ:—она съ достоинствомъ ушла отъ нихъ отвернуться и забыть о нихъ... Такой-то участи полнаго забвенія подвергся и Ломоносовъ въ первое время царствованія Екатерины. Въ то время.

¹⁾ Пекарскій, Исторія Академіи. II, 766.

какъ на всѣхъ окружавшихъ его, и при томъ его личныхъ враговъ, сыпались щедрыя награды деньгами и чинами, въ то время, когда Тепловъ сдѣлался первымъ дѣлцомъ въ кабинетѣ Императрицы, когда Елагинъ, произведенный въ дѣйствительные статскіе совѣтники изъ отставныхъ полковниковъ, также призванъ былъ на службу въ кабинетъ; когда Таубертъ, „этотъ исконный врагъ Ломоносова“, тоже удостоенъ былъ весьма значительнаго по тому времени повышенія въ чинѣ (ему дали статскаго совѣтника):—одинъ Ломоносовъ оставался не только незамѣченнымъ, но и явно забытымъ...

Но забвеніе это не отняло у Ломоносова бодрости. Замѣчая большую перемену въ отношеніяхъ къ себѣ со стороны начальства Академіи и повисившихся по службѣ своихъ товарищей, Ломоносовъ ищетъ покровительства братьевъ Орловыхъ (Федора и Григорія), и черезъ нихъ ходатайствуетъ о повышеніи его чинами, и дѣлаетъ различные представленія, касающіяся общихъ академическихъ интересовъ... Но видно, что непріятности по Академіи и неопредѣленность общественнаго положенія, не обѣщавшая ничего утѣшительнаго въ будущемъ, дурно повліяли на Ломоносова. Онъ сталъ хворать... Между тѣмъ враги его не дремали. 17 апрѣля 1763 года, графъ К. Разумовскій, вѣроятно прискучившій несогласіями и пререканіями, происходившими между Ломоносовымъ, Мюллеромъ и Таубертомъ, написалъ изъ Москвы (гдѣ въ то время долго оставался Дворъ и Императрица послѣ коронаціи): „Гг. членамъ академической канцеляріи рекомендуется впредъ излишніе между собою споры оставить, наблюдая благопристойность и честь Академіи, а дѣлать то, съ чего бы вышшей государствену пользы слѣдовать могло...“ Вскорѣ послѣ того, вѣроятно подъ влияніемъ близкихъ ко Двору недруговъ Ломоносова, поднятъ былъ вопросъ объ увольненіи его изъ Академіи. Въ концѣ апрѣля 1763 г. Екатерина уже знала объ этомъ, и 23 числа того же мѣсяца писала къ Олсуфьеву: „Адамъ Васильевичъ! Я чаю—Ломоносовъ бѣденъ: сговоритесь съ гетманомъ (т. е. К. Разумовскимъ), не можно-ли ему пенсіонъ дать, и скажи мнѣ отвѣтъ“. Нѣсколько дней спустя состоялся слѣдующій именной указъ Сенату: „Коллежскаго совѣтника Михайлу Ломоно-

сова всемилостивѣйше пожаловали мы въ статскіе совѣтники и вѣчною отъ службы отставкою съ половиннымъ по смерти его жалованьемъ, Екатерина. Москва, мая 2 дня, 1763 года“.

15 мая извѣстіе объ этомъ указѣ дошло до Ломоносова, который въ тотъ же день отказался подписать журналы и протоколы по академической канцеляріи, и уѣхалъ въ свое помѣстье, за Ораниенбаумъ, а 16 мая Мюллеръ уже писалъ въ Германію къ одному изъ недруговъ Ломоносова радостное извѣщеніе о томъ, что „Академія освобождена отъ Ломоносова!“

На этотъ разъ, однакоже, радость Мюллера и его сотоварищей оказалась немного поспѣшною. 13 мая 1763 г. получена была въ Сенатѣ собственноручная записка Императрицы Екатерины II: „есть-ли указъ о Ломоносовской отставкѣ еще не посланъ въ Петербургъ, то сейчасъ его ко мнѣ обратно прислать“. „Что побудило Екатерину II“ (замѣчаетъ историкъ Академіи) „отмѣнить свой указъ объ отставкѣ Ломоносова—остается неизвѣстнымъ, но несомнѣнно, что это произошло безъ всякаго съ его стороны ходатайства“. И вотъ онъ снова, къ ужасу Мюллера и Тауберта, явился въ академической канцеляріи, болѣе чѣмъ когда либо ободренный къ дѣятельности, и попрежнему готовый къ той борьбѣ, на которую онъ обрекалъ себя до смерти.

Послѣ этихъ событій Ломоносовъ прожилъ еще два года; послѣднее время жизни своей онъ очень былъ занятъ проэктомъ экспедиціи къ сѣверному полюсу, съ цѣлью открытія „восточно-сѣвернаго плаванія въ Индію и Америку“. Прозектъ его понравился правительству, былъ принятъ; по указаніямъ и при самомъ тщательномъ наблюденіи Ломоносова приступлено было даже къ снаряженію экспедиціи... И среди этихъ-то новыхъ заботъ смерть смежила очи великаго труженника и дала ему наконецъ тотъ покой, которымъ онъ такъ пренебрегалъ при жизни... Ломоносовъ скончался 4 апрѣля 1765 г. (на второй день свѣтлой недѣли), а 8-го апрѣля Таубертъ между прочимъ уже сообщилъ Мюллеру въ письмѣ своемъ: „г. статскій совѣтникъ Ломоносовъ перемѣнилъ здѣшнюю временную жизнь на вѣчную“...

Не задолго до смерти его, а именно въ іюнѣ 1764 г., Императрица Екатерина „съ

нѣкоторыми знатнѣйшими двора своего особами“ посѣтила Ломоносова въ его домѣ, гдѣ, по словамъ современной газеты, „изволила смотрѣть производимыя имъ работы мозаичнаго художества для монумента вѣчнославныя памяти Государя Императора Петра Великаго, также и нововозбрѣтенныя имъ физическіе инструменты и нѣкоторые физическіе и химическіе опыты, чѣмъ податъ благоволила новое высочайшее увѣреніе о истинномъ любленіи и попеченіи своемъ о наукахъ въ отечествѣ“.

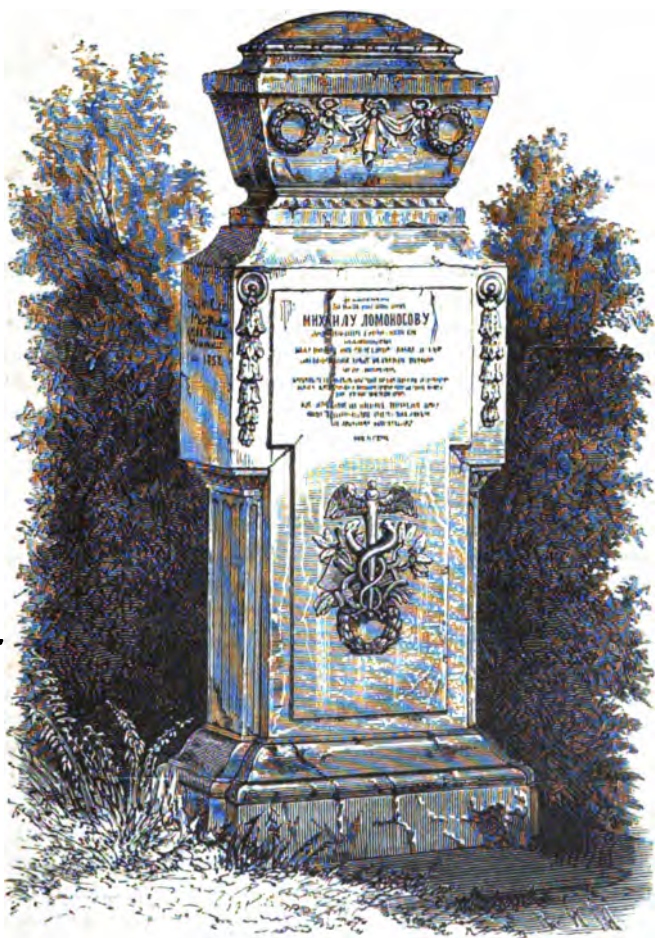
Уже въ самомъ началѣ настоящей главы было нами упомянуто о томъ, что Ломоносовъ стоитъ на грани, отдѣляющей „эпоху преобразованій“ отъ новѣйшаго времени, и что на его долю досталось быть послѣднимъ въ ряду тѣхъ нашихъ литературныхъ дѣятелей, которые одновременно являлись и учеными, и литераторами. При этомъ мы указывали выше и на то предпочтеніе, которое многіе изъ нашихъ дѣятелей литературныхъ придавали своимъ научнымъ занятіямъ; на литературу они смотрѣли исключительно какъ на занятіе, приличное только досугу, какъ на забаву. И Тредіаковский, и Ломоносовъ отдадутъ еще положительное предпочтеніе своимъ научнымъ изслѣдованіямъ передъ своими же чисто-литературными произведеніями; Ломоносовъ рѣшается даже открыто насмѣхаться надъ людьми, исключительно посвятившими себя занятіямъ литературнымъ,—однако онъ придаетъ уже и литературѣ важное значеніе, какъ такому орудію, которымъ можно съ большимъ удобствомъ пользоваться для проведенія въ общество новыхъ идей, для истолкованія различныхъ истинъ, не только отвлеченныхъ, нравственныхъ, но даже и принадлежащихъ къ области научнаго изслѣдованія. На этомъ основаніи онъ заботился и о томъ, чтобы дать русской публикѣ образцы литературныхъ произведеній во всѣхъ родахъ, и о томъ, чтобы улучшить и довести до возможнаго совершенства самый языкъ русской литературы и науки. Несмотря однакоже на весьма значительные труды, предпринятые Ломоносовымъ по русской словесности, этотъ гениальный труженникъ имѣть гораздо болѣе важное значеніе въ исторіи нашей науки, нежели въ исторіи литературы XVIII в. Ближайшее потомство смотрѣло на Ломоносова совсѣмъ не такъ.

какъ мы на него смотримъ: оно выше цѣнило въ немъ литературныя, поэтическія его достоинства, и вообще мало обращало вниманія на заслуги Ломоносова, какъ ученаго, какъ натуралиста, который и въ современной европейской наукѣ пользовался уваженіемъ... Ломоносовъ не только какъ поэтъ, но даже и какъ ораторъ, и какъ историкъ, заграживалъ передъ лицомъ ближайшаго потомства величавую личность Ломоносова-ученаго только потому, что эта область его дѣятельности была болѣе близка и понятна его современникамъ, нежели малоизвѣстная имъ область любимыхъ его научныхъ занятій. Къ тому же, Ломоносовъ, представившій современникамъ своимъ первые сносные опыты различныхъ литературныхъ родовъ, послужилъ образцомъ для множества послѣдующихъ писателей русскихъ, которые подражали ему, какъ поэту, какъ оратору и литератору. Они старались держаться одинаковыхъ съ нимъ взглядовъ на литературу, разрабатывать тѣ-же формы ложно-классической поэзіи, какія онъ разрабатывалъ, даже писать тѣмъ самымъ языкомъ, какимъ писалъ онъ, считая этотъ языкъ возможнымъ предѣломъ литературнаго совершенства. И только уже новѣйшее время, благодаря серьезной обработкѣ матеріаловъ для біографіи Ломоносова, снова восстановило правильное отношеніе между славомъ Ломоносова, какъ поэта, и славомъ Ломоносова, какъ ученаго и натуралиста. Новѣйшіе біографы и критики Ломоносова должны были прійти къ тому убѣжденію, что онъ былъ дѣйствительно гениальный человекъ, гениальный ученый, и въ то же время весьма посредственный поэтъ и литераторъ. И только благодаря гениальности своей натуры, онъ, даже какъ поэтъ и литераторъ, сумѣлъ стать выше окружавшихъ его литературныхъ бездарностей, сумѣлъ лучше ихъ совладать съ нашей литературной техникой и удачно воспользоваться нѣкоторыми замѣчательными свойствами нашего роднаго языка. Оставляя въ сторонѣ всякій разборъ ученой дѣятельности Ломоносова, какъ натуралиста, мы, въ заключеніе этой главы, рассмотримъ его дѣятельность литературную и скажемъ нѣсколько словъ о его трудахъ по отношенію къ разработкѣ нашего языка и слога.

Въ настоящую минуту даже трудно и во-

образить себѣ положеніе русскаго писателя въ эпоху Ломоносова. Трудно себѣ представить, что Ломоносову, съ его стихами, съ его новыми литературными теоріями, съ его учебниками по части русской грамматики и русской словесности, пришлось быть пер-

вымъ русскимъ поэтомъ и литераторомъ, первымъ законодателемъ русскаго литературнаго языка и слога. Получивъ образованіе въ Западной Европѣ, Ломоносовъ долженъ былъ невольно подчиниться преобладавшему въ современной европейской лите-



Могила Ломоносова въ Александро-Невской лаврѣ.

ратурѣ—направленію ложно-классическому. Ложно-классическое направленіе, состоявшее въ чисто-внѣшнемъ подражаніи литературнымъ и поэтическимъ приемамъ древнихъ, въ неестественномъ примѣненіи условій ихъ общественнаго религіознаго быта къ современному европейскому быту XVII и XVIII вв.,

а также и въ неправильномъ истолкованіи литературныхъ теорій классическаго міра—въ ту пору уже отживало свой вѣкъ въ Германіи. Но для Ломоносова, который въ юности своей, до поѣздки за границу, могъ быть знакомъ только съ тяжелыми виршами Симеона Полоцкаго, Каріона Истомина и

Сильвестра Медвѣдова, да со школьними комедіями Дмитрія Ростовскаго, — ложно-класическіе образцы лирики и драмы, не смотря на всю свою неестественность и даже уродливость, должны были показаться вполне достойными подражанія. Мы полагаемъ даже, что Ломоносовъ вовсе не потому сталъ подражать ложно-класическимъ образцамъ, что увлекся ложно-класическимъ направлеиіемъ: онъ просто подчинился ему безусловно, какъ и всѣ его современники, не признавая никакое другое литературное направление возможнымъ...

Первые поэтическіе опыты Ломоносова въ ложно-класическомъ родѣ (его подражанія Фенелону и Гюнтеру) были приняты въ Петербургѣ весьма благосклонно, по свидѣтельству современниковъ: Академія ихъ одобрила, а общество прочтало съ удовольствіемъ. Правильное понятіе о поэзи въ большинствѣ современниковъ Ломоносова вовсе не было развито: въ началѣ XVIII в., поэтомъ все еще продолжали у насъ считать каждаго, кто болѣе или менѣе складно умѣлъ управиться со стихомъ. Къ тому же, въ высшихъ классахъ общества нашего и при Дворѣ, гдѣ особенно сильно было стремленіе къ подражанію иновечнымъ образцамъ, развился еще и особенный взглядъ на поэзію, какъ на необходимую принадлежность великосвѣтской и придворной жизни, какъ на приличное украшеніе всякихъ празднествъ и торжественныхъ случаевъ. Этотъ взглядъ на поэзію занесенъ былъ въ высшіе слои нашего общества изъ Франціи, гдѣ поэты въ концѣ XVII и началѣ XVIII вв. являлись настоящими придворными чиновниками; они считали своею прямою обязанностию воспѣваніе всего, что при Дворѣ совершалось, заваливали литературу напыщенными описаніями торжествъ, баловъ, иллюминацій и другихъ, еще менѣе замѣчательныхъ, событій подносили вельможамъ трескучія и восторженныя оды по поводу ихъ именинъ или полученныхъ ими повышеній и мпостей — и за все это получали щедрыя награды. То, что на Западѣ, при болѣе развитыхъ условіяхъ общественной

жизни, могло казаться необходимымъ, неизбежнымъ злоупотребленіемъ поэзію, даже и просто-свѣтскимъ обычаемъ то у насъ на Руси, при гораздо меньшемъ развитіи общественности, проявлялось въ формѣ обязательныхъ служебныхъ отношеній поэта къ придворной жизни или къ лицамъ, занимавшимъ важное положеніе въ современномъ обществѣ. Ни Дворъ, ни вельможи съ поэтами не церемонились; поэтамъ просто приказывали черезъ ближайшее начальство обработать извѣстныя темы, и при этомъ еще стѣсняли ихъ срокомъ. Біографія Ломоносова представляетъ намъ цѣлый рядъ любопытнѣйшихъ фактовъ такого обязательнаго исправленія должности придворнаго поэта. Такъ, напримѣръ въ 1748 г., 20 апрѣля, въ журналѣ конференціи Академіи Наукъ записано было:

„Къ профессору Ломоносову послать ордеръ, чтобъ оной присланныя изъ Артиллеріи къ иллюминаціи апрѣля дѣ 25 числу стихи перевелъ стихами-же на російскій языкъ, и конечно сего апрѣля, 23-го числа, по переводѣ, занести въ канцелярію“.

Стихи были нѣмецкіе и принадлежали перу совѣтника Штелпна, и видно, что перевести ихъ на русскій языкъ было не легко, потому что, тотчасъ по полученіи ихъ, Ломоносовъ обратился къ секретарю Академіи, Теплову, со слѣдующимъ письмомъ:

„Хотя должность моя и требуетъ, чтобы по присланному ко мнѣ ордеру сдѣлать стихи съ нѣмецкова; однако я того исполнить не могу, для того, что въ нѣмецкихъ виршахъ нѣтъ ни складу, ни ладу; и такъ такимъ переводомъ мнѣ себя пристыдить не хочется, и весьма досадно, чтобъ такую глупость перевести на русскій языкъ“...¹⁾

И не смотря на эти возраженія, не смотря на то, что, вмѣсто перевода чужихъ стиховъ, Ломоносовъ предлагалъ сочинить новыя стихи, ему все же не удалось избавиться отъ перевода нѣмецкихъ стиховъ, сочиненныхъ Штелинымъ.

29 сентября 1750 г., въ канцеляріи Академіи полученъ былъ еще болѣе курьезный

¹⁾ Тепловъ отвѣчалъ на это письмо Ломоносова почти выговоромъ... „письмо ваше такитъ экспресей наполнено, которыя предосудительны чести г. совѣтника Штелина: берегитесь, чтобъ вы ему не досадили: писать всякъ, на сколько можетъ, и въ разсужденіи, какъ кто хочетъ“...

ордеръ, присланный самимъ президентомъ Академіи, графомъ К. П. Разумовскимъ:

„Ея Императорское Величество Государыня извоутнымъ своимъ иманнымъ указомъ изволила мнѣ повелѣть, чтобы профессорамъ Тредьяковскому и Ломоносову сочинить по трагедіи и о томъ имѣ объявить въ канцеляріи. И какія къ тому потребны имѣ будутъ книги изъ библіотеки, оныя выдать съ роспискою и по окончаніи того возвратить въ библіотеку по прежнему“¹⁾.

На основаніи этого ордера, запасливый Тредіаковский уже 1-го октября потребовалъ „для сочиняемой трагедіи книгъ и писчей бумаги“. Результатомъ этого ордера со стороны Ломоносова была его первая трагедія „Тамира и Селимъ“, которая однакоже представлена была во Двору не ранѣе, какъ лѣтомъ слѣдующаго 1751 года.

Такъ какъ большая часть поэтическихъ произведеній Ломоносова принадлежитъ именно къ числу такихъ заказныхъ стихотвореній, писанныхъ по случаю того или другаго торжества, то въ нихъ, конечно, нельзя искать какихъ-бы то ни было поэтическихъ достоинствъ; точно также мало значенія, въ смыслѣ поэтическихъ произведеній, имѣютъ и нѣкоторыя другія произведенія, писанныя хотя и не на заказъ, однако съ предвзятою мыслью представить образецъ извѣстнаго литературнаго рода. Къ этому разряду слѣдуетъ отнести, напримеръ, тѣ двѣ пѣсни обширной эпической поэмы о Петрѣ Великомъ, которая не была окончена Ломоносовымъ, и должна была представлять собою не болѣе, какъ сколокъ съ нѣмецкихъ и французскихъ ложно-классическихъ образцовъ эпической поэмы. Но среди множества дошедшихъ до насъ стихотворныхъ произведеній Ломоносова, есть нѣсколько такихъ, которыя заслуживаютъ названія поэтическихъ, потому что звучный и стройный стихъ, которымъ вообще умѣлъ владѣть Ломоносовъ, является въ нихъ выраженіемъ высокихъ, прекрасныхъ образовъ и сильнаго, неподдѣльнаго чувства. Къ числу такихъ произведеній слѣдуетъ отнести

всѣ тѣ оды, въ которыхъ Ломоносовъ говоритъ о пользѣ наукъ, описываетъ нѣжно-любимую и глубоко-понимаемую имъ природу, выражаетъ религиозное чувство или указываетъ на величавое будущее, ожидающее его „любезное Россійское отечество“. Вотъ почему къ числу лучшихъ поэтическихъ произведеній Ломоносова слѣдуетъ, конечно, отнести его „Письмо о пользѣ стекла“, „Оду выбранную изъ Іова“, два „Размышленія о Божьемъ величествѣ“ и торжественную оду „Въ день востества на престолъ Имп. Елисаветы Петровны“. Въ послѣднемъ произведеніи восторженныя, превышающія всякую мѣру похвалы Императрицѣ Елисаветѣ Петровнѣ составляютъ не простую риторическую прикрасу обыкновенной ложно-классической оды, а до нѣкоторой степени служатъ отголоскомъ общаго восторга всѣхъ классовъ общества, справедливо видѣвшаго въ воцареніи „Петровой дщери“ наступленіе новаго и лучшаго періода Русской Исторіи послѣ страшнаго періода Бироновщины. Наиболѣе важною и существенною стороною всѣхъ поэтическихъ произведеній Ломоносова является прекрасный, новый по тому времени, изобразительный языкъ, который, въ соединеніи съ гладкимъ и правильнымъ стихомъ, много способствовалъ тому, чтобы произведенія Ломоносова всѣми читались, всѣми оцѣнивались и всѣмъ одинаково нравились, между тѣмъ какъ все, что писалось до Ломоносова, доступно было очень небольшому кружку читателей и очень немногихъ способно было привлечь къ чтенію. Въ этомъ отношеніи для насъ несомнѣнно-важнымъ свидѣтельствомъ въ пользу значенія поэтическихъ произведеній Ломоносова для его времени, конечно, долженъ служить тотъ фактъ, что уже при жизни его они выдержали нѣсколько изданій, а по смерти Ломоносова нѣкоторыя изъ нихъ были даже переведены почитателями его таланта на иностранные языки.

Кромѣ произведеній поэтическихъ — одъ, надписей, посланій, трагедій и т. д., до насъ дошли еще и другаго рода литератур-

¹⁾ 8 января 1749 г., „Хоревъ“—трагедія Сумарокова—представлена была кадетами. Послѣ трехъ удачныхъ опытовъ представленія этой трагедіи (послѣднее изъ этихъ представленій происходило 29-го іюня того же года), Императрица пожелала увеличенія русскаго репертуара, и слѣдователю этого желанія былъ вышеприведенный ордеръ.

ныя произведенія Ломоносова: его академическія рѣчи и похвальныя слова. Болѣе замѣчательными изъ нихъ оказываются рѣчи, въ которыхъ онъ занимается рѣшеніемъ научныхъ вопросовъ, отношеніемъ естествознанія къ религіи или значеніемъ естественныхъ наукъ вообще. Что-же касается похвальныхъ словъ Ломоносова (Елисаветѣ и Петру Великому), имѣвшихъ важное политическое и общественное значеніе для современниковъ, пережившихъ страшныя времена Бироновщины, то они мало уступаютъ, по своему складу и по способу изложенія мысли, схоластическимъ образцамъ похвальныхъ словъ кievской школы писателей и ученыхъ въ концѣ XVII в. и началѣ XVIII. Къ тому же, тяжелая, напыщенная проза, которою эти ораторскія произведенія написаны, состоящая изъ нескончаемо-длинныхъ періодовъ, съ несвойственнымъ русскому языку построеніемъ фразы по образцу латинскому—все это значительно уменьшаетъ литературное достоинство всѣхъ вообще ораторскихъ произведеній Ломоносова, но въ особенности его похвальныхъ словъ. Такая внѣшняя форма, такой складъ рѣчи въ ораторскихъ произведеніяхъ Ломоносова являлись вовсе не вслѣдствіе того, чтобы онъ, какъ писатель, не обладалъ извѣстнымъ умѣньемъ излагать свои мысли въ какой бы то ни было литературной формѣ: способъ выраженія Ломоносова является сжатымъ, энергическимъ, а языкъ его естественнымъ и простымъ въ его письмахъ, прозѣтахъ и дѣловыхъ запискахъ. Но Ломоносовъ не могъ отрѣшиться отъ литературныхъ преданій схоластическаго направленія: подъ вліяніемъ этихъ преданій добраго стараго времени, онъ вѣрилъ въ то, что слогъ долженъ подраздѣляться на три отдѣла: — высокій, средній и низкій — что къ каждому изъ этихъ трехъ отдѣловъ должны быть относимы тѣ или другіе литературные роды, и что отличительною чертою высокаго слога, которымъ должны были писаться героическія поэмы, оды и произведенія ораторскія, была именно извѣстная напыщенность и высокопарность выраженій.

Это ученіе о трехъ разныхъ штиляхъ или слогахъ, подробно изложенное Ломоносовымъ въ его Риторикѣ, служить какъ-

бы связующимъ звеномъ между старыми риторическими теоріями кievской схоластической науки и между новыми началами, внесенными Ломоносовымъ въ русскій литературный языкъ. Его труды по части русскаго языка и словесности оказали чрезвычайно важное вліяніе на развитие всего послѣдующаго періода исторіи нашей литературы. Въ своей „Россійской Грамматикѣ“ и въ „Разсужденіи о пользѣ книгъ церковныхъ въ руссійскомъ языкѣ“, и въ особенности въ томъ „Планѣ для филологическихъ изслѣдованій, къ дополненію грамматики надлежащихъ“, который остался намъ въ бумагахъ Ломоносова, онъ является намъ ученымъ, глубоко постигающимъ не только основныя законы своего роднаго языка, но даже и отношеніе его къ языкамъ родственнымъ. На этомъ основаніи Ломоносовъ даже и начинаетъ свою русскую грамматику съ наставленія о человѣческомъ словѣ вообще, „а въ нѣсколькихъ отрывкахъ“ плана высказываетъ о сродствѣ языковъ такія понятія, которыя сдѣлались общимъ достояніемъ европейской науки только уже въ началѣ нынѣшняго столѣтія. Такъ, на примѣръ, Ломоносовъ, говоря о происхожденіи языковъ отъ одного общаго корня, замѣчаетъ, что языки „разнятся своими свойствами своими“, не только словами; „что они переменяются не вдругъ, а въ значительную долготу времени“. Сверхъ того, и на самую грамматику Ломоносовъ смотритъ не такъ, какъ смотрѣли до него другіе составители грамматикъ, т. е. не какъ на механическое собраніе правилъ, а какъ на результатъ долговременнаго общенія съ жизнью, которую языкъ проживаетъ вмѣстѣ съ народомъ. При такомъ правильномъ взглядѣ на языкъ, какъ на нѣчто живое и органически-цѣлое, Ломоносовъ, конечно, не могъ удовольствоваться простымъ повтореніемъ того сухаго грамматическаго матерьяла, который до него вмѣщали въ себя наши грамматическіе учебники, и хотя многое изъ нихъ заимствовалъ, однакоже еще болѣе внесъ въ грамматику своего, новаго, имъ самимъ добытаго изъ наблюденій надъ составомъ и свойствами нашего роднаго языка. Бумаги Ломоносова, хранящіяся въ архивѣ Академіи Наукъ, служатъ прямымъ подтвержденіемъ того, что каждая глава, каждый параграфъ его грамматики

основываются на цѣломъ рядѣ глубокихъ и трудныхъ филологическихъ и лексикографическихъ изслѣдованій, наблюденій, замѣтокъ и выписокъ. Не слѣдуетъ забывать, что въ отношеніи къ знанію коренныхъ свойствъ и особенностей русскаго языка Ломоносовъ былъ поставленъ самою судьбою въ чрезвычайно счастливое, почти исключительное положеніе, относительно всѣхъ своихъ современниковъ. Онъ вышелъ на поприще ученого изъ среды народа и съ далекаго Сѣвера, на которомъ во всей чистотѣ своей сохранилось наше сѣверо-русское (новгородское) нарѣчіе, переселился потомъ въ Москву, гдѣ жилъ долгое время; потомъ постигъ Кіевъ, и провелъ въ немъ около полугода, въ средѣ малорусскаго образованнаго общества; притомъ, знакомясь въ живомъ употребленіи съ такими противуположными по свойствамъ своимъ и въ то же время важными нарѣчіями русскаго языка, Ломоносовъ съ самаго дѣтства прилежно занимался чтеніемъ книгъ церковныхъ, а въ бытность свою въ славяно-греко-латинской академіи успѣлъ уже, конечно, и въ совершенствѣ ознакомиться съ грамматическими свойствами языка церковно-славянскаго.

Можно утверждать положительно, что никто изъ современниковъ Ломоносова не обладалъ въ равной съ нимъ степени такимъ разнообразнымъ и глубокимъ знаніемъ русскаго народнаго и книжнаго языка, какимъ обладалъ онъ. И только при помощи такого глубокаго и разносторонняго изученія различныхъ элементовъ русскаго языка Ломоносовъ могъ дойти до весьма важнаго по своимъ послѣдствіямъ разбора отношеній между языкомъ церковно-славянскимъ и древне-русскимъ, съ одной стороны, и между народнымъ и книжнымъ языкомъ—съ другой. Въ своемъ разсужденіи „О пользѣ книгъ церковныхъ“ онъ указываетъ на необходимость изученія языка, церковно-славянскаго и на ту пользу, которую это изученіе можетъ принести каждому грамотному человеку; но въ то же самое время совершенно правильно указываетъ на существенное различіе языка церковно-славянскаго отъ древне-русскаго, принимая ихъ за два независимые другъ отъ друга, самостоятельные языки. Въ томъ особомъ, нѣсколько зависящемъ отношеніи, въ которое судьба по-

ставила языкъ русскій по отношенію къ церковно-славянскому, Ломоносовъ рѣшается видѣть важное преимущество языка русскаго предъ другими, родственными ему; въ самой церковно-славянской стихіи, вносимой имъ въ русскій литературный языкъ, онъ правильно ищетъ противовѣса подавляющему вліянію языковъ иностранныхъ, которые такъ значительно способствовали порчѣ русскаго литературнаго языка въ эпоху преобразованій. „Всѣмъ любителямъ отечественнаго слова безпристрастно объявлю и дружелюбно совѣтую, избѣрся собственнымъ своимъ искусствомъ“, — такъ пишетъ Ломоносовъ въ своемъ разсужденіи „О пользѣ чтенія книгъ церковныхъ“—„дабы съ прилежаніемъ читали всѣ церковныя книги“ — и при этомъ совершенно справедливо замѣчаетъ, что „старательнымъ и осторожнымъ употребленіемъ сроднаго намъ кореннаго славянскаго языка, купно съ русскійскимъ, отвратятся дикія и странныя слова, нелѣпости, входящія къ намъ изъ чужихъ языковъ“, и что самый „руссійскій языкъ въ силѣ, красотѣ и богатствѣ, перемѣнамъ и упадку не подверженъ, утвердится, коль долго церковь русская словесіемъ Божиимъ на славянскомъ языкѣ украшаться будетъ“.

Такимъ образомъ Ломоносовъ, связывая современный ему литературный языкъ, съ одной стороны, съ церковно-славянскимъ, съ другой, дѣлаетъ очень смѣлый шагъ впередъ, предлагая допустить и простой русскій языкъ (т. е. языкъ народный, разговорный) въ число составныхъ частей, необходимыхъ для пополненія, усовершенствованія и оживленія книжной рѣчи. По поводу этого нововведенія, предлагаемаго Ломоносовымъ въ видахъ улучшенія нашего литературнаго языка и слога, не мѣшаетъ припомнить здѣсь, что еще въ XVI в. одинъ изъ грамотниковъ нашихъ писалъ, что слѣдуетъ „книжными рѣчами исправлять общенародныя рѣчи, а не книжныя народными обезчещивать“. Даже въ 1751 году, когда Тредіаковскій рѣшился подтвердить свои правила русскаго стихосложенія приведеніемъ нѣсколькихъ отрывковъ изъ народныхъ пѣсенъ, то подвергся за это самымъ энергическимъ осужденіямъ со стороны образованнаго большинства. И только при такомъ, чуждомъ всякихъ предрасудковъ, взглядѣ,

какой высказывает Ломоносовъ на языкъ народный, только при томъ правильномъ отношеніи русскаго книжнаго языка къ церковно-славянскому, какое было установлено Ломоносовымъ же, для русскаго литературнаго языка открывалась та блестящая будущность, какую отчасти предвидѣлъ уже и самъ Ломоносовъ, когда въ приношеніи своемъ къ „Грамматикѣ“ указывалъ свойства нашего языка, рѣшаясь ставить его во многихъ отношеніяхъ выше всѣхъ европейскихъ языковъ:

„Карлъ V, Римскій Императоръ“ — такъ пишетъ Ломоносовъ въ этомъ „приношеніи“ — „говаривалъ, что испанскимъ языкомъ съ Богомъ, французскимъ—съ друзьями, нѣмецкимъ—съ непріятелями, итальянскимъ—съ женскимъ поломъ говорить при-

лично. Но еслибъ онъ россійскому былъ искусенъ, то, конечно, къ тому присовокупилъ-бы, чтобы имъ со всѣми оными говорить пристойно. Ибо нашегъ-бы въ немъ великолѣпіе испанскаго, живость французскаго, крѣпость нѣмецкаго, нѣжность итальянскаго, сверхъ этого богатство и сильную въ изображеніяхъ краткость греческаго и латинскаго языка... Сильное краснорѣчіе Цицероново, великолѣпная Виргиліева важность, Овидіево пріятное вѣтѣйство не теряютъ своего достоинства на россійскомъ языкѣ. Тончайшія философскія воображенія и разсужденія, многоразличныя естественныя свойства и премѣны, бывшія въ семъ видимомъ строеніи міра и человѣческихъ обращеніяхъ, имѣютъ у насъ пристойныя и все-выражающія рѣчи“.



Село Денисовка, родина Ломоносова.

IV.

Сумароковъ — первый русскій литераторъ. — Первые драматическія произведенія его. — Основаніе русскаго театра въ Ярославѣ и въ столицѣ. — Біографическія подробности. — Сумароковъ, какъ драматургъ и сатирикъ.

Большою личностью Ломоносова заканчивается тотъ рядъ научно-литературныхъ дѣятелей, которые, какъ мы уже имѣли случай замѣтить выше, представляютъ собою особенность, исключительно свойственную эпохѣ преобразованій. Въ теченіе этой многознаменательной эпохи, литература и наука успѣли совершенно освободиться отъ опеки духовенства и монашества, но еще не успѣли вполне отдѣлиться другъ отъ друга и проявиться, какъ двѣ независимыя могучія общественныя силы. Только уже въ концѣ первой половины XVIII в. впервые появляются въ русскомъ обществѣ такіе дѣятели, которые рѣшаются, подобно Сумарокову, исключительно посвятить себя занятіямъ литературнымъ. Личность Сумарокова, по образованію и развитію, относится къ концу эпохи преобразованій; но, по характеру и направленію своей дѣятельности, онъ стремится всѣми силами выйти изъ того тѣснаго круга, который опредѣляла писателю эпоха преобразованій, отвергаетъ многія преданія ея, отзывавшіяся схоластицизмомъ XVII вѣка, и силится придать русскому писателю то значеніе, которымъ писатель уже издавна пользовался на Западѣ. Въ стремленіяхъ своихъ и усиленіяхъ, горячій и самонадѣянный Сумароковъ позабываетъ совершенно о недостаточности своего образованія, объ ограниченности средствъ своего таланта, о неразвитости окружающаго его большинства общества... Онъ забываетъ о своей личной неподготовленности, о своей неспособности занять съ достоинствомъ положеніе писателя, и доходитъ только до отрицанія всего, что совершается около него въ нашей литературѣ. И къ критикѣ литературной, и къ критикѣ общественныхъ нравовъ Сумароковъ при-

ступаетъ еще совершенно наивно, исходя изъ сознанія своей личной высоты нравственной и искренно вѣруя въ свою литературную гениальность. И вотъ, рядомъ съ Ломоносовымъ, который глубоко проникнуть сознаніемъ своего научнаго значенія и заслугъ своихъ предъ отечествомъ, является личность Сумарокова, его постоянного врага и литературнаго противника, который еще болѣе Ломоносова проникнуть созна-



Сумароковъ.

ніемъ своего важнаго значенія для Россіи. Но какъ бы ни казалась, сравнительно съ Ломоносовымъ, мала и маловажна личность Сумарокова, ни малѣйшему сомнѣнію не можетъ подлежать, что она уже носитъ на себѣ всѣ признаки наступленія новаго времени. Ломоносовъ представляетъ намъ, при всей своей гениальности, крайній предѣлъ того развитія, котораго могъ достигнуть

писатель въ Россіи въ концѣ эпохи преобразованій; а Сумароковъ, при всей незначительности своего образованія и ограниченности своего литературнаго таланта, все же является намъ настоящимъ представителемъ новаго и болѣе правильнаго взгляда на значеніе и положеніе писателя въ обществѣ. И если мы, приступая къ описанію эпохи преобразованій, рѣшили назвать Ѳ. Прокоповича „первымъ русскимъ свѣтскимъ писателемъ“: — совершенно въ такомъ же смыслѣ Сумароковъ долженъ быть, по нашему мнѣнію, названъ „первымъ русскимъ литераторомъ“, въ томъ общемъ значеніи, которое привыкли у насъ придавать этому слову.

Александръ Петровичъ Сумароковъ (род. 14 ноября 1717, умеръ 1 октября 1777 г.) по происхожденію относился къ высшему слою современнаго русскаго общества. Предки Сумарокова принадлежали къ одному изъ нашихъ старыхъ боярскихъ родовъ, и многіе изъ нихъ, состоя на службѣ при московскихъ государяхъ, пользовались даже нѣкоторымъ значеніемъ въ придворной средѣ. Отецъ Александра Петровича, Петръ Панкратьевичъ, крестникъ Петра Великаго, также успѣлъ дослужиться, въ эпоху преобразованій, до чина дѣйствительнаго тайнаго совѣтника, и скончался уже въ царствованіе Екатерины II (1766 г.). Обращаемъ вниманіе на эти подробности именно потому, что самъ Александръ Петровичъ придавалъ нѣкоторое значеніе своей родovitости, особенно когда сравнивалъ себя съ другими литературными дѣятелями своего времени. Мы мало знакомы съ первыми годами жизни Александра Петровича, его дѣтствомъ и домашнимъ воспитаніемъ. Знаемъ только, что родился онъ въ Вильманстрандѣ, гдѣ отецъ его находился на службѣ; что не ладилъ съ отцомъ, къ которому всегда относился очень непочтительно, хотя тотъ по мѣрѣ силъ снабжалъ его средствами къ жизни, и вообще былъ къ нему довольно добръ. На пятнадцатомъ году Сумароковъ вступилъ въ Сухопутный Шляхетный Кадетскій корпусъ, основанный по идеѣ фельдмаршала графа Минниха, въ 1730 году,

и предназначавшійся специально для того, чтобы молодые люди, приготавлившіеся къ военному званію, могли получать соотвѣствующее потребностямъ времени военное образованіе и нѣкоторый свѣтскій лоскъ. Трудно составить себѣ, по неимѣнію свѣдѣній, опредѣленное понятіе о томъ, чему именно и какъ обучали Сумарокова въ корпусѣ, тѣмъ болѣе, что его пребываніе въ этомъ заведеніи (съ мая 1732 г. по апрѣль 1740 г.) относится къ первымъ временамъ существованія корпуса. Опредѣленно можно сказать только то, что корпусъ, не смотря на свое, повидимому, специальное назначеніе, былъ въ началѣ второй четверти XVIII столѣтія почти единственнымъ въ Россіи учебнымъ заведеніемъ, въ которомъ можно было получить общее образованіе. Первоначально, по недостатку въ русскихъ преподавателяхъ, всѣ корпусные преподаватели выписывались даже изъ-за границы при посредствѣ Академіи Наукъ, черезъ публикацію въ иностранныхъ газетахъ. Въ сороковыхъ годахъ преподаваніе въ корпусѣ нѣкоторыхъ предметовъ производилось уже вѣроятно по-русски¹⁾; но въ началѣ существованія этой „рыцарской академіи“ (какъ тогда называли корпусъ) тамъ не могло быть ни одного учителя изъ русскихъ. По аттестату, полученному Сумароковымъ при выпускѣ изъ корпуса, также не оказывается никакой возможности получить опредѣленное понятіе объ уровнѣ свѣдѣній, вынесенныхъ имъ изъ этого заведенія, хотя въ немъ и значится подробно, что Александръ Петровичъ „въ геометріи обучилъ тригонометрію, экспликуетъ и переводитъ съ нѣмецкаго на французскій языкъ; въ исторіи универсальной окончилъ Россію и Польшу; въ географіи атласъ Гибнеровъ обучилъ; сочиняетъ нѣмецкія письма и ораціи, мораль Вольфскую до III главы второй части (прошелъ); имѣетъ начало въ итальянскомъ языкѣ“ и т. д. Однакоже нельзя отрицать того, что первое побужденіе къзанятіямъ литературнымъ появилось у Сумарокова вслѣдствіе вліянія корпусной обстановки. Повидимому, тамъ существовали какія-то условія, благоприятныя для развитія лите-

¹⁾ Такъ, напримѣръ, мы знаемъ, что въ 1746 году Ломоносовъ читалъ кадетамъ на русскомъ языкѣ лекціи по физикѣ, во время лѣтнихъ ваканцій.

ратурныхъ способностей, поощрялись и самыя занятія словесностью, къ которымъ охота поддерживалась между кадетами до такой степени, что впоследствии они даже образовали въ средѣ своей вѣчто въ родѣ небольшого литературнаго кружка, стали сами издавать журналъ, завели и свою домашнюю сцену, которая привлекала къ себѣ всеобщее вниманіе. Въ 1759—1760 гг. видимъ при корпусѣ даже особую типографію. И хотя все это уже явилось гораздо позже выхода Сумарокова изъ корпуса, однакоже первые зачатки такого пристрастія къ словесности и театру вѣроятно уже проявились въ первые времена существованія корпуса, потому что уже начиная съ 1735 г. вводится, напримѣръ, въ Сухопутномъ Шляхетномъ корпусѣ любопытный обычай ежегоднаго поднесенія Императрицѣ стихотворныхъ поздравленій съ наступающимъ новолѣтіемъ. Въ этихъ стихотворныхъ, syllабическими вѣршами написанныхъ, поздравленіяхъ „юность рыцарской академіи“ выражаетъ свои чувства основательницѣ корпуса, и нерѣдко украшаетъ свои аляповатыя, неуклюжія произведенія анаграммами и другими вышшими украшеніями, бывшими въ модѣ въ то время. Намъ сохранился, напримѣръ, отъ того періода слѣдующій любопытный отрывокъ этой кадетской поэзіи:

АННА буди здорова, отъ Бога памѣ дАННА
Новый годъ ти мирен дай Богъ и угоден
На побѣды силеН, земли плодороден
АННА ты намъ слава будь Богомъ сохрАННА.

Въ 1740 г. поднесены были Императрицѣ „поздравительныя оды отъ кадетскаго корпуса“, сочиненныя чрезъ Александра Сумарокова. Въ этихъ первыхъ печатныхъ стихотвореніяхъ своихъ Сумароковъ еще придерживается литературныхъ приѣмовъ старой школы и не имѣетъ понятія о новой формѣ русскаго стихосложенія, которая около этого времени вырабатывалась Тредіаковскимъ и Ломоносовымъ. Принимая въ соображеніе эти первые юношескіе стихотворные опыты Сумарокова, и въ особенности ихъ вышнюю форму, мы можемъ сильно не довѣрять тому, что онъ самъ говоритъ о самостоятельности зарожденія и развитія въ немъ литературнаго таланта: „Русскимъ языкомъ и чистотою склада и стиховъ,

и прозы не долженъ я никому, кромѣ себя, да долженъ я за первыя основанія въ русскомъ языкѣ отцу моему, а онъ тѣмъ Зейкену, который выписанъ былъ отъ Государя Императора Петра Великаго въ учителя къ господамъ Нарышкинымъ, и который послѣ былъ учителемъ Государя Императора, Петра Второго“. Для насъ не можетъ подлежать сомнѣнію съ одной стороны то, что первыя побужденія и поощренія къ занятію литературной дѣятельностью Сумароковъ получилъ именно въ корпусѣ; а съ другой стороны, что, по выходѣ изъ корпуса, во время своего перваго знакомства съ Ломоносовымъ, Сумароковъ несомнѣнно подчинился его влиянію, и подъ его руководствомъ усовершенствовался и въ языкѣ, и въ слогѣ, и въ стихотворствѣ; по его собственному признанію, онъ „тогда тонкость стопосложенія не зналъ“.

Въ 1740 году Сумароковъ, 22-хъ лѣтъ отъ роду, выпущенъ былъ изъ корпуса и поступилъ въ военную службу. Намъ точно также мало извѣстны первые шаги Александра Петровича на служебномъ поприщѣ, какъ и первые годы его дѣтства и юности. Достоверно только то, что, по своему происхожденію и образованію, онъ нашелъ себѣ доступъ въ высшее общество, въ которомъ особеннымъ успѣхомъ пользовался „нѣжная пѣсенки“ его сочиненія. Впоследствии, вѣроятно на основаніи этихъ же связей съ высшимъ современнымъ обществомъ, Сумарокову удалось попасть въ адъютанты къ знатнѣйшему изъ вельможъ Елисаветинскаго времени, графу Алексѣю Григорьевичу Разумовскому, при которомъ онъ довольно долго управлялъ лейбъ-кампанейскою канцеляріею и дослужился до чина бригадира. Вѣроятно чрезъ Разумовскаго Сумароковъ сталъ навѣстятъ Императрицѣ Елисаветѣ, а впоследствии даже и заслужилъ ея особенное благоволеніе своею усиленною литературною дѣятельностью для пополненія репертуара зарождающейся русской сцены, которую Елисавета приняла подъ свое личное покровительство. Весь первый періодъ литературной дѣятельности Сумарокова, во время пребыванія его въ военной службѣ, также остается для насъ до сихъ поръ довольно темнымъ, почти вплоть до появленія его первой трагедіи -- „Хоревъ“, въ 1747. Изъ времени, предшествующаго 1747 году,

мы знаемъ только то, что въ 1743 г. въ академической типографіи отпечатаны были „три парафрастическія оды“ Тредіаковскаго, Ломоносова и адъютанта Сумарокова, „подъ смотрѣніемъ Тредіаковскаго“. Знаемъ еще, что трагедія „Хоревъ“, напечатанная въ 1747 году, послѣ первыхъ своихъ представленій, обратила на себя въ такой степени вниманіе Императрицы, что она и Тредіаковскому, и Ломоносову, черезъ президента Академіи, приказала написать по трагедіи. Отъ слѣдующаго 1748 года намъ сохранилось любопытное свидѣніе о другой трагедіи Сумарокова — „Гамлетъ“ — въ бумагахъ Академической Канцеляріи. „Сего Октября 8-го числа“ — такъ гласитъ одинъ изъ ея документовъ — „Его Высокографскаго Сіятельства перваго камергера генерала аншефа Ея Императорскаго Величества оберъ-егеймейстера, лейбкампаніи капитана поручика, обонихъ російско-императорскихъ орденонъ, тако-жъ польскаго бѣлаго орла, и св. Анны кавалера, лейбгвардіи коннаго полку Г. Полковника Графа А. Г. Разумовскаго генеральскаго адъютанта Александръ Сумароковъ въ Канцелярію Академіи Наукъ внесъ сочиненія его „Гамлетъ“, трагедію скорописную, которую желаетъ при Академіи напечатать. Того ради опредѣлено: трагедію освидѣтельствовать профессорамъ Тредіаковскому и Ломоносову, не окажется ли въ оной чего касающагося кому до предосужденія, что-жъ касается до штилю, и оное имѣетъ такъ остаться, какъ оно написано“.

На это „Октября 11 числа профессоръ Ломоносовъ репортовалъ, что въ оной трагедіи по его мнѣнію нѣтъ ничего, что бы предосудительно кому было и могло бы напечатанію оной препятствовать“... Слѣдовательно, Ломоносову пришлось быть цензоромъ первыхъ произведеній Сумарокова.

Должно предполагать, что уже во время пребыванія въ корпусѣ Сумароковъ могъ присутствовать на одномъ изъ тѣхъ театральныхъ представленій, которыя нерѣдко давались при Дворѣ заѣзжими труппами иноземныхъ актеровъ. Тамъ, напримѣръ,

при самомъ вступленіи на престолъ Анны Іоанновны, при Дворѣ давала представленія труппа итальянскихъ актеровъ, присланная на время коронаціи въ Петербургъ изъ Дрездена Августомъ, королемъ польскимъ.

Въ 1735 году, по желанію Императрицы, которой очень понравились эти представленія, выписана была въ Петербургъ изъ-за границы другая труппа, въ которой были и актеры, и актрисы, и пѣвцы, и пѣвицы, такъ что представленія драматическія чередовались съ операми, впервые появившимися въ это время въ Россіи. Достоверно извѣстно, что „юность рыцарской академіи“ также принимала участіе въ тѣхъ балетахъ и интермедіяхъ, которыми одинъ разъ въ недѣлю эта новая труппа услаждала досуги скучающей Императрицы. Легко можетъ быть, что, вмѣстѣ съ другими кадетами, въ подобныхъ представленіяхъ и юный Сумароковъ бывалъ уже не только зрителемъ, но и участникомъ въ самомъ исполненіи ихъ на сценѣ. Въ царствованіе Елисаветы Петровны, страстно любившей всякія увеселенія, а въ особенности театры, мы видимъ въ Петербургѣ уже не одну, а двѣ труппы. Французская труппа пріѣхала въ самомъ началѣ царствованія Елисаветы. Съ директоромъ французской труппы, Серенъи, заключенъ былъ весьма выгодный для него контрактъ: онъ получалъ 25,000 р. въ годъ, и Дворъ, сверхъ того, снабжалъ труппу музыкантами, декораціями и свѣчами; директору оставалось озаботиться только о костюмахъ. Другая, итальянская труппа для балета и оперы-буффъ, съ директоромъ Локателли, пріѣхала въ Петербургъ уже подъ конецъ царствованія Елисаветы (1757 года), и, по свидѣтельству современниковъ, представленія ея могли быть поставлены на ряду съ лучшими, какія можно было видѣть въ то время въ Парижѣ или въ Италіи ¹⁾.

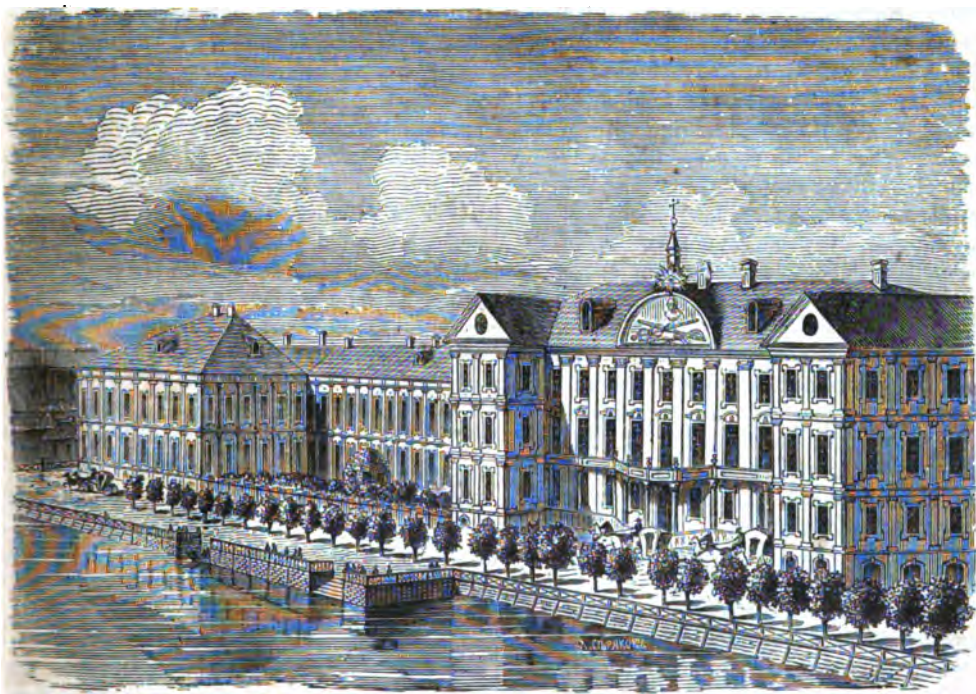
Положеніе итальянской труппы было исполнѣе обезпеченное; Локателли за входъ въ театръ бралъ со всѣхъ по рублю; за наемъ ложи на годъ платили ему до 300 р.; сверхъ того получалъ онъ еще и щедрые

¹⁾ Представленія этой труппы происходили на старомъ придворномъ театрѣ, близъ Лѣтнаго сада. Первая же французская труппа, до 1749 года, играла въ одномъ изъ флигелей дворца, а потомъ во вновь построенномъ деревянномъ театрѣ (около Полицейскаго моста, на мѣстѣ нынѣшняго д. Елисева).

подарки отъ Императрицы ¹⁾. Что же касается французской труппы, то она въ такой степени пользовалась благоволеніемъ Императрицы Елисаветы Петровны, что посѣщеніе ея представленій для всѣхъ придворныхъ и высшихъ служащихъ лицъ считалось даже обязательнымъ. Извѣстно, что когда, однажды, на французскую комедію явилось мало зрителей, то въ тотъ же вечеръ разосланы были ѣздовые къ богѣ значительнымъ лицамъ съ запросомъ,

почему они не были, и съ увѣдомленіемъ, что впредь, за непріѣздъ въ театръ, полиція будетъ каждый разъ взыскивать съ непріѣхавшаго по 50 рублей штрафа!

Подъ вліяніемъ знакомства съ модной въ то время у насъ французской драматической литературой, а съ другой стороны, подъ впечатлѣніемъ игры французской труппы, Сумароковъ, въ подражаніе французской ложно-классической трагедіи, написалъ „Хорева“, который былъ напечатанъ



Сухопутный Шляхетный Кадетскій корпусъ.

въ 1747 году. Слѣдовательно, первая русская драма приготовлялась къ выходу въ свѣтъ около того самого времени, когда незамѣтно ни для кого, въ провинціальномъ захолустьѣ, среди простой купеческой семьи, зарождалась мысль объ основаніи русскаго народнаго театра, приготовлялась сцена, на которой впервые предстояло выступить русскимъ актерамъ и разыграть первую оригинальную русскую драму. Такое совпаденіе обстоятельствъ можно считать особенно счастливымъ именно потому, что попытка

Сумарокова должна была-бы остаться совершенно безплодною, если-бы неожиданное появленіе отдѣльной русской труппы и постоянной русской сцены въ Ярославлѣ не поддержало его энергіи и не побудило его къ усиленной, плодотворной литературной дѣятельности, послужившей основаніемъ нашей драматической литературы.

Появленіе русской труппы и постояннаго театра въ Ярославлѣ, основаннаго усиліями Θεодора Григорьевича Волкова, стояло въ довольно тѣсной связи съ

¹⁾ Въ первый же годъ по прибытіи его въ столицу, Императрица подарила ему 5,000 руб.

тѣми же самыми впечатлѣніями, которыя и Сумарокова привели къ попыткѣ написать первую русскую трагедію. Дѣло въ томъ, что Ѳ. Г. Волковъ (р. 1729 г., ум. 1763 г.), сынъ костромскаго купца, послѣ смерти отца своего поселившійся въ Ярославль, хотя и воспитался въ Московской славяно-греко-латинской Академіи, и вѣроятно даже принималъ участіе въ представленіи духовныхъ драмъ, которыя тамъ служили обычнымъ упражненіемъ для воспитанниковъ, однакожь мысль объ основаніи театра въ Ярославль явилась у него не прежде 1746 года, когда этому талантливому юношѣ, во время его пребыванія въ Петербургѣ, удалось увидѣть представленія тамошнихъ иностранныхъ труппъ. По возвращеніи въ Ярославль, онъ собралъ около себя небольшую труппу изъ своихъ же сверстниковъ и подъячихъ, и въ кожевнномъ сараѣ своего вотчина, на скорую руку обращенномъ въ театръ, разыгралъ передъ удивленными ярославцами драму „Эсепиръ“. При помощи любителей изъ купечества и пользуясь съ одной стороны особымъ покровительствомъ ярославскаго намѣстника, Мусинъ-Пушкина, а съ другой — щедрою помощью богатаго тамопняго помѣщика, Майкова, Ѳ. Г. Волковъ завелъ наконецъ въ Ярославль свой собственный, особый, изрядно-устроенный театръ, вмѣщавшій въ себя около 1000 зрителей. Здѣсь-то сталъ онъ разыгрывать только-что появившіяся тогда драматическія сочиненія Сумарокова, а также и свои собственные переводы и подражанія иностраннымъ образцамъ, такъ какъ ему при своемъ театрѣ приходилось быть и директоромъ, и авторомъ, и декораторомъ, и машинистомъ. Благодаря его собственной талантливости, и труппа около него сложилась очень удачно: явились актеры способные и страстно приверженные къ сценѣ — Дмитревскій, Шумскій, Иконниковъ, братья Поповы, и т. д. Около пяти лѣтъ существовалъ уже ярославскій театръ, когда слухи о вольной ярославской труппѣ достигли столицы, гдѣ въ это время единственными исполнителями трагедій Сумарокова являлись кадеты и офицеры Шляхетнаго корпуса, игравшіе то на своей домашней сценѣ, то въ покояхъ Императрицы. Труппа Волкова, по Высочайшему повелѣнію, была выписана изъ Ярославля, и показала все свое искусство

на дворцовой сценѣ, гдѣ ею разыграны были въ присутствіи Императрицы и Двора: „Хоревъ“, „Гамлетъ“, „Сннавъ и Труворъ“, „Каюшійся Грѣшникъ“. Это происходило въ 1752 году. По желанію Императрицы, способнѣйшіе представители ярославской труппы были оставлены въ столицѣ и отданы въ „рыцарскую академію“ для обученія языкамъ и словесности. Ровно черезъ четыре года послѣ того, Высочайшимъ указомъ Сенату, 30 августа 1756 года, существованіе русскаго театра было признано и прочно установлено; директоромъ театра назначенъ былъ Сумароковъ, который, повидимому, уже п задолго до этого времени (съ 1750 года) завѣдывалъ при Дворѣ всѣми русскими представленіями: — и литературною, и хозяйственною частью ихъ. Въ должности директора театра онъ оставался до 1761 года, и это пятилѣтіе составляетъ положительный переломъ въ біографіи Сумарокова. Довольно обширная переписка его съ Шуваловымъ, относящаяся именно къ этому времени, представляетъ драгоценный матеріалъ для характеристики Сумарокова и современной ему эпохи.

Въ „Московскихъ Вѣдомостяхъ“, 1755 года 11 октября, напечатано было слѣдующее извѣстіе изъ С.-Петербурга: „Ея Императорское Величество изволила указать для умноженія драматическихъ сочиненій, коп на російскомъ языкѣ при самомъ началѣ справедливую хвалу отъ всѣхъ имѣли — установить російскій театръ, котораго дирекція поручена бригадирѣ Сумарокову“. Въ этой простой публикаціи для насъ чрезвычайно характеристическою чертою является именно то, что театръ основанъ „для умноженія драматическихъ сочиненій“, вслѣдствіе чего, вѣроятно, по наивнымъ воззрѣніямъ современной эпохи на литературу, и самое управленіе театра могло быть поручено только такому человеку, который несомнѣнно способенъ былъ „умножить количество драматическихъ сочиненій“. И дѣйствительно, даже и самъ Сумароковъ не иначе понималъ свое назначеніе директоромъ театра, какъ съ непремѣннымъ обязательствомъ постоянно занимать сцену своими драматическими сочиненіями. Неоднократно жалуется онъ въ своихъ письмахъ Шувалову на то, что хлопоты и неудовольствія по управленію теат-

ромъ и постановкѣ пьесъ мѣшаютъ ему писать для сцены и обновлять репертуаръ ея новыми своими произведеніями. Сверхъ того, и послѣ увольненія своего отъ должности директора театра, Сумарковъ все еще состоялъ въ нѣкоторыхъ обязательныхъ отношеніяхъ къ нему по званію драматическаго писателя.

Однакоже, новая должность директора русскаго театра въ столицѣ оказалась сопряженною съ еще гораздо большими затрудненіями, нежели та же должность въ провинціи. О. Г. Волковъ, какъ мы замѣтили выше, былъ для своей ярославской труппы и директоромъ, и авторомъ, и декораторомъ, и машинистомъ. Сумаркову — сверхъ всѣхъ этихъ должностей — пришлось на себя принять еще и многія другія, и притомъ постоянно нуждаться въ средствахъ на содержаніе труппы, на покрытіе издержекъ, необходимыхъ для сценической обстановки, и очень часто — даже въ помѣщеніи, такъ какъ опредѣленнаго мѣста и опредѣленнаго времени для представленій русской труппы не было. Актеры Сумаркова играли то на французскомъ, то на итальянскомъ театрѣ въ тѣ дни, когда эти театры не были заняты иностранными труппами — большею частью по четвергамъ ¹⁾. Затруднительное положеніе труппы значительно ухудшалось еще тѣмъ, что для каждаго представленія необходимо было получить особое разрѣшеніе отъ гофмаршала, а это разрѣшеніе иногда приходило только наканунѣ представленія, даже послѣ полудня. Часто случалось, что при этомъ разрѣшеніи присылалось и уведомленіе о томъ, что музыки отъ Двора не будетъ, такъ какъ придворные музыканты наканунѣ играли въ маскарадѣ и устали. Тогда ужъ Сумаркову приходилось самому приспосабливать другихъ музыкантовъ, и эти хлопоты прибавлять ко множеству другихъ, которыя и безъ того уже на немъ тяготѣли. При такомъ весьма неопредѣленномъ и нерѣдко бѣдственномъ положеніи русской труппы, сборы за представленія ея, конечно, не могли быть значительны; а, потому и не удивительно, что положеніе директора, который часто нуждался въ самомъ необходимомъ (напримѣръ, въ костю-

махъ для дѣйствующихъ лицъ) и тѣмъ не менѣе долженъ былъ нести на себѣ за все отвѣтственность — такое положеніе могло подчасъ становиться невыносимымъ. Очень живо рисуется намъ это положеніе въ одномъ изъ писемъ Сумаркова къ Шувалову, въ которомъ онъ пишетъ между прочимъ:

„Я все бы исправилъ, ежели-бы была возможность, а сегодня, послѣ обѣда зачавъ, до завтра я не знаю, какъ передѣлать... Подумайте, Милостивый Государь, сколько теперь еще дѣла: — нанимать музыкантовъ, покупать и разливать приказать воскъ, дѣлать публичаціи по всѣмъ командамъ, дѣлать репетиціи и проч., посылать по статистовъ, посылать къ машинисту, дѣлать распоряжѣнія о пропускѣ, посылать по карауль; а людей только два копенста: — они копенсты, они разсылщики, они портіеры... Богъ мой молитвы за грѣхи мои не приемлетъ, и къ кому я ни адресуюсь — всѣ говорятъ, что де руской театръ партикулярный ²⁾; ежели партикулярный, такъ лучше ничего не представлять... разрушить театръ, а меня отпустить куда-нибудь на воеводство или посадить въ какую коллегію: я грабить родъ человѣческій научиться легко могу, а профессоръ этой науки довольно... Лучше быть подъячимъ, нежели стихотворцемъ“ (20 мая, 1758).

Такое партикулярное положеніе русскаго театра особенно тяготило Сумаркова, по сравненію съ двумя другими труппами, французской и итальянской, которыя пользовались совершенно-обезпеченнымъ положеніемъ, и, на основаніи весьма подробныхъ и выгодныхъ контрактовъ, сверхъ опредѣленнаго помѣщенія, пользовались отъ Двора и освѣщеніемъ и музыкой. Директоры этихъ труппъ жили безбѣдно и не знали тѣхъ безчисленныхъ хлопотъ, въ которыхъ приходилось погрязать бѣдному Сумаркову. „Ежели-бы Ваше Превосходительство“, — пишетъ онъ въ одномъ изъ писемъ своихъ къ Шувалову — „изволили когда обстоятельно выслушать о неудобствахъ театра... Вы бы удивились, сколько я по театру трудностей преодолѣваю; Вы бы сами обо мнѣ пожалѣли. Сто-бы разъ для всего лучше было, ежели-бы однажды всему театру положено было

¹⁾ По праздникамъ русскихъ спектаклей не бывало. — ²⁾ Партикулярный — т. е. не казенный, не придворный.

основаніе¹⁾; я бы имѣлъ къ театральному сочиненію и къ управленію больше способнаго времени, мысли-бы мои были яснѣе и силы-бы мои бесполезно не умалились, и время-бы оставшее употребилъ я себѣ на отдохновеніе, которое стихотворцу весьма потребно⁴.

Сверхъ всѣхъ этихъ неудобствъ, Сумаркову приходилось безпрестанно бороться съ препятствіями со стороны цензуры, которая являлась въ лицѣ гофмаршала, графа К. Е. Сиверса, съ 1759 года отправлявшаго прокурорскую должность при русскомъ театрѣ и обязаннаго наблюдать за правильнымъ ходомъ всего учрежденія. Графъ Сиверсъ находился постоянно во власти чиновниковъ, служившихъ подъ его начальствомъ, и вѣроятно склоненъ былъ во всемъ имъ довѣрять, а Сумарковъ, уже по самому характеру своему ни съ кѣмъ не уживавшійся, болѣе всего ненавидѣлъ „подъячихъ и ихъ козни“, и смотрѣлъ на всѣ продѣлки ихъ съ неумолнимою суровостью. Отношенія его къ „подъячимъ“ и къ графу Сиверсу кончились тѣмъ, что онъ былъ, послѣ очень крупныхъ несправедливостей, отставленъ отъ должности директора театра въ апрѣлѣ 1761 г... съ пожизненною пенсіею по двѣ тысячи рублей въ годъ.

Незадолго до этого времени, въ „Трудобивной Пчелѣ“ — небольшомъ сатирическомъ журналѣ, который Сумарковъ издавалъ около года, въ 1759 г.—онъ самъ отзывался о своихъ заслугахъ для русскаго театра и о своихъ отношеніяхъ къ Сиверсу слѣдующимъ характеристическимъ и безцеремоннымъ образомъ: „Что только видѣли Аѳины и видятъ Парижъ, и что они по долгому увидѣли времени, ты нынѣ то вдругъ, Россія, стараніемъ моимъ увидѣла. Въ то самое время, въ которое возникъ, приведенъ и въ совершенство въ Россіи театръ твой, Мельпомена! Всѣ я преодолѣлъ трудности, всѣ преодолѣлъ препятствія. Наконецъ, видите вы, любезные мои сограждане, что ни сочиненія мои, ни актеры вамъ стыда не приносятъ, и до чего въ Германіи многими стихотворцами не достигли, до того я одинъ, и въ такое еще время, въ которое у насъ науки словесныя только начинаются, и нашъ языкъ едва чистится

началъ, однимъ своимъ перомъ достигнуть могъ. Лейпцигъ и Парижъ, въ тому свидѣтели, сколько единой моею трагедіею скорый переводъ чести мнѣ сдѣлалъ! Лейпцигское ученое собраніе удостоило меня (избрать) своимъ членомъ, а въ Парижѣ вознесли мое имя въ чужестранномъ журналѣ, коимъ возможно; а я выше еще драматическими моими сочиненіями хотѣлъ вознестися; но скажу словами Апостола Павла: „дадеся мнѣ цѣлостникъ ангелъ сатанинъ“, который мнѣ пакости дѣлаетъ: да не превозношуся. Озабоченный мною родъ подъячійскій, которымъ вся Россія озабочена, извергъ на меня самаго безграмотнаго изъ себя подъячаго и самаго скареднаго крючкотворца“...

Этотъ любопытный отрывокъ, такъ ясно обрисовывающій намъ характеръ Сумаркова, — самонадѣянный, заносчивый, суетный и безпокойный — въ то же время не менѣе ясно рисуетъ намъ и тотъ періодъ нашей литературы, когда каждый, хоть сколько-нибудь видный, дѣятель литературный, при неразвитости литературы и журналистики, такъ легко заражался высокомернымъ взглядомъ на свою дѣятельность, такъ часто и пространно способенъ былъ говорить о своихъ трудахъ и выставлять на показъ свои литературныя заслуги отечеству... При такомъ взглядѣ на занятія литературныя, всякое, даже весьма снисходительное сужденіе о произведеніяхъ того или другаго писателя уже должно было казаться ему оскорбленіемъ, и никакая критика еще не оказывалась возможною. И Тредіаковскій, и Ломоносовъ одинаково оскорблялись всякими отзывами (кроме хвалебныхъ) о ихъ сочиненіяхъ; еще болѣе оскорблялся Сумарковъ ихъ критикою на свои сочиненія, тѣмъ болѣе, что, какъ писатель молодой, да притомъ еще и неприндадежавшій къ академическому кружку, онъ поставленъ былъ въ нѣкоторую зависимость отъ Ломоносова, какъ отъ цензора и официального цѣнителя его литературной дѣятельности. Непримиримая литературная вражда Сумаркова и Ломоносова тѣмъ болѣе является любопытною, что цѣлп, къ которымъ они стремились, были очень близки: они оба хотѣли принести посильную пользу отече-

¹⁾ Сумарковъ намекаетъ здѣсь на проектъ объ устройствѣ театра, поданный имъ, и въ которомъ онъ, вѣроятно, требовалъ независимаго и обезпеченнаго положенія для русской сцены и русской труппы.

ственной литературѣ, оба возмущались сильнымъ преобладаніемъ иноплемениковъ въ дѣлѣ русской науки, оба старались очистить русское общество отъ всякихъ подражательныхъ стремленій и указать ему самобытный путь развитія—и, при всемъ этомъ, постоянно были непримиримыми врагами. Надобно однакоже отдать справедливость Сумарокову, что хотя онъ и очень рѣзко отзывался о Ломоносовѣ въ письмахъ къ Шувалову и другимъ, хотя онъ иногда въ запальчивости своей противъ Ломоносова доходилъ даже до площадной брани, но все же, въ минуты хладнокровія и спокойствія (правда, очень рѣдкія), бывалъ безпристрастенъ по отношенію къ своему противнику и отдавалъ должную справедливость его таланту. Что же касается Ломоносова, то онъ относился къ Сумарокову съ замѣчательнымъ жестокосердіемъ и безпощадностью чловѣка, глубоко проникнутаго сознаниемъ своего высокаго нравственнаго превосходства. Онъ вредилъ Сумарокову во всемъ, въ чемъ могъ вредить, и вредилъ чрезвычайно послѣдовательно, то мѣшаясь въ его счеты съ академической типографіей, то непомѣрно строго цензуруя его сочиненія Горькимъ сознаниемъ безсилія и ожесточеніемъ бѣдностью отзываються жалобы Сумарокова на Ломоносова въ письмахъ къ Шувалову.

Нѣкоторая подчиненность Ломоносову, нѣкоторая зависимость отъ него во многихъ отношеніяхъ, вѣроятно, потому были особенно тягостны для Сумарокова, что къ концу царствованія Елисаветы онъ приобрѣлъ дѣйствительно очень громкую извѣстность литературную, и если не превзошелъ Ломоносова своими „литературными заслугами“, то почти приравнялся къ нему, какъ писатель общественный и какъ придворный стихотворецъ. Современные цѣнители произведеній русской литературы въ концѣ 50-хъ и началѣ 60-хъ годовъ прошлаго столѣтія даже открыто дѣлились на два лагеря: на поклонниковъ лиры Ломоносова и на поклонниковъ лиры Сумарокова; и если во главѣ первой партіи являлись Шуваловы, Воронцовы и сама Императрица Елисавета, то во главѣ второй виднѣя Екатерина (тогда еще великую княгиню) и ея приверженцы. Съ своей стороны, Сумароковъ былъ также горячо преданъ Екатеринѣ, и дока-

залъ свою преданность ей еще до ея вступленія на престолъ. Такъ, въ 1758 г., Сумароковъ оказывается замѣшанъ въ опасномъ дѣлѣ канцлера графа Бестужева, по которому онъ подвергается большимъ неприяностямъ и допросу, а въ 1759 году—посвящаетъ Екатеринѣ свой журналъ „Трудолюбивую Пчелу“, и въ такое именно время, когда подобныя доказательства уваженія и преданности къ великой княгинѣ могли навлечь на поэта нерасположеніе Елисаветы. За то и Екатерина, вступивши на престолъ, счужѣла доказать свое расположеніе и признательность Сумарокову не только наградами и частыми денежными пособіями, но вниманіе къ его нескончаемымъ нуждамъ, но еще болѣе—своею мягкою снисходительностью къ слабостямъ и недостаткамъ желчнаго и раздражительнаго поэта, своимъ спокойнымъ и терпѣливымъ разборомъ тѣхъ безчисленныхъ жалобъ, прошеній, предложеній и писемъ, которыми осыпалъ Императрицу Сумароковъ въ послѣдніе годы своей жизни. Эти послѣдніе годы жизни поэта такъ богаты фактами, характеризующими личность поэта и его время, и притомъ въ такой степени полно представлены сохранившеюся намъ перепискою Сумарокова съ Екатериной и окружавшими ея лицами, что здѣсь нельзя, хотя кратко, не упомянуть о важнѣйшихъ фактахъ послѣдняго десятилѣтія жизни Александра Петровича.

Проживъ нѣсколько лѣтъ въ отставкѣ, безъ всякаго опредѣленнаго занятія, въ Петербургѣ, и, вѣроятно, скучая бездѣйствіемъ, оупущая сильнѣйшее желаніе вновь возвратиться къ своей прежней дѣятельности по управленію театромъ, Сумароковъ, въ началѣ 1767 г., вынужденъ былъ отправиться въ Москву, для раздѣла наслѣдства, которое осталось послѣ смерти его отца. Не слѣдуетъ забывать, что ему тогда уже шелъ 49 годъ: онъ былъ давно женатъ, и дѣти у него были уже на возрастѣ. Несмотря на это, онъ велъ себя до такой степени нецелово при раздѣлѣ, относился съ такою яростію ко всѣмъ участникамъ его, что старушка-мать, подвергавшаяся отъ него величайшимъ оскорбленіямъ, обратилась наконецъ съ прошеніемъ на Высочайшее имя, умоляя Императрицу защитить ее отъ „злодѣйскихъ и дерзкихъ поступковъ сына“.

Несмотря на то, что Екатерина незадолго передъ тѣмъ выразила свою благосклонность къ преданному поэту довольно крупной наградой ¹⁾, она пришла въ сильнѣйшее негодование, вступилась за оскорбленную мать и приказала объявить Сумарокову, что съ нимъ поступлено будетъ такъ, „какъ мать его пожелаетъ, если онъ не испроситъ у нея помилованія“. Сумароковъ смирился и, конечно, былъ помилованъ матерью, и тотчасъ послѣ того съ усиленнымъ рвеніемъ принялся за поэтическую дѣятельность, вѣроятно добиваясь того, чтобы и сама Императрица забыла о непріятной исторіи его съ матерью. Но въ Петербургѣ ему не жилось.

Въ январѣ 1769 года онъ обращается съ письмомъ къ графу Григорію Григорьевичу Орлову, и въ немъ, прося о выдачѣ ему тѣхъ 2000 р., которые были еще въ 1761 году задержаны изъ его жалованья бывшимъ его начальникомъ по театру, Сиверсомъ, въ то же самое время сообщаетъ, что хочетъ поселиться окончательно въ Москвѣ „яко въ отечествѣ Россійскаго дворянства“.

Вскорѣ послѣ этого желаніе его было исполнено, деньги ему выданы, и, сверхъ того, Императрица, благосклонно принявши при письмѣ присланную ей Сумароковымъ новую трагедію (недавно вышедшаго въ свѣтъ „Вышеслава“), приказала ему выдать 1000 р. изъ Кабинета на дорогу и пріѣхать на другой день (5 марта 1769) ей откланяться ²⁾. Раннею весною Сумароковъ переѣхалъ въ Москву, гдѣ и поселился, и жилъ до самой своей смерти.

Незадолго до своего поселенія въ Москвѣ Сумароковъ, послѣ десятилѣтняго перерыва, снова возвратился къ тому роду литературной дѣятельности, который, собственно говоря, и составилъ главнѣйшимъ образомъ его славу, какъ писателя. Съ 1768 г. онъ опять началъ писать для театра. Изъ-подъ его пера около этого времени, одна за другою, выходять сначала трагедія „Вышеславъ“, потомъ комедіи: „Приданое

обманомъ“, „Ихонмецъ“, „Три брата совѣстника“, „Ядовитый“ и „Нарциссъ“. Интересъ къ сценѣ, къ которой Сумароковъ такъ охладѣлъ-было одно время, явно возбуждается въ немъ вновь, и чуть-ли еще не съ большею силою, нежели прежде: онъ не только сочиняетъ и переводитъ для сцены, не только тотчасъ по пріѣздѣ въ Москву принимаетъ участіе въ хлопотахъ объ устройствѣ частнаго театра въ Москвѣ, но и вступаетъ изъ-за отношений къ сценѣ въ препирательство съ новымъ директоромъ театра И. в. Перф. Елагинымъ, и даже занимается рѣшеніемъ общихъ вопросовъ по теоріи драмы ³⁾. Наконецъ, вскорѣ послѣ переселенія въ Москву, Сумароковъ начинаетъ трудиться надъ сочиненіемъ своей новой трагедіи: „Дмитрій Самозванецъ“, которой придаетъ почему-то особенно важное значеніе въ ряду своихъ произведеній.

Но житье въ Москвѣ не надолго успокоило тревожнаго поэта. Вскорѣ, несмотря на покровительство многихъ сильныхъ патროновъ, не смотря на явное снисхожденіе со стороны Императрицы, Сумароковъ, задѣтый въ своемъ авторскомъ самолюбіи и недовольный отношеніями къ директору московской труппы, успѣваетъ со всѣми перессориться и сдѣлать себѣ жизнь невыносимою. Къ ссорамъ и тяжбамъ присоединяются и другого рода невзгоды: болѣзни, бывшія слѣдствіемъ невоздержаннаго употребленія крѣпкихъ напитковъ, тревога отъ страшной московской чумы, и болѣе всего — нужда, преслѣдовавшая несчастнаго поэта въ теченіи всей его безпорядочной, суетливой и безалаберной жизни. Хотя одинъ изъ послѣднихъ годовъ жизни Сумарокова, — а именно 1774 — и принадлежалъ къ числу плодотвѣйшихъ въ его обширной литературной дѣятельности, однакоже нельзя не замѣтить по всѣмъ сохранившимся до насъ свѣдѣніямъ, что бѣдный поэтъ болѣе и болѣе опускается, погрязая въ мелочахъ и дрязгахъ своей московской жизни, чаще и

¹⁾ Въ началѣ 1767 года Сумароковъ, тогда уже дѣйствительный статскій совѣтникъ, получилъ Анненскую ленту. — ²⁾ Лонгиновъ. Послѣдніе годы жизни Сумарокова. Русск. Арх. 1871, стр. 1659. —

³⁾ Къ этому времени относится его знаменитое письмо къ Вольтеру о вредѣ новаго, недавно появившагося во Франціи рода — драмъ собственно или такъ называемыхъ *comédies larmoyantes* (слезныхъ комедій). Отвѣтомъ на это письмо, уклончивымъ и любезнымъ, Вольтеръ совѣтъ окружилъ голову бѣдному Сумарокову.

чаще начинает досажать Императрицѣ сѣтованіями на свою нужду, жалобами на окружающих и на судьбу, жалкимъ самохвальствомъ и докучнымъ напоминовеніемъ о томъ значеніи, которое за нимъ признаютъ даже въ Европѣ. Екатерина, по ея собственному выраженію, бомбардируема я письмами Сумарокова, сначала предоставила переписку съ нимъ одному изъ своихъ секретарей (Козицкому), потомъ обращалась къ московскому губернатору съ порученіемъ „выслушивать бредни г. Сумарокова и если ему досугъ, — стараться-бы ихъ обратить въ общую пользу“. Наконецъ и Екатерина увидѣла себя вынужденной предоставить бѣднаго поэта его горькой судьбинѣ. Покинутый и забытый всѣми, Сумароковъ окончательно спился съ кругу и значительно сократилъ свою жизнь этимъ несчастнымъ порокомъ. Послѣ смерти его не осталось денегъ даже и на погребеніе; московскіе актеры схоронили его на свой счетъ и на рукахъ снесли его гробъ до Донскаго монастыря. На могилѣ его не было поставлено памятника и она осталась неизвестна потомству.

Всѣхъ произведеній, написанныхъ Сумароковымъ для сцены, — трагедій и комедій, — двадцать шесть; изъ числа ихъ трагедій — „Хоревъ“, „Гамлетъ“, „Синавъ и Труворъ“, „Артистона“ и „Семира“ — были написаны до основанія театра; а „Ярополкъ и Димиза“, „Вышеславъ“, „Дмитрій Самозванецъ“ и „Мстиславъ“ — послѣ его основанія. „Семира“ считалась вѣнцомъ славы Сумарокова, а въ числѣ комедій — „Трессотниусъ“ обращала на себя особенное вниманіе современниковъ характеромъ главнаго дѣйствующаго лица, въ которомъ всѣ узнавали осмѣяннаго авторомъ творца „Телемахида“. Всѣ эти драматическія сочиненія Сумарокова представляютъ собою лишь весьма слабыя подражанія французскимъ образцамъ ложно-классической драмы. Отличительною чертою этой формы являлось стѣсненіе драматическаго дѣйствія вовсе ненужными на новѣйшей европейской сценѣ единствами: времени, мѣста и дѣйствія; съ другой стороны, особенностью внутренняго склада ложно-классической драмы оказывалось то, что она вообще выводила на сцену не живыхъ людей, съ окружающими ихъ возможными, дѣйствительными обстоятельствами и пре-

пятствіями, а одни отдѣльные, отвлеченныя свойства человѣческой души, отдѣльныя черты характера олицетворяла въ видѣ извѣстныхъ героевъ и героинь и ставила въ разныя, болѣею частью необыкновенныя, чрезвычайныя положенія. Авторы ложно-классическихъ трагедій, на основаніи этого взгляда на драматическое дѣйствіе и характеры, совершенно пренебрегали историческою обстановкою дѣйствія, связью дѣйствій и характеровъ съ историческою дѣйствительностью извѣстной эпохи. На этомъ основаніи они не только рѣшались почерпнуть сюжеты для своихъ трагедій изъ такихъ эпохъ, которыя были и весьма мало извѣстны, и плохо разработаны: но даже весьма охотно обращались за сюжетами къ темному, героическому періоду классической древности. Само собою разумѣется, что всѣ герои ложно-классической драмы французской, — не смотря на свои греческія и римскія имена, не смотря на то, что, по этимъ именамъ, ихъ можно было отнести къ той или другой исторической эпохѣ — являлись на сцену безличными олицетвореніями отвлеченныхъ пороковъ или добродѣтелей. Мало того: всѣ эти герои являлись на сценѣ подчиненными свѣтскимъ обычаямъ, приличіямъ и предразсудкамъ французскаго общества конца XVII и начала XVIII вѣка. Тѣ же самые безличные герои ложно-классической трагедіи явились и въ трагедіяхъ Сумарокова на русской сценѣ, и ихъ французскій характеръ, ихъ французскія воззрѣнія и французскій способъ дѣйствій нисколько не измѣнились отъ того, что Сумароковъ далъ имъ имена полудиаволическихъ Хоревовъ или темныхъ, малоизвѣстныхъ исторій Синавовъ и Труворовъ. При томъ же, все совершалось въ области ложно-классической драмы до такой степени правильно, что даже непосредственное столкновеніе съ историческою дѣйствительностью памятниковъ извѣстной эпохи не въ силахъ было оживить блѣдые, безжизненные, отвлеченные образы, выводимые на сцену подъ разными историческими именами. Такъ, напримѣръ, мы знаемъ, что Сумароковъ читалъ записки Маржерета, когда писалъ своего „Дмитрія Самозванца“ и это чтеніе записокъ современника, живо рисующаго намъ начало смутнаго времени, все же не прибавило ни одной живой черты къ тому отвлеченному, неестественному типу

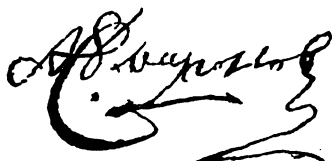
алодѣя, какимъ Самозванецъ представлялся Сумарокову, на основаніи ложно-классическихъ понятій о созданіи драматическаго характера.

Не смотря на то, что Сумароковъ придавалъ важное значеніе своимъ драматическимъ произведеніямъ, не смотря на то, что большую половину жизни онъ посвятилъ почти исключительно театру и постоянно называлъ „Мельпомену своею любимую музою“—онъ все же не былъ писателемъ драматическимъ. Драматическія произведенія Сумарокова, въ обширной массѣ его сочиненій, составляютъ даже не очень значительную долю ихъ, и при томъ, относятся, конечно, къ такимъ, которыя утратили положительно всякое значеніе для потомства, хотя Сумароковъ болѣе всего и рассчитывалъ прославиться именно своими драматическими произведеніями. Рядомъ съ его драмами и комедіями слѣдуетъ, безъ сомнѣнія, поставить и большую часть его „Эпическихъ и лирическихъ произведеній“,—эклоги, идилліи, элегии, оды торжественныя, оды разныя, оды вздорныя и т. п. Въ этихъ произведеніяхъ нѣтъ ничего оригинальнаго; это все только слабыя и безцвѣтныя подражанія не менѣе безцвѣтнымъ образцамъ сентиментальной и однообразной французской лиро-эпической поэзіи XVII столѣтія. Большая часть этихъ произведеній явилась на свѣтъ Божій въроятно вслѣдствіе стремленія Сумарокова угодить публикѣ, замѣчательно склонной къ сентиментализму, и, кромѣ того, блеснуть обиліемъ и разнообразіемъ формъ, въ которыя онъ умѣлъ облекать невѣтливое и немудреное содержаніе. По всѣмъ вѣроятіямъ, лиро-эпическія произведенія Сумарокова нравились публикѣ и читались ею съ удовольствіемъ, потому что иначе мы и не могли-бы объяснить себѣ необычайной плодovitости Сумарокова. Въ собраніи сочиненій его видимъ около 80 одъ, 39 элегій, 76 эклогъ, 151 пѣсню, и, сверхъ того, множество другихъ мелкихъ лирическихъ произведеній: стансовъ, сонетовъ, мадригаловъ, эпитафій, надписей... Но вся эта масса стиховъ, повторяемъ, можетъ служить только доказательствомъ неразборчивости вкуса и со стороны автора, и со стороны публики: общество (особенно молодое поколѣніе) съ жадностью хваталось за все, что могло развлечь и позабавить его, удовлетворить не-

давно разившейся въ немъ потребности къ легкому, занимательному чтенію. Съ одной стороны, очевидно, стараясь удовлетворить этой потребности, Сумароковъ, съ другой стороны, увлекался и желаніемъ состязаться съ главнымъ соперникомъ своимъ по литературѣ—съ Ломоносовымъ. Ради этого соперничества, онъ тоже много разъ принимался писать во всѣхъ родахъ, сочинялъ и торжественныя, похвальные рѣчи, ударялся и въ философію, и въ критику, и даже въ исторію... Всмотриваясь внимательнѣе въ сплошную массу лирическихъ произведеній Сумарокова, мы находимъ въ нихъ только одну, живую сторону, немаловажную по отношенію къ исторіи литературы. Эта живая сторона лирики Сумарокова является намъ въ цѣломъ рядѣ его басенъ, эпитафій и эпитафій, проникнутыхъ рѣзкимъ и ѣдкимъ сатирическимъ отношеніемъ къ современности. Тѣмъ Сумароковской сатиры очень не разнообразны: дурное устройство правосудія, выказывавшееся въ крючкотворствѣ, ухищреніяхъ и взяточничествѣ подъячихъ, вредныя и тягостныя стороны откуповъ, стремленіе къ неразумному подражанію иностранцамъ въ языкѣ и въ обычаяхъ и невѣжество, прикрытое внѣшнимъ лоскомъ образованія,—вотъ что осмѣиваетъ Сумароковъ въ своихъ сатирахъ на современные нравы. Не смотря на то, что форма его сатиры большею частью очень груба и несовершенна, содержаніе живо передаетъ намъ впечатлѣнія современника, одареннаго наблюдательностью и, въ то же время, не способнаго относиться хладнокровно къ тому, что совершалось передъ его глазами. Сравнивая сатирическія произведенія Сумарокова со всѣми остальными, мы невольно приходимъ къ тому убѣжденію, что сатира и была настоящею, наиболѣе выдающеюся стороною его литературнаго таланта. Но не та спокойная, положительная сатира Кантемира, которая, рисуя темныя стороны общественной жизни, противопоставляла ей образы свѣтлыя, или по крайней мѣрѣ ослабляла тѣни спокойнымъ, безмятежнымъ взглядомъ на жизнь... Сатира Сумарокова, напротивъ того, отличается совершенно отрицательнымъ, безпокойнымъ, разѣдающимъ характеромъ. Видно, что авторъ самъ страдалъ отъ тѣхъ бѣдъ и неурядицъ, которыя онъ безжалостно бичуетъ

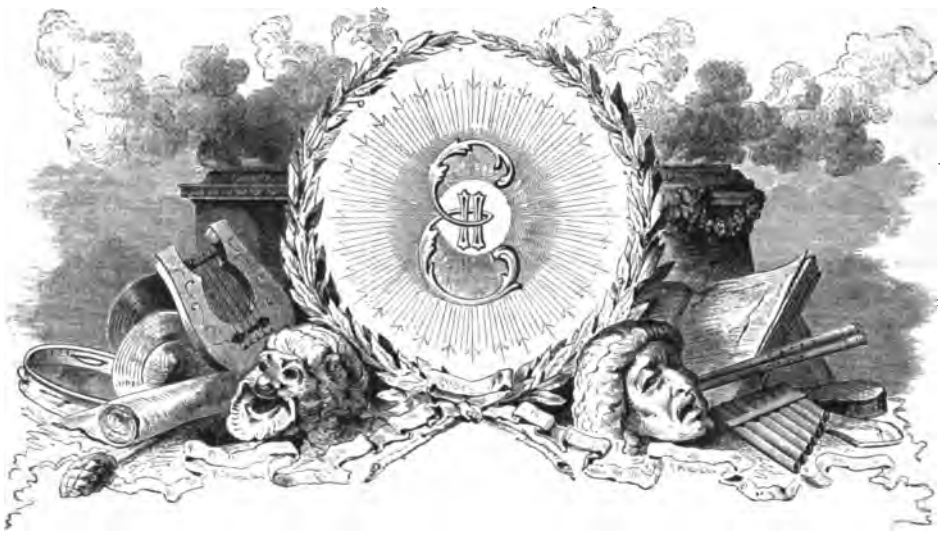
своей сатирой, выставляя ихъ на позоръ передъ всѣми. Онъ задается только одною цѣлью: выставить въ яркомъ освѣщеніи извѣстные пороки современниковъ своихъ, указать на эти общественныя язвы и предать ихъ осмѣянію; ему и въ голову не приходитъ противуполагать всему этому свѣтлыя стороны и черты современности, или утѣшать себя тѣмъ, что зло неизбежно... Сумароковъ стремился даже къ обличенію, и при своей чрезвычайной живости, горячности, при той самоувѣренности, которая составляла одну изъ самыхъ выдающихся

сторонъ его характера, часто вдавался даже во всѣ крайности полемическаго и обличительнаго направленія, относясь безпощадно къ врагамъ своимъ, не пренебрегая никакими личностями и мелочами. Любопытною чертою его сатиры и полемическихъ статей является та смѣлость, съ которою онъ рѣшается въ нихъ высказывать свои взгляды на сословные предразсудки или порицать образъ дѣйствія лицъ, занимавшихъ весьма видное положеніе въ современномъ ему обществѣ.



28 Окт. 1774

Автографъ Сумарокова.



ПЕРІОДЪ ШЕСТОЙ.

ВѢКЪ ЕКАТЕРИНЫ

В.

Вліяніе Екатерины II на русскую литературу; ея сочувствіе современному философскому движенію на Западѣ. — Литературная и педагогическая дѣятельность Екатерины; участіе въ журналахъ. —

Е. Р. Дашкова. — Значеніе вѣка Екатерины.

Литература служитъ вѣрнымъ отраженіемъ внутренней жизни каждаго народа, а слѣдовательно и прямымъ выраженіемъ тѣхъ общихъ идей, которыя руководятъ обществомъ въ извѣстное время; поэтому въ литературѣ, конечно, перемѣна воззрѣній на значеніе отдѣльной личности и ея отношеніе къ обществу должна находить себѣ свое постоянное выраженіе. Эта перемѣна воззрѣній въ литературѣ преимущественно выражается въ перемѣнѣ взгляда на значеніе въ обществѣ писателя и его дѣятельности: чѣмъ большимъ количествомъ правъ, уваженія и свободы пользуется въ обществѣ каждая отдѣльная личность, тѣмъ большимъ количествомъ почета, свободы и уваженія пользуются въ томъ-же обществѣ писатель и его дѣятельность. И наоборотъ: — литература и писатель тѣмъ менѣе имѣютъ значенія въ обществѣ, чѣмъ менѣе развито въ немъ уваженіе къ правамъ и значенію каж-

дой изъ отдѣльныхъ личностей, входящихъ въ составъ общества.

Этотъ общій законъ, который не трудно прослѣдить въ исторіи каждой литературы, съ замѣчательною очевидностью сталъ проявляться у насъ на Руси съ того времени, когда болѣе благопріятныя условія общественной жизни дали возможность отдѣльной личности выдвинуться изъ сплошной массы народа, а вмѣстѣ съ тѣмъ и литературѣ — проявиться, какъ выраженію идей преобладавшаго въ обществѣ развитаго меньшинства. Мы уже видѣли, какое значеніе имѣлъ въ нашемъ обществѣ писатель въ началѣ эпохи преобразованій, при Петрѣ, и потомъ при ближайшихъ его наслѣдникахъ до Екатерины II; мы знаемъ, какъ сами писатели смотрѣли на свою дѣятельность; знаемъ, сколько труда и тяжкихъ усилій пришлось потратить литературнымъ дѣтелямъ эпохи преобразованій на то, чтобы

хотя сколько-нибудь возвысить свое значеніе въ окружавшемъ ихъ обществѣ. Но все же нельзя отрицать, что общество, въ отношеніи къ писателямъ и ихъ дѣятельности, успѣло сдѣлать за это время довольно замѣтные шаги впередъ на пути развитія. Нѣкоторымъ доказательствомъ этихъ успѣховъ служить для насъ уже и самое развитіе меценатства въ высшихъ слояхъ общества, и замѣтное проявленіе сочувствія и вкуса къ литературѣ и театру, проявившихся особенно ярко въ царствованіе Елисаветы.

Въ началѣ царствованія Екатерины II прибавилось много благопріятныхъ условий, способствовавшихъ развитію въ Россіи общественной жизни, распространенію просвѣщенія и смягченію нравовъ. При помощи этихъ благопріятныхъ условий, безъ всякой особенной помощи, совершалось незамѣтно общее улучшеніе быта, а вмѣстѣ съ тѣмъ улучшалось и самое положеніе отдѣльной личности и ея отношеній къ обществу: возрастали и расширялись ея права и, какъ необходимое слѣдствіе всего этого — на основаніи вышеуказаннаго нами закона — улучшалось положеніе писателя, возрастало значеніе литературы въ обществѣ.

Этотъ благопріятный поворотъ, совершившійся въ русской жизни начала шестидесятихъ годовъ прошлаго столѣтія, былъ произведенъ Екатериною Великою, которой Россія XVIII столѣтія обязана очень многимъ во всѣхъ отношеніяхъ. Стремясь дать Россіи всѣ выгоды западнаго просвѣщенія и внести въ русскую жизнь лучшія начала западной общественности, Екатерина не могла не видѣть въ литературѣ сильнаго орудія къ достиженію своихъ цѣлей. Вотъ почему она не только старалась поощрить развитіе у насъ литературы и журналистики, но и сама, обладая литературнымъ талантомъ, воспріимчивая и чуткая къ явленіямъ современной русской жизни, рѣшалась показывать другимъ дорогу, со страстью предаваясь живой журнальной полемикѣ или создавая яркую картину современныхъ нравовъ въ дѣломъ рядѣ комедій и сатирическихъ очерковъ. То значеніе, которое подъ вліяніемъ Екатерины, приобрѣла въ русской жизни литература, и то участіе,

которое сама Екатерина лично принимала въ литературѣ, между 1763 и 1789 гг., даютъ ей полное и несомнѣнное право стать во главѣ новѣйшаго періода нашей литературы, тѣмъ болѣе, что сильное литературное движеніе, возбужденное Екатериной и не прекращавшееся въ теченіе всего ея царствованія, было почти исключительно посвящено разработкѣ идей, ея положенныхъ въ основу современной русской жизни.

Екатерина II родилась 21 апрѣля 1729, въ Штетинѣ, гдѣ отецъ ея — Христіанъ-Августъ, князь Ангальтъ-Цербстскій, генералъ-фельдмаршалъ прусской службы — былъ губернаторомъ. Простой и суровый воинъ, — одинъ изъ тѣхъ, которыхъ такъ много было подъ знаменами Фридриха, — онъ вообще очень мало обращалъ вниманія на свой домашній бытъ и тѣмъ менѣе на воспитаніе дѣтей своихъ (двухъ дочерей¹⁾ и сына), вполне предоставляя заботы обо всемъ этомъ женѣ своей, Іоаннѣ-Елисаветѣ (род. 1712 г.), происходившей изъ голштинскаго дома. Іоанна-Елисавета, страстно любившая свѣтскую жизнь и всякій блескъ, жгивая, впечатлительная, горячая и вспыльчивая иногда до излишества, не могла дать дочери своей никакого правильнаго воспитанія и серьезно озабочиться ея образованіемъ. Екатерина была, конечно, одной себѣ обязана разработкою своего замѣчательнаго характера и тѣмъ обширнымъ образованіемъ, которымъ она обладала. О дѣтствѣ и ранней юности Екатерины мы почти ничего не знаемъ. Достоверно только то, что такъ какъ тогда уже французскія моды, французскіе свѣтскіе обычаи и французскій языкъ начинали распространяться въ высшихъ слояхъ германскаго общества, то и первоначальному воспитанію Екатерины было тоже придано французское направленіе. Около Екатерины видимъ француза-эмигранта, нѣкоего Лорана, учителямъ чистописанія. Сама Екатерина вспоминала еще о своей гувернанткѣ французкѣ, мамзель Гардель. „Эта моя гофмейстерина“ — такъ говорила Екатерина впоследствии своему статсъ-секретарю Грибовскому — „была старосвѣтская французка. Она не худо меня приготовила для замужества въ нашемъ сосѣдствѣ: но, право, ни дѣвица Гардель, ни я сама не ожидала

¹⁾ Младшая изъ дочерей, сестра Софій-Августы (вслѣдствіи Екатерины II), умерла въ раннемъ дѣтствѣ.

всего этого (т. е. вѣдѣнія въ Россіи)“. Самою выгодною стороною воспитанія Екатерины, конечно, было то, что она въ дѣтствѣ и ранней юности не могла быть избалована никакой роскошью, росла среди весьма скромной обстановки, и рано должна была научиться пониманію людей, потому что могла видѣть ихъ близко.

Екатерина пріѣхала съ матерью въ Россію въ 1744 году, когда ей, слѣдовательно, еще не было и 15 лѣтъ—и уже не выѣзжала изъ Россіи ¹⁾. Съ самаго пріѣзда своего, она дѣятельно принялась за изученіе русскаго языка, и очень скоро успѣла съ нимъ освоиться на столько, что могла не только говорить на немъ, но и писать. Первымъ наставникомъ Екатерины по русскому языку былъ уже извѣстный намъ адъютантъ Академіи Наукъ Адоуровъ; но Екатеринѣ, какъ кажется, не пришлось долго пользоваться его уроками, судя потому, что она сама о себѣ рассказывала впоследствии своему статсъ-секретарю Грибовскому: „Ты не смѣйся“—говорила она ему однажды—„надъ моей русской орфографіей. Я тебѣ скажу, почему я не успѣла ее хорошенько узнать. По пріѣздѣ моемъ сюда (т. е. въ Россію), я съ большимъ прилежаніемъ начала учиться русскому языку. Тетка, Елисавета Петровна, узнавъ объ этомъ, сказала моей гофмейстеринѣ: „полно ее учить, она и безъ того умна!“ Такимъ образомъ могла я учиться русскому языку только изъ книгъ, безъ учителя, и это причина, что я плохо знаю правописаніе“. „Впрочемъ“, замѣчаетъ Грибовскій, „сударыня говорила по-русски довольно чисто и любила употреблять прямыя и коренныя русскія слова, которыхъ она множество знала“. Нельзя не припомнить здѣсь, что Екатерина очень мало придавала значенія грамматическимъ погрѣшностямъ, которыя закрадывались въ ея рѣчь въ разговорѣ или на письмѣ. Въ одномъ мѣстѣ своихъ сочиненій она замѣчаетъ: „надѣяться можно, что наши грѣшныя надежды никому вреда не нанесутъ“,—и въ этихъ словахъ ея невольно слышится то, что гораздо выше всѣхъ этихъ мелочей ставила она то глубокое пониманіе духа языка и то знаніе народнаго характера, ко-

торое она дѣйствительно успѣла пріобрѣсти и исполнѣ усвоить себѣ въ теченіе 18-ти лѣтъ, проведенныхъ ею въ Россіи еще до вступленія на престолъ.

По собственному признанію Екатерины, уединеніе, въ которомъ она постоянно жила въ теченіе этого времени, развило въ ней охоту къ чтенію ²⁾, доставило ей возможность прочесть множество самыхъ разнообразныхъ сочиненій по различнымъ отраслямъ современной французской, англійской, итальянской и нѣмецкой литературы. Само собою разумѣется, что, при ея живости и впечатлительности, на ней должно было отразиться вліяніе того умственнаго движенія, главнымъ центромъ котораго была литература французская.

Французская литература не представляла однакоже ничего оригинальнаго, что бы исключительно могло принадлежать французской почвѣ. Французскіе писатели начала XVIII вѣка только способствовали распространенію въ массахъ и популяризациі научныхъ философскихъ истинъ, которыя были выработаны англійскими учеными и мыслителями конца XVII столѣтія, благодаря той гражданской свободѣ и тому замѣчательному государственному устройству, которыхъ Англія успѣла около этого времени достигнуть. Какъ только французы, въ первой четверти XVIII вѣка, ознакомились поближе съ результатами, выработанными англійской наукой, англійской общественной и государственною жизнью,—эти результаты для всей мыслящей части французскаго общества стали немедленно основой, за многостороннюю разработку которой дѣятельно принялись и французская литература, и французская наука.

Екатерина II, какъ мы уже видѣли, получила первоначальное воспитаніе подъ сильнымъ французскимъ вліяніемъ, которому слѣпо подчинялась ея мать; впоследствии, живя въ Россіи и страстно предаваясь чтенію, она не могла не подчиниться вліянію новаго философскаго направленія, исходившаго изъ Франціи и преобладавшаго во всѣхъ современныхъ европейскихъ литературахъ. Свое сочувствіе этому направленію выразила она перепискою съ Вольтеромъ, продолжавшеюся

¹⁾ 6 Ноября 1796 года, на 67-мъ году отъ роду.—²⁾ См. статью академика Пекарскаго: «Матерія ист. журн. и литер. дѣят. Екат. II»: въ III т. Зап. Имп. Акад. Наукъ: стр. 76.



Екатерина Великая.

отъ 1763—1777 г., сношеніями съ Дидро и покровительствомъ, которое она постоянно оказывала энциклопедистамъ и всѣмъ ученымъ представителямъ новаго направленія. Но этого мало: подобно многимъ другимъ современнымъ ей правителямъ, она рѣшилась положить это новое направленіе въ основу тѣхъ важныхъ реформъ, которыми думала ознаменовать свою правительственную дѣятельность.

Всѣ эти реформы, задуманныя ею на самомъ широкомъ основаніи, касались, какъ извѣстно, двухъ главныхъ сторонъ общественной жизни: законодательства и воспитанія, въ которыхъ она, сообразно возрѣніямъ современной философіи, рѣшалась видѣть главные средства къ смягченію нравовъ и созданію новаго, лучшаго и совершеннѣйшаго поколѣнія людей. Въ самомъ началѣ своего царствованія, Екатерина, какъ извѣстно, издала въ свѣтъ свой знаменитый „Наказъ комиссіи о составленіи проекта новаго уложенія“ (въ 1768 г.). Въ этомъ „Наказѣ“, на основаніи результатовъ, добытыхъ современною философіей и наукой, руководствуясь сочиненіями Монтескье и ближайшаго послѣдователя его, итальянскаго юриста Беккаріи, Екатерина дала обширный планъ для того подробнаго и разносторонняго законодательства, которое думала создать для Россіи при помощи собранной по ея повелѣнію комиссіи. Система, по которой составленъ „Наказъ“, даетъ намъ самое выгодное мнѣніе о трудолюбіи, начитанности и замѣчательной образованности Екатерины, которая въ двадцати главахъ и 665 §§ излагаетъ не только планъ, по которому надлежитъ дѣйствовать будущей комиссіи, но, вмѣстѣ съ тѣмъ, и подтверждаетъ указываемыя ею положенія практическими примѣрами, сравненіями, даже ссылками на частные случаи. Въ разборѣ вопросовъ особенной важности Екатерина поступаетъ даже и такъ: сначала ставитъ вопросъ, потомъ приводитъ различные отвѣты на него, разбираетъ его со всѣхъ сторонъ, и наконецъ предлагаетъ свое рѣшеніе. Вліяніе современной философіи замѣтно на каждой страницѣ „Наказа“, въ особенности же тамъ, гдѣ Екатерина совѣ-

туетъ послѣдовать естественнымъ влеченіямъ человѣческой природы, сообразоваться съ нравами, обычаями и понятіями народа, дѣйствовать на преступниковъ не страхомъ наказанія, а страхомъ стыда и т. д. Тѣмъ же самымъ духомъ проникнутъ и ея сборникъ нравственно-педагогическихъ правилъ, извѣстный подъ названіемъ „Гражданскаго начальнаго ученія“, которое и начиналось даже съ указанія на то, что „передъ Богомъ всѣ люди равны“¹⁾ и что существеннѣйшее различіе между людьми устанавливается только образованіемъ: „естественно человѣкъ съ человѣкомъ разнится мало; по ученію человѣкъ съ человѣкомъ разнится много“²⁾.

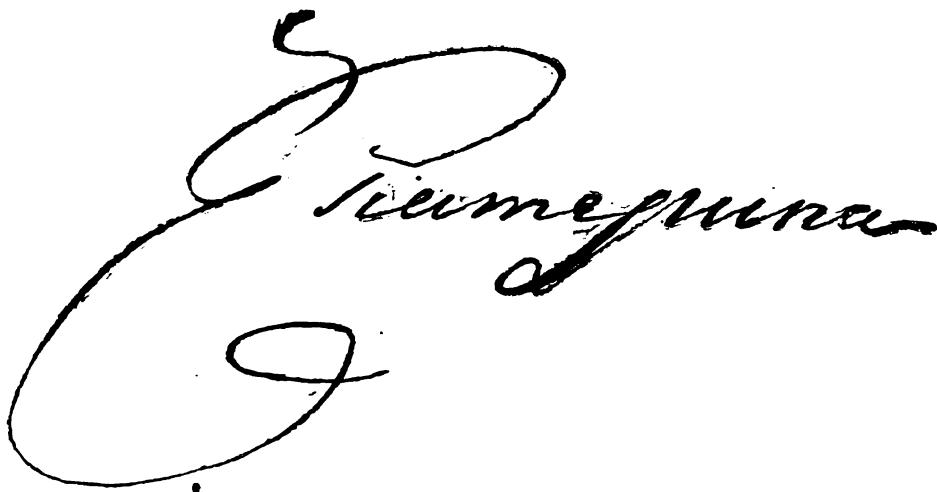
„Наказъ“ относится къ тому первому періоду царствованія Екатерины, когда она дѣйствовала еще подъ несомнѣннымъ вліяніемъ своего воспитанія и нравственныхъ идеаловъ, создавшихся въ умѣ ея подъ впечатлѣніемъ изученія современной философской литературы, которой она такъ глубоко сочувствовала. Но когда идеалы эти пришлось припѣять къ дѣйствительности и пришлось нести на себѣ всю тяжесть управленія громадною страной, въ которой понятія о гражданственности были очень мало развиты; когда при этомъ пришлось даже и въ приближенныхъ людяхъ встрѣчать препятствія въ исполненіи своихъ благихъ намѣреній и разочарованія въ своихъ стремленіяхъ къ любимымъ цѣлямъ,—тогда Екатерина стала сильно охлаждать къ своимъ преобразовательнымъ планамъ, а подъ конецъ жизни даже и весьма замѣтно измѣнила свой взглядъ на отношенія къ подданнымъ и на самую систему управленія государствомъ.

Гораздо болѣе положительными и устойчивыми оказались тѣ возрѣнія на воспитаніе, которыя вынесены были Екатериною изъ того же общаго ея вѣку философскаго направленія. До самаго конца жизни она не переставала заботиться объ улучшеніи нравственныхъ и матеріальныхъ условій воспитанія русскаго юношества, причемъ совершенно одинаково заботилась и о высшихъ, и о среднихъ классахъ общества. Сверхъ многихъ, весьма замѣчательныхъ реформъ въ тѣхъ общеобразовательныхъ и учебныхъ

¹⁾ Правило 118; см. въ Смирдинск. изд. Сочиненій Екатерины на 184 стр. I т. — ²⁾ Тамъ же, прав. 119.

заведеніяхъ, которыя учреждены были уже и до Екатерины, сверхъ того, что ею же положено было начало одному изъ благотѣлѣйшійхъ учрежденій въ Имперіи—воспитательному дому въ Москвѣ, въ 1763 г.—она же, основаніемъ воспитательнаго общества для дѣвицъ дворянскаго (въ 1764 г.) и мѣщанскаго въ 1765 г.) сословія при Воскресенскомъ (Смольномъ) монастырѣ, положила первое основаніе женскому воспитанію въ Россіи; замѣтно, что вопросы воспитательныя занимали ее постоянно и не переставали занимать ее до конца жизни, потому что зна-

чительная часть ея литературныхъ произведеній посвящена только этимъ вопросамъ. Сюда относятся ея нравоучительныя сказки „О царевичѣ Февѣѣ“ и „О царевичѣ Хлорѣѣ“ (1782 г.), „Выборныя Россійскія пословицы“—отчасти заимствованныя изъ народныхъ, отчасти составленныя изъ разныхъ изреченій нравственныхъ, „Инструкція кн. Николаю Ивановичу Салтыкову при назначеніи его къ воспитанію великихъ князей“ (Александра Павловича и Константина Павловича). Сюда же относятся



Подпись Екатерины II.

„Записки“, составленныя изъ разсказовъ и замѣтокъ, касающихся преимущественно отечественной, и изъ разговоровъ (отца или матери съ сыномъ), въ которыхъ кратко и наглядно представляется разборъ общихъ нравственныхъ вопросовъ¹⁾. Во всѣхъ этихъ сочиненіяхъ своихъ Екатерина представляется намъ вполне преданною современнѣмъ воззрѣніямъ на воспитаніе, какъ на единственное и притомъ всемогущее средство къ нравственному совершенствованію человѣка. И Екатеринѣ, какъ многимъ изъ современныхъ мыслителей, чело-вѣкъ пред-

ставлялся такимъ существомъ, которое вовсе не носитъ въ себѣ никакихъ прирожденныхъ нравственныхъ элементовъ. Цѣлью воспитанія являлась отвлеченная добродѣтель, которую можно было вселить въ душу воспитываемаго, постоянно окружая его хорошими примѣрами и какъ можно чаще внушая ему правила добродѣтели, передавая ему мудрыя изреченія различныхъ писателей и ведя съ нимъ назидательныя и возвышающія душу бесѣды. Таковъ былъ взглядъ вѣка, замѣнившій грубую и несогласную съ дѣтскою природою школьную дисциплину XVI и XVII вв.—

¹⁾ Къ этому же отдѣлу слѣдуетъ отнести и „Китайскія мысли о совѣсти“, которыя входятъ въ составъ „Гражданскаго начальнаго ученія“. На всѣ вышеприведенныя нами педагогическія сочиненія свои Екатерина указываетъ въ „Инструкціи“ Салтыкову, какъ на необходимыя пособія, по которымъ великіе князья учились читать и писать, и которыхъ забывать они не должны.

таковъ былъ и взглядъ Екатерины, отразившійся, какъ мы увидимъ далѣе, не только на ея собственныхъ сочиненіяхъ, но и вообще на литературныхъ произведеніяхъ цѣлаго ряда современныхъ Екатерины русскихъ писателей.

Выше мы уже говорили о томъ, что Екатерина, какъ женщина европейски-образованная и притомъ вполне сочувственно относившаяся къ литературно-философскому движенію, происходившему въ современной Европѣ, должна была вполне сознавать значеніе литературы, какъ могущественнаго орудія къ распространенію въ обществѣ новыхъ идей. Мы говорили, что она нерѣдко сама бралась за перо для сатиры и полемики, и, переходя въ настоящую минуту къ очерку именно этой стороны ея литературной дѣятельности, мы должны замѣтить, что придаемъ журнальнымъ статьямъ и комедіямъ Екатерины гораздо болѣе значенія, нежели всѣмъ остальнымъ ея произведеніямъ, въ которыхъ она является и менѣе оригинальной, и менѣе тѣсно связанной съ жизнью, русской дѣйствительностью. Напротивъ того, въ журнальныхъ статьяхъ своихъ, какъ и въ комедіяхъ, Екатерина представляетъ намъ рядъ очерковъ, въ которыхъ характеры заимствованы прямо изъ жизни, или бичуетъ своей сатирой пороки, наиболѣе распространенные въ обществѣ ея времени, или старается отстоять, оправдать и защитить отъ порицаній новыя учрежденія и начала общественности, которыя казались ей необходимыми для блага и процвѣтанія Россіи.

Въ самомъ началѣ своего царствованія, вскорѣ послѣ написанія „Наказа“, Екатерина выступаетъ на поприще журнальной полемики въ сатирическомъ журнальцѣ „Всякая Всячина“, который сталъ выходить въ свѣтъ въ 1769 году, и редакторомъ котораго всѣ считали уже извѣстнаго намъ адъюнкта Академіи Наукъ, Григорія Васильевича Козницкаго, который съ 1769 по 1775 годъ состоялъ на службѣ „въ Кабинетѣ и при собственныхъ Ея Императорскаго Величества дѣлахъ“. Журналъ этотъ чрезвычайно понравился публикѣ своимъ новымъ направленіемъ и мѣткою сатирою, направленною не противъ „особъ, но единственно на пороки“. Эта сатира руководилась постоянно слѣдующими правилами:

„1) Никогда не называть слабости порокомъ; 2) хранить во всѣхъ случаяхъ человеколюбіе; 3) не думать, чтобы людей совершенныхъ найти можно было, и для того: 4) просить Бога, чтобы намъ далъ духъ кротости и снисхожденія“. Картины современныхъ нравовъ, въ видѣ очерковъ помѣщавшіяся во „Всякой Всячинѣ“, очень любопытны и важны для насъ, какъ первыя попытки подмѣтить въ обществѣ типы, которые впоследствии явились на сценѣ въ болѣе совершенномъ видѣ въ комедіяхъ Екатерины, Фонъ-Визина и другихъ современныхъ писателей.

Болѣе всего порицаніямъ и насмѣшкамъ „Всякой Всячины“ подвергалось недостаточное воспитаніе и поверхностное образованіе; а за тѣмъ — закоренѣлые общественныя предразсудки, суевѣріе и неразумное подражаніе французамъ въ модахъ и свѣтскихъ обычаяхъ. Во время выхода своего въ свѣтъ „Всякая Всячина“ оставалась совершенно-анонимнымъ изданіемъ; но современникамъ вѣроятно извѣстно было то постоянное, горячее участіе, которое принимала въ изданіи этого журнальца Екатерина. По крайней мѣрѣ въ цѣломъ рядѣ сатирическихъ листковъ и журналовъ, которые стали выходить въ свѣтъ одновременно со „Всякой Всячиной“ (между 1769 и 1774 годомъ), нельзя не видѣть очень прозрачныхъ намековъ на участіе, которое во „Всякой Всячинѣ“ принимаютъ „знатные господа и высокопоставленные лица“. Враждебное отношеніе, которое, за весьма немногими исключеніями, выказывали по отношенію ко „Всякой Всячинѣ“ всѣ современные сатирические журналы, вынуждало иногда и „Всякую Всячину“ тоже къ довольно прозрачнымъ намекамъ; въ нихъ какъ-бы указывается на то, что не мѣшало-бы быть осторожнѣе въ сужденіяхъ по отношенію къ изданію, въ которомъ сотрудничество самой Императрицы было болѣе или менѣе извѣстнымъ фактомъ. Такимъ намекамъ, напримѣръ, отличается извѣстное письмо Патрикья Правдомыслова, исполненное похвалъ существующему порядку вещей. Не мѣшаетъ замѣтить, что, не задолго передъ этимъ, „Всякая Всячина“, обращаясь къ своимъ собратамъ по изданію журналовъ, замѣчала, что слѣдуетъ не все же писать для обличенія, но также не пропускать „описывать твер-

даго блюстителя вѣры и закона, хвалить сына отечества, пылающаго любовью и вѣрностью къ государю“ и т. п. Вскорѣ послѣ того, на страницахъ „Всякой Всячины“ и явилось письмо Патрикѣя Правдомыслова, въ которомъ опровергаются толки, будто у насъ нѣтъ правосудія въ Россіи: „мы всѣ“ — говоритъ въ этомъ письмѣ Патрикѣй — „сомнѣваться не можемъ, что нашей Великой Государынѣ пріятно правосудіе, что она сама справедлива“... „Долгъ нашъ, какъ христіанъ и согражданъ, велитъ имѣть довѣренность и почтеніе къ установленнымъ для нашего блага правительствомъ и не поносить ихъ такими поступками и несправедливыми жалобами, конхъ, право, я еще не видалъ, чтобы съ умысла случались. Впрочемъ я не судья и вѣкъ не буду, а разсудилъ за нужное сіе къ вамъ написать для того, что нѣкоторые дурные шмели на сихъ дняхъ нажужжали мнѣ уши своими разговорами о многомъ неправосудіи судебныхъ мѣстъ. Но наконецъ я догадался, для чего они такъ жуужать: промотались. И не осталось у нихъ окромѣ прихотей, на которыя по справедливости слѣдуетъ отказъ“... Но журналы не унимались въ обличеніяхъ знатныхъ господъ и въ очеркахъ придворной жизни; завязалась полемика, въ которой „Всякая Всячина“ отвѣчала на ихъ нападки уже почти угрозами, высказывая весьма рѣзко свое неудовольствіе противъ „свободолюбивъ“. Такъ, напримѣръ, возставая противъ „Трутня“¹⁾, одно изъ лицъ, выставленныхъ „Всякой Всячиной“, говоритъ прямо: „не въ свои-де (онъ) садится сани. Онъ-де зачинаетъ писать сатиры на придворныхъ господъ, знатныхъ бояръ, дамъ, судей именитыхъ и на всѣхъ. Такая-де смѣлость ни что иное есть какъ дерзновеніе... въ старыя времена послали-бы-де его потрудиться для пользы государственной — описывать нравы каково ни на есть царства русскаго владѣнія²⁾, но нынче-де дали волю писать и за такіа сатиры не взыскиваютъ“.

Однакоже, полемика эта, очевидно непріятная для Екатерины, не могла далѣе продолжаться въ томъ же рѣзкомъ тонѣ и потому, вѣроятно не безъ вліянія со стороны Екатерины, всѣ сатирическіе листы внезапно прекратились. Ихъ пережили только „Всякая Всячина“ и „Трутень“; но ни тотъ ни другой уже не помѣщали болѣе сатирическихъ замѣтокъ и очерковъ, и скорѣе прекратились вовсе, вѣроятно потому, что публика охладѣла къ нимъ въ этомъ новомъ ихъ видѣ.

Со времени прекращенія „Всякой Всячины“ и до 1783 года Екатерина уже не принимала болѣе участія въ русской журналистикѣ; но за то въ теченіе этого періода времени и была написана ею большая часть тѣхъ комедій, въ которыхъ явились на сценѣ типы и стороны современной русской жизни, уже прежде обрисованные Екатериной въ сатирическихъ очеркахъ ея журналовъ. Екатерина до 1790 года успѣла написать четырнадцать комедій, девять оперъ, семь пословицъ³⁾, изъ которыхъ до насъ дошло одиннадцать комедій, семь оперъ и пять пословицъ — всего двадцать три пьесы. Всѣ онѣ писаны были Екатериной для домашней сцены и предварительно являлись на Эрмитажномъ театрѣ, а потомъ уже оттуда переходили на публичную сцену. Нѣкоторыя изъ пьесъ сочинены были ею на французскомъ языкѣ и впоследствии уже переведены на русскій; другія не вполнѣ написаны ею, а закончены, исправлены и дополнены хорами и стихотворными вставками по данному ею плану⁴⁾. Сама Екатерина, какъ извѣстно, никогда стиховъ не писала, и, по собственному ея признанію, даже никакъ не могла постигнуть технической стороны стихотворства и сложить хоть сколько нибудь сносныя вирши.

Комедии Екатерины хотя не заслуживаютъ особеннаго вниманія со стороны художественной, однакоже несомнѣнно важны для исторіи литературы, какъ довольно

¹⁾ Современный журналъ, который издавался Н. И. Новиковымъ.

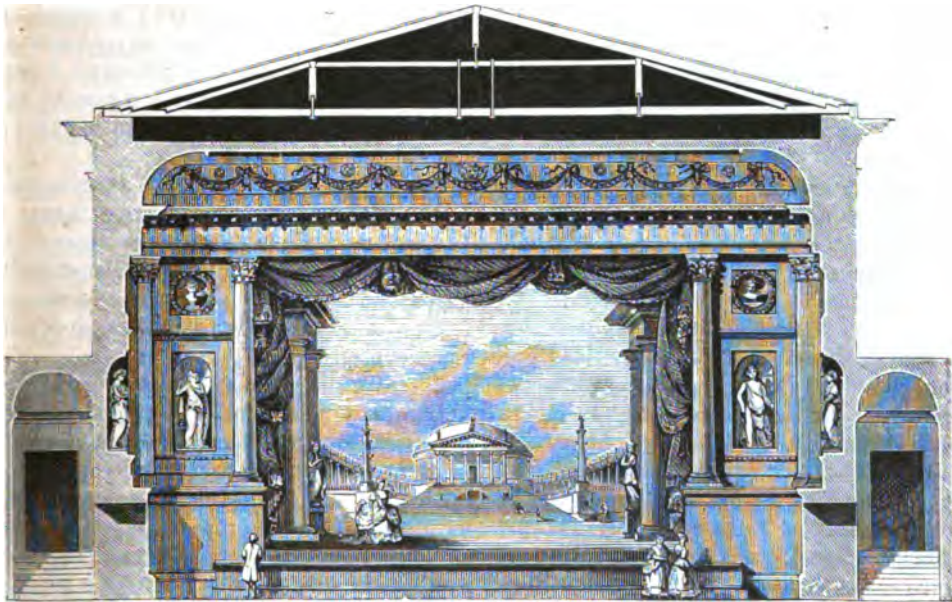
²⁾ Академикъ Пекарскій видитъ здѣсь „тонкій намекъ на Сибирь“. См. стр. 8 вышеуказанной статьи: „Матеріалы для ист. журн. и литерат. дѣят. Императрицы Екатерины II“.

³⁾ Т. е. пьесъ, которыхъ содержаніе почерпнуто было изъ пословицъ.

⁴⁾ Однимъ изъ дѣятельнѣйшихъ сотрудниковъ Екатерины по части постановки ея пьесъ и исправки въ нихъ слога былъ ея статсъ-секретарь Храповицкій.

замѣчательная попытка представить рядъ лицъ и очерковъ, заимствованныхъ изъ живой современности. Комедіи эти особенно любопытны для насъ по сравненію съ комедіями Фонъ-Визина, которыя передаютъ то-же самое содержаніе гораздо рельефнѣе и ярче, благодаря замѣчательному литературному таланту Фонъ-Визина. Однакоже въ комедіяхъ Екатерины уже ясно и отчетливо намѣченъ тотъ путь, по которому пойдетъ вслѣдъ за нею Фонъ-Визинъ и другіе современные ей авторы комедій, если вздумаютъ почерпнуть содержаніе ихъ изъ рус-

ской жизни. Важнѣйшими изъ комедій Екатерины являются: „Именины госпожи Ворчалкиной“ и „О время!“ (обѣ относятся къ 1772 г.). Обѣ этихъ комедій сама Екатерина пишетъ въ своемъ письмѣ къ Вольтеру, говоря о себѣ въ третьемъ лицѣ: „у автора много недостатковъ; онъ не знаетъ театра; интриги его піесъ слабы. Нельзя того-же сказать о характерахъ: они взяты изъ природы и выдержаны. Кромѣ того, у него есть комическія выходы; онъ заставляеть смѣяться; мораль его чиста и ему хорошо извѣстенъ народъ.“ И дѣйстви-



Эрмитажный театръ.

тельно, тѣ характеры Чудихинныхъ, Ханжахиныхъ, Вѣстниковыхъ и Ворчалкиныхъ, которые Екатерина выводитъ въ этихъ двухъ комедіяхъ на сцену, уже представляютъ намъ собою такіе очерки, которые даже и по отзыву современниковъ не придуманы были Екатериной, а взяты на сцену прямо изъ жизни. Но такъ какъ Императрица пользовалась литературной формой своихъ произведеній только какъ возможностью высказать свой взглядъ и провести въ общество свои идеи, то она, конечно,

вывела на сцену въ противоположность Чудихиннымъ, Ворчалкинымъ и Фирлюфюшковымъ людей новаго поколѣнія, сочувствующихъ ея реформамъ и новому порядку вещей. Само собою разумѣется, что эти лица выходятъ у ней такъ-же блѣдными и безжизненными, какъ подобныя же лица всѣхъ современныхъ комедій. Въ заключеніе же о дѣятельности Екатерины, какъ драматической писательницы, добавимъ, что она иногда выбирала сюжеты для нѣкоторыхъ своихъ піесъ, подобно многимъ своимъ современни-

камъ, изъ древнѣйшаго періода русской исторіи: таковы, напримѣръ, „Историческое представленіе изъ жизни Рюрика“, „Начальное управленіе Олега“ (обѣ пьесы относятся въ 1786 году). Еще менѣе заслуживаютъ вниманія въ литературномъ отношеніи заимствованныя изъ русскаго сказочнаго міра комическія оперы Екатерины (1776—1787 г.): „Февей“, „Храбрый и славный витязъ Ахридѣвичъ“ (передѣланная изъ сказки объ Иванѣ-Царевичѣ), „Новгородскій богатырь Боеславичъ и Горе богатырь Косометовичъ“ (1787 г.).

Въ концѣ своей литературной карьеры Екатерина еще разъ выступила на поприще журнальной дѣятельности и написала цѣлый рядъ сатирическихъ очерковъ, подъ общими заглавіемъ „Былей и Небылицъ“; эти очерки помѣщались, въ теченіе 1783 года, въ „Собесѣдникѣ любителей російскаго слова“ — новомъ журналѣ, который начала издавать на счетъ Академіи Наукъ княгиня Д а ш к о в а, тогда только-что возведенная въ званіе директора Академіи Наукъ и предсѣдателя Академіи Россійской, учрежденной въ этомъ году по ея же докладу. Здѣсь кстати будетъ сказать нѣсколько словъ объ этой замѣчательной русской женщинѣ XVIII в., рѣзко выступающей изъ ряда всѣхъ современницъ Екатерины II.

Княгиня Екатерина Романовна Д а ш к о в а, урожденная Воронцова, родилась въ мартѣ 1743 года въ С.-Петербургѣ (скончалась въ Москвѣ, въ январѣ 1810 г.), и получила блестящее по тому времени образованіе въ домѣ дяди своего, канцлера М. И. Воронцова, гдѣ обучалась языкамъ, наукамъ и искусствамъ вмѣстѣ съ его дочерью у лучшихъ преподавателей того времени. Не смотря на это, сама княгиня отзывалась о первоначальномъ воспитаніи своемъ насмѣшливо, и обширную, глубокую свою ученость приписываетъ себѣ самой, называетъ плодомъ того разносторонняго чтенія, которому она предавалась со страстью отъ самой юности и въ старости не переставала посвящать всѣ свои досуги. „Бейль, Монтескье, Буало и Вольтеръ были моими любимыми писателями“ — замѣчаетъ княгиня въ своихъ „Запискахъ“. И. И. Шуваловъ, зная о ея не-насытной жаждѣ къ чтенію и пополненію про-

блѣзовъ своего свѣтскаго образованія, предложилъ ей снабжать ее книгами, и пересылать ей всѣ новинки, получаемыя имъ прямо изъ Франціи. По собственнымъ словамъ Екатерины Романовны, уже въ первый годъ по выходѣ замужъ за князя Дашкова, она обладала бібліотекою въ 900 томовъ и тратила на пополненіе ея всѣ свои карманные деньги. Покупка „Энциклопедіи“ и „Лексикона“ Морери вынуждаетъ Е. Р. Дашкову замѣтить, что „никогда самыя дорогія бездѣлки не доставляли ей и половины того удовольствія, какое она чувствовала по поводу этого приобрѣтенія“. Эти занятія науками и усиленное чтеніе крѣпко не нравились ея родитѣ, и даже дядя ея. М. И. Воронцовъ, писалъ о Екатеринѣ Романовнѣ къ ея брату (въ 1762 г.):... „она, сколько мнѣ кажется, имѣетъ нравъ развращенный и тщеславный, больше въ суетахъ и мнимомъ высокомъ разумѣ, въ наукахъ и пустотѣ свое время проводитъ“.

Рано принятая при Дворѣ, и дѣйствительно по природѣ своей крайне-тщеславная и самолюбивая, Е. Р. Дашкова со всею страстностью и жаромъ молодости предавалась интригамъ, которыя привели къ перевороту 1762 года и къ вступленію на престолъ Екатерины II.

Щедро награжденная Екатериною за вѣрную службу и „къ отечеству отлѣненные заслуги“, Екатерина Романовна однакоже никакъ не могла примириться съ тою второстепенною придворною ролью, которую весьма благоразумно и осторожно предоставила ей новая Императрица, тщательно оберегавшая независимость своихъ мнѣній и поступковъ отъ всякихъ сильныхъ вліяній. Вскорѣ послѣ вступленія на престолъ Екатерины между нею и Е. Р. Дашковой наступило замѣтное охлажденіе и послѣдняя должна была удалиться отъ Двора. Для нея начался долготѣйшій періодъ странствованій изъ Россіи за границу и обратно, въ теченіи котораго она вынуждена была посвятить на занятіе книгами и наукой весь тотъ жаръ и всю ту энергію, которую она было собиралась затратить на политическую карьеру. „Политика въ особенности интересовала меня съ самыхъ дѣтскихъ лѣтъ“ — замѣчаетъ о себѣ сама княгиня въ своихъ „Запискахъ“, вообще не блистающихъ слишкомъ большою откровенностью; но этой страсти къ полити-

къ она не могла отрицать въ себѣ, потому что она была слишкомъ ярко чертою ея характера, и притомъ такою чертою, которая послужила главнымъ поводомъ всѣхъ ея неудачъ въ жизни и отчужденія отъ двора. Екатерина до конца дней не переставала смотрѣть на нее нѣсколько подозрительно и говорила, что отъ Дашковой „хорошо быть подалѣе“.

Только уже лѣтъ двадцать спустя, послѣ многихъ лѣтъ, проведенныхъ въ странствованіяхъ по Европѣ и въ нѣсколько-педагогическихъ, вычурныхъ заботахъ о воспитаніи сына (которому Е. Р. Дашкова сумѣла даже добыть въ Единбургскомъ университетѣ дипломъ на званіе доктора правъ, богословія и медицины), между Екатериной и Дашковой устанавливается, по крайней мѣрѣ на время, нѣкоторое сближеніе. Дашкова возвращается изъ своего втораго путешествія за границу, заручившись самыми благопріятными для сближенія съ Императрицей отзывами Дидро, Вольтера и другихъ современныхъ литературныхъ знаменитостей Запада. И вотъ, Екатерина призываетъ ее къ дѣятельности совершенно новой, къ какой ни прежде, ни послѣ не была призвана ни одна русская женщина: Императрица назначаетъ Дашкову директоромъ Академіи Наукъ и, вскорѣ послѣ того, предсѣдателемъ вновь основанной (по докладу Дашковой) Россійской Академіи.

Цѣлью основанія Академіи предположено было „очищеніе и обогащеніе русскаго языка, прочное установленіе правилъ словоупотребленія, впитіиства и стихотворства“; для удовлетворенія этой цѣли предполагалось составить словарь, грамматику, риторику и пѣтику. Сама Е. Р. Дашкова и до того времени успѣвшая уже приобрести нѣкоторую литературную нѣвѣстность своими статьями, помѣщенными въ „Опытахъ трудовъ вознаго русскаго собранія“ и въ „Другѣ просвѣщенія“, поощряла другихъ къ дѣятельности собственнымъ трудолюбіемъ; въ словопроизводномъ словарѣ Россійской Академіи ею были обработаны три буквы: ц, ш, щ. Энергически трудясь на пользу русской литературы и науки, заботясь о пользахъ и выгодахъ Академіи, которой она успѣла своей экономіей сберечь весьма значительную сумму, Е. Р.

Дашкова заслужила себѣ весьма почетную нѣвѣстность между современниками и право на уваженіе въ потомствѣ. Мысль объ изданіи „Собесѣдника любителей Россійскаго слова“ (изд. въ теч. 1783—84 гг.), какъ такого органа, который бы, надаваясь при Академіи, могъ одновременно служить органомъ „литературы и науки“, принадлежить той же Екатеринѣ Романовнѣ. Въ этомъ журналѣ выступили на литературную сцену многіе новые таланты (Фонъ-Визинъ, Державинъ) и сама Екатерина помѣстила на страницахъ его свои знаменитыя „Были и Небылицы“.

„Были и Небылицы“, которыя появились уже во второй книжкѣ „Собесѣдника“, представляли собою рядъ отдѣльных очерковъ,



Е. Р. Дашкова.

коротенькія сценки изъ современнаго домашняго и общественнаго быта, отрывки дневника, который ведетъ авторъ „Былей и Небылицъ“ отъ своего имени, и, наконецъ, небольшіе рассказы, въ которыхъ, очевидно, передаются случаи, заимствованные изъ живой дѣйствительности. Въ дневникѣ своемъ авторъ „Былей и Небылицъ“ чаще всего говоритъ не отъ своего лица, а сообщаетъ мнѣнія своего дѣдушки и двухъ друзей своихъ: друга И. И. И., который больше плачетъ, нежели смѣется, и друга А. А., который болѣе смѣется, нежели плачетъ.

Въ первыхъ статьяхъ „Былей и Небылицъ“ помѣщено было Екатериной нѣскольکو портретовъ, очевидно списанныхъ съ живыхъ и всѣмъ извѣстныхъ лицъ окружавшей ее среды. Нашлись люди, которые очень хорошо узнали себя въ выставленныхъ Императрицею личностяхъ; другіе стали обижаться, неправильно относя къ себѣ каждый наметъ „Былей и Небылицъ“ и все перетолковывая вкривъ и вкосъ. Это вынудило Екатерину помѣстить въ „Собесѣдникѣ“ письмо отъ имени „Петра Угадаева“ къ издателю или издательницѣ „Былей и Небылицъ“. Въ этомъ письмѣ Петръ Угадаевъ говоритъ: „напрасно изволите думать, что въ описаніяхъ вашихъ закрытыя лики остаются сокрытыми: я и моя семья знаемъ и угадываемъ, кто они таковы, да и не мы одни...“ Екатерина, написавъ сама къ себѣ отъ имени Угадаева, тутъ же помѣстила и отвѣтъ на это письмо, въ которомъ говоритъ, между прочимъ:

„Люди тутъ (т. е. въ „Быляхъ и Небылицахъ“) безъ имени, а описывается уюположеніе человѣческое: до Карна и Сидора тутъ дѣла нѣтъ. Буде же Карпъ или Сидоръ сердится и желаетъ быть описанъ лучше, пусть пришлетъ описаніе своей особы; слово отъ слова внесемъ въ „Были и Небылицы“.

Екатерина, пользуясь орудіемъ слова для того, чтобы осмѣять недостатки нѣкоторыхъ изъ числа окружавшихъ ее лицъ и дать отпоръ той партіи, которая осуждала ея дѣйствія, вѣроятно не ожидала того, что и та партія въ свою очередь воспользуется тѣмъ же самымъ орудіемъ и выставитъ противника, который рѣшится вступить съ нею въ состязаніе. По крайней мѣрѣ, когда въ третьей книжкѣ „Собесѣдника“ явился извѣстные 20 вопросовъ Фонъ-Визина „сочинителю Былей и Небылицъ“, Екатерина была весьма непріятно поражена ими, тѣмъ болѣе, что не могла не видѣть въ нихъ намековъ на своихъ приближенныхъ. Такъ напр. вопросъ 14-й, — въ которомъ Фонъ-Визинъ спрашиваетъ: „отчего въ прежнія времена шуты, шпыни и балагуры чиновъ не имѣли, а нынѣ имѣютъ, и весьма большіе?“ — направленъ былъ очевидно противъ одного изъ Екатерининскихъ вельможъ, Л. Н. Нарышкина, и вызвалъ со стороны Екатерины отвѣтъ, въ которомъ она не могла скрыть своего негодованія. „Сей вопросъ“, отвѣчала она, „родился отъ свободоязычія, котораго

предки наши не имѣли; буде же бы имѣли, то нашпи-бы на вышшняго одного десяти прежде бывшихъ“.

Этимъ отвѣтомъ Екатерина не удовольствовалась и возвратилась вновь къ тому же вопросу въ своихъ „Быляхъ и Небылицахъ“, прикрываясь, по обычаю своему, мнѣніемъ дѣдушки:

...„Дѣдушка, ходя и прикашливая, твердилъ непрестанно межъ зубовъ повторенный 14 вопросъ (который напечатанъ на 10 стр. Собесѣдника, части третьей), подобно сему: хемъ, хемъ.“

НВ. Х е м ъ, х е м ъ, изображаетъ дѣдушкинъ кашель.

Хемъ, хемъ, отъ чего — хемъ, хемъ — въ прежнія времена — хемъ, хемъ, шуты — хемъ, хемъ, — шпыни, хемъ, хемъ, и балагуры — хемъ, хемъ. чиновъ не имѣли — хемъ, хемъ, хемъ, а нынѣ имѣютъ... хемъ — хемъ, и весьма большіе... Тутъ дѣдушка умножилъ хемъ, хемы такъ, что число оныхъ безъ ошибки на бумагу положить нельзя... Отдохнувъ нѣсколько, началъ разбирать подробно члены вопроса, и говоритъ: отъ чего?... отъ чего?... Ясно отъ того, что въ прежнія времена врать не смѣли, а паче письменно, безъ — хемъ, хемъ, хемъ, — опасенія. О! прежнія времена! Сію строку кончили паки множество хемъ, хемовъ... Когда дѣдушка дошелъ до шпыней, тогда разворчался необычайно и крупно, говоря: шпынь безъ ума быть не можетъ; въ шпынствѣ есть острота; за то, что человѣкъ остро что скажетъ, вѣдь не лишитъ его выгоды тѣхъ, кои въ обществѣ даются въ обществѣ живущимъ или обществу служащимъ... Потомъ дошло дѣло до балагуровъ. кои, по сказкамъ дѣдушкинымъ, бываютъ не скучны, когда къ словоохотію присоединяютъ природный умъ или знаніе пріобрѣтеннаго смысла, либо знаніе старины, или что ни есть подобное, а „скучны лишь“, — говоритъ прародитель, — „Мареміаны плачущія“ и о всемъ мірѣ косо и криво некушіяся, отъ коихъ обыкновенно въ десяти шагахъ слышенъ уже духъ скрытой зависти противъ ближняго“. Дѣдушка, разгораясь, молвилъ: „зависть есть „свойственникъ ненависти“, и для того онъ намъ совѣтовалъ отъ оной держаться и пороку сему не давать воли“.

Осенью того же года „Были и Небылицы“ прекратились, вслѣдствіе новаго охлажде-

нія и непріязненныхъ отношеній, возникшихъ между Екатериною и Дашковой; поводомъ къ новому охлажденію послужила насмѣшка Я. Н. Нарышкина надъ вновь основанною Академіею Россійской и надъ самою рѣчью, которую, при открытіи Академіи, произнесла Екатерина Романовна. Въ этихъ шуткахъ принимала участіе и сама Екатерина. Дашкова обидѣлась, и зато, по словамъ Державина (такъ рассказываетъ онъ въ объясненіи къ своимъ сочиненіямъ), лишилась права быть членомъ шутиливаго общества „незнающихъ“. Вслѣдствіе этой же размолвки Екатерина потребовала, чтобы Дашкова возвратила ей всѣ рукописи шутивыхъ статей, отданныхъ для помѣщенія въ „Собесѣдникъ“, и, не смотря на всѣ просьбы Дашковой, не согласилась ихъ напечатать. Отчасти прекращенію „Былей и Небылицъ“ способствовало можетъ быть и то, что Екатерина не чувствовала себя въ силахъ вести спокойно и сдержанно ту полемику, къ которой она приступила въ началѣ со свойственнымъ ей остроуміемъ и большимъ запасомъ наблюдательности. Старость брала свое; болѣе всего наступленіе ея проявлялось въ той нетерпимости къ чужимъ мнѣніямъ и взглядамъ, которая послѣ 1789 г. даже на столько овладѣла Екатериною, что она рѣшилась отступить отъ своихъ либеральныхъ воззрѣній и принять мѣры строгости противъ „свободомислия“ и „свободоязычія“, развитію которыхъ сама такъ много способствовала въ началѣ своего царствованія своими гуманными стремленіями... Послѣдніе годы царствованія Екатерины, отчасти подъ вліяніемъ напугавшей всѣхъ французской революціи, ознаменовались опалою, которой подверглись нѣкоторые изъ передовыхъ литературныхъ дѣятелей, конфискаціей библиотекъ, опечатываніемъ книжныхъ лавокъ и типографій, даже ссылами.

Не смотря однакоже на эти единичные факты, вѣкъ Екатерины остается, безъ всякаго сомнѣнія, на столько же блестящей страницей въ исторіи нашей литературы, на сколько и вообще въ политической исторіи Россіи XVIII столѣтія.

Екатеринѣ принадлежитъ честь перенесенія къ намъ, на русскую почву, тѣхъ гуманныхъ идей, которые выработаны были западными мыслителями первой поло-

вины XVIII вѣка, а также и честь ихъ примѣненія къ законодательству, къ просвѣщенію и литературѣ нашей. Около Екатерины, избравшей разумное слово главнымъ орудіемъ для распространенія своихъ идей, для приведенія въ исполненіе своихъ заветныхъ преобразовательныхъ замысловъ, быстро собрался, развился и выросъ многочисленный кружокъ людей, которые уже не стали довольствоваться одними подражаніями внѣшней формѣ литературныхъ произведеній Запада... Екатерина указала имъ на важнѣйшіе вопросы современной русской жизни, указала имъ и на пути, по которымъ надлежало имъ стремиться къ разрѣшенію этихъ вопросовъ—и этимъ положила начало новому періоду русской литературы. Въ этомъ періодѣ писатель явился уже не простымъ виршеслагателемъ, не чиновникомъ, обязаннымъ дѣлать стихи, а однимъ изъ важныхъ общественныхъ дѣятелей и, въ то-же время, художникомъ, извлекающимъ свои образы изъ современной ему живой дѣйствительности, на память и поученіе отдаленному потомству.

Въ заключеніе этой главы мы не можемъ отказать себѣ въ удовольствіи привести здѣсь цѣликомъ тотъ прекрасный очеркъ личнаго характера Екатерины, который она сама намъ оставила въ одномъ изъ своихъ писемъ:

„Не смотря на мою природную гибкость“, — писала Екатерина къ Сенакъ-де-Мельяну (пріѣзжавшему въ Россію французскому эмигранту), „я умѣла быть упрямою или твердою (поочередно), когда это было нужно. Я никогда не стѣсняла ничьего мнѣнія, но, въ случаѣ надобности, имѣла свое собственное. Я не люблю споровъ, убѣдившись, что каждый остается всегда при своемъ мнѣніи, при томъ-же я не умѣю говорить громко. Я никогда не была злопамятна, потому что такъ поставлена Провидѣніемъ, что не могла питать этого чувства къ частнымъ лицамъ и находила обоюдныя отношенія слишкомъ неровными, если смотрѣть на дѣло справедливо. Вообще я люблю правосудіе (la justice), но нахожу, что вполнѣ строгое правосудіе не есть правосудіе, и что одна только справедливость соразмѣрна съ слабостію человека. Но во всѣхъ случаяхъ человѣколюбіе и снисхожденіе къ человѣческой природѣ предпочтала я правиламъ строгости, которую, какъ

мнѣ казалось, часто превратно понимаютъ. Къ этому влекло меня собственное сердце, которое я считала кроткимъ и добрымъ. Когда старики проповѣдывали мнѣ строгость, я, заливаясь слезами, сознавалась имъ въ своей слабости, и случалось, что нѣкоторые изъ нихъ, также со слезами на глазахъ,

принимали мое мнѣніе. Нравъ у меня веселый и откровенный; но на своемъ долгомъ вѣку я не могла не узнать, что есть желчныя умы, которые не любятъ веселости, и не всѣ люди могутъ переносить правду и искренность“.

Кн Елисавета Дашкова
1807.

Обыкновенная подпись Е. Р. Дашковой.

Princess
Daschkowa

Латинская подпись Е. Р. Дашковой подъ дипломами Россійской Академіи.

VI.

Фонъ-Визинъ и его отношеніе къ современности. — Біографія его. — Фонъ-Визинъ и Екатерина. — Значеніе сочиненій Фонъ-Визина, какъ протеста противъ существующаго порядка вещей. — Идеалы Фонъ-Визина. — Художественность выведенныхъ имъ типовъ.

Первымъ провозвѣстникомъ наступленія новой эпохи, первымъ писателемъ „блестящаго вѣка Екатерины“ явился Фонъ-Визинъ. Всецѣло и вполне — жизнью, произведеніями и даже идеями, положенными въ основу ихъ — Фонъ-Визинъ принадлежалъ этому вѣку. Притомъ же, по своему образованію и по образу мыслей, Фонъ-Визинъ относился къ числу немногихъ избранныхъ личностей, которыя способны были искренно сочувствовать тѣмъ широкимъ и либеральнымъ замысламъ, съ которыми Екатерина вступала на престолъ... Первый изъ числа русскихъ писателей Фонъ-Визинъ отозвался на ея призывъ русскихъ людей къ дѣятельности, на гуманныя воззрѣнія, выраженные въ „Наказѣ“ — и первый сталъ на сторону той придворной партіи, которая рѣшалась громко высказывать свое неудовольствіе противъ неуваженія къ закону и противъ слишкомъ безцеремоннаго распоряженія финансами государства. Вообще Фонъ-Визинъ представляетъ собою чистѣйшій типъ небольшого кружка передовыхъ русскихъ людей, которые слишкомъ увлеклись блескомъ и шумомъ первыхъ годовъ царствованія Екатерины и вовсе позабыли о трудностяхъ выполненія предначертаній „Наказа“ на практикѣ. И тѣмъ болѣе, съ теченіемъ времени, уклонилась Екатерина отъ того идеала правительницы, который ею же былъ въ общихъ чертахъ набросанъ въ „Наказѣ“, тѣмъ рѣзче позволялъ себѣ Фонъ-Визинъ высказывать свое открытое неудовольствіе по отношенію къ существующему порядку вещей. Важною

отличительною чертою Фонъ-Визина, какъ писателя, было его русское направленіе. Въ противоположность своимъ современникамъ, работавшимъ преклонявшимся передъ французскимъ вліяніемъ, онъ ко всему иноземному относился съ полнѣйшимъ пренебреженіемъ, иногда даже съ неумѣстною, непростительною рѣзкостью и всюду, кстати и не кстати, старался этому иноземному противопоставить все родное, русское, хотя-бы не заслуживавшее предпочтенія. При такомъ рѣзкомъ направленіи и при томъ независимомъ, благородномъ характерѣ, чуждомъ всякаго низкопоклонства и запякиванья, какимъ отличался Фонъ-Визинъ, при томъ тонкомъ, остромъ умѣ и очень зломъ языкѣ, которыми онъ обладалъ — онъ успѣлъ очень быстро обратить на себя общее вниманіе и получилъ важное значеніе для современниковъ. Вообще, личность Фонъ-Визина является намъ во второй половинѣ прошлаго вѣка до такой степени характернымъ, крупнымъ и замѣчательнымъ типомъ русскаго писателя, что и на самую біографію его нельзя не обратить особаго вниманія, тѣмъ болѣе, что онъ самъ, въ своихъ автобіографическихъ запискахъ (къ сожалѣнію недоведенныхъ до конца), сообщилъ намъ о родителяхъ своихъ, о дѣтствѣ и о воспитаніи довольно много весьма любопытныхъ и важныхъ подробностей.

Денисъ Ивановичъ Фонъ-Визинъ (род. 1744, ум. 1792 года) происходилъ изъ древняго нѣмецкаго рыцарскаго рода. Пред-

камъ его принадлежали даже кое-какіе города въ нѣмецкихъ земляхъ, и въ XVI вѣкѣ Фонъ-Визинны являлись рыцарями ордена Меченосцевъ. Одинъ изъ предковъ Дениса Ивановича, баронъ Петръ Фонъ-Визинъ, во время Ливонской войны при Иванѣ Грозномъ, взять былъ въ плѣнъ вмѣстѣ съ сыномъ своимъ, Денисомъ, и поселился въ Россіи. Окончательно обрусѣлъ однакоже родъ Фонъ-Визинныхъ только уже въ XVII вѣкѣ, когда внукъ барона Петра принялъ, при царѣ Алексѣѣ Михайловичѣ, православіе. О дѣдѣ Фонъ-Визина мы не знаемъ ничего; что же касается отца его, Ивана Андреевича, то извѣстно, что онъ служилъ сначала въ военной службѣ, а потомъ въ статской, по ревизіонъ-комиссіи, гдѣ и дослужился до чина коллежскаго совѣтника; онъ умеръ въ 1774 году. Денисъ Ивановичъ, въ своемъ „Чистосердечномъ признаніи“—такъ называлъ онъ, въ подражаніе Жанъ-Жаку Руссо, свои автобіографическія записки¹⁾—сообщаетъ о немъ весьма любопытныя подробности, ясно указывающія намъ, что развитіе личнаго характера Дениса Ивановича было вовсе не случайнымъ, а совершенно—правильнымъ слѣдствіемъ тѣхъ условій быта, которыми онъ былъ съ малолѣтства окруженъ дома. Притомъ же нельзя не замѣтить, что въ характерѣ Дениса Ивановича повторились и нѣкоторыя (по всѣмъ вѣроятіямъ родовыя) черты характера его отца.

„Отецъ мой“—такъ рассказываетъ Денисъ Ивановичъ объ Иванѣ Андреевичѣ въ своемъ „Чистосердечномъ признаніи“—„былъ человѣкъ большого, здраваго разсудка, но не имѣлъ случая, по тогдашнему образу воспитанія, просвѣтить себя ученіемъ. По крайней мѣрѣ читалъ онъ всѣ русскія книги, изъ коихъ любилъ отменно древнюю и римскую исторію, мнѣнія Цицероновы и прочіе хорошіе переводы нравоучительныхъ книгъ. Онъ

былъ человѣкъ добродѣтельный и истинный христіанинъ, любилъ правду, и такъ не терпѣлъ лжи, что всегда краснѣлъ, когда кто лгалъ при немъ не устыжаясь. Въ переднихъ знатныхъ вельможахъ никто его не видывалъ, но онъ не пропускалъ ни одного праздника, чтобъ не быть съ почтеніемъ у своихъ начальниковъ²⁾. Ненавидѣлъ лихомства и, бывъ въ такихъ мѣстахъ, гдѣ люди напиваются, никакихъ никогда подарковъ не принималъ. „Государь мой!“ говаривалъ онъ приносителю: „сахарная голова не есть резонъ для обвиненія вашего соперника: извольте ее отнести назадъ, а принесите законное доказательство вашего права“. Послѣ сего болѣе уже не разговаривалъ съ приносителемъ. — Отецъ мой жилъ слишкомъ восемьдесятъ лѣтъ. Причиною сему было воздержное христіанское житіе: онъ горячихъ напитковъ не пилъ, пищу употреблялъ здоровую, но не объѣдался... за картами ни одной ночи не просиживалъ п, словомъ, никакой страсти, возмущающей человеческое спокойствіе, онъ не чувствовалъ. О. если бы дѣти его были ему подобны въ тѣхъ качествахъ, кои составляли главныя души его свойства и кои въ нынѣшнемъ обращеніи свѣта едва-ли сохранить можно³⁾. Отецъ мой былъ характера весьма вспыльчиваго, но не злопаметнаго; съ людьми своими обходился съ кротостью, но, не смотря на сіе, въ домѣ нашемъ дурныхъ людей не было. Сіе доказываетъ, что побой не есть средство къ исправленію людей. Не смотря на свою вспыльчивость, я не слышалъ, чтобъ онъ съ кѣмъ-нибудь поссорился: а вызовъ на дуэль считалъ онъ дѣломъ противу совѣсти. „Мы живемъ подъ законами“, говаривалъ онъ,—„и стыдно, имѣя таковыя священныя защитниковъ, каковы законы, разбираться самимъ на кулакахъ; ибо шпаги и кулаки суть одно, и вызовъ на дуэль есть

¹⁾ Полное заглавіе записокъ: „Чистосердечное признаніе въ дѣлахъ жонты и помышленіяхъ“. Въ самомъ вступленіи къ запискамъ авторъ указываетъ на „Confessions“ Руссо, какъ на образецъ своего труда.—²⁾ Судя по тону разсказа Дениса Ивановича, вообще выставляющаго отпа своего честнымъ служакой, должно предположить, что праздничные киянты виѣнялись въ обязанность служащимъ въ прошломъ столѣтіи.—³⁾ Этотъ невыгодный отзывъ о своей собственной нравственности, какъ и вообще о современныхъ правахъ, должно считать нѣсколько преувеличеннымъ: не слѣдуетъ забывать, что „Признаніе“ писано Фонъ-Визиннымъ въ концѣ жизни, когда онъ былъ склоненъ, подъ вліяніемъ мрачнаго настроенія, нѣсколько преувеличивать и свои личные недостатки, и недостатки всѣхъ окружающихъ его людей.

ничто иное, какъ дѣйствіе буйственной молодости". Наконецъ долженъ я сказать къ чести отца моего, что онъ, имѣя не болѣе пяти сотъ душъ, живучи въ обществѣ съ хорошими дворянами, воспитывая восьмерыхъ дѣтей, умѣлъ жить и умереть безъ долга. Сіе искусство въ нынѣшнемъ обращеніи свѣта едва-ли кому извѣстно. По крайней мѣрѣ, намъ, дѣтямъ его, оно непостижимо. Вторая супруга отца моего, а моя мать,

имѣла разумъ тонкій и душевными очами видѣла далеко. Сердце ея было сострадательно и никакой злобы въ себѣ не вмѣщало: жена была добродѣтельная, мать чадолюбивая, хозяйка благоразумная и госпожа великодушная. Можно сказать, что отъ дома моихъ родителей за добродѣтели ихъ благодать Божія никогда не отнималась".

Затѣмъ, видимо, въ назиданіе воспитателямъ, Фонъ-Визинъ продолжаетъ рассказы-



Фонъ-Визинъ.

вать объ отношеніяхъ своихъ къ родителямъ и о своемъ воспитаніи. „Чувствительность моя была безпримѣрная. Однажды отецъ мой, собравъ всѣхъ своихъ младенцевъ, сталъ рассказывать намъ исторію Іосифа Прекраснаго. Въ рассказываніи его не было никакого украшенія; но какъ повѣсть сама собою была трогательная, то весьма скоро навернулись слезы на глаза мои; потомъ началъ я рыдать неотгнимо: Іосифъ, продан-

ный своими братьями, растерзалъ мое сердце, и я, не могши остановить рыданія моего, оробѣлъ, думая, что слезы мои почтены будутъ звономъ моей глупости. Отецъ мой спросилъ меня, о чемъ я такъ рыдаю? „У меня разболѣлся зубъ“, отвѣчалъ я. И такъ отвели меня въ мою комнату и начали лѣчить здоровый мой зубъ. „Батюшка“, говорилъ я, „я всклепалъ на себя зубную болѣзнь: а плакалъ я отъ того, что мнѣ жалъ

стало бѣднаго Іосифа". Отецъ мой похвалилъ мою чувствительность и хотѣлъ знать, для чего я тотчасъ не сказалъ ему правду. „Я постыдился“, отвѣчалъ я, „да и побоялся, чтобы вы не перестали разсказывать исторіи“. „Я ее конечно доскажу тебѣ“, говорилъ отецъ мой. И дѣйствительно, черезъ нѣсколько дней онъ сдержалъ свое слово и видѣлъ новый омытъ моей чувствительности. Странно, что сія повѣсть, тронувшая столько мое младенчество, послужила мнѣ самому къ извлеченію слезъ у людей чувствительныхъ; ибо я знаю многихъ, кои, читая Іосифа ¹⁾, мною переведеннаго, проливали слезы".

„Не утаю и того, что пріѣзжавшій изъ дмитровской нашей деревни мужикъ, Федоръ Суратовъ, сказывать намъ сказки и такъ настрашалъ меня мертвецами и темнотою, что до сихъ поръ неохотно остаюсь въ потемкахъ. А въ мертвецамъ привыкъ я уже въ теченіе жизни моей, теряя людей, сердцу моему любезныхъ“.

И такъ, воспитаніе, на сколько можно судить по этимъ свѣдѣніямъ, велось довольно правильно: родители обращали вниманіе на развитіе въ дѣтяхъ ума и сердца, а русская обстановка отцовскаго дома рано способствовала развитію въ Денисѣ Ивановичѣ его живаго, пылкаго воображенія. Попеченіямъ отца своего приписываетъ Денисъ Ивановичъ и рано начавшееся основательное изученіе отечественнаго языка. „Какъ скоро я выучился читать, такъ отецъ мой у крестовъ заставилъ меня читать. Сему обязанъ я, если имѣю въ російскомъ языкѣ нѣкоторое знаніе. Ибо, читая церковныя книги, ознакомился я съ славянскимъ языкомъ, безъ чего російскаго языка и знать не возможно ²⁾. Я долженъ благодарить родителя моего за то, что онъ весьма примѣчалъ мое чтеніе, и бывало... примѣчая изъ читаннаго мною тѣ мѣста, коихъ казалось ему, читая, я не разумѣлъ, принималъ онъ на себя трудъ изъяснять мнѣ оныя“...

Послѣ такого тщательнаго и рѣдкаго по тому времени домашняго воспитанія, Денисъ

Ивановичъ отданъ былъ отцомъ въ университетскій благородный пансіонъ, какъ только онъ былъ учрежденъ, т. е. въ 1755 году. Въ первые годы своего существованія это воспитательное заведеніе находилось, повидимому, въ довольно жалкомъ положеніи. Воспоминанія свои о пребываніи въ этомъ заведеніи Фонъ-Визинъ начинаетъ даже съ нѣкоторой оговорки, предупреждая читателей своихъ о томъ, что „ны нѣ ш н ѣ й ³⁾ университетъ уже не тотъ, какой при мнѣ былъ. Учители и ученики совсѣмъ нынѣ другихъ свойствъ и сколько тогдашнее положеніе сего училища ⁴⁾ подвергалось осужденію, столь нынѣшнее похвалы заслуживаетъ. Я скажу въ примѣръ бывшій нашъ экзаменъ въ нижнемъ латинскомъ классѣ. Наканунѣ экзамена дѣлалось приготовленіе; вотъ въ чемъ оно состояло: учитель нашъ пришелъ въ кафтанѣ ⁵⁾, на коемъ было пять пуговицъ, а на камзолѣ ⁶⁾ четыре; удивленный сею странностью, спросилъ я учителя о причинѣ. „Пуговицы мои вамъ кажутся смѣшны“, говорилъ онъ, „но онѣ суть стражи вашей и моей чести: ибо на кафтанѣ значутъ пять склоненій, а на камзолѣ четыре спряженія; и такъ“, продолжалъ онъ, удара по столу рукою, — „позвольте слушать всѣ, что говорить стану. Когда станутъ спрашивать о какомъ нибудь имени, какого (оно) склоненія, тогда примѣчайте, за которую пуговицу возьмусь; если за вторую, то смѣло отвѣчайте: втораго склоненія. Съ спряженіями поступайте (также), смотря на мои камзолныя пуговицы, и никогда ошибки не сдѣлаете“. Вотъ каковъ былъ экзаменъ нашъ! О вы, родители, восхищающіеся часто чтеніемъ газетъ, видя въ нихъ имена дѣтей вашихъ, получившихъ за прилежность свою призы, послушайте, за что я медаль получилъ. Тогдашній нашъ инспекторъ покровительствовалъ одного нѣмца, который принятъ былъ учителемъ географіи. Учениковъ у него было только трое. Но какъ учитель нашъ былъ гутѣ прежняго латинскаго, то мы, слѣдственно, экзаменованы были безъ всякаго приготовленія. Товарищъ мой сиромень былъ: „куда течетъ

¹⁾ Здѣсь Фонъ-Визинъ упоминаетъ объ одномъ изъ первыхъ своихъ литературныхъ трудовъ, о вошедшемъ въ то же „Іосифѣ“, переведенной имъ и напечатанной въ Москвѣ въ 1769 г. — ²⁾ См. вышеприведенное нами совершенно сходное съ этимъ мнѣніе Ломоносова на стр. 349. — ³⁾ Дѣло идетъ о концѣ XVIII стол. —

⁴⁾ Здѣсь, подъ именемъ университета и училища, Ф.-Визинъ разумѣетъ все то же благородный пансіонъ. — ⁵⁾ Кафтанъ — верхнее платье, въ родѣ сюртука. — ⁶⁾ Камзолъ — т. е. жилетъ.

Волга? — „Въ Черное море“, отвѣчалъ онъ; спросилъ о томъ же другаго моего товарища: „въ Бѣлое“ — отвѣчалъ тотъ; сей же самый вопросъ сдѣланъ былъ мнѣ: „и не знаю“, сказалъ я съ такимъ видомъ простодушія, что экзаменаторы единогласно мнѣ медалъ присудили... Какъ бы то ни было, я долженъ съ благодарностью вспомнить университетъ. Ибо въ немъ, обучаясь латынѣ, положилъ основаніе нѣкоторымъ моимъ знаніямъ. Въ немъ научился я довольно нѣмецкому языку, а паче всего въ немъ получилъ я вкусъ къ словеснымъ наукамъ. Склонность моя къ писанію явилась еще въ младенствѣ, и я, упражняясь въ переводахъ на російскій языкъ, достигъ до юношескаго возраста“.

Первымъ въ числѣ этихъ переводовъ, появившихъ въ печать, были: „Нравоучительныя басни съ изъясненіемъ г. барона Гольберга“, переведенныя Ф.-Визиннымъ по предложенію книгопродавца, который, повидимому, промышлялъ при университетѣ тѣмъ, что, подмѣчая въ числѣ молодыхъ людей болѣе способныхъ къ литературнымъ занятіямъ, пользовался ихъ трудами и въ вознагражденіе за труды надѣлялъ ихъ книгами изъ своей лавки¹⁾.

Гольберговы басни Ф.-Визинъ переводилъ уже студентомъ, такъ какъ съ 1759 г. онъ перешелъ въ университетъ. Студентомъ же сталъ онъ печатать и другія переводныя статьи свои въ журналахъ; сначала въ журналѣ Хераскова „Полезное Увеселеніе“ (надавался въ теченіе 1760, 1761 и 1762 гг.), потомъ въ журналѣ Рейхеля „Собраніе лучшихъ сочиненій къ распространенію знаній и къ произведенію удовольствій“ (издавался въ 1762 г.). Нечего и говорить о томъ, что эти первые юношескіе опыты не выдерживаютъ никакой литературной критики и что во многихъ мѣстахъ самыхъ переводовъ Ф.-Визина замѣтно еще очень поверхностное, несовершенное знаніе иностранныхъ языковъ.

Однимъ изъ самыхъ пріятныхъ воспоминаній ранней юности для Ф.-Визина было воспоминаніе о его первой побѣдѣ въ Петербургѣ, передъ окончаніемъ гимназическаго

курса, въ 1758 году. Директоръ гимназій, И. И. Мелиссино, отправляясь въ Петербургъ для объясненій съ кураторомъ и основателемъ Московскаго университета, Ив. Ив. Шуваловымъ, рѣшился захватить съ собою и десять лучшихъ учениковъ гимназій „для показанія плодовъ сего училища“. — „Я не знаю“, — скромно прибавляетъ Ф.-Визинъ къ описанію этой побѣдки, — „какимъ образомъ попалъ я и братъ мой въ сіе число избранныхъ учениковъ²⁾. Мы съ братомъ, пріѣхавъ въ Петербургъ, стали въ домѣ родного дяди нашего. Черезъ нѣсколько дней директоръ представилъ насъ куратору. Сей добродѣтельный мужъ, котораго заслугъ Россіи позабыть не должна, принялъ насъ весьма милостиво и, взявъ меня за руку, подвелъ къ человѣку, котораго видъ обратилъ на себя мое почтительное вниманіе. То былъ бессмертный Ломоносовъ! Онъ спросилъ меня: чему я учился? „По латыни“ — отвѣчалъ я. Тутъ началъ онъ говорить о пользѣ латинскаго языка съ великимъ, правду сказать, краснорѣчіемъ. Послѣ обѣда въ тотъ же день были мы во дворцѣ на куртагѣ; но Государыня не выходила. Признаюсь искренно, что я удивленъ былъ великолѣпіемъ Двора нашей Императрицы. Вездѣ сіяющее золото, собраніе людей въ голубыхъ и красныхъ лентахъ, множество дамъ прекрасныхъ, наконецъ огромная музыка, все сіе поражало зрѣніе и слухъ мой, и дворецъ казался мнѣ жилищемъ существа выше смертнаго. Сему такъ и быть надлежало: ибо тогда былъ я не старѣ 14 лѣтъ, ничего еще не видывалъ — все казалось мнѣ ново и прелестно. Пріѣхавъ домой, спрашивалъ я у дядюшки: „часто-ли бываютъ у Двора куртаги?“ — „Почти всякое воскресенье“, отвѣчалъ онъ; и я рѣшился продлить пребываніе мое въ Петербургѣ сколько можно долѣе, дабы чаще видѣть Дворъ... Но ничто въ Петербургѣ такъ меня не восхищало, какъ театръ, который я увидѣлъ въ первый разъ отъ роду. Играли русскую комедію, какъ теперь помню, „Генрихъ и Перилія“. Тутъ видѣлъ я Шумскаго, который шутками своими такъ меня смѣшилъ, что я, терявъ

¹⁾ Спекуляція эта вѣроятно была очень выгодна для книгопродавца: басни Гольберга въ 1765 году были напечатаны уже въ торгѣмъ изданіемъ. — ²⁾ Скромность эта должна уже потому казаться излишнею, что Ф.-Визинъ въ бытность свою въ гимназій нѣсколько разъ получалъ награды и медали, явно свидѣтельствующія о томъ, что онъ былъ однимъ изъ лучшихъ учениковъ.

благопристойность, хохоталъ изъ всей силы. Дѣйствія, произведеннаго во мнѣ театромъ, почти описать невозможно: комедію, видѣнную мною, дозволю глупую. считалъ я произведеніемъ величайшаго разума, а актеровъ—величайшими людьми, коихъ знакомство, думалъ я, составило-бы мое благополучіе. Я съ ума было сошелъ отъ радости, узнавъ, что сіи комедіанты вхожи въ домъ дядюшки моего, у котораго я жилъ. И дѣйствительно, чрезъ нѣкоторое время познакомился я тутъ съ покойнымъ Ѳ. Гр. Волковымъ, мужемъ глубокаго разума, исполненнымъ достоинствами, который имѣлъ большія знанія и могъ-бы быть человѣкомъ государственнымъ. Тутъ познакомился я съ славнымъ актеромъ Иваномъ Аванасьевичемъ Дмитревскимъ, человѣкомъ честнымъ, умнымъ, знающимъ, и съ которымъ дружба моя и до сихъ поръ продолжается“.

Такимъ образомъ, изъ словъ самого Фонъ-Визина замѣтно, что эта первая поѣздка въ Петербургъ произвела на его юношеское воображеніе одно изъ тѣхъ нежданно-сильныхъ впечатлѣній, которыя не стираются во всю жизнь и не исчезаютъ изъ памяти. Эта поѣздка въ Петербургъ была еще и въ другомъ отношеніи полезна для Ф.-Визина. „Тутъ узналъ я“, пишетъ онъ, „сколько нуженъ молодому человѣку французскій языкъ, а для того твердо предпринялъ и началъ учиться оному; а между тѣмъ продолжалъ латинскій, на коемъ слушалъ логику у профессора Шадена, бывшаго тогда ректоромъ... Знаніе мое въ латинскомъ языкѣ пособило мнѣ весьма въ обученію французскаго. Черезъ два года я могъ разумѣть Вольтера и началъ переводить стихами его „Альзиру“.

Трудно сказать, кончилъ-ли Фонъ-Визинъ полный курсъ наукъ въ университетѣ, или до конца его опредѣлился на службу въ иностранную коллегію? Изъ его собственнаго разсказа этого нельзя себѣ яснить: онъ говоритъ только:

„Въ 1761 г. былъ уже я сержантъ гвардіи; но какъ желаніе мое было гораздо болѣе учиться, нежели ходить въ караулы на съѣзжую, то уклонился я сколько могъ отъ дѣйствительной службы. По счастью моему, Дворъ прибылъ въ Москву, и тогдашній вице-канцлеръ (князь А. М. Голицынъ) взялъ меня въ иностранную коллегію переводчи-

комъ капитанъ-поручикъ чина, чѣмъ я былъ доволенъ“.

Для полнаго уразумѣнія этого мѣста не слѣдуетъ забывать, что всѣ молодые дворяне, по обычаю времени, должны были служить въ военной службѣ, въ которую записывались рядовыми чуть-ли не съ колыбели.

На этомъ основаніи и отецъ Фонъ-Визина, въ 1754 г., когда Денису Ивановичу минуло десять лѣтъ, записалъ его въ л.-гв. Семеновскій полкъ. Вотъ почему семь лѣтъ спустя, и все это время числясь на службѣ, Ф.-Визинъ, сидѣвшій еще на студенческой скамейкѣ, могъ уже быть сержантомъ гвардіи. Но по смыслу той бумаги, которая прислана была изъ государственной коллегіи иностранныхъ дѣлъ въ Московскій университетъ по поводу поступленія Фонъ-Визина на службу, оказывается, что Денисъ Ивановичъ покидалъ университетъ, не докончивъ курса; по крайней мѣрѣ въ бумагѣ этой значится только, что коллегія иностранныхъ дѣлъ отъ Императорскаго Московскаго университета требуетъ, „чтобы оной благоволилъ сержанта Дениса Фонъ-Визина, въключа въ число университетскихъ студентовъ, прислать въ оную коллегію для опредѣленія по желанію и способности его, о чемъ равноумѣрно писано и л.-гв. Семеновскаго полка въ полковую канцелярію“.

Первые шаги Фонъ-Визина на службѣ были очень удачны; его способности и знанія были замѣчены, и вскорѣ дано было ему даже довольно почетное порученіе, для исполненія котораго онъ отправленъ былъ за границу. Возвратясь оттуда съ самыми лестными рекомендаціями, онъ былъ еще лучше принятъ своимъ начальствомъ; но въ иностранной коллегіи оставался не долго. „Одинъ кабинетъ-министръ (Ив. Пер. Елагинъ) имѣлъ надобность взять кого-нибудь изъ коллегіи: и какъ по „Альзирѣ“ моей замѣченъ былъ я съ хорошей стороны, то именнымъ указомъ (7 окт. 1763 г.) велѣно мнѣ быть при томъ кабинетъ-министрѣ. Я ему представился и былъ принятъ отъ него тѣмъ милостивѣе, что самъ онъ, прославясь своимъ вѣтѣйствомъ на русскомъ языкѣ, покровительствовалъ молодымъ писателямъ. Я могу похвалиться, что сей новый мой начальникъ обращался со мною какъ надобно съ дворяниномъ; но въ домѣ его повсечасно былъ человѣкъ, давно ему знакомый и носившій полную его

довѣренность. Сей человекъ ¹⁾, имѣющій впрочемъ разумъ, былъ безпримѣрнаго высокоумія и правомъ тяжелъ пренесенно. Онъ упражнялся въ сочиненіяхъ на русскомъ языкѣ; фисіономія ли моя, или не весьма скромный мой отзывъ о его перѣ причиной стали его ко мнѣ ненависти? Могу сказать, что въ домѣ самаго честнаго и снисходительнаго начальника велъ я жизнь самую непріятнѣйшую отъ дѣйствія ненависти его любимца²⁾.

Непріятныя отношенія къ любимцу кабинета-министра, конечно, происходили отъ „нескромнаго отзыва о его перѣ“ и самыя неудачи службы Дениса Ивановича у И. П. Елагина можно объяснить себѣ, безъ сомнѣнія, только тѣмъ, что Елагинъ вѣроятно опасался его алого и остраго языка. Самъ Фонъ-Визинъ описывалъ свой характеръ въ Чистосердечномъ признаніи именно съ этой невыгодной его стороны. „Природа“, говоритъ онъ, „дала мнѣ умъ острый, но не дала мнѣ здраваго разсудка. Весьма рано появилась во мнѣ склонность къ сатирѣ. Острыя слова мои носились по Москвѣ; а какъ они были для многихъ явительны, то обиженные оглашали меня злымъ и опаснымъ мальчишкою; всѣ же тѣ, коихъ острые слова мои лишь только забавляли, прославили меня любезнымъ и въ обществѣ пріятнымъ. Видя, что вездѣ меня принимаютъ за умнаго человека, заботился я мало о томъ, что разумъ мой похвалится на счетъ сердца, и я прежде нажилъ непріятелей, нежели друзей“. Впрочемъ этотъ невыгодный отзывъ о своемъ характерѣ Денисъ Ивановичъ смягаетъ тутъ-же слѣдующимъ, очень характернымъ заключеніемъ: „Сердце мое, не похвалясь скажу, было предоброе; я ничего такъ не боялся, какъ сдѣлать какую нибудь несправедливость, и для того ни передъ кѣмъ такъ не трусилъ, какъ передъ тѣмъ, кои отъ меня зависѣли и кои отомстить мнѣ были не въ состояніи“. Несмотря на разнообразныя не-

пріятности, претерпѣваемые отъ Лукина, не смотря на то, что и по службѣ своей Денисъ Ивановичъ не двигался ни на шагъ впередъ, онъ долженъ былъ оставаться при Елагинѣ дѣтъ шесть сряду. Въ теченіе этого времени, ему не разъ, какъ кажется, приходилось спасаться отъ всѣхъ служебныхъ непріятностей отъѣздомъ въ отпускъ къ роднымъ, въ Москву. Эти отпуски,—въ теченіе которыхъ онъ проводилъ время въ кругу своихъ домашнихъ и, забывая о неудачной служебной карьерѣ, занимался горячо литературой,—иногда длились очень долго. Такъ, напримѣръ, въ одномъ изъ писемъ своихъ къ И. П. Елагину, изъ Москвы, Денисъ Ивановичъ, говоря о сочиненной имъ комедіи ³⁾, прибавляетъ: „ежели милость ваша столь велика для меня будетъ, что я еще на полгода здѣсь останусь, то, переписавъ чисто, буду имѣть честь переслать оную къ вашему превосходительству... Ваша критика мнѣ необходима“ и т. д. Въ другомъ письмѣ къ тому же начальнику Фонъ-Визинъ говоритъ довольно подробно о своемъ препровожденіи времени въ Москвѣ: „Время мое провожу здѣсь весьма полезно, въ разсужденіи извѣстнаго вамъ моего состоянія ⁴⁾; перевелъ Го сп фа, за который возьму 200 рублей. Напечаталъ Сиднея ⁵⁾; пишу стихи... Съ Веверомъ (книгопродавцемъ) дѣлаю я весьма прочный договоръ, который состояніе мое отменно поправить“ и т. д.

Только уже въ концѣ 1769 г. Денису Ивановичу удалось снова перейти на службу въ иностранную коллегію, къ графу Никитѣ Ивановичу Панину, который познакомился съ нимъ за три года передъ тѣмъ, когда Фонъ-Визинъ, какъ авторъ „Бригадира“ и какъ замѣчательный чтецъ, сдѣлался на время модною знаменитостью въ салонахъ петербургскаго высшего общества. „Чтеніе мое“—пишетъ Фонъ-Визинъ въ „Чистосердечномъ признаніи“—„заслужило вниманіе покойнаго Александра Ильича Библикова“)

¹⁾ Здѣсь идетъ рѣчь о В. И. Лукинѣ, авторѣ нѣсколькихъ комедій, переведенныхъ или переделанныхъ на русскіе нравы. — ²⁾ Неизвѣстно, какой именно: письмо это относится къ 1769 г. — ³⁾ Намекается на денежные недостатки, которые въ молодости часто терпѣлъ Фонъ-Визинъ, получая небольшое жалованье и не имѣя состоянія. — ⁴⁾ „Сидней и Силія или благодареніе и благодарность“, повѣсть Арно, нравоучительнаго и вѣселаго сентиментальнаго содержанія. — ⁵⁾ А. И. Библиковъ (род. 1733, ум. 1774). Служилъ въ военной службѣ и отличился во многихъ сраженіяхъ во время Семилѣтней войны. Въ описываемое Фонъ-Визинимъ время онъ былъ выбранъ костромскимъ дворянствомъ въ Комиссію для составленія уложенія.

и графа Григорья Григорьевича Орлова ¹⁾, который не преминулъ о томъ донести Государынѣ (Екатеринѣ II). Въ самый Петровъ день графъ прислалъ ко мнѣ спросить: „ѣду-ли я въ Петергофъ, и если ѣду, то возьмъ-бы съ собою мою комедію „Бригадира“. Я отвѣчалъ, что исполню его повелѣніе. Въ Петергофѣ, на балѣ, графъ, подошедъ ко мнѣ, сказалъ: „Ея Величество приказала послѣ бала вамъ быть къ себѣ, и вы позволите идти въ Эрмитажъ“. И дѣйствительно, я нашелъ Ея Величество готовою слушать мое чтеніе. Никогда не бывъ столь близко государя, признаюсь, что я началъ было нѣсколько робѣть, но взоръ російской благотворительницы и гласъ ея, идущій къ сердцу, ободрилъ меня. а нѣсколько словъ, произнесенныхъ монаршими устами, привели меня въ состояніе читать мою комедію передъ нею съ обыкновеннымъ моимъ искусствомъ. Во время же чтенія, похвалы ея давали мнѣ новую смѣлость, такъ что послѣ чтенія былъ я привлеченъ къ нѣкоторымъ шуткамъ и потомъ, облобызавъ ея десницу, вышелъ, имѣя отъ нея всемилостивѣйшее привѣтствіе за мое чтеніе.

Дни черезъ три положилъ я изъ Петергофа возвратиться въ городъ, а между тѣмъ встрѣтился въ саду съ графомъ Никитою Ивановичемъ Панинымъ, которому я никогда представленъ не былъ ²⁾; но онъ самъ остановилъ меня: „Слуга покорный“, сказалъ мнѣ, „подражаю васъ съ успѣхомъ комедій вашей: я васъ увѣряю, что нынѣ во всемъ Петергофѣ ни о чемъ другомъ не говорятъ, какъ о комедіи и о чтеніи вашемъ. Долго-ли вы здѣсь останетесь?“ спросилъ онъ меня. „Черезъ нѣсколько часовъ ѣду въ городъ“, отвѣчалъ я. „А мы завтра“, сказалъ графъ: „я еще хочу, сударь“, продолжалъ онъ, „попросить васъ: Его Высочество желаетъ весьма слышать чтеніе ваше и для того, но пріѣздъ вашъ въ городъ, не уделите ко мнѣ явиться съ вашею комедіею, а я представлю васъ великому князю и вы можете прочитать ее намъ“...

По возвращеніи моемъ въ городъ, узналъ я на другой день, что Его Высочество возвратился. Я немедленно пошелъ во дворецъ къ графу Никитѣ Ивановичу. Мнѣ сказали, что онъ въ антресоляхъ; я просилъ, чтобы ему обо мнѣ доложили. Въ ту минуту позванъ былъ я къ графу: онъ принялъ меня очень милостиво. „Я тотчасъ одѣнусь“, сказалъ онъ мнѣ, „а ты посиди со мною“. Я примѣтилъ, что онъ въ разговорахъ своихъ со мною старался узнать не только то, какія я имѣлъ знанія, но и какія мои моральныя правила. Одѣвшись, повелъ меня къ великому князю и представилъ ему меня, какъ молодаго человѣка отличныхъ качествъ и рѣдкихъ дарованій. Его Высочество изъяснилъ мнѣ въ весьма милостивыхъ выраженіяхъ, сколько желаетъ онъ слышать мою комедію. „Да вотъ послѣ обѣда“, сказалъ графъ, „Ваше Высочество ее услышите“. Потомъ, подошедъ ко мнѣ: „вы“, сказалъ, „позвольте остаться при столѣ Его Высочества“. Коль скоро столъ отошелъ, то послѣ кофе, посадили меня, и Его Высочество съ графомъ и съ нѣкоторыми Двора своего сѣли около меня. Черезъ нѣсколько минутъ тономъ чтенія моего произвелъ я во всѣхъ слушателяхъ прегромкое хохотанье. Паче всего вниманіе графа Никиты Ивановича возбудила „Бригадирша“. „Я вижу“, сказалъ онъ мнѣ, „что вы очень хорошо правы наши знаете, ибо Бригадирша ваша всѣмъ родня; никто сказать не можетъ, что такую же Акулину Тимофеевну не имѣетъ или бабushку, или тетешку, или какую-нибудь свойственницу“. По окончаніи чтенія, Никита Ивановичъ дѣлалъ свое разсужденіе на мою комедію. „Это въ нашихъ нравахъ первая комедія“, говорилъ онъ, „и я удивляюсь вашему искусству, какъ вы, заставляя говорить такую дуришу во всѣ пять актовъ, сдѣлали однако роль ея столько интересною, что все хочется ее слушать; я не удивляюсь, что сія комедія столько имѣетъ успѣха“. Его Высочеству, съ своей стороны, угодно было сказать мнѣ за мое чтеніе многія весьма ласковыя привѣтствія. А графъ, когда мы вышли въ другую комнату, сказалъ: „вы мо-

¹⁾ Въ это время Орловъ (род. 1734 г., ум. 1783 г.) былъ уже генералъ-адъютантомъ, генералъ-аншефомъ, камергеромъ и т. д.; вообще—находился на верху почестей. Фортъ-Визинъ знакомъ былъ съ нимъ уже прежде.—²⁾ Т. е. до этого времени, до чтенія „Бригадира“ въ Эрмитажѣ, въ присутствіи Государыни.

жете ходить къ Его Высочеству и при столѣ оставаться, когда только хотите“. Я благодарилъ за сію милость. „Одолжи-же меня“, сказалъ графъ, „и принеси свою комедію завтра ввечеру ко мнѣ. У меня будетъ мое общество и мнѣ хочется, чтобы вы ее прочли“. Я съ радостію общалъ сіе графу, и на другой день ввечеру чтеніе мое имѣло тотъ же успѣхъ, какъ и при Его Высочествѣ. Вскорѣ послѣ того, черезъ Н. И. Панина, Фонъ-Визинъ познакомился съ братомъ его, графомъ Петромъ Ивановичемъ, который тоже просилъ его къ себѣ обѣдать и читать комедію. „И я у тебя обѣдаю“, сказалъ при этомъ графъ Н. И. Панинъ брату своему Петру Ивановичу: „и я не хочу пропустить случая слушать его чтеніе. Рѣдкій талантъ. У него, братецъ, въ комедіи есть одна Акулина Тимофеевна: когда онъ роль ея читаетъ, тогда я самое ее и вижу, и слышу“. Вообще успѣхъ этой первой замѣчательной русской комедіи, которой дѣйствіе не вышнимъ образомъ, а по всему внутреннему содержанию своему принадлежало русской почвѣ—былъ громадный. Авторъ, удостоенный вниманія Императрицы и Наслѣдника, сдѣлался предметомъ всеобщаго любопытства, модною диковишкой, которую всѣмъ хотѣлось поскорѣ видѣть у себя въ салонѣ, которую по тому самому во всѣ салоны наперерывъ приглашали, угощали, превозносили похвалами. Казалось, что съ этой минуты, послѣ пріобрѣтенія такой литературной извѣстности, Фонъ-Визину былъ открытъ широкій путь не только къ улучшенію его состоянія, къ полученію виднаго мѣста, но даже къ почестямъ, потому что многіе изъ знати, подобно Н. И. Панину, считали своимъ долгомъ предложить автору свое высокое покровительство... Но авторъ былъ не ловкій, не искательный человѣкъ, и не сумѣлъ воспользоваться представившимся удобными случаемъ „выйти въ люди“.

Только уже въ 1776 году, слѣдовательно послѣ довольно долгаго знакомства съ Н. И. Панинымъ, онъ получилъ мѣсто при немъ по иностранной коллегіи. Съ этого времени начались между нимъ и Никитою Ивановичемъ тѣсныя связи, не прекращавшіяся до конца жизни Панина, который сумѣлъ по достоинству оцѣнить способности и прямоу Дениса Ивановича. Но съ этого же времени, вѣроятно, Фонъ-Визинъ сталъ возбуж-

дать къ себѣ то непріязненное чувство въ противоположной Панину партіи, которое повліяло наконецъ и на Екатерину, и ее заставило смотрѣть на Фонъ-Визина и на его служебную и литературную дѣятельность съ весьма неблагоприятной для него точки зрѣнія. До нѣкоторой степени Фонъ-Визинъ и самъ былъ виноватъ въ томъ, что навлекъ на себя нерасположеніе Екатерины: онъ ужъ слишкомъ рѣзко позволялъ себѣ высказываться относительно современныхъ недостатковъ общественной и придворной жизни, не щадилъ мрачныхъ красокъ при описаніи придворной среды, окружавшей Императрицу. Само собою разумѣется, что этимъ путемъ онъ не могъ пойти далеко, и послѣ двадцатилѣтней службы вышелъ въ отставку въ чинѣ статскаго совѣтника. Службу оставилъ онъ скорѣ послѣ смерти Никиты Ивановича Панина, скончавшагося въ 1783 году. Впрочемъ, Никита Ивановичъ сумѣлъ оцѣнить вѣрность и преданность Фонъ-Визина. Когда за воспитаніе Наслѣдника графъ Н. И. Панинъ получилъ отъ Императрицы большія награды деньгами, домами, орденами и помѣстьями (9000 душъ въ Бѣлоруссіи), тогда онъ, отъ себя, наградилъ и всѣхъ вѣрныхъ помощниковъ своихъ; а въ томъ числѣ, прежде всѣхъ другихъ, Дениса Ивановича Фонъ-Визина, который, „сохраняя къ нему непоколебимую преданность, удостоенъ былъ всегда полной его довѣренности“. На долю Фонъ-Визина досталось 1180 душъ въ Бѣлоруссіи, и онъ, такимъ образомъ, явился человѣкомъ весьма состоятельнымъ, почти богатымъ, особенно послѣ женитьбы своей на одной молодой вдовѣ, которая принесла ему въ приданое домъ въ Петербургѣ и 20,000 рублей денегъ. Фонъ-Визинъ сталъ жить открыто и богато, въ кругу своихъ пріятелей, къ которымъ принадлежали многіе изъ современныхъ литераторовъ: Богдановичъ, Державинъ, Княжнинъ и актеръ Дмитревскій, съ которымъ связи его начались, какъ мы видѣли, еще отъ ранней юности.

Въ теченіе времени между 1774 и 1790 годами Фонъ-Визинъ три раза успѣлъ побывать за границей, большею частью съ цѣлью лѣченія, то по причинѣ нездоровья жены, то по причинѣ своей собственной болѣзненности, которая значительно сократила его жизнь. Изъ перваго и наиболѣе любопытнаго путешествія своего онъ писалъ къ графу

Н. И. Панину и къ сестрѣ своей письма, очень замѣчательныя по своему рѣзкому остроумію и по самостоятельности взгляда на порядокъ государственнаго устройства и на общественную жизнь во Франціи, для многихъ служившую образцомъ слѣпного подражанія и поклоненія. Возвратясь изъ этого довольно продолжительнаго путешествія, Фонъ-Визинъ написалъ своего „Недоросля“ (въ 1782 году), который всѣмъ принятъ былъ съ восторгомъ, какъ явленіе еще небывалое въ литературѣ нашей. Но въ этой прекрасной комедіи Фонъ-Визинъ уже совершенно ясно слышится намъ глубоко-затаенное недовольство современностью. Это недовольство выказывается въ томъ, что ни одна изъ высоко-нравственныхъ (по мнѣнію автора) личностей, выведенныхъ имъ на сцену — въ противоположность порочнымъ и безнравственнымъ типамъ Простаковыхъ, Скотининныхъ и т. п., — не принадлежитъ современности по идеямъ и стремленіямъ своимъ. Всѣ онѣ указываютъ на доброе старое время, какъ на такое, въ теченіе котораго и люди были будто-бы честнѣе, и нравы чище и т. д. Тѣмъ же рѣзко высказаннымъ недовольствомъ противъ придворной среды и противъ исключительнаго положенія высшего общественнаго слоя провинкнуто все, что около того же времени было написано Фонъ-Визиннымъ: и знаменитыя „Вопросы“ издателью „Былей и Небылицъ“, и „Придворная грамматика“ (которая также подготавливалась для „Собесѣдника“, но была отвергнута за рѣзкость тона), и всѣ остальные статьи, помѣщенные въ „Собесѣдникъ“ (слѣдовательно писанныя послѣ „Недоросля“) или заготовленные для него и въ немъ не помѣщенные. Изъ нихъ-то послѣдствіемъ Фонъ-Визинъ и думалъ составить свой особый журналъ подъ названіемъ „Стародумъ или другъ честныхъ людей“. Но тутъ ужъ, въ свою очередь, высказалось совершенно ясно недовольство Екатерины Фонъ-Визиннымъ и его дѣятельностью: въ своемъ письмѣ отъ 4-го апрѣля 1788 года Денисъ Ивановичъ извѣщаетъ П. И. Панина о томъ, что петербургская полиція не разрѣшила выхода въ свѣтъ его журнала.

Желчною недовольству Дениса Ивановича, уже отъ природы раздражительнаго, много способствовало около этого времени послѣ (1785 года) болѣзненное разстройство

его организма: онъ былъ разбитъ параличемъ, который до самаго конца жизни лишилъ его возможности владѣть лѣвой рукой и лѣвой ногой, и значительно затруднилъ самое употребленіе языка. Это болѣзненное разстройство повліяло еще съ другой стороны на Фонъ-Визинъ: онъ поддался мрачному религиозному настроенію, подъ вліяніемъ котораго сталъ самымъ неумолимымъ судьей всѣхъ поступковъ своихъ и даже на болѣзнь свою сталъ смотрѣть, какъ на кару, будто бы ниспосланную на него Богомъ.

Подъ вліяніемъ этого-то мрачнаго религіознаго настроенія и написано было Фонъ-Визиннымъ въ концѣ его жизни (въ 1790 году) „Чистосердечное признаніе въ дѣлахъ и помышленіяхъ“. Есть однакоже нѣкоторое основаніе думать, что это мрачное настроеніе Дениса Ивановича было только весьма естественнымъ и притомъ временнымъ проявленіемъ болѣзненнаго разстройства въ организмѣ: такъ можемъ мы по крайней мѣрѣ заключить по извѣстному разсказу И. И. Дмитріева о томъ предсмертномъ вечерѣ, который ему удалось провести у Державина, вмѣстѣ съ Фонъ-Визиннымъ. Въ этомъ простомъ и замѣчательномъ разсказѣ Фонъ-Визинъ является намъ такимъ же веселымъ, острымъ, живымъ и рѣзкимъ, какимъ мы его знаемъ по его сочиненіямъ, письмамъ и журнальнымъ статьямъ его лучшаго времени; о мрачномъ религіозномъ настроеніи, о самоуничиженіи и смиреніи тутъ нѣтъ и помину. Приводимъ здѣсь этотъ любопытный разсказъ изъ воспоминаній И. И. Дмитріева, въ заключеніе нашихъ біографическихъ свѣдѣній о Фонъ-Визинѣ.

„Черезъ Державина—такъ пишетъ И. И. Дмитріевъ—я сошелся съ Денисомъ Ивановичемъ Фонъ-Визиннымъ. По возвращеніи его изъ бѣлорусскаго его помѣстья, онъ просилъ Гаврила Романовича (Державина) познакомиться его со мною. Я не знавалъ его въ лицо, какъ и онъ меня. Назначенъ былъ день свиданія. Въ шесть часовъ пополудни пріѣхалъ Фонъ-Визинъ. Увидя его въ первый разъ, я вздрогнулъ и почувствовалъ всю бѣдственность и нищету человѣческую. Онъ вступилъ въ кабинетъ Державина, поддерживаемый двумя молодыми офицерами, выпущенными изъ Шкловскаго кадетскаго корпуса и пріѣхавшими съ нимъ изъ Бѣлоруссіи. Уже онъ не могъ владѣть одною рукой; равно и

одна нога одеревенѣла: обѣ поражены были параличемъ; говорилъ съ крайнимъ усиліемъ, и каждое слово произносилъ голосомъ охриплымъ и дикимъ; но большіе глаза его быстро сверкали. Первый брошенный на меня взглядъ привелъ меня въ смятеніе. Разговоръ не замѣшкался. Онъ приступилъ ко мнѣ съ вопросами о своихъ сочиненіяхъ: знаю-ли я „Недоросля“? читалъ-ли „Посланіе къ Шумилову“, „Лису-Казнодѣйку“, переводъ его „Похвального слова Марку Аврелію“? и т. д.; какъ я нахожу ихъ?—Казалось, что онъ такими вопросами хотѣлъ съ перваго раза вывѣдать свойства ума моего и характера. Наконецъ спросилъ меня и о чужомъ сочиненіи: что я думаю о „Душешнѣхъ“¹⁾ „Она—изъ лучшихъ произведеній нашей поэзіи“, отвѣчалъ я. „Прелестна“, подтвердилъ онъ съ выразительною улыбкой. Потомъ Фонъ-Визинъ сказалъ ховяину, что онъ привезъ ему свою комедію „Гофмейстеръ“; ховяинъ и ховайка изъявили желаніе выслушать эту новость. Онъ подалъ знакъ одному изъ своихъ вожатыхъ. Тотъ прочиталъ комедію однимъ духомъ. Въ продолженіе чтенія, авторъ глазами, киваньемъ головы, движеніемъ здоровой руки подчеркивалъ силу тѣхъ выраженій, которыя ему самому нравились. Игривость ума не оставляла его и при болѣзненномъ состояніи тѣла. Несмотря на трудность разсказа²⁾, онъ заставилъ насъ не однажды смѣяться. Во всемъ угадѣ, пока онъ жилъ въ деревнѣ, удалось ему найти одного литератора, городского почтмейстера. Онъ выдавалъ себя за жаркаго почитателя Ломоносова. „Которую же нѣз одъ его вы признаете лучшимъ?“ (спросилъ его Фонъ-Визинъ). „Ни одной не случилось читать“, отвѣтствовалъ почтмейстеръ. „За то“, продолжалъ Фонъ-Визинъ, „доѣхавъ до Москвы, я уже

не зналъ куда дѣваться отъ молодыхъ стихотворцевъ—отъ утра и до вечера они вокругъ меня роились и жужжали. Однажды докладываютъ мнѣ: пріѣхалъ трагикъ. „Принять его“, сказалъ я, и черезъ минуту входитъ авторъ съ пучкомъ бумагъ. Послѣ первыхъ привѣтствій и оговорокъ, онъ проситъ меня выслушать трагедію его въ новомъ вкусѣ. Нечего дѣлать, прошу его садиться и читать. Онъ предваряетъ меня, что развязка драмы его будетъ самая необыкновенная; у всѣхъ трагедій оканчиваются добровольнымъ или насильственнымъ убійствомъ³⁾, а его героиня или главное лицо умретъ естественною смертію. „И въ самомъ дѣлѣ“, заключилъ Фонъ-Визинъ, „героиня его отъ акта до акта чахла, чахла и наконецъ падохла“. Мы разстались съ нимъ въ одиннадцатъ часовъ вечера, а на утро (т. е. 1-го декабря 1792 г.) онъ былъ уже во гробѣ“.

Въ заключеніе всего сказаннаго нами о Фонъ-Визинѣ мы не можемъ не сказать хотя нѣсколько словъ о характерѣ его важнѣйшихъ произведеній, о значеніи ихъ по отношенію къ той живой современности, среди которой они были созданы, и о томъ мѣстѣ, которое несомнѣнно принадлежитъ имъ въ исторіи нашей литературы.

Мы нисколько не думаемъ заниматься здѣсь разборомъ отдѣльных характеровъ, выведенныхъ Фонъ-Визинимъ въ его двухъ важнѣйшихъ произведеніяхъ — „Бригадиръ“ и „Недоросль“. Критика давно уже опредѣлила совершенно вѣрно не только значеніе cadaго изъ характеровъ въ комедіяхъ Фонъ-Визина, но и ихъ связь съ живою дѣйствительностью XVIII вѣка, и даже ихъ художественное значеніе... Желающимъ ближе ознакомиться съ этою стороною драматическихъ произведеній Фонъ-Визина со-

¹⁾ Поэма Богдановича, о которой будемъ говорить далѣе.—²⁾ Т. е. на то, что ему трудно было разсказывать, вслѣдствіе пораженія языка параличемъ.—³⁾ По этому поводу намъ припоминается одно весьма любопытное мѣсто изъ письма Дениса Ивановича къ сестрѣ его въ Москву (19 дек. 1763 г.), въ которомъ онъ ей сообщаетъ о впечатлѣніи, вынесенномъ изъ чтенія одной ложно-классической трагедіи:

„Теперь шутить словъ нѣтъ. Лишь только прочиталъ новую трагедію французскую „Троянки“. Слезы еще и теперь видны на глазахъ моихъ. Гекуба, лишавшаяся дѣтей своихъ, возмущала духъ мой; Поликсена, ея дочь, умирая на гробѣ Ахиллесовомъ, поразила жалостію сердце мое; а отчаяніе Кассандры извлекло изъ глазъ моихъ слезы. Однако, плюнемъ на нихъ! Стихотворецъ подобенъ попу, которому, живучи на погостѣ, не всѣхъ оплакать. Я самъ горю желаніемъ писать трагедію; и рукою моею погибнуть по крайней мѣрѣ съ подлужными героявъ, а если разсержусь, то и ни одного чело-вѣка на театрѣ не оставлю“.

вѣтуемъ обратиться къ почтенному труду А. Д. Галахова ¹⁾, въ которомъ разборъ двухъ комедій Фонъ-Визина занимаетъ едва-ли не одно изъ самыхъ живыхъ и видныхъ мѣстъ.

Мы намѣрены только указать на ту рѣзкую разницу, которую долженъ замѣтить съ перваго же раза всякій читающій объ комедіи Фонъ-Визина. Разница эта во всѣхъ отношеніяхъ до такой степени велика, что, напримѣръ, „Бригадира“ можно читать не иначе, какъ прежде „Недоросля“, и если-бы кому случилось прочесть сначала „Недоросля“, а потомъ приняться за чтеніе „Бригадира“—послѣдняя комедія утратила-бы въ глазахъ читателя значительную долю своего и литературнаго, и нравственнаго значенія. Для уясненія себѣ этого кореннаго различія между „Бригадиромъ“ и „Недорослемъ“ не слѣдуетъ забывать прежде всего, что между этими двумя произведеніями успѣло протечь около семнадцати лѣтъ, т. е. болѣе нежели треть всей жизни пылкаго и впечатлительнаго автора. Необходимо также припомнить, что „Бригадиръ“ былъ написанъ Фонъ-Визиннымъ въ самомъ началѣ его служебной карьеры, когда ему было не болѣе 22 или 23 лѣтъ, а „Недоросль“ былъ однимъ изъ послѣднихъ произведеній его литературной дѣятельности, результатомъ долгаго и разнообразнаго жизненнаго опыта, долгой и трудной служебной дѣятельности, глубокаго и внимательнаго наблюденія жизни. Въ „Бригадирѣ“ Ф.-Визинъ, благодаря своей замѣчательной наблюдательности и сильному сатирическому таланту, сужуль ярче всѣхъ современныхъ писателей вывести на сцену тѣ-же самые общественные типы, которые уже задолго и до него были подмѣчены нѣкоторыми изъ его предшественниковъ-писателей. Эти типы, такъ сказать, давно уже носились въ нашей литературной сферѣ, и какъ-бы ожидали только искуснаго пера, которое сужуль бы вполне рельефно представить ихъ современникамъ: этихъ типовъ давно уже ожидало общество отъ комедіи, и успѣхъ „Бригадира“ при всѣхъ недостаткахъ его литературнаго построения, объясняется именно тѣмъ, что „Акулина Тимофеевна“, выведенная авторомъ на сцену, оказалась „всѣмъ родня“. Точно также близки, знакомы, родственны каждому показан-

лись и совѣтница съ Иванушкой, представившіе собою мѣтко-схваченную карриатуру поверхностнаго образованія и неразумнаго подражанія иноземцамъ; едва-ли не еще болѣе близки были каждому типу грубаго, хотя и не глупаго „Бригадира“ и хищнаго „Совѣтника“, защищающаго невѣжество изъ собственныхъ корыстныхъ видовъ. Кромѣ того, „Бригадиръ“, какъ произведеніе еще молодаго автора, носитъ на себѣ какой-то шутиливый, веселый, даже игривый характеръ. Видно, что авторъ очень ловко подмѣтилъ все смѣшное въ выводимыхъ имъ на сцену типахъ, даже нѣсколько преувеличилъ это смѣшное, но не внесъ въ свое осмысленіе невѣжества и современныхъ ему общественныхъ недостатковъ ни капли горечи и жести: даже въ самой морали своей не явился ни суровымъ, ни скучнымъ.

Совсѣмъ иными звуками, иными красками отличается сатира Фонъ-Визина въ „Недорослѣ“. Всѣ характеры лицъ, выведенныхъ авторомъ на сцену, замѣтно распадаются на два разряда, изъ которыхъ одинъ принадлежитъ живой дѣятельности, а другой противоположенъ первому, какъ идеаль того, что автору хотѣлось-бы видѣть въ дѣйствительности, и чего онъ около себя не видитъ. Этими-то положительно и отличаются комедіи Фонъ-Визина отъ комедій Екатерины, съ которыми, въ сущности, онѣ имѣютъ очень много общаго въ подробностяхъ, въ характерахъ, описаніи быта и типовъ, заимствованныхъ изъ русской дѣйствительности. Но Екатерина, выводивъ на сцену Ханжахиныхъ, Ворчалкиныхъ, Фирлюфюшкиныхъ, старалась всюду, какъ естественную противоположность, противопоставить имъ тѣ разумные честные типы просвѣщенныхъ людей, которые всюду указывали на дѣйствительность, какъ на идеаль всего лучшаго, чего только возможно было ожидать отъ правительнаго и равномернаго движенія общества по пути прогресса. Въ „Недорослѣ“ Фонъ-Визина, напротивъ того, типамъ порочныхъ, невѣжественныхъ и злыхъ людей, очерченныхъ мастерски, глубоко и вѣрно, противопоставляются типы людей добродѣтельныхъ, почтенныхъ, заслуживающихъ уваженія, и въ то-же время, почти непріязненно отно-

¹⁾ Истор. Руск. Слов. древней и новой; часть I, изд. первое.

сящихся къ настоящей дѣйствительности, въ которой главное изъ этихъ лицъ—дядя Софья, Стародумъ—не видятъ ничего утѣшительнаго. Не настоящее, съ его прогрессомъ и новыми сторонами жизни и быта, съ его задатками лучшаго будущаго, противопоставляетъ онъ явленіямъ безобразнаго, захолустнаго застоя и быту невѣжественнаго барства... Нѣтъ! онъ утверждаетъ, что отъ настоящаго положенія общества тоже трудно ожидать чего-нибудь хорошаго въ будущемъ и съ особеннымъ удовольствіемъ выставляетъ, въ назиданіе молодому поколѣнію, привлекательную картину недавно-перешитаго обществомъ прошлаго, въ которомъ нельзя не узнать довольно натянутую идеализацію петровскаго времени. И этою-то стороною „Недоросль“ совершенно отличается отъ всѣхъ комедій Екатерины, идеями которой Фонъ-Визину прежде всѣхъ другихъ русскихъ авторовъ пришлось воспользоваться для своихъ произведеній.

Что же касается до отношенія „Недоросля“ Фонъ-Визина ко всей остальной массѣ драматическихъ произведеній Екатерининскаго времени, то это отношеніе лучше всего опредѣляется для насъ живучестью „Недоросля“, который и до сихъ поръ не забытъ потомствомъ, давно уже предавшимъ забвенію всѣ произведенія Сумарокова, Аблесимова, Лукина, Княжнина, даже Капниста. Этою прочностью своей славы „Недоросль“, конечно, обязанъ тому художественному такту, той художественной

истинѣ, съ которою созданъ былъ главный и глубоко-задуманный авторомъ типъ г-жи Простаковой—типъ, не изобрѣтенный авторомъ, подобно многимъ другимъ лицамъ „Недоросля“, не списанный имъ, какъ вѣрный портретъ, съ какой-нибудь извѣстной ему женской личности, подобно типамъ „Бригадира“. Типъ Простаковой былъ созданъ имъ совершенно естественно, какъ прямой результатъ той среды, въ которую авторъ ее поставилъ, и которую она олицетворила въ себѣ съ самою яркою и страшною правдою. Съ замѣчательнымъ искусствомъ серьезнаго и талантливаго писателя-художника Фонъ-Визинъ такъ страшно покаралъ Простакову бѣдствіями, происходившими отъ ея собственнаго злонавія, что даже съумѣлъ возбудить состраданіе къ покинутой всѣми матери „недоросля“. И если, помимо всѣхъ сценическихъ недостатковъ, помимо всякихъ подробностей обстановки, помимо симметризма въ расположеніи лицъ и дѣйствія, свойственныхъ современному взгляду на изложеніе драматическаго сюжета и характеровъ, мы взглянемъ на „Недоросля“ съ точки зрѣнія художественнаго воссозданія дѣйствительности въ г-жѣ Простаковой, то мы должны будемъ на столько же признать въ Фонъ-Визинѣ перваго самостоятельнаго русскаго „писателя-художника“, на сколько въ Ѳ. Прокоповичѣ должны были признать перваго русскаго свѣтскаго писателя, а въ Сумароковѣ—перваго русскаго лирика и публициста въ современномъ значеніи этого слова.



Подпись Фонъ-Визина.

VII.

Державинъ, какъ «пѣвецъ Екатерины». — Характеристика Державина. — Біографическія подробности. — Державинъ и Екатерина II. — Державинъ и Александровская эпоха. — Значеніе Державина въ исторіи нашей поэзіи.

Сумароковъ, подъ конецъ своей литературной карьеры ¹⁾, при поднесеніи одной изъ своихъ одъ Екатеринѣ, говорилъ между прочимъ: „дарствованью Августа потребенъ Гораций“ — и самоудѣнно воображалъ онъ себя тѣмъ избраннымъ пѣвцомъ, тѣмъ Горациемъ, которому суждено было воспѣть вѣкъ новаго Августа — Екатерины. Но это не ему выпало на долю... На мѣсто отживающаго поэта въ то время уже готовъ былъ выступить Державинъ, — тотъ восторженный и пылкій пѣвецъ Екатерины, который оставилъ потомству поэтическую лѣтопись славы, торжествъ и подвиговъ екатерининскаго времени. Но въ этой „поэтической лѣтописи“, живо и ярко рисующей намъ лица и событія современной эпохи, поэтъ еще болѣе ярко обрисовалъ намъ себя, какъ человѣка и какъ писателя. Къ тому матеріалу, который поэтическія произведенія Державина представляютъ намъ для характеристики его, какъ поэта, присоединяются еще оставленные имъ „Записки“ ²⁾ и обширная дѣловая и дружеская переписка, служащая драгоценнѣйшимъ дополненіемъ его біографіи и вполне воссоздающія намъ образъ Державина, какъ со стороны его общественной и государственной дѣятельности, такъ и со стороны частной домашней жизни. Если принять въ соображеніе всѣ произведенія Державина, его „Записки“ и обширную переписку, то можно сказать, что ни одинъ изъ нашихъ литературныхъ дѣятелей XVIII вѣка — даже самъ Фонъ-Визинъ — не рисуется намъ такъ живо, такъ полно и ясно, какъ

Державинъ. Мало того: въ личности Державина по этому богатому матеріалу рисуется намъ типъ одного изъ передовыхъ русскихъ людей второй половины XVIII столѣтія, со всѣми свѣтлыми и темными сторонами, со всѣми достоинствами и недостатками. Особенно интересно является для насъ личность Державина по сравненію съ Фонъ-Визинымъ, его современникомъ и пріателемъ, о которомъ мы сказали въ началѣ предыдущей главы, что онъ олицетворялъ въ своемъ замѣчательномъ образѣ всѣ лучшія стороны современнаго общественнаго типа, при весьма немногихъ недостаткахъ. Къ Державину можно примѣнить тотъ же самый отыскъ, нѣсколько измѣнивъ его: въ своемъ величавомъ образѣ Державинъ представляетъ намъ всѣ недостатки современныхъ ему общественныхъ дѣятелей, но вмѣстѣ съ тѣмъ и нѣсколько такихъ личныхъ достоинствъ, которые составляютъ дѣйствительное украшеніе его и рѣзко отличаютъ его отъ другихъ дѣятелей нашей придворной и административной жизни прошлаго столѣтія. Одаренный отъ природы очень слабымъ и мягкимъ характеромъ, способный поддаваться дурнымъ вліяніямъ и вслѣдствіе этого часто уклоняясь съ прямого пути, Державинъ, однакоже, въ теченіе всей своей жизни не переставалъ уважать этотъ „прямой путь“ и постоянно стремился на него возвратиться. Вообще, непослѣдовательность, горячность, непостоянство и быстрые переходы отъ одного воззрѣнія или направленія въ образѣ дѣйствій къ другому, со-

¹⁾ Въ сентябрѣ 1773 года, при поднесеніи оды на день коронаціи. — ²⁾ Немаловажно для насъ то полное заглавіе Записокъ, которое дано было имъ самимъ авторомъ: „Записки въ извѣстныхъ всѣмъ произшествіяхъ и подлинныхъ дѣлѣ, заключающія въ себѣ жизнь Гаврилы Розановича Державина“. Записки эти начаты были въ 1805 и оканчиваются 1812 годомъ.

вершенно-противоположному—вотъ важнѣйшія черты нравственнаго типа, представляемаго Державинимъ. Отсюда, конечно, происходила и его замѣчательная способность быстро мѣнять свои мнѣнія о людяхъ, благодаря которой онъ—то восторженно увлеклся тою или другою личностью, превознесилъ ее до небесъ, не замѣчалъ или не хотѣлъ замѣчать въ ней никакихъ темныхъ сторонъ; то вдругъ, напротивъ, разбивалъ въ прахъ свой кумиръ и ожесточенно топталъ въ грязь его обломки. Этими же свойствами характера объясняется намъ и его замѣчательная неуживчивость, непосѣдливость, вслѣдствіе которой онъ такъ часто мѣнялъ мѣста своей службы, разстраивалъ связи, ссорился со всѣми... Но при всѣхъ этихъ недостаткахъ, свойственныхъ Державину, ему нельзя отказать и въ двухъ несомнѣнно-важныхъ достоинствахъ: онъ оставался въ теченіе всей своей жизни вѣренъ своимъ понятіямъ о честности и постоянно ратовалъ въ пользу ея среди современнаго общества. Другимъ немаловажнымъ достоинствомъ Державина представляется намъ его постоянное желаніе быть дѣятельнымъ, постоянное стремленіе приносить пользу то службой своей, то откровеннымъ выраженіемъ своего взгляда на извѣстное дѣло, то прямою и рѣзкою искренностью даже въ тѣхъ случаяхъ, гдѣ эта искренность должна была положительно вредить его личнымъ интересамъ. И если мы примемъ въ соображеніе всѣ тѣ историческія и общественныя условія, среди которыхъ Державину приходилось жить и дѣйствовать, то намъ, конечно, придется поставить его, по отношенію къ нравственнымъ достоинствамъ, выше всей той придворной среды, которою была окружена Екатерина.

Гавріилъ Романовичъ Державинъ родился близъ Казани, въ іюлѣ 1743 года. Родители его были бѣдные дворяне. Отецъ состоялъ въ военной службѣ въ арміи, а потомъ по болѣзни переведенъ былъ въ оренбургскіе полки, и тамъ-то, на крайнемъ востокѣ Россіи, протекла большая часть дѣтства и отрочества Державина. Въ „Запискахъ“ своихъ онъ съ особеннымъ почтеніемъ и любовью вспоминаетъ о своихъ родителяхъ и особенно живо описываетъ бѣдственное состояніе своей бѣдной матеря, которая, по смерти отца, должна была пере-

селиться въ Казань и, съ трудомъ перебиваясь своими ничтожными средствами, въ то же время вела тяжбу съ сосѣдями и заботилась о воспитаніи дѣтей своихъ. Само собою разумѣется, что ни одинъ изъ ея сыновей не могъ получить при этомъ даже и сноснаго образованія. Образованіе Гавріила Романовича началось въ Оренбургѣ съ того, что онъ былъ „наученъ отъ церковниковъ читать и писать“, и продолжалось тамъ же, въ пансіонѣ ссыльнаго нѣмца Розы, который „былъ самъ невѣжда, не зналъ даже грамматическихъ правилъ, а для того и упражнялъ только дѣтей тверженіемъ наизусть вокабулъ и разговоровъ, и списываніемъ оныхъ“. Не улучшились образовательныя средства и тогда, когда мать Державина поселилась въ Казани, „ибо, за неимѣніемъ лучшихъ учителей ариметики и геометріи“, мать Державина отдала его въ наученіе сперва „гарнизонному школьнику Лебедеву, а потомъ артиллерій штыкъ-юнкеру Поletaеву; но какъ они и сами въ сихъ наукахъ были малосвѣдущи (ибо какъ Роза нѣмецкому училъ безъ грамматики, такъ и эти — ариметикѣ и геометріи безъ доказательныхъ правилъ), то и довольствовались въ ариметикѣ однѣми первыми пятью частями, а въ геометріи черченіемъ фигуръ, не имѣя понятія, что и для чего надлежитъ“. Когда Гавріилу Романовичу минулъ 14-й годъ, мать ѣздила съ нимъ въ Москву, чтобы не пропустить срока явки дѣтей своихъ въ герольдіи и записать ихъ на службу; но здѣсь ей пришлось такъ много хлопотать, доказывая „истинное дворянское происхожденіе явленныхъ ею недорослей отъ рода Багрина Мураы, выѣхавшаго изъ Золотой Орды при Василѣ Темномъ“, что средства ея окончательно истощились, и, не имѣя долѣе возможности существовать въ Москвѣ, она возвратилась въ Казань. По счастью для нея, здѣсь, въ 1758 году, открылась гимназія, „состоящая подъ главнымъ вѣдомствомъ Московскаго университета, и братья Державины были записаны въ это училище“, въ „которомъ преподавалось ученіе языкамъ: латинскому, французскому, нѣмецкому, ариметикѣ, геометріи, танцованію, музыкѣ, рисованію и фехтованію подъ дирекцію бывшаго тогда ассесоромъ Михаила Ивановича Веревкина“. Но и здѣсь, по недостатку въ хорошихъ учителяхъ, немногому

пришлось Державинѣ научиться. И воспитаніе, и образованіе, по свидѣтельству „Записокъ“, сводилось къ очень незначительнымъ результатамъ. „Болѣе всего старались“, пишетъ въ Запискахъ Державинъ, — „чтобъ научить читать, писать и говорить сколько-нибудь по грамматикѣ, и быть обходительнымъ, заставляя сказывать на кафедрахъ сочиненныя учителемъ и выученныя наизусть рѣчи; также представляли на театрѣ бывшія тогда въ славѣ Сумарокова трагедіи, танцовали и фехтовали въ торжественныхъ собраніяхъ при случаѣ экзаменовъ, что сдѣлало питомцевъ, хотя въ наукахъ неискусными, однакоже доставило людскость и нѣкоторую развязъ въ обращеніи“.

Въ 1762 году Державинъ, уже задолго передъ тѣмъ записанный въ Преображенскій полкъ рядовымъ, явился на службу и, не имѣя въ столицѣ ни родни, ни знакомыхъ, вынужденъ былъ помѣститься въ казармѣ, вмѣстѣ съ прочими солдатами. Тутъ Державинъ „долженъ былъ, хотя и не хотѣлъ, выкинуть изъ головы науки. Однако какъ сильную имѣлъ къ нимъ склонность, то, не могши упражняться по тѣснотѣ комнаты ни въ рисованіи, ни въ музыкѣ, чтобы другимъ своимъ компаніонамъ не наскучить, по ночамъ, когда всѣ улягутся, читалъ книги, какія гдѣ достать случалось, нѣмецкія и русскія, и маралъ стихи безъ всякихъ правилъ, которые никому не показывалъ, что, однако, сколько ни скрывалъ, но не могъ утаить отъ компаніоновъ, а паче отъ ихъ женъ“... Два года спустя, Державинъ уже нѣсколько болѣе правильно сталъ относиться къ этимъ своимъ занятіямъ и „упражнялся въ чтеніи книгъ и кропаніи стиховъ, стараясь научиться стихотворству изъ книги о поэзи, сочиненной г. Тредіаковскимъ, и изъ прочихъ авторовъ, какъ гг. Ломоносова и Сумарокова. Но болѣе другихъ ему нравился, по легкости слога, (князь Ѳ. А.) Козловскій, изъ котораго и научился цезурѣ или раздѣленію александрійскаго ямбическаго стиха на двѣ половины“. До самаго 1772 года Державинъ, за исключеніемъ небольшихъ перерывовъ времени, проведенныхъ имъ въ отпуску у матери, въ Казани, вынужденъ былъ въ остальное время нести на себѣ всѣ тягости военной службы, принимать участіе во всѣхъ солдатскихъ рабо-

тахъ и упражненіяхъ. Постепенно пришлось ему пройти всѣ степени солдатства: быть и капраломъ, и каптенармусомъ, и сержантомъ. Наконецъ, послѣ почти десятилѣтней службы, Державинъ былъ произведенъ въ прапорщики. Молодость свою и эти первые годы службы Державинъ рисуетъ самыми мрачными красками и очень живо представляетъ намъ весьма непривлекательную картину нравовъ, преобладавшихъ въ средѣ тогдашней нашей молодежи. Много разъ въ теченіе времени между 1764 — 1772 годами Гавріилъ Романовичъ видѣлъ себя на краю гибели, вдаваясь въ сильнѣйшую картежную игру... Но здоровая и сильная натура Гавріила Романовича выдерживаетъ эту трудную школу и онъ выноситъ изъ нея только сильнѣйшее желаніе во что бы то ни стало сохранить въ себѣ неприкосновеннымъ свое нравственное достоинство. Должно, однакоже, предполагать, что не легко было набѣжать Державину той пропасти, на краю которой скользилъ онъ много разъ въ теченіе этого времени, потому что даже и въ зрѣлыхъ лѣтахъ, въ перепискѣ съ друзьями и родней, онъ не могъ безъ ужаса вспомнить о томъ образѣ жизни, которому предавался въ Москвѣ, въ концѣ 60-хъ годовъ, до окончательнаго переселенія своего въ Петербургъ и до производства въ офицеры.

Четыре года, слѣдовавшіе за производствомъ въ офицеры (1772 — 1776), проведены были Державинимъ на Востокѣ Россіи, гдѣ онъ состоялъ, во время Пугачевщины, членомъ секретной комиссіи, учрежденной для подавленія мятежа въ Казани и Оренбургѣ. Эти четыре года жизни Державина, — которыми онъ очень гордился, постоянно представляла на видъ свое безкорыстіе и неутомимую дѣятельность, — не имѣютъ почти никакого значенія въ исторіи развитія его литературнаго таланта. Результаты дѣятельной и безкорыстной службы были, однакоже, далеко незавидны: въ концѣ концовъ Державину пришлось самому хлопотать о томъ, чтобы его наградили за усердіе и уплатили ему за убытки, понесенные имъ отъ продолговатоваія войскъ въ его Оренбургской деревнѣ. Наконецъ, въ 1777 году, послѣ долгихъ хлопотъ и ходатайствъ, при посредствѣ Потемкина, Державину удается получить 300 душъ въ Бѣлороссіи и чинъ

бомбардиръ-поручика, послѣ чего онъ рѣшается покинуть военную службу, и переходитъ въ статскую съ чиномъ коллежскаго совѣтника. Вскорѣ послѣ того, благодаря этому удачному повороту въ дѣлахъ и чрезвычайно счастливому періоду игры въ карты, Державину удастся нѣсколько округ-

лить свое небольшое состояніе, пышно и широко устроить свою жизнь въ Петербургѣ и, наконецъ, черезъ знакомство съ генераль-прокуроромъ, княземъ А. А. Вяземскимъ, получить въ Сенатѣ мѣсто экзекутора въ 1-мъ департаментѣ. „Должность сія“, пишетъ Державинъ, „по отступленіи



Александръ Грибоевъ

отъ инструкціи Петра Великаго, хотя была тогда уже не весьма важная, однако довольно видная. Отправляя ее, скоро приобрѣлъ онъ ¹⁾ знакомство всѣхъ господъ сенаторовъ и значущихъ людей въ семь карьерѣ, а особливо бывалъ всякій день въ домѣ генераль-прокурора“... „Онъ былъ любимцемъ сего всѣми тогда уважаемаго дома. Съ княземъ по вечерамъ для забавы иногда играли

въ карты; а иногда читалъ ему книги, болѣею частію романы, за которыми нерѣдко и чтецъ, и слушатель дремали. Для княгини писалъ стихи похвальные въ честь ея супруга, хотя насчетъ ея страсти и привязанности къ нему не весьма справедливые. ибо они знали модное искусство давать другъ другу свободу“.

Но какъ ни ласкали Державина въ домѣ:

¹⁾ Державинъ всюду въ „Запискахъ“ говорить о себѣ въ третьемъ лицѣ.

его начальника, какъ ни старался и онъ самъ поддержать къ себѣ расположеніе начальника и его семьи, однакоже когда увидѣлъ, что его ласкаютъ не совсѣмъ безкорыстно, и хотѣлъ выдать за него родственницу-княжну, „извѣстную въ то время стихотворицу“, то Державинъ женить себя не далъ и очень ловко отшутился отъ партін, которая обѣщала ему несомнѣнные выгоды въ отношеніи служебномъ. Вскорѣ послѣ того онъ женился по любви на молодой и прекрасной дѣвушкѣ, за которую не взялъ никакого состоянія. Вѣроятно эта женитьба много способствовала тому, чтобы разстроить отношенія Державина къ Вяземскому, пользовавшемуся въ то время громаднымъ вліяніемъ; а тутъ еще нескѣтъ подвернулась и литературная извѣстность, такъ неожиданно осѣнившая Державина.

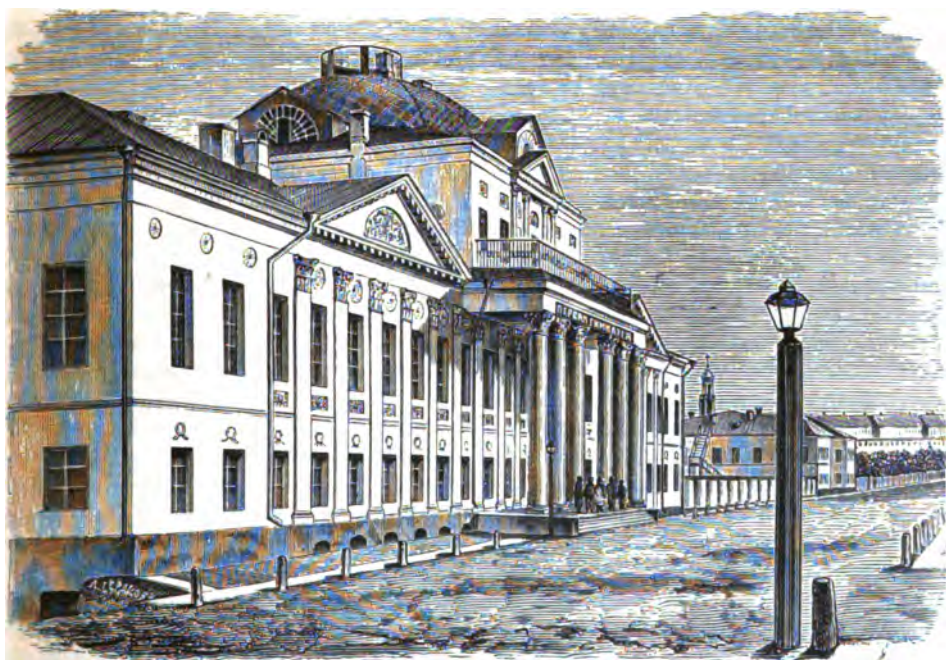
Державинъ не покидалъ своихъ занятій литературой ни во время военной службы, ни по переходѣ въ гражданскую. Весь періодъ его поэтической дѣятельности до 1779 года, по его собственному сознанию, не представлялъ ничего самостоятельнаго. „Онъ хотѣлъ подражать г. Ломоносову, но какъ талантъ сего автора не былъ въ немъ внушаемъ одинакимъ геніемъ, то, хотѣвъ парить, не могъ выдерживать постоянно, красивымъ подборомъ словъ, свойственнаго единственно русскому Пиндару (т. е. Ломоносову) великолѣпія и пышности. А для того, съ 1779 года, изобрѣлъ онъ совсѣмъ особый путь, будучи предводимъ наставленіями г. Батте и совѣтами друзей своихъ: Н. А. Львова, В. В. Капниста и И. И. Хемницера, подражая наиболѣе Горацию. Но какъ онъ (т. е. Державинъ) на нихъ не увѣрялся, то отъ себя ничего въ свѣтъ не издавалъ, а мало-по-малу, подъ неизвѣстнымъ именемъ, посылалъ въ періодическое изданіе С.-Петербургскаго Вѣстника, котораго издатель, г. Брайко, печатая, сообщалъ ему извѣстія, что публика творенія его одобряетъ“. Съ 1779 года, слѣдовательно, Державинъ выступилъ на самостоятельную дорогу литературную и сталъ писать „въ новомъ родѣ“; однимъ изъ такихъ произведеній въ новомъ родѣ и была ода „Фелиць“ (1782 г.), поводомъ къ сочиненію которой послужила сказка Екатерины „о Царевичѣ Хлорѣ“, и „какъ сія Государыня любила за-

бавныя шутки, то во вкусѣ ея и писалъ на счетъ ея ближнихъ, хотя безъ всякаго злорѣчія, но съ довольною издѣвкой и съ шалостью“. Какъ ни старался авторъ скрывать эту оду, добрые пріатели выдали его и о ней узнали скорѣ даже многіе изъ придворныхъ. Екатеринѣ очень понравилось произведеніе молодого поэта, отъ котораго дѣйствительно вѣяло новою жизнью, и она выразила свое расположеніе автору богатымъ подаркомъ, который окончательно разсорилъ Державина съ Вяземскимъ. „Съ того времени закралась въ его сердце ненависть и злоба, такъ что равнодушно съ новопроявившимся стихотворцемъ говорить не могъ: привязываясь во всякомъ случаѣ къ нему, не только посмѣхался, но и почти ругалъ, проповѣдуя, что стихотворцы не способны ни къ какому дѣлу. Все сіе сносно было съ терпѣніемъ, сколько можно, близъ двухъ годовъ“. Окончательный разрывъ между Державинимъ и Вяземскимъ послѣдовалъ тогда, когда молодой стихотворецъ осмѣлился противорѣчить своему начальнику при случаѣ составленія табели и росписанія доходовъ Имперіи на новый годъ. Вяземскій требовалъ, чтобы представлены были старыя табели и росписаніе; а Державинъ утверждалъ, что этого сдѣлать нельзя, такъ какъ доходы государства успѣли возрасти слишкомъ на 8,000,000 противъ прошлаго года. Вяземскій же „для того не хотѣлъ открывать точнаго доходу, чтобы держать себя болѣе въ уваженіи, когда при нуждѣ въ деньгахъ онъ отзовется по табели неимѣніемъ оныхъ, но послѣ будто особымъ своимъ изобрѣтеніемъ и радѣніемъ найдетъ оныя кое-какъ и удовлетворитъ требованіямъ Двора“. Державинъ, предъусматривая, „что нельзя тамъ ему ужиться, гдѣ не любятъ правды“, рѣшился оставить службу и собрался отдохнуть... Онъ съ особеннымъ жаромъ предался занятіямъ литературою, закончилъ знаменитую оду „Богъ“ и написалъ „Видѣніе Мурзы“ (1785 г.). Но отдохнуть ему не удалось: по желанію Императрицы онъ назначенъ былъ олонечникомъ губернаторомъ. На губернаторствѣ пробылъ онъ однакоже не болѣе двухъ лѣтъ, и такъ какъ его постоянная дѣятельность и несносная, придирчивая честность сильно докучали намѣстнику губерніи, то, по его ходатайству, Державинъ и былъ переведенъ въ концѣ втораго года въ тамбовскую губернію, „не сдѣлавъ

никого несчастливѣмъ и не заведя никакого дѣла“. Второе губернаторство его не обошлось ему такъ легко, какъ первое. Здѣсь, при исправленіи своей должности, пришлось ему столкнуться съ Гудовичемъ, который былъ одновременно намѣстникомъ и рязанской, и тамбовской губерніи, и, при своихъ связяхъ, при своемъ богатствѣ, имѣлъ на сторонѣ своей сильную партію въ Петербургѣ. Всѣ подчиненные и тѣ лица, противъ которыхъ Дер-

жавину приходилось вооружаться за ихъ незаконные поступки, обращались на него съ жалобою къ Гудовичу, а тотъ писалъ въ Петербургъ... Дѣло кончилось тѣмъ, что Державинъ былъ въ 1788 году отрѣшенъ отъ губернаторской должности и преданъ суду, подъ предлогомъ различныхъ будто бы сдѣланныхъ имъ опущеній по службѣ.

Весьма поучительнымъ для потомства можно назвать то мѣсто „Записокъ“, въ кото-



Казанская первая гимназія.

ромъ Державинъ рассказываетъ о своемъ пребываніи въ Москвѣ въ то время, когда въ Московскомъ Сенатѣ велось его дѣло и тянулось болѣе полугода изъ угожденія къ его личному врагу, генераль-прокурору кн. Вяземскому. Не имѣя возможности говорить здѣсь подробно объ этомъ эпизодѣ, мы замѣтимъ только, что даже и тогда, когда дѣло Державина наконецъ было рѣшено, онъ долго не могъ добиться, чтобы ему объявлено было принятое по его дѣлу рѣшеніе. „И такъ принужденъ былъ дать черезъ од-

ного стряпчего оберъ-секретарю 2,000 руб. за то, чтобы только позволилъ копію списать того рѣшительнаго опредѣленія, дабы, прибѣгнувъ къ Императрицѣ съ просьбою, въ чемъ противъ онаго не ошибиться“. Послѣ этого Державинъ отправился въ Петербургъ, чтобы „доказать Императрицѣ, что онъ способенъ къ дѣламъ, не повиненъ руками, чистъ сердцемъ и вѣренъ въ возложенныхъ на него должностяхъ“.

Въ Петербургѣ Державину удалось добиться аудіенціи у Императрицы, удалось до пѣ-

которой степени оправдаться передъ нею во введенныхъ на него обвиненіяхъ; но Императрица удовольствовалась только очень поверхностнымъ отношеніемъ къ дѣлу: она сказала Державину, что „не можетъ обвинять автора Феліцы“, но даже и не заглянула въ тотъ толстый томъ документовъ и дѣлъ, на которомъ онъ основывалъ свои оправданія. Державину возвращено было заслуженное имъ жалованье, вѣдно было даже „и впредь оное производить до опредѣленія къ мѣсту“; но мѣста ему никакого не давали и онъ оставался безъ службы и безъ дѣла. „Сіе продолжалось нѣсколько мѣсяцевъ, и хотя по воскресеньямъ пріѣзжали онъ ко Двору, но какъ не было у него никакого предстателя, который бы напомнилъ Императрицѣ объ общанномъ мѣстѣ, то и сталъ Державинъ какъ бы забвеннымъ. Въ такомъ случаѣ не оставалось ему ничего другаго дѣлать, какъ искать входа къ любимцу Государыни и черезъ него (т. е. черезъ П. А. Зубова) искать себѣ покровительства“. Державинъ не былъ съ нимъ знакомъ, да и не могъ быть, потому что Зубову было тогда всего 22 года. „Но что дѣлать! — восклицаетъ Державинъ въ своихъ „Запискахъ“ — надо было ссыскивать случая съ нимъ познакомиться. Какъ трудно доступить до фаворита! Сколько ни заходилъ къ нему въ комнаты, всегда придворные лакеи, бывшіе у него на дежурствѣ, отказывали, сказывая, что или почиваетъ, или ушелъ прогуливаться, или у Императрицы. Такимъ образомъ, ходя нѣсколько разъ, не могъ удостоиться ни одного раза застать его у себя. Не осталось другаго средства, какъ прибѣгнуть къ своему таланту. Вслѣдствіе чего и написалъ онъ оду „Изображеніе Феліцы“, и къ 22-му числу сентября, т. е. ко дню коронаванія Императрицы, передалъ черезъ Эмина, который въ Олонецкой губерніи былъ при немъ экзекуторомъ и былъ какъ-то Зубову знакомъ. Государыня, прочетши оную, приказала любимцу своему на другой день пригласить автора къ нему ужинать и всегда принимать его въ свою бесѣду. Это было въ 1789 году. Съ тѣхъ поръ онъ сему царедворцу сталъ знакомъ, но кромѣ ласкаваго обращенія никакой отъ него помощи себѣ не видалъ. Однако и одинъ входъ къ фавориту дѣлалъ уже въ публикѣ ему много уваженія; а сверхъ того и Императрица

приказала приглашать его и въ Эрмитажъ и прочія домашнія игры, какъ-то на святки, когда они наступали, и прочія собранія“.

Такимъ образомъ время шло; Державинъ проживалъ безъ дѣла въ Петербургѣ и, вынужденный жить на широкую ногу, входилъ мало-по-малу въ долги и нуждался... между тѣмъ его продолжали ласкать при Дворѣ и постоянно обнадеживали полученіемъ мѣста. Особенно благосклонно принята была Императрицею его „О да и а в з я т і е И з м а и л а“. Екаторина подарила поэту богато осыпанную брилліантами табакерку и потомъ, увидѣвшись съ нимъ по напечатаніи оды, сказала ему съ усмѣшкой: „я не знала по сіе время, что труба ваша столь же громка, какъ и лира пріятна“. Вскорѣ послѣ этого вернулся изъ арміи Потемкинъ, и Державинъ, вращаясь постоянно въ придворномъ кругу, невольно попалъ между двухъ огней. Мы не можемъ не привести здѣсь изъ „Записокъ“ Державина тѣхъ нѣсколькихъ замѣчательныхъ по своей искренности страницъ, въ которыхъ Гавріилъ Романовичъ рассказываетъ намъ о своемъ затруднительномъ положеніи среди борьбы различныхъ партій:

„Князь Потемкинъ пріѣхалъ изъ арміи“ — такъ рассказываетъ Державинъ подъ 1790 годомъ въ своихъ Запискахъ — „сталъ къ автору необыкновенно ласкаться, и черезъ Василія Степановича Попова (бывшаго главнымъ секретаремъ Потемкина) приказывалъ, что хочетъ съ нимъ короче познакомиться. Вслѣдствіе чего Державинъ сталъ вѣзжъ къ Потемкину“. Немного далѣе, налагаая непріязненныя отношенія свои къ отцу Зубова, извѣстному своей ненасытностью въ стяжаніи, онъ прибавляетъ, что опасаться ему этихъ отношеній было нечего, „какъ по покровительству сына, такъ и Потемкина, который въ сіе время весьма былъ хорошъ къ автору торжественныхъ хоровъ для праздника на ваятіе Измаила, отправленнаго имъ въ Таврическомъ его домѣ“... „Потемкинъ въ сіе время за Державинымъ, такъ сказать, волочился; желая отъ него похвальныхъ себѣ стиховъ, спрашивалъ черезъ г. Попова, чего онъ желаетъ. Но съ другой стороны, молодой Зубовъ, призывавъ его въ одинъ день къ себѣ въ кабинетъ, сказалъ ему отъ имени Государыни, чтобъ онъ (Державинъ) писалъ для князя, что онъ прикажетъ; но отнюдь бы отъ него ничего не принималъ и не про-

силъ, что онъ и безъ него все имѣть будетъ, прибавя, что Императрица назначила его быть при себѣ статсъ-секретаремъ по военной части. Державинъ въ таковыхъ мудреныхъ обстоятельствахъ не зналъ, что дѣлать и на которую сторону искренно предаться, ибо отъ обоихъ былъ ласкаемъ¹⁾.

Разсказывая о своихъ дальнѣйшихъ отношеніяхъ къ Потемкину, Державинъ еще шире развертываетъ передъ нами картину современныхъ нравовъ, и еще болѣе знакомить насъ съ своею личностью. „Въ исходѣ Оминой недѣли, т. е. 28 апрѣля (1797 г.) Потемкинъ далъ извѣстный великолѣпный праздникъ въ Таврическомъ своемъ домѣ; тамъ были пѣты сочиненные Державинымъ хоры, которыми бывъ хованнъ доволенъ, благодарилъ автора... который общалъ сочинить ему описаніе того праздника. Безъ сомнѣнія, князь ожидалъ себѣ въ томъ описаніи великихъ похвалъ, или, лучше сказать: обыкновенной отъ стихотворцевъ сильнымъ людямъ лести. Вслѣдствіе чего, когда Державинъ принесъ ему то описаніе, просилъ Василія Степановича (Попова) доложить ему объ ономъ, князь приказалъ его просить къ себѣ въ кабинетъ. Стихотворецъ вошелъ, подавъ тетрадь, а князь весьма учтиво поблагодарилъ его, просилъ остаться у себя обѣдать, приказавъ тогда же нарочно готовить столъ. Державинъ пошелъ въ канцелярію къ Попову, — дождался, не прикажетъ ли чего князь; гдѣ свободный имѣлъ досугъ объяснить (Попову), что мало въ томъ описаніи на лицокнязя похвалъ; носкрылъ прямую тому причину, бояся неудовольствія отъ Двора, а сказалъ, что какъ отъ князя онъ никакихъ благодѣяній личныхъ не имѣлъ, а коротко великихъ его качествъ не знаетъ, то опасался быть причтенъ въ число подлыхъ и низкихъ ласкателей, ка-

ковымъ никто не даетъ истиннаго вѣроятія; а потому и разсудилъ отнестъ всѣ похвалы только къ Императрицѣ и всему русскому народу;... но ежели князь приметъ сіе благосклонно и позволитъ впредъ короче узнать его превосходныя качества, то онъ общалъ превознести его, сколько его дарованія достанетъ. Но таковое извиненіе мало въ пользу автора послужило: ибо князь когда прочелъ описаніе и увидѣлъ, что въ немъ отдана равная съ нимъ честь Румянцеву и Орлову, его соперникамъ, то съ фурією выскочилъ изъ своей спальни, приказалъ подать коляску, и, не смотря на шедшую бурю, громъ и молнію, усакалъ Богъ знаетъ куды. Всѣ пришли въ смятеніе, столы разобрали — и обѣдъ псечезъ“. Вскорѣ послѣ того Потемкинъ уѣхалъ на югъ, потомъ умеръ — и Державинъ былъ вновь преданъ забвенію...

О немъ вспомнили и возвели въ статсъ-секретари уже тогда, когда въ концѣ 1791 года открылись разныя злоупотребленія въ Сенатѣ, а потомъ началось разслѣдованіе громаднаго дѣла о банкирѣ Сутерландѣ, который злоупотреблялъ довѣріемъ казны и казенными деньгами ссужалъ окружавшихъ Императрицу вельможъ. Никто не рѣшался братья за это и другія подобныя же дѣла; всѣ избѣгали ихъ и отъ нихъ уклонялись, зная, что Императрица будетъ заниматься разслѣдованіемъ ихъ съ неохотой — и вотъ всю тягостъ этихъ неприятныхъ Императрицѣ, казусныхъ дѣлъ ввалили на новаго статсъ-секретаря. Съ обычнымъ рвеніемъ и горячностью взялся за свое новое дѣло Державинъ — и очень скоро успѣлъ прискучить Екатеринѣ своею безтактностью и неумѣніемъ сообразоваться съ обстоятельствами. Онъ ставилъ на первый планъ законъ и настаивалъ на томъ, чтобы законъ былъ соблюденъ неуклонно, а Императрица „была снисходительна къ слабостямъ людскимъ“¹⁾, стараясь „поба-

¹⁾ По этому поводу намъ припоминается одно очень характерное мѣсто изъ Записокъ Державина, подъ 1793 г., въ которомъ онъ говоритъ между прочимъ: „хотя угождалъ Державинъ Императрицѣ (будучи статсъ-секретаремъ ея), во правдою свою часто наукучивалъ, и какъ она часто говорила пословицу: „живи и жить давай другимъ“, и такъ поступала, то онъ (Державинъ) „на рожденіе Гремиславы“ въ одѣ Л. А. Нарышкину сказалъ:

Живи и жить давай другимъ,
Но только не на счетъ другаго;
Всегда доволенъ будь своимъ,
Не трогай ничего чужаго.

вить (людей) от пороковъ и угнетения сильныхъ не всегда строгостью законовъ, но особымъ материнскимъ о нихъ попеченіемъ“. Не разъ случалось, что Екатерина жаловалась окружающимъ на грубость и вспыльчивость Державина при докладахъ; „случалось, что разсердится и выгонитъ (его) отъ себя, а онъ надуется, дастъ себѣ слово быть осторожнымъ и ничего съ ней не говорить; но на другой день, когда онъ войдетъ, то она тотчасъ примѣтитъ, что онъ сердитъ: зачнетъ спрашивать о женѣ, о домашнемъ его быту, не хочетъ-ли онъ пить и тому подобное ласковое и милостивое, такъ что позабудетъ свою досаду и сдѣлается попрежнему чистосердечнымъ. Въ одинъ разъ случилось, что онъ, не вытерпѣвъ, вскочилъ со стула и въ нѣступленіи сказалъ: „Боже мой! кто можетъ устоять противъ этой женщины? Государыня, вы—не человѣкъ. Я сегодня положилъ на себя клятву, чтобъ послѣ вчерашняго ничего съ Вами не говорить; но Вы противъ моей воли дѣлаете изъ меня, что хотите!“ Она засмѣялась и сказала: „неужто это правда?“

Не смотря, однакоже, на всю слабость характера своего, не смотря на то, что близость къ Императрицѣ очевидно льстила самолюбію Державина, онъ, послѣ четырехлѣтняго пребыванія при Дворѣ, началъ чувствовать на себѣ всѣ тяготы придворной службы и тѣхъ отношеній, къ которымъ никакъ не могъ себя приучить. Для него наступилъ періодъ разочарованія... „Сколько разъ ни принимался, сидя по недѣлѣ для того запершись въ своемъ кабинетѣ, но ничего не въ состояніи былъ такого сдѣлать, чѣмъ-бы онъ былъ доволенъ: все выходило холодное, натянутае и обыкновенное, какъ у прочихъ цеховыхъ стихотворцевъ, у коихъ только слышны слова, а не мысли и чувства“. Къ такому разочарованію, которое, какъ видно изъ этого мѣста Записокъ, весьма неблагоприятно влияло на поэтическую дѣятельность Державина, прибавилось въ концѣ царствованія Екатерины и другое обстоятельство, которое должно было еще хуже повліять на поэта. Екатерина, уже съ начала 80-хъ годовъ, сдѣлавшаяся взыскательной и нетерпимой по отношенію къ литературѣ и журналистикѣ, рѣшилась взглянуть недовѣрчиво даже и на нѣкоторыя изъ поэтическихъ произве-

деній Державина. Въ тетради стиховъ, поднесенной поэтомъ Императрицѣ по ея собственному желанію, ей не понравилось переложеніе 81-го псалма, сдѣланное Державиннымъ, и собственно потому, что „сей самый псаломъ былъ во время французской революціи якобинцами перефразированъ и пѣтъ по улицамъ для подкрѣпленія народнаго возмущенія противъ Людовика XVI“. Такъ истолковали Державину неудовольствіе Императрицы. „Царь Давидъ“, отвѣчалъ Державинъ, „не былъ якобинецъ, слѣдовательно, пѣсни его не могутъ быть никому противными“. И хотя его объясненія и оправданія были приняты Екатериною благосклонно, однакоже недовѣріе къ самому себѣ закралось въ его душу, и опасеніе навлечь на себя новую немилость начало съ той поры дѣйствовать на Державина: онъ замѣтно сталъ менѣе писать...

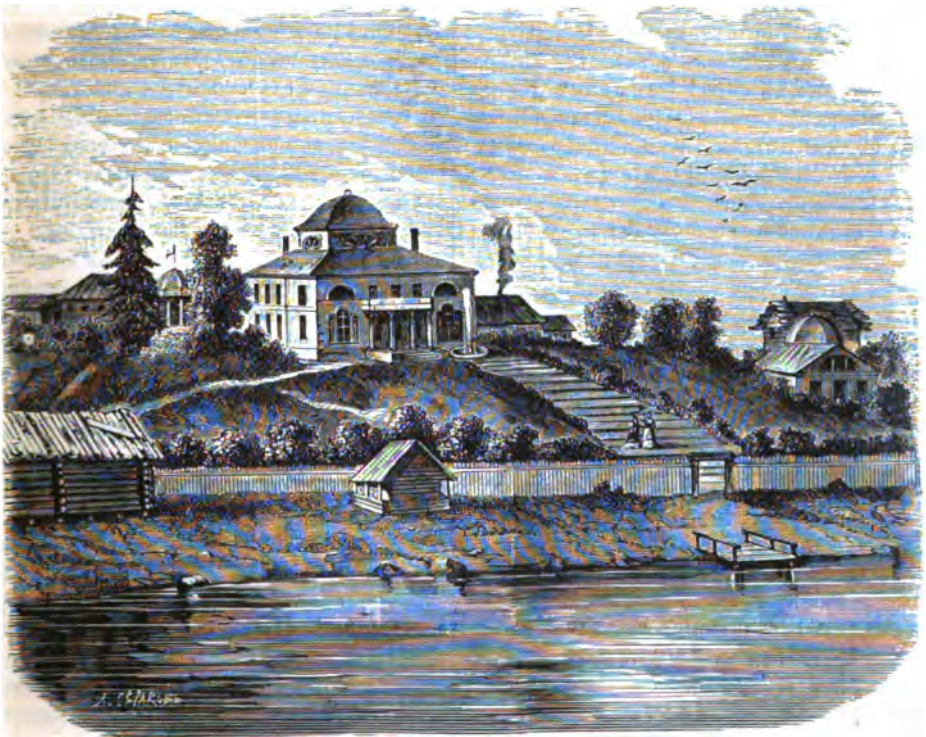
Къ концу царствованія Екатерины Державинъ былъ уже тайнымъ совѣтникомъ и сенаторомъ; во время краткаго царствованія императора Павла Державинъ былъ сдѣланъ президентомъ коммерцъ-коллегіи, потомъ даже государственнымъ казначеемъ, но служебное положеніе его не переставало быть очень шаткимъ и невѣрнымъ; не смотря на свое непреодолимое влеченіе къ дѣятельности, на желаніе приносить своей службой пользу государству, Державинъ видимо уже начиналъ тяготиться своимъ высокимъ саномъ и бесполезностью своихъ усилій. Къ этому времени относится извѣстное его стихотвореніе „Къ самому себѣ“, въ которомъ, не видя кругомъ себя ничего, кромѣ своекорыстія и ничтожныхъ расчетовъ, онъ, наконецъ, рѣшается сказать:

„Что мнѣ, что мнѣ суетится,
Въучитъ бремя должностей,
Если свѣтъ за то бранится,
Что вду своей стесей?
Пусть другіе работаютъ,
Много умныхъ есть господъ:
И себя не забываютъ,
И царямъ сулятъ доходъ“.

Но и послѣ этого Державинъ прослужилъ еще слишкомъ три года; онъ оставался на службѣ (и былъ сдѣланъ юстицъ-министромъ) даже въ то время, когда, со вступленіемъ на престолъ Александра I, началось сильное либеральное движеніе, среди

котораго онъ, конечно, явился не только просто-отсталымъ человѣкомъ, но даже помѣхомъ для другихъ. Большой части того, что совершалось въ эти первые годы царствованія Александра, Державинъ положительно не сочувствовалъ, очень много онъ даже не могъ и понять, и все-таки продолжалъ служить по какому-то совершенно-непостижимому упрямству. Ему не разъ давали почувствовать, что пора-бы ему и отдохнуть отъ трудовъ служебныхъ;

но Державинъ показывалъ видъ, что не замѣчаетъ этого и продолжалъ дѣятельно заниматься дѣлами, шумѣть и спорить въ засѣданіяхъ Сената, а по званію юстицъ-министра, возставать противъ мѣръ либеральной партіи и осуждать ихъ въ цѣломъ рядѣ отдѣльных мѣръ. Наконецъ дѣло кончилось тѣмъ, что „въ началѣ октября мѣсяца 1803 года, въ одно воскресенье, противъ обыкновенія, Государь его не принявъ съ докладами, приказавъ сказать, что ему не-



Званка, усадьба Державина.

досугъ, хотя и былъ у развода. Въ понедѣльникъ прислалъ ему письмо или рескриптъ, въ которомъ хотя оказывается удовольствіе свое ему за отправленіе его должности, но тутъ же говоритъ, чтобъ отнять неудовольствіе, доходящее къ нему на неисправность его канцеляріи, просилъ очистить постъ министра юстиціи, а остаться только въ Сенатѣ и Совѣтѣ присутствующимъ¹⁾. Державинъ и тутъ еще упорство-

валъ. Постѣдовало пространное и довольно горячее объясненіе со стороны Державина, въ которомъ онъ спрашивалъ Императора, въ чемъ онъ передъ нимъ прослужился. Онъ (Александръ) ничего не могъ сказать къ обвиненію его, какъ только: „Ты очень ревностно служишь“. — „А какъ¹⁾ такъ, Государь“, отвѣчалъ Державинъ, „то я иначе служить не могу. Простите“. — „Оставайся въ Совѣтѣ и Сенатѣ“. — „Мнѣ нечего тамъ

¹⁾ Здѣсь: какъ вы. когда.

дѣлать“. — „Но подайте же просьбу“, подтвердилъ Государь, „о увольненіи васъ отъ должности юстицъ-министра“. — „Исполню повелѣніе“. Само собою разумѣется, что послѣ этого оставаться на службѣ было уже невозможно.

Державинъ вышелъ въ отставку и остальные 13 лѣтъ своей жизни провелъ спокойно, живя то въ Петербургѣ, въ своемъ домѣ на Фонтанкѣ (гдѣ теперь католическая духовная коллегія), то въ Новгородской губерніи, въ своемъ имѣніи Званкѣ, на лѣвомъ берегу Волхова.

Проживая по зпимамъ въ Петербургѣ, Державинъ продолжалъ заниматься литературой. Самъ въ концѣ Записокъ своихъ онъ говоритъ о себѣ: „Привыкну къ безпрестаннымъ трудамъ, не могъ (Державинъ) быть безъ упражненія, и для того занимался литературою, писалъ нѣсколько лирическихъ сочиненій, которыхъ вышло 4 части, и еще наберется одна, можетъ быть; сочинилъ трагедій, какъ-то: 1) „Ирода и Маріамну“, 2) „Евпраксію“, 3) „Темнаго“; да перевелъ „Федру“, „Зельмиру“. Комическихъ написалъ оперъ бездѣльныхъ двѣ: „Дурочка умѣе умныхъ“ и „Женская дружба“; нѣсколько прозаическихъ сочиненій, надписей, эпиграммъ и „Разсужденіе о лирической поэзіи“. Въ 1811 году, вмѣстѣ съ А. С. Шишковымъ (впослѣдствіи президентомъ Академіи Наукъ), Державинъ основалъ въ Петербургѣ литературное общество подъ названіемъ „Бесѣды любителей русскаго слова“; сочиненія, читанныя въ засѣданіяхъ этого общества, составили даже особое изданіе: „Чтенія въ Бесѣдѣ любителей русскаго слова“ (20 книгъ, съ 1811—1815). (Въ этомъ изданіи, между прочимъ, напечатано и вышеупомянутое Державинское „Разсужденіе о лири-

ческой поэзіи“). „Бесѣда“, которой сначала хотѣли было дать названіе „Атеней“, подраздѣлялась на четыре отдѣлы, изъ которыхъ двумя завѣдывали Державинъ и И. И. Дмитріевъ, всѣмъ почитавшійся тогда достойнымъ преемникомъ поэтической славы Державина. Но не Дмитріеву суждено было наслѣдовать славу Державина; незадолго до смерти, старцу-поэту пришлось увидѣть, или, лучше сказать, предугадать появленіе новаго свѣтила: присутствуя въ 1815 году на экзаменѣ въ Царскосельскомъ лицѣѣ, Державинъ улыбался, какъ Пушкинъ декламировалъ написанное имъ къ экзамену стихотвореніе: „Воспоминаніе о Царскомъ-Селѣ“.

Пушкинъ оставилъ въ своихъ „Запискахъ“ любопытное описаніе этого свиданія съ Державиннымъ. „Когда мы узнали“, пишетъ Пушкинъ, — „что Державинъ будетъ къ намъ (на экзаменѣ), всѣ мы взволновались... Державинъ былъ очень старъ. Онъ былъ въ мундирѣ и въ плюсовыхъ сапогахъ. Экзаменъ нашъ очень его утомилъ: онъ сидѣлъ, поджавши голову рукою; лицо его было безмысленно, глаза мутны, губы отвислы... Онъ дремалъ до тѣхъ поръ, пока не начался экзаменъ русской словесности. Тутъ онъ оживился: глаза заблестали, онъ преобразился весь. Разумѣется, читаны были его стихи, разбирались его стихи, поминутно хвалили его стихи. Онъ слушалъ съ живостью необыкновенной. Я прочелъ мои „Воспоминанія въ Царскомъ-Селѣ“, стоя въ двухъ шагахъ отъ Державина. Я не въ силахъ описать состоянія души моей: когда я дошелъ до стиха, гдѣ упоминаю имя Державина ¹⁾, голосъ мой отроческий зазвенѣлъ, а сердце забилося съ упоительнымъ восторгомъ... Не помню, какъ я кончилъ свое чтеніе; не помню, куда убѣжалъ. Державинъ

¹⁾ Въ этомъ лицейскомъ стихотвореніи Пушкина есть два стиха, въ которыхъ онъ упоминаетъ о Державинѣ; сначала въ строфѣ седьмой:

О, громкій вѣкъ военныхъ споровъ,
Свидѣтель славы Россіянъ!
Ты видѣлъ, какъ Орловъ, Румянцевъ и Суворовъ,
Потомки грозные славянъ,
Перуномъ Зевсовымъ побѣду похищали.
Ихъ сѣдымъ подвигамъ, страшась, дивился міръ,
Державинъ и Петровъ героямъ пѣснь бряцали
Струнами громогласныхъ лиръ.

О, Скальдъ Россіи вдохновенной,
Всѣхъ ратныхъ грозный строй!
Въ кругу друзей твоихъ, съ душой воспламененной,
Взгреми на арфѣ золотой.
Да своа стройный гласъ герою въ честь прольется,
И струны трепетны посыплютъ огонь въ сердца,
И ратникъ молодой вскипнѣтъ и содрогнется
При звукахъ бравнаго пѣвца.

былъ въ восхищеніи; онъ меня требовалъ, хотѣлъ меня обнять... Меня искали, но не нашли...”

Вскорѣ послѣ того, въ октябрѣ того же года, познакомившись съ извѣстнымъ писателемъ нашимъ С. Т. Аксаковымъ (тогда еще очень молодымъ человѣкомъ), Державинъ, при первомъ же свиданіи съ нимъ, говорилъ ему совершенно чистосердечно:

„Мое время прошло. Теперь ваше время, теперь многіе пишутъ славные стихи, такіе гладкіе, что относительно версификаціи уже ничего не остается желать. Скоро явится свѣту второй Державинъ — это Пушкинъ, который уже въ лицѣ перещеголялъ всѣхъ писателей“¹⁾.

Въ началѣ іюля 1816 года Державинъ тихо и спокойно скончался въ своемъ помѣстьѣ. „3-го числа праздновалъ онъ еще въ семейственномъ кругу 74-й день своего рожденія“, такъ рассказываетъ о послѣднихъ минутахъ Державина одинъ изъ современныхъ журналовъ: — „8-го числа почувствовалъ усиленіе обыкновенной болѣзни своей, спазматическихъ припадковъ въ груди, и въ 11 часовъ вечера продиктовалъ письмо въ Петербургъ, къ доктору, у котораго просилъ совѣтовъ въ своей болѣзни. Онъ никакъ не думалъ, что находится въ опасности и въ то же время приказалъ отписать къ издателю 6-й части его сочиненій о перемѣнѣ одного стиха. Потомъ легъ онъ въ постель, въ половинѣ 2-го часа вздохнулъ сплнѣ обыкновеннаго и съ силъ вздохомъ скончался. Тѣло его предано землѣ 12-го іюля въ Хутинѣ²⁾ монастырѣ, куда перевезено было по Волхову. На погребеніи были почти одни только родственники его. Гробъ несли офицеры стоящаго неподалеку оттуда конно-егерскаго полка; они не были знакомы лично ни ему, ни семейству его, но почли обязанностію отдать послѣдній долгъ великому россиянину“.

За три дня до своей кончины, Державинъ, глядя на висѣвшую въ кабинетѣ его извѣстную историческую карту „Рѣка временъ“, началъ стихотвореніе на тѣмъ ностъ и успѣлъ написать (на аспидной доскѣ) первую строфу его:

Рѣка временъ въ своемъ стремленіи
Уноситъ всѣ дѣла людей,
И топить въ пропасти забвенья
Народы, царства и царей.
А если что и остается
Черезъ звуки лиры и трубы,
То вѣчности жерлоу пожрется
И общей не уйдетъ судьбы!

Доска съ послѣдними стихами Державина была подарена его родственниками Императорской публичной бібліотекѣ. Тамъ хранится она и понынѣ: ее всякій можетъ видѣть на стѣнѣ, въ отдѣленіи русскихъ книгъ; но отъ начертанныхъ на ней строкъ почти ничего уже не осталось.



Державинъ (типъ Тончи).

Въ теченіи всей своей долгой жизни, занимаясь литературой, Державинъ успѣлъ написать чрезвычайно много и подъ конецъ склонялся даже преимущественно передъ всѣми другими къ драматическому роду. Не смотря на это, однакоже, Державинъ представляетъ намъ собою и по характеру своему, и по общему направленію таланта чистѣйшій типъ лирика. Но лирики были у насъ и до Державина; и около Державина видимъ мы Петрова, Кострова, Капниста, которые одинаково съ Державиннымъ начинали свою поэтическую дѣятельность съ

¹⁾ См. С. Т. Аксакова, „Семейная Хроника и Воспоминанія“. II, 374.

²⁾ Монастырь св. Варлаамія Хутинскаго на правомъ берегу Волхова, верстахъ въ семи ниже Новгорода.

подражания лирику Ломоносова — этого „русского Пиндара“, как называли его современники. Какое же значение имѣлъ Державинъ въ нашей литературѣ прошлаго столѣтія?

Прежде всего мы должны, конечно, сказать: Державинъ вполне достоинъ своей славы уже потому, что онъ, въ ряду нашихъ поэтовъ, былъ первымъ поэтомъ по вдохновенію, по призванію. Онъ оставилъ намъ весьма значительную массу стиховъ, вовсе незамѣчательныхъ, подобныхъ тѣмъ, которые, по его собственному выраженію, „писались и цеховыми стихотворцами“ его времени, въ которыхъ мы видимъ одни громкія слова и очень мало мысли и чувства; но и въ каждомъ, даже самомъ плохомъ изъ его стихотвореній, видна рука мастера, чувствуется талантъ, встрѣчаются мѣста, замѣчательныя по своимъ поэтическимъ образамъ, по звучности стиха, по красотѣ и силѣ выраженія. И въ этомъ отношеніи, особенно если станемъ сравнивать Державина съ Ломоносовымъ и со всѣми нашими лириками второй половины XVIII вѣка, мы должны будемъ, конечно, признать, что Державинъ стоитъ цѣлою головою выше ихъ всѣхъ и что ни одинъ изъ нашихъ поэтовъ, до Пушкина, не могъ съ ними равняться ни по силѣ таланта, ни по непосредственности и самобытности вдохновенія. Вдохновение Державина находило себѣ весьма обильную пищу въ эпохѣ Екатерининскаго царствованія, среди которой ему пришлось жить и дѣйствовать. И поэзія Державина, по преимуществу, явилась поэзіей образовъ и событій, поэзіей торжественно и громко прославляющей побѣды и подвиги, описывающей пиры, празднества и шумную свѣтскую жизнь — нескончаемымъ хвалебнымъ гимномъ Екатерининскаго вѣка. Вообще внутреннимъ содержаніемъ, идеями, поэзія Державина не богата. Въ этомъ, съ одной стороны, отразилось еще младенческое состояніе нашей литературы, которая во многихъ отношеніяхъ довольствовалась тогда выработкою поэтической внѣшности произведеній; съ другой стороны, произведенія Державина внутреннимъ содержаніемъ и не могли быть богаты, потому что онъ самъ вовсе не былъ поэтомъ-мыслителемъ, способнымъ сосредоточиться, углубиться въ

точное и подробное изслѣдованіе того или другого отвлеченнаго философскаго вопроса. Слабый характеромъ, плохо воспитанный и при этомъ рано вкусившій жизни, Державинъ не успѣлъ выработать въ себѣ никакихъ твердыхъ, положительныхъ убѣжденій: честный, прямой и горячій, по природѣ своей, онъ однакоже не на столько былъ развитъ, чтобы сѣмъ всегда и во всемъ провести тонкое различіе между добромъ и зломъ, между правдою и неправдою. Снобизмъ вообще поддавался всякимъ постороннимъ влияніямъ, Державинъ, сверхъ того, былъ еще крайне стѣсненъ своимъ положеніемъ придворнаго поэта. Это положеніе очень часто вынуждало его не только вообще отступать отъ правды въ поэзіи, но и писать прямо противъ своего убѣжденія похвалы тому, что ихъ вовсе не заслуживало, и насильно вдохновение свое въ тѣхъ случаяхъ, когда оно ему отказывалось служить. не повиновалось его волѣ... Къ тому же и самый уровень нравственнаго развитія, на которомъ находилось современное Державину общество, допускалъ возможность употребленія поэтическаго таланта, какъ средства для достиженія различныхъ матеріальныхъ выгодъ, для обезпеченія своего общественнаго или служебнаго положенія, для обращенія на себя вниманія, для пріобрѣтенія покровительства, даже для избавленія себя отъ угрожающей опасности... Такъ мы уже выше видѣли случай, когда Державинъ прибѣгалъ къ своему таланту, какъ къ надежнѣйшему средству обратить на себя вниманіе Екатерины и добиться знакомства съ Zubовымъ; также точно и въ другой разъ, когда Державинъ опасаясь гнѣва и ошамы со стороны Императора Павла, онъ поспѣшилъ поднести ему оду „на восшествіе его на престолъ“ и тѣмъ переимѣнилъ гнѣвъ его на милость... Сверхъ того, бѣдность внутренняго содержанія Державинской поэзіи, среди вышеуказанныхъ условій, значительно увеличивалась еще и слабостью его характера. При отсутствіи твердыхъ убѣжденій, Державинъ, какъ человѣкъ горячій, былъ склоненъ къ порывамъ, къ быстрымъ переимѣнамъ взгляда и рѣзкимъ переходамъ отъ одного направленія къ другому, совершенно противоположному... Вотъ почему очень часто, въ одной и той же одѣ, встрѣчаемъ у него

два различныхъ направленія мысли; ода начинается, напримѣръ, съ чисто-эпикурейскаго восхваленія наслажденій, съ похвалы тѣмъ людямъ, которые умѣютъ ими пользоваться, а заканчивается стоическимъ отрицаніемъ всѣхъ прелестей жизни и указаніемъ на суровую добродѣтель, какъ на единое истинное благо. Вотъ почему, на-

конецъ, въ одахъ Державина можно найти слѣды вліяній, попеременно оказанныхъ на поэта самыми противоположными направленіями: тутъ и сомнѣнія, и самый сухой религіозный догматизмъ, и восхваленіе умѣренности въ гораціанскомъ вкусѣ, и дидактика, и — подъ конецъ литературной карьеры Державина, — даже мистицизмъ,



Памятникъ Державину въ Казани.

вообще такъ сильно овладѣвшій всѣмъ нашимъ обществомъ въ концѣ прошлаго и началѣ нынѣшняго столѣтія.

Однакоже, при всѣхъ этихъ недостаткахъ, зависѣвшихъ отчасти отъ личнаго характера Державина, отчасти же и тѣсно связанныхъ съ направленіемъ и взглядомъ его вѣка, поэзія Державина имѣетъ за собою и весьма замѣчательное по тому времени

преимущество: онъ первый рѣшился пареніе нашей лирики съ классическаго Парнасса, Олимпа и Пинда низвести на почву русской дѣйствительности XVIII вѣка. Хотя Державинъ еще вѣрилъ тому, что „изящество и существо прямой оды составляютъ: отступленія, перемѣны, околичности, сомнѣнія и вопрошенія“ (такъ говоритъ онъ въ своемъ Разсужденіи о

лирической поэзии), хотя онъ очень высоко ставилъ оды Ломоносова, утверждая, „что не токмо превзойти его, но и сравняться съ нимъ не можетъ“, однакоже самъ уже замѣчалъ разницу между своей лирикой и лирикой Ломоносова въ общемъ направленіи и въ способѣ обработки сюжета. Разницу эту, въ письмѣ своемъ къ Е. Р. Дашковой, онъ очень мѣтко опредѣлилъ, сказавъ о Ломоносовѣ, что „ему надобно было прибѣгать къ великолѣпнымъ всегда небылицамъ и къ пестрому украшенію, а мнѣ къ одной натурѣ, къ одной той истинѣ, съ которою и послѣ меня исторія будетъ согласна“. Къ этому стремленію, придать одѣ болѣе естественности, прибавлялось еще и умѣнье Державина чрезвычайно ловко и кстати разнообразить торжественный и высоко-настроенный тонъ оды сатирическими чертами нравовъ современнаго общества и довольно игривыми, оригинальными переходами отъ серьезнаго и торжественнаго настроенія оды къ шутливому и забавному.

Лирика въ произведеніяхъ Державина много выиграла съ внѣшней стороны: онъ совершенно отрѣшился отъ того однообразнаго и скучнаго, какъ бы официальнаго размѣра оды, который ввелъ Ломоносовъ и который усвоили вслѣдъ за нимъ всѣ его подражатели. Размѣры въ лирикѣ Державина разнообразны; многія изъ его произведеній писаны двумя размѣрами; замѣтно, что онъ вообще ладилъ со стихомъ довольно свободно и даже вѣсколько тщеславился переходами отъ одного размѣра къ другому, которые свидѣлствуютъ о его умѣнии владѣть стихомъ. Языкъ поэзіи Державина — сильный, образный, выразительный, но еще жесткій и неровный, благодаря неумѣлому смѣшенію русскаго элемента съ церковнославянскимъ, затемняющему значеніе стиха.

Безпристрастно взвѣсивъ достоинства и недостатки поэтическихъ произведеній Державина, становясь при этомъ на точку зрѣнія исторической критики, нельзя не признать того, что между поэтическими произведеніями Державина и произведеніями тѣхъ предшественниковъ его, которыхъ онъ самъ почиталъ своими образцами — лежить цѣлая пропасть.

Сравнивая оды Ломоносова и Сумарокова съ Державинскими, видимъ, что поэзія сдѣлала большой шагъ впередъ на пути своего внѣшняго и внутренняго развитія. Державину принадлежитъ честь упрощенія нашей поэзіи, сближенія ея съ жизнью, значительнаго совершенствованія ея формъ, наконецъ — честь примѣненія поэтическаго способа обработки къ такимъ сюжетамъ, о которыхъ и помыслить не смѣли его предшественники. Онъ сумѣлъ, кромѣ того, усвоить поэзіи и много такого, что было имъ прямо заимствовано изъ непочатой еще тогда сокровищницы народныхъ преданій, повѣрій и богатаго запаса словъ, оборотовъ и образовъ, представляемаго языкомъ нашей народной поэзіи.

Вообще говоря, Державину уже въ значительной степени удалось вложить душу, вдунуть жизнь въ то мертвое и безжизненное тѣло нашей зарождавшейся поэзіи, которая до него представляла только одну несложившуюся форму. И это — заслуга не малая; заслуга, стоящая памятниковъ... Современная намъ наука вполне сознала ее и по достоинству оцѣнила, увѣковѣчивъ произведенія Державина единственнымъ въ своемъ родѣ академическимъ изданіемъ его сочиненій, редакція котораго поручена была академику Я. К. Гроту. Лучшаго памятника нельзя желать ни одному изъ нашихъ поэтовъ!



VIII.

Отсутствіе критики, какъ отличительная черта екатерининскаго періода литературы.—Херасковъ.—

Богдановичъ.—Хемницеръ.—Капнистъ.

Не имѣя возможности дать въ настоящемъ трудѣ нашему подробную и полную картину литературы екатерининскаго времени, мы позволяемъ себѣ, рядомъ съ Державинымъ и Фонъ-Визинимъ, хотя вкратцѣ, упомянуть только о наиболѣе замѣтныхъ изъ числа второстепенныхъ нашихъ писателей конца прошлаго вѣка. Остановимся на тѣхъ, которые хотя и утратили значеніе въ наше время, однакоже для своего времени являлись писателями замѣчательными, восхищали своими произведеніями неизбалованныхъ литературою современниковъ, и въ глазахъ ихъ стояли особенно высоко, какъ основатели и представители того или другаго, еще новаго у насъ литературнаго рода. Высокое значеніе большей части такихъ второстепенныхъ дѣятелей литературныхъ основывалось не столько на ихъ личномъ талантѣ и на дѣйствительныхъ достоинствахъ ихъ произведеній, сколько на полномъ отсутствіи критики. Критика не могла еще существовать у насъ въ литературѣ, какъ потому, что самая литература наша была очень молода и не представляла никакихъ самостоятельныхъ образцовъ для сравненія и установленія опредѣленнаго вкуса; такъ, съ другой стороны, потому, что знакомство съ литературой европейскими было еще чрезвычайно ограниченнымъ и одностороннимъ. Вслѣдствіе этого, мы, съ одной стороны, легко поддавались подражанію иностраннымъ образцамъ; а съ другой—охотно принимали каждое русское подражаніе извѣстному поэтическому роду за оригинальное и притомъ образцовое произведеніе, а его автора за человѣка, одареннаго творческимъ и самостоятельнымъ поэтическимъ даромъ.

Изъ числа тѣхъ трехъ писателей, біографіямъ которыхъ мы посвящаемъ эту главу, слѣдуетъ однакоже выдѣлнить Хемницера,

который при жизни своей былъ извѣстенъ, какъ писатель, лишь очень небольшому кружку своихъ друзей, и потому самому никѣмъ не былъ принимаемъ за литературную знаменитость, ни отъ кого не заслужилъ ни имени Россійскаго Федре, ни отечественнаго Лафонтена. Относительно двухъ другихъ писателей, упоминаемыхъ нами въ настоящей главѣ, нельзя не замѣтить, что они принадлежать къ двумъ различнымъ эпохамъ нашей литературы: авторъ „Російяды“ принадлежитъ первоначальному наслоенію нашей литературы, и современники, справедливо относя его къ числу первыхъ нашихъ литературныхъ дѣятелей, ставили его имя рядомъ съ именами Ломоносова и Сумарокова. Хераскову пришлось гораздо позднѣе ихъ пріобрѣсти литературную извѣстность; но и по воспитанію, и по убѣжденіямъ, и по взглядамъ своимъ на литературу, онъ принадлежалъ вполнѣ эпохѣ Ломоносова и Сумарокова. Напротивъ того, авторъ *Душеньки* — Богдановичъ, и по воспитанію, и по своимъ понятіямъ объ изящномъ, о поэзіи, принадлежалъ къ эпохѣ позднѣйшей: онъ относится уже къ тому времени, когда у насъ успѣли образоваться литературныя кружки, и стоитъ какъ разъ на грани, отдѣляющей періодъ полного господства ложно-классическаго направленія отъ другаго, болѣе близкаго къ намъ періода, когда въ литературѣ нашей сталъ преобладать сентиментализмъ.

И Богдановичъ, и Херасковъ одинаково могутъ служить живыми доказательствами того, какъ тихо, постепенно и послѣдовательно совершается развитіе литературы въ каждомъ молодомъ обществѣ. Въ этомъ движеніи, если присматриваться къ нему близко и внимательно, не увидишь быстрыхъ скачковъ и переходовъ, не замѣтишь перерывовъ. Новыя поколѣнія лите-

ратурныхъ дѣателей поднимаются, растутъ и зрѣютъ, и выступаютъ на литературное поприще съ новыми взглядами, съ новыми идеями и вкусами — и долго приходится имъ жить и дѣйствовать на этомъ поприщѣ рядомъ съ устарѣвшими, отживающими, но не рѣдко маститыми и почтенными представителями предшествующей литературной эпохи.

Михаилъ Матвѣевичъ Херасковъ (род. 1733, ум. 1807 г.) происходилъ отъ рода валахскихъ бояръ Хереско. Отецъ его, Матвѣй Андреевичъ Херасковъ, переселился въ Россію еще при Петрѣ Великомъ, можетъ быть одновременно съ княземъ Кантемиромъ. Хотя онъ и не дослужился до высшихъ чиновъ, однакоже считался, конечно, лицомъ довольно знатнымъ, потому что могъ жениться на дѣвцѣ изъ знатнаго рода, княжнѣ Аннѣ Даниловнѣ Друцкой. Михаилъ Матвѣевичъ былъ третьимъ сыномъ отъ этого брака и родился въ городѣ Переяславлѣ (Полтавской губерніи) незадолго до смерти отца своего. Мать Хераскова, знаменитая красавица своего времени, вскорѣ послѣ смерти мужа, вышла вторично замужъ за извѣстнаго князя Н. Ю. Трубецкаго, черезъ котораго Михаилъ Матвѣевичъ, въ свою очередь, породнился съ цѣлымъ рядомъ знатнѣйшихъ русскихъ фамилій: съ Салтыковыми, Румянцовыми-Задунайскими, Нарышкиными, Вяземскими, Черкасскими. Это обстоятельство заслуживаетъ вниманія біографа, какъ потому, что оно рисуетъ намъ свѣтскую и родственную обстановку Хераскова, такъ и потому, что родственныя связи и близкія отношенія къ знати должны были въ послѣдствіи сильно повліять на служебную карьеру и общественное положеніе нашего писателя. Получивъ только самые начатки воспитанія и ученія дома, Херасковъ уже на 10-мъ году отданъ былъ въ Сухопутный Шляхетный корпусъ, гдѣ, какъ мы видѣли выше, воспитывался и Сумароковъ. Тамъ оставался онъ до 1751 года, и подъ вліяніемъ тѣхъ благопріятныхъ условій тогдашняго корпуснаго быта, о которыхъ мы говорили въ біографіи Сумаро-

кова, въ Херасковѣ тоже довольно рано развился вкусъ къ занятіямъ литературою. Пробывъ недолгое время, послѣ выпуска изъ корпуса, въ военной службѣ (въ Императорскомъ полку), Херасковъ перешелъ на службу сначала въ коммерцъ-коллегію, а потомъ, тотчасъ по учрежденіи Московскаго университета (въ 1755 г.), опредѣленъ въ число лицъ, составлявшихъ штатъ этого новаго высшаго учебнаго заведенія. Здѣсь прослужилъ онъ до 1770 г., потомъ снова возвратился на службу въ Петербургъ¹⁾, и наконецъ въ 1775 году вышелъ



Херасковъ.

въ отставку и поселился въ Москвѣ, гдѣ жили его единоутробные братья, князья Трубецкіе и большая часть его знатной родни. Въ это время и онъ, и братья его успѣли сдѣлаться ревностными масонами. Въ началѣ 1778 года мы даже видимъ его занятымъ въ Петербургѣ хлопотами по масонскимъ дѣламъ. Здѣсь впервые, по поводу этихъ же дѣлъ, онъ входитъ въ сношенія съ Новиковымъ, съ которымъ знакомство его не прекращается до конца жизни, и которому онъ такъ дѣлательно помогаетъ въ послѣдствіи, во время дальнѣйшей службы своей въ Москвѣ, при осуществленіи

1) Съ 1770 по 1775 г. Херасковъ состоялъ на службѣ въ бергъ-коллегіи, между 1775 и 1778 г. находился въ отставкѣ, а въ 1778 г. опять перешелъ въ университетъ, будучи назначенъ кураторомъ.

обширных издательских и литературных предприятий Новиковского кружка.

Вскорѣ послѣ того, въ тотъ же 1778 г., Херасковъ назначенъ былъ однимъ изъ кураторовъ Московскаго университета и занималъ эту весьма важную должность до 1802 ¹⁾ года. Въ бытность свою кураторомъ университета Херасковъ сдѣлалъ очень много на пользу его процвѣтанія своею заботливостью. 15 декабря 1778 года объявлено было объ учрежденіи при университетѣ вольнаго Благороднаго Пансіона, одного изъ лучшихъ воспитательныхъ заведеній въ Россіи въ концѣ XVIII столѣтія; а въ слѣдующемъ 1779 году онъ и открытъ для приема воспитанниковъ. Въ томъ же самомъ году заключенъ былъ Херасковымъ отъ имени университета знаменитый контрактъ съ Н. И. Новиковымъ — извѣстнымъ современнымъ журналистомъ и писателемъ — по которому университетская типографія отдана Новикову на откупъ на десять лѣтъ. Въ этомъ сближеніи съ Новиковымъ, однимъ изъ полезнѣйшихъ общественныхъ дѣятелей того времени, и въ особенности въ томъ покровительствѣ, которое, вопреки разнымъ толкамъ и клеветамъ, Херасковъ оказывалъ впоследствии Дружескому Ученому Обществу ²⁾, высказывается то просвѣщенное сочувствіе къ улучшенію въ Россіи воспитанія, которое привело его и къ мысли о необходимости основать при университетѣ учительскую семинарію (въ томъ же 1779 г.). Эту полезную мысль могъ онъ осуществить только при помощи одного изъ талантливейшихъ и замѣчательнѣйшихъ профессоровъ Московскаго университета, Иогана Георга Шварца, ближайшаго друга и помощника Новикова, о которомъ намъ еще придется подробнѣе упоминать въ слѣдующей главѣ.

Въ 1780 г. сдѣланы многія улучшенія въ гимназій, а въ 1791 г. открыто Собраніе Университетскихъ питомцевъ, и все подготовлено къ основанію Дружескаго Ученаго Общества, открытаго 6 ноября 1782 года, вмѣстѣ съ Переводческою Семинаріею при немъ. Изъ этого-то общества возникла впослед-

ствіи (въ 1784 г.) знаменитая „Типографическая компанія“.

Еще будучи 22-хъ-лѣтнимъ юношей, Херасковъ уже помѣщалъ первые свои литературные опыты въ „Ежемесячныхъ сочиненіяхъ“ — журналѣ, издававшемся при Академіи Наукъ Миллеромъ (съ 1754—1765 г.). Переселившись скорѣ послѣ того въ Москву и опредѣлившись на службу при Московскомъ университетѣ, Херасковъ, какъ уже пріобрѣтшій себѣ нѣкоторую литературную извѣстность, самъ сталъ издавать журналы, при помощи жены своей, Елисаветы Васильевны, которая также была „извѣстная того времени стихотворица“. Въ теченіе 1760, 1761 и 1762 гг. Херасковъ издавалъ журналъ подъ названіемъ „Полезное увеселеніе“, а въ 1763 году сталъ издавать „Свободные часы“. Всѣ эти журналы наполнялись, преимущественно, его собственными стихотвореніями и сочиненіями студентовъ, которыхъ поощрялъ къ литературнымъ занятіямъ Херасковъ. Мало-помалу, благодаря спокойному и вѣстѣ съ тѣмъ чрезвычайно-серьезному характеру Хераскова, благодаря тому видному положенію, которое онъ занималъ при Московскомъ университетѣ, сначала какъ директоръ его, и потомъ какъ одинъ изъ кураторовъ, богатый и степенный домъ Хераскова сдѣлался въ Москвѣ центромъ, около котораго вращалось все современное литературное движеніе, а самъ Херасковъ — покровителемъ и судьей литературныхъ достоинствъ всего, что выходило изъ-подъ пера московскихъ писателей конца XVIII вѣка. Въ домѣ Хераскова можно было, кромѣ образованнѣйшихъ представителей современной знати, встрѣтить и В. И. Майкова, И. П. Елагина, А. П. Сумарокова, Д. И. Фонъ-Визина, И. П. Тургенева, И. О. Богдановича, Г. Р. Державина (съ которыми до конца жизни Херасковъ поддерживалъ самую дружескую переписку), Мерзлякова, Н. М. Карамзина, И. И. Дмитриева.

Періодъ жизни Хераскова между 1778 и 1786 г. былъ посвященъ усиленной дѣятельности по части масонства. Около 1786

¹⁾ Въ 1802 году Московскій университетъ былъ преобразованъ, вслѣдствіе учрежденія особаго министерства народнаго просвѣщенія. — ²⁾ Объ этомъ см. далѣе въ главѣ IX.

года Императрица Екатерина стала не всѣмъ благоволять къ Хераскову за связи его съ масонами.

Въ 1792 г. московскіе мартинисты подверглись сильнѣйшимъ преслѣдованіямъ¹⁾, а ихъ учрежденія были закрыты и уничтожены. Херасковъ, также принадлежавшій къ ихъ кружку, едва усидѣлъ на своемъ мѣстѣ куратора. Императрица не хотѣла падить и его, и даже предписала его „отста-вить“; но онъ спасся заступничествомъ ея любимца Цл. А. Зубова, котораго упросилъ о томъ Державинъ, пользовавшійся тогда милостію временщика. Вѣроятно, ему въ этомъ отношеніи не мало помогли и его обширныя, разнообразныя родственныя связи.

Когда, по смерти Екатерины, императоръ Павелъ „выскалзъ мартинистовъ своею милостію“, Херасковъ былъ осыпанъ наградами. Только уже въ царствованіе Императора Александра I закончилъ онъ свою почти сорокалѣтнюю службу при Московскомъ университетѣ, и послѣдніе годы своей жизни провелъ на покоѣ въ Москвѣ, занимааясь литературой, печатая стихи свои и до самой кончины пользуясь славой и почетомъ среди современныхъ ему литературныхъ кружковъ. По особенно-странному стеченію обстоятельствъ „Хераскова ожидала литературная почеть даже и по смерти“ — какъ замѣчаетъ одинъ изъ его биографовъ. Въ 1807 году онъ представилъ на соисканіе награды отъ Россійской Академіи новую, неизданную трагедію свою: Зеренда и Ростиславъ. Награда была присуждена ей; но имя автора, какъ обыкновенно, оставалось тогда еще тайной. По провозглашеніи рѣшенія, обнаружено было имя автора и имъ оказался—недавно умершій Херасковъ.

Трудясь на литературномъ поприщѣ почти въ теченіе полувѣка, Херасковъ болѣе выказалъ трудолюбія, нежели таланта. Умѣренный, аккуратный и постоянный во всемъ, въ теченіи всей своей жизни, онъ такимъ же точно явился и въ своей литературной дѣятельности. Масса оставленныхъ имъ произведеній, построенныхъ на основаніи правилъ ложно-классической теоріи, представляетъ собою замѣчательно точное вос-

произведеніе ложно-классическихъ литературныхъ образцовъ и, вмѣстѣ съ тѣмъ, поражаетъ современнаго читателя полнымъ отсутствіемъ всякаго самостоятельнаго творчества. Но за то, болѣе всѣхъ русскихъ писателей прошлаго вѣка, Херасковъ можетъ служить намъ самымъ вѣрнымъ представителемъ ложно-классическаго направленія, насколько оно проявлялось въ нашей поэзіи лирической, драматической и эпической. Современники ставили ему въ особенную заслугу именно то, что онъ первый рѣшился перенести на русскую почву образцы ложно-классическаго эпоса и подарилъ русскую литературу двумя обширными эпическими поэмами, написанными по всѣмъ правиламъ современной литературной теоріи: обѣ эти поэмы вполне удовлетворяли современному вкусу и понятіямъ о разработкѣ важныхъ, героическихъ сюжетовъ. Публика уже успѣла освоиться въ это время съ лирикой „Россійскаго Пинда“, съ драмой „Россійскаго Расина“; ей не доставало только Россійскаго Гомера, — и его-то олицетворилъ Херасковъ въ своей Россіадѣ, въ своемъ Владимірѣ“. Полное отсутствіе всякой литературной критики было одною изъ отличительныхъ чертъ эпохи и потому такая легкая раздача литературныхъ титуловъ писателямъ того времени ничуть не должна казаться намъ удивительной. Титулъ русскаго Гомера долженъ былъ принадлежать первому русскому писателю, у котораго-бы хватило терпѣнія воспыть какое-бы то ни было героическое событіе въ полутора дюжины объемистыхъ пѣсень, написанныхъ правильно составленными русскими стихами. Такимъ терпѣливымъ воспитателемъ и творцомъ обширныхъ эпическихъ поэмъ явился Херасковъ, и посредственныя произведенія его, противопоставленныя неуклюжей Телемахидѣ Тредіаковскаго, заставили всѣхъ единогласно присудить громкое прозваніе Россійскаго Гомера—Хераскову, какъ творцу „Россіады“ и „Владимира“. Обѣ эти поэмы, даже и въ глазахъ первоклассныхъ поэтовъ того времени, считались „безсмертными“²⁾ твореніями, неподлежащими забвенію въ потомствѣ...

¹⁾ Мартинизмъ—одна изъ отраслей масонства, особенно сильно распространенная въ Москвѣ конца XVIII вѣка. —²⁾ Такъ думалъ и Державинъ, и даже И. И. Дмитриевъ.

Россіяда однакоже не была первым произведеніем Хераскова. Она явилась въ 1779 году, хотя задумана была гораздо ранѣе (начата въ 1771 году, и писалась ровно 8 лѣтъ). Первымъ крупнымъ произведеніемъ Хераскова явилась небольшая дидактическая поэма *Плоды наукъ*¹⁾ (1757) и черезъ годъ послѣ того Венеціанская монахиня²⁾ (1758), трагедія въ трехъ дѣйствіяхъ. Вѣроятно трагедія эта очень понравилась современникамъ, потому что одно изъ сохранившихся намъ современныхъ свидѣтельствъ сообщаетъ, будто до 22 лѣтъ Хераскова считали человѣкомъ простенькимъ, ни къ чему большому неспособнымъ; но когда онъ написалъ трагедію *Венеціанская монахиня*“, то обратилъ на себя всеобщее вниманіе и съ тѣхъ поръ стали многого ожидать отъ Хераскова, „чего прежде въ немъ не предполагали“. И дѣйствительно, въ теченіе почти 50-лѣтней дѣятельности, послѣдовавшей за появленіемъ въ свѣтъ этихъ первыхъ произведеній, Херасковъ писалъ положительно во всѣхъ родахъ:—трагедіи, драмы слезныя, драмы съ пѣснями, оды анакреонтическія, оды торжественныя, повѣсти поучительныя, повѣсти сентиментальныя, поэмы описательныя, посвященныя прославленію подвиговъ русскаго воинства, воспѣванію русской славы и благоденствія Россіи подъ скипетромъ мудрыхъ правителей. Неумолимая рука времени давно уже предала забвенію эти произведенія плодovitаго литератора-труженика, а безпристрастная и здравая критика признала приговоръ времени справедливымъ. Достаточно будетъ упомянуть здѣсь

только о томъ, что изъ числа всей этой массы произведеній болѣе всего нравились современной читающей публикѣ тѣ повѣсти и драмы Хераскова, въ которыхъ онъ аллегорически изображалъ русскую современность въ идеальномъ, украшенномъ видѣ... Такъ, напримѣръ, весьма значительнымъ успѣхомъ пользовалась его повѣсть „Нума Помпилій или процвѣтающій Римъ“ (1765 г.), изображающая въ видѣ мудраго „Нумы“ Екатерину и всѣ блага, приносимыя ей правленіемъ Россіи. Самъ авторъ весьма наивно высказываетъ это въ предисловіи къ „Нумѣ“.

„Сіе сочиненіе“—пишетъ онъ—„есть плодъ празднаго размышленія (sic), которое, воображая благополучное состояніе обществъ, подъ скипетромъ Нумы его находило. Не тщеславіе и не пристрастіе побудителями къ тому были, но единая любовь къ истинѣ и желаніе добра человѣческому роду... Ежели-бы всѣ такія расположенія души имѣли, какія имѣлъ сочинитель сей книги, тогда-бы человѣческій родъ не несчастливъ былъ; ибо истина, добродѣтель и правосудіе торжествовали-бы на землѣ. Онѣ торжествуютъ въ Россіи. Небо продли сіе благо!“

На томъ же основаніи имѣла успѣхъ и другая повѣсть Хераскова „Кадмъ и Гармонія“ (1789 г.) и ея продолженіе „Поллidorъ, сынъ Кадма и Гармоніи“³⁾, въ которыхъ осуждается современное революціонное движеніе Франціи, и народу, зараженному вольнодумствомъ, жаждою свободы и равенства, разрушившему всѣ прежнія основы общества, противопоставляется

¹⁾ Къ изданію этой поэмы 1797 г. прибавлено слѣдующее посвященіе Императору Павлу I: „Малое сіе сочиненіе писано въ самой моей молодости; и здѣсь его помѣщая для изъявленія моего искреннѣйшаго усердія и высокаго почитанія, которое ощущало мое сердце къ нашему Государю Императору, нинѣ со славою царствующему, въ самомъ Его младенцествѣ“.—²⁾ Не лишнею интереса предисловіе этой трагедіи: „читатели не могутъ меня упрекать въ томъ, ежели что невозможнымъ мнѣ покажется; я описывалъ то, что конечно было, а что и отъ себя прибавилъ, то въ драмѣ позволено быть можетъ. Однако, какъ сами читатели теперь усмотрѣть могутъ, все мое стараніе въ томъ состояло, чтобъ въ продолженіи сей трагедіи не отставать далеко отъ истины; и сіе самое въ трехъ дѣйствіяхъ сочинить оную меня принудило“.—³⁾ Весьма любопытнымъ со стороны теоретическихъ воззрѣній Хераскова является слѣдующее мѣсто изъ его предисловія къ „Кадму и Гармоніи“: „Мнѣ совѣтовали переложить сіе сочиненіе стихами, дабы видъ эпической поэмы оно приняло. Надѣюсь, могутъ читатели повѣрить мнѣ, что я въ состояніи былъ издать сіе твореніе стихами; но я не поэму писалъ, а хотѣлъ сочинить простую тожко повѣсть, которая для стихословія не есть удобна. Кому извѣстны пѣтическія правила, тотъ при чтеніи сей книги почувствуетъ, для чего не стихами она писана“.

общество, уважающее преданія, тишину и порядокъ. Почти тѣ же мысли, та же идеализація современнаго общественнаго устройства въ Россіи, противопологаемая неурядицѣ и волненіямъ общества, не подчиненнаго единодержавію, составляетъ сюжетъ и другой, весьма популярной поэмы Хераскова: „Царь или спасенный Новгородъ“ (1800 г.).

Но для всѣхъ современниковъ и для ближайшаго потомства Херасковъ все же представлялся замѣчательнымъ поэтомъ именно потому, что создалъ двѣ обширныя эпическія поэмы — Россіаду (1779 г.) и Владиміра (1786) — первые сносные образцы эпическаго рода на нашей литературной почвѣ, и эта заслуга пожалуй можетъ быть названа не малою, въ смыслѣ перваго шага по новому пути, въ смыслѣ указанія для будущихъ поэтовъ. „Россіада“, въ 12 громадныхъ пѣсняхъ, воспѣваетъ вѣстіе Казани Іоанномъ Грознымъ; а такъ какъ эпическая поэма должна была заключать въ себѣ (по правиламъ современной ложно-классической теоріи) „какое нибудь важное, достопамятное, знаменитое приключеніе въ бытіяхъ міра случившееся, и которое имѣло слѣдствіемъ важную переимѣну, относящуюся до всего человѣческаго рода“ ¹⁾ — то Херасковъ и старается по возможности возвысить значеніе того событія, которое избрано имъ въ основу эпической поэмы. Взглядъ Хераскова на это событіе, какъ и вообще на самое значеніе эпической поэмы, совершенно ясно выраженъ имъ въ предисловіи къ „Россіадѣ“:

„Воспѣвая разрушеніе Казанскаго царства, со властію державцевъ Ордынскихъ, я имѣлъ въ виду успокоеніе, славу и благосостояніе всего Россійскаго государства; знаменитые подвиги не только одного государя, но всего Россійскаго воинства; и возвращенное благоденствіе не одной особѣ, но цѣлому отечеству: почему сіе твореніе и Россіадою названо... Важно ли сіе приключеніе въ Россійской Исторіи? Истинные сыны отечества, обозрѣвъ умомъ бѣдственное тогдашнее Россіи состояніе, сами почувствовать могутъ, достойно-ли оно Епопеи... а моя поэма сіе оправдать обязана“.

Историческія свѣдѣнія Хераскова оказываются крайне сбивчивыми, и нельзя не замѣтить, что въ своихъ понятіяхъ о личности Грознаго ²⁾ авторъ „Россіады“ очень недалеко ушелъ отъ историковъ XVI и XVII вв. Сбивчивости его историческихъ свѣдѣній и понятій, конечно, еще болѣе способствуетъ ложно-классическое направленіе, дозволившее авторамъ, какъ мы уже видѣли выше, совершенно свободно и безцеремонно обращаться съ историческимъ матеріаломъ. Вотъ что самъ авторъ Россіады сообщаетъ намъ о своемъ способѣ обработки историческаго сюжета, избраннаго имъ въ основу поэмы:

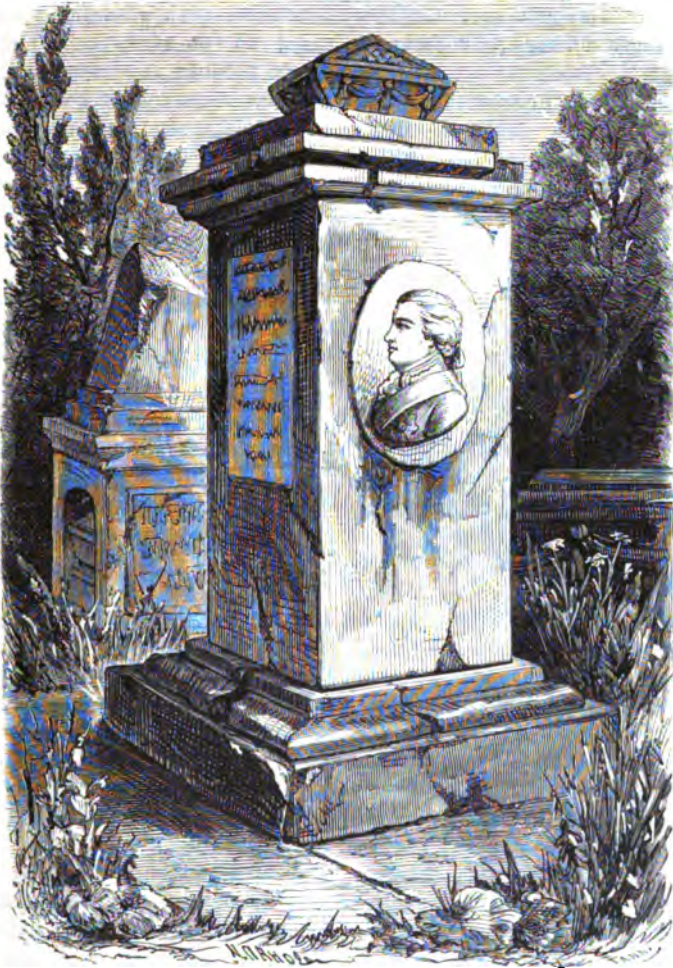
„Повѣствовательное сіе твореніе расположилъ я по исторической истинѣ, сколько могъ сыскать печатныхъ и письменныхъ извѣстій, къ моему намѣренію принадлежащихъ; присовокупилъ къ тому небольшіе анекдоты, доставленные мнѣ изъ Казани... Но да памятують мои читатели, что какъ въ эпической поэмѣ—вѣрности исторической, такъ въ дѣйствіяхъ—поэмы искать не должно. Многое отмѣнилъ я, переложилъ изъ одного времени въ другое, изобрѣталъ, украшалъ, творилъ и соиздавалъ. Успѣлъ-ли я въ предпріятіи моемъ, о томъ не мнѣ судить; но то неоспоримо, что эпическія поэмы обыкновенно по таковымъ, какъ сія, правиламъ сочиняются“.

Въ дополненіе къ тому, что самъ Херасковъ говоритъ о своей поэмѣ, добавимъ отъ себя, что и ложно-классическій эпосъ, по отношенію къ разработкѣ сюжетовъ, страдалъ тѣми же недостатками, которые мы выше замѣтили въ ложно-классической лирикѣ и драмѣ: та же натянутасть и высокопарность изложенія, та же безличность героевъ, въ сущности неприннадлежащихъ никакой національности и никакой почвѣ, та же неестественность и чрезвычайность положеній. Ко всему этому, въ эпосѣ примѣшивался еще, какъ необходимая и существеннѣйшая сторона его, элементъ чудеснаго, сверхъестественнаго, которое особенно выходило уродливымъ въ русскихъ образцахъ ложно-классическаго

¹⁾ Слова Хераскова, заимствованныя изъ „Взгляда на эпическія поэмы“, предислання Россіадѣ отъ автора. — ²⁾ Херасковъ величаетъ его постоянно Іоанномъ Васильевичемъ II-мъ, а не IV-мъ.

эпоса, гдѣ это чудесное не почерпалось изъ богатаго запаса народныхъ вѣрованій и преданій, а либо переносилось съ чуждой намъ почвы западныхъ эпопей, либо придумывалось, изобрѣталось самимъ авторомъ. Вотъ почему эта сторона, состоящая изъ

подражаній чудесному, на сколько оно проявилось въ иноземныхъ образцахъ (напр. въ „Энеидѣ“ Виргилія или въ „Освобожденномъ Іерусалимѣ“ Тассо), или на сколько оно было придумано авторомъ (въ видѣ призраковъ, вѣщихъ сновъ, предназнамено-



Надгробный памятникъ Хераскова.

ваній, волшебствъ и простаго олицетворенія предметовъ отвлеченныхъ и нравственныхъ)—это чудесное и составляетъ именно наиболѣе слабую сторону Россiяды, какъ и всякой подобной ложно-классической эпопей, основанной на чуждыхъ намъ преданіяхъ, порожденной еще болѣе чуждыми намъ воззрѣніями на искусство.

Послѣ всего сказаннаго о „Россiадѣ“, мы не станемъ, конечно, излагать содержанія „Владимира“ и укажемъ только на одну сторону этой громадной эпопей, состоящей изъ 18 пѣсенъ. Въ основу „Владимира“ избрано было авторомъ другое важное событіе—просвѣщеніе Россiи христіанствомъ „черезъ князя, который сначала былъ на

столько же ревностнымъ язычникомъ, на сколько впоследствии ревностнымъ христіаниномъ". Выборъ этого сюжета, повидимому, совпадалъ съ тѣмъ религіозно-мистическимъ настроеніемъ, которому Херасковъ поддавался подъ вліяніемъ масонства, столь сильно его увлекавшего въ это время. По крайней мѣрѣ такимъ именно мистическимъ настроеніемъ отзывается все предисловіе къ „Владими́ру“¹⁾.

„Ежели кто будетъ имѣть охоту прочесть моего „Владими́ра“, тому совѣтую, наипаче юношеству, читать онаго не какъ обыкновенное эпическое твореніе, гдѣ по большей части битвы, рыцарскіе подвиги и чудесности воспѣваются; но читать, какъ странствованіе внимательнаго человѣка путемъ истины, на которомъ срѣтается онъ съ мірскими соблазнами, подвергается многимъ искушеніямъ, впадаетъ въ мракъ со-

мнѣнія, борется со врожденными страстями своими, наконецъ преодолеваетъ самъ себя. находитъ стезю правды, и, достигнувъ просвѣщенія, возрождается. Не учительскимъ скучнымъ голосомъ преподаю наставленія. какъ достигать свѣта истины; ни съ важностью проповѣдника, мнѣ неприлично. возвѣщая, какъ возродиться человѣкъ можетъ; но въ духѣ, свойственномъ пѣснопѣвцу, робкому пѣснопѣвцу, единственно о христіанскомъ просвѣщеніи Владиміра повѣдаю, Владиміра, Россіи просвѣтителя и нареченнаго Равноапостольнымъ. Повѣсть важна, велика и восторговъ достойна... Многіе духовные отцы въ томъ сочиненіи мнѣ руководствовали, многое отъ бесѣдованья съ цѣломудренными людьми я заимствовалъ. многое собственнымъ позналъ опытомъ, и ежели кто, прочитавъ сію поэмъ, скажетъ, что онъ не напрасно потерялъ свое время.

М. Херасковъ

Подпись Хераскова.

то и я сказать осмѣлюсь, что мое время, сочиняя „Владими́ра“ употребилъ не втунѣ“.

То же самое направленіе еще яснѣе выказалось въ предисловіи къ другой духовно-нравственной поэмѣ Хераскова, подъ заглавіемъ „Вселенная“²⁾, и отчасти въ послѣднихъ его произведеніяхъ: въ поэмѣ „Пилигримы или искатели счастья“ и „Бахаріана или неизвѣстный“ (1803 г.), составленной изъ 14 пѣсень, писанныхъ различными размѣрами. Любопытно то, что, не смотря на славу свою, не смотря на сочувствіе и уваженіе со стороны многихъ литературныхъ знаменитостей, Херасковъ не могъ найти между книгопродавцами издателя для Бахаріаны и долженъ былъ печатать ее на свой счетъ.

Вообще говоря, хотя Херасковъ и принадлежить большею и значительнѣйшею частью своей литературной и служебной дѣятельности къ царствованію Екатерины, однако же по своему развитію, образованію и по-

нѣтіямъ онъ относится къ эпохѣ предшествующей, къ эпохѣ, произведшей Ломоносова и Сумарокова, какъ писателей, горячо слѣдовавшихъ ложно-классической теоріи. Съ Херасковымъ и отжилъ свой вѣкъ въ Россіи типъ литератора, слѣпо приверженнаго правиламъ литературной теоріи, придававшего большое значеніе внѣшней формѣ и построенію литературныхъ произведеній и „всегда имѣвшихъ на памяти и часто на устахъ“ науку о стихотворствѣ Буало. Херасковъ былъ послѣднимъ изъ писателей нашихъ, сочинявшихъ на основаніи правилъ, которыми ложно-классическая теорія стремилась замѣнить вдохновеніе и поэтический талантъ. Послѣ него едва-ли который-нибудь изъ нашихъ стихотворцевъ рѣшился бы повѣрить тому, что „не одни стихи, но наипаче изобрѣтеніе, естественность, украшенія, привлекаемость слога, убѣдительное нравоученіе и остроуміе стихотворца составляютъ“³⁾. Этотъ идеаль

¹⁾ Именно къ III-му изд. его, въ 1797 г.—²⁾ Содержаніе этой послѣдней поэмы начерпнуто изъ русскихъ сказокъ.—³⁾ См. предисловіе къ „Кады и Гармоніи“.

поэта отжилъ свой вѣкъ вмѣстѣ съ Херасковымъ и, благодаря болѣе живымъ дѣятельностямъ литературнымъ, одновременно съ нимъ и послѣ него трудившимся, смѣнился новыми, лучшими идеалами.

Подъ непосредственнымъ надзоромъ и покровительствомъ Хераскова, уже высоко стоявшаго во мнѣніи современниковъ, въ числѣ другихъ молодыхъ талантовъ, развивался и ростъ Богдановичъ (род. 1743, ум. 1803), съ именемъ котораго неразрывно соединялось для всѣхъ его современниковъ воспоминаніе о его поэмѣ „Душенька“ — первомъ легкомъ русскомъ эпическомъ произведеніи, которое, конечно, должно было пріятно поразить современнаго читателя своимъ простымъ, доступнымъ языкомъ и шутливою обработкою веселаго, игриваго сюжета.

Въ самый годъ смерти поэта, когда еще живо было впечатлѣніе его литературной дѣятельности, въ наиболѣе значительномъ изъ современныхъ журналовъ, въ „Вѣстникѣ Европы“, издаваемомъ Карамзинымъ, появился небольшой очеркъ его біографіи, въ связи съ критическимъ обзоромъ его сочиненій. Очеркъ этотъ, подписанный буквами Ц. Ф., принадлежитъ, вѣроятно, перу самого Карамзина и составленъ былъ на основаніи свѣдѣній о Богдановичѣ, доставленныхъ братомъ поэта. Этотъ очеркъ важенъ для насъ потому, что близко знакомитъ насъ съ понятіями, вкусами и воззрѣніями публики, восхищавшейся произведеніями Богдановича. Свѣдѣнія о Богдановичѣ, сообщаемыя этимъ очеркомъ, мы дополнимъ тѣми замѣтками и сообщеніями, которыя заключаются въ сохранившейся намъ весьма краткой, но во многихъ отношеніяхъ чрезвычайно любопытной автобіографической запискѣ Богдановича.

Ипполитъ Федоровичъ Богдановичъ родился „въ счастливомъ климатѣ Малороссіи“, въ мѣстечкѣ Переволочномъ, гдѣ отецъ его былъ при должности. По одиннадцатому году отвезли его въ Москву и опредѣлили юнкеромъ въ Юстицъ-Коллегію. Президентъ Коллегіи, замѣтивъ въ немъ особенную склонность къ наукамъ, дозволилъ ему учиться въ математической шко-

лѣ, бывшей тогда при сенатской конторѣ. „Но математика не могла быть наукою челоѣка, рожденнаго для поэзіи: числа и линіи не питаютъ воображенія... „Богдановичъ, зачитавшись Ломоносова и другихъ поэтовъ, увлекся театромъ, такъ какъ драматическое искусство сильно дѣйствуетъ на всякую нѣжную душу“, и рѣшился даже поступить на сцену. „Однажды является къ директору московскаго театра мальчишкѣ лѣтъ 15-ти, скромный, даже застѣнчивый, и говоритъ ему, что онъ дворянинъ и желаетъ быть актеромъ! Директоръ, разговари-



П. Богдановичъ.

Богдановичъ.

валъ съ нимъ, узнаетъ его охоту къ ученію и стихотворству; доказываетъ ему неприличность актерскаго званія для благороднаго челоѣка; записываетъ его въ Университетъ и беретъ жить къ себѣ въ домъ. Сей мальчишкѣ былъ Ипполитъ ¹⁾ Богдановичъ, а директоръ театра (что не менѣе достойно замѣчанія) Михайло Матвѣевичъ Херасковъ. И такъ, счастливая звѣзда привела молодого ученика музъ къ ихъ знаменитому любимцу, который, имѣя самъ великій талантъ, умѣлъ открывать его и въ другихъ“. Въ домѣ Хераскова и въ Университетѣ, учась правиламъ искусства и языку поэзіи подъ руководствомъ творца „Россіады“ и участвуя въ

¹⁾ Къ этому имени въ подлинникѣ прибавлено слѣдующее характеристическое примѣчаніе: „Питическое имя Ипполитъ пріятнѣе ушамъ безъ отчества“.

журналахъ, которые Херасковъ издавалъ, Богдановичъ провелъ все время до 1761 г., когда, покровительствуемый тѣмъ же Херасковымъ, получилъ мѣсто при Университетѣ. Въ домѣ Хераскова Богдановичъ успѣлъ завязать различныя знакомства и связи съ людьми знатными и высокопоставленными въ обществѣ и обратить на себя особенное вниманіе Е. Р. Дашковой, которая даже пожелала принять участіе въ журналѣ „Невинное Упражненіе“, издававшемся подъ редакцію Богдановича до 1763 г. ¹⁾ Книгиня Дашкова доставила Богдановичу мѣсто переводчика въ иностранной коллегіи, и способствовала этимъ его переселенію въ Петербургъ ²⁾.

Здѣсь-то, въ 1765 г., онъ, уже извѣстный публикѣ мелкими стихами своими и переводомъ Вольтеровой поэмы „На разрушеніе Лиссабана“ — издалъ первую маленькую поэму свою: Сугубое блаженство. „Онъ раздѣлилъ ее на три пѣсни: въ первой изображаетъ картину золотого вѣка; во второй — успѣхи гражданской жизни, наукъ и злоупотребленіе страстей; а въ третьей — спасительное дѣйствіе законовъ и церковной власти“. Биографъ Богдановича замѣчаетъ объ этой поэмѣ, что она не сдѣлала сильнаго впечатлѣнія на публику; „лавровый вѣнокъ“ — говоритъ онъ — „уже сплетался для автора, но еще невидимо“.

Въ 1766 году Богдановичъ, въ качествѣ секретаря нашего посольства при саксонскомъ дворѣ, отправился въ Дрезденъ и прожилъ тамъ два года. По возвращеніи оттуда, онъ почти исключительно посвятилъ досуги свои литературѣ: писалъ стихи, переводилъ, даже издавалъ журналъ (Петербургскій Вѣстникъ, въ теченіе полутора года) — „и наконецъ, въ 1775 году ³⁾, положилъ на алтарь Грацій свою

Душеньку“..... Онъ жилъ тогда на Васильевскомъ Островѣ, въ тихомъ, уединенномъ домикѣ, занимаясь музыкой и стихами, въ счастливой безпечности и свободѣ; имѣлъ пріятныя знакомства; любилъ иногда выѣзжать, но еще болѣе возвращаться домой, гдѣ Муза ожидала его съ новыми идеями и цвѣтами“.

Сюжетъ „Душеньки“ былъ заимствованъ Богдановичемъ изъ повѣсти Лафонтена „Любовь Психеи и Купидона“, содержаніе которой было, въ свою очередь, заимствовано французскимъ писателемъ у Апулея, латинскаго писателя, жившаго во II вѣкѣ по Р. Х. Апулей вставилъ разсказъ объ Амурѣ и Психеѣ въ видѣ эпизода въ одну изъ главъ своего обширнаго, философскаго романа: „Превращеніе или золотой оселъ“. Лафонтенъ сдѣлалъ изъ Апулея разсказа граціозную и легкую небольшую повѣсть, написанную прозой и стихами. Богдановичъ, заимствуя то же содержаніе у Лафонтена, и передавая его въ трехъ книгахъ вольными стихами, въ видѣ небольшой романтической поэмы, задался при этомъ желаніемъ передѣлать Лафонтенову повѣсть на русскіе нравы, сообразуясь съ модными въ екатерининское время направленіемъ нашей литературы. Изъ этого-то и произошли всѣ тѣ несообразности и весьма незначительныя отступленія отъ Лафонтенова изложенія, которыя тѣсно были связаны съ неестественнымъ перерожденіемъ отвѣченной, таинственной греческой „Психеи“ въ весьма положительную, хорошенькую русскую дѣвушку, у которой однакоже родителями оказываются греческіе царь и царица, живущіе „въ старинной Греціи, въ Юпитерово время“. Въ такой же степени незначительнымъ и страннымъ представляется то смѣшеніе русскихъ преданій съ греческою мифоло-

¹⁾ Журналъ этотъ издавался только полгода и въ іюнѣ прекратился; въ приложенномъ къ послѣднему № писемъ „отъ издателя къ обществу“ сказано было, что онъ прекращается „по многимъ неотвратимымъ препятствіямъ и, вопервыхъ, потому, что какъ издатели, такъ и тѣ, кои подписались брать нашъ журналъ, изъ Москвы разъѣхались“. — ²⁾ Въ автобіографической запискѣ Богдановича находимъ слѣдующую замѣтку: „По просьбѣ Е. Р. Дашковой опредѣленъ въ переводчики къ П. И. Панину... и употребленъ былъ къ соучаствованію въ издаваемомъ подъ ея покровительствомъ журналѣ, названномъ „Невинное упражненіе“. 1763 году Богдановичъ съ Панинымъ и въ Петербургъ отправился“. — ³⁾ Въ автобіографической запискѣ: „1775 г. декабря 23 дня принялъ въ академіи приватную должность, имѣть главное смотрыніе въ изданіи С.-Петербургскихъ Вѣдомостей. Сію должность отправлялъ по декабрь 1782 года“.

гією, которое всюду донускаетъ въ своей поэмѣ Богдановичъ, сопоставляя Амура, Венеру, весь классическій Олимпъ и весь Тартаръ — съ Змѣемъ-Горынычемъ и Кощеемъ русскихъ сказокъ. Но современники Богдановича этого не замѣчали, какъ видно по отзывамъ его біографа, и восхищались въ его „Душенькѣ“ именно этимъ отсутствіемъ въ ней всякаго характера, всякаго стиля, всякой ровности колорита. Слѣшеніе ложно-классическаго съ русскимъ, народнымъ, правилось современнымъ читателямъ, утомленнымъ скукою и однообразіемъ тяжелыхъ ложно-классическихъ произведений, написанныхъ по всѣмъ правиламъ строгой теоріи. „Благоразумный критикъ“ — такъ замѣчаетъ біографъ Богдановича — „не забудетъ, что Ипполитъ Богдановичъ первый на русскомъ языкѣ игралъ воображеніемъ въ легкихъ стихахъ: Ломоносовъ, Сумароковъ, Херасковъ могли быть для него образцами только въ другихъ родахъ“. Это замѣчаніе біографа совершенно справедливо и отчасти поясняетъ намъ замѣчательный успѣхъ Душеньки въ современномъ обществѣ; но тотъ же успѣхъ гораздо болѣе объясняется намъ вообще неразвитостью вкуса, чрезвычайною сбивчивостью понятій объ изящномъ и о поэзіи въ нашемъ обществѣ конца XVIII вѣка, когда старая ложно-классическая теорія очевидно начинала уже отживать свой вѣкъ, а новые, болѣе правильные взгляды еще не успѣли установиться. Эта сбивчивость понятій проявляется совершенно отчетливо и ясно въ томъ отзывѣ, который современная критика прилагаетъ къ „Душенькѣ“: „Лафонтеново твореніе полнѣе и совершеннѣе (поэмы Богдановича) въ эстетическомъ смыслѣ, а „Душенька“ во многихъ мѣстахъ пріятнѣе и живѣе, и вообще превосходитъ тѣмъ, что писана стихами, и плохоршіе стихи всегда лучше хорошей прозы: что труднѣе, то имѣетъ и болѣе цѣны въ искусствахъ. Надобно также замѣтить, что въкоторыя изображенія и предметы необходимо требуютъ стиховъ для большаго

удовольствія читателей, и что никакая гармоническая, цвѣтная проза не замѣнитъ ихъ. Все чудесное, явно несбыточное, принадлежитъ къ сему роду (слѣственно и басни Душеньки). Случай неестественные должны быть украшены всѣми хитростями искусства, чтобы занимать насъ повѣстію, въ которой нѣтъ и тѣни истины или вѣроятности. Стихотворство есть пріятная игра ума, и богатѣе обыкновеннаго языка разнообразными оборотами, измѣненіями тона, особливо въ вольныхъ стихахъ, какими писана „Душенька“, и которые — подобно английскому саду — болѣе всякаго правительнаго единства¹⁾ обнаруживаютъ умъ и вкусъ артиста“.

Успѣхъ „Душеньки“ способствовалъ успѣхамъ автора ея и въ обществѣ, и на службѣ. Екатерина прочитала невинную и шутиливую поэмку Богдановича съ тѣмъ же удовольствіемъ, съ какимъ читало ее все современное образованное русское общество и удостоила автора такимъ вниманіемъ, которое тотчасъ опредѣлило его положеніе въ высшемъ обществѣ. Знать и придворные стали искать знакомства съ авторомъ „Душеньки“; поэты прославляли его „въ Эпистолахъ, Одахъ, Мадригалахъ и Надписяхъ“. ...„Но многія блестящія знакомства отвлекли Богдановича отъ жертвенника Музъ въ самое цвѣтущее время таланта“ — иносказательно выражается о немъ современный біографъ — и вслѣдствіе этого „Богдановичъ еще писалъ, но мало, или съ небреженіемъ, какъ будто-бы нехотя, или въ дремотѣ Генія“. Другими словами, авторъ, для котораго литературная дѣятельность была по собственному его сознанию не болѣе, какъ „забавой въ праздные часы“²⁾, возвеличенный успѣхомъ своего произведенія, завлеченный въ обширное знакомство и счастливо поставленный на своемъ служебномъ поприщѣ, вскорѣ послѣ написанія „Душеньки“, почти оставилъ эту „забаву“ и возвращался къ ней только тогда, когда его къ тому побуждало желаніе угодить своей высокой покровительницѣ, въ осо-

1) Вѣстникъ Европы 1803, № 10. — 2) См. предисловіе, написанное Богдановичемъ къ „Душенькѣ“ и напечатанное въ „Собраніи сочиненій“, изд. Векетовымъ, въ 1809 г., въ Москвѣ.

бенности поощрявшей его писать для театра ¹⁾. Между 1775 и 1789 гг. имъ и дѣйствительно написано было нѣсколько пьесъ: въ томъ числѣ лирическая комедія „Радость Душеньки“ и драма „Славяне“, которую играли во время празднованія двадцатипятилѣтія со дня вступленія на престолъ Екатерины II. Едва ли слѣдуетъ здѣсь упоминать о томъ, что около того же времени Богдановичъ предпринялъ написать „Историческое изображеніе Россіи“, о которомъ даже и современники отзывались какъ „объ опытѣ легкомъ, несовершенномъ, но довольно пріятномъ“. Вообще, подъ конецъ царствованія Екатерины, Богдановичъ сдѣлался однимъ изъ ревностнѣйшихъ придворныхъ поэтовъ, посвятившихъ всецѣло досуги свои прославленію Екатерины, и, не довольствуясь своими хвалебными произведеніями въ честь ея, перевелъ также всѣ лучшіе стихи, написанные въ честь Екатерины, Вольтеровъ, Мармонтелевъ и проч. „Сія поэты умѣли хвалить Великую языкомъ благороднымъ—и Богдановичъ не унижалъ его“ Однимъ изъ болѣе замѣчательныхъ произведеній Богдановича въ теченіе этого періода, конечно, долженъ быть названъ его сборникъ Русскихъ пословицъ (въ 1785 г.), собранныхъ и переложенныхъ въ стихи, въ 3-хъ частяхъ, по желанію Екатерины, вообще любившей народныя поговорки. Пословицы въ сборникѣ Богдановича сглажены, смягчены и расположены по тѣмъ нравственнымъ вопросамъ, которые положены въ основу ихъ (напр. отдѣлъ I: нужная умѣренность въ жизни; отдѣлъ II: нужное терпѣніе въ жизни; отд. III: нужное примѣненіе къ дому и т. д. Или еще: отдѣлъ IV, стыдъ хвастовства, отдѣлъ VII, стыдъ самохвальства, отдѣлъ VIII — глупость спѣси и т. п.).

Одинъ изъ современниковъ посвятилъ въ своихъ воспоминаніяхъ нѣсколько словъ Богдановичу, стараясь охарактеризовать

его личность; приводимъ ихъ здѣсь цѣлкою: „Богдановича (видали) у Державина и въ другихъ петербургскихъ обществахъ. Онъ былъ чрезвычайно скромный и молчаливъ. Являлся на вечера, всегда опрятно и хорошо одѣтый, въ французскомъ кафтанѣ, щеголевато напудренный, съ кошелемъ, съ плоской тафтяной шляпой подмышкой. Говорилъ осторожно и разыгрывалъ дипломата. Предметомъ его разговора было всегда нѣсколько словъ о политическихъ новостяхъ, всѣмъ извѣстныхъ. Вообще, какъ человекъ, желавшій казаться свѣтскимъ, онъ не останавливался долго на одномъ предметѣ разговора, не вдавался въ разсужденія, не объявлялъ своего мнѣнія, ни на чемъ не настаивалъ, а скользилъ по предметамъ. Богдановичъ, кажется, не думалъ быть авторомъ: написалъ „Душеньку“ для собственной своей забавы и напечаталъ по убѣжденію пріятеля; на поприще писателя вызвалъ его успѣхъ „Душеньки“. Но послѣ ея ничто уже не далось ему“.

Всѣми уважаемый, какъ авторъ „Душеньки“, и многими любимый за свою скромность, простоту и безвредность, какъ человекъ, Богдановичъ спокойно окончилъ свою службу въ 1795 году. Въ послѣднее время службы (съ 1798 г.) онъ занималъ довольно видное мѣсто предсѣдателя новоучрежденнаго тогда С.-Петербургскаго Государственнаго Архива и вышелъ въ отставку, обезпеченный полнымъ окладомъ жалованья. „Наконецъ, 1795 году, онъ выѣхалъ изъ Петербурга. Тогдашнія бѣдствія Европы“—такъ поясняетъ его биографъ—„разительная картина непостоянства Фортуны въ отношеніи къ людямъ и государствамъ, самая свѣтская печальная опытность, могли въ добромъ и нѣжномъ сердцѣ его произвести склонность къ мирному уединенію. Пріятный климатъ любезныхъ воспоминаній дѣтства и самая вѣрнѣйшая связь въ мірѣ, дружбѣ родственная, влекли Богдановича къ счастливымъ

¹⁾ Въ автобіографической запискѣ находимъ слѣдующія любопытныя свѣдѣнія: „1786 года въ апрѣлѣ, по имянному Монаршему повелѣнію сочинилъ лирическую комедію „Радость Душеньки“, которая удостоена была Высочайшей апробаціи, и въ знакъ Монаршаго благоволенія при семъ случаѣ пожалована ему отъ Государыни табакерка; вскорѣ же потомъ пожалована за заплату долговъ деньги. По представленіи же комедіи на придворномъ театрѣ пожалована ея табакерка“... „1787 года по имянному Монаршему повелѣнію сочинилъ изъ русскихъ пословицъ два театральныя представленія“ и т. д.

странамъ Малороссіи. Онъ пріѣхалъ въ Сумы, съ намѣреніемъ вести тамъ жизнь свою въ кругу ближайшихъ родныхъ и наслаждаться ея тихимъ вечеромъ въ объятіяхъ природы, всегда любезной для чувствительнаго сердца, особливо для поэта". Но сердце Богдановича оказалось, сверхъ всякаго ожиданія, слишкомъ чувствительнымъ для его почтенныхъ лѣтъ: „мы должны“, говоритъ біографъ, „повторить извѣстіе не ясное, хотя и вѣрное... Богдановичу. подобно Руссо, пришлось „испытать на шестомъ десятилѣтіи всю силу романтической страсти“... „Не знаемъ обстоятельствъ... скажемъ только, что тихая, мирная жизнь Богдановича вдругъ сдѣлалась ему несносною. Онъ долженъ былъ разлучиться съ другомъ и братомъ“... Въ 1798 году онъ переселился въ Курскъ, и оттуда еще пріѣхавъ одою вступленіе на престолъ Александра I. Въ началѣ декабря 1802 года Богдановичъ занемогъ, а 6 января 1803 года „кончилъ жизнь, къ горести родныхъ друзей и всѣхъ любителей русской словесности“.

Къ многочисленному кружку литературныхъ дѣятелей екатерининскаго времени принадлежалъ и еще одинъ писатель, о которомъ большинство современниковъ вовсе не знало, который не пользовался при жизни своей и не желалъ пользоваться никакою литературною славой, считая и способности свои, и дѣятельность незаслуживающими никакого вниманія... Потомство однакоже оцѣнило и талантъ его, и произведенія совершенно вѣрно, и признало его однимъ изъ наиболѣе достойныхъ представителей нашей литературы XVIII вѣка. Писатель этотъ былъ одинъ изъ многихъ литературныхъ дѣятелей прошлаго столѣтія съ нѣмецкой фамиліей и чисто-русскимъ складомъ ума и направленіемъ дѣятельности.

Иванъ Ивановичъ Хемницеръ (род. 5 января 1745 г.) происходилъ дѣйствительно изъ нѣмецкой фамилии. Отецъ его, саксонскій уроженецъ, родомъ изъ Фрейберга. Іоганъ Адамъ Хемницеръ, неизвѣстно когда именно выѣхавшій въ Россію, занималъ въ началѣ 40-хъ годовъ прошлаго столѣтія должность военнаго штабъ-лекаря и проживалъ въ Астраханской губерніи. Тамъ-то, въ Енотаевской крѣпости (нынѣ уѣздный гор. Енотаевскъ), и родился у

Іогана Адама сынъ Иванъ, впоследствии извѣстный русскій баснописецъ. Малюткѣ Хемницеру пришлось раздѣлить съ родителями своими всѣ невзгоды тяжелой службы военнаго штабъ-лекаря и странствовать по степямъ, даже побывать въ Кизлярѣ, пока та же служебная дѣятельность не привела І. А. Хемницера въ Астрахань. Тамъ честный нѣмецъ воспользовался всѣми мѣстными средствами, чтобы доставить сыну возможность образованія себя. И онъ, и жена его сами обучали сына всему, что знали, а потомъ отдали его къ жившему въ Астрахани пастору лютеранской церкви,



Хемницеръ.

Нейбауэру, который тотчасъ обратилъ вниманіе на способности бойкаго мальчика. Въ 1755 г. отецъ Хемницера рѣшился оставить службу въ Астрахани и поселиться въ Петербургѣ. Здѣсь отецъ помѣстилъ его для обученія къ учителю латинскаго языка при врачебномъ училищѣ (впоследствии, въ 1783 году, переименованномъ въ медико-хирургическій институтъ), который занимался съ юнымъ Хемницеромъ не одною латинью, но и географіей, и исторіей. Здѣсь, вращаясь въ кругу товарищей, Хемницеръ получалъ влеченіе къ медицинскому поприщу, къ которому назначалъ его и отецъ „Но къ прискорбію старика“ — замѣчаетъ новѣйшій

біографъ Хемницера ¹⁾ — „случилось, что уже на 13-мъ году отъ роду, сынъ, послушавшись какихъ-то постороннихъ людей, вздумалъ искать счастья въ военной службѣ: онъ поступилъ въ солдаты пѣхотнаго Нотебургскаго полка“, причемъ показанъ былъ тремя годами старше своего настоящаго возраста. О пребываніи Хемницера въ военной службѣ теперь извѣстно только то, что пробылъ онъ въ ней 12 лѣтъ (отъ 1757 по 1769 г.), „былъ въ походахъ (во время Семилѣтней войны) въ Помераніи, Бранденбургѣ, Шлезіи и Саксоніи, а на баталіи не бывалъ“, состоялъ нѣкоторое время адъютантомъ при генералъ-майорѣ Остерманѣ, потомъ при князѣ А. М. Голицынѣ для „случающихся курьерскихъ посылокъ“, и наконецъ выпущенъ былъ въ отставку поручикомъ Копорскаго полка.

Онъ говаривалъ не даромъ, вспоминая о военной службѣ, что „попалъ вмѣсто анатомической залы на обширный хирургическій театръ“. Въ 1769 году, въ скромномъ чинѣ поручика, перешелъ онъ на службу по горному вѣдомству, куда и поступилъ гиттенфервальтеромъ. Такъ какъ для полученія этой должности необходима была хотя нѣкоторая подготовка специальная, и, сверхъ того, знакомство съ начальникомъ горной части, то новѣйшій біографъ и объясняетъ это поступленіе въ горное вѣдомство дружбою Хемницера съ извѣстнымъ уже намъ Н. А. Львовымъ, который былъ въ родствѣ съ М. Ѳ. Соймоновымъ, тогдашнимъ начальникомъ горнаго вѣдомства, и вѣроятно доставилъ это мѣсто своему другу. Дни приходилось ему проводить на службѣ, а ночи просиживалъ онъ за книгами. Собственная охота и вѣроятно, отчасти, вліяніе его друга, Львова, побудили его къ серьезнымъ занятіямъ литературой и къ всестороннему изученію русскаго языка, надъ трудностями котораго ему удалось восторжествовать на столько, что онъ, съ юности говорившій дома по-нѣмецки и до зрѣлаго возраста еще писавшій нѣмецкіе стихи, занялъ одно изъ почетныхъ мѣстъ въ кругу русскихъ писателей екатерининскаго времени. Въ этомъ отношеніи вліяніе

Львова отрицать невозможно, потому что слѣды его вліянія видимъ не на одной только литературной дѣятельности Хемницера, но и на цѣломъ кружкѣ наиболѣе видныхъ и талантливыхъ литераторовъ его современниковъ. „Львовъ“ — по справедливому замѣчанію академика Грота — „хотя и не приобрѣлъ большой извѣстности, какъ писатель, однакожъ игралъ значительную роль въ тогдашней литературѣ, не только по своему положенію въ свѣтѣ, которое давало ему возможность поддерживать своихъ друзей-писателей, но и по вліянію на эстетическую сторону ихъ трудовъ... Пламенный любитель всѣхъ отраслей искусства и знатокъ во многихъ изъ нихъ, — поэтъ, живописецъ, архитекторъ, механикъ, а отчасти и музыкантъ — Львовъ, въ то же время, писалъ стихи, издавалъ лѣтописи и пѣсни, и принадлежалъ къ кругу лучшихъ литераторовъ того времени. Сблизившись съ Капнистомъ, онъ черезъ него, вѣроятно, сошелся и съ Державинымъ, а чрезъ Державина съ его сослуживцами по Сенату, Храповицкимъ и А. С. Хвостовымъ (сатирикѣ). Въ этомъ даровитомъ кругу Львовъ былъ опять общимъ совѣтникомъ; друзья-писатели показывали ему свои новыя произведенія и прислушивались къ тонкимъ замѣчаніямъ русскаго Шапелля, какъ его тогда называли. Онъ выражалъ весьма своеобразныя для того времени литературныя взгляды, указывая на недостатки у Ломоносова, выше всего ставилъ простоту и естественность, понималъ уже цѣну народнаго языка и сказочныхъ преданій для поэзіи. Такое расположеніе должно было установить особенную симпатію между нимъ и Хемницеромъ“ ²⁾. Г. Гротъ предполагаетъ, что знакомство между Хемницеромъ и Львовымъ началось вѣроятно вскорѣ послѣ 1770 года, когда напечатано было первое извѣстное стихотвореніе Хемницера, весьма плохая ода на взятіе турецкой крѣпости Журжп. Около 1774 г. напечаталъ онъ стихотворный переводъ геронды Дора „Письмо Баривеля къ Труману изъ темницы“, и этотъ переводъ, составляющій въ настоящее время величайшую бібліографическую рѣд-

¹⁾ Академикъ Я. К. Гротъ. См. его статью: „Біограф. извѣстія объ И. И. Хемницерѣ по новымъ рукоп. источникамъ“, прилож. къ академ. издан. сочиненій и писемъ Хемницера. С.-Петербургъ. 1873 г. — ²⁾ См. тамъ же. ст. 11—12.

кость, посвятилъ „своему любезному другу Львову“. Около того же времени мы видимъ его неутомимо занятымъ обширными работами по ученому собранію при Горномъ Училищѣ, въ которомъ онъ состоялъ членомъ; онъ переводитъ ученые труды нашихъ академиковъ по минералогіи, трудится надъ составленіемъ горнаго словаря и доказываетъ существенную потребность въ переложеніи иностранныхъ научныхъ терминовъ на русскій языкъ, „хотя-бы новыя наименованія сначала и принимались неохотно“. Его способности и служебное рвеніе обращаютъ на него вниманіе ближайшаго начальства, и это еще болѣе побуждаетъ его трудиться... Бѣдному труженику немного остается свободнаго времени, и это свободное время онъ посвящаетъ преимущественно своему любимому писателю Лафонтену; ему-то старался онъ подражать, пытаясь создать первые опыты русской басни, которые-бы по явкѣ и складу не напоминали „грубые притчи Сумарокова.“

Вѣроятно побѣдка за границу (въ концѣ 1776 года) съ покровительствовавшимъ Хемницеру директоромъ Горнаго Училища, М. Ѳ. Соймоновымъ, способствовала ознакомленію Хемницера съ нѣмецкими образцами басни и заставила его на столько же полюбить Геллерта, на сколько онъ до того времени любилъ Лафонтена. „Путешествіе перемѣнило образъ жизни Хемницера“—замѣчаетъ одинъ изъ биографовъ—„онъ началъ съ того времени заниматься своею одеждою: пудрился, носилъ платье, соответствовавшее тогдашней модѣ; проводилъ утра на службѣ, вечера въ обществахъ“. Черезъ Капниста и Львова познакомился и сошелся Хемницеръ съ Державиннымъ, который, уважая его умъ и образованіе, и не надѣясь на свой изящный вкусъ, часто отдавалъ ему на судъ свои произведенія, даже отзывался о немъ, какъ о человѣкѣ, который „указалъ ему въ сочиненіяхъ особый путь“. Однакоже и этому близкому кружку пріятелей не легко было заставить Хемницера выступить на литературное поприще. Послѣ долгихъ отговорокъ и съ положительнымъ опасеніемъ навлечь на себя неудовольствіе многихъ недруговъ, Хемницеръ наконецъ рѣшился въ 1779 г., по уговору друзей своихъ, напечатать въ первый разъ свои басни и сказки, не выставляя

на собраніи ихъ своего имени и взявъ съ друзей честное слово, что они не выдадутъ его тайны. Вскорѣ послѣ того, въ началѣ 1781 года, Хемницеръ покинулъ службу при Горномъ корпусѣ, такъ какъ Соймоновъ, покровительствовавшій ему, вышелъ, подѣл предлогомъ болѣзни, въ отставку, а Хемницеру не хотѣлось продолжать службу при новомъ начальникѣ и привыкать къ новымъ порядкамъ. Бѣдность, не выпускавшая его и во время пребыванія на службѣ изъ своихъ ежовыхъ рукавицъ, стала сильно одолевать его... Пріятели его однакоже не оставили, и, при помощи того же Н. А. Львова, Хемницеру удалось получить весьма почётное мѣсто генеральнаго консула въ Смирнѣ. Ему пришлось разстаться со всѣми дорогими и милыми ему людьми, занятіями и воспоминаніями. Въ началѣ іюня 1782 г. Хемницеръ выѣхалъ изъ Петербурга и направился черезъ Москву въ Херсонъ, а оттуда моремъ на яхтѣ въ Константинополь и Смирну. Недавно отысканная переписка его со Львовымъ, а отчасти также и собственная записная книжка его, сохранившаяся отъ времени его пребыванія въ Смирнѣ, служатъ драгоценнымъ матеріаломъ для характеристики Хемницера, какъ человѣка и какъ общественнаго дѣятеля. 20-го сентября 1782 года Хемницеръ прибылъ въ Смирну. По тогдашнему блестящему положенію нашему на Востокъ, возвеличенному недавними, громкими побѣдами, такое прибытіе въ Смирну русскаго консула было цѣлымъ событіемъ. Когда Хемницеръ въ первый разъ съѣхалъ съ яхты на берегъ, вся набережная была покрыта народомъ, собравшимся смотрѣть его. „Согрѣшилъ я тутъ“—пишетъ Хемницеръ въ одномъ изъ своихъ писемъ,—„что вспомнилъ о своихъ собственныхъ стихахъ:

„По улицамъ смотрѣть зеленого осла
Кипитъ народу безъ числа“...

Не смотря однакоже на такой скромный и нѣсколько саркастическій взглядъ на себя самого, тѣсно-связанный съ природною смѣшливостью Хемницера, не смотря и на то, что онъ не на шутку пугался своего важнаго дипломатическаго значенія въ такомъ равноплеменномъ и важномъ пунктѣ, какъ Смирна, Хемницеръ сумѣлъ прекрасно выдержать свою роль и, въ пол-

номъ смыслѣ слова, честно и грозно поддержать значеніе русскаго имени и русскаго дипломатическаго авторитета на Востокахъ. Не даромъ, въ одномъ изъ писемъ своихъ, изъ Смирны, пишетъ онъ между прочимъ: „здѣсь-то прямо видѣть можно, что мы есть, видя зависть, кипящую безпрестанно въ толпѣ иноплеменныхъ“. Разлука съ родиной, рѣзкая перемена климата, а также и весьма тяжелые, непосильные труды по должности консула, вѣроятно, много способствовали разстройству его здоровья и быстрому упадку силъ; уже въ ноябрѣ 1783 г. онъ начинаетъ жаловаться друзьямъ на тягость своего одинокаго положенія на чужбинѣ, среди людей, враждебно настроенныхъ, готовыхъ на всякія ухищренія и обманы. Невыносимою тоскою по друзьямъ и родинѣ проникнуты строки послѣдняго письма его изъ Смирны, отъ 29 февраля 1784 г. Сообщительный, искренній и нѣжный Хемницеръ, который говорилъ о себѣ, что „онъ податься на знакомство никакъ не можетъ, если поводовъ къ заключенію дружбы не предвидитъ“ — видимо угасалъ и терялъ на чужбинѣ послѣдній остатокъ силъ физическихъ и нравственныхъ. 20-го марта 1784 г. онъ скончался на 40-мъ году жизни. Тѣло его, по нѣкоторымъ извѣстіямъ, перевезено было въ Россію и погребено въ Николаевѣ. На его надгробномъ камнѣ, какъ гласитъ преданіе, вырѣзана была имъ самимъ сочиненная и вполнѣ справедливая по отношенію къ его жизни эпитафія:

„Жилъ честно, цѣлый вѣкъ трудился,
И умеръ голъ, какъ голъ родился“.

Не вдаваясь въ анекдотическую часть біографіи Хемницера, мы должны замѣтить, что немногіе дошедшіе до насъ и недавно напечатанные документы рисуютъ намъ Хемницера замѣчательно простымъ, добрымъ и чрезвычайно прямымъ человекомъ; здравымъ умомъ и самымъ неподдѣльнымъ, самымъ естественнымъ добродушіемъ дышать всѣ дошедшія до насъ письма его. Прекрасная характеристика Хемницера, какъ человѣка, заключается въ одномъ изъ писемъ Державина къ Булгакову, нашему посланнику при константинопольскомъ дворѣ: „Иванъ Ивановичъ Хемницеръ, одинъ изъ моихъ друзей, ѣдетъ къ вамъ“ — такъ

пишетъ Державинъ къ Булгакову, рекомендуя ему новаго консула, отправлявшагося въ Смирну черезъ Константинополь; — „хотя своими добродѣтелями и любовнымъ поведеніемъ онъ неотмѣнно приобрѣтетъ благоволеніе и пріязнь вашу, но на первый однако случай, предваряя о его свойствахъ, скажу вамъ: „се истинный Израилъ, въ немъ же лъсти нѣтъ!“

Безпристрастно судя о басняхъ Хемницера по отношенію къ тому времени, въ теченіе котораго онъ были написаны, и принимая въ соображеніе то, что первое изданіе ихъ вышло въ свѣтъ, когда у насъ не было въ литературѣ ни одного, даже и сноснаго образца басни, — мы должны будемъ, конечно, дать Хемницеру весьма видное мѣсто въ кругу нашихъ писателей прошлаго вѣка. Мы, кажется, не ошибемся, если скажемъ, что и по внутреннему содержанію своихъ произведеній, и по относительному достоинству внѣшней обработки ихъ и по самостоятельности своего литературнаго таланта, Хемницеръ можетъ быть поставленъ, въ до-карамзинскій періодъ, на одну степень съ лучшими и наиболѣе самостоятельными нашими писателями. И по отношенію къ потомству, Хемницеръ занимаетъ тоже, по нашему мнѣнію, весьма опредѣленное положеніе, такъ какъ литературная дѣятельность Хемницера, какъ баснописца, значительно облегчила и Дмитріеву, и даже Крылову обработку этого новаго поэтическаго рода на русской литературной почвѣ. Достаточнымъ доказательствомъ въ пользу несомнѣнныхъ литературныхъ достоинствъ Хемницера служить и самая живучесть нѣкоторыхъ его произведеній: — „Метафизикъ“ Хемницера до настоящей минуты остается одною изъ любимыхъ басенъ для большинства образованныхъ русскихъ читателей.

Ближайшимъ пріятелемъ Хемницера и Львова, а также и однимъ изъ наиболѣе замѣтныхъ представителей державинскаго литературнаго кружка является его другъ и родственникъ (по женѣ) Василій Васильевичъ Капнистъ (род. 1757 г., ум. 1824). Происхожденіе Капниста и самая исторія рода Капнистовъ весьма замѣчательны. Подобно весьма многимъ нашимъ литературнымъ дѣятелямъ прошлаго столѣ-

тія, В. В. Капнисть происходилъ отъ иностраннаго и знатнаго рода. Предками его были итальянскіе графы Капнисси, изъ которыхъ одинъ, графъ Стомателло Капнисси, былъ даже возведенъ въ началѣ прошлаго вѣка венеціанскимъ правительствомъ въ высокое званіе кавалера ордена Св. Марка. Его внукъ, графъ Петръ Христоворовичъ, выѣхалъ въ Россію изъ Занта, съ малолѣтнимъ сыномъ своимъ Васи́ліемъ (отцомъ поэта), въ царствованіе Петра Великаго (1711 г.). Васи́лій Петровичъ, выросши въ Россіи, скоро обрусѣлъ и даже фамилію свою переначилъ на русскій ладъ, начавъ писать ее уже не Капнисси, а просто Капнисть. Жизнь его представляетъ собою рядъ самыхъ разнообразныхъ приключеній и громкихъ военныхъ подвиговъ. Онъ съ-молоду почувствовалъ влеченіе къ военной службѣ, весь свой вѣкъ не сходилъ съ коня, воюя то противъ Крымцевъ, Нагайцевъ и Калмыковъ, то противъ Турокъ... За ратные подвиги былъ онъ пожалованъ Императрицею Елисаветою Петровною (1743 г.) многими деревнями въ Миргородскомъ уѣздѣ Полтавской губерніи—и вдругъ потомъ, по ложному доносу своихъ недруговъ, обвиненъ въ измѣнѣ и посаженъ въ тюрьму. Но, твердый и неустрашимый на полѣ битвы, В. П. Капнисть не поддался и здѣсь малодушію, доказалъ свою невинность, былъ освобожденъ отъ суда и слѣдствія, оправданъ, награжденъ чиномъ бригадира, а шесть лѣтъ спустя убить въ Эгерсдорфскомъ сраженіи.

Отъ брака В. П. Капниста съ Софьею Андреевною Дуниной-Бурковскою, принадлежавшей къ одному изъ богатѣйшихъ и знатнѣйшихъ малороссійскихъ родовъ, родился Васи́лій Васи́льевичъ Капнисть. Родиною его была Обуховка, одно изъ жалованныхъ его отцу полтавскихъ помѣстій, впослѣдствіи прославленное и воспѣтое имъ въ стихахъ. Къ сожалѣнію, ни о дѣтствѣ его, ни о первоначальномъ воспитаніи мы не знаемъ положительно ничего, и намъ приходится вѣрить на слово его биографу, который говоритъ, что Капнисть былъ обязанъ „своимъ отличнымъ образованіемъ себѣ и своему уму“. На пятинадцатомъ году мы уже видимъ его капраломъ въ Измайловскомъ полку, потомъ сержантомъ въ Преображенскомъ, а черезъ три года—офицеромъ того же самаго полка. Дол-

жно предполагать, что именно въ теченіе этихъ трехъ лѣтъ пребыванія въ Петербургѣ молодой Капнисть много работалъ и трудился надъ своимъ образованіемъ, потому что около этого времени, вступая въ короткія дружественныя связи съ Хемницеромъ, Державинымъ, Богдановичемъ и Львовымъ, Капнисть уже выдѣлялся въ ихъ кружкѣ своимъ знаніемъ новѣйшихъ языковъ и близкимъ знакомствомъ не только съ новѣйшими, но и съ древними классиками. Въ 1777 г. онъ приобретаетъ даже нѣкоторую литературную извѣстность своей удачной сатирой „На иравы“, въ которой довольно ловко перефразируетъ извѣстное народное присловіе: „дураковъ не сбють, не жнутъ,—сами родятся“.



Капнисть.

Науки возрасли, искусства цвѣтутъ.
Родятся авторы, — а глупость тутъ-какъ-тутъ!
Какъ въ нивѣ многими удобренной трудами,
Проникнувъ плевелы, промежду колосами,
Неспѣлый повреда, глушатъ созрѣлый плодъ,
Такъ вольный въ свѣтъ себѣ глупцы позволя входить,
Не бывъ посѣяны, растутъ и созрѣвають,
Даютъ худой примѣръ, и знанье затмѣвають.

Вскорѣ послѣ того, Капнисть покинулъ военную службу и, женившись, переселился на югъ, гдѣ сначала служилъ по выборамъ въ Кіевской и Полтавской губерніи, а по-

томъ и окончательно поселился въ своей „любезной Обуховъ“.

Литературная дѣятельность Капниста, весьма немногосложная, выражалась долгое время одними лирическими произведеніями, преимущественно одами, торжественными и громкими, изъ которыхъ особенное вниманіе современниковъ было привлечено одою „На рабство“ (1783) и соотвѣтствующею ей одою „На истребленіе въ Россіи званія раба Императрицею Екатериною II (15 февраля 1786 г.)“. За этими двумя слѣдовалъ цѣлый рядъ другихъ, привѣтствовавшихъ побѣды русскаго оружія въ Турціи и въ Италіи. Этимъ одамъ Капнистъ былъ, главнымъ образомъ, обязанъ своею извѣстностью, которая, при его вполнѣ обеспеченномъ и независимомъ состояніи, при большихъ свѣтскихъ и литературныхъ связяхъ, быстро доставила ему видное мѣсто между нашими литературными дѣятелями конца прошлаго столѣтія. Но гораздо болѣе торжественныхъ одъ важны и достойны вниманія элегии Капниста и мелкія лирическія пьесы, изъ которыхъ многія дѣйствительно легки и граціозны, а его извѣстный переводъ „Памятника“ Горациева не уступить въ достоинствахъ ни Державинскому, ни даже Пушкинскому переводу, и притомъ, ближе ихъ обопѣ передаетъ подлинникъ.

Важнѣйшимъ произведеніемъ Капниста были не оды, не элегии и не мелкая лирика, а его комедія „Ябеда“, написанная, вѣроятно, въ концѣ царствованія Екатерины, а появившаяся въ печать уже въ царствованіе Павла, въ 1798 г. Должно предполагать, что авторъ долгое время не рѣшался печатать произведенія, заключавшаго въ себѣ рѣзкое осужденіе нашихъ провинціальныхъ судебныхъ нравовъ и той невообразимой процедуры врычкотворства и взытокъ, которую должно было проходить каждое дѣло. Типы, выведенные на сцену Капнистомъ въ „Ябеду“, — въ особенности типъ сутяги П р а в о л о в а, типъ предсѣдателя и членовъ суда — подмѣнены авторомъ очень вѣрно, и едва ли не были портретами, заимствованными изъ той провинціальной дѣйствительности, среди которой Капнистъ могъ жить какъ совершенно независимый и спокойный, сторонній наблюдатель. Однакоже опасенія за участь пьесы были вѣроятно довольно сильны, и Капнистъ былъ порядочно напуганъ

литературными преслѣдованіями послѣднихъ лѣтъ царствованія Екатерины, потому что рѣшился издать въ свѣтъ Я б е д у не иначе, какъ посвятить свою комедію Императору Павлу. Въ этомъ стихотворномъ посвященіи комедіи Императору Капнистъ старается выставить передъ нимъ всю безвредность своей сатиры, испрашивая его покровительства своему произведенію, которое, какъ онъ справедливо предполагалъ, должно было нажить ему много враговъ въ то „доброе, старое время“. Въ этомъ посвященіи Капнистъ говоритъ между прочимъ:

«Прости, Монархъ! что я, усердіемъ горя,
Мой трудъ, какъ каплю водъ, въ глубоки льды моря.
Ты знаешь разныя людей строптивыхъ нравы:
Инымъ не страшна казнь, а злой боится славы.
Я кистью Талии порокъ изобразилъ;
Мздоимства, ябеды всю гнусность обнажилъ,
И отдаю теперь на посмѣянье свѣта.
Не истительна отъ нихъ боясь я навѣта:
Подъ Павловымъ щитомъ почю невредимъ»...

Но даже и эта предусмотрительность осторожнаго Капниста не помогла ему. Комедія надѣлала много шума, возбудила толки, и, если вѣрить одному современному свидѣтельству, едва не подвергла автора весьма серьезной отвѣтственности. „Чиновный людъ“ — такъ сообщается въ этомъ свидѣтельствѣ, — „просто разрывался отъ досады на Капниста за его Ябеду. Составленъ былъ докладъ о комедіи Императору. Представлено, что Капнистъ далъ ужасный поводъ къ соблазну, что его наглость преувеличила дѣйствительность; найдено въ комедіи даже явное попрепаніе монаршей власти въ ея ближайшихъ органахъ... Все это завершалось униженнымъ челобитіемъ об охранѣ власти, запрещеніи пьесы и о прижрномъ для будущаго времени наказаніи злостнаго, неотчизнолюбиваго автора. Императоръ Павелъ, довѣрившись донесенію, приказалъ будто-бы немедленно отправить Капниста въ Сибирь. Это было утромъ. Приказъ былъ немедленно исполненъ. Послѣ обѣда гнѣвъ Императора остылъ, онъ задумался и усомнился въ справедливости своего приказанія. Не повѣря, однакоже, никому своего плана, онъ велѣлъ въ тотъ же вечеръ представить Ябеду въ своемъ присутствіи на Эрмитажномъ театрѣ. Государь явился въ театръ только съ вел. кн. Александромъ.

Больше никого не было въ театрѣ. Послѣ перваго же акта, Императоръ, безпрестанно аплодировавшій пьесѣ, послалъ перваго попавшагося ему фельдгегера, чтобы тотчасъ же возвратить Капниста; пожаловалъ возвращенному писателю чинъ статскаго совѣтника, щедро наградивъ его и до самой кончины удостоивалъ своихъ милостей¹⁾.

Гораздо забавнѣе другой анекдотъ, рассказываемый Бантышъ-Каменскимъ, по поводу той же комедіи Капниста, и свидѣтельствующій также о ея популярности, которой много способствовала вѣрно набросанная авторомъ картина нашихъ провинціальныхъ судебныхъ нравовъ. „Мнѣ случилось въ молодыхъ лѣтахъ“ — говоритъ Б.-Каменскій²⁾ — „быть свидѣтелемъ, какъ въ одномъ губернскомъ городѣ, во время представленія Ябеды, когда Хватайко зацѣлъ:

„Бери, большой тутъ нѣтъ науки;

Бери, что только можно взять,

На что-жъ призвѣшены намъ руки,

Какъ не на то, чтобъ брать, брать, брать?!“

Зрители начали рукоплескать, и многие изъ нихъ, обратясь къ чиновнику, занимавшему мѣсто, соотвѣтствовавшее мѣсту Хватайки, произнесли въ одинъ голосъ, называя его: „Это вы! это вы!“...

Послѣ „Ябеды“ Капнистъ пытался и еще писать для сцены, но въ такой степени неудачно, что самъ поспѣшилъ осмѣять въ эпиграммахъ плохія сценическія произве-

денія своего пера. „Ябедой“, которая даже послѣ комедіи Фонъ-Визина могла занять на нашей сценѣ весьма почетное мѣсто и удержалась на ней очень долго — Капнистъ почти закончилъ свою литературную дѣятельность. Постоянно пребывая въ деревнѣ, спокойный и довольный, онъ тихо доживалъ свою жизнь, лишь изрѣдка напоминая о себѣ стихотвореніями, появлявшимися въ современныхъ журналахъ. Однимъ изъ наиболѣе замѣчательныхъ между ними было чисто-гораціанское описаніе Обуховки, — того мирнаго уголка, который онъ такъ любилъ, въ которомъ родился и потомъ навѣки успокоился. На склонѣ лѣтъ Капнистъ, какъ кажется, охотнѣе занимался наукою, въ особенности изученіемъ классической древности, нежели поэзіей. Такъ онъ принималъ горячее участіе въ спорѣ съ Уваровымъ о гекзаметрахъ, писалъ разсужденія „о гипербореянахъ и о коренномъ руссiйскомъ стихосложеніи“, „о возстановленіи первыхъ шести пѣсней Одиссея въ первобытный ихъ порядокъ“, и наконецъ, осенью 1819 года, посѣтивъ Крымъ, отправилъ къ министру нар. просв. кн. А. Н. Голицыну письмо „о необходимости сбереженія и предохраненія древностей Тавриды отъ дальнѣйшаго разрушенія и конечнаго истребленія“. Письмо это имѣетъ несомнѣнную историческую важность, какъ первое указаніе, побудившее правительство обратить должное вниманіе на Тавриду и отправить туда ученыхъ для изысканій, путемъ которыхъ впоследствии были пріобрѣтены для науки такіа неопѣненные сокровища.

Василий Капнистъ

Подпись Капниста.

¹⁾ Библиографич. Записки, т. II, стр. 47—48. — ²⁾ Слов. достоп. людей, часть 2, изд. 1847.

IX.

Первые русскіе журналы. — Сатирическіе журналы екатерининскаго времени. — Н. Н. Новиковъ; его литературная и общественная дѣятельность.

Появленіе первыхъ русскихъ повременныхъ изданій въ концѣ царствованія Елизаветы представляется намъ важнымъ признакомъ, свидѣтельствующимъ о возрастаніи значенія литературы въ нашемъ обществѣ. Не говоря уже о „Ежемѣсячныхъ сочиненіяхъ, къ пользѣ и увеселенію служащихъ“, которыя издавались при Академіи Наукъ Миллеромъ, съ 1755 года, и замѣнили собой литературныя Примѣчанія къ Петербургскимъ Вѣдомостямъ, издаваемыя имъ же съ 1728 года, гораздо болѣе значенія придаемъ мы „Трудолюбивой Пчелѣ“ Сумарокова, появившейся въ 1759 году и существовавшей только одинъ годъ. Это былъ уже довольно замѣчательный по тому времени опытъ повременнаго изданія, въ которомъ помѣщались передовыя оригинальныя статьи по разнымъ общественнымъ вопросамъ. Въ статьяхъ высказывалось даже замѣтное желаніе обратить общее вниманіе и на вопросы живые, современные, заставить задуматься надъ тѣмъ, которымъ общественными язвами: взяточничествомъ подъячихъ, преобладаніемъ иноземнаго элемента въ высшихъ слояхъ общества и т. п. „Трудолюбивая Пчела“ для насъ немаловажна и потому, что первый русскій литераторъ являлся у насъ и первымъ русскимъ журналистомъ, въ настоящемъ смыслѣ этого слова, первымъ выразителемъ того поворота, который совершался въ его время въ нравахъ и воззрѣніяхъ общества и нашелъ себѣ полное выраженіе въ дѣятеляхъ екатерининскаго времени. Плодотворность и своевременность

попытки Сумарокова болѣе всего выражается въ томъ, что по слѣдамъ Сумарокова пошли многіе. Тотчасъ по прекращеніи „Трудолюбивой Пчелы“ въ Петербургѣ и въ Москвѣ явилось нѣсколько журналовъ, которыя издавались частными лицами и учеными кружками по образцу сумароковскаго журнала. Въ 1760 году, при Шляхетномъ Сухопутномъ Корпусѣ, издавался „еженедѣльникъ“ „Праздное время въ пользу употребленное“, въ которомъ Сумароковъ принималъ дѣятельное участіе; въ то же самое время въ Москвѣ, при Университетѣ, является „Полезное Увеселеніе“ (издававшееся до 1762 г.) и, послѣ этого изданія, другое — „Свободные Часы“, которое служило какъ бы продолженіемъ „Полезному Увеселенію“ и замѣтно придерживалось сатирическаго направленія. Тамъ же, и около того же времени, видны ежемѣсячныя журналы: „Невинное упражненіе“ и „Доброе намѣреніе“ (1763 и 1764) и наконецъ даже ученый литературный журналъ Рейхеля¹⁾ подъ названіемъ „Собранія лучшихъ сочиненій къ распространенію знанія и къ произведенію удовольствія“. Это быстрое возрастаніе журнальной дѣятельности, послѣдовавшее за первой попыткой, сдѣланной Сумароковымъ, свидѣлствуетъ о быстромъ возрастаніи потребности въ чтеніи, которая значительно способствовала, въ свою очередь, размноженію у насъ людей, исключительно посвящавшихъ себя литературѣ. Около каждаго издателя журнала собирався свой маленький кружокъ литературныхъ дѣятелей.

¹⁾ Иоганнъ Готфридъ Рейхель, экстраординарный профессоръ Московскаго университета по кафедрѣ исторіи. Журналъ свой издавалъ онъ въ 1762 году.

Постоянно нуждаясь въ литературномъ матеріалѣ¹⁾, журналы съ величайшею готовностью открывали страницы свои каждому желающему печатать свои произведенія, и этимъ въ значительной степени способствовали совершенствованію нашего литературнаго языка и слога. Мы видимъ, что уже около Миллера, какъ редактора „Ежемесячныхъ сочиненій“, собирается небольшой кружокъ сотрудниковъ, наполняющихъ журналы его своими статьями. Кромѣ академиковъ, въ журналѣ Миллера принимали участіе и „нѣкоторые господа вѣтъ Академіи“, въ числѣ ихъ виднѣтъ бригадира Сумарокова и майора Елагина (Ивана Перфильевича), и титулярнаго совѣтника Хераскова, и Нартова (Андрея), и даже сухопутнаго кадетскаго корпуса капрала Порошина²⁾—большую часть людей, пользовавшихся въ послѣдствіи громкою литературною извѣстностью. „Для чести Академіи и для побужденія оныхъ господъ къ сотрудниченію“ этимъ первымъ журнальнымъ сотрудникамъ дано было даже, по ходатайству Миллера, право на полученіе дароваго экземпляра журнала „въ хорошемъ переплетѣ“. Въ журналѣ Сумарокова встрѣчаемъ новыя имена сотрудниковъ — Козицкаго и Мотониса, изъ которыхъ первый въ послѣдствіи становится во главѣ весьма замѣчательнаго журнала подъ названіемъ „Всякая Всячина“,—роdonачальника всѣхъ нашихъ сатирическихъ журналовъ екатерининскаго времени. Въ то же время въ московскихъ журналахъ начала шестидесятихъ годовъ встрѣчаемъ имена почти всѣхъ, въ послѣдствіи прославленныхъ литературныхъ дѣателей—студентовъ Дениса и Павла Фонъ-Визинныхъ, Василя Рубана и Василя Петрова, а также и Василя Майкова, и Богдановича, начавшихъ свое литературное поприще съ сотрудничества въ журналѣ и помѣщавшихъ первые опыты свои рядомъ съ произведеніями уже прославленныхъ авторовъ—Сумарокова, Хераскова и Елагина.

Но только съ появленіемъ въ свѣтъ „Вся-

кой Всячины“, въ которой такое важное участіе принимала сама Екатерина, начинается у насъ—и притомъ именно въ Петербургѣ, а не въ Москвѣ—сильное журнальное движеніе съ весьма опредѣленнымъ сатирическимъ направленіемъ. Едва-ли нужно пояснять здѣсь, почему именно такое направленіе принято было нашей журнальной литературой во второй половинѣ прошлаго столѣтія? Не говоря уже о томъ, что въ самой природѣ русскаго человѣка лежитъ весьма замѣтная наклонность къ сатиру и къ рѣзкому осмѣянію личныхъ своихъ недостатковъ, особыя условія исторической жизни прошлаго вѣка способствовали въ значительной степени внесенію сатирическаго направленія въ литературу. Сатира явилась въ литературѣ XVIII вѣка не только какъ естественный продуктъ борьбы двухъ поколѣній, двухъ различныхъ воззрѣній — стараго и новаго: она являлась и орудіемъ реформъ, административнымъ путемъ вносимыхъ въ Россію. Выше видѣли мы, что Петръ Великій не пренебрегалъ этимъ орудіемъ и умѣлъ имъ пользоваться при удобномъ случаѣ; мы видѣли, что періодъ преобразованій былъ и вообще богатъ сатирическими произведеніями, принадлежавшими перу наиболѣе образованныхъ и наиболѣе талантливыхъ представителей нашей литературы этого времени. Вотъ почему 40 лѣтъ спустя послѣ смерти Петра Великаго, когда тѣмъ же орудіемъ сатиры рѣшилась для своихъ цѣлей воспользоваться Екатерина II, ея попытка возбудила въ лучшей части нашего общества настолько сильное сочувственное движеніе, что сама Екатерина нашла себя вынужденною ограничить это движеніе и ослабить значеніе журнальной сатиры. Въ этомъ живомъ и замѣчательно-распространенномъ движеніи сказалась уже сила разумнаго, сила незамѣтно-развивавшагося и выросшаго общественнаго мнѣнія, которое послѣдшело воспользоваться первою возможностью, первою благоприятною минутою, чтобы высказаться и заявить о своемъ существованіи...

Приступая къ изданію „Всякой Всячины“, безымянный издатель этого журнала на-

¹⁾ Любопытнымъ доказательствомъ этого служитъ извѣстная приписка Сумарокова къ майской книжкѣ его журнала: „весь сей мѣсяцъ“ — такъ сказано въ припискѣ — „сочиненія Александра Сумарокова“. — ²⁾ Автора извѣстныхъ записокъ объ Императорѣ Павлѣ Петровичѣ.

черталъ уже отчасти ту программу, по которой потомъ стали составляться цѣлый рядъ подобныхъ „Всячинъ“ сатирическихъ журнальцевъ: видно, что эта программа была удачно угадана, и что въ обществѣ была потребность въ періодическихъ изданіяхъ, составленныхъ именно по такой программѣ... „Любезный читатель“—говоритъ въ обращеніи къ публикѣ издатель Всячины—„предпріять я сообщить вамъ все то, что мнѣ заблагоразсудится, безъ всякаго порядка: иногда дамъ вамъ полезныя наставленія, иногда будете смѣяться“. Еще яснѣе указываетъ онъ на цѣли, которые поставилъ себѣ задачею при изданіи своего журнала, въ другомъ мѣстѣ его, въ концѣ года: „я хотѣлъ“—говоритъ онъ—„показать, первое, что люди иногда могутъ быть приведены къ тому, чтобы смѣяться самимъ себѣ; второе—открыть дорогу тѣмъ, кои умнѣе меня, давать людямъ наставленія, забавляя ихъ, и третіе—говорить русскимъ о русскихъ, и не представлять имъ умоначертаній, кои они не знаютъ“.

Починъ, сдѣланный „Всячиной“, оказался до такой степени своевременнымъ, что подражатели этому „еженедѣльнику“ явились тотчасъ же, противъ всякихъ ожиданій редакціи „Всячины“ и, до нѣкоторой степени, даже къ ея неудовольствію... Въ началѣ же 1769 года явился уже и другой еженедѣльникъ—„И то, и се“, издававшійся подъ редакцію П. Д. Чулкова; велѣдъ за нимъ, въ концѣ февраля, Рубанъ сталъ издавать еще одинъ еженедѣльникъ, который, въ подражанію журналу Чулкова, назвалъ „Ни то ни се“. Въ мартѣ явилась „Поденьщина“, В. Тузова, просуществовавшая, впрочемъ, только до 5-го апрѣля; за „Поденьщиною“, въ апрѣлѣ, стали издаваться „Смѣсъ“, въ маѣ — „Трутенъ“ Н. Новикова, а въ юлѣ—„Адская почта или переписка хромоногаго бѣса съ кривымъ“, которую издавалъ Ѳ. Эминъ. И такъ, въ одномъ 1769 г. явилось вдругъ семь новыхъ журналовъ, и хотя не всѣ пользовались одинаковымъ успѣхомъ, однакоже большая часть ихъ читалась публикой очень охотно, и лучшіе изъ этихъ журналовъ (напр. Новиковскій „Трутенъ“) выдерживали даже по два изданія. Успѣхъ и особенная настроенность общества увлекали многихъ; одни брались за дѣло изъ подра-

жанія, другіе изъ желанія блеснуть остроуміемъ и плодovitостью своей поэтической фантазіи... Однакоже нельзя не отдать справедливости современной публикѣ, которая оказалась гораздо болѣе разборчивой, нежели бы можно было того ожидать. Наибольшимъ успѣхомъ пользовались только тѣ изъ многихъ разомъ явившихся журналовъ, которые отличались болѣею ѣдкостью сатирическаго отношенія къ современной дѣйствительности.. Замѣчательно, что всѣ эти журналы выходили въ Петербургѣ и что въ Москвѣ не было тогда вовсе подобныхъ еженедѣльниковъ. „Трутенъ“ очень остроумно замѣчаетъ по этому поводу: „...почтенная наша старушка-Москва и со своими жителями во нравахъ весьма непонятна: ей всегда нравились новыя моды и она всегда ихъ перенимала у петербургскихъ жителей... Въ нынѣшнемъ 1769 г. лишь показалась въ свѣтъ „Всякая Всячина“ со своимъ племенемъ, то жители нашего города заключили, что и это—новая мода, что тамъ сіи листки выходить будутъ не десятками, а сотнями; но всѣ обманулись: въ Москвѣ и по сіе время ни одного такого изъ типографіи не вышло листочка, да и напечатанные въ Петербургѣ журналы читаютъ немногіе. Старой, но весьма разумной, нашъ мѣщанинъ Правдинъ о семъ заключаетъ, что Москва къ украшенію тѣла служащія моды перенимаетъ гораздо скорѣе украшающихъ разумъ, и что Москва также, какъ и перестарѣлая кокетка, сатиръ на свои нравы читать не любитъ“.

А между тѣмъ „сатира на нравы“ явилась до такой степени преобладающимъ интересомъ новыхъ журналовъ, что та программа, которую при началѣ изданія начертала для себя „Всякая Всячина“, вскорѣ оказалась уже неудовлетворяющею потребностямъ большинства. Это не понравилось издателямъ „Всякой Всячины“, и они попытались было стать во главѣ журнальнаго движенія, какъ-бы желая руководить имъ, направлять его. Стараясь поддержать общій вѣсъ тогдашнимъ журналамъ шутиный тонъ, „Всякая Всячина“ поспѣшила себя объявить родоначальницею всей семьи журналовъ, возникшей послѣ ея появленія въ свѣтъ. Но журналы не поддались этому непростенному руководству и отвѣчали очень

рѣзко, что не понимаютъ вовсе причинъ, по которымъ „Всячина“ хочется наклепаться къ нимъ въ родню. Къ рѣзкостямъ было прибавлено нѣсколько намековъ на то участіе, которое во „Всякой Всячинѣ“ принимаютъ „знатные господа и высокопоставленные лица“. На эти-то намеки „Всячина“ съ гордостью отвѣчала, что приняла за правило не цѣлить на особъ, „но единственно на пороки“, и потомъ, распространяясь о необходимости снисходительнаго отношенія къ слабостямъ человѣческимъ, приняла слѣдующія уже извѣстныя намъ основанія для своей дальнѣйшей литературной дѣятельности: „1) Никогда не называть слабости порокомъ; 2) хвалить во всѣхъ случаяхъ челоуѣколюбіе; 3) не думать, чтобы людей совершенныхъ найти можно было, и для того: 4) просить Бога, чтобы намъ далъ духъ кротости и снисхожденія“. Въ отвѣтъ на эту программу дѣятельности, навязываемую „Всячиной“ остальнымъ журналамъ, въ „Трутиѣ“ появилось письмо Правдолюбова съ очень сильными и рѣзкими возраженіями и слѣпкомъ ясными намеками на личности. Это письмо побудило и „Всякую Всячину“ къ рѣзкой выходкѣ.

„Всячина“, проповѣдывавшая осторожность и мягкость, прямо назвала письмо Правдолюбова, помѣщенное въ „Трутиѣ“, ругательствами. „Г. Правдолюбовъ“, замѣтила Всячина, „исключая снисхожденіе, истребляетъ милосердіе... Думать надобно, что ему бы хотѣлось за все да про все кнутъ съѣсть. Какъ-бы то ни было, отдавая его публикѣ на судъ, мы советуемъ ему гнѣдиться, дабы черные пары и желчь не оказались даже на бумагѣ, до коей онъ дотрогивается“. Чтобы пояснить себѣ такой рѣзкій оборотъ въ полемическомъ тонѣ „Всячины“, не мѣшаетъ припомнить здѣсь, что какъ за личностью редактора, Ковицкаго, въ этомъ журналѣ скрывались извѣстные уже намъ „знатные господа и высокопоставленные лица“, такъ точно и журналъ Новикова, въ свою очередь, могъ служить выраженіемъ помысловъ и мнѣній для другой, противоположной партіи „знатныхъ господъ“. И дѣйствительно, сохранилось преданіе, утверждающее, будто въ „Трутиѣ“ принимала участіе Е. Р. Дашкова и М. Л. Воронцовъ. Если допустить справедливость такого преданія, то намъ нечего

будетъ удивляться тому, что простое, повидимому, письмо Правдолюбова заставило „Всячину“ отвѣчать ему такъ рѣзко; еще менѣе можно удивляться тому, что „Трутень“, впадъ, въ какой степени редакція „Всячины“ задѣта за живое отвлеченными разсужденіями Правдолюбова о порокахъ и слабостяхъ. помѣстивъ на страничкахъ своихъ другое письмо Правдолюбова, въ которомъ полемическій тонъ оказался еще болѣе задорнымъ, а намеки—еще болѣе прозранными. „Госпожа „Всякая Всячина“ на насъ прогнѣвалась“ — сказано въ этомъ письмѣ—„наши правоучительныя разсужденія называютъ ругательствами. Но теперь вижу, что она меньше виновата, нежели я думалъ. Вся ея вина состоитъ въ томъ, что на русскомъ языкѣ изъясняться не умѣетъ и русскихъ писаній обстоятельно разумѣть не можетъ... Если я написать, что больше челоуѣколюбивъ тотъ, кто исправляетъ пороки, нежели тотъ, кто онимъ потакаетъ; то не знаю, какъ такимъ изъясненіемъ я могъ тронуть милосердіе? Видно, что госпожа „Всякая Всячина“ такъ похвалями избалована, что теперь и то почитаетъ за преступленіе, если кто ее не похвалитъ“.

Въ эту полемику между „Трутнемъ“ и „Всячиной“ вскорѣ вмѣшались и другіе журналы: „Смѣсь“ и „Адская почта“ стали вторить „Трутиѣ“, а журналъ „И то, и се“—отстаивать „Всячину“. „Смѣсь“, отрекаясь отъ родства со „Всячиной“, утверждала прямо, что „внучата ея (т. е. остальные журналы) пораумнѣе бабушки; въ нихъ я не вижу такихъ противорѣчій, въ какихъ она запуталась. Бабушка въ добрый часъ намѣряется исправлять пороки, а въ блажной даетъ имъ послабленіе“... „Пора бы вамъ, господа внучата и племянники извѣстной здѣсь старушки, попросить вашу бабушку, чтобы она въ листахъ своихъ получше наблюдала постоянство, старости ея лѣтъ приличное; а то она нынѣ, какъ молодое пиво, бродитъ и на одномъ основаніи мыслей своихъ остановить не можетъ. Прежде божилась она, что будетъ исправлять пороки и никакого автора не тронетъ; но послѣ будучи въ томъ крѣпко увѣрена, что мертвые на критики не отвѣчаютъ, такъ было привязалась къ „Телемахидѣ“,

что едва сію ворчливую старушку отъ „Телемахиды“ отогналъ кто-то такой, ей писемъ своимъ доказавшій, что авторъ сей книги... много отечеству полезныхъ книгъ перевелъ, и листками „Всякой Всячины“ поврежденъ быть не можетъ“.

Само собою разумѣется, что эта крайне неприятная для „Всячины“ полемика не могла продолжаться и что журналы въ концѣ года прекратили свое существованіе, вѣроятно вслѣдствіе независѣвшихъ отъ нихъ вліяній. Всѣмъ пережила только „Всячина“, издававшая въ 1770 году „Барышекъ Всякія Всячины“ — составленный изъ остальныхъ статей отъ прошлагодняго запаса — да еще „Трутенъ“, но уже совершенно утратившій свой характеръ; ни тотъ, ни другой журналъ не помѣщали болѣе сатирическихъ статей на своихъ страницахъ и не вступали ни въ какую полемику.

Въ „Трутнѣ“ за это время даже было помѣщено нѣсколько писемъ, будто-бы полученныхъ редакторомъ отъ разныхъ лицъ по поводу перемѣны тона въ его журналѣ „Господинъ Трутенъ“! — писалось въ одномъ изъ подобныхъ писемъ — „кой чортъ! что тебѣ сдѣлалось? ты совсѣмъ сталъ не тотъ: развѣ тебѣ наскучило, что мы тебя хвалили и захотѣлось послушать, какъ станемъ бранить?... Пожалуй, скажи для какой причины перемѣнилъ ты прошлогодній свой планъ, чтобы издавать свои сатирическія сочиненія? Ежели для того, какъ ты самъ жаловался, что тебя бранили, такъ знай, что ты превеликую сдѣлалъ ошибку. Послушай, нынѣ тебя не бранятъ, но говорятъ, что нынѣшній „Трутенъ“ прошлогоднему не годится и въ слуги, и что ты нынѣ также бредишь, какъ и другіе... Г. Новый „Трутенъ“, преобразивъ въ старое... а то вѣдь, я чаю, ты, бѣдненькій, останешься въ накладе: мнѣ сказывалъ твой книгопродавецъ, что нынѣшняго года листовъ не покупаютъ и въ десятую долю противъ прежняго“.

Послѣ небольшой и довольно замѣтной приостановки въ журналистикѣ въ началѣ 1770 года, интересъ, возбужденный ею въ обществѣ, сталъ скорѣ снова побуждать многихъ къ новымъ попыткамъ въ томъ же родѣ. Редакторами новыхъ журналовъ яви-

лись нѣкоторые изъ прежнихъ предпринимателей (М. Д. Чулковъ и неутомимый В. Рубанъ); редакціи другихъ предпочли остаться анонимными. Такъ въ 1770 году явились вновь: „Парнассскій Щепетильникъ“ Чулкова, „Пустомеля“, редакторъ котораго остался неизвѣстенъ, и „Трудолюбивый Муравей“ В. Рубана; въ 1772 и 1773 гг. явились „Вечера“ и „Мѣшенина Катоноскарроническая“ — новые журналы, принадлежавшіе также неизвѣстнымъ редакторамъ, и опять журналъ Н. Новикова — „Живописецъ“. Въ 1774 году къ вышепомянутымъ прибавился еще только одинъ новый журналъ „Комсомолецъ“, редакторомъ котораго былъ тотъ же Н. Новиковъ.

Замѣчательнѣйшимъ изъ числа этихъ журналовъ былъ, конечно, „Живописецъ“, Н. Новикова, въ короткое время выдержавшій пять изданій и сдѣлавшійся надолго любимѣйшимъ чтеніемъ всѣхъ классовъ общества. Хотя обличительное направленіе въ „Живописцѣ“ было еще болѣе опредѣленнымъ и рѣзкимъ, нежели въ „Трутнѣ“, однакоже редакторъ его очевидно употреблялъ всѣ мѣры для того, чтобы не навлечь на свой журналъ излишнихъ нареканій. Онъ началъ съ того, что посвятилъ свой журналъ будто-бы неизвѣстному сочинителю комедій „О, время!“ (т. е. самой Екатерины) и въ этомъ посвященіи объявилъ ей прямо: „вы открыли мнѣ дорогу, которой я всегда страшился; вы возбудили во мнѣ желаніе подражать вамъ въ похвальномъ подвигѣ исправлять нравы своихъ единосемцевъ, вы поострили меня испытать въ томъ свои силы“ и т. д. Минио-неизвѣстный сочинитель комедій „О, время!“ отвѣчалъ на это посвященіе любезнымъ письмомъ. Новиковъ поспѣшилъ помѣстить его въ своемъ „Живописцѣ“ и затѣмъ какъ-бы принялъ за правило: каждый разъ, послѣ особенно рѣзкихъ обличительныхъ статей, помѣщать какую нибудь громкую оду въ честь Императрицы, или днѣнрабѣ князю Григорію Григорьевичу Орлову, или обращеніе къ графу Никитѣ Ивановичу Панину ¹⁾. Самъ Новиковъ намекаетъ на то, что опыты научилъ его осторожности:

¹⁾ См. статью академика Пекарскаго: „Матер. для ист. журн. и литер. дѣят. Екатерины II“ стр. 9. Авторъ прибавляетъ такъ же къ приведенному нами выше: „Впрочемъ все это, кажется.

въ одномъ мѣстѣ „Живописца“, гдѣ онъ говоритъ, что пора уже въ настоящій просвѣщенный вѣкъ снимать личины съ людей порочныхъ, и что его журналъ именно для этой цѣли предназначается, онъ, въ то же время, за правило себѣ полагаетъ: „не разлучаться съ тою прекрасною женщиною, съ которою его иногда видали“, и которая „называется Осторожностью“.

Изъ предъидущаго мы настолько уже знакомы съ главными темами сатиры XVIII столѣтія, что мы здѣсь не будемъ повторять, на что преимущественно обращено было вниманіе журнальной сатиры въ Живописцѣ и другихъ современныхъ ему еженедѣльникамъ; укажемъ только на такія стороны сатирическихъ журналовъ, которыя составляли ихъ важную особенность и, конечно, главнѣйшимъ образомъ способствовали ихъ успѣху въ средѣ образованной части нашего общества прошлаго вѣка. Въ однообразной формѣ писемъ или въ индифференціи формѣ восточныхъ повѣстей, разговоровъ въ царствѣ мертвыхъ, разсказовъ о видѣнномъ во снѣ, сатирическихъ вѣдомостей, сатирическихъ словарей и лѣчебниковъ, или въ формѣ вопросовъ и отвѣтовъ—однимъ словомъ, во всѣхъ видоизмѣненіяхъ, какія были доступны журнальной сатирѣ прошлаго вѣка, она проводила тѣ гуманныя идеи, которыя нашли себѣ выраженіе въ „Наказѣ“ Екатерины II. Не довольствуясь, однакоже, нѣсколько отвлеченной формой гуманности „Наказа“, сатирическіе журналы постоянно старались примѣнить ее къ русской дѣйствительности, придать ей болѣе матеріальный характеръ, указать ей на наши національныя нужды. Особенно смѣлыми и важными по тому времени были статьи, помѣщавшіяся въ новиковскихъ и другихъ журналахъ по вопросу крестьянскому: нѣкоторые изъ нихъ превосходно изображали жалкое нравственное и матеріальное положеніе современнаго крестьянства, противопоставляя его безумной роскоши высшихъ классовъ общества. Другою важною стороною сатирическихъ журналовъ, безъ сомнѣнія, было то, что они положили у насъ основа-

ніе здоровой литературной критикѣ и много способствовали установленію правильнаго взгляда на то значеніе и мѣсто, какое должно принадлежать писателю въ каждомъ образованномъ обществѣ. „Нѣкоторые думали (досетѣ)“,—такъ выражается одинъ изъ современныхъ журналовъ—„что дворянину стыдно присвоивать себѣ имя писателя. Не стыдятся того вѣнчанныя главы, ни важные министры, о пользѣ государствъ пекущіеся; а наши дворяне съмѣ титуломъ гнушаются! Стыдно быть писателемъ, но дурнымъ, разсѣвающимъ сѣмена пороковъ, осмѣивающимъ правду, честь и добродѣтели... Дарованія же людямъ природою напрасно не даются, и не даромъ это сказано: „скрытый талантъ да будетъ проклятъ!“.

Въ этихъ словахъ несомнѣнно вѣтъ тотъ духъ новизны и свѣжести, который и служилъ главнымъ отличительнымъ признакомъ литературныхъ произведеній екатерининскаго времени.

Наступленіе новой эпохи обозначается какъ въ обществѣ, такъ и въ литературѣ появленіемъ новыхъ людей, новыхъ дѣятелей. Одинъ изъ такихъ новыхъ дѣятелей литературныхъ былъ, конечно, Фонъ-Визинъ; другимъ, подобнымъ-же и притомъ весьма замѣчательнымъ дѣятелемъ литературнымъ и общественнымъ былъ Новиковъ, уже извѣстный намъ изъ предъидущаго, какъ остроумный и талантливый издатель лучшихъ нашихъ сатирическихъ журналовъ.

Николай Ивановичъ Новиковъ родился (27 апр. 1744 г., ум. 31 іюля 1818 г.) въ Бронницкомъ уѣздѣ Московской губерніи, въ селѣ Тихвинскомъ, Авдотьино тоже Отецъ его, Иванъ Васильевичъ Новиковъ, одинъ изъ дворянъ того уѣзда, служилъ съ-молоду въ морскомъ вѣдомствѣ, былъ челоуѣкомъ, по тому времени, весьма достаточнымъ, и, по выходѣ въ отставку, жилъ почти безвыѣздно въ своей подмосковной деревнѣ. О воспитаніи Новикова, какъ и вообще о его ранней юности, мы имѣемъ лишь самыя скудныя свѣдѣнія. Извѣстно только, что въ дѣтствѣ, подобно многимъ своимъ современникамъ, онъ обучался у

не долго помогало; по крайней мѣрѣ во 2-й части былъ сдерживаемъ“.

„Живописца“ Новиковъ видимо сдерживался или

приходскаго дьячка; а потомъ когда въ 1755 г. учрежденъ былъ въ Москвѣ университетъ и двѣ гимназій, Новиковъ года четыре сряду находился въ Московской университетской гимназій, гдѣ учился очень неровно и вѣроятно не многому, потому что, по его собственному сознанию, онъ не зналъ ни одного иностраннаго языка и образованіемъ былъ одолженъ одному себѣ. Въ 1760 г., за лѣность и нехождение въ классы, онъ даже былъ исключенъ изъ университетской гимназій, о чемъ тогда же, по современному университетскому обычаю, и пропечатано было въ Московскихъ Вѣдомостяхъ, во всеобщее свѣдѣніе. Должно однакоже предположить, что условія домашняго воспитанія были довольно благоприятны для развитія богатаго запаса умственныхъ и нравственныхъ силъ Новикова, потому что, поступивъ въ военную службу въ гвардейскій Измайловскій полкъ) и прѣбавъ на семнадцатомъ году въ Петербургъ, Новиковъ пошелъ самостоятельною дорогою и не терялъ времени даромъ. Страстно предаваясь чтенію и постоянно вращаясь въ средѣ образованнѣйшихъ людей того времени, онъ быстро успѣлъ восполнить пробѣлы своего скуднаго образованія и, по свидѣтельству одного изъ его биографовъ, уже съ 1767 года „началъ онъ быть извѣстнѣе своею склонностью къ словесности, наипаче Россійской и успѣхами въ оной“. Въ чемъ заключались эти успѣхи — неизвѣстно; мы можемъ только предполагать, что онъ, вѣроятно, и тогда уже успѣлъ рѣзко выдѣлиться изъ толпы своихъ сотоварищей-измайловцевъ потому что, когда, въ 1767 году, въ Москву были отправлены молодые гвардейцы, для занятій писмоводствомъ въ знаменитой комиссіи депутатовъ для составленія проекта новаго Уложенія, то въ числѣ многихъ, отличныхъ молодыхъ людей, набранныхъ для этого дѣла, находился и Новиковъ. Онъ составлялъ дневныя записки по седьмому изъ девятнадцати отдѣленій комиссіи, именно по отдѣленію „о среднемъ родѣ людей“, и, кромѣ того, велъ Журналы Общаго Собранія Депутатовъ, которые и „читалъ при докладахъ Императрицѣ, увавшей его тогда лично“¹⁾. Собственно на поприщѣ литературное Но-

виковъ достовѣрно выступилъ не ранѣе, какъ въ 1760 году, когда онъ сталъ издавать „Трутенъ“. Около этого же времени онъ и въ отставку вышелъ (въ 1768 г.), рѣшившись вполне посвятить себя дѣятельности литературной и издательской. Въ этотъ періодъ дѣятельности, съ 1769 по 1774 годъ, Новиковъ издавалъ уже журналы: „Трутенъ“, „Живописецъ“ и „Кошелекъ“, о содержаніи которыхъ мы говорили выше. Здѣсь не мѣшаетъ добавить только, что изъ этихъ трехъ журналовъ „Кошелекъ“, пользовавшійся наименьшею популярностью и специально посвященный осмѣянію галломаній, какъ порока, преобладавшаго въ современномъ русскомъ обществѣ, болѣе всего враждебно встрѣченъ былъ въ высшихъ слояхъ его. Хотя, по преданію, онъ издавался подъ наблюденіемъ самой Императрицы, однакоже, когда помѣщенная въ „Кошелекѣ“ комедія „Народное игрище“ представлена была на Эрмитажномъ театрѣ, то нѣкоторые знатные галломаны обидѣлись намеками пьесы, и даже французское посольство сдѣлало по поводу ея нѣкоторыя представленія правительству. Вообще изъ всѣхъ трехъ журналовъ „Кошелекъ“, по увѣренію друзей Новикова, болѣе всего приобрѣлъ ему враговъ. Но періодъ журнальной дѣятельности былъ только блестящимъ началомъ, въ которомъ лишь отчасти можно было провидѣть будущую обширную и плодотворную дѣятельность Новикова. Г. Лонгиновъ справедливо замѣчаетъ первые зародыши этой дѣятельности уже въ Живописцѣ, гдѣ въ одной изъ статей говорится съ сочувствіемъ о пользѣ, которую принесло-бы учрежденіе „общества, старающагося о печатаніи книгъ“, которое-бы, кромѣ того, имѣло цѣлю и „стараніе о продажѣ книгъ, особенно въ провинціи, куда книги проникаютъ только случайно и гдѣ онѣ продаются въ три-дорого“. Вообще, подъ конецъ этого періода журнальной дѣятельности „уже разъяснились“ по замѣчанію новѣйшаго биографа²⁾ — „четыре характера будущей его дѣятельности: — онъ готовъ на труды типографщика-издателя и книгопродавца, и хочетъ направиться на пользу добрыхъ нравовъ, основанныхъ на уваженіи къ доблестямъ старинн.

¹⁾ М. П. Лонгиновъ. Новиковъ и Московскіе мартинисты. — ²⁾ Лонгиновъ, томъ 8, стр. 33.

которую должно изучать". Только принявъ это въ соображеніе, можно понять, почему именно, съ поприща журналиста-сатирика, Новиковъ прямо перешелъ къ дѣятельности ревностнаго собирателя и издателя памятниковъ нашей старины, и посвятилъ ей многие годы (съ 1772 по 1778 г.) трудовъ въ высшей степени замѣчательныхъ и почтенныхъ. Большая часть этихъ трудовъ начата была Новиковымъ въ Петербургѣ, гдѣ онъ оставался до 1779 года. Труды эти направлены были преимущественно

къ изученію настоящаго и прошлаго Россіи, въ отношеніи географическомъ, историческомъ и археологическомъ; съ одной стороны Новиковъ не оставлялъ и журнальной литературы, продолжая съ конца семидесятыхъ годовъ выдавать въ свѣтъ періодическія изданія учено-нравственнаго содержания. Все задуманное Новиковымъ всѣхъ приводило въ изумленіе новостью и смѣлостью замысла, добросовѣстнымъ исполненіемъ, богатствомъ матерьяла и замѣчательною практичностью автора, замѣчатель-



Новиковъ.

нымъ умѣніемъ удовлетворять наиболѣе существеннымъ потребностямъ современнаго общества. Такъ, въ 1772 году, выдалъ онъ „Опытъ Историческаго Словаря о Россійскихъ писателяхъ“. Въ заглавіи этой замѣчательной книги сказано, что она заимствована изъ „печатныхъ и рукописныхъ книгъ, сообщенныхъ извлеченій и словесныхъ преданій“. Эта первая попытка критической оцѣнки произведеній русской

литературы, духовной и свѣтской, должна была, конечно, возбудить много толковъ въ средѣ современниковъ и окончательно упрочила извѣстность Новикова, какъ литератора. Но за нею слѣдовалъ цѣлый рядъ ученыхъ трудовъ и предпріятій, который всѣхъ заставилъ почти забыть о „Словарѣ“. Въ 1773 году издалъ Новиковъ „Древнюю Россійскую Идрографію“, и въ то же время сталъ издавать выпусками обширный

сборникъ историческихъ матерьяловъ подъ названіемъ „Древней Россійской Вивліоенки“¹⁾; въ 1777 году издалъ „Повѣствователь о Древностяхъ Россійскихъ“—собраніе разныхъ достопамятныхъ записокъ, служащихъ „къ пользѣ Исторіи и Географіи Россійскія“; наконецъ, съ 1777 г., предпринялъ цѣлый рядъ изданій періодическихъ. Первымъ въ числѣ ихъ было ежедневное періодическое изданіе „Санктпетербургскія ученныя вѣдомости“, посвященныя литературѣ и критикѣ. Въ томъ же году принялся Новиковъ и за изданіе ежемѣсячника „Утренній Свѣтъ“, въ стихахъ и прозѣ, содержавшаго въ себѣ какъ оригинальныя сочиненія, такъ и переводы съ разныхъ языковъ. Журналъ издавался Новиковымъ и „обществомъ ученыхъ людей“ до половины 1780 года, когда, перебравшись на постоянное жительство въ Москву, онъ перенесъ туда и журналъ свой, и продолжалъ его тамъ подъ различными названіями: Московское изданіе (1781 г.), Вечерняя заря (1785) и т. д. Екатерина продолжала относиться и къ издательской дѣятельности Новикова такъ же благосклонно, какъ относилась къ журнальной. Всѣ ученныя изданія, подносимыя Императрицѣ Новиковымъ черезъ Козинцаго, заслуживали полнаго ея одобренія и поощренія. Такъ, напр., извѣстно, что она въ 1773 г. предписала ученому Г. Ф. Миллеру сообщать Новикову, для печатанія въ Вивліоенкѣ, копіи съ разныхъ актовъ архива, который онъ разбиралъ въ это время въ Москвѣ; а немного позже (въ томъ же и въ слѣдующемъ году) пожаловала Новикову и довольно значительныя денежныя вспомошествованія, въ видахъ содѣйствія его полезному предпріятію. Заканчивая разсмотрѣніе этого петербургскаго періода дѣятельности Новикова, нельзя не обратить вниманія еще на одинъ весьма замѣчательный фактъ: на то, что, съ 1773 по 1778 годъ, никто изъ частныхъ лицъ въ Россіи, кромѣ Новикова, не издавалъ журнала.

1-го мая 1779 года онъ взялъ на откупъ университетскую типографію на десять лѣтъ. Съ любовью и знаніемъ приступилъ Новиковъ къ сложной дѣятельности издателя-ти-

пографика и издателя-книгопродавца. Въ два года успѣлъ онъ довести типографію свою до такого положенія, что, по количеству и красотѣ шрифтовъ, по обилію и качеству механическихъ средствъ своихъ, она могла соперничать съ лучшими европейскими типографіями того времени, и въ теченіи трехъ первыхъ лѣтъ, съ 1779 по 1782 годъ, Новиковъ, по одному современному свидѣтельству, успѣлъ напечатать въ университетской типографіи болѣе книгъ, нежели до этого времени было напечатано во всѣ 24 года ея существованія. Карамзинъ говоритъ о Новиковѣ, что „онъ торговалъ книгами, какъ богатый голландскій или англійскій купецъ торгуетъ произведеніями всѣхъ земель, т. е. съ умомъ, съ догадкою, съ дальновиднымъ соображеніемъ“. И дѣйствительно, подвижность, свѣтлый взглядъ на вещи и неутомимая энергія Новикова даже и теперь могли-бы многихъ привести въ изумленіе. Онъ не пренебрегалъ ничѣмъ для улучшенія своего дѣла, ничего не упускалъ изъ виду, и постоянно изобрѣталъ новыя способы для того, чтобы какъ можно больше напечатать и какъ можно больше продать полезныхъ книгъ, общедоступныхъ и по цѣнѣ, и по содержанію. Съ этою цѣлью Новиковъ собралъ вокругъ себя цѣлый кружокъ молодежи, заставляя ее работать, читать, переводить, учиться, доставляя ей и ученныя и денежныя средства. Но, по справедливому возрѣнію Новикова, составить хорошую книгу и напечатать ее было еще недостаточно: „надобно было и имѣть попеченіе и о продажѣ напечатанныхъ книгъ“. Вотъ почему Новиковъ съ особеннымъ усердіемъ заботился объ открытіи новыхъ книжныхъ лавокъ и книжныхъ складовъ не только въ Москвѣ, но и въ провинціи: первый открылъ вольную (публичную) бібліотеку для безденежнаго пользованія книгами, и не только продавалъ, но находилъ возможность и даромъ разсылать свои книги по духовнымъ и другимъ училищамъ. Въ тѣхъ же видахъ, заботясь о возможномъ расширеніи своей дѣятельности, Новиковъ сумѣлъ возвысить и значеніе Московскихъ Вѣдомостей, при которыхъ сталъ бесплатно выдавать

¹⁾ До 1784 г. онъ уже выдалъ 10 томовъ „Вивліоенки“, которая впоследствии, доведенная до 20 томовъ и одиннадцати томовъ „Дополненій“.

весьма полевыми и занимательными „Прибавленія“ (съ 1783 по 1785), а потомъ, вмѣсто этихъ прибавленій, новое приложение подъ заглавіемъ „Дѣтское чтеніе для сердца и разума“ (съ 1785—1789 гг.). Благодаря такой заботливости Новикова, количество подписчиковъ на „Московскія Вѣдомости“ вдругъ возрасло съ 600 до 4,000 человекъ—цифры весьма почтенной по тому времени.

Въ Москвѣ Новиковъ особенно сблизился съ талантливымъ и неутомимымъ профессоромъ Московскаго университета, И. Е. Шварцемъ (род. 151 г., пріѣхалъ въ Рос-

сію въ 1773 году; ум. 1784); подъ непосредственнымъ вліяніемъ этого человека, съ которымъ Новиковъ вступилъ впослѣдствіи въ самыя тѣсныя дружескія связи, онъ поддавался окончательно мистицизму, сильно увлекавшему значительное большинство нашего образованнаго общества въ прошломъ столѣтіи. Подъ вліяніемъ этой-то, весьма замѣтной, склонности къ мистицизму распространилось у насъ въ Россіи и масонство, многихъ привлекавшее даже своею таинственною вышностью, торжественностью своихъ обрядовъ, обѣтовъ и сложной орга-



Масонскій домъ въ Москвѣ, близъ Меншиковой башни.

низацией своихъ ложъ. Лучшіе люди конца прошлаго вѣка, поддаваясь мистицизму и участвуя въ масонствѣ, старались, повидимому, этимъ путемъ противодействовать слишкомъ быстро-принимавшемуся на русской почвѣ рационалистическому ученію энциклопедистовъ, нерѣдко вырождавшемуся въ грубѣйшій матеріализмъ подъ вліяніемъ неблагоприятныхъ условий быта нашей общественной среды. Новиковъ, по нѣкоторымъ извѣстіямъ, еще съ 1784 г. вступилъ въ масонское общество, въ которомъ предсѣдателемъ былъ уже извѣстный намъ И. П.

Елагинъ; но только со времени сближенія своего съ И. Е. Шварцемъ, Новиковъ, глубоко-религіозный, сосредоточенный мыслитель, окончательно вдался въ мистицизмъ и подчинилъ ему всю свою обширную и многотрудную дѣятельность. Съ этого времени типографская дѣятельность Новикова, по словамъ одного изъ его биографовъ, была всецѣло посвящена „распространенію масонскихъ идей; въ книгахъ, изданныхъ Новиковымъ за это время, встрѣчаемъ странныя формулы, темное изложеніе, произвольное толкованіе текстовъ Св. Писанія и запутанное.

лишенное всяких научных основъ, объясненіе физическихъ и химическихъ явленій¹⁾. Но это только одна, и притомъ чисто внѣшняя сторона масонства, которое имѣло и другую, достойную всякаго уваженія сторону: болѣе всего придавая значенія евангельской любви, масоны, съ величайшимъ самоотверженіемъ и готовностью, жертвовали личнымъ трудомъ своимъ и капиталами для цѣлей благотворительныхъ въ самомъ обширномъ смыслѣ слова; устраивали школы, содержали на своемъ издѣивеніи воспитанниковъ въ высшихъ учебныхъ заведеніяхъ, учреждали больницы, устраивали аптеки, въ которыхъ бѣдные могли бесплатно получать лѣкарства и т. п. Горячо предаваясь масонству, поддавался и нѣкоторымъ заблужденіямъ его, Новиковъ въ то же время много работалъ и трудился на пользу этой свѣтлой стороны масонства. Вмѣстѣ съ профессоромъ Шварцемъ онъ задумалъ основать такъ называемое „Дружеское Ученое Общество“, цѣлю котораго было: 1) распространять въ публикѣ правила истиннаго воспитанія; 2) привлекать изъ-за границы достойныхъ воспитателей; 3) готовить знающихъ русскихъ наставниковъ; 4) издавать духовныя книги и наставлять въ нравственной и евангельской истинѣ, „переводя глубочайшихъ о семъ иностранныхъ писателей“. „Дружеское Общество“, уже нѣсколько лѣтъ сряду существовавшее и дѣятельно работавшее на пользу просвѣщенія, получило въ октябрѣ 1782 года официальное разрѣшеніе градоначальника и благословеніе архіепископа московскаго Платона на публичное открытіе засѣданій. Оно приступило къ своей дѣятельности при самыхъ благопріятныхъ условіяхъ, вспомоствуемое многими весьма богатыми людьми, покровительствуемое лицами высшаго круга, составлявшими цвѣтъ московскаго общества того времени. Важнѣйшими дѣятелями въ „Дружескомъ Обществѣ“, кромѣ Шварца и Новикова, являлись и другіе масоны: И. В. Лопухинъ, С. И.

Гамагѣя, И. П. Тургеневъ. Подъ ихъ-то руководствомъ и покровительствомъ выросло поколѣніе молодыхъ и талантливыхъ литературныхъ дѣятелей, которые всѣ начинали свое литературное поприще съ участія въ переводческой и педагогической дѣятельности „Дружескаго Общества“: между ними многіе приобрѣли себѣ въ послѣдствіи извѣстность, какъ напр. Карамзинъ, А. М. Кутузовъ, А. А. Петровъ, занимавшійся изданіемъ „Дѣтскаго Чтенія“, В. С. Подшиваловъ и т. д. Открытіе Дружескаго Общества совпадало съ лучшимъ и самымъ блестящимъ періодомъ царствованія Екатерины, когда она сама горячо и ревностно заботилась о распространеніи въ народѣ просвѣщенія, когда только-что издала въ свѣтъ свой замѣчательный указъ объ учрежденіи „Комиссіи народныхъ училищъ“ и сама съ видимымъ удовольствіемъ говорила своимъ приближеннымъ, что при этихъ школахъ „расколъ безъ насилія исчезнетъ, какъ невѣжество“²⁾. Вскорѣ послѣ того дѣйствуя въ томъ же прогрессивномъ направленіи, продолжая заботиться о распространеніи способовъ къ образованію, Екатерина издаетъ свой знаменитый указъ 15 января 1783 г. „о вольныхъ типографіяхъ“, на основаніи котораго всякому дано было право заводить типографіи и печатать въ нихъ книги подъ надзоромъ полицейской цензуры. На основаніи этого указа, Новиковъ и Лопухинъ, рядомъ съ арендуемой Новиковымъ университетской типографіей, заводятъ еще двѣ типографіи частныя, а въ 1784 г. изъ того же „Дружескаго Общества“ возникаетъ наконецъ „Типографическая компанія“, которая заводитъ въ Москвѣ нѣсколько своихъ собственныхъ типографій и въ нихъ, рядомъ съ книгами туманнаго мистическаго содержанія, печатаетъ и множество книгъ полезныхъ, ученыхъ, учебныхъ и общеобразовательныхъ, которыя пускаетъ въ продажу по самымъ дешевымъ цѣнамъ³⁾.

Соображая всѣ эти данныя, мы прихо-

¹⁾ А. Афанасьевъ. Николай Ивановичъ Новиковъ, біографическій очеркъ (въ Библиограф. Зап. за 1858 г., стр. 170).—²⁾ Зап. Храповицкаго; 18 іюля 1782 г.—³⁾ Чтобы дать понятіе о размахѣ издательской дѣятельности Новикова, достаточно 1785 г., отпечатанныхъ въ одной университетской типографіи, показано 365 заглавій, да вновь приготавлилось къ выпуску въ свѣтъ 55 изданій!

димъ къ тому убѣжденію, что вся дѣятельность Новикова, съ самаго ея начала и до 1784 г., шла, въ полномъ смыслѣ слова, рука объ руку съ просвѣтительною дѣятельностью правительства, не расходясь ни въ цѣляхъ, ни въ выборѣ средствъ съ правительственной программой. Однакоже несчастное стеченіе обстоятельствъ, чисто внѣшнихъ, отчасти же и политическое настроеніе современной Европы, вскорѣ должны были неблагоприятно повліять на дѣятельность ревностныхъ членовъ „Дружескаго Общества“ и разрушить всѣ благія начинанія ихъ.

За дѣятельностью „Дружескаго Общества“ вообще и Новикова въ частности зорко наблюдали и многочисленные враги его; одни изъ зависти къ его сильному вліянію п общественному значенію, другіе, сочувствуя предрасудкамъ массы противъ масонства, третьи, наконецъ, вслѣдствіе рѣзкой противоположности въ убѣжденіяхъ — не избѣгали случая обносить его передъ правительствомъ. Екатерина II, при всей своей просвѣщенности и гуманности, постоянно выказывала себя крайне-непріязненной по отношенію къ масонству, которое она не разъ осмѣивала въ своихъ комедіяхъ, и котораго въ то же время опасалась. Къ тому же, около этого времени, т. е. въ половинѣ восьмидесятыхъ годовъ прошлаго столѣтія, не только у насъ въ Россіи, но даже и въ остальной Европѣ, многія отрасли масонства навлекли на себя подозрѣніе въ тѣснѣйшей связи съ тайнымъ обществомъ иллюминатовъ, которое всюду подверглось вполне заслуженнымъ преслѣдованіямъ за свои опасные для общественнаго спокойствія политическіе замыслы и заговоры. Хотя и достоверно извѣстно, что московскіе масоны ничего такъ не опасались, какъ подозрѣнія въ солидарности съ иллюминатами, съ которыми никакихъ связей и сношеній никогда не имѣли, однакоже, подъ вліяніемъ страха, наведеннаго на всю Европу, и Екатерина рѣшилась отступить отъ своихъ гуманныхъ и либеральныхъ воззрѣній:—строгія стѣсненія показались ей необходимыми. При такихъ условіяхъ, громадное значеніе общественное, приобрѣтенное Новиковымъ не только въ Москвѣ, но и во всей Россіи, его обширныя связи, разнообразная и быстро возрастающая дѣятельность

его кружка, обладавшего большой нравственной силой и матеріальными средствами—все это побудило Екатерину взглянуть нѣсколько подозрительно на личность честнаго и безкорыстнаго дѣятеля. Подозрѣніе Екатерины еще болѣе усиливалось нѣкоторыми неосторожными поступками друзей Новикова, слишкомъ ревностно занимавшимися масонской пропагандой и поддержкою сношеній съ заграничными масонскими ложами... Въ 1785 году Новиковъ былъ привлеченъ къ допросу „о причинахъ, побудившихъ его издавать странныя книги, исполненныя новымъ расколомъ для обмана и уловленія невѣждъ“... Самыя книги, изданныя Новиковымъ, поручено было разсмотрѣть московскому митрополиту Платону, дабы убѣдиться, „не скрывается ли въ нихъ умствованій, не сходныхъ съ простыми и чистыми правилами православія и гражданской должности“. На допросѣ Новиковъ показалъ, что книги онъ печаталъ не иначе, какъ „съ дозволенія цензуры, и намѣренія онъ при изданіи книгъ въ публику никакаго другого не имѣлъ, кромѣ того, чтобы по силамъ его и по возможности приносить трудами пользу отечеству чрезъ распространеніе книжной торговли и честнымъ образомъ получать законами невозбранлемый прибыль“. Въ то же самое время Новиковъ нашелъ себѣ поддержку и защиту въ митрополитѣ Платонѣ, который, разсмотрѣвъ книги, изданныя Новиковымъ, сообщилъ Императрицѣ объ издателѣ ихъ самый лестный отзывъ. „Молю всецѣдраго Бога“—писалъ Платонъ—„чтобы не только въ словесной паствѣ, Богомъ и тобою мнѣ вѣренной, но и во всемъ мірѣ были христіане таковы, какъ Новиковъ“. Но этотъ благоприятный отзывъ спасъ Новикова не надолго; клеветы враговъ, происки іезуитовъ, свискавшихъ покровительство Екатерины (и озлобленныхъ противъ Новиковаго кружка за напечатанную имъ „Исторію іезуитскаго ордена“), и стремленіе мѣстнаго московскаго начальства угодить Императрицѣ возбужденіемъ преслѣдованій противъ масоновъ — все это содѣйствовало тому, чтобы значительно усилить непріязнь Екатерины противъ московскихъ масоновъ и Новикова. Гроза такъ очевидно скоплялась надъ его головою, что „Типографическая компанія“, опасаясь распространяемыхъ о

ея дѣятельности слуховъ, сочла за лучшее прекратить свои дѣйствія и закрылась въ концѣ 1791 г. Въ началѣ 1792 г. гроза наконецъ разразилась... Новиковъ, обвиняемый въ сношеніяхъ съ заграничными тайными обществами, былъ арестованъ, а имѣнье его конфисковано, и мѣстомъ заключенія для него назначена Шлиссельбургская крѣпость, куда онъ и былъ отвезенъ, подъ сильнымъ конвоемъ, и притомъ окольными дорогами, черезъ Ярославль и Тихвинъ.

Печальнѣе всего было то, что не только Новиковъ подвергся заточенію, но и самое дѣло его, стоявшее ему столькожъ жертвованій и усилій, погибло безвозвратно: дома, типографія, книги, благопріобрѣтенныя имѣнья и имущество его—все было конфисковано и продано съ публичнаго горга. Собственно Новикову принадлежавшіе капиталы, а также и порученные ему посторонними лицами „на вспоможеніе его неистовымъ дѣламъ“ (!), поручено отдать въ приказъ общественнаго призрѣнія. Одно изъ плодотворныхъ и обширѣйшихъ предпріятій закончилось ужаснѣйшимъ раззореніемъ! Одно только родовое имѣніе Новикова, село Тихвинское, уцѣлѣло отъ общаго крушенія и оставлено въ пользу наследниковъ его „подъ опекою на законномъ основаніи“.

Только уже по вступленіи на престолъ Императора Павла Новиковъ былъ освобожденъ изъ тяжкаго заключенія и возвратился въ свою подмосковную (19 ноября 1796 г.) „дрыхлѣ, согбенѣ, въ разодранномъ тулупѣ“... Со слезами радости встрѣчала его тамъ не только семья, но и всѣ крестьяне, не одного его села, „но и отдаленныхъ чужихъ селеній, вспоминая при томъ, что они въ голодный годъ великую черезъ него помощь получали“. Вскорѣ послѣ того, самъ Новиковъ писалъ къ одному изъ друзей своихъ: „...силы мои изнуруются подъ тяжкимъ бременемъ крестовъ: я такъ одрыхлѣлъ, что вы бы меня не узнали“.

Съ той поры Новиковъ уже не выѣзжалъ изъ своего Тихвинскаго и заботился только объ окончаніи своихъ счетовъ по прежнему предпріятію.

Тихо скончался онъ 31 іюля 1818 года, на семьдесятъ-пятомъ году отъ рожденія, и былъ погребенъ въ приходской церкви своего роднаго села.

„Новиковъ“—по замѣчанію его біографа—„умѣлъ сдѣлаться силой въ такую эпоху, когда сила пріобрѣталась только чисто-государственными заслугами или придворнымъ случаемъ, а онъ не опирался ни на то, ни на другое. Едва-ли не въ немъ первомъ высказалась сила общественная, независимая отъ Двора и высшаго управленія“.



Масонскіе знаки.

X.

Важѣйшіе представители науки екатерининскаго времени: князь Щербатовъ и Болтинъ. — Митрополитъ Платонъ, какъ ученый пастырь и духовный ораторъ.

Екатерина II, охотно посвящавшая свои досуги занятіямъ литературою и наукою, увлекала своимъ примѣромъ многихъ и весьма охотно поощряла въ другихъ пристрастіе къ своимъ любимымъ занятіямъ. Изъ всѣхъ наукъ, Русская Исторія пользовалась наибольшимъ расположеніемъ Императрицы, которая избирала историческія темы для своихъ сценическихъ представлений и сама составила нѣчто въ родѣ руководства или краткаго курса по Русской Исторіи. Съ самымъ живымъ интересомъ слѣдила Императрица за изданіемъ памятниковъ по отечественной нашей исторіи, за этнографическими работами ученыхъ академиковъ, разбѣжавшихъ по Россіи, за разборомъ историческаго матерьяла, хранящагося въ архивахъ. И хотя эта работа въ то время еще только была начата, однакоже можно сказать, что въ царствованіе Екатерины подготовительныя работы по Русской Исторіи успѣли настолько подвинуться впередъ, что уже при Александрѣ I могъ явиться первый полный, подробный и связный трудъ, въ которомъ вся Русская Исторія была уже изложена въ послѣдовательномъ разсказѣ, а отдѣльные историческіе факты критически отбѣнены и разобраны. Основаніе такому полному и связному историческому изложенію, точно также, какъ и основаніе исторической критикѣ, было положено двумя весьма учеными и почтенными дѣятелями екатерининскаго времени: — княземъ Щербатовымъ и Болтиннымъ.

Князь Михаилъ Михайловичъ Щербатовъ родился въ 1733 г. 22 іюня, въ Москвѣ. По тому времени, онъ получилъ хорошее домашнее воспитаніе: онъ

былъ знакомъ и съ науками, и съ двумя иностранными языками — французскимъ и итальянскимъ. Подобно всѣмъ дворянамъ, и князь Щербатовъ началъ службу съ военной карьеры: поступилъ въ гвардію Семёновскій полкъ и въ 1762 г. вышелъ въ отставку капитаномъ. Въ 1767 г. князь участвовалъ въ Комиссіи по составленію Проекта Новаго Уложенія въ качествѣ Депутата отъ Ярославскаго Дворянства. Затѣмъ, удостоенный особаго вниманія со стороны Императрицы, князь Щербатовъ быстро возвышался и въ придворныхъ чинахъ, и въ занимаемыхъ имъ должностяхъ: — мы видимъ его сначала герольдмейстеромъ, потомъ президентомъ камеръ-коллегіи и наконецъ, съ 1779 г., сенаторомъ.

Рано пристрастившись къ собиранію историческихъ матерьяловъ, князь Щербатовъ успѣлъ обратить вниманіе Императрицы на свои историческія занятія. Уже въ 1768 г. ему дано было Императрицею Екатериною порученіе — разобрать кабинетный архивъ Петра Великаго; а затѣмъ ему дозволено входить во всѣ казенные архивы и библіотеки для пополненія его историческаго труда, который вскорѣ явился въ свѣтъ, подъ заглавіемъ: „Исторія Россійская отъ древнѣйшихъ временъ сочинена княземъ Михайломъ Щербатовымъ“. Первый томъ этого труда вышелъ въ 1770 г. и затѣмъ до 1792 г. издано еще пять книгъ;¹⁾ но Исторія доведена только до воцаренія Михаила Ѳеодоровича. Въ посвященіи своего труда Императрицѣ Екатеринѣ авторъ говорилъ, между прочимъ:

„Ваше Величество не презрѣли возрѣтъ на мое трудолюбіе и паче на извѣстную Вашему Величеству любовь мою къ оте-

¹⁾ Вся Исторія Щербатова заключается въ одиннадцать томахъ in-4^о; вѣроятно, потребность въ книгѣ была значительная, потому что уже въ 1794 г. она вышла вторымъ изданіемъ.

честву — соблаговолили мнѣ повелѣть сообщить собраніе древнихъ списковъ, обрѣтающихся въ государственныхъ книгохранилищахъ и архивахъ, изъ коихъ, по большей части сочиня сей трудъ, дерзаю къ стопамъ Вашего Императорскаго Величества предложить“.

Занимаясь составленіемъ подробнаго и большаго историческаго труда, князь Щербатовъ, въ то же время, ревностно издавалъ отдѣльныя изданія историческихъ памятни-



Князь М. М. Щербатовъ.

ковъ и занимался разработкою частныхъ вопросовъ русской исторической науки. Такихъ были изданы въ свѣтъ: „Краткая повѣсть о бывшихъ въ Россіи самозванцахъ“, „Царственная книга“, „Царственный лѣтописецъ“, „Лѣтописи о многихъ мятежахъ“, „Бумаги, письма и повсидневныя записки Петра Великаго“ и. т. д. А съ другой стороны, по вопросу о родословіи, князь Щербатовъ составилъ „Краткое историческое повѣствованіе о началѣ родовъ князей Россійскихъ, происходящихъ отъ великаго князя Юрьика (М. 1785 г.)“; и вопросу о русской

нумизматикѣ посвятилъ другое послѣдованіе, подѣ заглавіемъ: „Опытъ о древнихъ Россійскихъ монетахъ“.

Изъ этого перечня историческихъ трудовъ и послѣдованій князя Щербатова видно, что занятіе Русскою Исторіею составляло для него насущную потребность—задачу цѣлой жизни. Многотомный трудъ его, написанный тяжелымъ и неправильнымъ языкомъ, представляетъ собою однакоже большой шагъ впередъ, въ смыслѣ послѣдованія и изложенія историческаго матерьяла: онъ старается соблюсти связь между событіями, указываетъ на ихъ причины и слѣдствія и пытается обставить ихъ всевозможными объясненіями, то сравнивая съ историческими событіями въ жизни другихъ народовъ, то сопоставляя событія различныхъ эпохъ.

При весьма большой начитанности и близкомъ знакомствѣ съ иностранною историческою литературою, князь Щербатовъ является въ своей Исторіи горячимъ сторонникомъ національныхъ русскихъ началъ и въ политикѣ, и въ управленіи, и въ устройствѣ государственномъ. Эти воззрѣнія свои онъ еще яснѣе высказываетъ въ своихъ двухъ другихъ сочиненіяхъ, касающихся современной ему эпохи; одно изъ нихъ изложено въ формѣ „Письма къ вельможамъ, правителямъ государства“, а другое—въ формѣ объемистой записки „О поврежденіи нравовъ въ Россіи“. Въ первомъ сочиненіи князь Щербатовъ укоряетъ современныхъ ему вельможъ и правителей въ неуваженіи къ законамъ, въ своекорыстіи и лѣности... „Вы опредѣлены быть исполнители законовъ“, говоритъ Щербатовъ;—„но прилагаете ли вы прилежное ваше стараніе достигнуть до совершеннаго познанія оныхъ? Оставляете вы сію важную науку вашимъ секретарямъ, которые или для собственныхъ вашихъ пользъ васъ обманываютъ, или вы саміе несправляясь черезъ секретарей... самопронзательно судите...“ При этомъ Щербатовъ сурово напоминаетъ „вельможамъ“ и „правителямъ“, что они „обогащены щедродаровитостію монарха отъ сокровищъ народныхъ. Чѣмъ же вы воздадите народу, коего сокровища служатъ къ обогащенію вашему?...“

Въ сочиненіи „О поврежденіи нравовъ“ князь Щербатовъ, въ противоположность многимъ другимъ авторамъ и поэтамъ со-

временной ему эпохи, рисуетъ неособенно-утѣшительную картину общественныхъ нравовъ въ екатерининское время. Во всѣхъ осужденіяхъ князя Щербатова мы не видимъ никакого оязбленія, никакаго жестокости и слышимъ только голосъ суроваго моралиста и честнаго человѣка, который не способенъ прикрашивать картину и дѣлать ее болѣе привлекательною, нежели она была въ дѣйствительности. Въ этой запискѣ авторъ прежде всего задается вопросомъ: откуда взялась современная ему „развратность“ (понимая это слово въ общемъ и довольно широкомъ смыслѣ „извращенія“ нравовъ)? И приходитъ къ заключенію, что, главнымъ образомъ, „поврежденіе нравовъ“ началось съ Петровской реформы. Для того, чтобы пояснить и подтвердить свою мысль (не вполне справедливую), князь Щербатовъ рисуетъ въ очень привлекательномъ свѣтѣ общественные порядки и простоту нравовъ до-Петровской эпохи. Осуждая многое въ Петровской реформѣ, князь Щербатовъ не отрицаетъ однакоже ея необходимости, и если обвиняетъ въ чемъ Великаго Преобразователя, то исключительно — въ томъ, что онъ вводилъ реформу слишкомъ поспѣшно, слишкомъ круто и сурово, не относясь съ должнымъ уваженіемъ ни къ народнымъ нуждамъ, ни къ преданіямъ родной старины.

Въ этомъ слышится голосъ современника Императрицы Екатерины и сторонника ея мягкихъ и гуманныхъ реформъ... „Хотя Россія, чрезъ труды и попеченія сего государя, приобрѣла знакомство ¹⁾ въ Европѣ... Но тогда же искренняя привязанность къ вѣрѣ стала исчезать, таинства стали впадать въ презрѣніе, твердость уменьшилась, уступая мѣсто нагло стремящейся лести, роскошь и сластолюбіе положили основаніе своей власти, а снѣгъ побуждено и корыстолюбіе, къ разрушенію законовъ и ко вреду гражданъ“... Подробно разбирая исторію „поврежденія нравовъ“ при наслѣдникахъ и преемникахъ Петра Великаго, Щербатовъ съ особенною строгостью осуждаетъ роскошь, которая проникла въ наши нравы при посредствѣ Двора и придворныхъ. „А отъ великихъ принимали и малые“—замѣчаетъ онъ. „Вельможи, проживаясь, привязывались болѣе ко Двору, яко ко источнику милостей,

а нижніе къ вельможамъ для той-же причины“... Вообще, это сочиненіе Щербатова и любопытно, и важно не только по идеѣ, положенной въ основу его, но еще и по тѣмъ подробностямъ о нравахъ и личностяхъ, которыя сообщаетъ намъ авторъ записки „о поврежденіи нравовъ“.

Серьезные и добросовѣстные труды князя Щербатова по Русской Исторіи и по разбору нѣкоторыхъ общественныхъ вопросовъ современности нашли себѣ отголосокъ въ трудахъ другаго ученаго екатерининской эпохи, который посвятилъ много трудовъ на критическій разборъ „Исторіи Россійской“ и выказалъ при этомъ не только много остроумія и таланта, но и весьма положительную, весьма серьезную подготовку къ ученымъ трудамъ. Этотъ критикъ Щербатова былъ никто иной, какъ генералъ-маіоръ Болтинъ—одинъ изъ просвѣщеннѣйшихъ русскихъ людей второй половины прошлаго столѣтія.

Иванъ Никитичъ Болтинъ родился около Казани въ 1735 г. (1-го января). Первоначальное образованіе получилъ въ родительскомъ домѣ и въ частныхъ пансіонахъ. Затѣмъ, по обычаю времени, поступилъ въ военную службу и дослужился въ Конной Гвардіи до штабъ-офицерскихъ чиновъ. Въ 1776 году онъ оставилъ военную службу и на нѣкоторое время назначенъ былъ директоромъ одной изъ таможенъ въ Кіевской губерніи. Около этого времени, по страсти къ изученію Россіи въ историческомъ, этнографическомъ и географическомъ отношеніяхъ, Болтинъ въ теченіе 2—3 лѣтъ путешествовалъ по южнымъ провинціямъ Россіи и всюду наблюдалъ, спрашивалъ, собиралъ матеріалы для своего будущаго обширнаго труда по изученію Россіи. Изъ дальнѣйшей его біографіи намъ извѣстно, что въ 1780 г. онъ былъ назначенъ прокуроромъ при Военной Коллегіи и нѣкоторое время состоялъ правителемъ канцеляріи у князя Потемкина-Таврическаго.

Служебная дѣятельность, видимо, не мешала Болтину заниматься наукой и литературой, и труды его были настолько замѣтны, настолько извѣстны современникамъ, что уже съ 1784 г. мы видимъ Болтина членомъ Россійской Академіи, которой онъ

¹⁾ „Приобрѣла знакомство“—въ см. „сдѣлалась извѣстна“.

оказываетъ несомнѣнныя услуги, принявъ на себя обработку нѣкоторыхъ буквъ для извѣстнаго Словаря Россійской Академіи.

Но любимымъ занятіемъ Болтина, отъ юности и до самой смерти, было изученіе Россіи въ различныхъ отношеніяхъ и преимущественно со стороны исторической. Въ этомъ историческомъ изученіи Россіи Болтину было особенно полезно его сближеніе и дружескія связи съ другими просвѣщеннѣйшимъ вельможей екатерининскаго вѣка —



И. Н. Болтинъ.

съ графомъ А. И. Мусинымъ-Пушкинымъ. Мусинъ-Пушкинъ обладалъ огромною, богатѣйшею библіотекою и драгоценнымъ собраніемъ рукописей. Этой-то библіотекѣ и этому рукописному собранію Болтинъ и былъ обязанъ большей частью своихъ обширныхъ историческихъ познаній. Вмѣстѣ съ Мусинымъ-Пушкинымъ и Елагиннымъ Болтинъ немало потрудился надъ изданіемъ

двухъ важныхъ памятниковъ нашей русской старины: — надъ „Поученіемъ Владиміра Мономаха“ и надъ толковымъ изданіемъ „Русской Правды“, которую онъ снабдилъ чрезвычайно любопытными примѣчаніями.

Но главнымъ поводомъ, вызвавшимъ Болтина къ его ученымъ трудамъ, было появленіе на французскомъ языкѣ книги Леклерка, который, пробывъ довольно долго на службѣ въ Россіи (въ царствованіи Елисаветы Петровны и Екатерины II), рѣшился напечатать „Исторію Россіи“, переполненную невѣжественными и грубыми промахами и ошибками, и что еще гораздо хуже — злонамѣренною ложью и клеветами на Россію и Русскихъ людей. Возмущенный общимъ характеромъ книги Леклерка, Болтинъ рѣшился ее разобрать до мелочей и написалъ на нее опроверженіе въ двухъ объемистыхъ томахъ, подъ заглавіемъ: „Примѣчанія на Исторіи древнія и нынѣшнія Россіи г. Леклерка, сочиненныя генераль-майоромъ Иваномъ Болтинымъ“ (1788 г.). Въ этихъ „Примѣчаніяхъ“ Болтинъ, мѣстами, критиковалъ и „Исторію Россійскую“ Щербатова, на которую Леклеркъ неоднократно ссылается въ своей книгѣ. Щербатовъ оскорбился „Примѣчаніями“ Болтина и на нихъ написалъ довольно обширный отвѣтъ въ видѣ „Письма къ пріятелю“.

Но Болтинъ не остался у него въ долгу: — онъ напечаталъ „Отвѣтъ на Письмо князя Щербатова, сочинителя Россійской Исторіи“¹⁾, въ которомъ очень вѣрно выставилъ на видъ всѣ недостатки историческаго труда Щербатова; а потомъ посвятилъ разборъ этого труда еще два тома критическихъ примѣчаній. Извѣстный историкъ нашъ Соловьевъ, оцѣнивая значеніе этихъ критическихъ трудовъ Болтина, отмѣчаетъ ту главную цѣль, которою задался авторъ въ своей полемикѣ съ оклеветавшимъ Россію французомъ: — онъ хотѣлъ защитить Россію отъ несправедливыхъ нападокъ иноземца, хотѣлъ сдѣлать благопріятный выводъ изъ фактическаго изученія матерьяловъ по Русской Исторіи — „хотѣлъ отыскать живую связь между прошедшимъ и настоящимъ“ — уяснить

¹⁾ Этотъ „Отвѣтъ“ и два тома критическихъ примѣчаній вышли въ свѣтъ уже послѣ смерти автора, который скончался 6 октября 1792 года въ С.-Петербургѣ.

ходъ Русской Исторіи, не похожей ни на какія другія“.

Въ этомъ смыслѣ, Соловьевъ совершенно справедливо называетъ книгу Болтина „первымъ трудомъ по Русской Исторіи, въ которомъ проведена одна основная мысль—одинъ общій взглядъ на цѣлый ходъ исторіи“.

Уважая ученые заслуги Болтина и зная его горячую любовь къ отечеству, Екатерина хотѣла поручить ему составленіе обширнаго и разносторонняго описанія губерній и областей Россіи, и Болтинъ ревностно принялся за собираніе и приведеніе въ порядокъ обширнаго историко-географическаго матерьяла; но смерть помѣшала ему привести въ исполненіе его обширные планы. По смерти Болтина, Екатерина приобрѣла отъ его наслѣдниковъ всѣ оставшіяся послѣ него бумаги (около ста большихъ связокъ), внимательно пересмотрѣла ихъ и затѣмъ подарила графу А. И. Мусину-Пушкину, съ которымъ Болтинъ былъ такъ тѣсно связанъ при жизни своими научными трудами и пристрастіями. Къ сожалѣнію, эти драгоценные матерьялы, вытѣсь со всею превосходною и весьма обширною библіотекою А. И. Мусина-Пушкина, погибли въ московскомъ пожарѣ 1812 года.

Говоря о научномъ движеніи въ литературѣ въ екатерининское время, невозможно пройти молчаніемъ дѣятельность одного изъ знаменитѣйшихъ ученыхъ и духовныхъ ораторовъ славнаго царствованія Императрицы Екатерины—митрополита Московскаго Платона.

Платонъ (въ мѣрѣ Петръ Георгіевичъ) Левшинъ родился въ 1737 г., въ подмосковномъ селѣ Чашникахъ, гдѣ его отецъ былъ священникомъ. Образование получилъ въ Московской Духовной Академіи, гдѣ, по вступленіи въ богословскій классъ (1757 г.), былъ въ то же время и учителемъ, и катехизаторомъ. Покровительствовавшій ему архимандритъ Троице-Сергіевой лавры, Гedeонъ Кривовскій, перевелъ его учителемъ риторики въ лаврскую семинарію—и здѣсь, на 22-мъ году, юный Платонъ постригся въ монахи. Въ 1762 г. мы уже видимъ его ректоромъ семинаріи, несмотря на свою молодость пользующимся общеою извѣстностью за свою ученость и природный даръ къ краснорѣчію.

Платонъ, видимо, не теряя времени даромъ и постоянно участь, постоянно работая, жадно приобрѣталъ все новыя и новыя свѣдѣнія и широко пользовался сокровищами богатой лаврской библіотеки. Уже въ 1762 г. Екатерина, при проѣздѣ черезъ Москву и посѣщеніи лавры, обратила вниманіе на привѣтственную рѣчь Платона; а въ слѣдующемъ году, когда Екатерина вновь пріѣхала въ лавру, она была поражена силою и глубокимъ значеніемъ рѣчи Платона, который говорилъ „о пользѣ благочестія“. Эта рѣчь такъ глубоко запала въ душу Екатерины, что она пожелала приблизить къ себѣ Платона, по-



Митрополитъ Платонъ.

желала чаще слышать его дивныя рѣчи и потому назначила его наставникомъ по закону Божію при Цесаревичѣ и придворнымъ проповѣдникомъ. Самую рѣчь Императрица тотчасъ приказала напечатать и старалась распространить между своими приближенными.

Цѣлыя десять лѣтъ провелъ Платонъ въ непосредственной близости ко Двору и

сумѣлъ приобрести здѣсь такое вліяніе и значеніе, какимъ не пользовались и знатнѣйшіе изъ вельможъ. Недаромъ Екатерина говаривала о немъ: „Отецъ Платонъ дѣлаетъ изъ насъ все, что хочетъ; хочетъ онъ, чтобы мы плакали, — мы плачемъ; хочетъ, чтобы мы смѣялись, — и мы смѣемся“. Свѣтлый умъ, при очень ровномъ и спокойномъ характерѣ, умѣнье быстро схватывать главную суть дѣла и угадывать ту практическую пользу, которую можно было изъ него извлечь — вотъ тѣ черты, которыя особенно цѣнила Екатерина въ Платонѣ, и которыя внушали ей къ нему довѣріе. Довѣряя ему, она не только постоянно давала ему трудныя порученія, но даже прибѣгала къ нему за совѣтомъ и указаніями. Такъ она поручила ему составленіе новаго проекта для лучшаго устройства духовныхъ училищъ; побуждала его заняться вопросомъ о раскольникахъ, и просила рассмотреть написанный ею „Наказъ“...

Высокоталантливая, живая и горячія проповѣди Платона очень мало походили на проповѣди другихъ духовныхъ ораторовъ, которыми былъ довольно богатъ вѣкъ Екатерины. Платонъ, — какъ человекъ весьма образованный, постоянно слѣдившій за всѣми выдающимися явленіями и за всѣми важнѣйшими направленіями современной жизни и литературы, — умѣлъ превосходно выбирать темы для своихъ проповѣдей. Въ однѣхъ рѣчахъ своихъ онъ касался животрепещущихъ вопросовъ современности и давалъ на нихъ простѣйшіе отвѣты; въ другихъ — смѣло выступалъ противъ современныхъ общественныхъ явъ и пороковъ, и каралъ ихъ смѣло, твердо, неуклонно; въ третьихъ, наконецъ, онъ принималъ на себя трудъ истолкованія новыхъ мѣропріятій Правительства. Ни въ одной изъ проповѣдей своихъ онъ не старается угодить своимъ слушателямъ или польстить ихъ слабостямъ. При этомъ онъ придаетъ очень мало цѣны такъ называемому ложному, поверхностному просвѣщенію, которое болѣе мѣняетъ вѣнность людей, нежели ихъ внутреннія, душевныя качества.

Прекрасно замѣчаетъ по этому поводу въ одномъ изъ своихъ словъ Платонъ:

„...Предки наши, можетъ быть, не были учены, но были просвѣщенны. Можетъ быть, не знали они измѣреній земли, теченія звѣздъ, выкладки математическихъ и прочаго подоб-

наго, но знали, въ чемъ состоитъ благочестіе, какая есть жизнь богоугодная, что есть добродѣтель и честность, и что есть порокъ и постыдность.“

Воспользовавшись своимъ пребываніемъ при Дворѣ, Платонъ выучился французскому языку, ознакомился съ сочиненіями энциклопедистовъ и вступилъ въ сильнѣйшую борьбу съ безвѣріемъ, которое дѣлало быстрые успѣхи въ русскомъ обществѣ екатерининскихъ временъ. И въ особенности эти проповѣди Платона до такой степени были своевременными и производили такое сильное впечатлѣніе, что ихъ стали переводить на иностранные языки, и проповѣдническая слава Платона разнеслась далеко по Европѣ.

Въ теченіи десятилѣтій, проведеннаго при Дворѣ Екатерины, Платонъ быстро поднялся въ средѣ русскаго духовенства, пролагая себѣ путь и природными дарованіями, и усиленными трудами. Въ 1770 г. Платонъ былъ назначенъ Тверскимъ епископомъ; въ 1773 г. — архіепископомъ Московскимъ, а въ 1787 — Московскимъ митрополитомъ. Въ этомъ высокомъ санѣ онъ ревностно заботился объ улучшеніи и устройствѣ быта московскаго духовенства и, въ особенности, объ улучшеніи образованія, которое можно было получать въ духовныхъ училищахъ. Имѣя постоянно въ виду нужды духовнаго образованія, Платонъ неунынно трудился надъ составленіемъ учебниковъ для духовенства и нѣкоторые изъ нихъ обработалъ превосходно. Такъ, напримѣръ, Краткая Богословія его, изданная въ 1765 г., не только у насъ, въ Россіи, получила весьма широкое распространеніе, но была переведена на языки латинскій, греческій, армянскій, грузинскій, иѣмекскій, англійскій, голландскій и французскій. Англійскіе богословы внесли даже это руководство почти цѣликомъ въ курсы, преподаваемые студентамъ Кембриджскаго и Оксфордскаго университетовъ. Гораздо болѣе важнымъ трудомъ митрополита Платона было его сочиненіе: „Церковная Россійская Исторія“ — первый и весьма замѣчательный опытъ изложенія Исторіи Русской Церкви.

Митрополиту Платону пришлось еще торжественно короновать любимаго внука Екатерины, Императора Александра I, которого онъ также привѣтствовалъ смѣло и краснорѣчиво. Но въ царствованіе Алек-

сандра Платонъ уже тяготился своимъ высокимъ саномъ и помышлялъ о покое: — послѣдніе годы жизни онъ и провелъ почти безвыѣздно въ своемъ любимомъ Спасо-Виновскомъ монастырѣ, отстроенномъ, подлѣ надворомъ Платона, невдалекѣ отъ лавры. Особенно тревожили Платона отношенія Россіи къ Наполеону, а бѣдствія Отечествен- ной войны даже въ значительной степени способствовали усиленію его недуга и уско- ренію его кончины. Онъ скончался въ своемъ уединеніи 11-го нояб. 1812 г., вскорѣ послѣ полученія вѣстія о быстрыхъ успѣхахъ русской арміи, отгнѣсавшей непріятеля къ границѣ.

Для характеристики того значенія, кото- рымъ пользовался митрополитъ Платонъ въ

концѣ XVIII вѣка не только у насъ, въ Россіи, но даже и за границей, припом- нимъ здѣсь нѣвѣстный анекдотъ о знаком- ствѣ Платона съ Австрійскимъ императо- ромъ Іосифомъ II, пріѣзжавшимъ въ Россію подлѣ именемъ графа Фалькенштейна. Импе- раторъ посѣтилъ, между прочимъ, и Москву, провелъ въ ней нѣсколько дней, осматривая ея сокровища и достопамятности, познако- мился при этомъ съ Платономъ и нѣсколько разъ бесѣдовалъ съ нимъ о разныхъ науч- ныхъ и богословскихъ вопросахъ. Когда онъ вернулся изъ Москвы въ Петербургъ, Ека- терина обратилась къ нему съ вопросомъ: „что нашелъ онъ достопримѣчательнаго въ Москвѣ?“ — „Я тамъ видѣлъ Платона!“ отвѣчалъ Императоръ.





ПЕРІОДЪ СЕДЬМОЙ.

ОТЪ КАРАМЗИНА ДО ПУШКИНА.

ХІ.

Жизнь и дѣятельность Н. М. Карамзина. — Біографическія подробности. — Сентиментализмъ и форма, приданная ему Карамзинымъ. — Услуги, оказанныя Карамзинымъ русскому литературному языку. — Карамзинъ, какъ поэтъ, журналистъ и критикъ.

Въ концѣ царствованія Екатерины II въ литературѣ нашей проявляется замѣтно новое направленіе, проводимое въ цѣломъ рядѣ произведеній новой школы молодыхъ писателей. Эта новая школа писателей установляетъ болѣе вѣрные взгляды на литературу, собираетъ матерьялы для критики, то въ видѣ хорошихъ переводовъ лучшихъ иностранныхъ образцовъ, то въ видѣ различныхъ попытокъ разбора литературныхъ произведеній русской и иностранныхъ литературъ, и этимъ въ значительной степени способствуетъ развитію въ обществѣ вкуса къ литературѣ. Во главѣ этой новой школы, которая оказала важныя услуги русской литературѣ и журналистикѣ, выступилъ Карамзинъ, какъ журналистъ, литераторъ, поэтъ и ученый. Одинъ изъ новѣйшихъ біографовъ Карамзина съ замѣчательною наглядностію подраздѣляетъ жизнь Карамзина, по ея совпаденію съ царствованіями Екатерины и Александра, на двѣ равныя половины:

„Жизнь Карамзина“, — говоритъ онъ — „продолжавшаяся 60 лѣтъ, знаменательно совпадаетъ съ пространствомъ времени отъ первыхъ годовъ царствованія Екатерины II до кончины Императора Александра Павловича, котораго онъ пережилъ только немногими мѣсяцами. Это шестидесятилѣтіе раздѣляется на двѣ равныя половины, изъ которыхъ одна вся принадлежитъ вѣку Екатерины, а другая, самую значительную частію, — вѣку Александра. Въ первой Карамзинъ былъ поэтомъ и литераторомъ, въ послѣдней почти исключительно историкомъ. Въ кратковременное правленіе Императора Павла онъ готовился къ переходу отъ изящной литературы къ строгой наукѣ“. Нѣсколько далѣе, тотъ же біографъ еще точнѣе опредѣляетъ границы періодовъ „авторской жизни“ Карамзина, въ связи съ важнѣйшими моментами его литературной дѣятельности:

„Авторская жизнь Карамзина представляетъ три очень явственно разграниченные

періода. Написанное имъ до путешествія по Европѣ—почти исключительно переводы—можетъ быть названо его ученическими опытами. По возвращеніи въ Россію, 25 лѣтъ отъ роду, подъ конецъ царствованія Екатерины II, онъ вдругъ является мастеромъ своего дѣла, журналистомъ и писателемъ съ самостоятельнымъ взглядомъ на языкъ и литературу; начинаетъ писать такъ, какъ еще никто не писалъ, и увлекаетъ за собою большинство общества. Въ избыткѣ молодыхъ силъ онъ переходитъ отъ одного предпріятія къ другому... Но эта разнообразная и нѣсколько суетливая дѣятельность не удовлетворяетъ его созрѣвшій талантъ: онъ чувствуетъ потребность предпринять такой трудъ, который—бы наполнялъ всю его жизнь,—создать нѣчто цѣлое, монументальное: онъ берется за Русскую исторію и неутомимо работаетъ надъ нею 23 года, до самой смерти своей*. И эти двадцать три года составляютъ третій и послѣдній періодъ жизни Карамзина.

Къ сожалѣнію, первый періодъ жизни и дѣятельности Карамзина извѣстенъ очень мало и представляетъ собою много пробѣловъ, много темныхъ мѣстъ. Самый годъ рожденія Карамзина еще недавно обозначался невѣрно: годомъ его рожденія считали годъ смерти Ломоносова (1765). Въ настоящее время достоверно извѣстно, что Николай Михайловичъ Карамзинъ родился 1-го декабря 1766 года, въ Симбирской губерніи, гдѣ отецъ его имѣлъ помѣстье. Родъ Карамзиныхъ однакоже не принадлежалъ къ числу коренныхъ симбирскихъ дворянскихъ родовъ и происходилъ по прямой линіи отъ Карамурзы, татарскаго князька, поступившаго на службу Москвы еще при царяхъ, принявшаго тогда же крещеніе и получившаго землю въ Нижегородской губерніи. Одинъ изъ потомковъ его, Михаилъ Егоровичъ Карамзинъ, служилъ въ молодости въ военной службѣ, въ Оренбургѣ, уволенъ былъ въ отставку капитаномъ и, наравнѣ со многими другими офицерами, надѣленъ землею въ Оренбургской (нынѣ Самарской) губерніи. Тамъ устроилъ онъ усадьбу, и часто наѣзжалъ въ нее хозяйничать и охотиться. Отъ перваго брака его и родился Николай Михайловичъ, и вмѣстѣ со старшимъ братомъ выросъ и воспитался до юношескаго возраста дома, подъ надзо-

ромъ отца и матушки (мать Карамзина скончалась, когда онъ былъ еще ребенкомъ). Дѣтство его протекло на берегахъ Волги и въ Оренбургскихъ степяхъ,—точно также, какъ и дѣтство Державина. Ему было лѣтъ четырнадцать, когда его отвезли въ Москву и опредѣлили въ лучшее учебное заведеніе того времени—въ пансіонъ Шадена, одного изъ наиболѣе талантливыхъ профессоровъ Московскаго университета. Карамзинъ, вѣроятно, былъ очень мало и плохо подготовленъ для серьезнаго ученія, хоть и до поступленія въ пансіонъ Шадена уже успѣлъ побывать въ рукахъ у разныхъ домашнихъ учителей и даже въ какомъ-то симбирскомъ пансіонѣ. Однакоже умный и способный юноша, въ которомъ очень рано проявилась страсть къ чтенію, и которому никто не препятствовалъ въ самомъ полномъ удовольствіи этой страсти, былъ развитъ и начитанъ не по лѣтамъ. Образование въ пансіонѣ Шадена было общимъ, неспеціальнымъ, и не имѣло вовсе никакого классическаго характера. Такъ, напр., достоверно извѣстно, что древними языками Шаденъ не училъ Карамзина. Кажется, что и съ новѣйшими языками въ его пансіонѣ Карамзинъ не успѣлъ достаточно ознакомиться и доучивался имъ уже впоследствии, особенно во время путешествія по Европѣ. Не можетъ, однакоже, подлежать сомнѣнію тотъ фактъ, что не только пребываніе въ пансіонѣ Шадена было весьма полезно для Карамзина со стороны образованія вообще, но и самое сближеніе съ такимъ опытнымъ, умнымъ и честнымъ педагогомъ, какъ Шаденъ, сильнѣе повліяло на развитіе и направленіе будущаго писателя.

Очень рано проявилось въ молодомъ Карамзинѣ желаніе заниматься литературою: въ 1783 г. онъ поступилъ въ военную службу и вмѣстѣ съ тѣмъ напечаталъ первый свой литературный опытъ—переводъ Геснеровой идилліи „Деревянная нога“. Въ военной службѣ однакоже Карамзинъ оставался очень не долго, и долженъ былъ здѣсь испытать первое разочарованіе. Ему хотѣлось непременно попасть въ дѣйствующую армию; но оказалось, что назначеніе туда офицеровъ зависитъ исполнѣн отъ полковаго секретаря, который за назначеніе бралъ взятки. У Карамзина не хватило средствъ на то чтобы дать ему взятку—„у него было всего

сто рублей въ карманѣ". И вотъ, послѣ того, какъ эта неожиданная неудача охладилъ его воинскій жаръ, Карамзинъ покидаетъ свой преображенскій мундиръ и уѣзжаетъ на родину, гдѣ около этого времени скончался его отецъ. Это было въ концѣ 1783 или въ началѣ 1784 года.

Пробывъ около года въ Петербургѣ, Карамзинъ успѣлъ подружиться ¹⁾ тамъ съ И. И. Дмитріевымъ, въ то время такимъ же какъ онъ гвардейскимъ офицеромъ. Почти одновременно вступили они и на литературное поприще со своими первыми опытами....

„Въ Сибирскѣ я видѣлся съ Карамзинымъ“, пишетъ Дмитріевъ въ своихъ Запискахъ — „и пробылъ съ нимъ короткое время. Я нашелъ его уже играющимъ роль надежнаго на себя свѣтскаго человѣка: рѣшительнымъ за вистовымъ столомъ, любезнымъ и занимательнымъ въ дамскомъ кругу, политикомъ, передъ отцами семейства, которые хотя и не привыкли слушать молодежь, но его слушали“. Разсѣянная жизнь, впрочемъ, не отбивала у Карамзина охоты заниматься словесностью: мы знаемъ, что онъ читалъ и переводилъ Вольтера въ это время... Вскорѣ однакоже землякъ Карамзина и Дмитріева, Иванъ Петровичъ Тургеневъ, который по предъидущему уже извѣстенъ намъ, какъ одинъ изъ дѣятельнѣйшихъ членовъ „Дружескаго Общества“, уговорилъ молодого Карамзина покинуть провинцію и ѣхать вмѣстѣ съ нимъ въ Москву. Здѣсь ввелъ онъ Николая Михайловича въ новиковскій кружокъ, въ которомъ Карамзинъ доиспыталъ окончательно подвѣзліе другаго друга своего, Александра Петровича Петрова, одного изъ молодыхъ людей, занимавшихся въ новиковскомъ кружкѣ переводами книгъ изъ иностранныхъ языковъ. „Петровъ“ — по видѣтельству И. И. Дмитріева — „знакомъ былъ съ древними и новыми языками, при глубокомъ знаніи отечественнаго слова, одаренъ былъ необыкновеннымъ умомъ и способностью къ здоровой критикѣ; но къ сожалѣ-

нію ничего не писалъ для публики, а упражнялся только въ переводахъ, изъ которыхъ извѣстны первые два года еженедѣльника, подъ названіемъ „Дѣтское Чтеніе“. „Учитель“, въ двухъ томахъ, „Хризомандеръ“ — мистическое сочиненіе, и „Багватгата“ — также родъ мистической поэмы, на санскритскомъ языкѣ и переведенной съ нѣмецкаго. Карамзинъ полюбилъ Петрова, хотя они были не во всемъ сходны между собою: одинъ пылокъ, откровененъ и безъ малѣйшей желчи; другой же — угрюмъ, молчаливъ и модѣ-часть насмѣшливъ; но оба питали равную страсть къ познаніямъ, извѣстному, имѣли одинаковую силу въ умѣ, одинаковую доброту въ сердцѣ, и это заставляло ихъ прожить долгое время въ тѣсномъ согласіи подъ одною кровлею, у Меншиковой башни, въ старинномъ каменномъ домѣ, принадлежавшемъ „Дружескому Обществу“ ²⁾. Я какъ теперь вижу скромное жилище молодыхъ словесниковъ: оно раздѣлено было тремя перегородками: въ одной стоялъ на столѣ, покрытомъ зеленымъ сукномъ, гипсовый бюстъ мистика Шварца, умершаго незадолго передъ моимъ пріѣздомъ изъ Петербурга въ Москву, а другая осыпалась Иисусомъ на Крестѣ, подъ покровомъ чернаго креста“.

Судя по этимъ подробностямъ, которые сообщаетъ Дмитріевъ, Карамзинъ вѣроятно вовлеченъ былъ и въ масонство, но въ какой степени и какъ долго оставался въ средѣ масоновъ — это вопросы, до сихъ поръ совершенно темные. Извѣстно только то, что мистцизмъ пришелъ ему не по душѣ и что проникнутыя ученіемъ мистиковъ до увлеченія онъ не могъ. По всѣмъ современнымъ свидѣтельствамъ, Карамзинъ скорѣе оставилъ масоновъ, и никогда впослѣдствіи не отвѣсилъ къ ихъ ученію сочувственно, хотя многія стороны ихъ дѣятельности и взглядовъ, духъ религіозности, человѣколюбіе, братская любовь къ ближнему и патріотическое настроеніе — все это должно было несомнѣнно нравиться Карамзину и даже нагло себѣ

¹⁾ Дружба эта представляетъ собою нѣчто весьма замѣчательное и въ значительной степени характеризующее нравственную личность Карамзина и его время; достаточно будетъ припомнить здѣсь, то памятникомъ этой дружбы осталось почти 40-лѣтняя переписка Карамзина съ И. И. Дмитріевымъ, составляющая вѣсть съ „Записками“ Дмитріева одинъ изъ драгоценнѣйшихъ источниковъ для біографіи Карамзина — ²⁾ Изображеніе этого дома, снятое нами съ натуры, помѣщено выше, на стр. 127.

отголоски въ его послѣдующей литературной дѣятельности.

Связи съ новиковскимъ кружкомъ, повидному, главнѣйшимъ образомъ заключались въ тѣхъ литературныхъ и переводческихъ работахъ, которыя принялъ на себя Карамзинъ, участвуя въ изданіи „Дѣтскаго Чтенія“, издававшегося подъ редакцію его закадычнаго друга, А. А. Петрова. Намъ сохранилось случайно нѣсколько писемъ этого друга юности Карамзина, и притомъ писемъ весьма замѣчательныхъ, прекрасно характеризующихъ намъ малопознанную личность Петрова, о которомъ Карамзинъ всю жизнь сохранялъ самыя теплыя воспоминанія, называя періодъ сближенія съ нимъ важнѣйшимъ періодомъ своей жизни. И дѣйствительно, „письма Петрова, исполненныя юношескаго юмора, рисуютъ намъ живо, талантливаго человѣка, съ умомъ строгимъ и критическимъ, съ основательными познаніями“, и который могъ имѣть сильное вліяніе на взгляды, вкусы и занятія Карамзина¹⁾. Эти сохранившіяся намъ письма Петрова писаны были имъ къ Карамзину въ 1785 году, во время отлучки Карамзина изъ Москвы въ Симбирскъ. Особенно любопытно для характеристики обоихъ друзей письмо отъ 20 мая 1785 г., писанное, какъ видно, въ отвѣтъ на письмо Карамзина, сообщавшаго Петрову о занятіяхъ своихъ въ Симбирскѣ. „Слава просвѣщенію нынѣшняго столѣтія и дальніе края озарившему!“ пишетъ Петровъ—„такъ восклицаю я при чтеніи твоихъ эпистолъ (не смѣю назвать русскимъ именемъ столь ученыхъ писаній), о которыхъ всякій подумалъ-бы, что онѣ получены въ Англіи или Германіи. Чего нѣтъ въ нихъ, касающагося до литературы? Все есть! Ты пишешь о переводахъ, собственныхъ сочиненіяхъ, о Шекспирѣ, о трагическихъ характерахъ, о несправедливой Вольтеровой критикѣ, равно какъ о кофе и табакѣ. Первое письмо твое сильно поколебало мое мнѣніе о превосходствѣ надъ тобою въ учености, второе же крѣпкимъ ударомъ спихнуло его съ ногъ; я спрятавъ свой кусочекъ латыни въ карманъ, отошелъ въ уголъ, сложилъ руки на грудь, повѣсилъ голову и призналъ слабость мою передъ тобою, хотя ты по латыни и не учился“...

Видно, что Петровъ былъ и остроумецъ, и побуждалъ своего друга къ серьезному изученію иностранныхъ языковъ. Другимъ приятелемъ Карамзина въ кружкѣ московскихъ масоновъ былъ А. М. Кутузовъ, извѣстный переводчикъ „Мессіады“ Клопптока, пользовавшійся большимъ, между масонами. Подъ конецъ 80-хъ годовъ онъ былъ даже отправленъ московскими масонами на житье въ Берлинъ, гдѣ и принялъ на себя роль посредника въ сношеніяхъ русскихъ масонскихъ ложъ съ иностранными. Въ кружкѣ друзей, а можетъ быть и вообще въ кружкѣ масоновъ, Карамзинъ былъ извѣстенъ подъ псевдонимомъ Рамзея, который былъ данъ ему или какъ сокращеніе его русской фамиліи, или, можетъ быть, просто какъ замѣна его имени, въ память знаменитаго въ масонскихъ преданіяхъ и масонской литературѣ шотландца Рамзея (ум. 1748). Подъ вліяніемъ кружка, изъ котораго составлено было „Дружеское Общество“, увлекаемый примѣромъ друзей своихъ, Кутузова и Петрова, Карамзинъ много работалъ надъ пополненіемъ своего образованія, много читалъ и переводилъ отчасти по собственному побужденію, отчасти по заказу и порученію „Дружескаго Общества“. Въ числѣ переводовъ его за это время извѣстны: поэма Галлера „О происхожденіи зла“ (1786), нѣсколько статей изъ „Штурмовыхъ размышленій о дѣлахъ Божіихъ въ царствѣ природы и провидѣніи, на каждый день года“. Сверхъ того, въ то же время (т. е. между 1785 — 88 г.), много переводныхъ и оригинальныхъ статей и мелкихъ произведеній Карамзина помѣщено было въ „Дѣтскомъ Чтеніи“, надъ изданіемъ котораго Карамзинъ трудился вмѣстѣ съ другомъ своимъ Петровымъ.

Принимая въ соображеніе тѣсныя дружескія связи Карамзина съ нѣкоторыми изъ членовъ масонскаго кружка, припоминая все то, что было сдѣлано по порученію „Дружескаго Общества“ Карамзинымъ до поѣздки его за границу, нельзя не признать того, что пребываніе въ новиковскомъ кружкѣ должно было, на первыхъ порахъ, оказать сильное вліяніе на Карамзина и даже оставить на всю жизнь глубокіе слѣды въ его нравственномъ развитіи, въ его убѣжденіяхъ и воззрѣніяхъ... Это вліяніе кружка

¹⁾ Рѣчь академика Грота, стр. 11.

имѣли въ немъ и ближайшіе пріатели его, не принадлежавшіе къ кружку, напр. И. И. Дмитріевъ, который, встрѣтившись въ Москвѣ съ Карамзинымъ, незадолго до его отъѣзда за границу, не узнавъ въ немъ прежняго беззаботнаго юношу. „Это былъ уже не тотъ юноша“—говоритъ Дмитріевъ— „который читалъ все безъ разбора, плѣнялся славою воина, но благочестивый ученикъ мудрости, съ пламеннымъ рвеніемъ къ усовершенію въ себѣ чело-вѣка“... Подобный отзывъ современника, вѣроятно извлеченный изъ бесѣдъ съ Карамзинымъ, даетъ возможность до нѣкоторой степени довѣрять преданію, утверждающему, будто путешествіе Карамзина стояло въ связи съ его отношеніями къ новиковскому кружку. Довѣряя подобному преданію, еще вовсе нѣтъ надобности предпо-лагать, чтобы путешествіе Карамзина за границу совершенно было на средства ма-новъ или выполнено по инструкціи, данной ему масонами. Даже и путешествуя за свои средства, но полагая цѣлью путе-шества „пламенное рвеніе къ усовер-шенію въ себѣ чело-вѣка“, Карамзинъ уже дѣйствовалъ на основаніи тѣхъ идей, которыя внушены были ему и преимуще-ственно развиты пребываніемъ въ кружкѣ, составлявшемъ „Дружеское Общество“.

Въ 1789 году Карамзинъ отправился за границу и, посѣтивъ Германію, Швейцарію, Францію и Англію, пробылъ за границею полтора года. Результатомъ его путешествія явились „Письма Русскаго Путешественника“, первое произведеніе, доставившее Ка-рамзину громкую извѣстность. Эти „Письма“ помѣщены были въ „Московскомъ Журналѣ“, на изданіе котораго Карамзинъ принялся съ самаго начала 1791 года, и который изда-валъ въ теченіе двухъ лѣтъ. Эта журналь-ная дѣятельность была, повидимому, слѣд-ствиемъ его путешествія за границу. Тамъ пришлось ему увидѣть писателей и журна-листовъ въ такомъ почетномъ, завидномъ по-ложеніи среди окружающаго ихъ общества, что 24-лѣтнему юношѣ мудро было не увлечься и, понадеявшись на свои силы, не пожелать добиться подобнаго же положенія себя дома. И дѣйствительно, возвратившись домой изъ-за границы, Карамзинъ рѣшается положительно отступить отъ того избитаго пути, по которому около него шло все со-

временное русское дворянство: онъ не по-ступаетъ на службу, а посвящаетъ себя исключительно литературной дѣятельности и ею стремится создать себѣ положеніе въ обществѣ.

Несмотря на то, что конецъ царствованія Екатерины и кратковременное царствованіе Павла I не могли быть ни въ какомъ случаѣ названы временемъ благопріятнымъ для по-священія себя литературѣ, Карамзинъ очень скоро успѣлъ обратить на себя общее вни-маніе, сдѣлаться любимцемъ читающей пу-блики и приобрести славу перваго между русскими писателями. Дѣвятидцатилѣтній пе-ріодъ времени отъ 1791—1803 гг., исклю-чительно посвященный Карамзинымъ жур-налистикѣ и литературѣ, представляетъ со-бою самый блестящій періодъ въ его лите-ратурной дѣятельности, которая за это вре-мя была настолько разнообразна, настолько соотвѣтствовала потребностямъ и вкусу боль-шинства читателей, что успѣхи Карамзина не могутъ удивлять насъ. Въ теченіе двухъ лѣтъ издавая „Московский Журналъ“, онъ умѣлъ уже придать ему ту форму и то раз-нообразіе состава, какія до этого времени не встрѣчались еще ни въ одномъ изъ рус-скихъ журналовъ, и были вѣроятно резуль-татомъ близкаго знакомства Карамзина съ иностранною журналистикою. Въ „Москов-скомъ Журналѣ“ помѣщались и переводныя и оригинальныя статьи, принадлежащія перу Карамзина и лучшихъ современныхъ пи-сателей — Хераскова, Державина, Дмѣ-тріева, Нелединскаго-Мелецкаго, Николаева, Ѳ. Львова — и „другихъ молодыхъ стихо-творцевъ“. За отдѣломъ стиховъ и прозы въ журналѣ Карамзина слѣдовала смѣсь (анекдоты, отчеты о театральныя пред-ставленія и т. п.) и отдѣлъ критиче-скій, въ которомъ мы видимъ рецензіи но-выхъ книгъ русскихъ и иностранныхъ. Рядомъ съ простыми и краткими рецензіями въ „Московскомъ Журналѣ“ помѣщались уже и довольно серьезные разборы важнѣй-шихъ произведеній иностранной и русской литературы, выказывающіе въ авторѣ дѣ-ствительный критическій тактъ. Но глав-нымъ украшеніемъ „Московского Журнала“ явились произведенія самого Карамзина: „Письма Русскаго Путешественника“ и двѣ повѣсти — „Наталья, боярская дочь“ и „Вѣ-ная Лиза“ (обѣ 1792 г.).

Въ апрѣлѣ 1792 года закрыто было „Дружеское Общество“ и Новиковъ арестованъ Карамзинъ, повидимому, не только страдалъ нравственно за участь друзей своихъ, но имѣлъ даже нѣкоторое основаніе опасаться, что и его, какъ нѣкогда принадлежавшаго къ новиковскому кружку, пожалуй, замѣшаютъ въ допросы и преслѣдованія, которыми подверглись въ это время многіе изъ

членовъ кружка. Эти опасенія, кажется, много способствовали тому, чтобы внушить ему отвращеніе къ дѣятельности журналиста, которой, сверхъ того, грозили и цензурныя стѣсненія. Въ декабрѣ мѣсяцѣ „Московский Журналъ“ вдругъ окончился, и въ эпплогѣ къ нему Карамзинъ заявилъ, что стѣсняется срочностью журнальной работы, и что думаетъ, вмѣсто „Московского Журнала“, изда-



А. А. Карамзинъ

вать отдѣльный сборникъ статей своихъ и чужихъ, но мѣрѣ накопленія ихъ. „Можетъ быть вадумается мнѣ написать какую-нибудь бездѣлку; можетъ быть пріятели мои также что-нибудь напишутъ:—сіи огрывки или цѣлыя піесы намѣренъ издавать въ маленькихъ тетрадкахъ, подъ именемъ.. напримѣръ, Аглаи, одной изъ любезныхъ Грацій“... „Такимъ образомъ Аглая заступитъ мѣсто „Московского Журнала“. Впрочемъ, она

должна отличаться отъ сего послѣдняго стройнѣйшимъ выборомъ піесъ и вообще чистѣйшимъ, т. е. болѣе выработаннымъ слономъ; ибо я не принужденъ буду издавать ее въ срокъ. Можетъ быть съ букетомъ первыхъ весеннихъ цвѣтовъ положу я первую книжку Аглаи на алтарь Грацій; но примутъ-ли сіи прекрасныя богини жертву мою или нѣтъ—не знаю“.

Вслѣдъ за „Московскимъ Журналомъ“

дѣйствительно сначала явились въ свѣтъ, подъ названіемъ „Мои бездѣлки“, всѣ статьи Карамзина, напечатанныя въ этомъ журналѣ, потомъ явился общанный сборникъ „Аглая“ (1794), въ двухъ отдѣльных частяхъ.¹⁾

Вскорѣ послѣ того, въ августѣ 1796 года, — новое литературное предпріятіе Карамзина, новое доказательство его изящнаго вкуса и разумной издательской разборчивости: первый русскій альманахъ, подъ названіемъ „Аониды или собраніе разныхъ новыхъ стихотвореній“. Въ предисловіи къ „Аонидамъ“ Карамзинъ такъ объясняетъ цѣль изданія: „Почти на всѣхъ европейскіхъ языкахъ ежегодно издается собраніе новыхъ, мелкихъ стихотвореній, подъ именемъ Календаря Музъ (Almanach der Musen); мнѣ хотѣлось видѣть и на русскомъ нѣчто подобное, для любителей поэзіи... Надѣюсь, что публикѣ пріятно будетъ найти здѣсь вмѣстѣ почти всѣхъ нашихъ извѣстныхъ стихотворцевъ; подъ ихъ щитомъ являются на сценѣ и нѣкоторые молодые авторы, которыхъ зрѣющій талантъ достоинъ ея вниманія“. И дѣйствительно, Аониды могли дать каждому довольно полное понятіе о положеніи и средствахъ нашей современной поэзіи: тутъ встрѣчаются: — „подъ щитомъ“ Державина и Хераскова, — стихотворенія и Львова, и Капниста, и кн. Горчакова, и В. Пушкина, и Измайлова, и Кострова, и даже Магницкаго. Съ 1796 и 1799 г. вышло три книжки Аонидъ.

Несмотря на довольно разсѣянную свѣтскую жизнь, какую велъ Карамзинъ въ это время, онъ все продолжалъ неутомимо работать для русской литературы, постоянно придумывая новые способы для того, чтобы угодить на всѣ вкусы, удовлетворить всѣмъ потребностямъ читающей публики, распространяя въ ней много новыхъ свѣдѣній по иностраннымъ литературамъ, тѣмъ болѣе, что о русской литературѣ въ это время приходилось оставить всякія попеченія. И вотъ, въ 1798 году, Карамзинъ задумываетъ изда-

вать „Пантеонъ иностранной словесности“, который, по его собственному замѣчанію, „долженъ быть ничто иное, какъ собраніе всякаго рода твореній и важныхъ, и неважныхъ; слѣдственно тутъ можетъ быть и сказка, и отрывокъ, и арабскій анекдотъ: иное для слога, иное для любопытства... однимъ словомъ, родъ журнала, посвященнаго иностранной литературѣ“.

Видно однакоже, что даже и объ иностранной словесности говорить въ то время было трудно; Карамзинъ жалуется въ своихъ письмахъ на то, что его дѣятельности мѣшаетъ цензура, которая, „какъ черный медвѣдь, стоитъ на дорогѣ; къ самымъ бездѣлицамъ придирается. Я, кажется, и самъ могу знать, что позволено, и что не должно позволять; досадно, когда въ безгрѣшномъ находить грѣшное...“ „Я перевелъ нѣсколько рѣчей изъ Демосеена, которыя могли-бы украситъ „Пантеонъ“ — пишетъ Карамзинъ въ другомъ письмѣ — „но цензоры говорятъ: Демосеенъ былъ республиканецъ, и что такіе авторы переводить не должно — и Цицерона также — и Саллюстія также...“ „Я, какъ авторъ, могу исчезнуть за-живо!“ — восклицаетъ выведенный изъ терпѣнія Карамзинъ въ третьемъ письмѣ своемъ. „Здѣшніе цензоры, при новой эдиціи Аонидъ, поставили X на моемъ „Посланіи къ женщинамъ“. Такая же участь ожидаетъ и „Аглаю“, и „Мои бездѣлки“, и „Письма Русскаго Путешественника“... и такимъ образомъ черезъ годъ не останется въ продажѣ можетъ быть ни одного изъ моихъ сочиненій...“ „Если-бы экономическія обстоятельства не заставили меня имѣть дѣло съ типографіею, то я, положивъ руку на алтарь Музъ, и заплакавъ горько, поклялся бы не служить имъ болѣе ни сочиненіями, ни переводами. Странное дѣло! У насъ есть академія, университетъ, а литература подъ лавкою!...“

Среди такого грустнаго настроенія, среди разныхъ непріятностей, къ которымъ присоединялись еще и нѣкоторые сердечныя дѣла, сильно тревожившія и волновавшія

¹⁾ Въ первой части Карамзинъ помѣстилъ слѣдующія статьи свои: „Цѣтокъ на гробъ моего Агатовъ“ (вспоминаніе о Петровѣ, умершемъ въ концѣ 1793 г.); „Что нужно автору?“; „Нѣчто о наукахъ, искусствахъ и просвѣщеніи“; „Островъ Борнгольмъ“; „Письма изъ Лондона“ и нѣсколько своихъ стихотвореній. Во второй части Аглаи видны опять цѣлый рядъ статей Карамзина: „Сиерра-Морена“, „Аонинская жизнь“, „Перениска Филагета и Мелодора“, „Дремуцій лѣсъ“, „Илья Муромецъ“ — и продолженіе „Писемъ Русскаго Путешественника“.

пылкаго Карамзина, окончилось въ началѣ 1801 г. царствованіе Павла I, и для Россіи, вмѣстѣ со вступленіемъ на престолъ Александра I, началась новая и лучшая эпоха исторической и общественной жизни. Эта новая эпоха, вновь пробудившая Карамзина къ дѣятельности и энергіи, ознаменовалась

для него новыми трудами, новыми планами и, наконецъ, крутымъ поворотомъ съ поприща литературнаго на поприще чисто-учебное... Но прежде, чѣмъ мы перейдемъ къ обзору литературной дѣятельности Карамзина въ царствованіе Александра, мы должны бросить общій взглядъ на то направленіе, ко-



Бесѣдка Карамзина въ саду г-жи Селивановской.

торое преобладало во всѣхъ произведеніяхъ, изданныхъ Карамзинымъ, по возвращеніи изъ-за границы, до 1801 г., и доставило ему такую громкую публичность.

Карамзинъ, въ теченіе перваго періода своей дѣятельности, явился въ нашей литературѣ и поэтомъ, и литераторомъ, и крити-

комъ, и журналистомъ. Болѣе всего важною и новою являлась его дѣятельность журнальная и критическая, которая и послужила весьма полезнымъ, поучительнымъ образцомъ для нашихъ критиковъ и публицистовъ начала нынѣшняго столѣтія. Съ этой стороны Карамзинъ, въ своей литературной

дѣятельности, является намъ не только весьма талантливымъ, но и европейски-образованнымъ писателемъ, указавшимъ современной русской литературѣ новые пути, новыя задачи для разработки. Со времени появленія въ свѣтъ карамзинскихъ журналовъ и сборниковъ, предшествовавшихъ имъ журнальный типъ утратилъ всякій интересъ и значеніе. Даже противники Карамзина, вооружавшіеся противъ его направленія, негодовавшіе на его нововведенія въ языкъ и слогу, въ то же время, подражали ему въ составленіи программъ своихъ повременныхъ изданій. Но эта сторона дѣятельности Карамзина менѣе всего была оцѣнена современниками. Поэтическія произведенія Карамзина, не богатые содержаніемъ, ни кого не способныя поразить своею нѣсколько однообразною внѣшнею формою, тоже не цѣнились высоко современниками, тѣмъ болѣе, что еще были живы поэты прославленные, безусловно-знаменитые и всѣхъ приводившіе въ восторгъ произведеніями своею вдохновенной музы. Академикъ Гротъ, справедливо замѣчая, что у Карамзина былъ поэтический талантъ, но чувствовался недостатокъ въ воображеніи и вымыслѣ, къ этому прибавляетъ, что „стихотворенія Карамзина представляютъ намъ въ особенности историческій и биографическій интересъ, какъ лѣтопись сердечной жизни глубоко искренняго человѣка“: „... всякій разъ, когда онъ выражалъ любимыя мысли свои, стихи его принимаютъ отпечатокъ одушевленія“... „Обыкновенныя тѣмы (поэзіи Карамзина)—любовь къ природѣ, къ сельской жизни, дружба, кротость, чувствительность, меланхолія, пренебреженіе къ чинамъ и богатствамъ, мечта о безсмертіи въ потомствѣ“... Но Карамзинъ, какъ искренній и теплый поэтъ, какъ талантливый журналистъ, какъ образованный и обладавшій замѣчательнымъ вкусомъ критикъ, не на столько обращалъ на себя вниманіе общества, на сколько Карамзинъ-беллетристъ, написавшій „Бѣдную Лизу“ и „Наталью, боярскую дочь“, и Карамзинъ-туристъ, издавшій въ свѣтъ „Письма Русскаго Путешественника“, надолго

сдѣлавшіяся кодексомъ сентиментализма для нѣсколькихъ послѣдующихъ поколѣній.

Сентиментализмъ не былъ въ то время новостью въ русской литературѣ. Не слѣдуетъ забывать, что сентиментализмъ — первоначально развившійся въ Англіи (въ половинѣ прошлаго вѣка) подъ вліяніемъ Ричардсона и Стерна, а вскорѣ послѣ того нашедшій себѣ талантливыхъ представителей въ лицѣ Руссо во Франціи и Гёте въ Германіи—вскорѣ проникъ и въ Россію. У насъ съ конца восьмидесятыхъ годовъ, явились не только переводы произведеній Ричардсона, но даже и весьма неуклюжія подражанія имъ, и вообще сентиментализму посчастливилось въ такой степени, что къ нему стали сочувственно относиться люди самыхъ противоположныхъ воззрѣній и убѣжденій. Достаточно будетъ припомнить здѣсь, напр., то, что въ новиковскомъ кружкѣ сентиментализмъ находилъ себѣ такихъ же горячихъ поклонниковъ, какъ и въ придворно-литературной средѣ, окружавшей Екатерину.

Сущность сентиментализма заключалась въ томъ предпочтеніи, которое приверженцами сентиментальной школы отдавалось ч у в с т в у передъ всѣми остальными сторонами человѣческой природы. Значеніе, придаваемое чувству, было настолько велико, что самое достоинство человѣка намѣрялось только болѣею или менѣею степенью его чувствительности ¹⁾. Несмотря на то, что сентиментальная школа была болѣе близка къ дѣйствительности, нежели школа ложноклассическая, несмотря на то, что она избирала характеры свои не изъ темной героической эпохи, а изъ болѣе близкой къ намъ семейной и общественной среды, представители этого новаго литературнаго направленія все же не придавали еще большаго значенія изученію и наблюденію дѣйствительности. Вслѣдствіе этого, часто сталкиваясь съ „грубою дѣйствительностью“, разрушавшею сентиментальныя теоріи, приверженцы сентиментализма любили рисовать отдаленное прошлое въ украшенномъ видѣ, и въ этомъ вымышленномъ прошломъ искать

¹⁾ Нельзя при этомъ упустить изъ виду, что и самое слово чувствительный, чувствительность, не отличалось отъ слова воспримчивый, впечатлительный; воспримчивость, впечатлительность.

идеаловъ для настоящаго и будущаго. При такомъ взглядѣ на прошлое, сентиментализмъ, конечно, не могъ дорожить и благами настоящаго; отсюда у многихъ представителей сентиментализма являлось пренебрежительное отношеніе къ цивилизаціи и просвѣщенію, и у всѣхъ—совершенно ложное представленіе о дикомъ, первобытномъ состояніи человѣка (*l'homme sauvage, l'état sauvage*), какъ о блаженномъ и наиболѣе близкомъ къ идеалу свободы, равенства и счастья, возможнаго на землѣ. Естественнымъ слѣдствіемъ такой идеализаціи патриар-

хальнаго быта первоначальныхъ обществъ было и то, что жизнь образованныхъ, высшихъ классовъ общества считалась гораздо менѣе близкою къ идеалу счастья, нежели жизнь „бѣдныхъ, но честныхъ поселянъ, въ тишинѣ наслаждающихся жизнью, близкою къ природѣ“.

Всѣ эти важнѣйшія стороны сентиментализма нашли себѣ самое полное выраженіе въ трехъ произведеніяхъ средняго періода дѣятельности Карамзина—въ его „Письмахъ Русскаго Путешественника“, въ „Бѣдной



Лизинъ прудъ подъ Симоновымъ монастыремъ.

Лизѣ“ и въ „Натальѣ, боярской дочери“. Въ „Письмахъ Русскаго Путешественника“ авторъ, объѣхавшій Германію, Англію, Францію и Швейцарію, отдаетъ послѣдней изъ этихъ странъ преимущество передъ остальными тремя образованнѣйшими государствами Европы. Такое предпочтеніе основывается на томъ, что Швейцарія и ея жители представляютъ, по его мнѣнію, полнѣйшее осуществленіе идиллическаго, пастушескаго быта, который такъ близокъ къ идеалу счастья всѣхъ приверженцевъ сентиментализма. Это,

по словамъ Карамзина, „страна живописной Натуры, земля свободы и благополучія“; жители ея, „счастливые Швейцары“, обязаны „всякой день, всякой часъ благодарить небо за свое счастье, живучи въ объятіяхъ прелестной натуры, подъ благодѣтельными законами братскаго союза, въ простотѣ нравовъ и служа одному Богу“... „Вся жизнь ихъ есть, конечно, пріятное сновидѣніе, и самая роковая стрѣла должна кротко влетать въ грудь ихъ, невозмущаемую тиранскими страстями“.

Въ „Бѣдной Лизѣ“ Карамзинъ представилъ образецъ сентиментальной повѣсти, въ которой главнымъ дѣйствующимъ лицомъ является „прекрасная тѣломъ и душою поселянка“, „нѣжная, чувствительная Лиза“. Въ нее влюбляется Эраста, „довольно богатый дворянинъ, съ наряднымъ разумомъ и добрымъ сердцемъ, добрымъ отъ природы, но слабымъ и вѣтреннымъ“. Идиллическая сельская обстановка, которою Карамзинъ окружаетъ свою поселанку Лизу, увлекаетъ Эраста къ мечтамъ, а „красота Лизы дѣлаетъ впечатлѣніе въ его сердцѣ“. Имѣя живое воображеніе, „онъ мысленно переселится въ тѣ времена, въ которыя всѣ люди безопасно гуляли по лугамъ, купались въ чистыхъ источникахъ, цѣловались какъ голубки, отдыхали подъ розами и миртами, и въ счастливой праздности всѣ дни свои проводжали“. Ему казалось, что онъ нашелъ въ Лизѣ то, что сердце его давно искало. „Натура призываетъ меня въ свои объятія, къ чистымъ своимъ радостямъ“ — думалъ онъ, и рѣшился — по крайней мѣрѣ на время — „оставить большой свѣтъ“... И не мудрено, потому что „всѣ блестящія забавы большаго свѣта представлялись ему ничтожными въ сравненіи съ тѣми удовольствіями, которыми с т р а с т н а я д р у ж б а невинной души питала сердце Эраста“. Дружба эта между дворяниномъ Эрастомъ и поселянкой Лизой доходитъ до того, что Эрастъ даже забываетъ о сословныхъ предразсудкахъ и увѣряетъ Лизу, что онъ можетъ быть ея мужемъ, что для него „важнѣе всего душа чувствительная, невинная душа, и Лиза будетъ всегда ближайшею къ его сердцу“. Несмотря на это, онъ невольно обманываетъ Лизу, воспользовавшись ея невинностью въ одну изъ тѣхъ минутъ, когда „миракъ вечера питалъ желанія, и никакой лучъ не могъ освѣтить заблужденія“; убѣдившись въ обманѣ, Лиза нашла, что ей нельзя жить долѣе и бросилась въ прудъ, недалеко отъ тѣхъ древнихъ дубовъ, которые „за нѣсколько недѣль передъ тѣмъ были безмолвными свидѣтелями ея восторговъ“.

Въ повѣсти „Наталья, боярская дочь“ Карамзинъ, подъ влияніемъ того же сентиментальнаго настроенія, обращается къ русской старинѣ и въ самыхъ идиллическихъ картинахъ рисуетъ тѣ времена, когда „Русскіе были русскими; когда они въ собственное

свое платье наряжались, ходили своею походкою, жили по своему обычаю, говорили своимъ языкомъ по своему сердцу, т. е. говорили, какъ думали“. Въ эту идиллическую обстановку стараго боярскаго быта, имѣющую мало общаго съ историческою дѣйствительностью описываемой эпохи, Карамзинъ вставляетъ еще болѣе простую и гораздо болѣе невинную, нежели въ Бѣдной Лизѣ, исторію любви Натальи къ Алексею, въ котораго Наталья влюбилась въ одну минуту, увидѣвъ его въ первый разъ и не слышавъ отъ него ни одного слова“. Чрезвычайно характерно то обращеніе къ читателю, въ которомъ самъ авторъ считаетъ долгомъ пояснить читателю такую странную любовь своей героини къ незнакомцу.

„Милостивые государи!“ восклицаетъ Карамзинъ — „я рассказываю, какъ происходило самое дѣло: не сомнѣвайтесь въ истинѣ; не сомнѣвайтесь въ силѣ того взаимнаго влеченія, которое чувствуютъ два сердца. другъ для друга сотворенныя! А кто не вѣритъ симпатіи, тотъ поди отъ насъ прочь, и не читай нашей исторіи, которая сообщается только для однихъ чувствительныхъ душъ, имѣющихъ сію сладкую вѣру“.

Успѣхъ повѣстей п „Писемъ“ Карамзина. по свидѣтельству современниковъ, былъ изумительный, необычайный... Эти произведенія Карамзина не только читались всѣми, но даже заучивались наизусть; герои, выведенные въ нихъ авторомъ, становились любимыми идеалами молодежи, и самое мѣсто дѣйствія „Бѣдной Лизы“ — окрестности Симонова монастыря и такъ называемый Лезинъ прудъ, въ которомъ будто-бы утопилась бѣдная Лиза — сдѣлались любимыми мѣстами сентиментальныхъ прогулокъ для нашихъ мечтательныхъ дѣдушекъ и бабушекъ. Многіе утверждаютъ, не безъ основанія, что, начиная съ появленія въ свѣтъ этихъ произведеній Карамзина, любовь къ чтенію сильно распространилась въ обществѣ, въ особенности между женщинами. Повѣсти Карамзина всѣмъ нравились, какъ первые удачные опыты легкой литературы. Несмотря на то, что Карамзинъ положительно не обладалъ „даромъ художественнаго творчества, и что въ нихъ во всѣхъ вымыселъ чрезвычайно простъ, даже бѣдентъ, и нѣтъ ни характеровъ, ни національнаго

кологита“¹⁾. Точно также и „Письма Русскаго Путешественника“ никого не поражали нѣсколько поверхностнымъ взглядомъ на разрѣшеніе общественныхъ вопросовъ, волновавшихъ Европу. Иного взгляда никто не искалъ въ сочиненіяхъ Карамзина. Сочиненія эти служили точнымъ и полнымъ выраженіемъ того сентиментальнаго направленія, къ которому общество было уже въ значительной степени подготовлено переводною литературою, и всѣ ставили въ огромную заслугу Карамзину его умѣнье придать нѣжному и многословному сентиментализму такую легкую, общедоступную и привлекательную форму, которая несомнѣнно дала ему возможность широко распространиться въ нашемъ обществѣ.

И. И. Дмитріевъ замѣчаетъ въ своихъ „Запискахъ“, что всѣ были поражены новостью языка и слога „Писемъ“, „Бѣдной Лизы“ и „Натали, боярской дочери“. Дѣйствительно, языкъ произведеній Карамзина, по сравненію съ языкомъ предшествующей эпохи, пріятно поражаетъ своею формою и своею близостью къ обыкновенному разговорному языку образованнаго русскаго общества. Карамзинъ, придерживаясь того взгляда, что „слѣдуетъ писать такъ, какъ мы говоримъ“, совершенно отстранился отъ ломоносовскаго ученія о трехъ штиляхъ или слогахъ, и этимъ уже окончательно способствовалъ отдѣленію русскаго литературнаго языка отъ церковно-славянскаго книжнаго рѣчи. Съ другой стороны, будучи близко знакомъ съ тремя важнѣйшими европейскими языками, занимаясь переводами съ нѣмецкаго, французскаго и англійскаго языка на русскій, Карамзинъ пришелъ къ тому положительному убѣжденію, что французскій и англійскій оборотъ рѣчи гораздо богѣе свойственъ нашему литературному языку, нежели тотъ тяжелый латинно-нѣмецкій оборотъ, который былъ усвоенъ ей Ломоносовымъ. Сверхъ того, при близкомъ знакомствѣ съ русскимъ языкомъ и съ языками иностранными, Карамзинъ чрезвычайно удачно усваивалъ русскому языку отдѣльныя слова и цѣлыя выраженія иностранной литературной рѣчи, удачно выбирая соответствующія иностраннымъ русскія слова изъ рѣчи народной и изъ старинныхъ письменныхъ памят-

никовъ нашихъ. Послѣдній способъ пополненія нашей литературной рѣчи заимствованиями изъ богатаго запаса словъ и выраженій стариннаго русскаго языка доведенъ былъ Карамзинымъ до замѣчательнаго совершенства, въ то время, когда онъ принялся за свой историческій трудъ. Несмотря на то, что въ языкѣ своихъ произведеній Карамзинъ достигъ уже весьма значительной степени развитія красоты, силы и выразительности—слогъ Карамзина подвергался справедливымъ до нѣкоторой степени нареканіямъ со стороны его литературныхъ противниковъ, которые особенно нападали на искусственность въ построеніи періодовъ, симметрично украшенныхъ дактилическими окончаніями въ концѣ предложений. Но какъ бы кто ни старался преувеличить недостатки карамзинскаго слога, все же нельзя не признать того, что заслуги его, по отношенію къ преобразованію и улучшенію нашего литературнаго языка, чрезвычайно важны; нельзя отрицать и того, что нововведенія и улучшенія, сдѣланныя имъ въ нашемъ литературномъ языкѣ, достались ему не легко и являются на столько же плодомъ личнаго таланта, на сколько и плодомъ усидчиваго, долгаго и разумнаго труда. Важность карамзинской реформы въ нашемъ языкѣ всего яснѣе опредѣляется тѣмъ яростнымъ отпоромъ, который Карамзинъ встрѣтилъ со стороны всей нашей старой литературной партіи, отстаивавшей ломоносовскій взглядъ на составъ нашего литературнаго языка и выстѣлъ съ нимъ слѣпое уваженіе къ формамъ, установленнымъ псевдоклассическою теоріею. Во главѣ этой партіи явился уже извѣстный намъ А. С. Шишковъ, авторъ обширнаго „Разсужденія о старомъ и новомъ слоgѣ русскаго языка“ (1803 г.); около него сплотились и другіе, еще гораздо менѣе талантливые почитатели литературной старины и преданія. Къ этой партіи примкнула и часть современной петербургской журналистики (Крыловъ, Клушнинъ, Туманскій). Впослѣдствіи, оппозиція реформамъ Карамзина, стараніями Шипкова, выразилась даже въ дѣятельности цѣлаго учено-литературнаго общества (Бесѣда любителей русскаго слова) и въ томъ изданіи, которое служило ему органомъ. Но все молодое и талантливое

¹⁾ Замѣчаніе академика Грота. См. Юбилей Карамзина.

вое стало, конечно, на сторону Карамзина и начало горячо отстаивать его языкъ, слогъ и литературныя воззрѣнія. Самъ Карамзинъ не вступалъ ни въ какія пренія со своими литературными противниками, и, съ замѣчательнымъ спокойствіемъ относясь къ ихъ жесткой критикѣ, даже не отказался воспользоваться многими ихъ замѣчаніями, за которыми признавалъ извѣстную долю справедливости.

Вмѣстѣ со вступленіемъ на престолъ Императора Александра начинается новый періодъ въ жизни и дѣятельности Карамзина. Наравнѣ съ другими поэтами, и Карамзинъ зацѣлалъ дань времени: привѣтствовалъ Александра двумя торжественными одами, изъ которыхъ одна была написана по поводу вступленія на престолъ Императора, другая — по поводу коронаціи. То, что Карамзинъ выразилъ въ этихъ двухъ одахъ, было точно такъ же тепло и ясно, хотя и гораздо проще, выражено имъ въ двухъ строкахъ его письма къ брату. Извѣщая брата о прибытіи Александра въ Москву, онъ писалъ ему отъ 20 августа 1801 года: „Государь расположенъ ко всякому добру, и мы при немъ отдохнули. Главное то, что можемъ жить спокойно“. Вслѣдъ за одами явилось въ началѣ слѣдующаго года „Историческое похвальное слово Императрицѣ Екатеринѣ II“, въ которомъ авторъ, давая далеко неполную и притомъ не вполне вѣрную картину екатерининскаго царствованія, останавливается только на самыхъ блестящихъ моментахъ его, особенно восхваляя либеральныя воззрѣнія „Наказа“, отъ которыхъ, какъ извѣстно, сама Екатерина очень скоро отказалась и съ которыми, во многихъ случаяхъ, вовсе не согласовался ея способъ дѣйствій въ послѣдній періодъ ея царствованія. Ясно, что, восхваляя либерализмъ „Наказа“, Карамзинъ этимъ самымъ хотѣлъ выразить свое сочувствіе къ тому способу правленія, котораго всѣ ожидали отъ Александра, уже въ манифестѣ своемъ заявившаго, что онъ намѣренъ править „по примѣру Бабки своей, Екатерины II“. Но вмѣстѣ съ этимъ выраженіемъ надежды на лучшее будущее, на благодушіе и мудрость новаго Монарха, на то, что онъ не менѣе Екатерины будетъ заботиться о благѣ Россіи, о дарованіи подданнымъ правосудія и просвѣщенія, Карамзинъ, въ своемъ „Историческомъ похвальномъ словѣ Екате-

ринѣ“, въ первый разъ обратился къ прошлому за идеалами и назиданіемъ для будущаго. Этотъ фактъ очень важенъ по отношенію къ біографіи Карамзина, потому что уже ясно указываетъ намъ на поворотъ, совершившійся въ его воззрѣніяхъ. Новое настроеніе Карамзина выразилось совершенно ясно въ томъ журналѣ, который онъ издавалъ въ 1802 году. Онъ далъ ему названіе „Вѣстника Европы“, и объявилъ, что новый журналъ его „будетъ, сообразно съ его титуломъ, содержать въ себѣ главныя европейскія новости въ литературѣ и въ политикѣ, все, что покажется намъ любопытнымъ, хорошо написаннымъ, и что выходить во Франціи, Англіи, Германіи и проч...“

Въ „Вѣстникѣ Европы“, сверхъ множества мелкихъ статей Карамзина, появлявшихся въ каждой книжкѣ этого журнала, выходившаго два раза въ мѣсяцъ, помѣщено было и нѣсколько замѣчательныхъ разсужденій Карамзина, напр. извѣстное разсужденіе его „О любви къ отечеству и народной гордости“, „О счастливейшемъ времени жизни“, „Отчего въ Россіи мало авторскихъ талантовъ“ и т. д. Сверхъ того, тутъ же, въ теченіе двухъ лѣтъ изданія „Вѣстника Европы“, напечатанъ былъ Карамзинымъ и цѣлый рядъ статей историческаго содержанія, которыя одинъ изъ его біографовъ довольно вѣрно называетъ „пробами пера“ передъ началомъ того обширнаго историческаго труда, которому посвятилъ Карамзинъ всю вторую половину своей жизни послѣ 1803 года. Въ числѣ этихъ статей нельзя не упомянуть нѣкоторыя, именно съ этой стороны заслуживающія вниманія. напр., „Историческія воспоминанія на пути къ Тронцѣ“, „О случаяхъ и характерахъ въ Россійской Исторіи, которые могутъ быть предметомъ художествъ“, „О тайной канцеляріи“, „О московскомъ мѣтежѣ въ царствованіе Алексѣя Михайловича“. Здѣсь наконецъ напечатана была и еще одна историческая повѣсть Карамзина — „Марѳа Посадница“, — которая также повалилась обществу, какъ и предшествовавшіе ей беллетристическіе опыты Николая Михайловича.

Нельзя не упомянуть здѣсь объ одной важной біографической подробности: Карамзинъ принималъ за названіе „Вѣстника Европы“ на 36-мъ году своей жизни, и притомъ уже женатый. Онъ женился въ апрѣлѣ 1801 года

на Елисаветѣ Ивановнѣ Протасовой, дѣвухѣ небогатой, но которую онъ уже давно любилъ и зналъ почти съ дѣтства. Онъ не скрывалъ отъ друзей своихъ, что, принимаясь за изданіе журнала, ищетъ увеличенія своихъ матеріальныхъ средствъ; и дѣйствительно, ожиданія его сбылись: успокоенный женитьбою въ отношеніи сердечномъ, онъ вскорѣ увидѣлъ себя вполне обезпеченнымъ въ матеріальномъ отношеніи, потому что журналъ, хотя и стоилъ Карамзину большаго труда, но за то доставлялъ ему 6,000 р. дохода. Карамзинъ, повидимому, былъ на верху счастья, и въ лучшей порѣ своей дѣятельности, для которой, притомъ же, только что начинавшееся царствованіе открывало обширное поприще... Но Карамзинъ въ это время уже не былъ тѣмъ счастливымъ и самонадѣяннымъ юношей, котораго могла привлекать литературная извѣстность, который способенъ былъ отказываться отъ всего, ради одного удовольствія, доставляемаго литературною дѣятельностью. Въ немъ очевидно совершался какой-то сильный нравственный поворотъ, какой-то переходъ отъ прежнихъ воззрѣній къ новымъ. Поворотъ этотъ ясно выразился, съ одной стороны, въ охлажденіи къ интересамъ исключительно-поэтическимъ и литературнымъ; съ другой — въ томъ, что вниманіе Карамзина начинаетъ болѣе и болѣе сосредоточиваться на вопросахъ историческихъ и политическихъ; съ третьей, наконецъ — въ томъ, что онъ, едва принявшись за изданіе „Вѣстника Европы“, почти съ перваго же шага вступаетъ въ противорѣчіе со взглядами и мнѣніями, положенными въ основу его литературныхъ произведеній предшествующаго періода.

Однимъ изъ такихъ противорѣчій является прежде всего то мнѣніе о критикѣ, которое Карамзинъ высказываетъ уже въ самомъ объявленіи „Вѣстника Европы“. Прежде онъ постоянно поддерживалъ, что критика въ литературѣ необходима, доказывалъ совершенно справедливо, что критика литературу совершенствуетъ, что Германія именно критикѣ обязана процвѣтаніемъ своей литературы — и вдругъ, въ „Вѣстникѣ Европы“ встрѣчаемся съ совершенно противоположнымъ отзывомъ Карамзина о критикѣ: „...Что принадлежитъ до критики новыхъ русскихъ книгъ“ — пишетъ онъ тамъ — „то

мы не считаемъ ее истинною потребностью нашей литературы (не говоря уже о несприятности имѣть дѣло съ безпокойнымъ самолюбіемъ людей). Въ авторствѣ полезнѣе быть судимымъ, нежели судить. Хорошая критика есть роскошь литературы; а мы еще не Крезы. Лучше прибавить что-нибудь къ общему имѣнію, нежели заняться его оцѣнкою“.

Такимъ же рѣзкимъ противорѣчіемъ является далѣе, во всѣхъ историческихъ статьяхъ „Вѣстника Европы“ высказываемое Карамзиннымъ возвращеніе на русское историческое прошлое; нельзя не замѣтить того, что Карамзинъ начинаетъ не только съ пріязни, но даже и съ уваженіемъ относиться къ нашей старинѣ, между тѣмъ какъ до этого времени, въ качествѣ горячаго поклонника петровской реформы, долженъ былъ смотрѣть на нее съ недовѣріемъ и сомнѣніемъ. Сверхъ того, всюду, гдѣ Карамзинъ касается современнаго состоянія Россіи, онъ становится въ весьма странное, почти двойственное положеніе: восхваляя новыя мѣры правительства, съ величайшимъ сочувствіемъ относясь къ гуманнымъ реформамъ и либеральнымъ замысламъ, Карамзинъ въ то же самое время, въ одномъ изъ важнѣйшихъ вопросовъ общественныхъ (въ вопросѣ объ освобожденіи крестьянъ), становится на сторону противниковъ Александра... Онъ подаетъ голосъ противъ освобожденія крестьянъ. Но это еще не все: — и въ общемъ направленіи „Вѣстника Европы“ оказывается почти невозможнымъ узнать того Карамзина, который, издавая „Московский Журналъ“, такъ сочувственно относился ко всему „чисто-человѣческому“, такъ смѣялся надъ „славяномудріемъ“ и замѣчалъ, восхваляясь реформой Петра, что „...все народное ничто передъ человѣческимъ. Главное дѣло стать людьми, а не славянами. Чтò хорошо для людей, то не можетъ быть дурно для русскихъ, и чтò англичане или нѣмцы изобрѣли для пользы, выгоды человѣка, то — мое, ибо я человѣкъ“. Напротивъ того, въ „Вѣстникѣ Европы“ Карамзинъ высказываетъ уже явное желаніе выдѣлить „Россію и Россіяны“ изъ общей массы человѣчества, придать всему русскому особое значеніе и важность, даже преувеличить до нѣкоторой степени благосостояніе и матеріальныя силы Россіи.

Нельзя, однакоже, не признать, что „Вѣстникъ Европы“ былъ для своего времени (1802 — 1803 гг.) явленіемъ весьма замѣчательнымъ и, во многихъ отношеніяхъ, послужилъ образцомъ для нашей позднѣйшей журналистики. Но едва ли можно согласиться съ тѣми изъ біографовъ Карамзина, которые въ „Вѣстникѣ Европы“ видятъ нѣчто болѣе зрѣлое, болѣе заслуживающее вниманія и болѣе имѣющее значенія въ историко-литературномъ отношеніи, нежели вся предшествовавшая журнальная и литературная дѣятельность Карамзина. Карамзинъ и до этого времени является намъ уже талантливымъ журналистомъ и литераторомъ, образованнымъ критикомъ и даже поэтомъ, имѣющимъ нѣкоторыя несомнѣнныя достоинства. Нельзя отрицать того, что сентиментальное направленіе нашей литературы конца прошлаго столѣтія нашло себѣ въ Карамзинѣ весьма замѣчательнаго представителя. Но когда тотъ же Карамзинъ—подъ вліяніемъ совершившагося въ немъ поворота, или, можетъ быть, подѣ вліяніемъ новой эпохи, переживаемой обществомъ—охлаждѣлъ къ литературѣ и поэзіи, къ искусству и къ философскимъ теоріямъ, и съ почвы общихъ вопросовъ, изъ области туманныхъ воззрѣній и ошущеній, вдругъ перешелъ на почву вопросовъ общественныхъ и политическихъ... мы не думаемъ, чтобы его литературная и журнальная дѣятельность вслѣдствіе этого могла выиграть по отношенію къ достоинству и значенію своему. И дѣйствительно: литературный отдѣлъ „Вѣстника Европы“, не смотря на участіе въ немъ Дмитріева, Державина, Нелединскаго-Меледкаго и Жуковскаго, представляетъ менѣе интереса, нежели тотъ же отдѣлъ—въ „Московскомъ Журналѣ“; переводный отдѣлъ—чрезвычайно слабъ и не отличается ни выборомъ, ни извѣстностью передачъ; критики—нѣтъ... Остается затѣмъ отдѣлъ политическій, подраздѣлявшійся на общее обозрѣніе и на извѣстія и замѣчанія. Но въ этомъ отдѣлѣ, не смотря даже и на замѣтную перемѣну во многихъ воззрѣніяхъ, во многихъ взглядахъ и мнѣніяхъ, Карамзинъ является намъ такимъ же утопистомъ и мечтателемъ, такимъ же горячимъ приверженцемъ сентиментализма, какимъ является онъ и во всей предшествовавшей своей литературной и журнальной дѣятельности. И

нельзя не сознаться, что сентиментализмъ, мечтательность и наклонность къ идеализаціи—эти три коренныя свойства Карамзина, какъ писателя—оказывались гораздо болѣе умістными въ прижитіи къ общимъ вопросамъ искусства и литературы, нежели къ вопросамъ общественнымъ и политическимъ, для которыхъ быстрое и практическое разрѣшеніе начинало становиться насущною потребностью. А между тѣмъ все, что говоритъ по отношенію къ этимъ вопросамъ Карамзинъ, принадлежитъ положительно къ области сентиментальныхъ мечтаній и неидетъ далѣе общихъ разсужденій о морали и добродѣтели. Такъ, напримѣръ, разсуждая о крестьянскомъ вопросѣ, Карамзинъ представляетъ слѣдующимъ образомъ современное ему положеніе крестьянъ и ихъ отношеній къ господамъ. „Просвѣщеніе истребляетъ злоупотребленіе господской власти, которая и по самымъ нашимъ законамъ не есть тиранская и неограниченная“... „Россійскій дворянинъ даетъ нужную землю крестьянамъ своимъ, бываетъ ихъ защитникомъ въ гражданскихъ отношеніяхъ, помощникомъ въ бѣдствіяхъ случая и натуры: вотъ его обязанности! За то онъ требуетъ отъ нихъ половины рабочихъ дней въ недѣлю:—вотъ его право!“... „Съ нѣкотораго времени хлѣбопашество во всѣхъ губерніяхъ приходитъ въ лучшее состояніе: отъ чего же? отъ старанія помѣщиковъ; плоды ихъ экономіи, ихъ смотрѣнія, надѣляютъ поближе рынки столицъ“. Вслѣдъ за тѣмъ, разсуждая о томъ, что хлѣбопашество и общее благосостояніе крестьянъ значительно ухудшились-бы, если-бы крестьяне были выпущены на волю съ землею и посажены на оброкъ, „по совѣту иностранныхъ филантроповъ“, Карамзинъ къ этому разсужденію прибавляетъ, что эта система „мудрыхъ французскихъ, англійскихъ и нѣмецкихъ головъ“ была-бы хороша, если-бы мы „принявъ ее, могли заснуть съ Эпименидомъ по крайней мѣрѣ на цѣлый вѣкъ; но всякій изъ насъ хочетъ жить хорошо, спокойно и счастливо нынѣ завтра и такъ далѣе. Время подвинетъ впередъ разумъ народовъ, но тихо и медленно: бѣда законодателю облетѣть его! Мудрый идетъ шагъ за шагомъ, и смотритъ вокругъ себя. Богъ видитъ, люблю-ли я человѣчество и народъ Русскій; имѣю-ли предра-

судки, обожаю-ли гнусный идолъ корысти, но для истиннаго благополучія земледѣльцевъ нашихъ желаю единственно того, чтобы они имѣли добрыхъ господъ и средство просвѣщенія, которое одно, одно сдѣлаетъ хорошее возможнымъ". И послѣ этой программы дѣйствій, начертанной для

крестьянъ и ихъ отношенія къ помѣщикамъ, какъ руководителямъ, обязаннымъ заботиться о ихъ благѣ и просвѣщеніи, въ томъ же „Вѣстникѣ Европы“ встрѣчаемъ другую программу дѣйствій для богатыхъ представителей дворянства (т. е. для помѣщиковъ), которая, по наставленіямъ, заклю-



Памятникъ Карамзину въ Симбирскѣ.

чающимся въ ней, указываетъ на то, что помѣщики едва-ли были способны къ выполнению роли, предназначенной имъ Карамзиннымъ.

„Россія“ — говоритъ онъ, обращаясь къ помѣщикамъ — „требуетъ отъ васъ одной разсудительности, честности, однѣхъ граж-

данскихъ и семейственныхъ добродѣтелей. требуетъ, чтобы вы заставляли иностранцевъ удивляться не мотовству своему, а порядку въ вашихъ имѣніяхъ и домахъ: вотъ дѣйствіе истиннаго просвѣщенія! Я послалъ бы всѣхъ роскошныхъ людей на нѣсколько времени въ деревню, быть свидѣтелями

трудныхъ сельскихъ работъ, и видѣть, чего стоитъ каждый рубль крестьянину: это могло бы налечить нѣкоторыхъ отъ суетной расточительности, платящей 100 рублей за ананасъ для десерта. „Но богатствомъ должно пользоваться?“ Безъ сомнѣнія. Во-первыхъ, заплатите долги свои; во-вторыхъ, приведите крестьянъ вашихъ, если можно, въ лучшее состояніе; а потомъ оставьте отечеству памятники вашей жизни. Сдѣлайте что-нибудь долговременное и полезное; учредите школу, госпиталь; будьте отцами бѣдныхъ, и превратите въ нихъ чувство зависти въ чувство любви и благодарности; ободряйте земледѣліе, торговлю, промышленность; способствуйте удобному сообщенію людей въ государствѣ: пусть этотъ новый каналъ, соединяющій двѣ рѣки, и сей каменный мостъ, благодѣяніе для проѣзжихъ, называется вашимъ именемъ! Тогда иностранецъ, видя столь мудрое употребленіе богатства, скажетъ: „Россіяне умѣютъ пользоваться жизнію и наслаждаться богатствомъ!“

Подъ конецъ второго года журнальная дѣятельность стала однакоже тяготить Карамзина, который даже и задолго до этого времени, еще въ концѣ 90-хъ годовъ прошлаго столѣтія, уже начиналъ выказывать нѣкоторую наклонность къ переходу отъ литературныхъ занятій къ чисто-научнымъ.

Уже въ 1793 г., заканчивая изданіе „Московского Журнала“, Карамзинъ высказывалъ о своихъ будущихъ литературныхъ трудахъ и предпріятіяхъ слѣдующее:

...„Буду учиться, буду пользоваться сокровищами древности, чтобы послѣ приняться за такой трудъ, который могъ-бы остаться памятникомъ души и сердца моего, если не для потомства (о чемъ и думать не смѣю), то по крайней мѣрѣ для малочисленныхъ друзей моихъ и пріятелей“ Въ записной книжкѣ Карамзина, въ іюнь 1797 года, также есть замѣтка, прямо указывающая на его намѣреніе посвятить себя занятіямъ историческимъ. Эти занятія исторіею всеобщю, это чтеніе Гиббона и Робертсона, и въ особенности знакомство съ древними авторами, мало-помалу навели его на мысль сосредоточить все вниманіе свое на занятіяхъ исторіею отечественною. Въ одномъ изъ писемъ своихъ къ Дмитріеву, въ маѣ 1800 года, Карамзинъ уже

пишетъ ему: „я по уши влѣзъ въ Русскую Исторію: сплю и вижу Никона съ Несторомъ“. Въ „Вѣстникѣ Европы“ уже ясно высказалось желаніе Карамзина перейти на поприще дѣятельности ученой: литературѣ дано было въ журналѣ положеніе второстепенное, а политикѣ и наукѣ отведено главное мѣсто. Мы уже видѣли тамъ „пробы пера“ будущаго историка. Въ іюнь 1803 г. Карамзинъ, въ письмѣ къ брату, уже прямо говоритъ о своемъ намѣреніи писать Русскую Исторію: „Мнѣ хочется до того времени выдавать журналъ, пока будетъ у меня столько денегъ, чтобы жить безъ нужды, а тамъ хотѣлось-бы мнѣ приняться за трудъ важнѣйшій—за Русскую Исторію, чтобы оставить по себѣ отечеству недурной монументъ. Но все зависитъ отъ Провидѣнія. Будущее не наше“.

Горячее желаніе поскорѣ посвятить себя выполненію своей громадной задачи заставило Карамзина иначе смотрѣть на это дѣло и не дозволило ему дожидаться того, чтобы доходъ съ журнала, хотя и весьма значительный по тому времени (6,000 р. сер.), доставилъ ему возможность „жить безъ нужды и приняться за трудъ важнѣйшій“. Карамзинъ рѣшился оставить дѣятельность журнальную и просить у правительства помощи въ томъ обширномъ трудѣ, которому онъ съ такимъ самоотверженіемъ готовъ былъ посвятить все остальное время своей жизни. 28 сентября 1803 г., послѣ бесѣды съ другомъ своимъ, И. И. Дмитріевымъ, поддержавшимъ Карамзина въ его намѣреніи, Карамзинъ наконецъ рѣшился написать письмо къ товарищу министра народнаго просвѣщенія, М. Н. Муравьеву, воспитателю Императора Александра, извѣстному покровителю просвѣщенія, постоянно изъяслявшемуся расположеніе къ его литературной дѣятельности. Письмо написано твердо и съ глубокимъ сознаніемъ своего достоинства. Карамзинъ заявляетъ о томъ, что „онъ можетъ и хочетъ писать исторію“... „не варварскую и не постыдную для царствованія Александра“, и въ видъ помощи отъ правительства проситъ только того, чтобы, при назначеніи его исторіографомъ, онъ былъ обезпеченъ хотя профессорскимъ жалованьемъ. „Смѣю думать“, пишетъ Карамзинъ—„что я трудомъ своимъ заслужилъ-бы профессорское жалованье, которое предлагали мнѣ дерптскіе кураторы, но вмѣстѣ съ

должностію, неблагопріятною для таланта“¹⁾. Черезъ мѣсяцъ послѣ отправленія письма, 31 октября того же 1803 г., состоялся Высочайшій указъ Кабинету, въ которомъ значилось между прочимъ: „...такъ какъ извѣстный писатель, Московскаго университета почетный членъ, Николай Карамзинъ, изъявилъ намъ желаніе посвятить труды свои сочиненію полной Исторіи отечества нашего, то Мы, желая ободрить его въ столь похвальному предпріятію, Всемилоstinѣйше повелѣваемъ производить ему, въ качествѣ Исторіографа, по двѣ тысячи рублей ежегоднаго пенсіона изъ Кабинета нашего“. Вскорѣ послѣ того, другимъ указомъ, разрѣшенъ былъ Карамзину доступъ во всѣ архивы и даны ему были всѣ способы къ изученію рукописныхъ матерьяловъ древнѣйшаго періода нашей исторіи.

Такимъ образомъ, концомъ 1803 года, вмѣстѣ съ послѣднею книжкою „Вѣстника Европы“, заканчивается собственно-журнальная и литературная дѣятельность Карамзина. Весь послѣдній, почти 25-ти-лѣтній періодъ его дѣятельности принадлежить уже не литературѣ, а наукѣ, а потому мы и не думаемъ разсматривать его на столько же подробно, на сколько подробно разсматривали мы его дѣятельность до 1803 г. Нельзя однакоже не сообщить важнѣйшихъ подробностей этого періода жизни Карамзина, тѣмъ болѣе, что она богата эпизодами, которые не только замѣчательны, но могутъ быть названы и поучительными въ своемъ родѣ.

Выше упоминали мы о первой женитбѣ Николая Михайловича. Первая супруга его, нѣжно-любимая имъ, жила съ нимъ очень не долго, не болѣе года. Карамзинъ овдовѣлъ и на рукахъ его осталась маленькая дочь, на которой онъ сосредоточилъ всю свою нѣжность и вниманіе. Но постоянныя, срочныя работы по журналу, а потомъ тяжкіе труды по должности исторіографа, отнимавшіе у него всякую возможность слѣдить за воспитаніемъ дочери, вынудили его къ вступленію во второй бракъ: въ началѣ 804 года онъ женился на Екатеринѣ Андреевнѣ Вяземской, сводной сестрѣ извѣстнаго поэта. По-

грузившись совершенно въ разработку историческаго матерьяла, проводя зимы въ Москвѣ, а лѣто въ подмосковной тестя своего, князя Вяземскаго—знаменитомъ селѣ Остафьевѣ (близъ Подольска)—Карамзинъ на нѣсколько лѣтъ почти удалился отъ міра. Небольшой кружокъ избранныхъ, близкихъ и давнихъ друзей, семья, переписка съ учеными и неутомимая, кропотливая, тяжелая работа надъ скрытымъ матерьяломъ—вотъ въ чемъ заключалась въ то время вся жизнь Карамзина. Мы не станемъ здѣсь упоминать о томъ, сколько трудностей и какихъ именно пришлось преодолѣвать Карамзину при исполненіи его обширной задачи: объ этомъ ужъ такъ много было говорено и писано, что мы прямо отсылаемъ читателей, интересующихся историческимъ трудомъ Карамзина, къ книгѣ г. Погодина²⁾, въ которой подробно изложено весь ходъ работы Николая Михайловича надъ историческимъ матерьяломъ. Не мѣшаетъ однакоже замѣтить здѣсь, что, приступая къ выполнению своей задачи, Карамзинъ даже былъ не въ состояніи составить себѣ хотя какое нибудь представленіе о громадности этого труда. Это видно уже изъ того, что онъ самъ писалъ къ Муравьеву, едва принявшись за свой трудъ: „въ пять-шесть лѣтъ“—пишетъ онъ—„я надѣюсь дойти до Романовыхъ, а прежде я не намѣренъ ничего печатать“. А между тѣмъ, проработавъ почти двадцать-пять лѣтъ, онъ не довелъ своей Исторіи и до воцаренія Романовыхъ, не смотря на безпримѣрную усидчивость и добросовѣстное трудолюбіе. Одинъ изъ его біографовъ замѣчаетъ, что, приступая къ занятіямъ Исторіею, Карамзинъ „о дѣлѣ Исторіи, особенно въ отношеніи къ приготавительнымъ, историческимъ работамъ, имѣлъ понятія очень поверхностныя; классическаго образованія онъ не получилъ и даже собственно-ученой подготовки у него не было. Онъ хотѣлъ прежде всего сочинить внимательную книгу для чтенія; онъ хотѣлъ развернуть пріятную, поразительную картину передъ взорами своихъ читателей; распространить въ обществѣ, въ народѣ, исто-

¹⁾ Предложеніе принять профессорскую кафедру было одѣлано Карамзину Дерптскимъ университетомъ въ мартѣ 1802 г. Другое подобное предложеніе получено было Карамзинымъ отъ Харьковскаго университета, когда уже онъ былъ назначенъ исторіографомъ. — ²⁾ М. П. Погодинъ. Н. М. Карамзинъ, по его сочиненіямъ, письмамъ и отзывамъ современниковъ Часть II, гл. VII.

рическія свѣдѣнія, доступныя прежде только для немногихъ. Учености у него не было въ виду. Онъ надѣялся управиться при одномъ здоровомъ смыслѣ, живости воображенія, при талантѣ краснорѣчія. Но добросовѣстное отношеніе къ дѣлу изслѣдованія — когда Карамзинъ лицомъ къ лицу сошелся съ задачей своей въ самомъ ея исполненіи, — помѣнило совершенно направленіе его труда, вынудивъ его самого „сдѣлаться строгимъ критикомъ, многостороннимъ ученымъ“. Незамѣтно для него самого страшно разрослся его трудъ, и въ сентябрѣ 1809 г., послѣ 6 лѣтъ неутомимой работы, Карамзинъ писалъ Дмитріеву: „Въ нынѣшній годъ почти совсѣмъ не подвинулся впередъ; описалъ только княженіе Василія Дмитріевича, сына Донскаго“.

Нельзя однакоже упустить изъ виду того, что между тѣмъ, какъ неутомимый труженикъ болѣе и болѣе углублялся въ изученіе отдаленнаго прошлаго Россіи, въ мракъ давно-минувшихъ вѣковъ, онъ все болѣе и болѣе начиналъ удалаться отъ современности, происходившей предъ глазами его. Эпоха реформъ, переживаемая Россіею, была дѣйствительно не совсѣмъ легкою для общества и для народа, а внѣшней политикой нашей, послѣ сближенія Александра съ Наполеономъ, многіе русскіе патриоты нѣмѣли дѣйствительно право быть недовольными... Карамзинъ, подъ вліяніемъ давно уже начавшагося въ немъ нравственнаго поворота, давно уже недовольный настоящимъ, и притомъ, по свойственной ему сентиментальности, склонный идеализировать прошлое, рѣшился въ этомъ прошломъ искать идеаловъ для настоящаго и будущаго Россіи... Одинъ изъ біографовъ Карамзина ставитъ ему это въ особенную заслугу и даже рѣшается провести такую странную паралель между Карамзинимъ и Сперанскимъ:

„Сперанскій увидѣлъ французское законодательство, какъ Петръ I Европу, очаровался, началъ преобразовывать. Карамзинъ, пройдя (при изученіи исторіи) тысячу лѣтъ безпримѣрнаго въ европейскихъ лѣтописяхъ русскаго терпѣнія, и не находя по опыту ничего лучше, полезнѣе этого терпѣнія, не видя въ современномъ положеніи русскаго

общества другихъ обезпеченій успѣха, боялся ступить шагу не по столбовой дорогѣ: а Сперанскій готовъ былъ по проселкамъ мчаться хоть на тройкѣ съ колокольчикомъ“¹⁾.

Но вопреки этому странному сравненію и похваламъ, которыя почтенный біографъ расточаетъ Карамзину за его идеализацію русской старины и за его консерватизмъ, мы замѣтимъ однакоже, что и этотъ консерватизмъ, и эта идеализація прошлаго были также не болѣе, какъ однимъ изъ послѣднихъ увлеченій Карамзина. Для насъ совершенно ясною, почти очевидною, кажется связь и этого послѣдняго увлеченія съ его давнею наклонностью къ сентиментализму, который непріязненно относился къ грубой дѣйствительности (потому что о нее разбивались его мечтанія) и съ любовью, съ пристрастіемъ обращался къ отдаленному прошлому, которое такъ легко поддавалось всякой идеализаціи и всякимъ теоріямъ, въ связи съ отвлеченною моралью, добродѣтелью и общимъ благомъ. И вотъ, подъ вліяніемъ этого-то послѣдняго увлеченія, Карамзинъ, при изученіи Русской исторіи, пораженный апатическою неподвижностью древней Руси въ теченіе многихъ вѣковъ, принявъ эту неподвижность за основную законъ, руководящій судьбами русскаго народа... На основаніи такого взгляда. Карамзинъ создалъ себѣ какую-то странную теорію историческаго терпѣнія и постепенности, сталъ еще въ „Вѣстникѣ Европы“ доказывать, что законодатель очень дурно дѣлаетъ, если „облетаетъ время“, и наконецъ до такой степени поддался своему взгляду, что даже и реформу Петра, нѣкогда приводившую его въ восторгъ, отвергнулъ какъ ненужную и вредную, какъ разрушившую правильное и мирное теченіе Русской исторіи. И дѣйствительно, вооружаясь противъ реформъ Александра, нельзя было оправдывать реформу Петра; открывъ новый законъ исторической постепенности и терпѣнія, приходилось повелѣть отрицать все, хотя сколько-нибудь похожее на реформу, какъ-бы оно въ сущности ни было полезно для русской жизни. Результатомъ новой теоріи Карамзина была извѣстная его

¹⁾ П.-годинъ. См. выше II, 83.

„Записка о древней и новой Россіи“, поданная въ 1811 г. Императору Александру въ Твери, черезъ сестру его, Великую Княгиню Екатерину Павловну, по просьбѣ которой, собственно говоря, и составлена была „Записка“, такъ какъ ей чрезвычайно понравилась основная мысль ея, изложенная Карамзинымъ въ одной изъ предшествовавшихъ бесѣдъ съ Великою Княгинею (въ декабрѣ 1810 г.). Мы твердо увѣрены въ томъ, что Карамзинъ въ „Запискѣ“ выражалъ только лично ему принадлежавшее мнѣніе, и нимало не хотѣлъ быть выразителемъ мнѣнія консервативной партіи, недовольной реформами Александра и Сперанскаго; однакоже „Записка о древней и новой Россіи“, представленная Карамзинымъ Императору, повидимому, была принята именно какъ выраженіе огромнаго большинства недовольныхъ: Императоръ сначала разсердился было на Карамзина, „но вскорѣ послѣ того явно охладѣлъ и къ Сперанскому“¹⁾.

Между тѣмъ наступила во многихъ отношеніяхъ знаменательная для Россіи эпоха 1812 года, которая въ жизни Карамзина отозвалась тяжкими потерями и лишеніями. Не говоря уже о томъ, что онъ наравнѣ со всѣми пострадалъ отъ нашествія французовъ матеріально (подмосковная его жены была разворена и состояніе его, довольно нарядное, сильно поколебалось), ему пришлось и въ семьѣ своей, и въ трудѣ своемъ понести невозвратимыя потери. Двое старшихъ дѣтей его около этого времени умерли отъ скарлатины, и его великолѣпная бібліотека, которую, по его собственнымъ словамъ, онъ собиралъ „цѣлую четверть вѣка“, сгорѣла въ московскомъ пожарѣ. Уцѣлѣли только рукописи, да полный списокъ его Исторіи въ двухъ экземплярахъ. „Камоэнсъ спасъ свою Люпзіаду“—такъ писалъ Карамзинъ Дмитріеву о своей Исторіи. „Мы богаты прискорбіями“... „Мысль, что будетъ? тревожитъ сердце. Толкаю себя въ правый и лѣвый бокъ, чтобы чаще взглядывать на небо; во суетная земля еще крѣпко удерживаетъ свои права на мою слабую душу. Желаю работать: только не нишю всего, что надобно“—такъ пишетъ

Карамзинъ въ февралѣ 1813 г. къ друзьямъ своимъ изъ Ярославля, гдѣ онъ съ семействомъ своимъ вынужденъ былъ укрыться отъ нашествія. Однакоже никакія утраты не могли поколебать его трудолюбія и желанія поскорѣе окончить свой громадный трудъ. Лѣтомъ 1813 года онъ опять уже писалъ А. И. Тургеневу, ревностнѣйшему изъ своихъ друзей-помощниковъ: „Мы наконецъ совсѣмъ переѣхали въ жалкую и безобразную Москву, гдѣ все теперь неудобно и дорого“. Тамъ, на пепелищѣ Москвы и въ своей разворенной подмосковной, Карамзинъ оканчивалъ Исторію древнѣйшаго періода Россіи, до начала XVI в. Въ іюлѣ 1816 г. онъ писалъ въ одномъ изъ своихъ писемъ: „...Если Богъ дастъ намъ миръ, и будемъ здоровы, то зиню опять начну помышлять о Петербургѣ, чтобы издать свою Исторію, и тѣмъ доставить себѣ возможность къ воспитанію дѣтей и къ заплатѣ долга, если Богъ поможетъ“.

Помышлять о побѣдѣ въ Петербургѣ Карамзинъ началъ уже за два года до того времени; его привлекали туда не только удобства жизни и занятій, которыя могъ представить въ то время Петербургъ жителю Москвы, едва возникавшей изъ развалинъ, но также и тѣ милостивыя, почти дружескія приглашенія Императрицы Маріи Ѳеодоровны, которая въ цѣломъ рядѣ писемъ побуждала историографа поскорѣе переселиться въ Петербургъ, предлагая ему готовое помѣщеніе въ Павловскѣ, въ Царскомъ-Селѣ или въ Гатчинѣ. Императрица, при этомъ, не разъ выражала Карамзину желаніе, чтобы онъ поскорѣе перешелъ къ описанію новѣйшаго, „достопамятнѣйшаго времени, превосходящаго всѣ прошедшія чудесными происшествіями“. Однакожъ, побѣдка въ Петербургѣ нѣсколько и пугала Карамзина: онъ ѣхалъ туда печатать свою Исторію, и не зналъ, какъ встрѣтитъ его Императоръ, нѣкоторое время сѣдовавшій на Карамзина за его „Записку о старой и новой Россіи“. А между тѣмъ отъ воли Императора зависѣла и участь труда карамзинскаго, и все будущее его семейства... Къ тому же, тогда наступило время извѣстной реакціи, періодъ реформъ уже

¹⁾ Погодинъ. Тамъ же, II, 82.

миновалъ и смѣнился другимъ, въ теченіе котораго въ значительной степени начинали сбываться идеалы, выставленные Карамзинымъ въ его „Запискѣ“, и на которые онъ указывалъ Александру, какъ на достойныя цѣли его стремленій въ будущемъ. Но въ теоріи эти идеалы, вѣроятно, были гораздо привлекательнѣе, нежели на практикѣ, потому что самъ Карамзинъ, собираясь въ Петербургъ (въ январѣ 1816), сталъ высказывать нѣкоторыя опасенія насчетъ того, что онъ можетъ въ Петербургъ съѣздить и возвратиться ни съ чѣмъ?... „Говорятъ, что у насъ теперь только одинъ вельможа: графъ Аракчеевъ. Богъ съ ними и со всѣми! Не будетъ ничего безъ воли Провидѣнія“.

2-го февраля 1816 г. Карамзинъ пріѣхалъ въ Петербургъ и привезъ съ собою восемь томовъ своей Исторіи, къ которой передъ отъѣздомъ изъ Москвы написалъ предисловіе и посвятительное письмо. Съ самаго пріѣзда въ Петербургъ начался для Карамзина тяжелый рядъ разочарованій: памятникомъ ихъ остался для потомства цѣлый рядъ писемъ, которые слишкомъ ясно указываютъ намъ, какія горькія минуты онъ переживалъ въ то время въ Петербургѣ.

Обласканный обѣими Императрицами, Великими Князьями и Великими Княгинями, которымъ давно уже былъ знакомъ не только самъ Карамзинъ, но и супруга его, встрѣчаемый во всѣхъ обществахъ съ понятнымъ восторгомъ, исторіографъ не удостоивался вниманія только самого Императора. Императоръ нѣсколько разъ приказывалъ ему передать, что онъ вскорѣ позоветъ его къ себѣ, но свиданіе это откладывалось и отсрочивалось подъ разными предлогами до тѣхъ поръ, пока Карамзинъ не догадался о настоящемъ препятствіи къ свиданію его съ Александромъ. Препятствіе это заключалось въ томъ, что Карамзинъ, принятый во всѣхъ лучшихъ обществахъ, во всѣхъ кружкахъ, не былъ съ визитомъ у всесильнаго графа Аракчеева. Напрасно съ разныхъ сторонъ и его пріятели, и кліенты графа Аракчеева давали ему понять, что безъ визита къ графу дѣло не обойдется. Карамзинъ совершенно вѣрно замѣчалъ на это, что онъ съ графомъ не знакомъ и къ незнакомымъ людямъ съ визитомъ не ѣздитъ. Въ письмѣ къ женѣ своей онъ прямо гово-

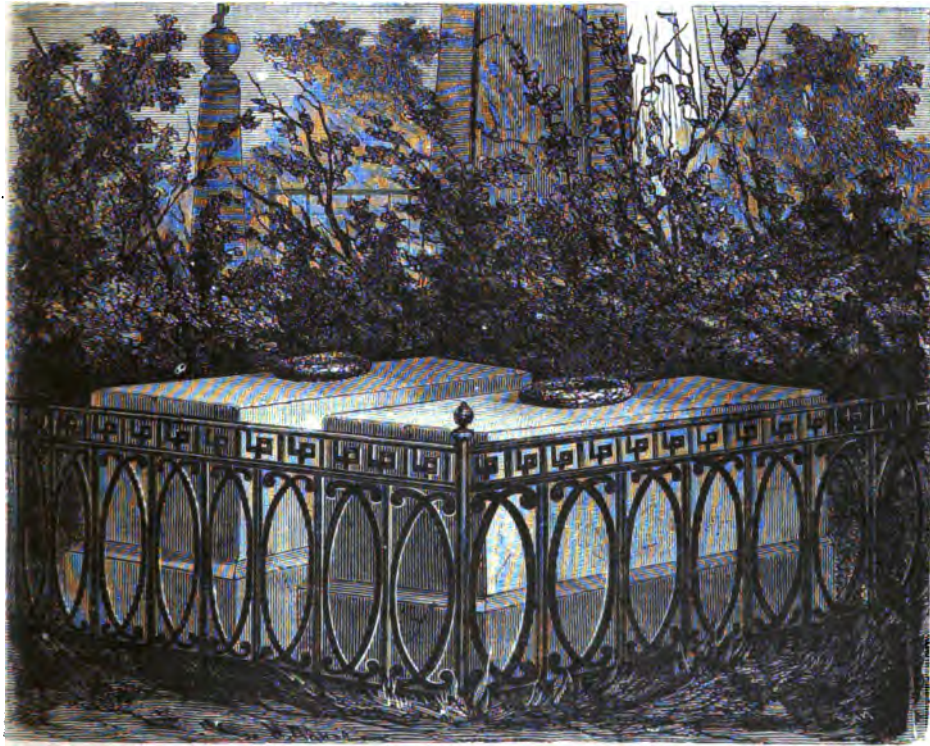
рить, намекая на этотъ вопросъ: „не хочу презирать себя...“, „не сдѣлаю ничего непристойнаго...“. И видно, что ему очень тяжело было снести свое фальшивое положеніе, потому что въ одномъ изъ писемъ къ женѣ (отъ 11 февр.) онъ говоритъ: „отъ Государя ни слова... что будетъ далѣе, не знаю; но знаю, что 10 марта (если не прежде) возьму подорожную, чтобы ѣхать къ вамъ назадъ и болѣе не заглядывать въ Петербургъ, хотя не могу довольно похвалиться ласками здѣшнихъ господъ и пріятелей“. Но послѣ этого письма прошло еще двѣ недѣли — Государь не принималъ Карамзина. Между тѣмъ отношенія Аракчеева къ Карамзину становились баснею всего города и доходили даже до странныхъ недоразумѣній какъ видно, напримѣръ, изъ слѣдующаго письма Карамзина къ женѣ:

„...Скажу тебѣ нѣсколько словъ о вѣломомъ (т. е. о гр. Аракчеевѣ): вчера входитъ ко мнѣ ординарецъ его, съ запискою отъ адъютанта, что графъ ждетъ меня въ 6 часовъ вечера. Догадываюсь и отвѣчаю, что не я, а братъ мой Федоръ, старинный сослуживецъ графа, былъ у него наванушъ. Не имѣвъ счастья видѣть его. Адъютантъ извиняется весьма учтиво и пишетъ, что онъ дѣйствительно ошибся, и что графъ ждетъ брата. Братъ является, и графъ съ низкими поклонами говоритъ ему: „радуюсь случаю познакомиться съ такимъ ученымъ человѣкомъ, тѣмъ болѣе, что я былъ нѣкогда пріятелемъ вашего брата“. Федоръ Михайловичъ отвѣчаетъ: „Ваше Сіятельство! я не исторіографъ, а самый вашъ старинный знакомецъ!“ Слѣдуютъ объятія, ласки. Открылось, что графъ ждалъ исторіографа, узнавъ, что пріѣзжалъ къ нему Карамзинъ. Но могъ ли я, имѣя навѣстный тебѣ характеръ, ѣхать къ незнакомому мнѣ фавориту? Это было-бы нахально и глупо съ моей стороны“.

Время между тѣмъ все шло да шло: и послѣ этого эпизода вскорѣ минуло почти двѣ недѣли — а положеніе Карамзина не измѣнялось. Напрасно бодрился онъ, напрасно старался, въ письмахъ къ женѣ, показать себя равнодушнымъ и спокойнымъ, даже хвалился мужествомъ, говоря женѣ своей: „видишь, что мужъ твой Гуровъ: — не поѣхалъ къ графу Аракчееву... не воспользовался его благорасположеніемъ...“ До

него стали между тѣмъ доходить слухи самаго непріятнаго свойства; такъ, напримѣръ, подъ рукою стали говорить, что казна ни въ какомъ случаѣ не отпуститъ на печатаніе его Исторіи тѣхъ 60,000 р., которые по его соображеніямъ были такъ необходимы... Нѣсколько времени Карамзинъ еще держался своего независимаго положенія и думалъ устоять противъ гнетущей силы обстоятельствъ. Еще 2-го марта онъ писалъ

женѣ: „...если не удостоютъ меня лице-зрѣнія, то надобно забыть Петербургъ: докажемъ, что и въ Россіи есть благородная и Богу не противная гордость; продадимъ деревню и станемъ вѣкъ доживать въ Москвѣ“... Но вотъ настало 10-е марта, которое такъ рѣшительно назначилъ Карамзинъ днемъ своего отъѣзда изъ Петербурга — и онъ все же не былъ допущенъ до Государя. Между тѣмъ ему еще разъ передали подѣ



Могилы Карамзина въ Александро-Невской лаврѣ.

рукою, что графъ Аракчеевъ желаетъ съ нимъ видѣться и говорить: „Карамзинъ, видно, не хочетъ моего знакомства: пріѣхалъ сюда и не забросилъ даже ко мнѣ карточки!“ И Карамзинъ поколебался — отвезъ наконецъ карточку къ графу, а на третій день удостоенъ былъ отъ него приглашеніемъ. Непріятно и тяжело читать отчетъ Карамзина объ этомъ визитѣ въ письмѣ къ женѣ; каждого невольно поражаетъ

рѣзкая перемѣна тона въ отзывѣхъ объ Аракчеевѣ и видимое желаніе какъ будто извинить, оправдать свой вынужденный шагъ. „Я нашелъ въ немъ“ — пишетъ Карамзинъ объ Аракчеевѣ — „человѣка съ умомъ и съ хорошими правилами. Вотъ его слова: „учителемъ моимъ былъ дядяекъ: мудрено-ли, что я мало знаю? Мое дѣло исполнять волю Государеву. Если-бы я былъ моложе, то сталъ бы у васъ учиться: теперь

уже поздно". Не думай, милая, что это насмѣшка; нѣтъ, онъ хорошо трактовалъ меня, и сказанное мною не могло подать ему повода къ такой насмѣлкѣ... На другой же день послѣ этого визита Карамзинъ получилъ приглашеніе явиться къ Государю, былъ тотчасъ принятъ, обласканъ, осмыанъ милостями, и въ отчетѣ о свиданіи съ Александромъ Карамзинъ опять возвращается къ прежнему, увѣренному и твердому тону своему, говорить даже такъ: „Я предложилъ наконецъ свои требованія: все принято, даже какъ нельзя лучше — на печатанье 60 тысячъ, и чинъ, мнѣ принадлежащій по закону. Печатать здѣсь въ Петербургѣ; весну и лѣто жить, если хочу, въ Царскомъ-Селѣ; право быть искреннимъ“ и т. д. На другой же день послѣ этого Карамзинъ былъ съ визитомъ у Аракчеева. „Вчера я отвезъ карточку къ графу Аракчееву“ — пишетъ онъ женѣ — „онъ догадается, что это въ знакъ благодарности учтивой. Вѣроятно, что онъ говорилъ обо мнѣ съ Императоромъ“. Нѣсколько дней спустя, Карамзинъ даже писалъ женѣ: „ты уже знаешь, другъ безцѣнный, что Государь пожаловалъ мнѣ еще Анненскую ленту черезъ плечо, и самымъ пріятнѣйшимъ образомъ“. Вполнѣ достовѣрный рассказъ одного современника ¹⁾ поясняетъ намъ смыслъ этихъ послѣднихъ словъ письма: „Государь, наградивъ Карамзина, замѣтилъ ему съ особенною выразительностью, что жалуетъ ленту не за Исторію, а за Записку. Аракчееву, какъ врагу Сперанскаго“ — прибавляетъ современникъ — „не трудно было примирить Александра съ Карамзинымъ, который въ „Запискѣ“ своей осуждалъ (дѣятельность) Сперанскаго“ ²⁾.

Вскорѣ послѣ того, Карамзинъ съ семействомъ своимъ переселился изъ Москвы въ Царское-Село, потомъ въ Петербургъ. Около двухъ лѣтъ продолжалось печатаніе перваго изданія его „Исторіи“. Наконецъ, января 28-го, 1818 года, Карамзинъ поднесъ Александру полный экземпляръ своей „Исторіи Государства Россійскаго“. Черезъ 25 дней послѣ того, всѣ 3,000 экземпляровъ перваго изданія были уже распроданы, и явилась

потребность во второмъ изданіи. Всѣ, самыя смѣлыя надежды Карамзина сбылись вполнѣ, и будущность его семьи была обезпечена. Его „Исторія“, замѣчательный и можетъ быть даже единственный въ своемъ родѣ памятникъ самоотверженной преданности наукѣ и неутомимаго, непрестаннаго труда надъ критическою разработкою сираго матерьяла, была, съ этой стороны, оцѣнена по достоинству всѣми партіями и всѣми слоями современнаго общества, хотя очень многие съ недовольствомъ и крайнимъ сомнѣніемъ относились къ основной мысли „Исторіи“ Карамзина, и изъ многихъ устъ достойныхъ полнаго уваженія, слышались справедливые укоры историографу за прелезность его исторической теоріи.

Остальные восемь лѣтъ жизни Карамзина протекли мирно и безопасно. Находясь въ постоянныхъ и притомъ самыхъ близкихъ, дружескихъ сношеніяхъ съ Императоромъ Александромъ и обѣими Императрицами, онъ почти каждый день, во время многихъ лѣтнихъ пребываній своихъ въ Царскомъ-Селѣ, видался съ Императоромъ и нерѣдко пользовался его благодушіемъ для того, чтобы оказывать добро ближнимъ. Вся жизнь Карамзина за эти послѣдніе восемь лѣтъ сосредоточивалась въ его трудѣ, который онъ не оставлялъ до послѣдней минуты и въ тихихъ радостяхъ семейной жизни. Жизнь общественной и государственной онъ въ это время уже не замѣчалъ, или по крайней мѣрѣ старался не замѣтить: ему хотѣлось жить въ мирѣ со всѣми и съ самимъ собою.

Вопреки обыкновенной человѣческой слабости, онъ уже рано сталъ говорить о приближеніи старости и смерти; но онъ говорилъ о нихъ безъ страха и горечи, видѣлъ въ нихъ, какъ и во всемъ, одну свѣтлую, примирительную сторону. „Чтобы чувствовать всю сладость жизни“, — писалъ онъ къ Дмитріеву за нѣсколько мѣсяцевъ передъ кончиною — „надобно любить и смерть, какъ сладкое успокоеніе въ объятіяхъ Отца. Въ мои веселые, свѣтлые часы я всегда бываю ласковъ къ мысли о смерти, мало заботясь о безсмертіи авторскомъ, хотя и посвятивъ здѣсь способности ума авторству“ ³⁾ Дѣй-

¹⁾ Графа Влудова. — ²⁾ Гротъ, см. выше, стр. 41. — ³⁾ Акад. Гротъ, Юбилейная рѣчь въ память Карамзина (заключеніе).

ствительно славѣ своей онъ не придавалъ большаго значенія и никогда не увлекался ею: гораздо болѣе славы радовалъ и возвышалъ его душу тотъ восторгъ, то горячее уваженіе, съ которымъ, по приѣздѣ въ Петербургъ, онъ былъ встрѣченъ цѣлою группою молодыхъ даровитыхъ писателей, которые привѣтствовали въ немъ своего учителя. Жуковскій, по смерти Карамзина, всѣхъ теплѣе выразилъ отношеніе къ нему молодежи, и, въ посланіи къ Дмитріеву, такъ восхвѣлъ могилу Карамзина:

„Лежать вѣнецъ на мраморѣ могилы,
Ея молится Россіи вѣрный сынъ,
И будить въ немъ для дѣлъ прекрасныхъ силы
Святое имя: — Карамзинъ“.

Восхвѣтая имъ могила Карамзина находится въ Александро-Невской лаврѣ; рядомъ

съ нею завѣщаль Жуковскій похоронить и себя, и надъ своимъ прахомъ воздвигнуть точно такую же гробницу, какъ и восхвѣтая имъ гробница Карамзина.

Карамзинъ скончался 22 мая 1826 г., осыпанный милостями Императора Николая I, который не только обезпечилъ благосостояніе его семьи огромною ежегодною пенсіею (въ 50.000 рублей), но даже простеръ заботливость о здоровьи Карамзина до-нельзя: въ то время, какъ Николай Михайловичъ уже доживалъ послѣдніе дни свои, по приказанію Императора для него снаряжался корабль, который долженъ былъ везти больного исторіографа въ Италію... Но онъ не дожилъ до возможности воспользоваться этою милостію.

Тѣтъ двадцать спустя послѣ смерти Карамзина, ему былъ воздвигнутъ памятникъ на родинѣ его, въ Симбирскѣ.



XII.

И. И. Дмитриевъ; его литературная дѣятельность, взглядъ на поэзію и важное значеніе въ средѣ современниковъ. — В. А. Озеровъ; его трагедіи и несчастія. — Литературная дѣятельность его, какъ переходъ къ романтическому направленію.

Ближайшими послѣдователями Карамзина, какъ представителя сентиментальнаго направленія въ нашей литературѣ и какъ писателя, положившаго основаніе новому литературному языку и слогу, явились — Дмитриевъ и Озеровъ. То, что сдѣлано было Карамзинымъ по отношенію къ прозѣ изящной и ученой, было, при помощи этихъ двоихъ ближайшихъ современниковъ и послѣдователей Карамзина, поддержано и окончательно утверждено въ области поэтическаго творчества. Дмитриевъ, внося сентиментализмъ, какъ господствующее направленіе, въ нашъ эпосъ и лирику, въ то же время совершенствовалъ, подъ вліяніемъ Карамзина, и общій складъ русскаго стиха, и самый составъ нашего легкаго, поэтическаго языка. Озеровъ, подъ тѣмъ же вліяніемъ и направленіемъ, способствовалъ окончательному познанію съ нашей сцены ложно-классическихъ идеаловъ и драматическихъ произведеній, построенныхъ по правиламъ теоріи... И тотъ, и другой пользовались въ свое время громкою славою и большимъ значеніемъ, благодаря тому, что уже умѣли облекать въ сущности небогатое и неглубокое содержаніе своихъ произведеній въ изящную и красивую вѣшнюю форму, предъ которой преклонялись современники, какъ предъ явленіемъ новымъ и невиданнымъ дотошъ въ нашей литературѣ. Можно почти сказать, что Карамзинъ, Дмитриевъ и Озеровъ первые способствовали у насъ въ обществѣ развитію любви къ чтенію; благодаря ихъ дѣятельности, вѣшность литературныхъ произведеній сдѣлалась настолько привлекательною и доступною, что литературные интересы стали близки и дороги всѣмъ, и вмѣстѣ съ любовью къ чтенію, пристрастіе къ литературѣ въ концѣ прошлаго вѣка проникло въ такіе слои обще-

ства, которые до того времени не находили въ ней удовольствія, не чувствовали въ ней необходимости.

Иванъ Ивановичъ Дмитриевъ (род. 1760, ум. въ 1837 г.) оставилъ намъ по себѣ довольно подробныя и во многихъ отношеніяхъ любопытныя біографическія записки, подъ названіемъ „Взглядъ на мою жизнь“. Особенно любопытна въ нихъ первая часть, въ которой сообщилъ онъ краткія свѣдѣнія о своемъ дѣтствѣ, отрочествѣ и юности, о своемъ воспитаніи, литературной дѣятельности и обширныхъ литературныхъ связяхъ. Записки эти писаны имъ въ 66 году его жизни, въ то время, когда онъ давно уже оставилъ и литературное, и служебное свое поприще: „ноги отбазываютъ служить мнѣ“ — такъ пишетъ онъ въ предисловіи къ „Запискамъ“ — „глаза мои тоже старыя связи перевелись; новыя заводять трудно и не прочно: пришлось искать занятія въ самомъ себѣ и доживать воспоминаніемъ“. И воспоминанія поэта оказываются очень важнымъ историко-литературнымъ матеріаломъ, потому что не только знакомятъ насъ очень близко съ современными ему взглядомъ на литературу, но еще и переносятъ насъ всецѣло въ среду понятій и разрывовъ общихъ всей нашей сентиментальной школѣ писателей. Замѣтимъ, кстати, что литературная дѣятельность Дмитриева не имѣетъ положительно никакой связи съ его блестящей служебной карьерой, о которой, вслѣдствіе этого, намъ едва придется упомянуть, и то мимоходомъ; онъ самъ, въ своихъ „Запискахъ“, тщательно отдѣлялъ эти двѣ стороны жизни, которыя у него, какъ у человека вполне обезпеченнаго, независимаго и одареннаго спокойнымъ характеромъ, дѣйствительно не находились ни въ какой взаимной связи. Къ тому же и по самой сущ-

ности сентиментальнаго направленія, Дмитріевъ смотрѣлъ на поэтическую дѣятельность, какъ на нѣчто такое, что и не можетъ, и не должно имѣть тѣсной связи съ жизнью. Въ самыхъ „Запискахъ“ своихъ онъ не скрываетъ даже нѣкотораго отвращенія отъ того сближенія литературы съ жизнью, которое явно стало проявляться въ пушкинскомъ періодѣ нашей литературы, къ которому и относится составленіе „Записокъ“ Дмитріева. „Поэзія“ говоритъ онъ въ заключеніе первой части своего „Взгляда“ — „порожденіе неба, хотя и склоняетъ взоръ свой къ землѣ; но — здѣсь она провиняется въ глубину сердець, наблюдаетъ сокровенныя ихъ изгибы и живописуетъ страсти, держась всегда нравственной цѣли, воспламеняется къ добродѣтели, ко всему пріятному и высокому, воспѣваетъ доблести обреченныхъ къ безсмертію. А тамъ — падается въ удивленіи къ міровданію, въ трепетномъ благоговѣніи къ Непостижимому. Вотъ названіе истинной поэзіи. Вотъ почему она и называется органомъ боговъ, а вдохновенный ею — поэтомъ“.

Дмитріевъ былъ землякъ Карамзина. Онъ родился въ родовомъ помѣстьѣ своемъ, селѣ Богородскомъ (Симбирской губ.), близъ г. Сызрани. Раннее дѣтство свое онъ провелъ въ Казани у дяди своего со стороны матери, А. А. Бекетова, и образованіе получилъ весьма ограниченное: сначала въ пансіонѣ въ Казани, гдѣ обучали его французскому языку, арифметикѣ и рисованію, потомъ попалъ въ руки какого-то гарнизоннаго сержанта, отъ котораго „только и слышалъ непостижимыя слова: искомое, дѣлимое; видѣлъ только на аспидной доскѣ цифры, и самъ ставилъ цифры же на-удачу, безъ всякаго соображенія“... Затѣмъ попалъ онъ въ новый пансіонъ уже въ Симбирскѣ, къ отставному поручику и бывшему воспитаннику Сухопутнаго кадетскаго корпуса, г. Кабриту. Въ этомъ пансіонѣ Иванъ Ивановичъ, вмѣстѣ со старшимъ братомъ своимъ, обучался французскому и нѣмецкому языку, русскому правописанію, исторіи, географіи и математикѣ. Оба ученика дѣлали замѣтные успѣхи у своего молодого и способнаго учителя, который хорошо преподавалъ и хорошо обращался съ ними, не стѣсняя свободы ихъ развитія; но, къ сожалѣнію, Иванъ Ивановичъ скоро взять былъ

изъ пансіона и оставленъ дома, подѣ строгимъ надзоромъ отца, который, кромѣ того, еще и докучалъ дѣтямъ весьма безтолковыми занятіями: то заставлялъ ихъ заучивать наизусть діалоги, то принуждалъ долбить грамматику. „Такой ходъ ученія наводилъ на меня грусть и отвращеніе“, говоритъ Дмитріевъ, „тѣмъ болѣе, что я уже съ десяти лѣтъ набилъ голову мечтательными приключеніями“.

И дѣйствительно оказывается, что, не смотря на строгій надзоръ, читать молодому Дмитріеву не препятствовали — и чтеніе не только доставляло ему удовольствіе, но и



Дмитріевъ.

пополняло въ значительной степени весьма крупныя недостатки и пробѣлы его образованія. Иванъ Ивановичъ, указывая на тѣ романы и книги, которые онъ успѣлъ перечитать уже будучи лѣтъ десяти, добавляетъ однакоже, что чтеніе романовъ не имѣло вреднаго вліянія на его нравственность, тѣмъ болѣе, что романы эти принадлежали къ тому нравственно-поучительному роду, который чрезвычайно былъ распространенъ въ европейской литературѣ конца прошлаго столѣтія. Дмитріевъ говоритъ даже: „Похожденія Клевеланда, Приключенія Маркиза Г. — возвышали мою душу. Я всегда плѣнялся добрыми примѣрами и

охотно желалъ имъ слѣдовать". Первымъ знакомствомъ съ русскою поэзіею Дмитріевъ былъ обязанъ своей матери, которая уже въ дѣтствѣ любила ему декламировать отрывки изъ произведеній Сумарокова и Ломоносова. Но къ чтенію русскихъ книгъ Дмитріевъ пристрастился, впрочемъ, только уже въ то время, когда отецъ его, въ самомъ разгарѣ Пугачевщины, вмѣстѣ со множествомъ другихъ дворянъ, бѣжалъ изъ Симбирска въ Москву. Руководителемъ Дмитріева въ выборѣ русскихъ книгъ былъ крѣпостной служитель одного богатаго заводчика, по имени Дорошей Серебряковъ, „обучавшійся на изживеніи господина своего, въ Славяно-греко-латинской академіи, латинской и русской словесности, а потомъ у лучшихъ московскихъ докторовъ врачебному искусству. Извѣстный лирикъ В. П. Петровъ былъ учителемъ Дорошей въ краснорѣчій и поэзіи". Дорошей часто приващивалъ молодыхъ Дмитріевыхъ „на листочкахъ оды и другіе случайные стихи своего учителя", и досадовалъ на Ивана Ивановича, находившаго языкъ Петрова глупымъ и неблагозвучнымъ. Въ это время Дмитріевъ познакомился и съ московскими театромъ, и съ твореніями Хераскова, В. Майкова, М. Н. Муравьева, бывшаго тогда еще гвардіи Измайловскаго полка капитанармусомъ, но уже выдававшего *Собраніе басенъ*. Похвальное слово Ломоносову и стихотворный переводъ Петроніевой поэмы: *Гражданская брань*... „Между тѣмъ", прибавляетъ Дмитріевъ, „слушалъ я иногда привозимые къ отцу моему стихи Сумарокова. Это были уже послѣднія искры угасающаго таланта: но тѣмъ съ большимъ участіемъ передавали ихъ изъ рукъ въ руки"...

Воспитаніе и образованіе обоихъ братьевъ Дмитріевыхъ закончилось въ полковой школѣ л.-гв. Семеновскаго полка, куда они были записаны еще въ 1772 году и „уволены въ отпускъ до совершеннаго возраста". Въ школу эту попалъ Дмитріевъ по припадѣ въ Петербургъ на службу въ 1774 году, слѣдовательно будучи 14 лѣтъ отъ роду. Курсъ ученія былъ немногосложенъ: обучали только математикѣ, рисованью и на русско-мъ языкѣ священной исторіи и всеобщей географіи. Но и этотъ скудный курсъ не долго

пришлось слушать Дмитріеву; по случаю разныхъ торжествъ, гвардія была на время двинута въ Москву, а въ 1775 году братья Дмитріевы, по ходатайству своего дяди, сенатора Н. А. Бекетова, произведены „черезъ чинъ" прямо въ фурыеры¹⁾, и отпущены въ годовой отпускъ къ родителямъ.

Страсть къ поэтическимъ упражненіямъ проявилась въ молодомъ Дмитріевѣ не ранѣе 1777 года. „Не видѣвъ еще ни одной книги о правилахъ стихосложенія", пишетъ Иванъ Ивановичъ—„не имѣвъ и понятія о метрахъ, о разнородныхъ римахъ, о ихъ сочетаніи, я выводилъ строки и оканчивалъ ихъ римами — это были стихи мои". Первымъ печатнымъ опытомъ Дмитріева была стихотворная надпись къ портрету Кантемира, помѣщенная имъ въ „Ученыхъ Вѣдомостяхъ" Новикова¹⁾. Вскорѣ послѣ того, ознакомившись ближе съ правилами поэзіи по изъясненіямъ одного сослуживца, купивъ по его совѣту и реторику Ломоносова, принявъ за образцы Сумарокова и Хераскова, И. И. Дмитріевъ успѣлъ настолько усвоить себѣ технику стиха, что сталъ довольно много писать и переводить стихами, тщательно скрывая свои литературныя занятія не только отъ знакомыхъ, но даже и отъ брата. „Писать и видѣть (стихи свои) въ печати — было для меня единственнымъ возмездіемъ; и я былъ тѣмъ доволенъ, даже и счастливъ!" Но собственно говоря, разумно относиться къ своему стихотворству Дмитріевъ сталъ только послѣ того, какъ въ концѣ семидесятихъ годовъ сошелся съ Карамзинымъ, который былъ на пять лѣтъ его моложе, и съ другимъ сослуживцемъ, Козлятевымъ, который былъ значительно старше его и лѣтами, и службой. Но въ эту пору юности Дмитріева вліяніе, оказываемое на него Козлятевымъ, было гораздо сильнѣе карамзинскаго. Козлятевъ ознакомилъ Дмитріева съ классическими произведеніями древнихъ (во французскихъ переводахъ) и съ сочиненіями важнѣйшихъ представителей современной французской литературы; онъ же посвятилъ его и въ теорію словесности, указавъ ему на Квинтиліана, Батте и Мармонтеля. „Слыша его строгія или безпристрастныя сужденія о стихахъ даже и первенствующихъ нашихъ

¹⁾ Вѣдомости эти издавались въ 1777 году въ Петербургѣ съ января по іюнь мѣсяцъ.

поэтовъ, я началъ танть еще болѣе, особеннѣе отъ него, мои произведенія“, говорить Дмитріевъ; „еще болѣе сталъ чувствовать все ихъ несовершенство“.

Вскорѣ, къ впечатлѣніямъ искусства прибавились еще и впечатлѣнія природы, новой и незнакомой дотошъ Дмитріеву, родившемуся и выросшему въ степной полосѣ Россіи. Иѣтомъ 1778 года гвардія выступила въ походъ въ Финляндію и юный поэтъ (тогда только что произведенный въ офицеры) набрался множества новыхъ впечатлѣній, въ которыхъ, при его незыскательности, и не могло быть недостатка: „Новая (бывшая) дѣлѣнь. новая даже природа, дикая, но Осіа н о в с к а я, ведѣтъ величавая и живописная: гранитныя скалы, шумныя водопады, высокія мрачныя сосны... къ тому же сердце еще не развращенное, повсюду найдетъ для себя кроткія наслажденія... Гдѣ они рѣдкія, тамъ болѣе дорожатъ ими. Какъ я былъ обрадованъ, увидя однажды голубой цвѣточекъ между голыхъ и огромныхъ камней! Съ какимъ удовольствіемъ проваживалъ я поздніе вечера и первые часы утра въ низменной хижинѣ подъ соломенною кровлею!..“

Вскорѣ послѣ того, по возвращеніи въ Петербургъ, Дмитріеву удалось познакомиться съ Державинымъ, который, съ первыхъ же дней знакомства, доставилъ ему возможность „пробѣжать толстую рукопись“ всѣхъ своихъ стихотвореній и ввелъ его въ свой обширный литературно-художественный кружокъ. „Со входомъ въ домъ (Державина) — говорить Дмитріевъ — „какъ будто мнѣ открылся путь и къ Парнасу“ Успѣхи Дмитріева въ стихотворствѣ выказались въ тѣхъ первыхъ удачныхъ опытахъ его, которые появились съ именемъ автора на страницахъ „Московскаго Журнала“ въ 1791 г. Особенно поправилась публикѣ пѣсня Дмитріева „Голубокъ“ и сказка „Модная жена“. „Любители музыки“ — пишетъ онъ — „сѣдѣли на пѣсню мою нѣсколько голосовъ; она полюбила прекрасному полу, а сказка — поэтамъ и молодежи съ той поры и въ обществѣ Державина уже и пересталъ быть авскульптантомъ и вступилъ, такъ сказать, въ собратство съ его членами; но ничѣ одобреніе столько не льстило моему самолюбію, какъ одинъ привѣтливый взглядъ Карамзина или Козлятева“.

Вліяніе Козлятева въ это время должно было уже положительно уступить мѣсто влія-

нію Карамзина. Смѣлость, съ которою этотъ юноша-журналистъ выступилъ на литературное поприще, и быстрые его успѣхи внушили Дмитріеву глубокое уваженіе къ Карамзину и всецѣло подчинили его литературную дѣятельность тому направленію, которымъ такъ увлекался тогда Карамзинъ. Вѣроятно по совѣту Карамзина Дмитріевъ перевелъ въ томъ же 1791 году нѣсколько басенъ изъ Флоріана и Лафонтена, а скорѣе послѣ того и положительно оставилъ „громкое, риторическое описаніе“, которому заплатилъ свою дань, и сосредоточилъ всю свою дѣятельность на мелкой лирикѣ сентиментальнаго содержанія и на переводѣ басенъ.

Чрезвычайно любопытными кажутся намъ тѣ страницы „Записокъ“ Дмитріева, въ которыхъ онъ, описывая „лучшій свой пѣнитическій годъ“, подробно знакомитъ насъ съ тѣми узкими, ограниченными горизонтомъ, котораго было совершенно достаточно для того, чтобы вдохновить сентиментальнаго поэта и доставить ему возможность „запасться матеріалами для будущихъ его произведеній“. Вотъ какъ рассказываетъ объ этомъ періодѣ своей жизни самъ И. И. Дмитріевъ:

„Семьсотъ девяносто четвертый годъ былъ моимъ лучшимъ пѣнитическимъ годомъ. Я провелъ его посреди моего семейства, въ приволжскомъ городкѣ Сызрани или въ странствованіи по Низовому краю. Здоровъ, независимъ, обеспеченъ во всѣхъ моихъ непритязательныхъ нуждахъ, я не скучалъ отсутствіемъ шумныхъ забавъ и докучливыхъ, холодныхъ посѣщеній“. Въ это время день поэта проходилъ въ томъ, что „въ ясное утро, съ первыми лучами солнца, онъ переѣзжалъ (въ Сызрани) рѣку Крыму прямо противъ монастыря, и, взобравшись на высокій берегъ, хаживалъ туда и сюда, безъ всякой цѣли; но вездѣ наслаждался живописными видами, голубымъ небомъ, кроткимъ сіяніемъ солнца, вѣншимъ и внутреннимъ спокойствіемъ“... „Вездѣ“ — говоритъ Дмитріевъ — „давалъ я волю моимъ мечтамъ, начиная мою прогулку всегда съ готовою въ головѣ работою. Потомъ спускался на Воложку или къ заливу Волги. Тамъ выбиралъ изъ любого садка лучшихъ стерлядей и привозилъ ихъ въ ведрѣ къ семейному обѣду. Потомъ клалъ на бумагу стихи, придуманные въ моей прогулкѣ. Если бывали ими дово-

ленъ, то читывалъ ихъ сестрамъ“... „Затѣмъ наступаетъ новое удовольствіе: переписывать стихи мои на-бѣло для отсылки къ Карамзину. Съ какимъ нетерпѣніемъ ожидалъ отъ него отзыва! Съ какою радостію получалъ его! Съ какимъ удовольствіемъ видѣлъ стихи мои уже въ печати! Каждое письмо моего добраго друга было поощреніемъ для дальнѣйшихъ стихотворныхъ занятій. Здѣсь-то (въ Сызрани), въ роскошную пору весны, въ тонкомъ сумракѣ тихаго вечера мелькнули передъ мною безмолвные призраки Ермака и двухъ шамановъ“¹⁾. Почти также проводилъ поэтъ свой день и во время поѣздки своей по Волгѣ, когда въ томъ же году отправился въ Царицынъ навѣстить своего дядю. „Не могу я теперь вспомнить безъ удовольствія тѣхъ дней, которые провелъ я въ пылкомъ домѣ,—особенно же каждое утро! Время было прекрасное: начало лѣта. Въ каютѣ моей помѣщались только столъ, одинъ стулъ, кровать, а надъ нею полка съ моими книгами. По восходѣ солнца выходилъ я изъ тѣсной моей спальни на палубу съ Аріостомъ въ рукахъ (съ французскимъ переводомъ „Неистоваго Розанда“); за мною выносили столъ и ставили на немъ серебряный приборъ для кофія—я самъ варилъ его. Судно наше тянулось плавно и неслоь быстро на парусахъ въ полной безопасности отъ мелей и бури... Съ наступленіемъ вечера, я спускался въ каюту, и ожидалъ вдохновенія музы. Въ этомъ-то уголкѣ написаны: ода „Къ Волгѣ“ и сказка „Искатель Фортуны“.

Какъ немного было нужно для того, чтобы вдохновилъ музу сентиментальнаго поэта—можно видѣть изъ его же словъ: такъ, напримѣръ, въ одномъ мѣстѣ своихъ „Записокъ“ онъ рассказываетъ слѣдующее:

„Никогда не забуду меланхолическаго, но какъ-то пріятнаго впечатлѣнія, испытаннаго мною однажды въ положеніи путника. Съ наступленіемъ вечера вѣбжаю я въ околицу большаго селенія и нагоняю толпу поселянъ обоего пола, возвращающихся съ полевой работы. Черезъ всю деревню я велѣлъ ѣхать шагомъ, чтобы не разлучиться съ ними. Долго слѣдовали они за мною и оглушали меня

своими пѣснями. потомъ разсыпались въ разныя стороны: между тѣмъ я продолжаю путь мой, и веселыя пѣсни еще отзываются въ ушахъ моихъ. Достигаю до конца селенія, и вижу поселянина, въ глубокой старости, сидящаго на завалинкѣ послѣдней хижинны и держащаго на колѣнахъ своихъ младенца. Вѣроятно это былъ внукъ его. Старикъ глядѣлъ спокойно; послѣдніе лучи солнца падали на обнаженное темя его. Путешествіе, младенецъ въ противоположности съ старцемъ, поющая молодость, закатъ солнца—все это представило мнѣ яркую картину жизни во всѣхъ возрастахъ и конецъ ея“.

Въ этомъ отрывкѣ особенно ясно представляется намъ весь процессъ „стихотворныхъ занятій Дмитріева“: мы почти видимъ, какъ онъ, отдѣля поэзію отъ жизни на основаніи взглядовъ сентиментальной школы, видитъ себя вынужденнымъ запасаться впечатлѣніями, видоизмѣнять, преувеличивать значеніе происходящихъ около него явленій, искать около себя элементовъ, достойныхъ поэзіи. На этомъ основаніи Дмитріевъ и указываетъ, напримѣръ, на путешествіе, какъ на вѣщо весьма полезное поэту. „Одна недѣля пути“—говоритъ онъ—„можетъ обогатить его запасомъ идей и картинъ по крайней мѣрѣ на полгода. Всегда подъ открытымъ небомъ, свидѣтель великолѣпнаго восхожденія солнца, вечернихъ сценъ, озлащаемыхъ послѣдними его лучами; безмолвной величественной ночи, устанный вѣтрами, или освѣщаемой полною и кроткою луною: онъ вдыхаетъ въ себя большое благоговѣніе къ Непостижимому. Будучи одинокъ, никѣмъ не развлеченъ, наблюдатель и нравственнаго, и физическаго міра, онъ входитъ самъ въ себя, съ большою живостью принимаетъ всякое впечатлѣніе. Самое надъ нимъ пространство, недостигаемое и безпредѣльное, возмываетъ въ немъ душу и расширяетъ сферу его воображенія“. Результатомъ „пятическаго года“ былъ тѣ стихотворенія, которыя болѣе всего способствовали прославленію Дмитріева въ современномъ ему обществѣ: Гласъ Патриота

¹⁾ Извѣстное стихотвореніе Дмитріева „Ермакъ“ состоитъ изъ разговора двухъ шамановъ сибирскихъ: одинъ изъ нихъ рассказываетъ о томъ, какъ Ермакъ завоевалъ Сибирь.

(на взятіе Варшавы), Чужой толкъ, Ермакъ и сказки: Воздушныя башни. Причудница и Посланіе къ Державину. Вскорѣ послѣ того, въ 1758 году, когда Карамзинъ, по прекращеніи „Московского Журнала“, собралъ всѣ напечатанныя въ немъ свои произведенія подъ названіемъ „Мои бездѣлки“,—Дмитріевъ послѣдовалъ его примѣру и также падаль въ свѣтъ собраніе своихъ стихотвореній, подъ общимъ названіемъ: „И мои бездѣлки“.

Послѣ 1795 года, когда Дмитріевъ оставилъ военную службу, до самаго начала изданія „Вѣстника Европы“, онъ почти ничего не писалъ и не печаталъ, отвлекаемый сначала трудною гражданскою службою ¹⁾, и потомъ хлопотами по устройству своего состоянія. Когда же въ 1802 г. онъ поселился въ Москвѣ, и снова увидѣлъ себя въ ежедневныхъ сношеніяхъ съ Карамзинымъ и со всѣмъ кружкомъ старыхъ и молодыхъ московскихъ литераторовъ, въ немъ опять, на досугѣ, проявилась охота къ „стихотворнымъ занятіямъ“. Но съ этого времени онъ уже посвятилъ себя дѣятельности переводческой и занялся преимущественно перенесеніемъ на нашу литературную почву басенъ Лафонтена. Съ нѣмецкими баснописцами онъ не могъ быть знакомъ, потому что не зналъ нѣмецкаго языка; но переводы басенъ Лафонтена составляютъ, конечно, самую видную часть его литературной дѣятельности, вѣстѣ съ нѣсколькими сатирическими его произведеніями. „Съ появленіемъ „Вѣстника Европы“ въ 1802 г., я обратился опять къ музамъ“—говоритъ Дмитріевъ. „Но развлеченный невольно городской жизнью, хотя и не былъ работливымъ данникомъ свѣта, ослабѣвая притомъ въ здоровьѣ, я уже началъ терять живость воображенія и занимался болѣе подражаніемъ иноземнымъ басенникамъ. Вскорѣ затѣмъ я занемогъ продолжительною и важною болѣзнію“... „Только уже въ продолженіе осени я началъ оправляться и въ этомъ состояніи написалъ басни: Пѣтухъ, котъ и мышенокъ, Царь и два пастуха, Легучія рыбы, Воспитаніе льва, Каретныя лошади“ ²⁾.

Въ концѣ первой части своихъ „Записокъ“ Дмитріевъ бросаетъ на всю свою литера-

турную дѣятельность общій взглядъ, замѣчательный по своей искренности и вѣрности. Упоминая о первомъ періодѣ своего стихотворства, онъ говоритъ: „Вся моя забота (тогда) была только объ томъ, чтобъ стихи мои были менѣ шероховаты, чѣмъ у многихъ. Одну только плавность стиха и богатую рѣму я считалъ красотой и совершенствомъ поэзіи. Но въ то время у насъ едва-ли не также думали не только читатели, но и самые первостепенные стихотворцы“. И въ этихъ немногихъ, искреннихъ словахъ, совершенно вѣрныхъ дѣйствительности, мы слышимъ изъ устъ Дмитріева безпристрастный приговоръ цѣлому предшествующему періоду нашей поэзіи. Далѣе, говоря о томъ, что трудная гражданская служба заставила его надолго покинуть литературныя занятія, Дмитріевъ замѣчаетъ: „привыкнувъ въ молодости писать урывками, я не могъ уже и въ зрѣломъ возрастѣ выпдѣть за бумагой около часа: нетерпѣливъ былъ обдумывать предпринимаемую работу. При малѣйшемъ упорствѣ рѣмы, при малѣйшемъ затрудненіи въ краткомъ и ясномъ изложеніи мыслей моихъ, я бросалъ перо въ ожиданіи счастливѣйшей минуты: мнѣ казалось унизительнымъ ломать голову надъ парой стиховъ и насиловать самого себя, или самую природу. Отъ того, можетъ быть, и примѣчается, даже самымъ мною, въ стихахъ моихъ скудость въ идеяхъ, болѣе живости, украшеній, чѣмъ глубокомыслія и силы. Отъ того послѣдовало и то, что ни въ которомъ изъ лучшихъ моихъ стихотвореній нѣтъ обширной основы“.

Этотъ отзывъ Дмитріева о собственной поэтической дѣятельности до такой степени скромный, что нельзя не припомнить здѣсь важнѣйшую заслугу его по отношенію къ современной русской литературѣ: ту заботливую выработку русскаго стиха и легкаго поэтическаго выраженія, въ которыхъ до него чувствовался положительный недостатокъ. Въ этомъ отношеніи онъ принесъ несомнѣнную пользу и облегчилъ путь слѣдовавшему за нимъ поколѣнію поэтовъ. Все, что написано Дмитріевымъ, кромѣ громкихъ одъ и чисто-реторическихъ произведеній, написано легко и читается свободно;

¹⁾ Съ 1796 г. по 1800 онъ состоялъ на службѣ сначала въ Сенатѣ, потомъ товарищемъ министра по вновь учрежденному департаменту удѣльныхъ имѣній.—²⁾ См. „Вагляръ“, стр. 81.

многія басни его до сихъ поръ не утратили еще своего литературнаго достоинства.

Но при всѣхъ этихъ достоинствахъ, нельзя не согласиться съ Дмитріевымъ, когда онъ говоритъ, что „онъ долженъ быть признателенъ къ счастливой звѣздѣ своей“ и замѣчаетъ, что едва-ли кто изъ его современниковъ проходилъ авторское поприще свое „съ меньшею заботою и съ большей удачею“. Дѣйствительно, имя его, благодаря тѣсной связи съ Карамзинымъ, а черезъ него и съ двумя важнѣйшими современными журналами (Московскимъ Журналомъ и Вѣст. Европы), приобрѣло громкую извѣстность со времени появленія въ свѣтъ двухъ первыхъ удачныхъ стихотворныхъ опытовъ его, и стало почти неразлучно съ именемъ Карамзина. Всѣ говорили: Карамзинъ и Дмитріевъ—какъ бы равня ихъ въ авторской славѣ и въ заслугахъ по отношенію къ отечественной литературѣ. Мало того, реформы, произведенныя Карамзинымъ въ нашемъ литературномъ языкѣ и слоги, возбудили противъ него многихъ, многихъ отъ него оттолкнули и даже побудили противоположную ему партію старыхъ литераторовъ сплотиться въ ученое общество, положившее себѣ цѣлью—противодѣйствовать во что-бы-то ни стало карамзинскимъ нововведеніямъ въ литературномъ языкѣ. Во главѣ общества явились Державинъ, А. С. Шишковъ — и Дмитріевъ, тотъ самый Дмитріевъ, который положительно принадлежалъ, и по языку, и по духу своимъ произведеній, къ наиболѣе виднымъ представителямъ карамзинской школы. Всѣ члены „Бесѣды“, какъ бы не замѣчая этого, относились къ Дмитріеву съ величайшимъ уваженіемъ, указывали на него, какъ на преемника державинской славы и какъ на опору славенцизны. А. С. Шишковъ, сдѣлавшись предсѣдателемъ Россійской Академіи, даже способствовалъ тому, чтобы Дмитріевъ получилъ отъ Академіи большую золотую медаль съ лестною надписью: „Россійскому языку пользу принесшему“—хотя, собственно говоря, эту медаль, по справедливости, слѣдовало-бы поднести не Дмитріеву, а Карамзину. Когда Дмитріевъ выдалъ въ свѣтъ „И мои бездѣлки“ и потомъ надолго замолкъ, занимаясь исклю-

чительно службою, этого небольшого сборника стихотвореній было совершенно достаточно для того, чтобы положить основу его славы, какъ поэта и литератора, а полное отсутствіе всякаго опредѣленнаго направленія и дружескія отношенія, поддерживаемыя съ двумя противоположными литературными лагерями, много способствовали его успѣхамъ на службѣ и въ жизни. Нѣкоторые изъ этихъ успѣховъ превышали даже всякое вѣроятіе. Такъ напр., уже будучи (съ 1806) сенаторомъ, Дмитріевъ неожиданно получилъ въ 1807 году отъ графа Заводовскаго (министра народнаго просвѣщенія) предложеніе занять мѣсто попечителя при Московскомъ университетѣ, которое до него было занято однимъ изъ образованнѣйшихъ людей того времени—М. Н. Муравьевымъ. Дмитріевъ благоразумно отказался, и черезъ три года послѣ того сдѣланъ былъ министромъ юстиціи (1810—1814). Годъ назначенія его министромъ былъ вмѣстѣ съ тѣмъ послѣднимъ годомъ его литературной дѣятельности. Спокойно и счастливо достигнувъ верха почестей гражданскихъ и громкой авторитетной извѣстности въ литературѣ, Дмитріевъ, покинувъ службу, также спокойно и счастливо доживалъ свой долгій вѣкъ въ Москвѣ, всѣми уважаемый и прославленный, наперерывъ избираемый въ почетные и дѣйствительные члены всевозможныхъ русскихъ ученыхъ и „другихъ благонамѣренныхъ обществъ въ Имперіи“¹⁾. Ему пришлось быть свидѣтелемъ наступленія и полной широкой дѣятельности новаго пушкинскаго поколѣнія молодыхъ русскихъ писателей; онъ даже и умеръ въ одинъ годъ съ Пушкинымъ.

Рядомъ съ Дмитріевымъ, въ числѣ первыхъ послѣдователей сентиментальной школы, заслуживающихъ вниманія литературной критики, слѣдуетъ, безъ сомнѣнія, поставить нашего извѣстнаго драматурга, Владислава Александровича Озерова (род. 1769 г., ум. 1816 г.). Къ сожалѣнію, мы имѣемъ о жизни этого замѣчательнаго писателя весьма скудныя свѣдѣнія, и его біографія, любопытная во многихъ отношеніяхъ, извѣстна намъ гораздо менѣе, нежели біографія Хемницера.

¹⁾ „Взглядъ на мою жизнь“, стр. 93

значительно обогатившаяся фактами за послѣднее время.

В. А. Озеровъ родился въ Тверской губерніи, въ Зубцовскомъ уѣздѣ, и, какъ кажется, рано лишился матери. Отецъ его, женившійся вторично, отвезъ его въ Петербургъ и отдалъ въ тотъ-же Сухопутный Шляхетный корпусъ, въ которомъ уже воспитался Сумароковъ и, вслѣдъ за нимъ, многіе наши писатели прошлаго вѣка. Въ 1787 году Озеровъ былъ выпущенъ изъ корпуса поручикомъ, поступилъ въ адъютанты къ графу де-Бальмену и участвовалъ въ занятіи Бендеръ Потемкинныиъ (1789). Потомъ, возвратясь въ Петербургъ, Озеровъ состоялъ на службѣ адъютантомъ при директорѣ корпуса, графѣ Ангальтѣ; на смерть графа Ангальта Озеровъ написалъ французскіе стихи, принадлежащіе къ числу его первыхъ опытовъ литературныхъ и свидѣтельствующіе о томъ, что онъ обладалъ блестящимъ по тому времени свѣтскимъ образованіемъ. Князь Алексѣй Борисовичъ Куракинъ перевелъ его въ Лѣсной департаментъ, гдѣ онъ и пользовался особеннымъ покровительствомъ знаменитаго адмирала Рибаса. Озерова переназначили генералъ-маіоромъ, и онъ, по должности своей, объѣзжая лѣса Казанской и Симбирской губерній, успѣлъ, въ теченіе семи лѣтъ этой трудной и усердной службы, доставить казнѣ весьма значительныя выгоды.

На литературное поприще Озеровъ выступилъ въ 1794 г., напечатавъ и проищу „Элоиза къ Абеярдѣ“ (вольный переводъ изъ Козардо), къ которой переводчикомъ приложено было и краткое изложеніе исторіи несчастной любви этихъ двухъ прославленныхъ страдальцевъ. Къ этому же времени, т. е. къ концу 90-хъ годовъ, относятся вѣроятно и нѣкоторыя мелкія стихотворенія Озерова, преимущественно оды, посланія и басни, не представляющія впрочемъ ничего новаго и замѣчательнаго. Только одно изъ этихъ стихотвореній можетъ еще привлечь вниманіе современнаго читателя:—это „Гимнъ богу любви“, отличающійся силою и гладкостью стиха и оригинальнымъ сопоставленіемъ восхваленій въ честь любви, разливающей всюду благо и счастье, населяющей землю—съ яркой картиной злодѣйства, которое вмѣстѣ съ тиранствомъ старается всѣми силами о томъ, чтобы эти

блага любви уничтожить, стереть съ лица земли.

Въ 1798 году Озеровъ поставилъ на сцену свою первую и не исполнѣ удачную трагедію: „Дрѣполкъ и Олегъ“, въ которой подражалъ своимъ предшественникамъ на русской сценѣ: Сумарокову и Княжнину, автору извѣстныхъ трагедій: „Росслава“ и „Клеопатры“. Въ произведеніяхъ Княжнина русская трагедія представляла собою до такой степени безцвѣтное подражаніе ложноклассической трагедіи французской, что трагическій родъ на русской сценѣ начиналъ



Васил. Озеровъ

утрачивать всякое значеніе и скорѣе нводилъ на современниковъ скуку, внушалъ имъ отвращеніе ко всему трагическому, нежели служилъ полнымъ и яснымъ истолкованіемъ явленій жизни, носящихъ на себѣ отпечатокъ трагизма.

Но во второй своей трагедіи: „Эдипъ въ Аѣнахъ“—поставленной на сцену въ 1804 г. и посвященной Державину,—Озеровъ уже выступилъ на новую дорогу и обратилъ на себя общее вниманіе тѣмъ новымъ элементомъ чувства, которому онъ, подъ вліяніемъ сентиментальной школы,

далъ первое по значенію мѣсто въ развитіи своихъ драматическихъ характеровъ. Впечатлѣніе, произведенное Эдипомъ на публику, было до такой степени сильно, успѣхъ автора въ литературныхъ кружкахъ былъ такъ великъ, что у молодого поэта, осыпаннаго похвалами, голова закружилась отъ счастья. Державинъ (которому трагедія была посвящена) и В. В. Капнистъ привѣтствовали Озерова посланіями, въ которыхъ одинаково убѣждаютъ его идти „славною стезею“ и презирать „звонковъ злоязычныхъ“.

Въ слѣдующемъ же году явилась новая трагедія Озерова — „Фингалъ“, содержаніе которой заимствовано было изъ сборника Оссіановыхъ пѣсенъ, въ передѣлкѣ Макъ-Ферсона, надѣлавшей столько шума въ Европѣ. Мрачный оссіановскій колоритъ сѣверной природы и быта тогда входилъ въ моду въ нашей поэзіи; Озеровъ придавъ этотъ оттѣнокъ своей трагедіи, и тѣмъ способствовалъ успѣху „Фингала“ на сценѣ. Содержаніе Фингала, эффектное, разнообразное, богатое дѣйствіемъ и рѣзкими противоположностями въ драматическихъ характерахъ, особенно пришлось по душѣ современнымъ представителямъ тогда только еще зарождавшейся у насъ романтической школы. Вотъ что говоритъ одинъ изъ нашихъ романтиковъ о „Фингалѣ“ Озерова:

„Въ трагедіи Фингалъ одно только трагическое лицо: Старикъ. Сынъ его Тоскаръ убитъ былъ Фингаломъ, и всѣ чувства родительскія — нѣжная любовь къ сыну, сѣтованіе о немъ — соединились въ одномъ желаніи мести. Фингалъ, побѣдитель и убійца Тоскара, влюбленъ въ его сестру Моину, которая отвѣчаетъ его страсти. Старикъ скрываетъ свое негодованіе отъ дочери, не раздѣляющей его ненависти къ побѣдителю сына, и, вмѣсто обѣщаннаго брачнаго торжества, хочетъ принести Фингала въ жертву мести своей, на холмѣ надгробномъ Тоскара. Вотъ одна трагическая сторона поэмъ Озерова! Онъ съ искусствомъ умѣлъ противопоставить мрачному и злобному Старну, таящему въ глубинѣ души преступныя надежды, взаимную и простосердечную любовь двухъ чадъ природы, искренность Моины, благородство и довр-

чивость Фингала — и сочетать въ одной картинѣ свѣжія краски добродѣтельной страсти, владычествующей прелестью очарованія своего въ сердцахъ невинныхъ, съ мрачными красками угрюмой и кровожаднѣйшей мести, и хитрость злобной старости съ доврчивою смѣлостью добродѣтельной молодости. Трагедія Фингалъ — торжество сѣверной поэзіи и торжество русскаго языка, богатаго живописью, смѣлостью и звучностью. Рѣчи Моины — утренній голосъ весны, пробуждающій сладостнымъ очарованіемъ тишину безмолвныхъ рощей; сѣтованіе мрачнаго Старна — унылый голосъ осени, бесѣдующей съ ночью бурей... Въ „Фингалѣ“ ничто не забыто, ни, трагикомъ, ни поэтомъ: тотъ и другой взялъ съ Оссіана полную дань“¹⁾.

По своему историко-литературному значенію, эта трагедія Озерова представляетъ для насъ гораздо болѣе важное явленіе, нежели всѣ остальные произведенія его; но современники думали иначе: Озеровъ достигъ верха своей славы трагедіею Дмитрія Донской, — наименѣе замѣчательнымъ изъ своихъ произведеній, но за то тѣсно связаннымъ съ современной дѣйствительностью. Дмитрій Донской явился на сценѣ въ 1807 году, въ самый разгаръ борьбы Россіи съ Наполеономъ, когда русскій патріотизмъ былъ сильно настроенъ противъ Франціи, и вслѣдствіе этого настроенія развилась цѣлая патріотическая литература. По заключенію современнаго критика, „Озеровъ, въ трагедіи Дмитрій Донской, напомнилъ согражданамъ своимъ о великой эпохѣ древней славы Россіи... и возвратилъ трагедіи истинное ея достоинство: питать гордость народную священными воспоминаніями и вызывать изъ древности подвиги великихъ героевъ, благотворителей современникамъ, служащихъ образцомъ для потомства“. Въ Дмитріѣ всѣ видѣли Александра, въ Мамѣ — Наполеона, и всей душой желая побѣды нашему оружію, не замѣчали и не хотѣли замѣчать всѣхъ недостатковъ и несообразностей трагедіи, въ которой историческая основа была сильно изуродована стремленіемъ автора дать первое мѣсто въ трагедіи чувству. Вслѣдствіе

¹⁾ Кн. Вяземскій. „О жизни и сочиненіяхъ В. А. Озерова“. Сиб. 1817, стр. XXXI—II.

лого стремленія, Дмитрій является въ трагедіи неженатымъ и влюбленнымъ въ Сеню, князю Нижегородскую. По справедливому замѣчанію современнаго критика, онъ „напоминаетъ намъ не великаго князя московскаго, но болѣе полуденнаго импѣра среднихъ вѣковъ“¹⁾. Чрезвычайно любопытно то, что трагедія „Дмитрій Донской“ послѣ 1812 года пользовалась еще большимъ успѣхомъ, нежели при появленіи своемъ, такъ какъ современники видѣли въ ней поэтическія предсказанія многихъ соимѣній отечественной войны.

Блестательный успѣхъ „Дмитрія Донскаго“ былъ послѣднимъ успѣхомъ Озерова. Судя по намекамъ, заключающимся въ прелестной баснѣ Батюшкова („Пастухъ и Соювей“), посвященной Озерову и написанной послѣ появленія на сценѣ „Дмитрія Донскаго“, должно заключить, что какія то юловольно темныя интриги и клеветы „вонюю строгихъ, богатыхъ знатностью, галантами убогихъ“, значительно вредили Озерову въ его служебной и литературной карьерѣ.

Многія, весьма существенныя заслуги Озерова, по службѣ его, не были, вслѣдствіе интригъ и клеветъ, оцѣнены по достоинству. Озеровъ былъ этимъ обиженъ и вышелъ въ отставку. Затѣмъ онъ окончательно поселился въ небольшомъ своемъ родовомъ каменномъ имѣніи, селѣ Красный Яръ (Читопольскаго уѣзда), единственной его собственности²⁾, „за студеною рѣкою Камою“, какъ онъ самъ выражался. Житіе въ этомъ имѣніи не представляло большихъ удобствъ, такъ можно судить по письмамъ Озерова къ Ленину. Въ этихъ письмахъ онъ, хотя и бодрится, и старается увѣрить своего друга, что свою безвѣдную и свободную жизнь не променяетъ ни на сенаторское, ни на министерское мѣсто“, однакоже сообщаетъ, что жить ему приходится въ „настоящей хижинѣ, потому домъ его, не отдѣланный, стоитъ безъ печей и безъ окончинъ“. Къ неудобствамъ жизни въ глуши скоро примѣшались и дальнѣйшія неудачи и непріятности по дѣятельности литературной. „Въ тишинѣ деревни“ — продолжаетъ биографъ — „Озеровъ кончилъ

(въ октябрѣ 1808 г.) трагедію Поликсену, которая съ удовольствіемъ принята была публикою; но сдѣлалась какъ сказываютъ, для автора источникомъ многихъ непріятностей, и чувствительное сердце поэта сохранило до гроба живую память о нанесенномъ оскорбленіи. Судя по нѣкоторымъ намекамъ, въ это время, дѣлая партія мелкихъ писакъ, съ княземъ А. А. Шаховскимъ³⁾ во главѣ, препятствовала успѣхамъ Озерова на сценѣ и вредила всѣмъ мѣрами его репутаціи, какъ автора и какъ честнаго человѣка... Живой біографическій интересъ имѣютъ тѣ слова, которыми заканчивается Поликсена, и которыя постоянно были выпускаемы во время представленія этой трагедіи на сценѣ. Тамъ старецъ Несторъ, царь Пплоса, восклицаетъ въ заключеніе пьесы:

Среди тщеты надеждъ, среди страстей борьбы,
Мы бродимъ по землѣ играющимъ судьбы,
Счастливы, кто въ гробъ скорѣй отъ жизни удалится!
Счастливыѣ сто кратъ, кто къ жизни не родится!

Дѣйствительно, „Поликсена“, послѣдняя изъ представленныхъ на сценѣ трагедій Озерова, принесла ему много горя, послужила поводомъ ко многимъ непріятностямъ, и та несправедливость, которой подвергся при этомъ случаѣ авторъ Поликлены, заставила его еще разъ убѣдиться въ томъ, что онъ почему-то находился въ явной „немилости при Дворѣ“. Трагедія эта, которую Озеровъ считалъ лучшимъ изъ своихъ произведеній, отдана была имъ на сцену подъ тѣмъ условіемъ, что если она будетъ имѣть успѣхъ въ публикѣ, то дирекція обязуется уплатить автору три тысячи рублей за право представленія его пьесы.

14 мая 1809 г., послѣ многихъ хлопотъ со стороны друзей Озерова, „Поликсена“ была наконецъ поставлена на петербургской сценѣ. Трагедію играли дважды; она имѣла успѣхъ, судя по отзывамъ Оленина, который писалъ Озерову, что публикѣ особенно понравился третій актъ его „Поликлены“. Очень любопытно то письмо, которымъ Озеровъ отвѣчалъ Оленину на это извѣщеніе о представленіи „Поликлены“:

¹⁾ Тамъ же гл. XXXV. — ²⁾ Потому что житіе это досталось ему отъ матери — ³⁾ Кн. А. А. Шаховской, драматическій писатель, авторъ многихъ комедій, не отличающихся литературными достоинствами.

„Если третье дѣйствіе нѣсколько поразило слушателей“—пишетъ Озеровъ, „то объяснены они симъ удовольствіемъ Еврипиду, у котораго я занялъ почти весь разговоръ Гекубы съ Улиссомъ: доказательства, что языкъ природнаго чувства есть языкъ всѣхъ народовъ. Стовъ и моленія Гекубы извлекали слезы изъ глазъ Аоніянъ и всѣхъ Грековъ, и они же черезъ двѣ тысячи и болѣе лѣтъ поразили зрителей въ Петербургѣ, гдѣ съ небольшимъ за сто лѣтъ молчаливо протекали межъ болотъ Невскія струи, изображая въ водахъ своихъ печальныя ели, вѣковыя сосны и топкіе берега. О, безсмертный Еврипидъ!... Но болѣе еще безсмертенъ Петръ Великій, истинный отецъ отечества, который просвѣщеніемъ своихъ подданныхъ открылъ имъ новый источникъ наслажденій: наслажденій сердца и ума“. И въ томъ же письмѣ, немного далѣе, Озеровъ напоминаетъ Оленину объ условіи, подѣ которымъ „Поликсена“ была имъ отдана въ распоряженіе дирекціи театра; „послѣднюю несправедливость терпѣю отъ Александра Львовича (Нарышкина) ¹⁾; не онъ-ли обѣщалъ вамъ въ письмѣ, что онъ дастъ предписаніе кому слѣдуетъ для доставленія къ вамъ требуемыхъ сочинителемъ трехъ тысячъ рублей послѣ втораго ея представленія? Два раза „Поликсена“ играна, почему-же теперь отлагаетъ А. Л. платежъ до 3-го представленія? Убѣдительнѣе васъ прошу требовать мою трагедію отъ дирекціи обратно, не допуская, чтобы она въ третій разъ была играна, или бы представлена была у Двора. Для моей славы довольно и двухъ представленій; для имени А. Л. довольно и сей его неправды противъ меня“.

Трагедія не появлялась болѣе на сценѣ, по желанію автора, но и деньги за представленія ея на петербургской сценѣ также ему уплачены не были, подѣ предлогомъ того, будто-бы трагедія его „на сценѣ успѣха не имѣла“. Однакоже подробныя разслѣдованія послѣдняго времени доказали, что сѣтованія Озерова противъ А. Л. Нарышкина были не совсѣмъ справедливы. Директоръ театра исполнилъ по отношенію къ автору то, что предписывала ему служебная обязанность; онъ ходатайствовалъ о выплатѣ требуемой авторомъ суммы, присовокупляя отъ

себя только то, что „въ два представленія трагедіи дирекція собрала 1,846 р. 25 к. изъ чего и заключая, что сія трагедія не можетъ быть выгодна для оной, останавливала ее представлять. Но дабы у автора, сдѣланнаго уже себѣ имъ прежними твореніями, не отнять охоты къ сочиненію впредь, не смотря на малый успѣхъ его послѣдней трагедіи, дирекція, не имѣя суммъ на заплату за оную, испрашиваетъ на сіе Высочайшаго соизволенія“. Но Высочайшаго соизволенія на это не воспослѣдовало, и въ отвѣтъ Императора Александра, вообще столь благодушнаго и милостиваго, замѣтно явное недовольство поэтомъ, возбужденное какими-то доселѣ еще неразъясненными обстоятельствами. „Въ условіи дирекціи“—такъ значитъ въ отношеніи князя А. Н. Голицына къ А. Л. Нарышкину по поводу доклада „Поликсентъ“—„сдѣланномъ съ г. Озеровымъ, именно сказано было: „если трагедія будетъ имѣть успѣхъ и принесетъ ей выгоды, тогда она должна ему заплатить 3,000 р.“ какъ усматривается что та трагедія не можетъ быть для дирекціи выгодна, то въ такомъ случаѣ и платить за нее ничего не слѣдуетъ“.

Вѣроятно эта неудача побудила Озерова еще болѣе замкнуться въ своемъ уединеніи, еще болѣе постараться забыть о своей литературной дѣятельности и всѣхъ огорченіяхъ, принесенныхъ ему литературною извѣстностью. Именно этими чувствами пишетъ его письмо къ книгопродавцу Занкину, писанное около этого времени (10 дек. 1808 г.), въ отвѣтъ на предложеніе издать вторымъ изданіемъ сочиненія Озерова, быстро раскупленные публикою.

„Благодарю васъ—пишетъ Занкину Озеровъ—за предложеніе о второмъ изданіи моей трагедіи „Дмитрій Донской“, которое вызываетесь вы принять на себя. Признаюсь вамъ, что и на первое изданіе нѣкоторыхъ моихъ трагедій я согласился по однимъ убѣжденіямъ моихъ пріятелей, никогда не бывъ любопытенъ видѣть въ печати то, что я писалъ единственно по склонности моей къ театральнымъ зрѣлищамъ, и безъ всякаго исканія званія автора и сподвижника. И такъ, не желая печатать во второй разъ „Дмитрія Донскаго“, тоже издать

¹⁾ Директоръ театровъ.

печатать послѣднюю мою трагедію „Поликсеа“, я объявляюсь, въ отвѣтъ на ваше письмо, имъ извѣститъ васъ о моемъ расположеніи“.

Въ деревнѣ началъ Озеровъ еще одну трагедію: Медея. Неизвѣстно, куда дѣвалась она... Говорятъ, будто въ припадкѣ меланхоли онъ сжегъ начало этой трагедіи, вмѣстѣ съ планами двухъ другихъ („Вельгаръ, аригъ-мученикъ при Владиміръ“ и „Осада амаса“) .. Въ письмахъ къ Оленину Озеровъ вого и подробно говорилъ о намѣреніи своемъ избрать сюжетъ для трагедіи изъ нашей исторіи XVIII вѣка: „Я весьма расположенъ ринуться за сочиненіе новой трагедіи, взятой изъ нашей исторіи, изъ царствованія императрицы Анны Іоанновны. Можетъ быть, вамъ уже говорилъ, въ бытность мою въ Петербургѣ, о смерти Воынскаго, пострадавшаго отъ Бирона за правду и защиту русскаго народа¹⁾; за сіе сочиненіе желалъ-бы принятъ, но не имѣю источниковъ, изъ которыхъ-бы извѣстны были свѣдѣнія о всѣхъ обстоятельствахъ сего дѣла... Я чувствую, что такая трагедія никогда не можетъ быть играна на нашемъ театрѣ, но примусь писать для моихъ пріятелей“. Этому плану не суждено было исполниться. Возбужденное состояніе духа, дурное положеніе въ обстоятельствъ и сильно-уязвленное самолюбіе до такой степени потрясли и безъ того уже не крѣпкое и разстроенное здоліе поэта, что онъ (въ 1814 г.) впасть въ совершенное разслабленіе, которое мало-по-малу перешло въ тихое умопомѣнательство. престарѣлый отецъ вынужденъ былъ перенести несчастнаго сына изъ казанской его деревни въ свою тверскую (село Казанское, Бдовскаго уѣзда), гдѣ онъ вскорѣ послѣ того и скончался (въ 1816 г.).

Любопытный намекъ на причины постигшей Озерова душевной болѣзни мы находимъ въ одномъ изъ дошедшихъ до насъ сказовъ о Батюшковѣ. Однимъ изъ первыхъ впечатлѣній, поразившихъ Батюшкова приездѣ въ Петербургъ (въ іюнѣ 1814 года), по сумасшествію Озерова, „который погибъ жертвою пылкости, самолюбія и кахъ-то доселѣ неразъясненныхъ навітовъ“.

Встрѣтившись съ графомъ Д. Н. Блудовымъ и другими пріятелями въ Императорской Публичной Библіотекѣ и заговоривъ объ Озеровѣ, Батюшковъ сказалъ между прочимъ: „вотъ каково водиться около риемъ! Это сходитъ съ рукъ только мнѣ да графу Дмитрію Ивановичу (Хвостову)“²⁾.

Едва-ли можно согласиться съ тѣмъ господствующимъ у насъ мнѣніемъ, что Озеровъ не обладалъ никакимъ самостоятельнымъ, природнымъ поэтическимъ даромъ, и что успѣхомъ своихъ трагедій былъ обязанъ только гладкости стиха и чистотѣ языка своихъ трагедій. Успѣхъ этотъ, какъ намъ кажется, болѣе всего основывался на томъ, что Озеровъ внесъ въ безжизненную до него, правильно-построенную на подражаніи французскимъ образцамъ, русскую трагедію новый элементъ сентиментализма, которымъ увлекался наравнѣ съ современною ему молодежи. Вслѣдствіе этого, конечно, Озерову болѣе удавались въ его трагедіяхъ женскіе характеры, восхищавшіе современниковъ: его Антигона, Мопна и Ксенія много способствовали даже и развитію драматическаго искусства на нашей сценѣ, потому что представляли собою сценическіе характеры, достойные серьезной игры и глубокаго изученія. Нельзя упустить изъ виду и того, что Озеровъ, съ одной стороны, подражая Дюсепу и придавая сентиментальный оттѣнокъ характерамъ своихъ трагическихъ героевъ, въ то же время, однимъ изъ первыхъ въ числѣ русскихъ писателей, рѣшился почерпнуть трагическіе сюжеты не изъ классическихъ преданій, не изъ темной въ то время отечественной старины, а изъ нетронутой еще сокровищницы западныхъ средневѣковыхъ преданій, разработка которыхъ такъ сильно способствовала, въ Германіи, переходу литературы отъ сентиментально-отвлеченнаго направленія къ болѣе живому—романтическому. Съ этой стороны заслуги Озерова были совершенно вѣрно оцѣнены его биографомъ:

„Илишнимъ кажется доказывать“—говоритъ кн. Вяземскій — „что ни Княжнинъ, ни Сумароковъ не были его образцами, и

1) Очевидно, что Озеровъ, по слышкѣ знавшій о Воынскомъ, идеализировалъ его характеръ. — Гр. Д. Н. Хвостовъ, извѣстный своею бездарностью лирикъ-поэтъ, постоянно служившій цѣлью итѣшекъ для всѣхъ современныхъ литературныхъ дѣятелей.

смѣшно напоминать, что произведенія, послѣдовавшія за его трагедіями, не имѣютъ никакого съ ними сходства. Лучшія изъ первыхъ и послѣднихъ слѣжены съ одного образца и могутъ почесться мертвыми подражаніями французской классической трагедіи, въ которыхъ иногда кое-какъ сохранены узаконенныя условія, проповѣданныя драматическими цѣнтками. Трагедіи Озерова занимаютъ между ними среду, и въ самыхъ погрѣшностяхъ своихъ представляютъ намъ отступленія отъ правилъ,

исполненныя жизни и носящія свой образъ. Онѣ уже нѣсколько принадлежатъ къ новѣйшему драматическому роду, такъ называемому романтическому, который принять Нѣмцами отъ Испанцевъ и Англичанъ". Признавая эстетичку Озерова вполне справедливой, мы не можемъ вѣстѣ съ тѣмъ не пожалѣть, что и біографія Озерова, и литературная дѣятельность его до сихъ поръ остаются такою темной, неразобранной страницей исторіи нашей литературы и общества.



Подпись Дмитріева.

XIII.

В. А. Жуковскій. — Біографическія подробности. — Его дѣятельность журнальная и литературная. — Эстетическое настроеніе и поводы къ нему. — Жуковскій и его друзья-арзамасцы — Заслуги Жуковскаго, какъ переводчика. — Батюшковъ и его отношеніе къ Жуковскому. — Вліяніе, оказанное на его поэзію эпохою подвиговъ и разочарованій. — Біографическія подробности.

Если ближайшими послѣдователями карамзинскаго направленія мы назвали выше И. И. Дмитріева и В. А. Озерова, то крайними и наиболѣе талантливыми послѣдователями того же направленія слѣдуетъ, конечно, назвать Жуковскаго и Батюшкова, которые своею литературною дѣятельностью представляютъ уже явный переходъ отъ сентиментальнаго направленія къ романтическому. Мы говоримъ именно переходъ, потому что, собственно говоря, не съ Жуковскаго, а съ Пушкина начинается у насъ дѣйствительное преобладаніе романтизма въ литературѣ. Самъ Жуковскій, повидимому, предполагалъ, что романтизмъ въ русской литературѣ ведетъ свое начало отъ него¹⁾; то же самое мнѣніе потомъ было повторено многими. Но мнѣніе это рѣшительно не выдерживаетъ критики, потому что романтизмъ, какъ самостоятельное направленіе нашей литературы, имѣетъ очень немного общаго съ переводнымъ романтизмомъ Жуковскаго; и хотя онъ дѣйствительно установился и пустилъ корни въ нашей литературѣ въ теченіе долговременной, пятидесятилѣтней литературной дѣятельности Жуковскаго, но собственно ему онъ обязанъ очень немногимъ... Все, что было самостоятельнаго, непереводнаго въ литературной дѣятельности Жуковскаго, то представляло собою подражанія или гром-

кимъ, торжественнымъ произведеніямъ предшествовавшихъ ему поэтовъ риторической школы, или нѣжнымъ, мечтательнымъ, унылымъ произведеніямъ школы сентиментальной. Долго не могъ Жуковскій выбиться изъ этого заколдованнаго круга подражаній, и наконецъ, выступивъ изъ него, посвятилъ свою дѣятельность исключительно переводамъ произведеній романтической нѣмецкой и англійской школы. Всякій разъ, когда послѣ того Жуковскій рѣшался покинуть эту почву и пытался создать нѣчто самостоятельно-русское въ романтическомъ родѣ, эти попытки ему положительно не удавались, и онъ снова возвращался къ переработкамъ или переводамъ произведеній англійской и нѣмецкой литературы; подъ конецъ своей литературной карьеры онъ сталъ обращать особенное вниманіе на эпическія произведенія Востока (занимавшія нѣмцевъ во второй четверти нынѣшняго вѣка) и наконецъ блестящимъ образомъ закончилъ свою дѣятельность высоко-художественнымъ переводомъ „Одиссеи“.

Изъ этого общаго взгляда на литературное поприще Жуковскаго мы совершенно естественно должны прийти къ тому выводу, что главная заслуга его заключается не въ томъ, что онъ далъ романтизму возможность установиться на нашей литературной почвѣ, а скорѣе въ томъ, что онъ своими

¹⁾ Въ своемъ письмѣ къ Стурдаѣ (10 марта 1849 г.) Жуковскій говоритъ положительно: „единственною внѣшнею наградою моего труда (перевода „Одиссеи“) будетъ сладостная мысль, что я (во время оно родителю на Руси Нѣмецкаго романтизма и поэтической дядька чертей и вѣдьмъ нѣмецкихъ и англійскихъ) подъ старость загладилъ свой грѣхъ и т. д.“. Въ письмѣ къ гр. С. С. Уварову (въ предисловіи къ „Одиссеѣ“) Жуковскій добавляетъ: „вы спросите: какъ мнѣ пришло въ голову приняться за „Одиссею“... и изъ мечтателя-романтика сдѣлаться трезвымъ классикомъ?“

превосходными переводами сближал русскую литературу съ цілою массою новыхъ литературныхъ образцовъ, расширилъ область нашей литературной критики, и тѣмъ самымъ окончательно отнялъ всякое значеніе и всякую силу вліянія у псевдо-классической теоріи и представляемыхъ ею образцовъ литературнаго творчества.

Василій Андреевичъ Жуковский родился 1783 г. (ум. 1852 г.) въ селѣ Мишенскомъ, Тульской губерніи, принадлежавшемъ богатому помѣщику, Аванасію Ивановичу Бунину, одному изъ тѣхъ ста-



Жуковский

ринныхъ русскихъ баръ, которыхъ типъ давно уже исчезъ изъ русской дѣйствительности и не возродится болѣе. Матерью Жуковского была плѣнная турчанка, Сальха, впоследствии окрещенная и принявшая православіе. Проживавшій въ Мишенскомъ пріятель Бунина, изъ мелкопомѣстныхъ дворянъ, нѣкто Андрей Григорьевичъ Жуковский, вызвался усыновить ребенка и сталъ просить Марью Григорьевну Бунину о томъ, чтобы она позволила дочери своей Варварѣ Аванасьевнѣ крестить новорожденнаго, которому и дано было при крещеніи

имя Василія Андреевича и фамилія Жуковского. Марья Григорьевна Бунина, въ воспоминаніе о своемъ сынѣ, умершемъ въ молодыхъ лѣтахъ, приняла маленькаго крестника дочери въ свою семью и воспитала его, какъ роднаго. Въ 1791 году старикъ Бунинъ скончался, переходъ смерти поручивъ 8-милѣтняго Жуковского и мать его Елисавету Дементьевну (такъ названа была Сальха при крещеніи) попеченіямъ своей достойной супруги; сверхъ того, въ завѣщаніи своемъ, Бунинъ просилъ каждую изъ четырехъ дочерей своихъ отдѣлить Василію Андреевичу отъ ихъ приданаго по 2500 р., а г-жѣ Буниной наказывалъ чтобы она дала Василію Андреевичу воспитаніе, приличное дворянину. Воля покойнаго была свято исполнена женой и дочерьми его, и маленький Жуковский зажилъ въ семьѣ Буниныхъ припеваючи. Крестная мать его, Варвара Аванасьевна, вышедшая замужъ за Юшкова, болѣе всѣхъ обращала вниманіе на воспитаніе Василія Андреевича, который, проводя лѣто въ Мишенскомъ, зиму обыкновенно жилъ въ семьѣ Юшковыхъ, въ Тулѣ, и вмѣстѣ съ дочерьми ея обучался французскому и нѣмецкому языку. Уже и гораздо ранѣе этого времени, еще при жизни Бунина, выписанъ былъ изъ Москвы гувернеръ для 6-ти-лѣтняго Василія Андреевича, какой-то Якимъ Ивановъ; но крутыя мѣры, которыя вздумалъ онъ примѣнять къ своему воспитаннику, никому не понравились—и гувернеръ былъ отправленъ обратно въ Москву. Послѣ того Жуковский отданъ былъ въ Тулѣ въ прославленный нѣмецкій пансіонъ Христіана Филипповича Роде, сначала полу-пансіонеромъ, потомъ на полный пансіонъ. Но изнѣженный домашнимъ воспитаніемъ и бытомъ, въ которомъ онъ постоянно находился и росъ между дѣвочками, маленький Жуковский не могъ привыкнуть къ школьному быту: ученіе ему положительно не шло въ голову. Еще плоше пошло у него ученіе, когда послѣ смерти Бунина, проводя зиму въ семьѣ своей крестной матери Юшковой, въ Тулѣ, Жуковский былъ отданъ въ тульское народное училище, гдѣ старшимъ учителемъ былъ докторъ философіи Теофилактъ Гавриловичъ Петровский, помѣщавшій даже подъ псевдонимомъ „философъ горы Алаунской“ кое-какія историко-философскія статьи въ современ-

ныхъ журнальцахъ. „Философъ горы Алаунской“ отнесся очень круто къ вліянію занятіямъ и небрежному ученью молодого Жуковского, и — по увѣренію повѣйшаго біографа — даже исключилъ его „за неспособностъ“ ¹⁾. Послѣ этого онъ продолжалъ расти и учиться дома, въ семьѣ Юшковой, окруженный 12-ю сверстниками-губочками; само собою разумѣется, что ученье было далеко несерьезное; но въ домашнемъ быту Юшковой было много такихъ

элементовъ, которые должны были рано подѣйствовать на развитіе воображенія Василія Андреевича и возбудить въ немъ интересъ къ занятіямъ литературою. Домъ Юшковой служилъ центромъ, и въ немъ, около хозяйки дома — женщины прекрасно-образованной и понимавшей толкъ въ музыкѣ — собирались лучшіе представители мѣстнаго общества, составляя кружокъ, въ которомъ литературные и музыкальные интересы преобладали надъ всѣми остальными. Все, что



Зданіе бывшаго Университетскаго пансіона въ Москвѣ.

въ русской литературѣ появлялось новенькаго, тотчасъ же становилось извѣстно въ кружкѣ Юшковой, читалось, обсуждалось... Концерты чередовались съ литературными чтеніями и даже мѣстный театръ находился въ полной зависимости отъ кружка Юшковой. Не удивительно, что 12-ти-лѣтнему Жуковскому, среди такихъ благопріятныхъ для его поэтическаго таланта условій развитія, вдумалось также писать для сцены — и вотъ, плодами первыхъ его литератур-

ныхъ попытокъ явились двѣ драмы: „Камилла или освобожденный Римъ“ и „Павелъ и Виргинія“. Жуковский случайно избѣгъ общей участи современной ему молодежи: онъ не былъ въ дѣтствѣ записанъ ни въ какой полкъ, а потому и могъ до 14-ти-лѣтняго возраста свободно оставаться въ Юшковскомъ домѣ, въ Тулѣ.

Наконецъ, въ январѣ 1797 года, Марья Григорьевна Бунина свезла Жуковского въ Москву и опредѣлила его въ Московскій

¹⁾ Такъ рассказываетъ д-ръ К. Зейдлицъ въ своей біографіи Жуковского (W. A. Joukoffsky. Ein Russisches Dichterleben. Mitau. 1870 г.); стр. 10. Д-ръ К. Зейдлицъ былъ другомъ и домашнимъ врачомъ В. А. Жуковского.

Университетскій Благородный пансіонъ. Директоромъ пансіона былъ тогда уже извѣстный намъ И. П. Тургеневъ, а товарищами, замѣнившими Жуковскому кружокъ двѣчечекъ, среди которыхъ онъ до того времени росъ, явились братья Тургеневы, Блудовъ, Дашковъ, князь П. Вяземскій, Уваровъ и т. д. Въ этой новой средѣ способности юноши стали быстро развиваться и принимать опредѣленное направленіе. Подтвержденіемъ тому явился цѣлый рядъ статей и стихотворныхъ опытовъ, напечатанныхъ Жуковскимъ въ современныхъ журналахъ. Въ самый годъ поступленія своего въ Благородный пансіонъ, Жуковскій напечаталъ уже „Мысли при гробницѣ“ (на смерть своей крестной матери Юшковой)—въ „Полезномъ и пріятномъ препровожденіи времени“. Подъ этой прозаической статьей обозначено было очень подробно, что она сочинена „воспитанникомъ благороднаго пансіона, Василиемъ Жуковскимъ“. Затѣмъ явилось тамъ же стихотвореніе: „Майское утро“ и еще „Къ юности“, „Миръ и война“, „Жизнь и ключъ“ и нѣсколько другихъ опытовъ, помѣщенныхъ въ „Московскихъ Вѣдомостяхъ“ за 1800 г. и въ „Утренней Зарѣ“, и между ними еще разъ „Мысли при гробницѣ“. Замѣчательно, что въ этихъ первыхъ стихотворныхъ опытахъ Жуковского кладбище, могилы, смерть—занимаютъ весь ма видное мѣсто.

Мало-по-малу, привыкая къ литературной работѣ, Жуковскій сталъ переводить для книгопродавцевъ ради заработка, и половину платы за свои труды получалъ отъ нихъ разными книгами. Нельзя не отмѣтить здѣсь того любопытнаго факта, что современные книгопродавцы охотнѣе принимали переводы, нежели оригинальныя статьи, и щедрѣе расплачивались за нихъ. Жуковскій легко и быстро перевелъ нѣсколько рыцарскихъ романовъ, весь „Театръ“ Коцебу, романъ Коцебу „Младшія дѣти моей прихоти“, которому, неизвѣстно почему, далъ другое за-

главіе (Мальчикъ у ручья)¹⁾. Окончивъ курсъ ученія въ Благородномъ пансіонѣ, Жуковскій поступилъ было на службу въ Главную Солоную Контору, но прослужилъ всего годъ, а въ апрѣлѣ 1802 г., захвативъ съ собою весь запасъ книгъ, приобретенныхъ въ Москвѣ переводами, переселился на житье въ Мишенское.

Здѣсь купленная въ Москвѣ бібліотека должна была оказать ему важныя услуги. Въ числѣ книгъ Жуковского видимъ и большую Дидеротову энциклопедію, и французскія, и англійскія, и нѣмецкія историческія сочиненія, и классиковъ въ переводѣ на иностранныя языки, и полныя собранія сочиненій Шиллера, Гердера, Лессинга. Обеспеченный, полный силъ и надежды на будущее, окруженный родными и близкими ему людьми, Жуковскій имѣлъ возможность посвятить здѣсь все свое время поэзіи, и мало не беспокоясь о жизни. Снова окруженный пестрой и веселой толпой своихъ молодыхъ, прекрасныхъ и прекрасно образованныхъ племянницъ²⁾ и ихъ подругъ, проводя весну и лѣто въ живописной поэтической мѣстности, покрытой холмами и роскошными лугами, поросшей дубовыми рощами и орошаемой журчащими ручьями, Жуковскій, въ эту цвѣтущую пору своей юности, выступилъ на свою настоящую дорогу. Здѣсь-то, въ Мишенскомъ, перевелъ онъ элегію Грѣя: „Сельское кладбище“, которую любилъ называть своимъ первымъ печатнымъ стихотвореніемъ, вѣроятно въ смыслѣ перваго достойнаго печати. Онъ отправилъ эту элегію Карамзину для помѣщенія въ новомъ журналѣ его „Вѣстникъ Европы“—и къ величайшему его удовольствію она была не только напечатана Карамзиннымъ, но еще и удостоена отъ него самаго лестнаго отзыва. Новѣйшій біографъ Жуковского справедливо обращаетъ вниманіе на то глубоко-элегическое настроеніе, которымъ проникнуты всѣ первыя стихотворныя произведенія молодого поэта, и на то, что

1) Книгопродавецъ заплатилъ ему за переводъ четырехъ томовъ 75 р. сер.

2) Племянницы эти были двѣ дочери Варвары Афанасьевны Юшковой: Анна Петровна (въ замужествѣ Зонтагъ) и Авдотья Петровна (въ замужествѣ сперва за Елагиннымъ, потомъ за Кирѣевскимъ) и двѣ дочери Екатерины Афанасьевны (Протасовой — Марья Андреевна и Александра Андреевна). Такъ какъ дочери Бунина были гораздо старше Василія Андреевича, то ихъ дочери, а его племянницы, и стали его сверстницами и почти ровесницами.

затаенная грусть, высказываемая въ нихъ, является совершенно искреннею, лично-принадлежащею Жуковскому, у котораго однакоже, въ это время, не могло-бы, кажется, быть никакихъ причинъ для подобной грусти... Не слѣдуетъ забывать, что Василию Андреевичу было тогда всего 19 лѣтъ, что онъ былъ свободенъ и вполне обезпеченъ въ матеріальномъ отношеніи. Мы можемъ видѣть въ этой грустной, элегической настроенности Василя Андреевича только одно изъ тѣхъ модныхъ общихъ настроеній, овладѣвающихъ отъ времени до времени всю молодежь, которая и составляютъ такъ называемую печать извѣстнаго періода времени. И дажѣ увидимъ мы, дѣйствительно, что впечатлительный, нѣсколько однообразный въ своемъ поэтическомъ настроеніи, Жуковский, проникнувшись тѣмъ сентиментально-меланхолическимъ направлениемъ, которое внесено было въ нашу литературу стихами и прозой Карамзина, болѣе чѣмъ кто-либо другой способенъ былъ увлечься этимъ направлениемъ и довести его до поразительныхъ крайностей.

Вліяніе Карамзина на Жуковского должно было усиливаться еще и личными дружескими отношеніями ихъ, когда въ 1803 и 1804 г.г. Василій Андреевичъ сблизился съ Николаемъ Михайловичемъ, уже покинувшимъ изданіе „Вѣстника Европы“ и принявшимъ за свой историческій трудъ. Вліяніе Карамзина и карамзинской литературной дѣятельности дѣйствительно отразилось на Жуковскомъ до такой степени сильно, что мы видимъ его въ поэтической, журнальной и литературной дѣятельности Жуковского въ теченіе всей первой половины его жизни, до самыхъ двадцатыхъ годовъ нынѣшняго столѣтія. До 1808 года, впрочемъ, Жуковский успѣлъ еще написать очень немного. Сначала, увлекаясь общимъ патріотическимъ настроениемъ нашей современной литературы, онъ въ 1806 г. выступилъ въ „Вѣстникѣ Европы“ съ громкою „Пѣснью барда на гробѣ Славянъ побѣдителей, сильно напоминающей намъ лучшія произведенія торжественной хвалебной лирики Державина. Рядомъ съ этою громкою пѣснью барда видимъ еще нѣсколько элегическихъ пѣсней, въ которыхъ Жуковский перебираетъ все однѣ и тѣ же струны своей лиры; то восклицаетъ онъ:

О, дней моихъ весна, какъ быстро скрылась ты.
Съ твоимъ блаженствомъ и страданьемъ!

То повторяетъ совершенно тотъ же мотивъ, который выраженъ былъ и въ Грæвой элегін:

Ахъ! скоро можетъ быть, съ Минваной унылой,
Придетъ сюда Альпинъ въ часъ вечера мечтать
Надъ тихой юности могилой!

То наконецъ выражаетъ и еще болѣе мрачный взглядъ на свое настоящее:

Какъ часто о часахъ минувшаго минувшихъ я мечтаю!
Но чаще съ сладостью конецъ воображаю:
Конецъ всему—души покой...

Ахъ! время, Филалетъ, свершится ожиданьямъ.
Не знаю... но, мой другъ, кончины сладкій часъ
Моей любимой мечтатъ становится;
Унылость таяла въ душѣ моей хранится;
Во всемъ внимаю я знакомый смерти гласъ.

Однимъ словомъ, вся поэзія Жуковского, до 1808 года, сводится къ одному: въ ней выражается то модное меланхолическое настроеніе, та безпричинная тоска, тѣ унылыя мечтанія о безвременной кончинѣ и проч., которая, конечно, не могли имѣть рѣшительно ничего общаго со всею дѣйствительностью, среди которой въ это время жилъ Жуковский, очень спокойно проводя время то въ Мишенскомъ, то въ Бѣлевѣ. Тамъ поселилась между тѣмъ Екатерина Аванасьева Протасова съ двумя дочерьми своими, образованіемъ которыхъ Жуковский очень тщательно занимался въ это время; въ Бѣлевѣ жила его мать, Елисавета Дементьевна, и старушка-вдова Бунина, и въ концѣ 1805 г. Жуковский писалъ даже къ друзьямъ своимъ: „я переселился въ Бѣлевъ, въ свой домъ (который онъ построилъ для своей матери); вся наша фамилія теперь живетъ у меня, слѣдовательно я не могу пожаловаться, чтобы вокругъ меня было пусто“. Въ то же время не покидалъ онъ и своей переводческой дѣятельности: въ 1805 г. онъ перевелъ Донъ-Кихота по заказу одного изъ книгопродавцевъ, а потомъ цѣлый рядъ небольшихъ повѣстей съ англійскаго и нѣмецкаго, составившихъ два тома.

Наконецъ, въ 1803 году, кажется, также не безъ вліянія со стороны Карамзина, Жуковский переселился въ Москву и принялъ на себя завѣдыванье „Вѣстникомъ Европы“.

который онъ издавалъ въ теченіе трехъ лѣтъ, при помощи Каченовскаго. По обычаю всѣхъ журналистовъ того времени, отъ котораго не отступалъ даже и самъ Карамзинъ, Жуковский наполнялъ почти всѣ отдѣлы журнала произведеніями своего пера: онъ писалъ стихи и повѣсти, разсужденія о словесности и общихъ нравственныхъ вопросахъ, критическія статьи... Каченовскій работалъ только надъ политическимъ отдѣломъ. Внимательно всматриваясь въ литературную и журнальную дѣятельность Жуковского въ теченіе этихъ трехъ лѣтъ (отъ 1808 по 1810 г.), мы приходимъ къ тому убѣжденію, что и здѣсь онъ не отступилъ ни на шагъ отъ программы, и до него уже начертанной для журналиста Карамзинимъ; что сверхъ того и какъ поэтъ, и какъ писатель онъ не пошелъ далѣе Карамзина по отношенію къ внутреннему содержанію своей лирики и повѣстей, къ выбору и постановкѣ вопросовъ въ своихъ прозаическихъ статьяхъ. Только критическія статьи Жуковского нельзя не поставить выше карамзинскихъ; въ двухъ критическихъ статьяхъ своихъ: — „О сатиры и сатирахъ Кантемира“ и „О баснѣ и басняхъ Крылова“ Жуковский примѣнилъ къ критикѣ сравнительно-теоретическій методъ, котораго держался и въ остальныхъ, менѣе крупныхъ разборахъ своихъ, всюду переходя отъ общихъ литературныхъ вопросовъ къ частнымъ, всюду стараясь поставить отдѣльное произведеніе на историческую почву, общую дѣлому роду подобныхъ же произведеній¹⁾. Въ числѣ переводныхъ стихотвореній пѣтъ Шиллера и Гёте и нѣсколькихъ посланій къ друзьямъ находимъ и одну передѣлку нѣмецкаго сюжета на русскіе нравы: — „Людмила“ — балладу Бюргера. „Людмила“ чрезвычайно понравилась всѣмъ замѣчательною красотою и легкостью своего стиха и новостью того фантастическаго міра, въ который впервые удавалось заглянуть русскимъ читателямъ. Рядомъ съ „Людмилой“ видимъ и весьма неудачное подражаніе сентиментальной карамзинской повѣсти, подъ загла-

віемъ „Марьяна Роща, старинное преданіе“, въ которой чувствительности двухъ главныхъ героевъ — Маріи и пѣвца Улада — доведены до крайней степени приторности и неестественности... Но зато языкъ стиховъ и прозы, разнообразіе разитровъ и легкость поэтическаго выраженія во всѣхъ произведеніяхъ Жуковского, помѣщенныхъ въ „Вѣстникѣ Европы“, сликомъ ясно указываютъ намъ на то, что Карамзинъ нашелъ себѣ въ Жуковскомъ не только ревностнаго, но и талантливаго по слѣдователя.

Въ 1810 г. Жуковский снова возвратился въ деревню, и тамъ занялся пополненіемъ пробѣловъ своего образованія, при помощи чтенія и занятій науками преимущественно историческими. Кажется, что и эти занятія исторіей, въ которыхъ онъ видѣлъ только приготовительную работу для задуманной имъ поэмы „Владимиръ“, стояли въ нѣкоторой зависимости отъ сношеній съ Карамзинимъ и его кружкомъ. Мысль объ этой поэмѣ, которая никогда и вполнѣ не была написана Жуковскимъ, повидимому, занимала его довольно долго, потому что еще въ 1816 г. онъ собирался одно время съѣздить въ Кіевъ и Крымъ для ближайшаго ознакомленія съ самымъ мѣстомъ дѣйствія избраннаго для поэмы. Но вѣроятно поэма осталась ненаписанною потому, что Жуковский сначала находилъ обработку сюжета избраннаго имъ для поэмы, труднымъ и требующимъ большого изученія, а потомъ долженъ былъ, наконецъ, отказаться отъ него совсѣмъ, убѣдившись, съ одной стороны, что у него не хватаетъ той исторической и національной основы, безъ которой немислима была подобная поэма, а съ другой стороны, сознавъ свой поэтическій даръ вообще недостаточнымъ для выполненія обширныхъ и притомъ самостоятельныхъ поэтическихъ произведеній.

Если принимать въ соображеніе только показанія самого Жуковского, то оказывается, что кромѣ переводовъ изъ Шиллера.

¹⁾ Любопытное дополненіе къ журнальной программѣ „Вѣстника Европы“, подъ редакціей Жуковского, представляетъ собою отдѣлъ, посвященный исторіи искусства. Жуковский прилагалъ къ журналу своему изображенія знаменитѣйшихъ произведеній живописи и скульптуры; такъ, наприимѣръ, въ приложеніи къ „Вѣстнику Европы“ за это время явилась цѣлая коллекція Гогартовскихъ картинъ съ истолкованіями.

Парни, Драйдена и др. Жуковскимъ въ теченіе 1810 и 1811 г.¹⁾ было написано очень немного самостоятельныхъ поэтическихъ произведеній: два-три романа, посланіе къ Батюшкову и Тургеневу, да „Двѣнадцать сѣящ и хъ дѣвъ“ (старинная повѣсть въ двухъ балладахъ: 1) Громобой; 2) Вадимъ). Но его новѣйшій біографъ совершенно основательно замѣчаетъ, что 1811 годъ, къ которому самъ Жуковский относитъ только одну „Свѣтлану“, былъ однимъ изъ самыхъ плодотворныхъ годовъ въ поэтической дѣятельности Василя Андреевича; что къ 1811 году относится большая часть стихотвореній, которыхъ, позже, Жуковский, въ собраніи своихъ сочиненій, ставилъ подъ 1813 годомъ. Съ конца 1810 и до половины 1812 года Жуковский жилъ тою идиллическою, особенною жизнью, которая въ настоящее время была бы едва-ли возможна даже и для восемнадцатилѣтняго юноши, но въ началѣ нынѣшняго вѣка никого не поражала, потому что не выходила изъ общаго уровня той привлекательной и изящной праздности, которой посвященъ былъ нескончаемый досугъ большей части нашей дворянской молодежи того времени... Большую часть этого идиллическаго періода Жуковский провелъ въ небольшомъ имѣніи, которое на заграничный Бунинъ капиталъ (10,000 руб.) купилъ себѣ около с. Муратова (въ 30 верстахъ отъ Орла), которое принадлежало Е. А. Протасовой. Здѣсь, въ Муратовѣ, заведывалъ онъ постройкою дома для Протасовой и все время проводилъ то въ ея имѣніи семейномъ кругу, то въ семействѣ Алексѣя Плещеева, съ которымъ его особенно сближала общая имъ обоимъ страсть къ изящнымъ искусствамъ. Плещеевъ, жившій въ 40 верстахъ отъ Муратова въ своемъ имѣніи Чернѣ, принадлежалъ къ тому типу помѣщиковъ-меломановъ и театраловъ, которымъ такъ богато было наше барство начала нынѣшняго вѣка и который тѣмъ не менѣе не оставилъ ни малѣйшаго слѣда въ русской исторіи искусства. Онъ былъ

музыкантъ, и композиторъ, и отличный актеръ, любившій пеголять своимъ декламаторскимъ искусствомъ. При его усадьбѣ былъ и домашній театръ, и, конечно, свой домашній оркестръ, управляемый нѣмцемъ-капельмейстеромъ. На сценѣ домашнего театра очень часто являлись комедіи и оперетки собственнаго сочиненія Плещеева, для которыхъ онъ самъ писалъ и слова, и музыку, и самъ исполнялъ ихъ на сценѣ, вмѣстѣ съ женой своею, также хорошей музыкантшей. Вся жизнь этой артистической семьи представляла собой, однимъ словомъ, какой-то сплошной, безконечный праздникъ, въ которомъ комедіи, концерты, оперы и торжества всякаго рода, непрерывно чередуясь, слѣдовали одинъ за другимъ.

Между Жуковскимъ и Плещеевыми установились совершенно особыя, музыкально-поэтическія дружескія связи. Изъ Черни въ Муратово, и обратно, то и дѣло скакали гонцы съ поэтическими посланіями въ стихахъ отъ Жуковскаго къ Плещееву, на которыхъ Плещеевъ отвѣчалъ французскими стихами. Каждая новая пѣснь Жуковскаго тотчасъ же пересылалась къ Плещееву въ Чернѣ и тамъ ее полагали на музыку, а потомъ, при первомъ свиданіи, либо самъ Плещеевъ декламировалъ новое произведеніе Василя Андреевича, либо жена его пѣла положенную Плещеевымъ на музыку новую пѣсню поэта, на общему удовольствію всей родственной и неродственной нублики, постоянно наполнявшей обширный, веселый и радушный черныяскій домъ. Эта художественно-поэтическая обстановка жизни Жуковскаго должна была сдѣлаться еще болѣе привлекательною вслѣдствіе того, что къ ней, около этого времени, примѣшалась и романтическая любовь Василя Андреевича къ старшей изъ бывшихъ его ученицъ — къ Маріи Андреевнѣ Протасовой. Жуковский искалъ ея руки, но получивъ отказъ со стороны ея матери, Е. А. Протасовой. Отказъ произвелъ на Жуковскаго очень тяжелое впечатлѣніе и далъ новую пищу

¹⁾ Въ теченіе этихъ же двухъ лѣтъ выдано было Жуковскимъ и то „Собраніе русскихъ стихотвореній“ — нѣчто въ родѣ хрестоматіи въ 5 частяхъ — изъ-за котораго Державинъ сильно прогнѣвался на Жуковскаго, помѣстившаго въ своемъ „Собраніи“ много державинскихъ стихотвореній, которыя онъ признавалъ въ своемъ родѣ образцовыми. Державинъ, по современнымъ понятіямъ о литературной собственности, видѣлъ въ этомъ неudelкитность со стороны Жуковскаго и даже прямой подрывъ продажѣ купленнаго у него книгопродавцемъ полнаго изданія его сочиненій.

его элегическому, печальному настроенію, его сѣтованіямъ на судьбу, на одиночество и т. п. Все это, конечно, должно было служить тѣмъ же цѣлю ряду грустныхъ романсовъ и элегій, въ которыхъ горькая доля поэта должна была занимать первое мѣсто. Но всѣмъ этимъ поэтическимъ изліаніямъ помѣшалъ незамѣтно наступившій 1812 г. Мы говоримъ — незамѣтно, потому что даже и 3-го августа 1812 года, въ Муратовѣ и Черни, друзья-сосѣди продолжали еще жить все тою же неизмѣнной художественно-поэтической жизнью, ни мало не заботясь о политическихъ событіяхъ. 3-го августа всѣ сосѣди собрались въ Чернь, праздновать день рожденія Плещеева... На домашней сценѣ давали оперу его сочиненія... и въ тотъ же вечеръ Жуковский пѣлъ свой новый романсъ, положенный на музыку Плещеевымъ. Романсъ былъ „Пловецъ“, который въ изданіи сочиненій Жуковского является подъ 1813 г. Намекъ романса не понравились Протасовой, которая видѣла въ нихъ нарушеніе общанія, даннаго Жуковскимъ, и на другой же день вынудила его уѣхать изъ Муратова въ Москву и поступить въ ряды московскаго ополченія...

Во время пребыванія въ ополченіи Жуковскому не случилось участвовать ни въ одномъ сраженіи; но за то въ лагерѣ подъ Тарутиннымъ, увлеченный общимъ ожиданіемъ побѣды надъ страшнымъ врагомъ, Жуковский написалъ своего знаменитаго „Пѣвца во станѣ русскихъ воиновъ“. Въ этомъ громкомъ и торжественномъ стихотвореніи (состоящемъ изъ 672 стиховъ), посвященномъ воспоминаніямъ о русской славѣ, о падшихъ братьяхъ, поэтъ въ то же время взывалъ къ отмщенію за разарушенную и выжженную Москву. Такъ вѣрно было угадано поэтомъ общее настроеніе той минуты, что „Пѣвецъ во станѣ русскихъ воиновъ“ гораздо болѣе прославилъ Жуковского, нежели вся предшествовавшая его поэтическая, литературная и журнальная дѣятельность. Стихотвореніе, въ тысячахъ списковъ, разошлось быстро по войску, а потомъ по всей Россіи. Сама Императрица Марія Ѳеодоровна пожелала имѣть

списокъ этого произведенія и изъявила желаніе познакомиться съ поэтомъ... Жуковскому, впрочемъ, не пришлось долго оставаться при арміи. Въ ноябрѣ, вскорѣ послѣ битвы при Красномъ, онъ заболѣлъ тифомъ и только благодаря своему крѣпкому сложенію счастливо перенесъ тяжкую болѣзнь. Въ началѣ января 1813 г. онъ уже снова вернулся въ Муратово, въ недавно покинутый имъ кругъ родни и друзей.

Но здѣсь пробылъ онъ не долго. Ободравшись друзьями своими, онъ рѣшился еще разъ попытать счастья, и въ то время, когда одинъ изъ его пріятелей, А. Ѳ. Воейковъ, сталъ свататься за младшую дочь Протасовой (Александру Андреевну), Жуковский еще разъ рѣшился просить руки старшей — Маріи Андреевны Протасовой, которая уже изъявила ему согласіе выдти за него замужъ. Получивъ вторично отказъ отъ Екатерины Афанасьевны, Жуковский въ отчаяніи рѣшился удалиться въ Долбню, имѣние Кирѣевскихъ (Калужской губерніи, въ 7-ми верстахъ отъ Муратова), гдѣ и нашелъ самый радужный, самый родственны пріютъ для своей скорбной Музы.

Но Жуковскому не пришлось здѣсь долго пробыть, не пришлось слишкомъ долго оплакивать свою неудачу въ любви: судьба, благосклонная къ нему отъ рожденія, готовила ему такой путь, о которомъ онъ едва-ли могъ мечтать. Не слѣдуетъ забывать, что въ теченіе 1813—1814 г.г. Россія жила особую жизнью, и на глазахъ современниковъ совершались событія громадныя, способныя до крайней степени возвысить народную гордость; немудрено, что тѣ же событія способны были и поэта-Жуковского заставить разстаться съ его скорбными пѣснями и сокрушеніями, съ его балладами и фантастической романтикой... И его лира отозвалась на общій гулъ похвалъ, изумленія и восторговъ, который неумолкая сопровождалъ Александра I и его побѣдоносное шествіе къ Парижу. Въ самомъ концѣ 1814 года, Жуковский, послѣ взятія Парижа, написалъ свое громадное и восторженное „Посланіе“¹⁾ Императору Александру I-му (около 500 стиховъ), а въ декабрѣ того жъ

¹⁾ Когда летящіе отсюда самыя клки,
Въ одинъ слышась гласъ, тебя зовутъ: Великій!
Что скажетъ лироу незнаемый пѣвецъ? и т. д.

1814 г., въ годовщину освобожденія Россіи отъ нашествія иноземныхъ, написалъ другое обширное стихотвореніе, и назвалъ его „Пѣвецъ въ Кремлѣ“. Первое изъ этихъ стихотвореній имѣло рѣшительное вліяніе на судьбу Жуковскаго. Въ настоящую минуту, конечно, уже почти невозможно составить себѣ понятія о томъ потрясающемъ, глубоко въпечатлѣнномъ, которое оно произвело на современниковъ; а потому мы и предпочтемъ привести здѣсь разсказъ очевидца о томъ, какъ было принято это стихотвореніе. Жуковский послалъ рукопись своего „Посланія“ къ А. И. Тургеневу для представленія Императрицѣ Маріи Ѳеодоровнѣ, и вотъ что писалъ ему по этому поводу Тургеневъ (1-го января 1815 г.): „Пишу тебѣ, безцѣнный и милый другъ Василій Андреевичъ, въ самый новый годъ чтобы отъ всей души, произведеніемъ твоего генія возвышенной, поздравить тебя съ новымъ годомъ и съ новою славой. Я долженъ описать тебѣ подробно чтеніе (твоего посланія), которое происходило въ комнатахъ Ея Величества, въ присутствіи Ея, великихъ князей, великой княжны Анны Павловны, графини Ливенъ, Нелидовой, Нелединскаго-Мелецкаго, Виланова и Уварова. Я писалъ уже тебѣ, что Государынѣ угодно было назначить мнѣ пріѣхать въ 7 часовъ вечера, 30-е декабря. Въ самый часъ явился къ Уварову, и немедленно ввелъ насъ въ кабинетъ ея, гдѣ уже дождался Нелединской. Черезъ 5 минутъ вошла и Государыня съ тѣми особами, которыя я наименовалъ выше. Первая рѣчь со мною о тебѣ, о твоихъ талантахъ и о твоей жизни, о твоихъ напѣвленіяхъ и объ упорствѣ твоёмъ, съ которыми ты противился приглашеніямъ Ея Величества пріѣхать въ С.-Петербургъ ¹⁾. Я обнадежилъ Государыню, что ты непременно будешь зпимо, хотя проѣдешь; она нѣсколько разъ подтвердила мнѣ желаніе тебя видѣть, и поручила написать къ тебѣ объ этомъ. Началось чтеніе; приготовленный совѣтами моихъ пріятелей, я читалъ внятно и съ тѣмъ чувствомъ, которое внушила мнѣ и высота предмета, и пламенный геній твой, и моя неменѣе пламенная дружба къ тебѣ... Великая княжна и князья

прерывали чтеніе восклицаніями: прекрасно! превосходно! *c'est sublime!* Въ продолженіе чтенія великіе князья изъявили желаніе, чтобы эти стихи переведены были, если можно, на нѣмецкій или англійскій языки. Но для того надобно другаго Жуковскаго, а онъ принадлежить одной Россіи, и только одна Россія имѣетъ Александра и Жуковскаго. Въ концѣ піесы не разъ наvertывались слезы, и Государыня, и я принуждены были останавливаться. Она обращалась къ великой княжнѣ и встрѣчала взоры ея, также исполненные любви къ предмету твоего пѣснопѣнія и удивленія къ твоему таланту. Сколько сладкихъ чувствъ въ одно время для матери, братьевъ и сестеръ твоего героя, и для твоего друга, свидѣтеля такого безпритворнаго восхищенія, смѣшаннаго съ благодарностью къ генію, умѣвшему выразить все величіе предмета единственнаго! Я увѣренъ, что Александръ, съ своею недоступною для почестей душою, почувствуетъ силу генія и отдастъ справедливость тебѣ и вѣку, который произвелъ сего генія... Чтеніе кончилось. Восхищеніе и похвалы продолжались. Государыня начала у меня о тебѣ спрашивать и требовать отъ Уварова и меня, чтобы мы сказали ей, что можно для тебя сдѣлать“... По желанію Императрицы „Посланіе“ было роскошно напечатано на казенный счетъ въ количествѣ 1200 экз., и должно было продаваться въ пользу автора, которому сверхъ того пожалованъ перстень. Современный очевидецъ разсказываетъ, что въ провинціи это стихотвореніе Жуковскаго пріобрѣло положительное значеніе народнаго гимна Александру:— „Посланіе“ читали и въ общественныхъ собраніяхъ, и въ частныхъ кружкахъ передъ увѣнчаннымъ лаврами бюстомъ Государя, и когда доходили до стиха:

Прими-жъ, въ виду небесъ, свободный нашъ обѣтъ,
— всѣ падали на колѣни.

Весною, того же 1815 года, Жуковский былъ представленъ Императрицѣ Маріи Ѳеодоровнѣ, и вотъ какъ онъ самъ описывалъ это первое свое свиданіе съ нею, въ письмѣ къ роднымъ... „Уваровъ, на другой день моего пріѣзда, написалъ къ Импера-

¹⁾ Императрица, прочитавъ „Пѣвца во ставѣ русскихъ воиновъ“, уже изъявила желаніе поближе познакомиться съ Жуковскимъ, и приглашала его пріѣхать въ столицу.

трицѣ, что я въ Петербургѣ, и получилъ приказъ представить меня въ слѣдующее воскресенье (была пятница). Мундира у меня не было; кое-какъ накопилъ отъ добрыхъ пріятелей мундирную пару, и мы съ Уваровымъ отправились въ воскресенье, во второмъ часу, во дворецъ. Дожидались довольно долго, потому что были послѣ обѣдни парадныя аудіенціи, а меня вѣрно было представить ей въ кабинетѣ. Изъ большой залы, въ которой мы стояли, двери прямо въ этотъ кабинетъ. Вдругъ онѣ отворились — и вслѣдъ за этимъ насъ приглашаютъ... Проходимъ маленькую горницу. Уваровъ шелъ впереди, — входимъ въ другую; передъ дверьми ширмы. Вдругъ изъ-за ширмы говорить Уварову женскій голосъ: „Bonjour, Monsieur Ouvaroff“... Это какая нибудь придворная дама, думалъ я; иду, — предо мною Императрица. За нею, гораздо поодаль, у дверей, великіе князья. Разумѣется, началось привѣтствіе. Я хотѣлъ было сказать: не умѣю изъяснить Вашему Величеству своей благодарности за ваши милости; но исполнилъ это на дѣлѣ, а не на словахъ, потому что не успѣлъ ничего сказать, а отдѣлался поклонами. Сначала было довольно трудно говорить, потому что Государыня говорила по-русски, не очень внятно и скоро, и я не все понималъ. Уваровъ это замѣтилъ и скавалъ два слова по-французски; это заставило ее отвѣчать по-французски же, и разговоръ пошелъ очень живо — о войнѣ, о ея безпокойствахъ прошедшихъ и о прошедшихъ великихъ радостяхъ. Въ этомъ разговорѣ было для меня много трогательнаго: мать говорила о сынѣ, и съ чувствомъ; нѣсколько разъ наворачивались у ней на глазахъ слезы. Разговоръ продолжался около часу. Наконецъ мы откланялись. „Мы еще съ вами увидимся“, сказала она мнѣ очень ласково“...

Послѣ этого представленія путь ко Двору былъ, конечно, открытъ для Жуковскаго; но его еще привлекали прежнія связи, въ мечтахъ ему все еще представлялась возможность достигнуть своей главной цѣли — семейнаго счастья. Онъ уѣхалъ въ Дерптъ и прожилъ тамъ довольно долго, среди друзей и близкихъ ему людей. Однакоже, друзья подумали за Жуковскаго и устроили все сверхъ всякаго ожиданія. Осенью того же

года Жуковскій былъ вызванъ въ Петербургъ и оставленъ при Дворѣ въ званіи лектора при вдовствующей Императрицѣ, которая, въ Павловскѣ, любила видѣть около себя кружокъ ученыхъ и литераторовъ: тутъ нерѣдко по вечерамъ собирались во дворцѣ или Роговомъ павильонѣ: Карамзинъ, Крыловъ, Дмитріевъ, Нелединскій, Гнѣдичъ, Шторхъ, Клингеръ, Аделунгъ, Вилламовъ — и Жуковскому было дано почетное мѣсто между этими приближенными къ Императрицѣ лицами.

По поздней осени пробылъ Жуковскій въ Петербургѣ и въ Павловскѣ; но потомъ опять-таки ускользнулъ въ Дерптъ, куда его попрежнему влекло неудержимо. И еще два года прошло въ такой странной, двойственной жизни, въ борьбѣ съ самимъ собою, въ нерѣшительности относительно выбора пути, въ ожиданіяхъ, которыми, какъ онъ самъ зналъ, не суждено было сбыться. Въ теченіе этого времени Жуковскій находился на верху своей славы, въ полномъ блескѣ ея... Всѣ смотрѣли на него, какъ на великаго поэта, много общающаго въ будущемъ, и одинъ изъ откровенныхъ друзей его даже настолько заблуждался относительно размѣровъ творческой силы Жуковскаго, что почиталъ его пѣсни и баллады, его переводные романсы и пышныя посланія не болѣе, какъ приготовительною работою. Пробами пера, очевидными признаками будущаго, могучаго развитія таланта. Батюшковъ писалъ около этого времени Жуковскому: „Тургеневъ сказывалъ мнѣ, что ты пишешь балладу. Зачѣмъ не поаму?... Чудакъ! ты имѣешь все, чтобы сдѣлать себѣ прочную славу, основанную на важномъ дѣлѣ. У тебя воображеніе Мильтона, нѣжность Петrarки... и ты пишешь баллады! Оставь бездѣлки намъ; займись чѣмъ нибудь достойнымъ твоего дарованія. Вотъ мое мнѣніе; оно чистосердечно. Пускай другіе кадятъ тебя; я чувствую, наслаждаюсь, восхищаюсь твоимъ гениемъ и, признаюсь, сожалею о томъ, что ты не избралъ медленнаго, постояннаго и вѣрнаго пути къ славѣ. Къ славѣ? Она не пустое слово. Она вѣрнѣе многихъ благъ бреннаго человѣчества...“ (14 ноября 1814 г.). Въ довершеніе всего Жуковскій, самъ того не желая, увидѣлъ себя во главѣ молодой партіи „карамзинистовъ“. Вслѣдствіе этого невольнаго положе-

нѣ, Жуковский, конечно, сдѣлался (какъ незадолго передъ тѣмъ Карамзинъ) цѣлью та-желовѣсныхъ выходокъ для членовъ „Шинковской бесѣды“; но въ эту пору жизни онъ такъ мало занятъ былъ своею литературной славой, что за него и за его славу приходилось ломать копыя другимъ, друзьямъ его. „Здѣсь есть авторъ — князь Шаховской“ ¹⁾ — такъ пишетъ Жуковский къ роднымъ изъ Петербурга (осенью 1815 г.). „Извѣстно, что авторы не охотники до

авторовъ. Вадумалъ онъ написать комедію и въ этой комедіи смѣяться надо мною ²⁾. Теперь страшная война на Парнассѣ. Около меня дерутся за меня, а я молчу; да лучше было бы, когда бы и всѣ молчали—городъ раздѣлился на двѣ партіи, и французскія волненія забыты, при шумѣ парнасской бури. Всѣ эти глупости еще болѣе привязываютъ къ поэзін, святой поэзін, которая независима отъ близорукихъ судей и до-вольствуется сама собою“.



Розовый павильонъ въ Павловскѣ.

Эта выходка кн. А. А. Шаховскаго, о которой Жуковский упоминаетъ въ письмѣ къ роднымъ, и тотъ отпоръ, который она встрѣтила со стороны „карамзинистовъ“, имѣютъ свое значеніе въ исторіи нашей литературы, потому что побудили молодыхъ представителей нашей литературы образовать извѣстный „своею граціозно-шаловливою“ дѣятельностью кружокъ, подъ названіемъ „Арзамасскаго ученаго общества“ или просто „Арзамаса“.

Та „презавабная сатира“ Блудова, о которой упоминаетъ Жуковский въ вышеприведенномъ письмѣ, была его извѣстное „Видѣніе въ Арзамасскомъ трактирѣ“, изданное обществомъ ученыхъ людей“, которымъ и положено было основаніе всѣмъ Арзамасскимъ шалостямъ. Въ этой сатирѣ осмѣивалась вся Бесѣда — и, съ легкой руки Блудова, кружокъ молодежи, вошедшей въ составъ Арзамаса, посвятилъ себя почти исключительно поле-

¹⁾ Кн. А. А. Шаховской былъ членомъ Бесѣды. — ²⁾ Пьеса эта была комедія „Липецкія воды“, предст. 23 сент. 1815 г. Жуковский былъ въ ней осмѣянъ подъ именемъ балладника Фіалкина.

микъ съ „шишковистами“ и осмѣянію ихъ учено-литературной дѣятельности. Арзамасъ сложился въ такую эпоху (1815 г.), когда еще періодъ нашихъ увлеченій славою и значеніемъ Россіи въ Европѣ не успѣлъ пройти; а потому и не удивительно, что молодежи жилось весело, и что наиболѣе талантливая, наиболѣе образованная часть ея искала возможности затрачивать избытокъ силъ своихъ въ шуткѣ и сатиру, направленную противъ отсталой литературной партіи, входившей въ составъ Бесѣды и Россійской Академіи, съ тѣхъ поръ, какъ президентомъ ея былъ сдѣланъ А. С. Шишковъ. Шутка, пародія, сатира и карикатура, послужившія главнымъ побужденіемъ къ основанію Арзамаса, не переставали вліять на его устройство и дѣятельность въ теченіе всего существованія Арзамаса (1815—1818 г.), т. е. до того времени, когда и самый Арзамасъ раздѣлился на партіи...

Арзамасъ былъ устроенъ въ противоположность Бесѣдѣ, а потому въ немъ не было ни подраздѣленій, ни разрядовъ, ни чиновначалія, ни президентовъ: всѣ члены Арзамаса одинаково имѣли право на общій титулъ ихъ превосходительства гениевъ Арзамаса. Но многіе обычаи Арзамаса были заимствованы изъ быта другихъ ученыхъ обществъ, а нѣкоторые шутивые символическіе обряды, которыми сопровождалось принятіе въ члены Арзамаса, даже напоминали собою символику масонскихъ ложъ. Вотъ какъ, на примѣръ, былъ принятъ въ члены Арзамаса дядя А. С. Пушкина, Василій Львовичъ Пушкина: „Пушкина ввели въ одну изъ переднихъ комнатъ“ — рассказываетъ современникъ — „положили его на диванъ и навалили на него шубы всѣхъ прочихъ членовъ... и, лежа подъ ними, онъ долженъ былъ выслушать чтеніе цѣлой французской трагедіи... Потомъ съ завязанными глазами, водили его съ лѣстницы на лѣстницу, и привели въ комнату, которая была передъ самымъ кабинетомъ. Кабинетъ, въ которомъ было засѣданіе и гдѣ были собраны члены, былъ ярко освѣщенъ, а эта комната оставалась темною и отдѣлилась отъ него аркою, съ оранжевою, огненною занавѣскою. Здѣсь развязали ему глаза — и ему представилось огромное, безобразное чучело, устроенное на вѣшалкѣ для платья, покрытой простынею. Пушкину

объяснили, что это чудовище означаетъ дурной вкусъ; подали ему лукъ и стрѣлы и велѣли поразить чудовище... Потомъ ввели Пушкина за занавѣску, и дали ему въ руки эмблему Арзамаса, мерзлаго арзамаскаго гуся, которого онъ долженъ былъ держать въ рукахъ во все время, пока ему говорили длинную привѣтственную рѣчь. Рѣчь эту говорилъ, кажется, Жуковский“. Послѣ того Пушкину, какъ всѣмъ арзамасцамъ, дано было арзамасское прозвище: Вотъ. Также точно и другимъ членамъ кружка давались, при вступленіи въ Арзамасъ, подобныя же прозвища, заимствованныя преимущественно изъ балладъ Жуковского: такъ Блудовъ получилъ названіе — Касандры, Дашковъ — Чу!, Вяземскій — Асмодея, А. И. Тургеневъ — Эоловой арфы, Н. И. Тургеневъ — Варвика, Уваровъ — Старушки, А. С. Пушкинъ — Сверчка, Батюшковъ — Ахилла; самъ Жуковский былъ названъ подъ названіемъ Свѣтланы. Эти арзамасскія прозвища служили для арзамасцевъ не только въ ихъ частныхъ, дружескихъ сношеніяхъ, но и псевдонимами въ литературѣ.

Привѣтственная рѣчь, которою встрѣченъ былъ В. Л. Пушкинъ, принадлежала тоже къ числу арзамасскихъ обычаевъ, указанныхъ уставомъ Арзамаса. Въ томъ же уставѣ, написанномъ Жуковскимъ и Блудовымъ, устанавливается, чтобы новопоступающій арзамасецъ, „по примѣру вступающихъ членовъ во всѣхъ другихъ обществахъ“, непремѣнно говорилъ похвальную рѣчь своему покойному предшественнику; но „такъ какъ гени Арзамаса считались безсмертными“, то и рѣшено было, чтобы вступающій говорилъ похвальную рѣчь одному изъ членовъ Бесѣды. Это называлось „брать на пробатъ покойниковъ между халдеями Бесѣды и Академіи, дабы воздавать имъ, по дѣламъ ихъ, не дожидаясь потопства“. Протоколы засѣданій Арзамаса велись въ стихахъ, гекзаметрами, Жуковскимъ и сохранились намъ какъ любопытный памятникъ эпохи... „Такъ забавлялись въ то время люди, которые были уже не дѣти“ — замѣчаетъ современникъ — „но все люди навѣстныя, нѣкоторые въ большихъ чинахъ и въ важныхъ должностяхъ. Никто не почиталъ предосудительнымъ въ то время шутить и быть веселымъ...“ Но почтенный защитникъ Арзамаса

пускаетъ наъ виду тотъ замѣчательный фактъ, что шутовое и веселое настроеніе образованной и литературной молодежи нашей, выразившееся въ дѣятельности членовъ Арзамаса, было очень не одновременно... Когда, по предположенію одного изъ членовъ Арзамаса, убѣждавшаго своихъ собратій оставить ихъ ребяческія забавы и обратиться къ предметамъ высокимъ и серьезнымъ, рѣшено было измѣнить характеръ и направленіе дѣятельности кружка— между членами его проявилась замѣтная рознь. Одни охладѣли совершенно къ шуткѣ и смѣху; другіе недовѣрчиво и не безъ опасенія сморгѣли на предполагаемое нѣкоторыми Арзамасцами изданіе журнала, „коего статьи (по замѣчанію Вигеля) новостію и смѣлостью идей должны были пробудить вниманіе читающей Россіи“. Къ тому же, нѣкоторые изъ важнѣйшихъ и вліятельнѣйшихъ членовъ Арзамаса около этого времени (1818 г.) разѣхались, другіе заняли важныя государственныя должности... Самъ Жуковский, добродушный и беззаботный всѣхъ предававшійся веселостямъ „Арзамаскаго ученаго общества“, случайно былъ выдвинутъ судьбою на иное, новое для него поприще.

Не заботясь о своей славѣ и о борьбѣ съ своими литературными противниками, которую онъ предоставлялъ вести своимъ друзьямъ, Жуковский еще меньше заботился о своемъ обезпеченіи и назначеніи въ будущее, которое, какъ мы замѣтили выше, представлялось ему въ самомъ неопредѣленномъ видѣ. Между тѣмъ друзья его хлопотали за него при Дворѣ съ какимъ-то особеннымъ, страстнымъ рвеніемъ и побуждали непремѣнно поднести Государю „Пѣвца въ Кремлѣ“, отдѣльно-изданнаго съ изящной гравюрой, прибавивъ къ нему посвященіе, или, по крайней мѣрѣ, посвятить Государю полное собраніе сочиненій. Жуковский, все еще привлекаемый Дерптомъ, въ которомъ онъ проводилъ большую часть года, отвѣчалъ на весьма положительные побужденія своихъ друзей какими-то полурассужденіями и полумечтами:

„Мнѣ весело думать“—пишетъ онъ А. И. Тургеневу (21 окт. 1816 г.)— „что ты обо

мнѣ хлопочешь. Очень было бы хорошо, когда бы то, что ты затѣялъ, и о чемъ я не имѣю понятія, совсѣмъ обошлось безъ писъма моего! ¹⁾ Неужели должно непремѣнно просить вниманія? Довольно того, чтобы его стоить! Вниманіе Государя есть святое дѣло. Имѣть на него право могу и я, есть-ли буду русскимъ поэтомъ, въ благородномъ смыслѣ сего имени. А я буду! Поэзія часть отъ часу становится для меня чѣмъ-то возвышеннымъ... Не надобно думать, что она только забава воображенія. Этимъ она можетъ быть только для петербургскаго свѣта. Но она должна имѣть вліяніе на душу всего народа и она будетъ имѣть это благотворное вліяніе, есть-ли поэтъ обратитъ свой даръ къ этой цѣли. Поэзія принадлежитъ къ народному воспитанію. И дай Богъ въ теченіи жизни сдѣлать хоть шагъ къ этой прекрасной цѣли. Имѣть ее позволено, а стремиться къ ней, значить заслуживать одобреніе Государя. Это стремленіе всегда будетъ въ душѣ моей! Работать съ такою цѣлію есть счастье; а друзья будутъ знать, что я имѣю эту цѣль,— вотъ награда!“

И послѣ этого писъма Жуковский попрежнему оставался жить въ Дерптѣ, гдѣ дописывалъ въ это время вторую половину своей повѣсти „Двѣнадцать спящихъ дѣвъ“ (2-я баллада: Вадимъ и приготавлилъ полное изданіе своихъ сочиненій. Такъ наступилъ конецъ 1816 года, ознаменовавшійся для Жуковского очень важнымъ событіемъ: — благодаря настойчивымъ стараніямъ А. И. Тургенева, черезъ князя А. Н. Голицына, поднесены были Государю сочиненія Жуковского — и назначена ему пожизненная пенсія въ 4,000 р.! Нежданно и негаданно сбылись мечты безпечнаго мечтателя-поэта о независимости; но эту независимость не могъ онъ пользоваться долго, пезовольно чувствуя самъ, что милость царская далеко превышаетъ его заслуги. „Я чувствую новую необходимость дѣятельности — пишетъ Жуковский къ Тургеневу— и это побужденіе святое: благодарность къ Государю, который далъ мнѣ лучшее благо — независимость, и имѣетъ на меня надежду! Этой надежды обмануть не надобно! Я теперь въ службѣ,

¹⁾ Т. е. безъ писъма къ Государю.

и долженъ служить по совѣсти!“ Хотя въ ту минуту, когда были писаны эти строки, Жуковский не состоялъ еще ни на какой дѣйствительной службѣ, однакоже онъ чувствовалъ въ себѣ непреодолимое желаніе служить и службою доказать свою благодарность, конечно, предвидя, что случай къ тому долженъ будетъ скорѣе представиться. Недаромъ говорилъ онъ, уѣзжая изъ Дерпта въ началѣ 1817 года въ Петербургъ: „романъ моей жизни оконченъ — теперь начинается исторія!“

И дѣйствительно, слѣдующее 25-ти-лѣтіе жизни Жуковского — его придворная служба ¹⁾ (1817—1841 г.) — болѣе принадлежит исторіи, нежели литературѣ, для которой въ теченіе этого времени было имъ сдѣлано очень немногое, и притомъ только подражательное или переводное: друзья и почитатели его должны были наконецъ убѣдиться въ томъ, что поэтическое творчество Жуковского никогда не приведетъ его ни къ чему самостоятельному и не дасть ему возможности ничего создать, кромѣ очень хорошихъ переводовъ и болѣе или менѣе хорошихъ переработокъ съ готового поэтического матеріала, представляемаго иностранными литературами. Чрезвычайно любопытенъ въ этомъ отношеніи отзывъ о Жуковскомъ И. И. Дмитріева, который уже въ самомъ началѣ его придворной карьеры писалъ А. И. Тургеневу:

... „Ревность друзей (Жуковского) почти достигла своей цѣли: кажется, поэтъ мало-по-малу превращается въ придворнаго; кажется, новосты въ знакомствахъ, въ образѣ жизни начинаютъ прельщать его. Увидимъ, въ чемъ найдетъ болѣе выгоды, и между тѣмъ будемъ пока питаться Овсянымъ криселемъ ²⁾; для меня и онъ по вкусу, по я закону, и люблю разнообразіе“.

Въ этомъ намекѣ Дмитріева на то, что поэтическая дѣятельность Жуковского начинается становиться чрезвычайно однообразною, заключается много правды. Около того же времени и Батюшковъ писалъ о Жуковскомъ Тургеневу: „Утѣшите злодѣя: скажите ему, что баллада изъ Шиллера прелестна, лучший изъ его переводовъ, по моему мнѣнію; что переводъ изъ Иоганны мнѣ нравится, какъ переводъ мастерской, живо напоминающій подлинникъ; но разбѣрь стиховъ странный, дивный, вялый! — ссылаюсь на маленькаго Пушкина, которому Аполлонъ далъ чуткое ухо. Но Горная пѣсня и весь IV № ³⁾ мнѣ не нравится. Онъ напалъ на дурное, жеманное и скучное“. (1818 г.). Увлекался дерптскою жизнью, привязываясь болѣе и болѣе къ тѣснымъ рамкамъ быта маленькаго нѣмецкаго городка, Жуковский болѣе и болѣе привязывался и къ тѣмъ узенькимъ, ограниченнымъ, ничтожнымъ идеаламъ, которыми способна была задаваться поэзія, развивающаяся въ центрахъ, подобныхъ Дерпту. Это побуждало его переводить много такого, что положительно не заслуживало перевода, а съ другой стороны способствовало мало-по-малу отдаленію его отъ русской, національной почвы. Безъ которой романтизмъ терялъ всякій смыслъ и значеніе. Впрочемъ, главнымъ недостаткомъ поэзіи Жуковского вообще, даже и въ наиболѣе блестящій періодъ ея, является именно полнѣйшее отсутствіе всякаго національнаго колорита, всякой тѣсной связи съ народною почвой, которой мало сочувствовалъ Жуковский и которую онъ едва-ли понималъ; по крайней мѣрѣ все то, что онъ заимствовалъ изъ русскихъ преданій и русской народной поэзіи, подражалъ Пушкину, принадлежать къ числу самыхъ неудачныхъ поэтическихъ опытовъ его ⁴⁾.

¹⁾ Въ 1817 году Жуковский былъ избранъ въ преподаватели русскаго языка Великой Княгини (впоследствии Императрицы) Александрѣ Феодоровнѣ. По вступленіи на престолъ Императора Николая Жуковский былъ назначенъ въ наставники къ Вел. Князю Наслѣднику (въ Воѣ почившему Государю Императору) Александру Николаевичу. Поэзія уступила мѣсто педагогическимъ трудамъ, такъ что въ поэтической дѣятельности его виднѣтъ 7-ми-лѣтній перерывъ (1823—29 г.). — ²⁾ Въ послѣднее время своего пребыванія въ Дерптѣ Жуковский особенно пристрастился къ Гётею, и перевелъ очень много его стихотвореній. — ³⁾ Здѣсь упоминается о тѣхъ переводахъ съ нѣмецкаго, которые Жуковский для ученицы своей, Великой Княгини Александры Феодоровны, давалъ при Дворѣ тетрадами подъ заглавіемъ: für Wenige (для немногихъ). Тетрадки эти выходили подъ номерами. — ⁴⁾ Мы разумеетъ его сказки: о Царѣ Берендѣѣ и Спящей Царевнѣ, написанныя въ 1831 году, и въ особенности написанную имъ подъ конецъ жизни сказку „Объ Иванѣ Царевичѣ и Сѣромъ Волкѣ“.

Въ теченіе своего 25-ти-лѣтняго пребыванія при Дворѣ, Жуковскій перевелъ „Орлеанскую Дѣву“—драму Шиллера, и поэму Байрона „Шильонскій Узникъ“ (и то, и другое въ продолженіе 1821 года); затѣмъ между 1832—1836 гг. передѣлалъ прелестную повѣсть Ла-Моттъ Фуке „Ундину“, а съ 1827—1840 перевелъ, съ нѣмецкаго перевода Рюккерта, индійскую поэму „Надъ и Дамаянти“.

По окончаніи своей службы, осыпанный милостями Императора Николая I, обезпеченный на всю жизнь, и безъ того уже богатый, Жуковскій уѣхалъ изъ Россіи за границу—и не возвращался болѣе въ отечество. Во время частыхъ своихъ путешествій за границу, до этого времени, онъ успѣлъ завести дружескія связи въ Германіи, къ которой все болѣе и болѣе привязывался.



Домъ, въ которомъ жилъ и умеръ Жуковскій въ Баденъ-Баденѣ.

Въ 1841 году, переселившись за границу, онъ женился тамъ на дочери друга своего, живописца Рейтерна. Жуковскому было въ это время слишкомъ 60 лѣтъ, а его невестѣ — 19. Новѣйшій биографъ Жуковского, д-ръ Зейдлицъ, посвящаетъ цѣлый отдѣлъ своей книги описанію семейной заграничной жизни поэта, и этотъ отдѣлъ представляетъ намъ много чрезвычайно любопыт-

ныхъ подробностей, которыя мы не считаемъ возможнымъ привести здѣсь. Достаточно будетъ замѣтить, что въ теченіе послѣднихъ 11 лѣтъ своей жизни полубольной и нервно-разстроенный Жуковскій долженъ былъ почти постоянно ухаживать за болѣзненною женою и при этомъ бороться съ кружкомъ пѣтнстовъ, которые непрерывно направляли ея мысли къ религіозному энту-

вѣзду и чуть было не вынудили ее принять католичество. Нравственно и духовное настроеніе Жуковскаго въ это время также было очень близко къ мистицизму и часто проявлялось въ видѣ чрезвычайно странныхъ поэтическихъ фантазій, въ видѣ сокрушеній о своей чрезырѣнной грѣховности, о суетѣ и ничтожествѣ всего мірскаго и т. п. Болѣзненно-религіозная настроенность Жуковскаго совершенно ясно выражается въ томъ сочувствіи, которое, въ теченіе этого послѣдняго періода жизни, онъ выказывалъ къ мистическимъ увлеченіямъ Гоголя. Однакоже, въ немногія спокойныя минуты послѣднихъ 10 лѣтъ жизни, Жуковский все же успѣлъ довести до конца два большіе труда: въ 1847 году напечатанъ былъ его замѣчательный переводъ Одиссеи; въ 1849 — переводъ персидской поэмы „Рустемъ и Зорабъ“. Въ томъ же году отпразднованъ былъ и 50-ти-лѣтній юбилей литературной дѣятельности Жуковскаго, который предполагалось и даже слѣдовало бы праздновать уже въ 1847 году.

7-го апрѣля 1852 г. Жуковский умеръ на 70-мъ году въ Баденъ-Баденѣ. Тѣло его перевезено было въ Петербургъ и похоронено въ Александро-Невской лаврѣ, рядомъ съ могилою Карамзина. 29-го января 1883 года совершенно было по всей Россіи торжество столѣтней годовщины со дня рожденія поэта.

Прямую противоположностью Жуковскому, какъ поэту, представляется Батюшковъ, первый постигнувшій истинное значеніе поэтическаго настроенія древне-классическихъ поэтовъ и счумѣвшій усвоить себѣ не только ихъ взглядъ на жизнь и наслажденіе, но даже ихъ пластическій, образный и вмѣстѣ съ тѣмъ вполне изящный способъ выраженія. Гоголь (т. III, стр. 448) очень мѣтко указалъ на существеннѣйшій свойство поэзіи Батюшкова, сравнивая ее именно съ поэзіей Жуковскаго. „Въ то время“, — говоритъ онъ — „когда Жуковский отрѣшалъ нашу поэзію отъ земли и существенности, и уносилъ ее въ область безтѣлесныхъ вѣдѣній, Батюшковъ, какъ бы нарочно ему въ отпоръ, сталъ прикрѣплять ее къ землѣ и тѣлу, выказывая всю очаровательную прелесть осязаемой существенности. Какъ тотъ терялся весь въ неясномъ для него самого

идеальномъ, такъ этотъ весь потонулъ въ роскошной прелести видимаго, которое такъ ясно слышалъ и такъ сильно чувствовалъ. Все прекрасное, во всѣхъ образахъ, даже и невидимыхъ, онъ какъ бы силится превратить въ осязательную нѣгу наслажденія“.

Несмотря на это различіе въ направленіи поэзіи, Батюшковъ все же принадлежитъ и по языку, и по взгляду на литературу, и по литературнымъ связямъ своимъ, точно также, какъ и Жуковский, къ кружку карамзинскому. Проза Батюшкова, точно также, какъ и равніа прозаическія произведенія Жуковскаго, могутъ быть названы не больше, какъ подражаніемъ прозѣ Карамзина. Но стихъ Батюшкова и самое содержаніе его поэзіи представляютъ собою нѣчто вполне самостоятельное, независимое отъ всякихъ предшествовавшихъ вліяній. По красотѣ стиха и по художественному достоинству своей поэзіи, Батюшковъ не имѣетъ предшественниковъ въ нашей литературѣ, и даже талантливѣйшіе представители карамзинской школы — Дмѣтріевъ и Жуковский — не могутъ состязаться съ нимъ въ этомъ отношеніи; единственнымъ соперникомъ Батюшкова является въ первыхъ своихъ произведеніяхъ юноша-поэтъ Пушкинъ, который такъ любилъ поэзію Батюшкова и такъ охотно признавалъ себя его ученикомъ. Мы уже видѣли выше, какъ Жуковский, своею усиленною переводною и подражательною поэтическою дѣятельностью, способствовалъ мало-по-малу занесенію къ намъ романтическихъ идеаловъ и вмѣстѣ съ тѣмъ тщательно обрабатывалъ нашъ поэтическій языкъ, примѣняя его къ выраженію тончайшихъ отвлеченностей своей туманной музы; Батюшковъ, обладая несомнѣннымъ поэтическимъ талантомъ, умѣя можетъ быть даже лучше Жуковскаго справляться съ русскими стихомъ, долженъ былъ однакоже, сообразно своему поэтическому настроенію, и при самой выработкѣ поэческаго выраженія, стремиться къ задачамъ, которыя были совершенно противоположны задачамъ поэзіи Жуковскаго. И дѣйствительно, ему первому, изъ русскихъ поэтовъ, удалось достигнуть того соединенія красоты и силы въ поэтической формѣ, которое и должно было послужить образцомъ для совершеннѣйшаго изъ русскихъ поэтовъ — Пушкина.

Константинъ Николаевичъ Батюшковъ (род. 1787 г., ум. въ 1855 г.) происходилъ изъ стариннаго рода новгородскихъ дворянъ, которые уже съ 1683 года являлись владѣльцами живописнаго села Даниловскаго (Устюженскаго уѣзда, Новгород. губ.), пожалованнаго царями Иоанномъ и Петромъ Алексѣевичами Матвѣю Батюшкову, одному изъ предковъ поэта, за службу его „противъ турокъ и татаръ крымскихъ“. Отецъ поэта, Николай Львовичъ, принадлежалъ къ числу людей образованныхъ на тотъ французскій ладъ, который былъ въ такой модѣ въ екатерининское время: сочиненія Руссо и энциклопедистовъ были до конца жизни его любимымъ чтеніемъ. Черезъ двоюроднаго брата своего, извѣстнаго уже намъ М. Н. Муравьева, Николай Львовичъ былъ не чуждъ даже и литературныхъ кружковъ. Но эти, повидимому, благоприятныя условія домашней обстановки въ сущности не имѣли и не могли имѣть никакого вліянія на развитіе Константина Николаевича, который по какимъ-то страннымъ, еще не разъясненнымъ отношеніямъ, былъ постоянно очень далекъ отъ отца, и уже въ раннемъ дѣтствѣ попалъ въ чужія руки. Какъ младшій членъ семейства, матери онъ почти не зналъ, потому что она, вслѣдствіе несчастнаго разстройства умственныхъ способностей, рано была удалена отъ дѣтей. Должно предполагать, что дѣтство Батюшкова было довольно печально, и, конечно, особеннымъ счастьемъ для него было то, что, по пріѣздѣ въ Петербургъ, онъ былъ отданъ на попеченіе двоюродному дядѣ своему, М. Н. Муравьеву, и супругѣ его, Екатеринѣ Теодоровнѣ, къ которымъ во всю жизнь свою относился какъ самый нѣжный и любящій сынъ. Вѣроятно, благодаря заботамъ и надзору М. Н. Муравьева, Батюшковъ попалъ въ одно изъ лучшихъ частныхъ учебныхъ заведеній того времени, въ петербургскій пансіонъ Жакино¹⁾, гдѣ особенное вниманіе обращалось на изученіе новѣйшихъ языковъ и самыя воспитательныя условія были весьма разумны. Первоначальное образованіе Батюшкова закончилось подъ руководствомъ другаго иностран-

ца — И. А. Триполи, служившаго при Морскомъ кадетскомъ корпусѣ. Результатомъ шестилѣтнихъ занятій Батюшкова, сначала въ пансіонѣ Жакино, а потомъ подъ руководствомъ Триполи, было отчетливое знаніе французскаго, итальянскаго и даже нѣмецкаго языка и раннее пробужденіе охоты къ занятіямъ словесностью. Изъ сохранившихся ученическихъ писемъ Батюшкова къ отцу видимъ, что уже въ 1801 году, т. е. лѣтъ 14-ти отъ роду, Батюшковъ перевелъ



Константинъ Батюшковъ

на французскій языкъ рѣчь, произнесенную митрополитомъ Платономъ при коронованіи Императора Александра I²⁾; сверхъ того, узнаемъ, что воспитатели Батюшкова не стѣсняли его въ чтеніи, и что сочиненія Ломоносова и Сумарокова, наравнѣ съ баснями Геллерта и съ произведеніями французскихъ мыслителей, служили развлеченіемъ его пансіонскихъ досуговъ. Но, конечно, болѣе всего благотворное, образующее вліяніе на развитіе ума и таланта

¹⁾ Платонъ Антоновичъ Жакино, родомъ изъ Эльзаса, служилъ преподавателемъ французскаго языка при Сухопутномъ Кадетскомъ корпусѣ. — ²⁾ Рѣчь эта, по желанію Жакино, была напечатана, и составляетъ теперь библиографическую рѣдкость.

Батюшкова долженъ былъ оказывать самъ М. Н. Муравьевъ, какъ моралистъ и образованный писатель, а также и кружокъ литераторовъ и художниковъ, который постоянно собирался въ его домѣ; здѣсь встрѣчался Батюшковъ съ И. И. Мартыновымъ, нашимъ талантливымъ и неутомимымъ переводчикомъ древнихъ классиковъ; здѣсь же познакомился онъ и съ А. Н. Оленинымъ, а черезъ него и съ большою частью современныхъ петербургскихъ литераторовъ—Озеровымъ, Капнистомъ, Крыловымъ, Шаховскимъ и друг.

Въ 1806 г. Батюшковъ, окончивъ ученіе, былъ зачисленъ на службу въ канцелярію министра народнаго просвѣщенія, а вскорѣ послѣ того опредѣленъ письмоводителемъ къ своему же дядѣ, М. Н. Муравьеву, какъ товарищу-министра. Само собою разумѣется, что эта служба была только чисто-номинальною, и 19-ти-лѣтній Батюшковъ, по замѣчанію его биографа, „все время свое исключительно посвящалъ занятіямъ литературнымъ“. Уже въ 1805 г. въ „Сѣверномъ Вѣстникѣ“ — журналѣ Мартынова — и въ „Новостяхъ Литературы“, которыя издавалъ Побѣдоносцевъ, встрѣчаются мелкія стихотворенія Батюшкова. Но въ 1806 году объявлена была война Франціи, и русская молодежь, увлекаемая особеннымъ патріотическимъ жаромъ и озлобленіемъ противъ французовъ, массою бросилась въ ряды войска... Въ ноябрѣ 1806 года изданъ былъ извѣстный манифестъ о милиціи, которой у насъ еще никогда прежде не бывало, и въ которомъ всѣ слышали энергическій призывъ къ поголовному вооруженію на общаго врага. Батюшковъ записался въ стрѣлковый батальонъ С.-Петербургскаго ополченія и въ началѣ 1807 года уже находился на театрѣ военныхъ дѣйствій. Юношу-поэта ожидало тамъ, въ его стремленіяхъ къ военной славѣ, жестокое разочарованіе: въ битвѣ подъ Гейльсбергомъ¹⁾, — гдѣ „главнѣйшая причина русской неудачи заключалась въ безпорядкѣ отдѣльныхъ распоряженій по снабженію войскъ“²⁾, — пуля пробила ногу Батюшкову, и эта рана едва не стоила ему жизни, потому что и онъ также находился въ числѣ того множества русскихъ ране-

ныхъ, которыми „былъ покрытъ берегъ Нѣмана“, и которые „валялись безъ призора на сыромъ пескѣ и подъ дождемъ“³⁾. Даже и тогда, когда помощь уже была подана ему, положеніе поэта было ужасно: онъ „лежалъ на соломѣ, въ тѣсной лачугѣ, безъ хлѣба, безъ денегъ, въ жестокихъ мученіяхъ“ — такъ сообщаетъ онъ самъ въ своихъ воспоминавіяхъ... Нескоро оправившись отъ раны, Батюшковъ однакоже не охладѣлъ къ военной славѣ, и еще разъ рѣшился попытать счастья: въ 1808—1809 г. имъ видимъ его опять на войнѣ, въ Финляндіи, гдѣ онъ между прочимъ участвовалъ въ опасномъ походѣ на Аландскіе острова, по льдамъ Ботническаго залива. Любопытною чертою для характеристики нашего тогдашняго военного типа можетъ служить то, что въ глубинѣ Финляндскихъ дебрей, среди тревожной бивачной жизни, Батюшковъ занимался изученіемъ Тасса и Петrarки, сочиненія которыхъ, по его настоятельной просьбѣ, были ему посланы Оленинымъ.

Тотчасъ по окончаніи войны, Батюшковъ покинулъ военную службу и поселился въ Москвѣ, куда въ то время пріѣхала и овдовѣвшая Е. Ѳ. Муравьева. Здѣсь сошелся онъ съ важнѣйшими представителями Московскаго литературнаго кружка — съ Карамзинымъ и Дмитріевымъ, и съ окружавшею ихъ молодежью: Жуковскимъ, Д. В. Дашковымъ, П. А. Вяземскимъ — будущими знаменитостями. Батюшковъ, всѣми ласкаемый и превозносимый за свое поэтическое дарованіе, дѣлается однимъ изъ самыхъ ревностныхъ сотрудниковъ Вѣстника Европы, въ которомъ (въ теченіе 1809—1810 г.г.) напечаталъ сначала свою пьесу: Воспоминанія, а потомъ цѣлый рядъ прекрасныхъ (хотя и вольныхъ) переводовъ изъ Парни, Тибулла и Петrarки, сразу доставившихъ Батюшкову, рядомъ съ Жуковскимъ, весьма видное мѣсто въ средѣ молодыхъ литераторовъ. Приверженцы Карамзина приняли его съ распростертыми объятіями и вскорѣ завлекли въ ту нескончаемую полемику, которая позднѣе такъ рѣзко раздѣлила всѣхъ нашихъ литературныхъ дѣятелей на два противоположные

¹⁾ Въ сѣверо-восточной Пруссіи. Битва эта происходила 29-го мая 1807 г. — ²⁾ См. Русс. Арх. 1867 г., стр. 1356. — ³⁾ Тамъ же.

лагеря. Памятникомъ сочувствія Батюшкова молодой литературной партіи осталось намъ его шутивное стихотвореніе: „Видѣніе на берегахъ Леты“ ¹⁾, въ которомъ бойко очерчены и осмѣяны всѣ представители старой литературной школы и сторонники живѣйшій Шишкова.

Съ 1810 г. Батюшковъ снова является въ Петербургъ и даже опредѣляется на службу въ Императорскую публичную бібліотеку, гдѣ А. Н. Оленинъ уже успѣлъ пріютить двухъ пріятелей своихъ, литераторовъ: Крылова и Гнѣдича. Часто посѣщая кружокъ Оленина, печатая стихи свои въ одномъ изъ петербургскихъ журналовъ (въ Цвѣтникѣ, который издавали Никольскій и Измайловъ), Батюшковъ, конечно, не зналъ тяготъ службы и служебныхъ отношеній... Жизнь давалась ему очень легко, и чаще обращалась къ нему лицевою стороною, нежели той изнанкой, которую онъ такъ хорошо узналъ впоследствии, и съ которою никакъ не могъ примириться. Увлекался своимъ талантомъ, возлагая большія надежды на будущее, Батюшковъ и не могъ въ это время выработать себѣ никакого правильного взгляда на жизнь и на свои способности, не могъ и уяснить себѣ своего назначенія. Кружокъ друзей его около этого времени расширился: онъ успѣлъ сблизиться во время этого пребыванія въ Петербургѣ съ Д. Н. Блудовымъ, съ А. И. Тургеневымъ и С. С. Уваровымъ—будущими своими товарищами по Арзамасу. Но не одна дружба — и любовь въ это время улыбалась молодому Батюшкову: онъ полюбилъ, и горячо полюбилъ молодую дѣвушку, которой посвятилъ такъ много прекрасныхъ, чистыхъ и пламенныхъ строкъ... Крѣпко боролся онъ съ этой страстью, стараясь пересилить себя; но страсть не поддавалась его волѣ, какъ видно изъ его прелестнаго стихотворенія: Р а з л у к а, въ которомъ онъ говоритъ, что

Напрасно покидалъ страну моихъ отцовъ,
Друзей души, блестяція искусства;
И въ шумѣ грозныхъ битвъ, подъ сѣнію шатровъ,
Старался усыпить встревоженный чувства!
Напрасно я сѣднѣлъ отъ сѣверныхъ степенъ.

Холоднымъ солнцемъ освѣщенныхъ,
Въ страну, гдѣ Тирась бьетъ излучистой струей,
Сверкая между горъ, Царерой полащенныхъ,
И древнія конты народовъ племена.
Напрасно:—всюду мысль преслѣдуетъ одна
О милой, сердцу незабвенной,
Которой взоръ одинъ лазоревыхъ очей
Всѣ неба на землѣ блаженства отвергаетъ,
И слово, звукъ одинъ, прелестный звукъ рѣчей
Меня мертвить и оживляетъ.

Но это юношеское, эгоистически-счастливое состояніе человѣка, который способенъ заботиться только о себѣ, забывая совершенно объ окружающемъ мірѣ—это душевное состояніе продолжалось для Батюшкова очень не долго. Наступилъ 1812 годъ—и Батюшковъ не устоялъ противъ общей волны... Однакоже поступить на службу онъ могъ только уже въ 1813 г., нѣсколько успокоенный относительно семейства своей благодѣтельницы, Е. Θ. Муравьевой, которую онъ не покидалъ въ теченіе всего нашествія, заботясь о ней, какъ нѣжный сынъ. И когда вся Европа, вслѣдъ за Россіей, поднялась на Наполеона, когда начался увлекательный и романтическій крестовый походъ нашъ за освобожденіе Европы,—„поэтъ снова отдался боевой жизни“, и, находясь при героѣ Раевскомъ, совершилъ всю кампанію 1813 и 1814 года. Особенно памятною для Батюшкова осталась Лейпцигская битва — „битва народовъ“, какъ прозвали ее нѣмцы: — подъ Лейпцигомъ былъ убитъ лучшій другъ его, полковникъ Петинъ, котораго онъ такъ часто вспоминаетъ въ своихъ стихахъ ²⁾... И во время этой шумной, безпокойной военной жизни, которую такъ любилъ Батюшковъ, мы опять застаемъ его за книгами, за работою надъ пополненіемъ своего образованія. „Знаешь-ли новую страсть мою, — нѣмецкій языкъ?“ — пишетъ Батюшковъ изъ Веймара сестрѣ своей въ Вологодскую губернію; — „я нынѣ, живучи въ Германіи, выучился говорить по-нѣмецки, и читаю все нѣмецкія книги. Не удивляйся тому: Веймаръ есть отчизна Гёте, сочинителя Вертера, славнаго Шиллера и Виланда“. Въмѣстѣ съ русской арміей Батюшковъ вступилъ въ Парижъ, и жилъ тамъ

¹⁾ Лета — рѣка забвенія. — ²⁾ Воспоминанію о Петинѣ посвящена прекрасная элегія Батюшкова „Тѣнь друга“.

довольно долго. Дошедшія до насъ письма его изъ Парижа указываютъ на то, что и Батюшковъ, наравнѣ со множествомъ современниковъ своихъ, рѣшительно потерялъ голову въ чадѣ упоенія той славой, которая такъ изобильно увѣнчала лаврами наше оружіе, и тою рыцарскою, безкорыстною борьбою за свободу Европы, которую мы такъ твердо вынесли. Видно, что Батюшковъ и въ это время все еще продолжалъ жить однимъ только настоящимъ, не задумываясь о завтрашнемъ днѣ, да къ тому же и очень легко приходилъ въ восторгъ:

...„Я часто съ удовольствіемъ смотрю“ — пишетъ онъ изъ Парижа Дашкову — „какъ наши казаки безопасно проѣзжаютъ черезъ Аустерлицкій мостъ, любуясь его удивительнымъ построеніемъ; съ удовольствіемъ неизъяснимымъ вижу русскихъ гренадеръ передъ Трапной колоной или у рѣшетки Тюльери, передъ Arc de Triomphe, гдѣ изображены и Ульмъ, и Аустерлицъ, и Фридрихъ, и Іена... Французы дорого заплатили за свою славу, любезный другъ!“

Такимъ же патріотическимъ увлеченіемъ отъзывается вообще все то, что Батюшковъ пишетъ изъ Парижа о пребываніи въ немъ, причемъ называетъ себя „маленькимъ Тибулломъ, или, проще, капитаномъ русской императорской службы, что въ нынѣшнее время важнѣе, нежели бывший кавалеръ или всадникъ римскій (ибо, по словамъ Соломона, „живой воробей лучше мертвого льва“)“...

Изъ Парижа Батюшковъ отправился въ Англію и оттуда, моремъ, въ Стокгольмъ, гдѣ тогда совѣтникомъ посольства находился близкій пріятель Батюшкова, Д. Н. Влудовъ, также собиравшійся ѣхать въ Россію. Здѣсь написана была элегія „На развалинахъ замка въ Швеціи“ и прекрасный отрывокъ Воспомнанія (Я чувствую, мой даръ въ поэзіи погасъ...). Оба эти стихотворенія остаются настолько же памятникомъ пребыванія Батюшкова въ Швеціи, насколько два другія его стихотворенія — „Плѣнный“ и Переходъ черезъ Рейнъ — памятникомъ участія въ кампаніи 1813 — 1814 г.г. Наконецъ, въ первыхъ числахъ іюня 1814 г., Батюшковъ

возвратился въ Петербургъ, пробывъ почти два года за границей, — и странное чувство овладѣло имъ:

Средь ужасовъ земли и ужаса морей,
Влуджая, бѣдствуя, искалъ своей Итаки
Богобоязненный страдалецъ Одиссей;
Столой безтрепетной сходилъ Анда въ праки;
Харибды яростной, подводный Сциллы стогъ

Не потрясли души высокой.

Казалось, побѣдилъ терпѣньемъ рокъ жестокой.
И чащу горести до капли вынулъ онъ:
Казалось, небеса карать его устали

И тихо соннаго домчали

До мѣлыхъ родины давно желанныхъ скалъ;
Проснулся онъ: и что-жъ? отчизны не
позналъ ¹⁾.

Тяжело было Батюшкову увидѣть себя. послѣ долгаго пребыванія на Западѣ Европы, среди русской дѣйствительности; тяжело было вновь привыкать къ русскимъ порядкамъ и обычному теченію русской жизни... въ которой онъ мощно властвовалъ тогда Аракчеевъ...

Батюшковъ, тотчасъ же по пріѣздѣ въ Петербургъ, уже почувствовалъ на себѣ, что „и мы дорого заплатили за свою славу“. утративъ прежнее, наивное отношеніе къ своей дѣйствительности и возвратившись на родину съ идеями и возрѣніями Запада. Тагостное душевное состояніе Батюшкова превосходно выражается въ томъ письмѣ, которое онъ вскорѣ послѣ возвращенія изъ-за границы писалъ къ Жуковскому, въ Бѣлевъ (въ ноябрѣ 1814 года):

...„Какъ мы переѣхались съ онаго счастливаго времени, когда, у дѣвичьего монастыря, ты жилъ съ Музами въ сладкой бесѣдѣ! Не знаю, былъ-ли ты тогда (въ 1809 г.) счастливъ, но я думаю, что это время моеѣ жизни было счастливѣйшее: ни заботы, ни попеченій, ни предвидѣнія! Всегда съ удовольствіемъ живѣйшимъ вспоминаю и тебя, и Вяземскаго, и вечера наши, и споры, и шалости, и проказы. Два вѣка мы прожили съ того благополучнаго времени. Я самъ кружился въ вихрѣ военномъ, и, какъ слабое наѣкомое, какъ бабочка, утратилъ свои крылья“... Затѣмъ, описавъ свои странствованія, поэтъ прибавляетъ: „Вотъ моя Одиссея! Поистинѣ Одиссея! Мы подобны теперь

¹⁾ См. Смирдинское изданіе стихотвореній Батюшкова, II, стр. 66 „Судьба Одиссея“.

Гомеровымъ воннамъ, разсѣяннымъ по лицу земному. Каждого гонить какой-нибудь иститель-богъ... а меня — скука. Самое маленькое дарованіе мое, которымъ подарила меня судьба, конечно, въ гнѣвъ своемъ, сдѣлало мнѣ мучителемъ. Я вижу его бесполезность для общества и для себя. Что въ немъ, мой милый другъ? и чѣмъ замѣню утраченное время? Дай мнѣ совѣтъ, научи меня, наставь меня: у тебя доброе сердце, умъ просвѣщенный! Будь же моимъ вожатемъ! Скажи мнѣ, какъ могу быть полезенъ обществу, себѣ, друзьямъ? Я оставляю службу по многимъ важнымъ для меня причинамъ, и не останусь въ Петербургѣ. Къ гражданской службѣ я не способенъ. Плутархъ не стыдился считать кирпичи въ маленькой Хероней: я не Плутархъ, къ счастью, и не имѣю довольно философіи, чтобы заняться бездѣлками“...

И дѣйствительно, Батюшковъ принимается хлопотать объ отставкѣ, которую, однакоже, ему удастся наконецъ получить не раньше, какъ въ 1816 г. Въ теченіе этого времени, живя въ Каменецъ-Подольскѣ, среди хлопотъ и неприятностей, Батюшковъ уже настолько успѣлъ проникнуться недовольствомъ и какою-то особенною мнительностью по отношенію къ своимъ способностямъ и силамъ, что рѣшился отказаться даже отъ того счастья любви, которое такъ долго носилъ онъ въ сердцѣ...

...„Вы меня критикуете жестоко“ — такъ пишетъ онъ къ Е. О. Муравьевой (изъ Каменца, въ авг. 1815 г.) „и вездѣ видите противорѣчія. Винавать-ли я, если мой рассудокъ воюетъ съ моимъ сердцемъ? Но дѣло о рассудкѣ: я правъ совершенно. Ни отсутствіе, ни время меня не измѣнили. Если Всевышній не отниметъ отъ меня руки мысли, то я все буду мыслить по старому: не пожертвую никѣмъ для собственныхъ выгодъ... Шестью тысячами жить невозможно въ столицѣ! если бы и возможно было, то я не могу и долженъ огорчить батюшку и навлечь на себя его гнѣвъ... Но и это въ сторону: важнѣйшее препятствіе въ томъ, что я не долженъ жертвовать тѣмъ, что мнѣ всего дороже. Я не стѣю ея, не могу сдѣлать ее счастливою

съ моимъ характеромъ и съ маленькимъ состояніемъ. Это такая истина, которую ни вы, ни что на свѣтѣ не побѣдитъ, конечно... Кто любить, тотъ гордъ. Что касается до службы, до выгодъ ея, то Богъ съ ними, съ ней! Для чего буду я теперь искать чиновъ и денегъ, которые меня не сдѣлаютъ счастливымъ? А искать чины и деньги для жены, которую любишь? Начать жить подъ одною кровлею въ нищетѣ, безъ надежды — нѣтъ, не соглашусь на это, и согласился бы, если бы я только на себя основалъ свои наслажденія. Жертвовать собою позволено, жертвовать другимъ — могутъ одни злые сердца. Оставимъ это на произволъ судьбы. Жизнь не вѣчность, къ счастью нашему, и терпѣнію есть конецъ“.

Выйдя въ отставку, Батюшковъ былъ снова зачисленъ почетнымъ бібліотекаремъ въ Публичную бібліотеку и ревностно занялся литературой. Въ теченіе всего 1816 года много его стиховъ и прозаическихъ статей помѣщалось и „Вѣстникъ Европы“, и въ „Сынѣ Отечества“. Въ концѣ того же года принялся онъ и за изданіе полного собранія своихъ сочиненій, которое окончено было уже только осенью 1817 г., также проведеннаго имъ въ Петербургѣ, среди родни своей и друзей-Арзамасцевъ, въ числѣ которыхъ Батюшковъ встрѣтилъ своего и тогда уже опаснаго соперника, 18-лѣтняго юношу — Пушкина. Вскорѣ, однакоже, смерть отца отвлекла его отъ беззаботной столичной жизни и отъ литературной дѣятельности: — ему пришлось ѣхать въ деревню, хлопотать объ устройствѣ дѣлъ своихъ, и этими хлопотами онъ окончательно успѣлъ разстроить свое и безъ того уже слабое здоровье. Болѣе и болѣе поддаваясь недовольству собою и всѣмъ, что его окружало, онъ впадаетъ въ тревожное состояніе духа, въ которомъ по его собственному выраженію:

Онъ осужденъ искать... чего — не знаетъ самъ ¹⁾.

Заботы о поправленіи здоровья вынуждаютъ его къ новымъ хлопотамъ: черезъ А. И. Тургенева онъ ищетъ возможности получить мѣсто при нашемъ посольствѣ въ Неаполь... Почти весь 1818 годъ проходить въ разъѣздахъ то въ Петербургъ и

¹⁾ „Страстнователь и домохозяинъ“ — см. Соч. Батюшкова (Смирдинское изд.) II, 216.

Москву, то въ Вологодское имѣніе, то на Югъ, въ Одессу, и опять на Сѣверъ... Наконецъ, въ ноябрѣ 1818 г. Батюшковъ получаетъ то мѣсто, котораго такъ долго добивался, и отправляется въ Италію, въ самомъ мрачномъ настроеніи:

„Я знаю Италію, не побывавъ въ ней“—пишетъ онъ А. И. Тургеневу, незадолго до отъѣзда. „Тамъ не найду я счастья: его нигдѣ нѣтъ: увѣренъ даже, что буду грустить о снѣгахъ родины и о людяхъ мнѣ драгоценныхъ... Но первое условіе жить, а здѣсь холодно, и я умираю ежедневно. Вотъ почему желалъ Италію и желаю. Умереть на батарее прекрасно; но, въ 30 лѣтъ, умереть въ постелѣ—ужасно“... Поэтъ, конечно, не предвидѣлъ еще тогда, что въ ближайшемъ будущемъ его ожидаетъ нѣчто гораздо

болѣе ужасное. 1820 годъ былъ послѣднимъ въ его авторской дѣятельности. Возвратившись въ Россію въ 1822 году, онъ уже былъ подверженъ умственному разстройству¹⁾, и скорѣй окончательно помѣшался... Отвезенный родными въ Вологду, несчастный Батюшковъ прожилъ здѣсь еще тридцать три года въ совершенно безсознательномъ состояніи и умеръ въ 1855 году. Недавно (1887 г.), полное собраніе сочиненій К. Н. Батюшкова издано его роднымъ братомъ Помншемъ Николаевичемъ Батюшковымъ вмѣстѣ съ полнымъ собраніемъ его писемъ и обстоятельною біографіею, составленною Л. Н. Майковымъ. 23 ноября 1887 г. Академія Наукъ, въ торжественномъ засѣданіи, чествовала столѣтній юбилей рожденія Батюшкова.



¹⁾ Помѣшательство это, помимо всѣхъ особыхъ поводовъ и причинъ, было послѣдственнымъ родовымъ болѣзнью для К. Н. Батюшкова: его мать и любимая сестра также умерли въ помѣшательствѣ.

XIV.

Значеніе Крылова. — Біографія его. — Крыловъ, какъ сатирикъ и журналистъ. — Крыловъ и Карамзинъ. — Крыловъ, какъ писатель народный. — Значеніе „морали“ въ баснях Крылова.

Въ концѣ XVIII вѣка среди русскихъ писателей вдругъ явился писатель, который положительно не могъ быть отнесенъ къ тому періоду, среди котораго онъ жилъ и дѣйствовалъ, не начиналъ собою и новаго періода, потому что не находилъ себѣ подражателей и послѣдователей, и такимъ образомъ создалъ себѣ положеніе совершенно исключительное: — самъ по себѣ, особнякомъ со своею славою, смѣло и настойчиво занялъ онъ свое высокое мѣсто и по достоинствамъ своимъ сохранилъ его въ памяти и уваженіи многихъ послѣдующихъ поколѣній. Такимъ, совершенно исключительнымъ явленіемъ въ нашей литературѣ представляется намъ Крыловъ, котораго имя известно каждому грамотному русскому, а сочиненія приобрѣли для насъ ту популярность и то значеніе, которыми у древнихъ грековъ пользовалась „Одиссея“. Дѣйствительно, Крыловъ, выступившій на литературное поприще почти одновременно съ Карамзинымъ, остался совершенно чуждъ тому направлению, которое Карамзинъ вносилъ въ нашу литературу; не менѣе чуждымъ и почти враждебнымъ выказалъ онъ себя по отношенію къ возникшему впоследствии романтизму, въ лицѣ двухъ различныхъ представителей этого новаго направленія — Жуковского и Пушкина. Переживши два литературныхъ періода — Карамзинскій и Пушкинскій — Крыловъ остался въ сторонѣ отъ общаго теченія литературной жизни нашей, и, не вторя никому, никого не увлекая за собою, бесспорно, занялъ въ литературѣ мѣсто выше всѣхъ предшествовавшихъ ему и современныхъ писателей, — сталъ рядомъ и съ Карамзинымъ, и съ Пушкинымъ.

Иванъ Андреевичъ Крыловъ (род. 1768 г., ум. въ 1844 г.) хотя и родился въ Москвѣ, однакоже первые годы дѣтства, почти до 8-ми-лѣтняго возраста, провелъ на крайнемъ Востокѣ Россіи, въ Оренбургѣ, гдѣ отецъ его, армейскій офицеръ, находился на службѣ. Андрей Прохоровичъ Крыловъ былъ, повидимому, человекъ весьма способный и толковый, потому что во время Пугачевщины, когда всѣ растерялись и не знали, что дѣлать, онъ выказалъ замѣчательное мужество, рѣшимость и распорядительность, и тѣмъ не мало способствовалъ спасенію Яицкаго городка отъ ужасовъ, ожидавшихъ его при сдачѣ самозванцу. Послѣ Пугачевщины, отецъ Крылова, справедливо оскорбленный невниманіемъ къ его заслугамъ, перешелъ въ гражданскую службу и поселился на родинѣ своей, въ Твери. Въ Мѣсяцесловѣ 1778 г. Андрей Прохоровичъ еще показанъ вторымъ предсѣдателемъ губернскаго магистрата, въ чинѣ коллежскаго ассесора. Но въ 1779 году отецъ Крылова скончался, оставивъ жену и сына безъ всякихъ средствъ къ жизни, и объ маленькомъ Иванѣ Андреевичѣ пришлось заботиться одной матери. Марья Алексѣевна Крылова, по счастью, была одною изъ тѣхъ прекрасныхъ русскихъ женщинъ, которыя способны на всякое самопожертвованіе для дѣтей. Несмотря на крайнюю нужду и бѣдность, она не только нашла время и возможность передать сыну своему все, что сама знала, но сумѣла еще отыскать и способы для возможнаго пополненія своихъ недостаточныхъ средствъ ¹⁾. Такъ наприм. известно, что Крыловъ много обязанъ былъ своимъ образованіемъ Николаю

¹⁾ Сохранилось преданіе, будто мать Крылова добывала себѣ прожитіе чтеніемъ канонныхъ и богатыхъ купеческихъ и дворянскихъ семействъ. Чтеніе канонныхъ, въ теченіи шести недѣль по смерти одного изъ членовъ семейства, было въ то время въ обычаѣ въ Твери, не только между купечествомъ, но даже и въ высшемъ дворянскомъ обществѣ. Говорятъ даже, что этому занятію М. А. Крылова была обязана нѣкоторыми связями и знакомствами, которыя впоследствии были полезны ей сыну.

Петровичу Львову (дядя уже известна нам Н. А. Львова), служившему в то время в Твери советником, а потом и председателем уголовной палаты. Благодаря ему Иванъ Андреевич рано ознакомился с французским языкомъ. Но едва-ли не больше всего обязанъ былъ Иванъ Андреевичъ тому сундуку съ книгами, который остался ему чуть-ли не единственнымъ наслѣдіемъ отъ покойнаго отца; быстро исчерпавъ онъ содержаніе этого сундука, и, пристрастившись къ чтенію, при своихъ рѣдкихъ способностяхъ, памяти и воображеніи, онъ очень скоро почувствовалъ въ себѣ охоту къ воспроизведенію того, что было вычитано имъ изъ книгъ. Уже въ 1783 году, лѣтъ 15-ти отъ роду, онъ представилъ первые, довольно изрядные опыты своего будущаго таланта. Но крайняя бѣдность, еще прежде того, когда ему только-что минуло 14-тъ лѣтъ, заставила его поступить на службу; и пришлось ему сначала служить простымъ писцомъ въ калязинскомъ уѣздномъ судѣ, а оттуда вскорѣ перейти въ тверской магистратъ, въ которомъ служилъ до самой смерти его отца. Немного спустя, въ 1783 г., крайняя бѣдность и надежда на полученіе пенсіи побудили Марью Алексѣевну къ переселенію изъ Твери въ Петербургъ. Здѣсь Крыловъ тоже долженъ былъ поступить на службу, и сначала видимъ мы его въ казенной палатѣ, получающаго по 2 руб. ассигнаціей въ мѣсяцъ; потомъ онъ перемѣщается на службу въ Кабинетъ Ея Величества, гдѣ и остается довольно долго. Онъ оставляетъ службу вскорѣ послѣ кончины своей матери (1788 г.), и, полный юношеской энергіи, полный надеждъ на свои силы и успѣхи, исключительно предается дѣятельности литературной.

Мы упоминали выше, что уже отъ 1783 года сохранился намъ первый литературный опытъ Крылова — нѣчто въ родѣ бывшихъ тогда въ модѣ комическихъ оперъ — Кофейнища. Въ этой комической оперѣ, написанной 14-ти-лѣтнимъ мальчикомъ, на нашъ взглядъ гораздо болѣе самостоятельности и таланта, нежели въ ближайшихъ послѣдующихъ, чисто-подражательныхъ, дра-

матическихъ произведеніяхъ Крылова. Слѣдуетъ основываться на томъ, что плутоватый прикащикъ, при помощи Кофейнища (т. е. гадальщицы по кофейной гущѣ, старающейся обмануть свою госпожу-помѣщицу и отбить невѣсту у одного изъ ея крестьянъ, котораго онъ съ этою дѣлюю и обвиняетъ въ воровствѣ; но случай изобличаетъ обманщика, и все кончается къ лучшему. Во всемъ произведеніи есть известная дѣлность, связь между явленіями довольно естественна, а характеръ барыни-помѣщицы (Новомодовой) и плута-прикащика, задуманные и выполненные довольно ловко, свидѣлствуютъ о несомнѣнномъ талантѣ юноши-автора. По сохранившемуся преданію, это первое произведеніе юноши-Крылова чуть было не попало въ печать, такъ-какъ онъ, по пріѣздѣ въ Петербургъ изъ Твери, продалъ свои Кофейнищу книгопродавцу Брейткопфу, который предложилъ за нее Крылову 60 руб. ассигнаціями; но Крыловъ, терпѣвшій во всемъ крайнюю нужду, предпочелъ взять у книгопродавца на ту же сумму французскихъ книгъ, и получилъ въ числѣ ихъ сочиненія Расина, Мольера и Буало. За то лѣтъ пять спустя, въ печать попалъ другой, гораздо менѣе „Кофейнища“ самостоятельный и весьма неудачный опытъ Ивана Андреевича: трагедія „Филомела“, одна изъ двухъ ¹⁾, открывшихъ ему доступъ въ литературный кружокъ Княжнина ²⁾ и другихъ драматическихъ писателей и актеровъ. Молодой Крыловъ, въ кружкѣ Княжнина, сблизился съ издателемъ журнала „Утренніе Часы“ (изд. 1788 г.), капитаномъ Рахманиновымъ, и сталъ въ немъ участвовать, какъ сотрудникъ. Изъ роли сотрудника талантливый юноша очень быстро перешелъ къ роли редактора и въ 1789 г. сталъ издавать свой собственный журналъ — „Почта Духовъ, или ученая, нравственная и критическая переписка арабскаго философа Маликульмука съ водяными, воздушными и подземными духами“. Крыловъ, и послѣ прекращенія „Почты Духовъ“, не думалъ еще покинуть журналистики. Въ 1792 г. онъ сталъ издавать журналъ Зритель, который просущество-

¹⁾ Другую трагедію была „Клеопатра“. ²⁾ Княжнинъ (1742—1791 г.), драматическій писатель, авторъ „Дидоны“ и „Рослава“.

валъ всего 11 мѣсяцевъ, до конца того же года; а въ 1793 году сталъ выходить подъ названіемъ С.-Петербургскаго Меркурія. Оба послѣдніе журнала Крыловъ издавалъ въ сообществѣ съ другимъ, довольно извѣстнымъ драматическимъ писателемъ того времени, Глушинымъ (г. рожд.? ум. въ

1804 г.). Сотрудниками Крылова по изданію „Зрителя“ были весьма извѣстные въ то время писатели-актеры: Дмитревскій и Плавильщиковъ, и Николай Эминъ (сынъ уже извѣстнаго намъ Ѳ. Эмина, издававшего въ 1779 году Адскую Почту), также писавшій для сцены, и Ѳ. Туман-



Гаврила Крыловъ

скій. Крыловъ въ этомъ кружкѣ являлся младшимъ членомъ, и хотя онъ долженъ былъ со временемъ пойти далѣе всѣхъ своихъ сотрудниковъ и приобрести громкую славу, однакоже въ то время Крыловъ замѣтно подчинялся вліянію кружка. Подчиненіе это видно не только въ сочувствіи къ ложно-классическимъ формамъ поэзіи, но еще и въ томъ, что замѣчательный сатири-

ческій талантъ Крылова проявлялся въ формахъ той журнальной сатиры, которая уже давно были исчерпаны Новиковымъ и современными ему журналистами. Болѣе всего рѣзкими и желчными оказываются въ журналахъ Крылова тѣ статьи и стихотворенія его, въ которыхъ онъ касается отношеній дворянства къ крестьянскому сословію и пристрастія русскихъ ко всему иностран-

ному. Съ этой послѣдней точки зрѣнія и Крыловъ, и весь кружокъ, въ средѣ котораго онъ началъ свою журнальную дѣятельность, отнесся крайне враждебно къ европезму Карамзина, къ его попыткамъ преобразованія русскаго литературнаго языка и той критической строгости, съ которою Карамзинъ въ своемъ Московскомъ Журналѣ встрѣчалъ всѣ новыя явленія въ русской литературѣ. Крыловъ въ С.-Петербургскомъ Меркуріи напечаталъ даже „похвальную рѣчь Ермолафиду, говоренную въ собраніи молодыхъ писателей“, — въ которой, выставя Ермолафиду ¹⁾ въ образцы молодымъ авторамъ, подвергаетъ самому грубому осмѣянію всю литературную дѣятельность Карамзина, его слогъ и воззрѣнія.

На сколько несамостоятельно (хоть и остроумно, и весьма талантливо) является журнальная сатира молодого Крылова, на столько же подражательными оказываются его лирическія стихотворенія, помѣщавшіяся въ С.-Петербургскомъ Меркуріи, и его комедіи („Бѣшеная семья“, „Проказники“ и „Сочинитель въ прихожей“), написанныя имъ въ теченіе 1793 и 1794 гг. Нѣкоторые изъ стихотвореній, впрочемъ, важны для біографа потому, что свидѣтельствуютъ о довольно мрачномъ и тяжеломъ нравственномъ настроеніи Крылова за это время: въ нихъ встрѣчаемъ мы жалобы на судьбу, на неудачи, а также и недовольство собою. Самъ Крыловъ, вспоминая уже въ старости объ этомъ періодѣ жизни своей, намекалъ и на журнальныя неудачи свои, и на какія-то „проказы молодости“. Вообще говоря, біографія Крылова, довольно скудная фактами, до сихъ поръ еще представляетъ намъ въ этомъ періодѣ, начиная отъ 1794 года и до конца 1805 г., нѣсколько такихъ темныхъ мѣстъ, которыя и до настоящей минуты остаются для насъ ничѣмъ неосвѣщенными. Знаемъ только, что типографія Крылова съ товарищи была закрыта въ декабрѣ 1796 г., когда, по указу Императора Павла, упразднены были всѣ типографіи, за исключеніемъ состоящихъ въ вѣдѣніи присутствен-

ныхъ мѣстъ. Затѣмъ, съ 1797 г. Крыловъ почему-то вдругъ покидаетъ Петербургъ и является въ провинціи, въ семействѣ князя С. О. Голицына, котораго Императоръ Павелъ выслалъ изъ столицы въ его помѣстья. Въ этихъ-то помѣстьяхъ — Зубриловкѣ (въ нынѣшней Саратовской губ.) и Казацкомъ (Кіевской губ.) — Крыловъ прожилъ около четырехъ лѣтъ, въ довольно неопредѣленной роли домашняго учителя и друга дома, прилагавшаго заботы и къ обученію молодыхъ князей русскому языку, и къ увеселенію всей книжеской семьи... Тутъ устраивалъ онъ небольшіе домашніе концерты и спектакли; тутъ-же, въ Казацкомъ, написалъ онъ свою извѣстную шуто-трагедію „Трумфъ“, въ которой принималъ на себя исполненіе главной роли. Тутъ-же, въ числѣ его учениковъ явился и весьма извѣстный по своимъ воспоминаніямъ Ф. Ф. Вигель, который, хотя и оставилъ въ нихъ весьма неблагопріятную характеристику Крылова, однакожъ о его педагогической дѣятельности отзывается съ большою похвалою. „Не смотря на свою лѣность“ — такъ пишетъ Вигель — „онъ отъ скуки предложилъ кн. Голицыну преподавать русскій языкъ младшимъ сыновьямъ его, а съдѣлать и соучащимся съ ними. И въ этомъ дѣлѣ показалъ онъ себя мастеромъ. Уроки наши проходили почти всѣ въ разговорахъ: онъ умѣлъ возбуждать любопытство, любилъ вопросы и отвѣчалъ на нихъ также толковито, также ясно, какъ писалъ свои басни. Онъ недовольствовался однимъ русскимъ языкомъ, онъ къ наставленіямъ своимъ прижѣшивалъ много нравственныхъ поученій и объясненій разныхъ предметовъ изъ другихъ наукъ. Изъ слушателей его никого не было внимательнѣе меня, и я долженъ признаться, что если имѣю сколько нибудь умъ, то много въ то время около него понабрався“.

По востшествіи на престолъ Императора Александра, опала была снята съ князя Голицына и онъ былъ назначенъ военнымъ губернаторомъ въ Ригу. вмѣстѣ съ тѣмъ и Крыловъ, по желанію князя, опредѣленъ къ нему въ секретаря и въ концѣ того же года награжденъ чиномъ губернскаго секре-

¹⁾ Ермолафидъ — т. е. несушій Ермолафію. Крыловъ, очевидно, разумѣетъ Карамзина.

таря. Но въ этой должности онъ оставался не долго; въ сентябрѣ 1803 года Крылову былъ выданъ кн. Голицынымъ слѣдующій, довольно неопредѣленный аттестатъ:

„Отдавая справедливость прилежанію и

трудамъ служившаго при мнѣ секретаремъ губ. секр. Крылова, сопрягающаго съ расторопностію, съ каковою онъ выполнялъ всѣ на него возложенныя дѣла, какъ хорошее познаніе должности, такъ и отличное пове-



Могилы Крылова и Гяѣдича.

деніе, долгомъ почитаю засвидѣтельствовать симъ, что достоинства его заслуживаютъ вниманія“.

И тотчасъ вслѣдъ за полученіемъ этого аттестата, Крыловъ вдругъ исчезаетъ безслѣдно, и ни одинъ изъ его біографовъ не

можетъ опредѣленно указать, гдѣ именно онъ находился въ теченіе двухъ слѣдующихъ лѣтъ своей жизни—1804 и 1805 года? Предполагаютъ, что въ это время, увлекшись карточной игрой и выигравъ въ Ригѣ довольно большую сумму денегъ (около

30,000 р.), онъ пустился странствовать по Россіи и вѣлъ полукочевую жизнь, безпрестанно переѣзжая, подъ вліяніемъ несчастной страсти къ азартной игрѣ, изъ города въ городъ, съ ярмарки на ярмарку... Но положительныя извѣстія объ этомъ періодѣ жизни Ивана Андреевича до сихъ поръ нѣтъ никакихъ.

Только уже въ концѣ 1806 года Иванъ Андреевичъ вновь выступает ¹⁾ на литературное поприще: онъ является къ И. И. Дмитріеву и приноситъ ему три первыя басни свои, отчасти переведенныя, отчасти переделанныя изъ Лафонтена. Басни эти были: *Дубъ и Трость*, *Разборчивая невѣста*, *Старпекъ и трое молодыхъ*. Дмитріевъ, въ то время уже почти исключительно посвятившій себя этому роду поэзіи, уже прославившійся своими переводами французскихъ басенъ, не могъ не оцѣнить по достоинству этихъ первыхъ произведеній Крылова, въ которыхъ наконецъ явилось у поэта сознаніе истиннаго его назначенія; и Дмитріевъ оцѣнилъ эти басни съ замѣчательнымъ безпристрастіемъ... При очень лестномъ письмѣ его, басни Крылова были пересланы князю Шаликову и напечатаны въ его журналѣ *Московский Зритель*. Съ этой минуты Крыловъ начинаетъ предпочитать басню всѣмъ другимъ родамъ литературы, и слава Крылова, какъ баснописца, стала быстро возрастать, хотя матеріальное и общественное положеніе его оставалось еще въ теченіе нѣкотораго времени довольно неопредѣленнымъ... Въ слѣдующемъ, 1807 году, Крыловъ опять начинаетъ увлекаться театромъ, и, слѣдуя общему патріотическому настроенію современной литературы, въ которой громко высказывалась ненависть къ французамъ и вообще къ иноземцамъ, сочиняетъ двѣ комедіи: *Модная лавка* и *Урокъ дочкамъ*, а потомъ волшебную оперу *Илья-богатырь*.

Только уже въ 1808 году Крыловъ окончательно перестаетъ работать для сцены и уже до конца жизни не пишетъ ничего, кромѣ басенъ. Въ этомъ году является вдругъ

17 новыхъ басенъ Крылова въ *Драматическомъ Вѣстникѣ*—новомъ журналѣ нашего плодовитаго драматурга кн. Шаховскаго. Въ томъ же году поступаетъ онъ снова на службу, сначала при Монетномъ департаментѣ, а потомъ (въ началѣ 1812 г.) переходитъ въ Публичную бібліотеку.

И успѣхи, и слава Крылова съ этой минуты начинаютъ возрастать такъ быстро, что за ними ужъ трудно и услѣдить, не обращая біографію знаменитаго баснописца въ простой формулярный списокъ... Достаточно будетъ замѣтить здѣсь, что съ самаго основанія „Бесѣды любителей русскаго слова“, Крыловъ, какъ завѣдомый противникъ карамзинскихъ нововведеній въ русскомъ литературномъ языкѣ и слоги, былъ, конечно, занесенъ въ число первыхъ членовъ „Бесѣды“, а въ декабрѣ 1811 года секретарь Россійской Академіи, препровождалъ къ Крылову дипломъ на званіе дѣйствительнаго ея члена, уже писалъ къ нему, что „сочиненія его служатъ истиннымъ обогащеніемъ и украшеніемъ словесности Россійской“... Вскорѣ послѣ того, политическія басни Крылова, вызванныя событіями 1811 и 1812 г., придаютъ такую популярность и значеніе его литературной дѣятельности, что съ февраля 1812 года, по Высочайшему указу, Крылову начинаютъ производить изъ Кабинета пенсіонъ по 1,500 р. въ годъ, и онъ вступаетъ въ плеяду придворныхъ поэтовъ и либреттистовъ, которую такъ любила видѣть около себя и осыпать своими милостями Императрица Марія Ѳеодоровна.

Вообще говоря, съ того времени, когда Крыловъ поступилъ на службу въ Императорскую бібліотеку подъ ближайшее начальство своего покровителя и друга А. Н. Оленина, у котораго онъ былъ принятъ въ домъ какъ родной—жизнь Крылова принимается такое ровное теченіе, что представляется біографу лишенною даже и съ фактической стороны какого бы то ни было разнообразія. Всѣ свидѣтельства современниковъ сводятся къ тому, что съ 1812 и по 1841 г. Иванъ Андреевичъ служилъ, зани-

¹⁾ Рассказываютъ, что первая попытка переводить Лафонтеновы басни сдѣлана была Крыловымъ еще въ 1781 г., и многіе знатоки тогда уже ободрали юношу къ посвященію своей дѣятельности этому поэтическому роду... Но его увлекалъ театръ, и онъ обратился къ произведеніямъ драматическимъ.

мая въ библіотекѣ очень нехлопотливую и неголовомную должность и проводя въ должности большую часть дня; что онъ былъ вѣрнымъ и неизмѣннымъ членомъ англійскаго клуба, въ которомъ постоянно

обѣдалъ, и что большую часть своихъ вечеровъ онъ проводилъ среди семьи Алексѣя Николаевича и Елизаветы Марковны Олениныхъ, въ которой весьма естественно искалъ пріюта, какъ человѣкъ холостой и



Памятникъ Крылову въ Лѣтнемъ саду.

притомъ неохотно заводившій новыя знакомства. Если къ этому прибавить, что на досугъ Крыловъ писалъ басни, въ которыхъ очень рѣдко касался важныхъ общественныхъ вопросовъ, а больше разрабатывалъ

вопросы отвлеченные, нравственные; если еще припомнить, что въ теченіе сорока лѣтъ (съ 1805—1844) Крыловъ написалъ этихъ басенъ около двухъ-сотъ — то этимъ уже вполне исчерпывается вся немногосложная

фактическая сторона его биографіи по отношенію ко второй, наиболѣе важной половинѣ его жизни. Всѣ свидѣтельства современниковъ одинаково рисуютъ намъ Крылова въ этотъ періодъ его жизни человекомъ лѣнивымъ и неповоротливымъ, неприхотливымъ по отношенію къ жизни, неряшливымъ и даже неопрятнымъ въ одеждѣ и домашнемъ своемъ быту; всѣ одинаково представляютъ Крылова человекомъ, который любилъ только хорошо поѣсть и проводилъ все свободное отъ службъ время на диванѣ, преимущественно „халатнымъ образомъ“, какъ выражается Гоголь. Но что-же привлекало къ Крылову всѣхъ современниковъ? что способствовало его прославленію и поставило его въ высокое положеніе, о которомъ онъ самъ менѣе всего заботился?...

Единственнымъ возможнымъ объясненіемъ его значенія, единственнымъ отвѣтомъ на вышеприведенный нами вопросъ, можетъ быть только одно: въ Крыловѣ всѣ поклонники и даже враги его сознавали и чувствовали такую могучую силу, какой не было ни въ одномъ изъ его предшественниковъ на литературномъ поприщѣ. Этою силою звучало каждое слово его коротенькихъ, тщательно отдѣланныхъ басенъ, каждый образъ, выводимый въ нихъ поэтомъ-художникомъ, каждый звукъ его вполне русской, словно выкованной рѣчи, — и эта сила была ничто иное, какъ народность, въ смыслѣ тѣснѣйшей, прирожденной связи съ русской народной почвой, съ русской дѣйствительностью, съ понятіями, воззрѣніями и даже убѣжденіями массы русскаго народа. Чѣмъ больше мы вглядываемся въ басни Крылова, тѣмъ болѣе мы начинаемъ убѣждаться въ ихъ несомнѣнномъ, почти родственномъ сходствѣ съ тѣми произведеніями народной мудрости, которыя выражаются у народа въ видѣ поговорокъ, присловій, пословицъ, былей. Указывая на эту сторону крыловской басни, мы не можемъ не привести здѣсь того замѣчательнаго отзыва о ней, который былъ помѣщенъ академикомъ Гротомъ въ его очеркѣ „Литературная жизнь Крылова“. Онъ указываетъ тамъ, что, „между родами поэзіи, перешедшими на рус-

скую почву съ Запада въ XVIII столѣтіи басня всѣхъ болѣе полюбилась нашимъ писателямъ“... „Изъ всѣхъ родовъ новѣи въ русской литературѣ, до сихъ поръ только басня, благодаря Крылову, сдѣлалась въ полной мѣрѣ органомъ народности, и по духу, и по языку. Причины такого явленія должно искать въ томъ, что басня и по сущности своей, и по формѣ особенно соответствуетъ свойствамъ народнаго духа. Для нея именно нуженъ и практическій смыслъ, и простодушная замысловатость, и охота изъясняться притчами и пословицами, которыя такъ преобладаютъ въ русскомъ народѣ. Если самъ Крыловъ едва не до сорокалѣтняго возраста удерживался отъ художественной басни, то это можно объяснить только его сильными сатирическими талантомъ, который долго искалъ себѣ болѣе прямого и открытаго выраженія. Это преобладающее свойство его духа придало и баснямъ его особенное значеніе. Какъ скоро оказалось, что только въ формѣ басни для него возможно исполнѣть успѣшное сочетаніе художественнаго дарованія съ проявленіемъ глубоко-сатирическаго ума, то онъ не могъ не предпочесть ее всякой другой формѣ поэзіи. Изъ всѣхъ русскихъ писателей у одного Крылова соединились въ высшей мѣрѣ тѣ условія, которыя могутъ сообщить баснѣ истинно-глубокое содержаніе. У другихъ писателей басня почти всегда только словесная игрушка; у него она — дѣло, полное жизни и значенія“¹⁾.

Нѣсколько далѣе, стараясь охарактеризовать литературную дѣятельность Крылова сравненіемъ съ дѣятельностью другаго замѣчательнаго писателя нашего, Ломоносова, академикъ Гротъ высказываетъ слѣдующее:

„Проведя свое дѣтство на Уралѣ, а потомъ въ одной изъ приволжскихъ губерній. Крыловъ почерпнулъ первыя умственныя приобрѣтенія свои почти изъ той же сокровищницы, какъ Ломоносовъ; народный бытъ и народный языкъ сдѣлались для обоихъ источниками драгоценныхъ для будущей ихъ дѣятельности знаній и образовъ“.

И дѣйствительно, въ произведеніяхъ Крылова не знаешь, чему болѣе удивляться:

¹⁾ Я. Б. Грота: „Литературная жизнь Крылова“, стр. 17—18.

глубокому-ли пониманію народнаго быта во всѣхъ его оттѣнкахъ и подробностяхъ, или тому языку, который составляетъ до сихъ поръ исключительную, личную принадлежность одного Крылова, потому что подражать этому языку, не обладая гениемъ Крылова, невозможно. А языкъ Крылова оказывается именно стоящимъ въ тѣснѣйшей связи съ его гениемъ, такъ какъ онъ — первый въ числѣ русскихъ писателей — рѣшился говорить къ нашему обществу, изнѣженному гармонической, развѣренной прозой Карамзина, своимъ простонароднымъ, нѣсколько грубоватымъ, но за то энергическимъ, сильнымъ языкомъ, не заключающимъ въ себѣ никакихъ чуждыхъ примѣсей и никакихъ исключительно-книжныхъ элементовъ.

Одинъ изъ современниковъ (Ф. Ф. Вигель) очень вѣрно замѣчаетъ, что „въ простомъ языкѣ своемъ изъ простыхъ наречій (народа) схватилъ онъ все, что показываетъ его глубокомысліе, и безъ лишннихъ украшеній, безъ приправы составилъ изъ нихъ оригинальныя свои творенія: такъ славный поваръ, и изъ простыхъ, но самыхъ свѣжихъ припасовъ, готовитъ вкусный столъ, который можетъ удовлетворить прихотямъ взыскательнѣйшаго гастронома“. Любопытною чертою, особенно ярко-характеризующею Крылова, какъ писателя истинно-гениальнаго, представляется намъ то, что онъ въ своихъ басняхъ является писателемъ вполне самостоятельнымъ, независимымъ ни отъ одного изъ направлений, господствовавшихъ въ ту пору въ нашей литературѣ. Въ то время, когда всѣ его современники раздѣлились по отношенію къ направлению и литературному выраженію мысли на два лагера, изъ которыхъ одинъ безусловно увлекался карамзинскимъ реформамъ въ русскомъ языкѣ и слоги, другой упрямо старался отстоять уваженіе къ ложно-классическимъ формамъ и тяжелому, полу-русскому, полу-славянскому языку ломоносовскаго періода — Крыловъ, не приставаая ни къ той, ни къ другой сторонѣ, въ послѣдній періодъ литературной дѣятельности, пошелъ своимъ, особымъ, новымъ путемъ и всѣмъ указалъ на одинъ изъ важнѣйшихъ элементовъ каждой вполне развѣтой и богатой литературы: — на элементъ народности и въ духѣ, и въ направленіи, и даже

въ языкѣ, который, оставаясь въ его произведеніяхъ вполне народнымъ, приобрѣталъ подѣ влияніемъ его личнаго творчества еще болѣе силы и выразительности.

Вообще крупная, самостоятельная и оригинальная личность Крылова заключала въ себѣ столько живыхъ, чисто-народныхъ, русскихъ сторонъ, такъ тѣсно и неразрывно связана была съ нашею народною почвой, что даже и послѣ смерти его, когда зашла рѣчь о памятникѣ Крылову, ни одному изъ русскихъ художниковъ не пришло въ голову представить его въ классической позѣ, съ лирой въ рукахъ, или окружить его тѣми ложно-классическими атрибутами, которые видимъ не безъ удивленія на памятникахъ Ломоносова, Державина и Карамзина. Пренебрегая всѣми классическими традиціями, художникъ изобразилъ Крылова на памятникѣ сидящимъ, въ простой, свободной и небрежной позѣ, которая была такъ свойственна ему при его тучной, неповоротливой и неуклюжей фигурѣ — и памятникъ „дѣдушки Крылова“ въ Лѣтнемъ саду явился на столько же первымъ народнымъ памятникомъ русскому поэту, на сколько самъ Крыловъ, въ своихъ высокохудожественныхъ басняхъ, явился первымъ, вполне народнымъ русскимъ поэтомъ.

Вспоминая, въ заключеніе біографіи Крылова, о его памятникѣ, мы не можемъ, конечно, упустить изъ виду и того превосходнаго отрывка изъ „Воспоминаній“ И. С. Тургенева, въ которомъ удивительно живо и полно передается впечатлѣніе, вынесенное Тургеневымъ изъ его свиданія съ нашимъ гениальнымъ баснописцемъ:

„Крылова я видѣлъ всего одинъ разъ, на вечерѣ у одного чиновнаго, но слабаго петербургскаго литератора. Онъ просидѣлъ, часа три слиткомъ, неподвижно, между двумя окнами — и хоть бы слово промолвилъ! На немъ былъ просторный, поношенный фракъ, бѣлый шейный платокъ; сапоги съ кисточками облекали его тучныя ноги. Онъ опирался обѣими руками на колѣни — и даже не поворачивалъ своей колоссальной, тяжелой и величавой головы; только глаза его изрѣдка двигались подѣ нависшими бровями. Нельзя было понять: что онъ — слушаешь-ли и на усъ себѣ мотаешь, или просто такъ сидитъ и „существуетъ“? Ни сонливости, ни вниманія въ этомъ общирномъ, прямо-

русскомъ лицѣ — а только ума палата, да заматерѣлая лѣнь, да по временамъ что-то лукавое словно хочетъ выступить наружу и не можетъ или не хочетъ — пробиться сквозь весь этотъ старческій жиръ... Хозяинъ наконецъ попросилъ его пожаловать къ ужину. „Поросенокъ, подь хрѣномъ для васъ приготовленъ, Иванъ Андреевичъ“, — замѣтилъ онъ хлѣботливо и какъ бы исполняя неизбежный долгъ. Крыловъ посмотрѣлъ на него не то прिवѣтливо, не то насмѣшливо. „Такъ-таки непремѣнно поросенокъ?“ — казалось, внутренно промолвилъ онъ — грузно всталъ и, грузно шаркая но-

гами, пошелъ занять свое мѣсто за столомъ“.

Мы должны признаться, что этотъ небольшой отрывокъ кажется намъ болѣе существеннымъ и важнымъ для біографіи Крылова, нежели многія и многія страницы, посвященные его характеристикѣ...

Крыловъ умеръ 9 ноября 1844 года, следовательно почти шесть лѣтъ спустя послѣ того, какъ отпразднованъ былъ пятидесятилѣтній юбилей его литературной дѣятельности (3 февраля 1838 г.); онъ похороненъ въ Александро-Невской лаврѣ, рядомъ съ другомъ своимъ, Гнѣдичемъ.





ПЕРІОДЪ ВОСЬМОЙ.

ОТЪ ПУШКИНА ДО НОВѢЙШАГО ВРЕМЕНИ.

XV.

А. С. Пушкинъ. — Дѣтство и воспитаніе на французскій ладъ. — Пробываніе въ Лицеѣ. — Пушкинъ и Жуковскій. — Первые произведенія юноши-поэта и его изгнаніе. — Пробываніе на югѣ и байронизмъ. — Житіе въ деревнѣ. — Эпоха наступленія сознательнаго творчества. — Періодъ колебаній и сомнѣній. — Пушкинъ и общество тридцатыхъ годовъ. — Значеніе Пушкина какъ поэта народнаго.

Въ русской литературѣ въ царствованіе Александра I видимъ явленіе, одновременно совершавшееся въ литературѣ всѣхъ европейскихъ народовъ, а именно — борьбу двухъ литературныхъ школъ: классической и романтической. Не мѣшаетъ замѣтить, что эта борьба не ограничивалась одними предѣлами эстетическихъ теорій; вмѣстѣ съ тѣмъ, она проявилась и въ полной переработкѣ литературныхъ нравовъ, идеаловъ, понятій о значеніи писателя и его отношеніи къ обществу. Романтизмъ, вслѣдствіе этого, оказывался понятіемъ весьма сложнымъ. Съ одной стороны, въ романтизмѣ высказывалось желаніе освободить европейскія литературы отъ подчиненія французскому классицизму и выражался переходъ ихъ на почву народности. Съ другой стороны — романтизмъ явился эстетической теоріей независимости творчества отъ какихъ-бы то ни было предвзятыхъ правилъ и инстинкты и

подчиненія поэта исключительно прихоти его вдохновенія. Вмѣстѣ съ тѣмъ, романтики требовали, чтобы поэтъ и въ отношеніяхъ своихъ къ обществу былъ человекомъ въполнѣ свободнымъ и независимымъ: — они сморгѣли на поэта, какъ на пророка, который долженъ возвѣщать міру откровенія своего высшаго вдохновенія.

Пушкинъ, какъ поэтъ, первый сталъ въполнѣ удовлетворять романтическому идеалу. Онъ первый поставилъ русскую поэзію на народную почву; вся слава, которою пользовался онъ при жизни, все обаяніе, которое онъ производилъ на своихъ современниковъ, главнымъ образомъ зависѣли отъ того, что въ своихъ произведеніяхъ онъ отозвался на всѣ мотивы жизни своей родины. Все, что думали, чувствовали, чѣмъ жили и страдали его современники, воспроизведено въ его поэмахъ и пѣсняхъ. Въ то же время не малое обаяніе производилъ Пушкинъ на современни-

ковъ и самою жизнью своею въ молодые годы:—гордый, независимый, полный самобытныхъ причудъ и притомъ гонимый, онъ, казалось, вполне олицетворялъ собою типъ романтическаго поэта въ истинномъ смыслѣ этого слова. Современники видѣли въ немъ русскаго Байрона, и самъ Пушкинъ въ первые годы своей дѣятельности не прочь былъ побайронничать на русскій ладъ. Подъ вліяніемъ произведеній Пушкина, Баратынскаго, Грибоѣдова и прочихъ послѣдователей романтической поэзіи, съ другой стороны подъ вліяніемъ общаго либеральнаго движенія въ царствованіе Александра, романтизмъ не замедлилъ повліять и на внѣшнюю обстановку жизни. Въ то время, какъ въ литературѣ онъ выражался оппозиціей противъ подавляющихъ творчество правилъ ложно-классической поэтики, противъ владычества литературныхъ авторитетовъ; въ жизни — романтизмъ возсталъ противъ стѣсняющихъ чувство и волю условныхъ свѣтскихъ обычаевъ и приличій, противъ практическаго матеріализма и угожденія. Типы Онегина и Чацкаго, гордые, независимые, никому не кланяющіеся, ничего не ищущіе и идущіе своей дорогой, не смотря на толки и сплетни толпы, сдѣлались любимыми идеалами молодежи въ двадцатые годы.

Чрезвычайно любимымъ оказывается еще и то явленіе, что въ эпоху сильнѣйшаго разгара борьбы между классиками и романтиками, сущность романтизма оказывалась для всѣхъ не вполне ясною. Романтики ограничивались только тѣмъ, что потѣшались надъ классиками и шли своей дорогой, выдавая произведеніе за произведеніе. Классики, съ своей стороны, имѣли весьма ограниченное понятіе о романтизмѣ. Они объясняли романтизмъ писаніемъ стихотвореній безъ всякихъ правилъ, утвержденныя вѣками, основанныя на истинномъ вкусѣ и предписанныхъ „безсмертными“ Буало для французовъ, а Горациемъ для всѣхъ образованныхъ народовъ. Въ такихъ стихотвореніяхъ они видѣли верхъ безобразія, нарушеніе всякихъ эстетическихъ законовъ, окончательное паденіе поэзіи. Во время либеральнаго движенія, въ царствованіе Александра I, нападки классиковъ ограничивались чисто-литературнымъ споромъ. Но когда въ концѣ царствованія

Александра началась реакція, романтиковъ стали считать не только нарушителями поэтики Буало, но и опасными вольнодумцами, разрушителями, готовыми ниспровергнуть всѣ общественныя и семейныя основы. Соотвѣтственно такому взгляду на романтиковъ, распространенному въ высшихъ слояхъ общества, въ училищахъ считалось предосудительнымъ читать дѣтямъ произведенія Пушкина, Баратынскаго, Дельвига и проч., какъ безнравственныя и лишеныя эстетическаго значенія. Только уже гораздо позже, въ началѣ 30-хъ годовъ, сущность романтизма была выяснена журнальною критикою, и всѣ мало-по-малу примирились съ романтиками, во главѣ которыхъ сталъ Пушкинъ со своею дивною поэзіею.

Александръ Сергѣевичъ Пушкинъ род. 26 мая 1799 г. (ум. 29 янв. 1837 г.). День рожденія поэта подтверждается его собственнымъ свидѣтельствомъ, къ которому онъ прибавляетъ, что „родился въ Вознесеніе“, и даже подтверждалъ этотъ фактъ тѣмъ, что „праздникъ Вознесенія“ всегда имѣлъ большое значеніе въ его биографіи. Однакоже въ метрической книгѣ московской Богоявленской церкви, что на Елоховѣ, за 1799 г., находимъ слѣдующую записку:

„Мая 27-го, во дворѣ коллежскаго регистратора Ивана Васильевича Шварцова (Шварца?), у жильца его мазора (sic) Сергія Львовича Пушкина родился сынъ Александръ и крещенъ 8 іюня. Восприемниками были графъ Артемій Ивановичъ Воронцовъ; кума мать означеннаго Сергія Пушкина, вдова Ольга Васильевна Пушкина“.

Родъ Пушкиныхъ былъ старинный и происходилъ по прямой линіи отъ боярина Григорія Григорьевича Пушкина, служившаго при царѣ Алексѣѣ Михайловичѣ, а потомъ въ Польшѣ, съ титуломъ намѣстника нижегородскаго (ум. 1656 г.). Мать Александра Сергѣевича, Надежда Осиповна, урожденная Ганнибалъ, также принадлежала къ замѣчательному роду: она была внучкой того Абрама Петровича Ганнибала, знаменитаго крестника и любимаго Петра, который, благодаря Пушкину, сталъ болѣе извѣстенъ подъ именемъ „Арапа Петра Великаго“.

Отецъ поэта, Сергій Львовичъ Пушкинъ, познакомился съ Надеждой Осиповной въ Петербургѣ, гдѣ онъ служилъ въ Измайловскомъ полку. Женившись въ Петербургѣ.

Сергѣй Львовичъ, въ 1798 году, вышелъ въ отставку и переехалъ на житье въ Москву. Вместе съ семействомъ Сергѣя Львовича переехала въ Москву и мать Надежды Осиповны, которая продала принадлежавшее ей въ Псковской губ. имѣнье и на вырученные отъ этой продажи деньги купила

подъ Москвой село Захарьино, верстахъ въ 40 отъ Москвы. Нельзя не упомянуть здѣсь, что въ Москву, вместе съ семействомъ Пушкиныхъ, переселилась и прославленная впоследствии поэтомъ няня его, Арина Родионовна, вынянчившая всѣхъ дѣтей Сергѣя Львовича.



Александр Пушкинъ

Отецъ поэта, Сергѣй Львовичъ Пушкинъ, представлялъ собою, вместе съ братомъ своимъ Василиемъ Львовичемъ (известнымъ арзамасцемъ), образецъ того крайне-непривлекательнаго типа русскихъ французовъ, который мало-по-малу начинаетъ у насъ

выводиться въ настоящее время, а въ то время былъ моднымъ типомъ въ высшихъ слояхъ нашего общества. И Сергѣй Львовичъ, и Василий Львовичъ были люди очень не глупые, обладавшие порядочнымъ запасомъ остроумія и довольно изряднымъ обра-

зованіемъ; но это были люди, исключительно созданные для веселой, шумной, пустой и праздной свѣтской суеты, люди, не знавшие въ жизни никакихъ серьезныхъ интересовъ и цѣлей, чуждые всякихъ заботъ, трудовъ и обязанностей. Обладая порядочнымъ состояніемъ и неистощимымъ запасомъ веселости, оба брата одинаково посвящали свое время удовольствіямъ общества и наслажденіямъ городской жизни и питали врожденное отвращеніе ко всему, что могло нарушить ихъ спокойствіе... На этомъ основаніи Сергій Львовичъ предоставилъ все управленіе дѣлами, все хозяйство и воспитаніе дѣтей женѣ своей, а самъ вполне предался утонченной и веселой свѣтской жизни среди того обширнаго кружка родни и знакомыхъ, въ которомъ онъ являлся душою всѣхъ собраній, домашнихъ спектаклей и всякаго рода семейныхъ и родственныхъ празднествъ, которыми такъ богата была жизнь нашего барства того времени... Можно безъ преувеличенія сказать, что все время Сергія Львовича проходило въ обществѣ и въ эгоистическихъ заботахъ объ успокоеніи и увеселеніи своей особы, а весь умъ и способности его затрачивались на тѣ остроты, калямбуръ и легкіе французскіе стишки, которыми онъ приводилъ въ восторгъ все лучшее московское общество...

Надежда Осиповна, прекрасная собою, умная и энергичная женщина, любила удовольствія и развѣянную жизнь не менѣе всего кружка, среди котораго ей приходилось жить; однакоже гораздо болѣе Сергія Львовича прилагала заботы къ воспитанію дѣтей своихъ, и вмѣстѣ съ матерью своей, Марьей Алексѣевной Ганнибалъ, способна была до нѣкоторой степени оказать на нихъ благотворное вліяніе. Но онѣ не могли изъавить дѣтей Сергія Львовича отъ системы воспитанія, которая тогда была общепринятою во всѣхъ дворянскихъ семействахъ: и Пушкину, выучившемуся грамотѣ у своей бабушки, Марьи Алексѣевны, пришлось заниматься русскимъ языкомъ у какого-то г. Шиллера, а потомъ попасть въ руки разныхъ французовъ, которые на время заставили его забыть о томъ, что онъ русскій. По счастью, до 7-ми-лѣтняго возраста, Александръ Сергѣевичъ не принадлежалъ къ числу дѣтей воспримчивыхъ, горячихъ и бойкихъ. Напротивъ, онъ даже приводилъ

мать въ отчаянье своею флегматическою неповоротливостію. Случалось, что Надежда Осиповна насильно заставляла его играть и бѣгать съ дѣтьми, и мальчикъ убѣждалъ къ бабушкѣ, Марьѣ Алексѣевнѣ, заставлялъ въ ея корзинку и долго смотрѣлъ на ея работу: въ этомъ убѣжденіи ужъ никто не смѣлъ его беспокоить... Отъ бабушки М. А. Ганнибалъ Пушкинъ слышалъ и первые рассказы о старинѣ и семейныхъ преданіяхъ о предкахъ поэта, любимыхъ Петра Великаго: о его Арабѣ (Абрамѣ) и о Ржевскомъ, въ домъ котораго часто бывалъ Петръ въ гостяхъ.

Однакоже французъ-губернеры взяли свое: мальчикъ по десятому году развернулся и хотя не выказывалъ ни малѣйшей охоты къ ученію, но за то набросился на чтеніе съ какою-то болѣзненною страстностію. Не смотря на то, что ни отецъ, ни окружавшіе его нѣмало не препятствовали ему въ удовлетвореніи этой страсти къ чтенію, онъ проводилъ за книгами и дни, и ночи, тайкомъ забираясь въ библіотеку или въ кабинетъ отца своего, и безъ разбора читалъ все, что попадалось ему подъ руку... Немалое вліяніе на развитіе воспримчиваго ребенка должна была оказать и та свѣтская, блестящая обстановка, къ которой П. О. Пушкина старалась приучать сына съ дѣтства, вывозя его на вечера и домашніе спектакли въ гостинныя Трубецкихъ, Бутурлиныхъ, Сумцовыхъ и другихъ представителей современной московской знати. Здѣсь и у себя дома Пушкинъ впервые увидѣлъ и прославленныхъ поэтовъ, и писателей своего времени: Карамзина, Дмитріева и Батюшкова, съ которыми Сергій Львовичъ Пушкинъ находился въ самыхъ близкихъ отношеніяхъ. Быстро и несоразмѣрно развиваясь подъ всѣми этими впечатлѣніями, десятилѣтній Пушкинъ уже сочинялъ дѣтлы шессы для домашней сцены, писалъ подражанія Генріадѣ Вольтера, составлялъ нелишенные остроумія калямбуръ и шарады. Результатомъ французскаго воспитанія было то, что первыми стихами Пушкина были стихи французскіе, въ писаніи которыхъ онъ упражнялся не только дома, но даже и послѣ вступленія своего въ Лицей.

Въ Лицей опредѣленъ былъ Пушкинъ по настоянію уже извѣстнаго намъ А. И. Тургенева, который отклонилъ родителей Александра Сергѣевича отъ намѣренія помѣ-

стить сына въ прославленный Петербургскій Іезуитскій Коллегіумъ, на который тогда всѣ смотрѣли съ особеннымъ уваженіемъ. Лицей, учрежденный въ Царскомъ-Селѣ, былъ дѣйствительно образцовымъ по тому времени воспитательнымъ заведеніемъ. Въ Высочайше утвержденномъ (19 августа 1811 г.) постановленіи о Лицее говорилось, что цѣлью учрежденія его будетъ—образование юношества, „особенно предназначеннаго къ важнымъ частямъ службы государственной“. Лучшіе преподаватели и опытнѣйшіе педагоги призваны были на службу при Лицее, который и помѣщенъ былъ въ флигелѣ, смежномъ съ дворцомъ.

Двѣнадцатилѣтній Пушкинъ, 12 августа 1811 года, выдержалъ вступительный экзаменъ въ Лицей, въ числѣ тѣхъ 33 воспитанниковъ, изъ которыхъ должно было первоначально состоять это заведеніе, и вступилъ на новый путь; на этомъ пути, при помощи благоприятныхъ условий, сопровождавшихъ развитіе юнаго поэта, вскорѣ открылась для него возможность выказать вполне тотъ дивный даръ, которымъ онъ былъ такъ щедро надѣленъ отъ природы. Эти благоприятныя условія заключались преимущественно въ томъ, что въ основу лицейскаго воспитанія положены были высокія нравственныя начала и стремленія.

Самое преподаваніе было основано въ Лицее на чрезвычайно разумныхъ началахъ, какъ это можно видѣть изъ тѣхъ же лицейскихъ отчетовъ за 1812 годъ: „Главнымъ занятіемъ въ первое полугодіе были иностранныя языки; преподаваніе же наукъ: закона Божія, логики, нравственности, исторіи, географіи и математики, ограничивалось только главными началами. Во 2-мъ полугодіи чтеніе образцовъ изъ лучшихъ писателей не ограничивалось только грамматическими объясненіями, но „сопровождается было нѣкоторыми логическими и легкими эстетическими замѣчаніями, дабы вкусъ воспитанниковъ еще вѣрнѣе руководствуемъ былъ къ простому, естественному и язному слову“.

Немало способствовало развитію дарованій Пушкина и тотъ кружокъ товарищей, среди котораго установилась самая тѣсная дружеская связь, сохранившаяся потомъ на всю жизнь. И этотъ товарищескій кружокъ, среди котораго мы видимъ А. М. Горчакова

(впоследствии канцлера), барона М. А. Корфа, А. А. Дельвига, В. К. Кюхельбекера, И. И. Пущина, Корсакова, Данзаса, Маслова, Матюшкина — принесъ много пользы юношѣ-поэту, съ одной стороны, ослабивъ французское вліяніе домашней среды, а съ другой — открывъ свободное и широкое поприще для развитія его поэтическаго дарованія...

Въ лицейскомъ кружкѣ пушкинскаго времени замѣчательною, характеристическою чертою являлась склонность къ литературѣ. Литература была въ Лицее не только любимымъ занятіемъ, но и развлеченіемъ, и даже игрой. Въ тѣсномъ дружескомъ кружкѣ лицейстовъ издавалось нѣсколько рукописныхъ журналовъ („Лицейскій Мудрецъ“, „Для удовольствія и пользы“, „Неопытное Перо“ и т. п.), въ которыхъ всѣ товарищи Пушкина и онъ самъ принимали дѣятельное участіе; а по вечерамъ затѣвалась нерѣдко и довольно замысловатая игра: каждый изъ членовъ товарищескаго кружка обязанъ былъ по очереди разсказать повѣсть или хотя только начать ее; слѣдующій за разсказчикомъ продолжалъ развивать сюжетъ, пополняя его новыми подробностями, и очень часто случалось, что повѣсть заканчивалась только въ устахъ третьяго или четвертаго разсказчика...

И вотъ, среди этого товарищескаго кружка, Пушкинъ, котораго сначала было прозвали въ Лицее французомъ, оставилъ писаніе французскихъ стиховъ и принялся писать стихи по-русски. Началъ онъ съ очень колкихъ эпиграммъ, потомъ перешелъ къ подражанію легкой французской лирикѣ, а наконецъ увлекся и подражаніемъ лучшимъ русскимъ поэтамъ: Державину, Жуковскому, и наконецъ — Батюшкову. Первымъ писаннымъ въ числѣ лицейскихъ его стихотвореній было „Посланіе къ сестрѣ“; за нимъ слѣдовали другія, помѣщавшіяся въ рукописныхъ журналахъ Лицея, и уже въ іюнѣ 1814 г. явились первыя стихотворенія лицеиста Пушкина въ печати: пять стихотвореній его было напечатано въ „Вѣстникѣ Европы“, издававшемся тогда подъ редакцію В. В. Измайлова. Вскорѣ послѣ того стали являться его стихотворенія и въ другихъ журналахъ, и та извѣстность, которую юноша-поэтъ пользовался уже между своими товарищами, быстро

перелетѣла за стѣны Лицея. Карамзинъ и Жуковскій одинаково угадали Пушкина еще на лицейской скамьѣ и поощряли развитіе его поэтическаго дарованія: Жуковскій даже отдавалъ на судъ юноши свои стихотворенія, болѣе добряя замѣчательно-развитому въ немъ поэтическому чутью, нежели своему собственному вкусу, и обыкновенно считалъ дурнымъ, старался исправить тотъ стихъ, который Пушкинъ, при своей необыкновенной памяти, не могъ сразу усвоить и запомнить.

Но родные поэта не такъ скоро поддались обаянію его таланта и долго не рѣшались вѣрить тому, чтобы изъ Александра Сергѣевича могъ выйти человѣкъ замѣчательный, тѣмъ болѣе, что по наукамъ его успѣхи оказывались довольно слабыми и одинъ изъ профессоровъ аттестовалъ его даже такъ: „весьма понятенъ, замысловатъ и остроуменъ, но крайне неприлеженъ“. Только уже послѣ того, какъ стихи молодого Пушкина не только обратили на него вниманіе Державина, Дмѣтріева и Карамзина, но и возбудили удивленіе Жуковского—родные наконецъ рѣшились признать поэтическую дѣятельность Пушкина не простою потерей времени. Даже дядя его Василій Львовичъ (самъ стихотворецъ, хотя и весьма плохой), прочитавъ его посланіе къ Лицинію, порадовался тому, что „Александровы стихи не пахнутъ латынью и не носятъ на себѣ ни одного пятнышка семипарскаго“... Чрезвычайно любопытно то, что самъ Пушкинъ считалъ себя въ это время ученикомъ Жуковского, которому однакоже менѣе всего подражалъ, такъ какъ ему гораздо болѣе была близка, и по духу, и по формѣ, поэзія Батюшкова, далекая отъ туманной мечтательности, тѣсно связанная съ дѣйствительностью и богатая грандіозными образами... Только уже гораздо позднѣе Пушкинъ признавалъ тѣсное родство своихъ лицейскихъ стихотворныхъ опытовъ съ поэзіею Батюшкова и о нѣкоторыхъ своихъ стихотвореніяхъ говорилъ: „люблю ихъ, они отзываются стихами Батюшкова“¹⁾.

Но ему не долго пришлось быть ученикомъ Жуковского и Батюшкова; едва успѣвъ онъ переступить порогъ Лицея, какъ уже вмѣстѣ съ тѣмъ и выступилъ на тотъ новый

путь, по которому вслѣдъ за нимъ пошли многіе, но до него никто не рѣшался идти... Въ іюнѣ 1817 г. Пушкинъ окончилъ курсъ въ Лицѣѣ и вышелъ изъ него 19-мъ ученикомъ. Радужно принятый въ лучшемъ литературномъ кругу, ласкаемый Карамзиннымъ, Жуковскимъ, Гнѣдичемъ, А. И. Тургеневымъ, Оленинымъ, Раевскимъ, Пушкинъ сошелся въ ихъ домахъ съ княземъ П. А. Вяземскимъ и Ѳ. Н. Глинкой и явился однимъ изъ самыхъ младшихъ, но за то и самыхъ дѣятельныхъ членовъ Арзамаса; въ 1818 году, на собраніяхъ Арзамаса и на вечерахъ у Жуковского, онъ уже читаетъ первыя пѣсни Руслана и Людмила, въ которыхъ и Жуковскій и Батюшковъ, и всѣ сколько-нибудь безпристрастные судьи не могли не видѣть явленія новаго и небывалаго у насъ въ литературѣ...

Ново было то, что романтизмъ Пушкина, на сколько онъ успѣлъ и сумѣлъ выказать его въ Русланѣ и Людмилѣ, не имѣлъ ничего общаго съ подражательнымъ и переводнымъ романтизмомъ Жуковского: по справедливому замѣчанію Пыпина, „романтическіе порывы его фантазій обращались къ русской народной жизни, и русская поэзія впервые усвоивала здѣсь истинно-народные мотивы“. Нельзя не добавить здѣсь сверхъ того, что эти народные мотивы явились у Пушкина не въ узкой рамкѣ поэмы, написанной по всѣмъ правиламъ теоріи, а въ формѣ широкаго, свободнаго, поэтическаго разсказа, который способенъ былъ привести въ ужасъ сторонниковъ старой реторической школы неправильностью и непоследовательностью своего теченія, частыми отклоненіями отъ главной нити разсказа и, въ особенности, сатирическими выходами противъ современности вообще и современной литературы въ особенности. Чрезвычайно любопытно однакоже, что старую нашу литературную школу болѣе всего неприятно поразила въ поэмѣ Пушкина именно ея неразрывная связь съ почвою народности и преданій нашихъ. Первое столкновение съ народною почвою въ поэмѣ Пушкина ужасно озадачило нашихъ критиковъ: „Обратите ваше вниманіе на новый ужасный предметъ“... „возникающій посредіи океана Россійской словесности“—воскли-

¹⁾ Такъ говорилъ онъ о своихъ стихотвореніяхъ „Муза“ (Въ младенцествѣ она меня любила).

далъ одинъ изъ критиковъ. „Наши поэты начинаютъ пародировать Кириу Данилова... Просвѣщеннымъ людямъ предлагаютъ поэму, писанную въ подражаніе Еруслану Лазаревичу...“ Далѣе, выписывая и предоставляя на судъ читателей сцену Руслана съ богатырскою головою, критикъ просто приходитъ въ ужасъ: „увольте меня отъ подробнаго описанія“—говоритъ онъ съ негодованіемъ — „и позвольте спросить: если бы въ Московское Благородное Собраніе какънибудь втерся (предполагаю невозможное возможный) гость съ бородою, въ армякѣ, въ лаптяхъ и закричалъ зычнымъ голосомъ: здорово, ребята! Неужели-бы стали такимъ проказникомъ любоваться?... Зачѣмъ допускать, чтобы плоскія шутки старины снова появлялись между нами?“

Но прежде, чѣмъ успѣли явиться первыя критики на Руслана и Людмилу (онѣ явились въ 1820 г.), въ жизни автора ея успѣло совершиться много переизмѣнъ. Поэма эта начата была имъ еще въ Лицѣѣ, потомъ писалась и въ Петербургѣ, и въ Михайловскѣ (небольшомъ имѣніи Пушкиныхъ, въ Псковской губ.), гдѣ онъ проводилъ лѣто, по выходѣ изъ Лицея, и окончена была не ранѣе 1819 г. (а напечатана въ 1820), когда Пушкина уже не было въ Петербургѣ...

Дѣло въ томъ, что, по выходѣ изъ Лицея, пылкій и воспримчивый юноша-поэтъ, вполне предавшійся разсѣянной и даже разгульной жизни, закружился въ вихрь свѣта. Многие не шутя опасались въ это время дурного вліянія подобной жизни на талантъ Пушкина; Батюшковъ, незадолго до отъѣзда въ Италію, писалъ А. И. Тургеневу слѣдующее:

...Сверчокъ что дѣлаетъ? Кончилъ-ли свою поэму? Не худо-бы его запереть въ Геттингенъ и кормить года три молочнымъ супомъ и логикой. Изъ него ничего не будетъ путнаго, если онъ самъ не захочетъ. Потомство не отличить его отъ двухъ однофамильцевъ¹⁾, если онъ забудетъ, что для поэта и человѣка должно быть потомство. Кн. А. Н. Голицынъ московскій промоталъ 20 тысячъ душъ въ 6 мѣсяцевъ. Какъ ни великъ талантъ Сверчка, онъ его промотаетъ, если... Но да спасутъ его Музы и молитвы наши!“

И предчувствіе не обмануло Батюшкова: Музамъ пришлось спасать своего любимца отъ бѣды... Увлекаясь шумными удовольствіями и пустою свѣтскою жизнью, не привыкнувъ еще ни къ какой осторожности, не умѣя во-время умѣрять порывы своей сатирической музы, 20-ти-лѣтній Пушкинъ велъ себя на столько безразсудно, такъ открыто и рѣзко позволялъ себѣ высказываться противъ всего, возбуждавшего его неудовольствіе, что надъ головою его собралась грозная туча... Призванный къ отвѣту петербургскимъ губернаторомъ графомъ Милорадовичемъ, Пушкинъ совершенно откровенно сознался передъ нимъ въ своихъ неосторожныхъ выходкахъ, а когда Милорадовичъ потребовалъ отъ него рукописный экземпляръ его „возмутительныхъ“ стиховъ, то Пушкинъ предложилъ написать ему эти стихи по памяти и исписать ими довольно толстую тетрадь, не утаивъ ничего. Такая благородная искренность тронула Милорадовича, и Пушкина приказано было „спаридить въ дорогу, выдать ему прогоны и съ соответствующимъ чиномъ и соблюденіемъ возможной благовидности—отправить его на службу на Югъ“. Въ числѣ многихъ ходатаевъ за юношу-Пушкина, просившихъ о смягченіи его участи и Государя, и Императрицу Марію Феодоровну, особенно выдѣляется ходатайство директора Лицея Энгельгарда, къ которому разгнѣванный Государь обратился съ разспросами о Пушкинѣ. „Воля Вашего Императорскаго Величества,—отвѣчалъ Энгельгардъ Государю; „вы мнѣ простите, если я позволю себѣ сказать слово за бывшаго моего воспитанника. Въ немъ развитъ необыкновенный талантъ, который требуетъ пощады. Пушкинъ теперь уже—краса современной нашей литературы, а впереди еще больше на него надежды. Ссылка можетъ губительно подѣйствовать на пылкій нравъ молодого человѣка. Я думаю, что великодушіе Ваше, Государь, лучше вразумитъ его!“

Есть основаніе думать, что именно этотъ разговоръ способствовалъ смягченію наказанія, наложеннаго на юношу-поэта... Пушкинъ былъ переведенъ изъ Министерства Иностранныхъ Дѣлъ на службу въ Канцелярію Главнаго Попечителя колонистовъ

¹⁾ Т. е. Василія Львовича и Алексѣя Михайловича Пушкиныхъ.

Южнаго Края; видъ на проѣздъ, выданный Пушкину, вмѣстѣ съ прогонами изъ Коллегии Иностранныхъ Дѣлъ — помѣченъ 5-мъ числомъ мая 1820 года. 6-го мая, въ самое Вознесенье, Дельвигъ и Яковлевъ проводили лицейскаго товарища до Царскаго-Села, и здѣсь простились съ нимъ. Къ вечеру — Пушкинъ уже былъ на пути въ Екатеринославль.

Едва ли можно вполне согласиться съ біографомъ Пушкина, который говоритъ, что „въ промежутокъ времени съ 1820 по 1826 годъ, проведенный поэтомъ сперва въ Кишиневѣ, потомъ въ Одессѣ и наконецъ въ Псковской своей деревнѣ, онъ позналъ, какъ важность своего призванія, такъ и размѣры собственнаго таланта“. Сколько намъ кажется, въ его пребываніи на Югѣ была другая сторона, которая, дѣйствительно, оказала нѣкоторое полезное вліяніе на развитіе его таланта: самая исключительность его положенія, какъ поэта-изгнанника, много способствовала его прославленію и сдѣлала имя Пушкина священнымъ среди всей современной молодежи, а его поэзію облекала особеннымъ обаяніемъ, которое придавало вѣсъ и значеніе каждому слову Пушкина. И это особое отношеніе къ современникамъ, при замѣчательномъ умѣ и гениальной скромности Пушкина, дѣйствительно много способствовало въ немъ развитію его душевныхъ силъ и поддержкѣ той особенной энергіи, которая всегда ослабѣвала въ Пушкинѣ, когда жизнь его принимала мирное и обыкновенное теченіе, среди простой, будничной обстановки, окружающей каждаго простаго смертнаго.

Исключительность положенія Пушкина на Югѣ Россіи въ значительной степени способствовала тому, что онъ въ теченіе всего пребыванія своего на Югѣ (1820 — 1824) поддался вліянію Байрона, въ то время увлекавшаго за собою поэтовъ всей Европы. Вліяніе Байрона, отразившееся въ „Кавказскомъ Пѣвнѣ“, „Бахчисарайскомъ Фонтанѣ“ и отчасти въ „Цыганахъ“ Пушкина, объясняется до нѣкоторой степени тѣмъ положеніемъ изгнанника, которое переживалъ въ это время нашъ поэтъ, и которое его сильно тяготило. Увлеченіе Байрономъ, въ значительной степени, способствовало тому, чтобы и всѣ герои первыхъ поэмъ Пушкина явились совершенно отвлеченными, чисто-

байроновскими, не связанными тѣсно ни съ какой національной или исторической почвой. Даже и „Евгеній Онегинъ“, начатый Пушкинымъ на Югѣ, въ первыхъ главахъ своихъ еще носитъ на себѣ отпечатокъ того байроновскаго типа, который одно время такъ нравился Пушкину и вмѣстѣ съ тѣмъ такъ не удавался ему, какъ поэту, обладавшему преимущественно способностью къ художественному, осязательному воспроизведенію дѣйствительной жизни. Эта временная зависимость отъ Байрона контактируетъ съ 1824 года и не оставляетъ почти никакого слѣда на послѣдующей поэтической дѣятельности Пушкина, который, переселившись на Сѣверъ, и снова увидѣвъ себя на родинѣ, между своими, наконецъ выступилъ на свою настоящую дорогу, съ которой не сходилъ уже до конца жизни...

Во время своего пребыванія на Югѣ Россіи, Пушкинъ велъ жизнь кочевую, странническую. Вскорѣ послѣ пріѣзда своего въ Екатеринославль, онъ заболѣлъ жестокой лихорадкой, и долго-бы пришлось ему съ нею бороться, если-бы счастливая случайность встрѣчи съ семействомъ генерала Раевского не доставила ему возможности побывать на кавказскихъ водахъ. Генералъ Раевскій принялъ юношу-поэта на свое попеченіе, а его сыновья и дочери, вмѣстѣ съ нимъ отправлявшіеся на Кавказъ, окружили Пушкина такими дружескими, родственными заботами, что время, проведенное имъ въ этой семьѣ, осталось для него навсегда однимъ изъ самыхъ пріятныхъ и дорогихъ воспоминаній юности. Пушкинъ отправился на Кавказъ черезъ землю Войска Донскаго, а вернулся съ Кавказа черезъ Тамань и Керчь, причѣмъ объѣхалъ и часть Крыма, въ особенности южный берегъ его. Суровыя красоты кавказской природы навѣяли на Пушкина мысль о поэмѣ, связанной съ Кавказомъ и горами, а классическія воспоминанія, неразрывно связанные съ южнымъ берегомъ Крыма, породили цѣлый рядъ прелестныхъ антологическихъ стихотвореній (Неренда, Доридъ, Доридъ), въ которыхъ Пушкинъ хотя нѣсколько и подражалъ подобнымъ же произведеніямъ А. Шенье, но во многихъ мѣстахъ превосходилъ французскаго поэта силой и граціею своихъ образовъ. Конечнъ 1820 года и начало 1821 — Пушкинъ провѣлъ

въ переѣздахъ изъ Кишинева (куда онъ переселился вслѣдъ за начальникомъ своимъ, генераломъ И. Н. Инзовымъ) въ Кіевскую губернію, гдѣ находилось имѣніе Раевскихъ, Каменка. Въ этомъ-то имѣніи, въ средѣ дружественной поэту семьи, дописанъ былъ въ февралѣ 1821 г. „Кавказскій Пѣтнікъ“, посвященный одному изъ сыновей Раевского. О своей второй поэмѣ Пушкинъ писалъ Дельвигу: ... „кончилъ я новую поэму Кавказскій Пѣтнікъ, которую надѣюсь скоро вамъ прислать, — ты ею не сохтѣишь будешь доволенъ, и будешь правъ. Еще я тебѣ скажу, что у меня въ головѣ бродятъ еще поэмы, но что теперь ничего не пишу; я перевариваю воспоминанія и надѣюсь набрать скорѣй новыя; чѣмъ намъ и жить, дума моя, подъ старость нашей молодости, какъ не воспоминаніями?“

Но однихъ „воспоминаній“, повидимому, въ ту пору юности, Пушкину было недостаточно. Ему нужны были друзья, близкіе, съ которыми бы онъ могъ подѣлиться своими живыми впечатлѣніями, и такихъ-то именно людей Пушкинъ около себя и не видѣлъ на Югѣ. Пушкинъ, живя въ Кишиневѣ, томился одиночествомъ, и это особенно ясно видно изъ письма къ Н. И. Гречу (Кишиневъ, 21 сент. 1821 г.), въ которомъ онъ пишетъ между прочимъ:

„Дельвигу и Гнѣдичу (sic) пробовалъ я было писать — да они и въ усь не дуютъ. Что бы это значило? Если просто забвенье, то я имъ не пеняю: забвенье есть удѣлъ всякаго отсутствующаго; я бы и самъ ихъ забылъ, если бы жилъ съ эпикурейцами, въ эпикурейскомъ кабинетѣ и умѣлъ читать Гомера; но если они на меня сердятся или разочли, что писанья ихъ мнѣ не нужны — такъ плохо“. Въ томъ же письмѣ, въ концѣ, Пушкинъ дѣлаетъ чрезвычайно оригинальное предложеніе Гречу относительно покупки Кавказскаго Пѣтніка: „хотѣлъ-было я прислать вамъ отрывокъ пѣт моего „Кавказскаго Пѣтніка“, да пѣт не переписывать; хотите ли вы у меня купить весь кусокъ поэмы? длиною 800 стиховъ; стихъ шириною 4 стопы; разрѣзано на двѣ пѣсни. Дешево отдамъ, чтобы товаръ не залежался“.

Vale.

Поэмы, бродившія въ головѣ Пушкина, скорѣй и вышли на свѣтъ Божій: то были Бахчисарайскій Фонтанъ и Братья-

разбойники, написанныя въ Кишиневѣ, гдѣ пестрая, совершенно-восточная жизнь смѣшаннаго полуевропейскаго и полуазиатскаго населенія была несомнѣнно способна настронить воображеніе поэта на особый ладъ, подъ который особенно хорошо подходили воспоминанія и впечатлѣнія, выведенныя Пушкинымъ изъ его недавняго путешествія по Крыму. Жизнь поэта въ это время въ Кишиневѣ носила на себѣ тоже какой-то особый, странный, фантастическій отпечатокъ. Его письма, стихотворенія, написанныя имъ за это время, и мѣстные преданія, сохранившіяся о пребываніи Пушкина на Югѣ, согласно рисуютъ намъ періодъ кишиневской его жизни, какъ рядъ увлеченій, страстныхъ порывовъ, юношескихъ проказъ и шалостей и чисто-русскаго, подъ-часъ весьма широкаго удалства, которое добрый И. Н. Инзовъ нерѣдко вынужденъ былъ обуздывать домашними арестами. Впечатлѣнія кишиневской жизни (и въ особенности отношенія къ одной загадочной иностранкѣ, итальянкѣ или гречанкѣ) были на столько сильны, что Пушкинъ призывался къ Кишиневу, и въ послѣдующіе годы жизни много разъ возвращался къ кишиневскимъ воспоминаніямъ въ своихъ лирическихъ произведеніяхъ. Отлучки Пушкина изъ Кишинева, очень частыя, также бывали иногда связаны съ чрезвычайно-оригинальными, поэтическими эпизодами его біографіи: такъ, напримѣръ, мы знаемъ, что въ 1822 г., на пути къ Измаилу, Пушкинъ присталъ къ какому-то цыганскому табору и нѣсколько времени провѣлъ среди „сыновъ степей“, перекочевывая вмѣстѣ съ ними съ мѣста на мѣсто.

И все это, конечно, до нѣкоторой степени способствовало развитію его таланта, возрастанію его поэтической силы и поддержкѣ той постоянной внутренней работы поэта, которую онъ самъ такъ вѣрно описалъ въ своемъ посланіи къ Чаадаеву (1821 года):

Въ уединеніи мой своеправный гевій
Позналъ и тихій трудъ, и жажду размышленій.
Владѣю днемъ моимъ; съ порядкомъ друженъ умъ;
Учусь удерживать вниманье долгихъ думъ;
Ищу вознаградить, въ обѣятіяхъ свободы,
Мятежной младости утраченные годы,
И въ просвѣщеніи стать съ вѣкомъ наравнѣ.

И дѣйствительно, слѣдя внимательно, въ хронологическомъ порядкѣ, за всѣмъ, что написалъ Пушкинъ въ Бессарабіи, мы не можемъ не замѣтить быстрого возрастанія его таланта, который начиналъ проявляться все сильнѣе, ярче и разнообразнѣе. Тамъ были написаны тѣ высокохудожественныя лирическія произведенія, въ которыхъ Пушкинъ является намъ уже мастеромъ и поэтомъ, достигшимъ полной зрѣлости: къ числу подобныхъ произведеній принадлежатъ, конечно, его: „Муза“ (Въ младенчествѣ она меня любила), „Къ Овидію“ и „Наполеонъ“, писанныя въ теченіе 1821 года, и „Пѣснь о вѣщѣ Олегѣ“ (1822 г.), не имѣющая по характеру своему ничего общаго съ предыдущимъ періодомъ поэтической дѣятельности Пушкина. Здѣсь же, въ Бессарабіи, были набросаны первыя строфы Евгенія Онегина, котораго особенно ревностно сталъ писать Пушкинъ послѣ переселенія своего въ Одессу, куда онъ, въ іюлѣ 1823 года, переведенъ былъ на службу къ новому начальнику, графу М. С. Воронцову, которому генералъ И. Н. Инзовъ сдалъ должность новороссійскаго генералъ-губернатора. Пушкинъ былъ зачисленъ въ канцелярію генералъ-губернатора; но и перѣхавъ уже въ Одессу, еще разъ сѣздялъ онъ въ Кишиневъ повидаться съ тамошними своими пріятелями и проститься съ кишиневскими воспоминаніями... „Скоро оставлю благословенную Бессарабію“ — пишетъ Пушкинъ къ Дельвигу; — „есть страны благословеннѣе. Праздный миръ не самое лучшее состояніе жизни... самаго лучшаго состоянія нѣтъ на свѣтѣ; но разнообразіе спасительно для души“...

„Я оставилъ Молдавію и явился въ Европу“ — пишетъ Пушкинъ лѣтомъ 1823 г. къ брату своему. „Ресторациі и итальянская опера напомнили мнѣ старину и, ей Богу, обновили мнѣ душу“. При этомъ поэтъ замѣчаетъ, что, послѣ Кишинева, все еще не можетъ привыкнуть „къ европейскому образу жизни“. И дѣйствительно, характеръ жизни въ тогдашней Одессѣ, ничуть не похожей на нынѣшнюю, долженъ

былъ сильно поражать своихъ европейцами послѣ того полу-восточнаго быта, къ которому поэтъ привыкъ въ Бессарабіи... Вѣроятно, этотъ европейскій образъ жизни и обходился поэту гораздо дороже, потому что съ перваго же шага въ Одессу начинаются въ письмахъ Пушкина къ брату жалобы на недостатокъ въ деньгахъ, и притомъ чрезвычайно своеобразныя: „Изъясни отцу, что я безъ его денегъ жить не могу. Жить перомъ мнѣ невозможно при нынѣшней деурѣ“¹⁾. — такъ пишетъ Пушкинъ; — „ремеслу же столярному я не обучался; въ учителя не могу идти, хотя и знаю законъ Божій и четыре первыя правила — послужу и не по волѣ своей — и въ отставку идти невозможно. Все — и всѣ меня обманываютъ: — на кого же, кажется, и надѣяться, если не на ближнихъ и родныхъ...“ „Крайность можетъ довести до крайности. Мнѣ больно видѣть равнодушіе отца моего къ моему состоянію — хотя письма его очень любезны“.

Главнымъ поэтическимъ трудомъ Пушкина въ Одессѣ былъ „Евгеній Онегинъ“. Первая глава его, вачатая еще весною въ Бессарабіи, была здѣсь окончена въ октябрѣ. Пріатели заставляли его часто или въ задумчивости, или шопирующаго со смѣхомъ надъ строфами „Евгенія Онегина“. Такъ написаны были три главы этого романа: Извѣщая Дельвига о „Евгеніѣ Онегинѣ“, Пушкинъ замѣчаетъ: „Пишу тебѣ новую поэмю, въ которой забалтываюсь донельзя“. Но ему, по счастью, не пришлось продолжать этой новой поэмѣ въ Одессѣ... 8-го іюля 1824 года Пушкинъ былъ уволенъ отъ службы, а 11-го іюля мѣстомъ жительства ему было назначено, въ Псковской губерніи, село Михайловское, нѣвнѣе его матери. Причиной увольненія было то, что Пушкинъ, искренно любившій и уважавшій своего прежняго начальника, И. Н. Инзова, никакъ не могъ привыкнуть къ своему новому начальству, не ладилъ съ порядками канцелярской службы при графѣ Воронцовѣ, и сразу не понравился новому начальнику своимъ образомъ жизни, рѣзкими выходками и слишкомъ свободнымъ отноше-

¹⁾ Первые произведенія Пушкина оплачивались дѣйствительно очень дурно: за Кавказскаго Пашиника получилъ онъ всего 500 рублей и одинъ печатный экземпляръ поэмы!

нѣмъ къ общественному мнѣнію. Результатомъ одесскихъ впечатлѣній Пушкина была довольно извѣстная и очень ѣдкая эпиграмма его („полу-милордъ, полу-невѣжа“), послѣ которой ему, конечно, трудно было оставаться на службѣ въ Одессѣ, а графъ Воронцовъ сталъ подумывать о томъ, чтобы разстаться съ беспокойнымъ подчиненнымъ какъ можно мягче и гуманнѣе.

23 марта 1824 г. гр. Воронцовъ обратился къ управляющему министерствомъ иностранныхъ дѣлъ, графу Нессельроде, прося его доложить Государю о необходимости отозвать Пушкина изъ Одессы, и выставилъ для этого причины, которыя наименѣе могли повредить Пушкину въ мнѣніи правительства.

Къ несчастію Пушкина, это представленіе графа Воронцова пришло въ то самое время, когда двѣ-три легкомысленныя строчки одного изъ его писемъ къ пріятелямъ обратили вниманіе московской полиціи на его письма и возбуждали много толковъ. Пушкина сочли несправивимымъ, уволили въ отставку и рѣшили выслать въ мѣстнѣе его родныхъ, въ Псковскую губ., и подчинить тамъ надзору мѣстныхъ властей, „принявъ на счетъ казны издержки его путешествія до Пскова“. И вотъ, 30 іюля 1824 г., Пушкинъ уже выѣхалъ изъ Одессы на Сѣверъ, получивъ 389 р. прогонныхъ денегъ и 140 р. недоданнаго ему жалованья. Онъ обязанъ былъ подпискою слѣдовать до мѣста своего назначенія черезъ Николаевъ, Елисаветградъ, Кременчугъ, Черниговъ и Витебскъ, нигдѣ не останавливаясь на пути. Самъ Воронцовъ исключилъ изъ маршрута Пушкина Кіевъ.

Пушкинъ, прощаясь съ Югомъ Россіи, написалъ свое превосходное лирическое стихотвореніе — „Къ морю“, въ которомъ вспомнилъ и о другомъ пѣвцѣ, также воспѣвшемъ море — о Байронѣ. Биографъ Пушкина совершенно справедливо замѣчаетъ, что въ этомъ стихотвореніи Пушкинъ прощается съ Байрономъ, котораго вліяніе на Пушкина, начиная съ этого времени, замѣтно ослабѣваетъ. На прощанье, Пушкинъ „посвящаетъ ему послѣднюю свою пѣсню“. Другое направленіе, другое развитіе ожидали его въ Михайловскомъ.

Пушкинъ прѣхалъ въ Михайловское

9 авг. 1824 г. и самъ замѣчаетъ (въ VIII гл. „Евг. Онѣгина“):

...И былъ печаленъ мой прѣздъ
Въ далекій сѣверный уѣздъ...

Прѣздъ былъ точно печаленъ. Послѣ первыхъ изліяній радостной встрѣчи, трусливому отцу Пушкина и легко-воспламеняющейся его супругѣ сдѣлалось страшно за самихъ себя и за остальныхъ членовъ семьи своей, при мысли, что въ средѣ ихъ находится опасный человекъ, преслѣдуемый властями. Дурное мнѣніе властей принято было родителями Пушкина за указаніе, какъ слѣдуетъ имъ самимъ думать о сынѣ: явленіе не рѣдкое въ русскихъ семьяхъ того времени...

Къ этому присоединилась еще другая, болѣе печальная подробность. Начальникъ края, маркизъ Паулуччи, поручилъ уѣздному опочечному предводителю дворянства г. Пешурову — пригласить отца Пушкина принять на себя надзоръ за поступками сына, обѣщая, въ случаѣ его согласія, поддержать, съ своей стороны, отъ назначенія всякихъ другихъ за нимъ наблюдателей. Легкомысленный и виѣстѣ трусливый Сергѣй Львовичъ не только не отказался отъ этого щекотливаго порученія, но даже слишкомъ добросовѣстно и неуклюже принялся за буквальное исполненіе желанія начальника края. Онъ сталъ слѣдить за сыномъ, какъ за 15-ти-лѣтнимъ мальчикомъ, распечатывать и читать его письма, воспрещать сестрѣ и брату сношенія съ Александромъ Сергѣевичемъ — „avec ce monstre, ce fils dénaturé“ (съ этимъ чудовищемъ, съ этимъ неблагодарнымъ сыномъ)! Когда же Александръ Сергѣевичъ, возмущенный этимъ способомъ дѣйствій, сталъ противиться ему всѣми мѣрами, отецъ рѣшился даже известить на него обвиненіе въ небывалыхъ поступкахъ. Тогда Пушкинъ, желая во что бы то ни стало избавить себя отъ опеки отца, обратился къ Жуковскому, умоляя его объ избавленіи отъ страшнаго гнета. Въ концѣ этого письма (отъ 31-го октября 1824 г.), въ отчаяніи Пушкинъ говоритъ Жуковскому: „спаси меня хоть крѣпостью, хоть Соловецкимъ монастыремъ!“ И только благодаря заступничеству Жуковского тягостное положеніе поэта въ Михайловскомъ намѣнилось къ лучшему. Слабодушный Сер-

гѣй Львовичъ махнулъ на „чудовище“ рукою, отказался отъ всякихъ сношеній съ нимъ и уѣхалъ (въ октябрѣ 1824 г.) пазъ Михайловскаго, а надзоръ за поэтомъ снова перешелъ къ опочечному предводителю, да сверхъ того, для религіознаго его руководства назначенъ былъ настоятель сосѣдняго Святогорскаго монастыря, простой, добродушный монахъ, который отъ времени до времени и навѣщалъ поэта.

Однакоже, вскорѣ послѣ того, знакомство съ милымъ семействомъ П. А. Осиповой, которое жило въ селѣ Тригорскомъ, въ двухъ верстахъ отъ Михайловскаго, и посѣщеніи друзей, навѣстившихъ изгнанника-поэта въ его уединеніи—благопріятно подѣйствовали на поэта и примирили его съ тягостною дѣйствительностью.

Прежде всѣхъ посѣтилъ его одинъ изъ лицейскихъ товарищей его, кн. А. М. Горчаковъ (впослѣдствіи канцлеръ, министръ иностранныхъ дѣлъ), затѣмъ пріѣхалъ (лѣтомъ 1825 г.) бар. Дельвингъ, съ которымъ поэтъ въ теченіе всей жизни былъ связанъ тѣснѣйшими узами дружбы; осенью того же года заѣхалъ къ нему другой товарищъ по „Индею“, Пущинъ, который и оставилъ слѣдующее любопытное описаніе помышенія Пушкина въ его Михайловскомъ домикѣ:

....Я нашелъ его въ единственной жилой комнатѣ стараго деревяннаго дома; одна комната съ ширмой служила Пушкину спальней, столовой и рабочимъ кабинетомъ; всѣ другія оставались запертыми и непопеченными. Только на другой половинѣ, черезъ стѣнной корридоръ, раздѣлявшій домъ, я видѣлъ еще жилую, просторную комнату, царство няни поэта, которая тутъ учила и муштровала толпу швей и ткачихъ, засажженныхъ за эти работы старыми господами“.

Наконецъ, все лѣто 1826 г. Пушкинъ провелъ въ ежедневныхъ сношеніяхъ съ Языковымъ, гостившимъ въ селѣ Тригорскомъ.

Языковъ, въ двухъ своихъ произведеніяхъ, воспоминаетъ подробно о Тригорскомъ, въ которомъ онъ провелъ цѣлое лѣто съ Пушкинымъ, и бойко очерчивая личность

Пушкина, живо передавая намъ впечатлѣніе своихъ тогдашнихъ отношеній къ поэту, отчасти знакомитъ насъ даже съ содержаніемъ тѣхъ бесѣдъ, которыя такъ тѣсно сблизили поэтовъ

И часто вижу я во снѣ:
И три горы, и доль красивый,
И свѣтлой Сѣверн назыви
Златаго мѣсяца въ огнѣ.
И такъ, у берега, тѣнь пвы,
Пріять прохлады, въ лѣтній зной
Нады пологъ продувной;
И тѣ отлогости, тѣ нивы,
Изъ-за которыхъ въ далекѣ,
На ворономъ арганактѣ,
Заморской шляпою покрыты.
Сидѣша въ Тригорское, одинъ
Вольтеръ и Гёте, и Расинъ—
Являлся Пушкинъ знаменитый,
И ту площадку, гдѣ въ тѣни
Насъ лѣжила, насъ веселила
Вина чарующая сила,
Оселохъ сердца и души,
И все божественное лѣто,
Которое изъ рода въ родъ,
Какъ драгоцѣнность, перейдетъ:
Завѣ Языковымъ восхито!... ¹⁾

Огнемъ стиховъ ознамену
Тѣ достохвальныя края,
Гдѣ и когда мы — ты да я—
Два сына Руси православной,
Поставили своеправно
Нашъ поэтический союзъ.
Пророкъ взявшаго! Забуду-ли,
Какъ волновалася во мнѣ
На самой сердца глубинѣ,
Восторговъ племенная удаля.
Когда могущественный рожъ
Съ плодами сладостной Мессимы,
Съ нежного сахаромъ, съ виною
Переработанный огнемъ,
Лилъ въ бокалы-исполненъ.
Какъ мы, бывало, пьемъ да пьемъ—
Творимъ обѣты нашей Гебѣ,
Зовемъ свободу въ нашу Русь—
И я на вѣчѣ, я на небѣ!
И славою пращѣвъ горжусь!
Мнѣ утѣшительно досадѣ,

¹⁾ (Съ разрядкою напечатаны названія тѣхъ мѣстностей Тригорскаго, которыя особенно любилъ Пушкинъ.

Мнѣ весело вспоминать
Сю поэзію во хмѣлѣ,
Ума и сердца благодать —
Теперь, когда Парнаса воды
Хвостовы черпають на оды... ¹⁾

Въ Михайловскомъ были написаны Пушкинымъ IV, V и VI главы „Евгенія Онегина“, и окончательно отдѣлана для печати поэма Цыганы, написанная гораздо раньше; здѣсь же началъ и кончилъ былъ Борисъ Годуновъ, составляющій эпоху въ исторіи развитія поэтической дѣятельности Пушкина и въ самой исторіи русской драмы. Сверхъ всего этого, запасъ поэтического матеріала, который былъ постоянно и тщательно собираемъ Пушкинымъ, обогатился множествомъ такихъ образовъ, которые мы потомъ находимъ въ основѣ замѣчательнѣйшихъ его произведеній. Вообще говоря, по богатству поэтической производительности, съ этимъ пребываніемъ поэта въ Михайловскомъ можетъ сравниться только періодъ его пребыванія въ Болдинѣ (въ 1831 году). Особенное влияние на поэта оказывала въ это время та простая народная почва, съ которой онъ впервые успѣлъ сойтись такъ близко, лицомъ къ лицу, и за изученіе которой онъ принялся съ особеннымъ, весьма понятнымъ жаромъ. Изученіе это было для него въ значительной степени облегчено его няней, Ариной Родионовной, которая жила съ нимъ въ Михайловскомъ, и которой онъ, въ своихъ поэтическихъ воспоминаніяхъ объ этой норѣ своей жизни, посвятилъ столько теплыхъ, задушевныхъ строкъ. Всѣ сказки, напечатанныя Пушкинымъ при жизни, начиная отъ сказки „О царѣ Салтанѣ“ и до сказки „О рыбацкѣ и рыбкѣ“, и всѣ простонародныя рассказы ²⁾, отысканные послѣ смерти Пушкина въ его бумагахъ, выходили несомнѣнно изъ одного общаго источника — изъ рассказовъ Арины Родионовны, которые Пушкинъ записалъ въ своихъ черновыхъ тетрадяхъ. Осенью 1825 года самъ Пушкинъ писалъ брату своему изъ деревни: „знаешь-ли мои занятія? До обѣда пишу записки, обѣдаю поздно, послѣ обѣда ѣзжу верхомъ, в е-

черомъ слушаю сказки и вознаграждаю тѣмъ недостатки проклятаго своего воспитанія ³⁾. Что за прелесть эти сказки! Каждая есть поэма“. Впрочемъ, мало-по-малу, собраніе памятниковъ народной словесности, наблюденіе и тонкое, глубокое изученіе народной рѣчи сдѣлались для Пушкина одною изъ живѣйшихъ потребностей, однимъ изъ любимѣйшихъ занятій. Впослѣдствіи Пушкинъ и самъ былъ ревностнымъ собирателемъ сокровищъ народной поэзіи: около 1830 г. Пушкинъ доставилъ извѣстному нашему собирателю народныхъ русскихъ пѣсень, П. В. Кирѣевскому, замѣчательную тетрадь пѣсень, собранныхъ имъ въ Псковской губерніи.

Но это тщательное изученіе народности, плодомъ котораго явилось впослѣдствіи столько превосходныхъ произведеній Пушкина, было далеко не исключительнымъ занятіемъ поэта во время его пребыванія въ Михайловскомъ (въ 1824 — 1826 гг.): — онъ чрезвычайно много и постоянно работалъ и въ это время, какъ и въ предшествовавшіе годы, надъ своимъ образованіемъ, тщательно слѣди за всѣми новѣйшими явленіями въ области иностранной и русской литературы. Еще на Югѣ успѣлъ онъ выучиться итальянскому и англійскому языку, и съ особенною страстью принялся собирать книги, изъ которыхъ впослѣдствіи образовалась его прекрасная бібліотека: этимъ собираніемъ книгъ онъ еще ревностнѣе занимался въ Михайловскомъ: часто, зарываясь въ книги, онъ нспещрялъ ихъ бѣглыми замѣтками своими, и въ то же время пополнялъ свои тетради множествомъ выписокъ, свидѣтельствующихъ о его замѣчательной, обширной и разнообразной начитанности. Больше всего занимали Пушкина въ это время вопросы литературные, выразившіеся въ современной ему журналистикѣ нескончаемымъ споромъ о значеніи романтизма и его отношенія къ классицизму; результатомъ его сочувствія этому спору и частыхъ размышленій о сущности романтизма было, конечно, то подробное и близкое знакомство съ Шекспиромъ, кото-

¹⁾ На это стихотвореніе отвѣтомъ было извѣстное посланіе Пушкина къ Языкову: „Языковъ, кто тебѣ внушилъ“ и т. д. — ²⁾ Напр. „Пѣсня о медвѣдицѣ“ или: „Сватъ Иваъ, какъ пята мнѣ станемъ“. — ³⁾ Поэтъ намекаетъ здѣсь на французскій характеръ воспитанія.

рое окончательно освободило Пушкина от всякой возможности влияния со стороны Байрона.

Другой существенной стороной занятий Пушкина, около этого же времени, являлось изучение памятников исторических, казавшихся собственно исторіи смутнаго времени, которымъ онъ сильно увлекался, какъ поэтъ, видѣвшій въ этой эпохѣ много красоты, жизни и движенія. И вотъ, убѣдившись, съ одной стороны, что „нашему театру приличны народные законы драмы Шекспировской, а не свѣтскій обычай трагедій Расина“; а съ другой стороны, болѣе и болѣе увлекаясь драматизмомъ такой эпохи, какъ Смутное время, Пушкинъ создалъ, въ 1825 г., любимѣйшее изъ произведеній своихъ — „Бориса Годунова“. Объ этой драматической хроникѣ писалъ онъ самъ вскорѣ послѣ того, какъ ее окончилъ:

...„хотя я вообще довольно равнодушенъ къ успѣху или неудачѣ моихъ сочиненій, но, признаюсь, неудача Бориса Годунова будетъ мнѣ чувствительна... Какъ Монтань, я могу сказать о моемъ сочиненіи: „с'est une oeuvre de bonne foi“. Писанная мною въ строгомъ уединеніи, вдали охлаждающаго свѣта, плодъ добросовѣстныхъ изученій, постоянного труда, трагедія сія доставила мнѣ все, чѣмъ писателю наслаждаться дозволено: живое занятіе вдохновенію, внутреннее убѣжденіе, что мною употреблены были всѣ усилія, наконецъ — одобреніе малаго числа избранныхъ... мнѣніемъ которыхъ дорожу“. И дѣйствительно, Пушкинъ писалъ Бориса Годунова, по его собственному выраженію, „оставшись въ деревнѣ одинъ съ няней своей и трагедіей“; и писалъ онъ ее, создавая такъ быстро, такъ цѣльно, какъ еще не приходилось ему ничего создавать до этого времени. Самъ Пушкинъ указывать на это въ одномъ изъ своихъ писемъ: ...„я пишу и вмѣстѣ думаю. Большая часть сценъ требовала только обсуждения. Когда приходилъ я къ сценѣ, требовавшей уже вдохновенія, я или пережидаль, или просто перескакивалъ черезъ нее. Этотъ способъ работать для меня совершенно новъ. Я знаю, что силы мои развились совершенно и чувствую, что могу творить...“

Въ какой степени силы Пушкина въ это время развились, видимъ мы изъ другого

письма его, въ которомъ Пушкинъ объясняетъ, какъ былъ написанъ „Графъ Нулинъ“.

„Въ концѣ 1825 г. находился я въ деревнѣ“ — пишетъ онъ — „и перечитывая „Лукрецію“, довольно слабую поэму Шекспира, подумалъ: что, еслибъ Лукреція пришла и голову мысль дать пощечину Тарквинію? Мысль пародировать исторію и Шекспира мнѣ представилась; я не могъ воспротивиться двойному искушенію и въ два утра написалъ эту повѣсть (т. е. „Графа Нулина“).“

Отличительною чертою этого періода поэмы зрѣлости таланта Пушкина является тотъ поворотъ на дорогу реального, живого и естественнаго изображенія характеровъ и явленій жизни, который составляетъ величайшую заслугу Пушкина, хотя и внесенъ былъ окончательно въ литературу, нѣсколькими послѣ, другимъ писателемъ-художникомъ — Гоголемъ.

Особенно ясно выразилось сочувствіе Пушкина къ этому новому, реальному направлению поэтического творчества въ его письмѣ къ издателямъ „Русскаго Инвалида“, писанномъ тотчасъ по выходѣ въ свѣтъ „Вечеровъ на хуторѣ близъ Диканьки“: ...„Сейчасъ прочелъ Вечера близъ Диканьки. Они изумили меня. Вотъ настоящая веселость, искренняя, непринужденная, безъ жеманства, безъ чопорности. А мѣстами, какая поэзія, какая чувствительность! Все это такъ необыкновенно въ нашей литературѣ, что я невольно не обрадовался... Ради Бога возьмите сторону (автора), если журналисты, по своему обыкновенію, нападутъ на неприличіе его выраженій, на дурной тонъ и проч. Пора намъ осмѣять les précieuses ridicules нашей словесности, людей толкующихъ въ нѣмъ о прекрасныхъ читательницахъ, которыхъ у нихъ не бывало, о высшемъ обществѣ, куда ихъ не просятъ, и все это слогомъ камердинера профессора Третьяковского“

Въ то время, когда Пушкинъ докончилъ своего „Бориса Годунова“ и успѣлъ уже выдать въ свѣтъ начало „Евгенія Онѣгина“, возбудившаго столько разнорѣчивыхъ толковъ; въ то время, когда онъ находился на верху возможной литературной славы, — неожиданно для него наступилъ конецъ его

долгаго изгнанія. Вотъ что разсказываетъ намъ объ этомъ событіи одна изъ обитательницъ Тригорскаго:

„1-го и 2-го сентября 1826 года Пушкинъ былъ у насъ (въ Тригорскомъ); погода стояла прекрасная, мы долго гуляли; Пушкинъ былъ особенно веселъ. Часу въ 11-мъ вечера, сѣстры и я проводили Александра Сергѣевича по дорогѣ въ Михайловское... Вдругъ, рано, на разсвѣтѣ, является къ намъ Арина Родіоновна — няня Пушкина. Это была старушка чрезвычайно почтенная, — лицомъ полная, вся сѣдая, страстно любившая своего питомца. Бывала она у насъ въ Тригорскомъ часто... на этотъ разъ она прибѣжала вся запыхавшись; сѣдые волосы ея безпорядочными космами спадали на лицо и плечи; бѣдная няня плакала навзрыдь... Изъ разспросовъ оказалось, что вчера вечеромъ, незадолго до прихода Александра Сергѣевича, въ Михайловское прискакалъ какой-то не то офицеръ, не то солдатъ (впоследствии оказалось фельдгегеръ)... Онъ объявилъ Пушкину повелѣніе немедленно ѣхать вмѣстѣ съ нимъ въ Москву. Пушкинъ успѣлъ только взять деньги, накиннуть шинель, и черезъ полчаса его уже не было“.

„Я полагаю, милостивая государыня“, — писалъ тотчасъ послѣ этого Пушкинъ къ П. А. Осиповой съ дороги — „что мой быстрый отъѣздъ съ фельдгегеремъ удивилъ всѣхъ васъ столько же, сколько и меня. Дѣло въ томъ, что безъ фельдгегера ничего не дѣлается; жнѣ дали его для безопасности. Впрочемъ, послѣ весьма любезнаго письма ко мнѣ отъ барона Дибича, мнѣ остается только гордиться. Ёду прямо въ Москву, гдѣ надѣюсь быть 8-го числа сего мѣсяца, и лишь только буду свободенъ, возвращусь какъ можно скорѣе въ Тригорское, къ которому отнынѣ и всегда привязано мое сердце“.

Привезенный съ фельдгегеремъ въ Москву, Пушкинъ былъ немедленно представленъ Императору Николаю I, объяснился съ нимъ искренно, съ замѣчательною откровенностью отвѣчалъ на всѣ его вопросы и получилъ разрѣшеніе на пребываніе въ Москвѣ (а подъ конецъ зимы — другое, на вѣздѣ въ Петербургъ). Императоръ замѣтилъ ему, что онъ самъ „берется быть цензоромъ его сочиненій“. Сохранилось преда-

даніе, что въ тотъ же вечеръ, увидавъ на бадѣ графа Д. Н. Блудова, Императоръ позволилъ ему къ себѣ и сказалъ ему: „Сегодня я говорилъ съ умнѣйшимъ человекомъ въ Россіи“...

Зиму 1826—1827 и 1827—1828 г.г. Пушкинъ провелъ въ Москвѣ и въ переѣздахъ изъ столицы въ столицу, среди шума и развлеченій большого свѣта, которые снова привлекли Пушкина и даже сильно занимали его въ теченіе этихъ двухъ лѣтъ его жизни, менѣе всего замѣчательныхъ въ его литературной дѣятельности.

Въ январѣ 1828 г. онъ снова пишетъ въ Тригорское, къ П. А. Осиповой: „Для меня шумъ и суэта петербургской жизни дѣлаются все болѣе и болѣе неспособными, и я съ трудомъ ихъ переносу. Я предпочитаю вашу прекрасный садъ и прелестный берегъ Сороти; видите, милостивая государыня, что настроеніе мое еще поэгично, не смотря на гадкую прозу моей настоящей жизни“.

Въ теченіи этого времени, Пушкинъ возобновилъ свои старыя связи съ большимъ свѣтомъ и завелъ много новыхъ, болѣе и болѣе отвлекавшихъ его отъ той скромной и одинокой, но за то и независимой доли, которую судьба надѣлила его въ ранней юности, и которой онъ былъ несомнѣнно обязанъ могучимъ развитіемъ гения. Эти новыя связи часто оказывали даже и несомнѣнно вредное вліяніе на поэтическую дѣятельность Пушкина, вынуждая его заниматься такими вопросами, къ разрѣшенію которыхъ онъ вовсе не былъ подготовленъ, не чувствовалъ въ себѣ влеченія: вѣроятно всего, не имѣлъ даже способности. Такъ, по пріѣздѣ въ Москву, въ 1826 г., Пушкинъ, по порученію высшаго начальства, принимается за составленіе какаго-то разсужденія „о воспитаніи юношества“. Само собою разумѣется, что разсужденіе вышло очень слабо, а главное, не соответствовало ожиданіямъ высшаго начальства, которое и выразило поэту свое неудовольствіе. Пушкину пришлось, конечно, извиниться неопытностью въ дѣлѣ сужденія о предметѣ, который „дотошъ никогда не занималъ его мыслей, и просить позволенія заняться чѣмъ-либо болѣе ему близкимъ и извѣстнымъ“. Этотъ фактъ важенъ въ біографическомъ отношеніи и служитъ указаніемъ на то, что уже съ 1826 года

начались въ сознаниі и убѣжденіяхъ Пушкина тѣ колебанія, которыя, подъ вліяніемъ различныхъ обстоятельствъ, черезъ три или четыре года потомъ, привели Пушкина сначала къ совершенному разладу съ самимъ собою, а потомъ и къ горькому разочарованію въ своихъ силахъ и значеніи...

Не менѣе важенъ для біографа и тотъ фактъ, что наступившій, съ 1826 года, почти двухлѣтній періодъ ослабленія творческой силы Пушкина ознаменовался для него поворотомъ къ прозѣ: лѣтомъ и осенью 1827 года, живучи въ деревнѣ, Пушкинъ написалъ большую часть первой своей исторической повѣсти (Арапъ Петра Великаго).

Однакоже поэтическую, широкую и бурную натуру Пушкина, еще не легко было тогда уложить въ тѣ узкія рамки, которыя становились обязательными для большей части окружавшихъ его современниковъ.

Онъ понималъ, что жизнь его не могла сложиться также просто и спокойно, какъ складывалась она у простыхъ смертныхъ: и, въ то же время, тяготился своею непослѣдовательностью, своими странными порывами и непростительными увлеченіями, которыя истощали большую часть его материальныхъ средствъ.

Тревожное состояніе духа, овладѣвшее Пушкинымъ въ это время и оставившее глубокіе слѣды въ его лирикѣ, особенно конца 1828 года, выражалось еще и тѣмъ, что онъ какъ будто нигдѣ мѣста себѣ найти не могъ; странныя мысли приходили ему въ голову... При началѣ турецкой войны, онъ вдругъ заявляетъ желаніе участвовать въ открывшейся кампаніи—и, разумѣется, получаетъ отказъ. Послѣ этого страннаго заявленія, Пушкинъ по обыкновенію уѣзжаетъ на лѣто въ Михайловское, и здѣсь проводитъ нѣсколько очень скорбныхъ мѣсяцевъ... Къ этому времени относится между прочимъ его превосходная лирическая пѣснь: „Воспоминаніе“, которая заканчивается въ его тетрадяхъ слѣдующими ненапечатанными при жизни поэта знаменательными стихами:

Я вижу въ праздности, въ неистовыхъ пирахъ,
Въ безумствѣхъ гибельной свободы,
Въ неволѣ, въ бѣдности, въ чужихъ стравахъ
Мои утраченные годы!
Я слышу вновь друзей предательскій привѣтъ
На играхъ Вакха и Киприды,
И сердцу вновь наноситъ хладный свѣтъ
Неотразимыя обиды.
И нѣтъ отрады мнѣ—и тихо предо мной
Встаютъ два призрака хладныя.
Два тѣни милыя—два данныя судьбой
Мнѣ ангела, во дни былые.
И оба съ крыльями и съ пламеннымъ мечомъ.
И стерегутъ... и мотать мнѣ оба,
И оба говорятъ мнѣ мертвымъ языкомъ
О тайнахъ вѣчности и гроба! ¹⁾

Эта пѣснь, написанная въ маѣ 1826 г., важна для біографіи, какъ выраженіе первой мысли поэта о смерти, впоследствии нѣредко появляющейся въ стихотвореніяхъ Пушкина. Но въ это время смерть была еще далека и жизненныхъ силъ въ поэтѣ было такъ много, что онъ способенъ былъ забыть скорбное бездѣйствіе и сокрушеніе свои въ нѣгу порыва нахлынувшей на него лихорадочной поэтической дѣятельности. Противъ всѣхъ своихъ обычаевъ, въ началѣ осени 1828 г., онъ вдругъ покидаетъ деревню, является въ Петербургъ, принимается здѣсь писать новую поэму свою, „Полтаву“, и въ теченіе одного октября мѣсяца онъ оканчиваетъ ее, не выѣзжая изъ города. Сильное поэтическое вдохновеніе, овладѣвшее имъ въ это время, не покидаетъ его въ теченіе всей осени 1828 г., и до нѣкоторой степени дѣйствуетъ благотворно на его примиреніе съ самимъ собою. Тотчасъ по окончаніи „Полтавы“, Пушкинъ уѣзжаетъ въ деревню ²⁾ и здѣсь продолжаетъ Евгенія Онегина, пишетъ нѣсколько легкихъ лирическихъ пѣсней и забрасываетъ Дельвига шуточными письмами, въ которыхъ много смѣется надъ своею литературною знаменитостью.

„Здѣсь мнѣ очень весело“—пишетъ Пушкинъ Дельвигу—„не знаю, долго-ли останусь въ здѣшнемъ краѣ... Сосѣди зазываютъ на меня, какъ на собаку Мухоморова“.

¹⁾ Строки эти очевидно потому не были напечатаны поэтомъ, что заключаютъ въ себѣ слишкомъ явные біографическіе намеки; а Пушкинъ никогда не любилъ и не допускалъ подобныхъ намековъ на свою поэтическую дѣятельность. — ²⁾ Въ деревню Маленники, Тверской губ., принадлежавшую также владѣльцамъ Тригорскаго, сосѣдкамъ Пушкина по Михайловскому.

— скажи это графу Хвостову... „Н. М. здѣсь повеселѣлъ и уморительно мнѣ. Наняыхъ было сборище у одного сосѣда; я долженъ былъ туда прѣѣхать. Дѣти его родственницы, базованные ребятишки; хотѣли непременно туда же ѣхать. Мать принесла имъ наюму и черносливу, и думала тихонько отъ нихъ убраться. Н. М. ихъ забудоражилъ. Онъ къ нимъ прѣбѣжалъ: дѣти! дѣти! мать васъ обманываетъ; не ѣзьте черносливу, поѣзжайте съ нею. Тамъ будетъ Пушкинъ—онъ весь сахарный... его разрѣжутъ и всѣмъ вамъ будетъ по кусочку. Дѣти разревѣлись: „не хотимъ чернослива, хотимъ Пушкина“. Нечего дѣлать, ихъ повезли, и они сбѣжались ко мнѣ, обнимаясь; но увидѣвъ, что я не сахарный, а кожаный,—совсѣмъ опѣшили“... „Здѣсь думаютъ“—пишетъ Пушкинъ въ другомъ письмѣ—„что я прѣѣхалъ набирать строфы въ „Онѣгина“ и страшатъ мною, какъ буюю. А я ѣзжу на паромѣ и играю въ вистъ по восьми гривенъ роберъ...“

Къ новому 1829 году Пушкинъ снова является въ Петербургъ; но имъ опять овладѣваетъ то мрачное и тревожное состояніе духа, которое всегда выражалось у него непосѣдливостью и жаждою физической дѣятельности. Онъ начинаетъ думать объ изданіи Бориса Годунова, — и вдругъ, въ мартѣ, бросаетъ все, и быстро, неожиданно покидаетъ Петербургъ; а 16-го мая является уже въ Георгіевскѣ, гдѣ и принимается за тѣ дорожныя записки свои, которыя гораздо позже стали извѣстны подъ заглавіемъ Путешествія въ Арзрумъ во время похода 1829 года. Впечатлѣнія, вынесенныя изъ этого похода и его поѣздки на Кавказъ, отразились и въ цѣломъ рядѣ мелкихъ его стихотвореній 1829 г., которыя опять къ концу года начинаютъ принимать мрачный, тоскливый отбѣнокъ; въ нихъ встрѣчается снова даже и мысль о возможности близкой кончины (напр. въ стихотвореніи: „Брожу-ли я вдоль улицъ шумныхъ“).

Въ началѣ 1830 года, въ московскомъ обществѣ равнеласъ вѣсть о той важной перемѣнѣ жизни, которая наступала для Пушкина. Вѣсть эта побудила одного изъ почитателей Пушкина обратиться къ нему съ анонимнымъ стихотвореніемъ слѣдующаго содержанія:

Олимпъ дѣвы востренулись,
Сердца ихъ въ горести сомкнулись
И гулъ ихъ вопли повторилъ:
„Поэтъ высокій, значенный
Взглянулъ на овѣтныя лавны —
И дѣтъ сердце покорилъ“.
Не будетъ больше вдохновеній!
Не будетъ умственныхъ пареній!
Прошли свободныя часы и т. д.

Пушкинъ отвѣчалъ на это извѣстнымъ стихотвореніемъ: „О кто бы ни былъ ты, чье ласковое пѣнье“. — И въ этомъ стихотвореніи подтвердилъ слухи о томъ, что онъ „возрождается къ блаженству“... Дѣйствительно въ это время онъ былъ уже помолвленъ съ Наталѣей Николаевной Гончаровой и готовился къ женитьбѣ, къ тихимъ радостямъ семейной жизни, которыхъ желалъ и ожидалъ съ нетерпѣніемъ, послѣ своей бурной и тревожной молодости.

Въ концѣ лѣта 1830 года мы уже застаемъ Пушкина на пути въ Нижегородскую губернію; онъ отправился туда для устройства своихъ дѣлъ передъ женитьбою; тамъ долженъ онъ былъ вступить во владѣніе села Болдина, нижегородскаго родового имѣнья, предоставленнаго ему отцомъ. Любопытны нѣкоторыя подробности, сообщаемыя Пушкинымъ объ этой поѣздкѣ въ его „Запискахъ“:

...„На дорогѣ (въ нижегородское имѣнье) встрѣтилъ Макарьевскую ярмарку, прогнанную холерою. Бѣдная ярмарка! Она бѣжала, разбросавъ въ половину свои товары, не успѣвъ пересчитать свои барыши. Вернуться въ Москву казалось мнѣ малодушіемъ: я поѣхалъ далѣе, какъ, можетъ быть, случилось вамъ ѣхать на поединокъ, съ досадою и большой неохотою...“

„Едва успѣлъ я прѣѣхать (въ Болдино), какъ узнаю, что около меня опѣляются деревни, учреждаются карантинныя. Я занялся моими дѣлами, пересчитывая Кольриджа, сочиняя сказочки и не ѣздя по сосѣдямъ. Между тѣмъ, начинаю думать о возвращеніи и безпокоиться о карантинѣ. Вдругъ (2 октября) получаю извѣстіе, что холера въ Москвѣ... Я тотчасъ собрался въ дорогу и поскакалъ. Проѣхавъ 20 верстъ, ямщикъ мой останавливается: застава! Нѣсколько мужичковъ съ дубинками охраняли пере-

праву черезъ какую-то рѣчку. Я сталъ спрашивать ихъ, и доказывалъ имъ, что вѣроятно гдѣ-нибудь да учрежденъ карантинъ, что не сегодня, такъ завтра на него наѣду, и въ доказательство предлагалъ имъ серебряный рубль. Мужички со мною согласились, перевезли меня и пожелали многа лѣта“...

Но прорваться въ Москву Пушкину не удалось, и онъ снова долженъ былъ вернуться въ Болдино, гдѣ оставался еще почти три мѣсяца, и въ этомъ вынужденномъ уединеніи, среди тревожныхъ ожиданій варазы и еще болѣе тревожныхъ порывовъ къ достиженію близкаго счастья, Пушкинъ выказалъ еще разъ такую громадную творческую силу, что самъ удивлялся своей производительности. Вотъ что писалъ онъ около этого времени къ друзьямъ своимъ:

„Посылаю тебѣ, баронъ“ — такъ писалъ онъ къ Дельвигу изъ Болдина — „вассальскую мою подать, именуемую цвѣточною, по той причинѣ, что платится она въ ноябрѣ, въ самую пору цвѣтовъ. Доношу тебѣ, моему владѣльцу, что нынѣшняя осень была дѣтородна, и что коли твой смиренный вассалъ не околѣетъ отъ сарацинскаго падежа, холерой именуемаго и занесеннаго къ намъ крестовыми воинами, т. е. бурлаками, то въ замѣкъ твою, „Литературной Газетѣ“¹⁾, пѣсни трубадуровъ не умолкнутъ круглый годъ. Я, душа моя, написалъ пропасть полемическихъ статей, но не получалъ журналовъ, отсталъ отъ вѣка, и не знаю, въ чемъ дѣло“... „Живу въ деревнѣ, какъ въ острогѣ, окруженный карантинными. Иду шогды, чтобы жениться и добратся до Петербурга: но объ этомъ не смѣю еще подумать“.

...„Скажу тебѣ за тайну“, — пишетъ нѣсколько позже Пушкинъ, къ другому своему другу — „что я въ Болдинѣ писалъ, какъ давно уже не писалъ. Вотъ что я привезъ сюда (т. е. въ Москву): двѣ послѣднія главы Онѣгина, совсѣмъ готовы для печати; повѣсть, писанную октавами (Домикъ въ Коломнѣ; нѣсколько драматическихъ сценъ: Скупой Рыцарь, Моцартъ

и Сальери, Пиръ во время чумы и Донъ Жуанъ. Сверхъ того я написалъ около тридцати мелкихъ стихотвореній. Еще не все написалъ я прозою (весьма секретное!) — пять повѣстей (повѣсти Бѣлкина)²⁾“.

Вскорѣ послѣ этого усиленнаго прилива творческой силы Пушкина, которымъ ознаменовалось пребываніе его въ Болдинѣ, поэтъ былъ въ Москвѣ обвиненъ съ Н. Н. Гончаровой (18-го февраля 1834 г., въ церкви Вознесенья, что на Никитской) и до весны оставался въ Москвѣ съ молодою женою. Лѣто 1831 года Пушкинъ провелъ въ Царскомъ-Селѣ, въ близкихъ сношеніяхъ съ Жуковскимъ, съ которымъ вступилъ даже въ нѣкотораго рода поэтическое состязаніе, конечно, весьма невыгодное для Жуковского. И Жуковский, и Пушкинъ въ это время обратились къ поэтической обработкѣ русскихъ сказочныхъ сюжетовъ, а потому вмѣстѣ издали книжку патристическихъ стихотвореній, подъ названіемъ: „Названіе Варшавы“. Тутъ напечатано было стихотвореніе Жуковского „Русская Слава“ и два стихотворенія Пушкина: „Къ вѣтникамъ Россіи“ и „Бородинская годовщина“.

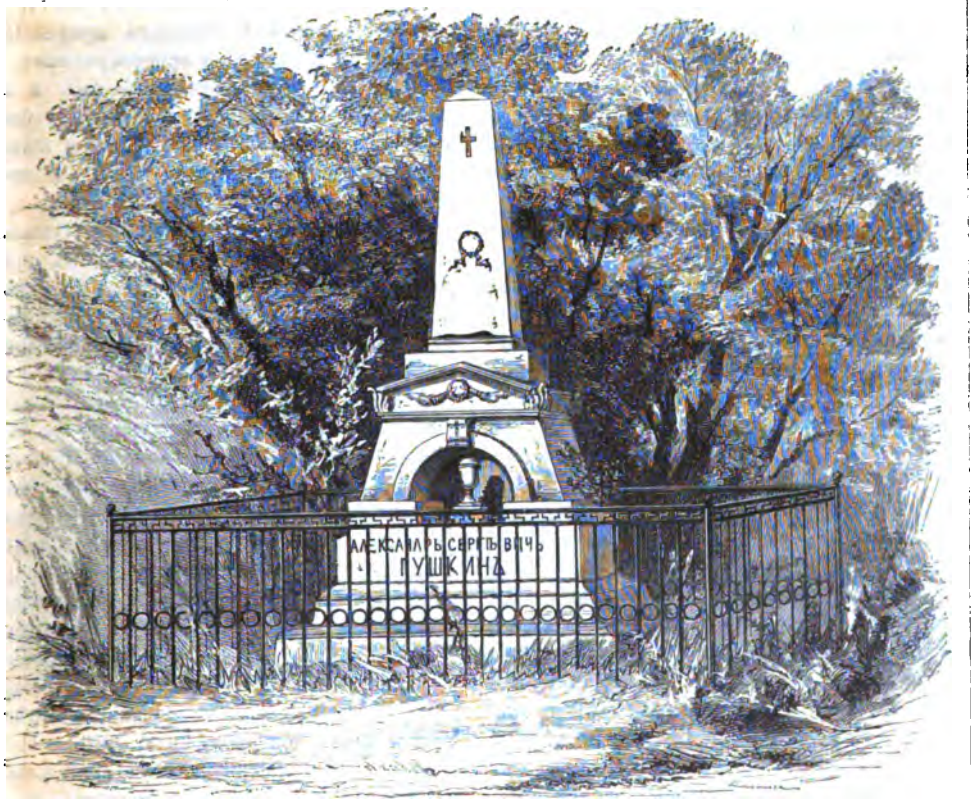
Вскорѣ послѣ того, вѣроятно не безъ участія со стороны Жуковского, Пушкинъ былъ снова зачисленъ на службу въ вѣдомство Государственной Коллегіи Иностранныхъ Дѣлъ, съ особенною Высочайшею милостью — жалованьемъ по 5,000 р. въ годъ. „Эта милость“ — замѣчаетъ биографъ Пушкина — „была предтечей многочисленныхъ щедротъ и благодѣній, налившихся потомъ какъ на самого поэта, такъ и на все семейство его“³⁾.

Зимой 1832—1833 года Пушкинъ, въ послѣдніе шесть-семь лѣтъ охотно посвящавшій свое время изученію отечественной исторіи, воспользовался даннымъ ему отъ правительства разрѣшеніемъ, и ревностно принялся за работу въ архивахъ, сначала, кажется, безъ всякой опредѣленной цѣли, а потомъ преимущественно сосредоточивая свое вниманіе на изученіи Петровскаго времени. Случайно заинтересованный понач-

¹⁾ Дельвигъ началъ съ 1830 г. издавать „Литературную Газету“. — ²⁾ Въ этомъ заглавномъ перечнѣ своихъ болдинскихъ произведеній Пушкинъ позабылъ или наизвѣстно опустилъ „Цѣтопись села Горохина“. — ³⁾ Анненковъ, Матеріалы, стр. 316 и 318.

нимся ему подъ руку бумагами о Пугачевскомъ бунтѣ, онъ и изъ нихъ извлекъ все, что показалося ему достойнымъ вниманія, и этимъ же занятіямъ Пугачевщиной обязанъ былъ канвою для своей повѣсти „Капитанская дочка“. Среди этихъ архивныхъ занятій, среди обязательныхъ отношеній той свѣтской жизни, которую Пушкинъ вынужденъ былъ вести, среди заботъ о пополненіи материальныхъ

средствъ своихъ, Пушкинъ почти не успѣвалъ предаваться тому спокойному уединенію, которое было такъ необходимо для его поэтического вдохновенія. Гораздо болѣе всякихъ другихъ плановъ въ это время, волей и неволей, занимали Пушкина соображенія денежныя, потому что ему уже приходилось заботиться о будущности своей семьи. Творческія силы пробудились въ немъ лишь тогда, когда ему удалось на



Могила Пушкина, въ Святотгорскомъ Успенскомъ монастырѣ.

время покинуть Петербургъ и свѣтскую жизнь. Приговляя къ печати свою „Исторію Пугачевского бунта“ и, вмѣстѣ съ тѣмъ, снѣша окончаніемъ Капитанской дочкѣ, Пушкинъ собрался въ августѣ 1833 года посѣтить Оренбургъ и Казань, чтобы ознакомиться съ мѣстомъ дѣйствія этихъ обоихъ произведеній своихъ. Обѣзды свой Пушкинъ совершилъ очень быстро и очевидно спѣшилъ возвратиться въ свое

Болдино, потому что, какъ онъ писалъ съ дороги въ Петербургъ, „рѣшмы и стихи не давали ему покоя въ кибиткѣ. Что же будетъ, когда очучусь дома и въ постелѣ?“ — прибавлялъ Пушкинъ. И дѣйствительно, тотчасъ по приѣздѣ въ Болдино, Пушкинъ горячо предавался своему вдохновенію: и въ теченіе одного октября мѣсяца написалъ сказку о Рыбакѣ и Рыбкѣ и поэму Мѣдный

Всадникъ. Вѣроятно здѣсь же были написаны имъ и нѣкоторыя изъ его лирическихъ произведеній, которыми 1833 годъ болѣе богатъ, нежели всѣ остальные годы жизни поэта.

По прибытіи въ Петербургъ, Пушкинъ представилъ свою „Исторію Пугачевского бунта“ на разсмотрѣніе начальства и за этотъ трудъ одновременно получилъ двѣ награды: 31-го декабря 1833 г. онъ былъ пожалованъ въ камеръ-юнкеры Двора Его Императорскаго Величества и на печатаніе книги дано ему заимообразно 20000 руб. ассигн.

Повидимому, Пушкинъ находился на верху своей славы, а притомъ и матеріальная обстановка его быта начинала нѣсколько улучшаться. Литература въ эту пору уже доставляла ему такія средства, какихъ до него не получалъ ни одинъ изъ нашихъ писателей... Но Пушкинъ не могъ быть доволенъ своимъ положеніемъ въ свѣтѣ и даже своею литературною дѣятельностью. Онъ особенно тяготился тѣмъ множествомъ связей и отношеній, тѣмъ бытомъ, который онъ принужденъ былъ поддерживать въ угоду своей красавицѣ-женѣ; тяготился потому, что этотъ дорого-стоящій бытъ вовлекалъ ея мужа въ неоплатные долги и давалъ поводъ къ справедливому порицанію его легкомыслія и безхарактерности даже въ тѣсномъ кругу друзей, которые умѣли его понимать и знали ему цѣну. Подъ вліяніемъ всѣхъ этихъ условій, недовольство собою и жизнью становится опять замѣтно въ Пушкинѣ, въ теченіе двухъ послѣднихъ лѣтъ его жизни, проведенныхъ имъ въ хлопотахъ и тревогахъ по устройству дѣлъ, и выказывается въ какомъ-то смутномъ, но часто и неотвязчиво возвращавшемся предчувствіи близкаго расчета съ жизнью ¹⁾.

Особенно мрачнымъ и тяжкимъ разочарованіемъ, даже утомленіемъ жизнью звучатъ тѣ строки, которыя, осенью 1836 года, писалъ онъ въ Тригорское... Это было послѣднее письмо его къ г-жѣ Осиповой. Послѣ извѣстій о болѣзни матери, о жалкомъ по-

ложеніи отца и о тѣхъ великосвѣтскихъ сплетняхъ, которыя не давали покоя его женѣ, Пушкинъ прибавляетъ въ концѣ этого замѣчательнаго письма:

...„Я ошеломленъ и нахожусь въ сильнѣйшемъ раздраженіи. Повѣрьте мнѣ: жгучая такая она ни на есть „пріятная привычка“, а все же заключаетъ въ себѣ горечь, которая дѣлаетъ ее подъ конецъ отвратительною. Свѣтъ — это гадкая лужа грязи. Мнѣ мило только Тригорское“. А между тѣмъ сила привычки къ свѣту, съ которымъ связывало Пушкина природное ему еристрастіе къ аристократіи, къ родовитости, къ громкимъ именамъ и пустому блеску великосвѣтской жизни — была настолько сильна, что онъ даже не пытался вырваться изъ „гадкой лужи“ и шелъ быстрыми шагами къ роковому концу...

Въ послѣдній годъ своей жизни Пушкинъ приступилъ къ изданію журнала, въ которомъ главное мѣсто должно было принадлежать критикѣ: въ мартѣ 1836 г. одобренъ былъ цензурою первый номеръ пушкинскаго Современника. Нельзя не замѣтить, что однимъ изъ важнѣйшихъ поводовъ къ изданію Современника послужила та особенная брызгливость, съ которою Пушкинъ давно уже, еще съ конца 20-хъ годовъ, сталъ относиться къ нашей журнальной критикѣ. Взгляды его въ этомъ отношеніи обаявались чрезвычайно остальными: „онъ сохранялъ, долѣе многихъ своихъ товарищей, основныя убѣжденія стараго члена литературныхъ обществъ: къ новому назначенію журнала, — при которомъ уже мало придавалось значенія мнѣнію кружка, а мнѣніе личное играло очень важную роль — Пушкинъ не могъ привыкнуть во всю свою жизнь. Съ первыхъ же признаковъ появленія этого новаго значенія журнала въ нашей журналистикѣ, Пушкинъ началъ свою систему расчитаннаго противодѣйствія, забывая иногда и то, что высказывалось по временамъ дѣланого и существеннаго его противниками, и постоянно имѣя въ виду только одно: возвратитъ критику въ руки малаго, избран-

¹⁾ Въ одинъ изъ послѣднихъ своихъ прѣздовъ въ Михайловское, Пушкинъ написалъ элегію: О пяти на родинѣ, въ которой, такъ подробно описывая дорогое и милое ему селцо, какъ будто прощается съ нимъ и со всѣмъ, что съ нимъ пережито. Въ то же время сдѣлалъ онъ вкладъ въ Святоторгскомъ Успенскомъ монастырѣ (въ трехъ верстахъ отъ Михайловскаго), и откупилъ себѣ мѣсто подъ могилу, рядомъ съ могилею матери.

наго кружка писателей, уже облеченнаго уваженіемъ и довѣренностью публики“¹⁾. Но планы эти не сбылись: въ ноябрѣ мѣсяцѣ 1836 года Пушкинъ выдалъ ~~ѣ~~ и послѣднюю книжку Современника на этотъ годъ, а три мѣсяца спустя его уже не было въ живыхъ. 27 января 1837 года, Пушкинъ, смертельно раненный на поединкѣ барономъ Георгіемъ Геккереномъ-Дантесомъ, привезенъ былъ на квартиру секундantomъ своимъ,

полковникомъ Данзасомъ, и черезъ два дня послѣ того (29 января), среди ужасныхъ мученій, скончался, обруженный друзьями своими и оплакиваемый всѣми... Послѣднія минуты его жизни описаны Жуковскимъ въ письмѣ къ отцу его, Сергію Львовичу Пушкину. Жуковскому же поручено было, тотчасъ по смерти Пушкина, опечатать кабинетъ его и заняться тщательнымъ разборомъ оставшихся послѣ него бумагъ.



Сельцо Михайловское.

Тѣло Пушкина, согласно его волѣ, перевезено было въ Святогорскій Успенскій монастырь и положено въ ту могилу, которую онъ приготовилъ себѣ еще за годъ до смерти. Вскорѣ послѣ того надъ могилой былъ воздвигнутъ и памятникъ изъ бѣлаго мрамора.

И. С. Тургеневъ пишетъ въ своихъ „Воспоминаніяхъ“: „...„Пушкина мнѣ удалось видѣть за нѣсколько дней до его смерти, на утреннемъ концертѣ, въ залѣ Энгельгардъ. Онъ стоялъ у двери, опираясь на косякъ, и,

скрестивъ руки на широкой груди, съ недовольнымъ видомъ поглядывалъ кругомъ. Помню его смуглое, небольшое лицо, его африканскія губы, оскаль бѣлыхъ, крупныхъ зубовъ, висаячія бакенбарды, темные желчные глаза подъ высокими лбомъ почти безъ бровей и кудрявые волосы... Онъ и на меня бросилъ бѣглый взоръ: безцеремонное вниманіе, съ которымъ я уставился на него, пронзало, должно быть, на него впечатлѣніе непріятное: онъ словно съ досадой

¹⁾ Аппенковъ. Матеріалы, стр. 184, 431—32.

повелъ плечомъ — вообще онъ казался не въ духѣ, — и отошелъ въ сторону. Нѣсколько дней спустя, я видѣлъ его лежащимъ въ гробу — и невольно повторялъ про-себя:

Недвижимъ онъ лежалъ... И страненъ
Былъ томный миръ его чела..“

Въ 1880 г., въ Москвѣ, на родинѣ поэта, былъ воздвигнутъ Пушкину прекрасный памятникъ (на бульварѣ, противъ Страстнаго монастыря), открытіе котораго (9 іюня) сопровождалось цѣлымъ рядомъ литературныхъ празднествъ и торжествъ въ различ-

ныхъ ученыхъ обществахъ и ученыхъ учрежденіяхъ Москвы, при общемъ съѣздѣ лучшихъ русскихъ литераторовъ, поэтовъ и ученыхъ.

Вслѣдъ затѣмъ, памятники Пушкину были воздвигнуты въ Петербургѣ, Одессѣ и другихъ городахъ Россіи

Въ 1887 г. сочиненія Пушкина сдѣлались общимъ достояніемъ (такъ какъ право литературной собственности наследниковъ окончилось по истеченіи 50 лѣтъ со дня кончины поэта), и явилось разомъ множество изданій Пушкина — одно хуже другого... Великій поэтъ еще ждетъ изданія, которое бы могло быть достойно его славы



XVI.

Ближайшіе послѣдователи Пушкинской школы въ поэзіи.—Дельвигъ.—Баратынскій.—Языковъ.

Можно утверждать положительно, что никому изъ русскихъ писателей не удалось произвести такого сильнаго переворота въ литературѣ, какъ Пушкину. Даже вліяніе Карамзина, громадное по своему значенію для современниковъ, не можетъ равняться съ тѣмъ вліяніемъ, которое оказывалъ Пушкинъ на нашу литературу двадцатыхъ и тридцатыхъ годовъ, то увлекая молодыхъ силъ къ подражанію различнымъ сторонамъ своей разнообразной Музы, то поощряя ихъ къ разработкѣ новыхъ, еще не тронутыхъ въ литературѣ вопросовъ, то ободряя и вызывая къ жизни сильныя и оригинальныя таланты, которые находили себѣ опору и поддержку въ Пушкинскомъ кружкѣ. Произведенія Пушкина читались и переписывались во всѣхъ концахъ Россіи съ такимъ благоговѣніемъ и восторгомъ, заучивались и изучались съ такимъ рвеніемъ, въ такой степени становились необходимымъ элементомъ современной русской образованности, что подъ непосредственнымъ вліяніемъ Пушкина выросло не одно, а нѣсколько послѣдовательно-развившихся поколѣній. Къ началу 30-хъ годовъ Пушкинъ уже видѣлъ себя окруженнымъ массою новыхъ литературныхъ дѣятелей, развившихся и выросшихъ подъ вліяніемъ его плодотворной и разнообразной поэтической дѣятельности.

Привѣтливый и снисходительный въ своихъ отношеніяхъ ко всѣмъ современнымъ литературнымъ дѣятелямъ (кромя нѣкото-

рыхъ петербургскихъ и московскихъ журналистовъ), Пушкинъ съ особеннымъ дружелюбіемъ относился къ тремъ современникамъ-поэтамъ: Дельвигу, своему товарищу по Лицею, Баратынскому и Языкову. Дружелюбіе свое къ этимъ тремъ представителямъ современной ему поэзіи Пушкинъ простиралъ даже до того, что ставилъ, напримѣръ, многія произведенія Баратынскаго и Языкова выше своихъ собственныхъ и придавалъ высокое значеніе каждому, даже и весьма незначительному стихотворенію или статейкѣ Дельвига, на судъ котораго онъ такъ охотно отдавалъ все, написанное имъ самимъ. Вотъ почему имена этихъ трехъ современниковъ-поэтовъ такъ тѣсно связались съ именемъ самого Пушкина, что говорить о немъ, не упоминая о нихъ, почти также невозможно, какъ, говоря о Дельвигѣ, Баратынскомъ и Языковѣ, не имѣть постоянно и въ памяти, и на языкѣ имя Пушкина... Онъ освѣтилъ ихъ блескомъ своей славы: они еще болѣе возвысили значеніе и славу Пушкина, представляя собою лучшія силы той Пушкинской плеяды, среди которой онъ являлся главнымъ свѣтиломъ.

Баронъ Антонъ Антоновичъ Дельвигъ родился въ Москвѣ 6 августа 1798 г. По происхожденію онъ принадлежалъ къ одной изъ тѣхъ обширныхъ и старыхъ фамилій острейскихъ бароновъ, которыя еще и въ настоящее время довольно распространены въ Остзейскомъ краѣ ¹⁾. Нельзя

¹⁾ Нѣсколько лѣтъ назадъ, намъ достался въ руки слѣдующій автографъ письма, поданнаго Дельвигомъ или приготовленнаго имъ къ подачѣ на Высочайшее имя. Въ этомъ отрывкѣ онъ говоритъ объ отцѣ своемъ, занимавшемъ, повидимому, очень скромное общественное положеніе; подробности, сообщаемыя объ отцѣ, и доселѣ неизвѣстныя, весьма любопытны:

„Вѣдственное положеніе семейства (sic) моего осмѣливаетъ меня просить великой мною не заслуженной помощи у Ваш. Имп. Вел. Покойный отецъ мой, Генералъ-Маіоръ Баронъ Дельвигъ въ продолженіе сорока-лѣтней службы своей неизвѣстенъ былъ начальникамъ, подчиненнымъ и постороннимъ свѣдѣтелямъ безкорыстіемъ и точнымъ исполненіемъ на него возложенныхъ обязанностей. Двадцать лѣтъ, любимиый начальниками и всѣмъ городомъ, былъ онъ сперва плацъ-адъютантомъ, потомъ плацъ-маіоромъ въ Москвѣ. Мирные подвиги его до сихъ поръ въ ней помнятся. Значительнѣйшія вещи, занесенныя

не замѣтить здѣсь же, кстати, говоря о происхожденіи Дельвига, что онъ имѣлъ нѣкоторую слабость гордиться своею родовитостію. Вѣроятно это и послужило для Пушкина поводомъ къ превосходному стихотворенію Черепъ (1827 г.), въ которомъ онъ такъ живо рисуетъ образъ одного изъ бароновъ-предковъ Дельвига:

Прими сей черепъ, Дельви́гъ, онъ
Принадлежитъ тебѣ по праву,
Тебѣ погѣлаю, баронъ,
Его готическую славу.
Печетный черепъ сей не разъ
Параки Ва́лка нагрі́вался;
Литовскій мечъ въ недобрый часъ
По немъ со звономъ ударился;
Сквозь эту кость не проходилъ
Лучъ животворный Аполлона;
Ну, словомъ, черепъ сей хранилъ
Тяжеловѣсный мозгъ барона,
Барона Дельвига. Баронъ,
Конечно, былъ охотникъ славный,
Натѣдникъ, чаши другъ исправный,
Гроза вассаловъ и нѣхъ женъ...
Мой другъ, таковъ былъ вѣкъ суровый;
И предокъ твой крѣпкоголовый
Смутился-бъ рыцарской душой,
Когда-бъ тебя передъ собой
Увидѣлъ безъ одежды бранной,
Съ главою, киртами вѣчанной,
Въ очкахъ, и съ лирой золотой.

Дельви́гъ сошелся съ Пушкинымъ въ самой ранней юности, при вступленіи въ Лицей. Въ одинъ день держали они экзаменъ и оба выдержали его одинаково, въ числѣ плохихъ. Сближенію Пушкина съ Дельви́гомъ — по справедливому замѣчанію его біографа — много способствовало то обстоятельство, что въ числѣ 30 воспитанниковъ, принятыхъ въ Лицей, только они оба были прѣбъжіе, и оба изъ Москвы. Какъ началась ихъ дружба на лицейской скамьѣ, такъ и не прерывалась до гробовой доски. Единственные, дошедшія до насъ свѣдѣнія о дѣтствѣ и ранней юности Дельвига сохра-

нены намъ Пушкинымъ, который рассказываетъ въ своихъ „Запискахъ“ слѣдующее:

....Дельви́гъ первоначальное образованіе получилъ въ частномъ пансіонѣ; въ концѣ 1811 года вступилъ онъ въ Лицей. Способности его развивались медленно. Память у него была тупа; понятія глѣбны. На 14-мъ году онъ не зналъ никакого иностраннаго языка и не оказывалъ склонности ни къ какой наукѣ. Въ немъ замѣтна была только живость воображенія. Однажды вдумалось ему рассказать нѣсколькимъ изъ своихъ товарищей походѣ 1807 г., выдавая себя за



Дельви́гъ.

очевидна тогдашнихъ происшествій. Его повѣствованіе было такъ живо и правдоподобно, и такъ сильно подѣйствовало на молодыхъ слушателей, что нѣсколько дней около него собирался кружокъ любопытныхъ, требовавшихъ новыхъ подробностей о походѣ. Слухъ о томъ дошелъ до нашего директора, А. Θ. Малиновскаго, который захотѣлъ услышать отъ самого Дельвига разсказъ о его приключеніяхъ. Дельви́гъ постыдился признаться во лжи, столь же невинной, какъ и замысловатой, и рѣшился ее поддерживать, что и сдѣлалъ съ удивительнымъ успѣхомъ, такъ что никто изъ насъ не сомнѣвался въ истинѣ его разсказовъ.

въ квартиру его французы во время достопамятнаго 1812 года, не смотря на Высочайшее повелѣніе считать ихъ своими, были изъ возвращеніи прежнихъ владѣльцевъ. Слѣшкомъ полтораго тысячъ рублей за нѣсколько дней до вторженія французовъ въ Москву, присланные негнѣвно кимъ и безъ росписки отданные теткѣ моей, по причинѣ опасной болѣзни его, по выздоровленіи представлены изъ начальству...“

покажется онъ самъ не признался въ своемъ вымыслѣ“.

Учился Дельвигъ плохо и постоянно отклонился съ большою небрежностью къ различнымъ формальностямъ лицейскаго быта. Но вѣроятно ему слѣдуетъ, однакоже, приписать изобрѣтеніе той остроумной игры, о которой мы упоминали выше, въ біографіи Пушкина, и отъ которой переходъ къ первымъ опытамъ литературнымъ былъ такъ естественъ и легокъ.

Само собою разумѣется, что Дельвигъ былъ такимъ же усерднымъ вкладчикомъ лицейскихъ журналовъ, какъ и Пушкинъ, и когда, въ 1813 г., начальство Лицея воспретили въ стѣнахъ заведенія изданіе этихъ журналовъ, справедливо замѣчая, что ихъ составленіе, переписыванье и переплетанье очень много отнимаетъ времени у нѣкоторыхъ воспитанниковъ — Дельвигъ одновременно съ Пушкинымъ рѣшился печатать свои первые опыты въ современныхъ журналахъ. Первымъ печатнымъ опытомъ Дельвига была „Ода на ваятіе Париза“, помѣщенная имъ въ „Вѣстникѣ Европы“ 1814 г. Пушкинъ сообщаетъ, что „первыми опытами Дельвига въ стихотворствѣ были подражанія Горацию. Оды его: къ Діону, къ Милетѣ, Доридѣ, писаны имъ въ пятнадцатомъ году и напечатаны въ собраніи его сочиненій безъ всякой перемѣны“.

Вмѣстѣ съ Пушкинымъ Дельвигъ кончилъ курсъ въ Лицѣ (въ числѣ плохихъ учениковъ) и также неохотно разставался съ Царскимъ-Селомъ и стѣнами Лицея, какъ Пушкинъ. На выпускномъ актѣ, какъ сообщаетъ намъ біографъ Дельвига¹⁾, лицейскіе пѣли сочиненную Дельвигомъ прощальную пѣсню Лицею, которая потомъ очень долго была необходимою принадлежностью всѣхъ лицейскихъ актовъ.

Несмотря на то, что Дельвигъ былъ чело-вѣкомъ недостаточнымъ, что на службу онъ долженъ былъ поступить по необходимости, тотчасъ послѣ выхода изъ Лицея (въ 1817 г.), онъ отнесся и къ службѣ такъ же безпечно, какъ относился къ своимъ лицейскимъ обязанностямъ. Онъ, по самой натурѣ своей, представлялъ чистѣйшій типъ эпикурейца, довольнаго немногимъ, и выше всего на свѣтѣ ставилъ душевное спокой-

ствіе; этому свойству своей природы былъ одолженъ Дельвигъ постоянно веселымъ и легкимъ своимъ настроеніемъ, которое дѣлало его чрезвычайно приятнымъ и въ обществѣ, и въ товарищескомъ кружкѣ. Неудивительно, что, при такомъ возвращеніи на жизнь, Дельвигъ и въ своей поэтической дѣятельности весьма ревностно предался воспитанію лѣни и нѣсколько-узкаго идеала спокойной, безмятежной жизни, далекой отъ всякихъ тревогъ. Дельвигъ и не на бумагѣ только, а и въ дѣйствительности проводилъ въ жизнь эту „мечтательную лѣнь“, и, не заботясь о карьерѣ, дважды мѣнялъ службу, выходилъ даже въ отставку, пока наконецъ судьба не забросила его (въ 1821 г.) на службу въ Публичную бібліотеку, подъ начальство Оленина, который опредѣлилъ его въ помощники къ другому, такому же эпикурейцу, какъ самъ Дельвигъ — къ Ивану Андреевичу Крылову. Здѣсь прослужилъ Дельвигъ лѣтъ пять и потомъ перешелъ на службу въ министерство внутреннихъ дѣлъ, гдѣ состоялъ преимущественно въ должности чиновника особыхъ порученій до самой своей кончины.

Дѣятельнымъ Дельвигъ явился только въ занятіяхъ словесностью, для которой успѣлъ въ короткій вѣкъ свой сдѣлать довольно много. Въ самомъ началѣ двадцатыхъ годовъ, именно въ то время, когда судьба надолго разлучила его съ Пушкинымъ, онъ сошелся очень близко съ Языковымъ и подружился съ Баратынскимъ. Въ эту эпоху установился между ними трюмъ и Пушкинымъ тотъ поэтический союзъ, который для нихъ выразился въ цѣломъ рядѣ прекрасныхъ посланій, въ обширной перепискѣ (уцѣлѣвшей, къ сожалѣнію, только отчасти) а впоследствии и послужилъ прочною основой ихъ литературныхъ предпріятій. Дельвигъ помѣщалъ свои стихотворенія (въ которыхъ Пушкинъ особенно дѣлилъ „чувство гармоніи и классическую стройность“) сначала въ „Трудахъ Общества любителей Россійской Словесности“ и въ „Благонамѣренномъ“ Измайлова. Но важнѣйшую долю своей литературной дѣятельности онъ посвятилъ тому кратковременному, но чрезвычайно плодотворному періоду альяманховъ, если можно такъ выразиться, который

¹⁾ В. П. Гавевскій. См. статьи его о Дельвигѣ въ „Современникѣ“ 1853—1854 гг.

послужил переходомъ къ болѣе серьезнымъ и болѣе обширнымъ журнальнымъ предпріятіямъ, вызвавъ къ дѣятельности много новыхъ силъ.

Этотъ періодъ альманаховъ начался съ того, что въ 1822 году явилась въ Петербургѣ „Полярная Звѣзда, карманная книжка для любителей и любителей русской словесности“, изд. Бестужевымъ и Рыльевымъ, при участіи всѣхъ лучшихъ литературныхъ силъ того времени. Однимъ изъ многихъ сотрудниковъ „Полярной Звѣзды“ былъ, конечно, и Дельвигъ. Необыкновенный успѣхъ „Полярной Звѣзды“, которой распродано было 1500 экз. въ теченіе трехъ недѣль, вызвалъ очень многихъ къ подражанію. Въ 1823 г. явились въ Москвѣ „Новыя Аониды“ Ранца; въ 1824, тамъ же, „Мнемозина“ князя Одоевскаго; а въ Петербургѣ, рядомъ съ продолжавшею издаваться „Полярною Звѣздою“, вышелъ „Майскій Листокъ, весенній подарокъ для любителей и любителей отечественной поэзіи“, изданный Бестужевымъ-Рюминымъ. Съ 1825 года количество альманаховъ и сборниковъ возрастаетъ уже до такой степени, что за ними даже трудно услѣдить, и подробное перечисленіе ихъ мы считаемъ излишнимъ. Упоминаемъ здѣсь только объ одномъ изъ этихъ сборниковъ — о „Сѣверныхъ Цвѣтахъ“ Дельвига. Поводъ къ изданію Сѣверныхъ Цвѣтовъ былъ слѣдующій. Первая книжка Полярной Звѣзды была напечатана извѣстнымъ и весьма почтеннымъ книгопродавцемъ И. В. Слѣпнинымъ, который въ средѣ современныхъ литераторовъ пользовался, за свое безкорыстіе, такимъ же почетомъ и уваженіемъ, какимъ впоследствии пользовался только одинъ Смирдинъ. Когда, на слѣдующій годъ, составители „Полярной Звѣзды“ нашли болѣе выгоднымъ принять на себя и всѣ издержки по изданію альманаха, Слѣпнинъ, зная связи Дельвига въ литературномъ кругу, предложилъ ему составить альманахъ въ родѣ Полярной Звѣзды и вызвался быть его издателемъ.

Первая книжка „Сѣверныхъ Цвѣтовъ“

явилась въ началѣ января 1824 года. Почти всѣ литературныя знаменитости и извѣстности того времени приняли участіе въ альманахѣ Дельвига: Пушкинъ, Жуковский, Крыловъ и Баратынскій явились здѣсь рядомъ съ Воейковымъ, Востоковымъ, кн. Вяземскимъ, О. Глинкой, Гвѣдичемъ, Измайловымъ, Ободровскимъ, Плетневымъ и многими другими, менѣе замѣтными писателями. „Сѣверные Цвѣты“ издавались въ теченіе семи лѣтъ (съ 1824 по 1832 г.), съ одинаковымъ успѣхомъ, потому что Дельвигъ съ замѣчательнымъ искусствомъ и тактомъ умѣлъ поддерживать литературныя связи и, мало-по-малу, сгруппировалъ около себя очень дружный литературный кружокъ¹⁾, къ которому, кромѣ вышепомянутыхъ лицъ, примкнули поэты и Веневитиновъ, и Подолнскій, и Гоголь. Обиліе матеріала, скоплавшагося въ рукахъ Дельвига, давало ему возможность не только принимать участіе въ чужихъ альманахахъ (напр. въ альман. „Царское Село“ бар. Розена и въ „Денницѣ“ Максимовича), но даже извлекать матеріалъ, остававшійся отъ „Сѣверныхъ Цвѣтовъ“, въ видѣ новыхъ сборниковъ. Такъ въ 1820 г., изъ того лишшка матеріала, который остался въ рукахъ Дельвига отъ V кн. Сѣверныхъ Цвѣтовъ, онъ издалъ новый альманахъ „Подснежникъ“. Въ томъ же 1829 году, который біографъ Дельвига не даромъ называетъ дѣятельнѣйшимъ годомъ его жизни, Дельвигъ издалъ первое полное собраніе своихъ стихотвореній.

Въ 1829 г. Дельвигъ, ободряемый Пушкинымъ и Вяземскимъ, общавшими ему свою поддержку, задумалъ приняться за изданіе Литературной Газеты, существованію цѣлю которой было „сообщеніе читателямъ справедливыхъ и безпристрастныхъ сужденій о словесности Русской“. Изъ біографіи Пушкина мы уже знаемъ, въ какой степени эта программа Литературной Газеты сходилась по мысли съ его любимой, задушевною мечтою о возращеніи „литературной критики въ руки небольшого избраннаго кружка“. Но этой мечтѣ не пришлось осуществиться на

¹⁾ Когда осенью 1825 года Дельвигъ женился на Софѣ Михайловнѣ Салтыковой, у него стали собираться всѣ петербургскіе литераторы и образовались чрезвычайно любопытныя литературныя вечера

дѣлѣ. Литературная Газета существовала недолго. Дельвигъ заболѣлъ въ концѣ 1830 года, долженъ былъ устраниться отъ всякой журнальной и литературной дѣятельности, и скончался 14 января 1831 года.

Евгеній Абрамовичъ Баратынскій (правильнѣе Боратынскій) род. 19 февраля 1800 г. въ помѣстьи своего отца, генераль-адъютанта Абрама Андреевича Баратынскаго, селѣ Вяжлѣ (Кирсановск. уѣзда, Тамбовской губ.), пожалованномъ Абраму Андреевичу Императоромъ Павломъ. Мать поэта, Александра Θεодоровна, рожденная Черепанова, воспитывалась въ Смольномъ монастырѣ, была одною изъ лучшихъ воспитанницъ, и, по выходѣ изъ института, состояла фрейлиной при Императрицѣ Маріи Θεодоровнѣ.

Александрѣ Θεодоровнѣ пришлось самой руководить и первымъ воспитаніемъ своего сына, такъ какъ отца лишился онъ очень рано. Нѣкоторое и, можетъ быть, даже довольно значительное вліяніе на развитіе будущаго поэта долженъ былъ оказывать нѣкто Джъячинто Боргезе, старикъ-итальянецъ, занесенный Богъ вѣсть какими судьбами въ тамбовскую глушь и жившій въ домѣ отца поэта въ качествѣ дядьки при Евгеніи Абрамовичѣ. Дядька этотъ такъ сроднился съ пріютившемъ его Россією, что принялъ подъ конецъ жизни православіе и, послѣ долгихъ странствованій, мирно упокоился въ церковной оградѣ села Вяжли. Его рассказы о Римѣ и Неаполѣ, о Колизеѣ и храмѣ Петра, о Наполеонѣ и Суворовскихъ солдатахъ, словно съ неба свалившихся въ Италію, до такой степени живо сохранились въ памяти поэта, что еще за двѣ недѣли до смерти, посѣщая родину своего дядьки, онъ вспомнилъ эти рассказы въ обширномъ стихотвореніи, посвященномъ его памяти¹⁾. Послѣ домашняго воспитанія, вѣроятно довольно поверхностнаго, Баратынскій былъ зѣтъ 12-ти отъ роду отведенъ въ С.-Петербургъ, опредѣленъ сначала въ нѣмецкій пансіонъ, а вскорѣ послѣ того переведенъ въ Пажескій корпусъ.

На бѣду свою, по незнанію нѣмецкаго

языка, Баратынскій былъ помѣщенъ въ корпусъ въ классъ, несоотвѣтствовавшій его возрасту, и тѣмъ самымъ осужденъ на невольную праздность. Слѣдствіемъ такого неудачнаго опредѣленія было то, что Баратынскій, у котораго, по его возрасту, было слишкомъ много свободнаго времени, былъ вовлеченъ въ дурной товарищескій кружокъ, замѣшанъ въ его шалости и, года три спустя, исключенъ (1815) изъ корпуса „съ запрещеніемъ поступать въ какую-либо службу, кромѣ военной: и то не иначе, какъ рядовымъ“.

Эта строгая мѣра страшно подѣйствовала на несчастнаго юношу. По его собственно-



Баратынскій.

му сознанию, только чувство горячей привязанности къ матери спасло его отъ безумнаго желанія лишить себя жизни. Мать спасла сына, и большую часть своей печальной юности Баратынскій провелъ подъ ея крыломъ въ родовомъ Тамбовскомъ имѣнніи. Только уже въ 1818 г. Баратынскій вернулся въ Петербургъ для поступленія на службу, и дѣйствительно вступилъ рядовымъ въ гвардейскій Егерскій полкъ. 1819 г. Здѣсь познакомился онъ съ лицейскимъ кружкомъ Пушкина и Дельвига, а черезъ нихъ и съ Плетневымъ, и съ Жуковскимъ. Съ Дельвигомъ Баратынскому пришлось даже и жить нѣкоторое время на одной квартирѣ, въ одной комнатѣ, и

¹⁾ Подъ заглавіемъ: Дядькѣ Итальянцу (1844 г.).

симпатія, которую они взаимно почувствовали друг къ другу съ перваго свиданія, вскорѣ перешла въ самую тѣсную дружбу. Баратынскій особенно цѣнилъ въ сношеніяхъ своихъ съ Дельвигомъ то, что тотъ первый открылъ его поэтическое дарованіе, заставилъ его забыть „о суровой судьбѣ“ и „ввелъ его въ семейство добрыхъ музъ“. Дѣйствительно, Дельвигъ, безъ вѣдома самаго Баратынскаго, намечталъ его первые стихотворные опыты (въ 1819 г. въ журналахъ Благонамѣренный и Сынъ Отечества) и тѣмъ самымъ побудилъ его къ дальнѣйшимъ занятіямъ поэзіею.

Этотъ поэтический даръ, развивавшійся, какъ и вся современная европейская поэзія, на основахъ байронизма, и отчасти подъ вліяніемъ той фантастической романтики, какую внесъ къ намъ Жуковский, выразился вполнѣ въ первыхъ, наиболѣе крупныхъ произведеніяхъ Баратынскаго, и вся повдѣйшая лирика его была только повтореніемъ и развитіемъ тѣхъ-же мотивовъ, которые встрѣчались въ его произведеніяхъ между 1821—1830 гг. Баратынскій остановился въ своемъ поэтическомъ развитіи на той степени байронизма, нѣсколько мечтательнаго, разочарованнаго, скучающаго общественной жизнью и ея стѣснительными условіями, который нашелъ себѣ выраженіе въ первыхъ эпическихъ опытахъ Пушкина (Кавказскомъ Плъвникѣ, Цыганахъ, Бахчисарайскомъ Фонтанѣ и первыхъ главахъ Онегина)... Герои эпическихъ произведеній Баратынскаго чрезвычайно напоминаютъ героев Байрона и героев Пушкина, въ первой, кишиневско-одесской порѣ его развитія. Туманному и нѣсколько-грустному настроенію души поэта много способствовали, конечно, обстоятельства его молодости, упомянутыя выше, и слѣдствіемъ которыхъ была вся дальнѣйшая его военная карьера. Въ письмахъ въ другу своему, Н. В. Пугачъ, Баратынскій прекрасно выясняетъ именно эту связь обстоятельствъ жизни съ его поэтическимъ настроеніемъ, а отчасти даже и общее настроеніе всей современной молодежи, — настроеніе, изъ котораго и выработывался русскій байронизмъ, доведенный вполнѣ Лермонтовымъ до поразительныхъ красотъ и поразительныхъ крайностей; такъ напр. весною 1825 г. Баратынскій пишетъ Пугачъ:

...„На Руси много смѣшного, но я не расположенъ смѣяться. Во мнѣ веселость — усиліе гордаго ума, а не дѣла сердца. Съ самаго моего дѣтства я тяготился зависимостью и былъ утруженъ, былъ несчастливъ. Въ молодости судьба взяла меня въ свои руки. Все это служитъ пищею гению; но вотъ бѣда, я не гений“.

Произведенный въ 1820 году въ унтер-офицеры, Баратынскій переведенъ былъ въ Егерскаго полка въ Нейшлотскій, расположенный въ Финляндіи, и тамъ, въ тяжелой строевой службѣ, въ захолустыи Кюменскихъ и Роченсальмскихъ укрѣпленій, провелъ все время до весны 1825 года, когда наконецъ былъ произведенъ въ офицеры, и, выйдя въ отставку, могъ переселиться на житье въ Москву.

Суровая, непривѣтная красота финляндской природы, уже воспытыя Дмитріевымъ и Батюшковымъ, вдохновили и Баратынскаго: онъ не только посвятилъ имъ свое прекрасное стихотвореніе „Финляндія“, не только избралъ ихъ мѣстомъ дѣйствія и обстановкой поэмы Эда (1825—26 гг.), въ которой героиней явилась финляндка Эда, но и всегда сохранялъ о Финляндіи самое теплое, самое сочувственное воспоминаніе. Даже и покинувши службу въ Финляндіи и переселившись въ Москву, и очутившись снова среди родни, друзей и лучшихъ представителей современной литературы и журналистики, Баратынскій жалѣлъ о своемъ финляндскомъ удивленіи и скучаетъ по Финляндіи.

Черезъ годъ послѣ переселенія въ Москву, Баратынскій женился на Настасѣ Львовнѣ Энгельгардтъ, дѣвушкѣ прекрасно образованной и одаренной тонкимъ критическимъ умомъ. Совершенно счастливый своею семейною жизнью, найдя въ женѣ и друга, и правдиваго, безпристрастнаго судью, „ободравшаго сочувствіемъ къ вдохновенію“, Баратынскій попробовалъ было служить въ Межевой канцеляріи, но вскорѣ оставилъ службу и совершенно предался своей семейной и домашней жизни, въ которой находилъ себѣ полное удовлетвореніе. Около этого времени писалъ онъ своему старому другу, Пугачъ:

...„Я живу потихоньку, какъ слѣдуетъ женатому человѣку; но очень радъ, что промѣнялъ безпокойные сны страстей на

тихій сонъ тихаго счастья: изъ дѣйствующаго лица я сдѣлался зрителемъ, и, укрытый отъ невзасты въ моемъ углу, иногда посматриваю, какова погода въ свѣтъ". Продолжала заниматься литературою, онъ, конечно, не только поддерживалъ старыя свои связи съ Пушкинымъ, Дельвигомъ, Плетневымъ и Жуковскимъ, но вскорѣ сошелся и съ кружкомъ Московскаго Телеграфа, и съ другими московскими литераторами: И. Кирѣевскимъ, Языковымъ, Хомяковымъ. Здѣсь-то, въ Москвѣ, были написаны имъ и тщательно отдѣланы его двѣ другія поэмы: Балъ (1827) и Цыганка (1830); послѣ нихъ онъ уже не возвращался болѣе къ эпосу, и довольствовался лирикой.

Искренно и глубоко преклонялся передъ Пушкинымъ, Баратынский признавалъ свое второстепенное значеніе по отношенію къ нему, и видѣлъ въ себѣ не болѣе, какъ одного изъ представителей пушкинской плеяды, хотя Пушкинъ, со скромностью, свойственной великимъ художникамъ, и старался всѣми силами превозносить поэтическій даръ Баратынскаго и его произведенія. Свое уваженіе Баратынский чрезвычайно оригинально выражаетъ въ сохранившихся намъ письмахъ своихъ къ Пушкину, которыми щедро пересыпаетъ свѣтлыми и вѣрными критическими сужденіями о вопросахъ, поднятыхъ современною литературою.

Все время послѣ женитьбы Баратынский почти безотлучно провелъ въ Москвѣ и подлѣ Москвою, въ селѣ Мурановѣ, въ которомъ особенно ревностно предавался хозяйству и своей страсти къ постройкамъ. Хотя и послѣ 1830 года онъ еще продолжалъ писать довольно часто и охотно, и 1835 годъ, напримѣръ, по обилію написанныхъ въ теченіе его лирическихъ пьесъ, можетъ быть названъ однимъ изъ плодотвѣйшихъ годовъ въ поэтической дѣятельности Баратынскаго, однакоже спокойная семейная жизнь и мирная деревенская обстановка ея начинали мало-по-малу одолевать Евгенія Абрамовича. Одна изъ литературныхъ, наиболѣе дорогихъ ему связей, порывала судьба: — умеръ Дельвигъ, затѣмъ погибъ преждевременно Пушкинъ. Другія связи порывались сами собою, и Баратынский о нихъ не жалѣлъ и не завывалъ новыхъ, мало-по-малу отодвигаясь отъ литературнаго поприща въ тишину своего

новаго, уже не финляндскаго, а подмосковнаго уединенія.

Стихотворенія Баратынскаго при жизни его вышли двумя изданіями, въ 1827 и въ 1835 гг.; въ 1842 году онъ собралъ все, что было имъ написано послѣ 1835 года, и выдалъ въ свѣтъ въ видѣ сборника, подъ однимъ общимъ заглавіемъ „Сумерки“.

Незадолго до смерти Баратынскому удалось привести въ исполненіе любимую мечту свою о путешествіи за границу и о посѣщеніи Италіи, въ которую онъ такъ давно и такъ страстно стремился, какъ въ обѣтованную страну поэтовъ. Еще въ 1841 году, съ жаромъ бесѣдуя о путешествіи въ Италію, онъ однажды воскликнулъ экспромптомъ:

Небо Италіи, небо Торквата,
Прахъ поэтической древняго Рима,
Родина нѣги, славой богата,
Будешь-ли нѣкогда мною ты зрима?
Рвется душа, нетерпѣливѣе объята,
Къ гордымъ остаткамъ падшаго Рима.
Снятся мнѣ горы, лѣса благовонны,
Снятся упавшихъ чертоговъ колонны!

Осенью 1843 года этимъ мечтамъ суждено было осуществиться. Зиму 1843 и 1844 года Баратынский провелъ вмѣстѣ съ женою своею въ Парижѣ, въ обществѣ А. И. Тургенева и первыхъ современныхъ французскихъ знаменитостей: Виньи, С. Гёва, братьевъ Тьерри, Нодье, Мерима, Ламартина и Гизо. Весною 1844 г. Баратынский отправился черезъ Марсель въ Неаполь, и при перѣздѣ моремъ—во время перваго своего морскаго путешествія — написалъ одно изъ послѣднихъ, превосходное свое стихотвореніе: „Пироскафъ“. Стихотвореніе это едва успѣло явиться въ Россіи, на страницахъ Современника, который издавался тогда подлѣ редакціи Плетнева. Какъ уже поэтъ не стало... Онъ умеръ въ Неаполѣ скоропостижно, въ самый Петровъ день (лѣтомъ 1844 г.). Тѣло его было перевезено въ Россію и погребено на Александро-Невскомъ кладбищѣ, рядомъ съ могилами Крылова и Гнѣдича.

Вступая на берегъ Италіи, Баратынский уносился мечтою къ отдаленнымъ временамъ своего дѣтства:— послѣднимъ его стихотвореніемъ было воспоминаніе о Дядѣ-Итальянцѣ; въ заключительной строфѣ этого стихотворенія, удивляясь странной

судьбѣ бѣднаго странника, нашедшаго себѣ успокоеніе въ снѣгахъ его родины, онъ восклицалъ между прочимъ:

Миръ сердцу твоему далъ пасмурный навѣсъ
Мателю полгода скрываемихъ небесъ,
Отчина тощихъ мховъ, степей и древъ иглистыхъ!
О спи! безгрѣзно спи въ предѣлахъ нашихъ
льдиныхъ.

Лелѣй, по-своему, твой подземельный сонъ
Нашъ бурнодышущій, полночный Аквилонъ,
Не хуже вѣющій забвельемъ и покоемъ,
Чѣмъ вздохъ южные съ душистыхъ нѣтъ упоетъ.

Создавая эти гармоническія строки, поэтъ и не думалъ о томъ, что его постигнетъ противуположная судьба, и что ему придется найти себѣ мѣсто успокоенія подъ „небомъ Италіи, небомъ Торевата“, которое такъ манило его съ дальняго сѣвера своими поэтическими красотоми.

Николай Михайловичъ Языковъ род. въ Симбирской губ., 4 марта 1803 г.; отецъ Языкова, Михаилъ Петровичъ, зажиточный помѣщикъ и гвардіи прапорщикъ въ отставкѣ, умеръ въ 1819 г. Мать поэта, Екатерина Александровна, урожденная Ермолова, ум. въ 1831 году. О дѣтствѣ его и домашнемъ воспитаніи не сохранилось положительно никакихъ свѣдѣній. Извѣстно только то, что по 11-му году онъ привезенъ былъ въ Петербургъ и отданъ въ Институтъ горныхъ инженеровъ, въ которомъ уже воспитались до этого времени его старшіе братья, Александръ Михайловичъ и Петръ Михайловичъ, извѣстный минералогъ. Въ институтѣ пробылъ юный Языковъ ровно шесть лѣтъ, но наука не давалась ему и охота къ ней не проявлялась нисколько... Только къ изученію словесности и къ чтенію авторовъ выказалъ юноша нѣкоторую склонность, и то благодаря усердному руководствованію и стараніямъ Алексѣя Дмитриевича Маркова, занимавшаго мѣсто учителя словесности при институтѣ. О немъ всегда вспоминалъ Языковъ съ большою признательностію, и отзывался объ этомъ наставникѣ своемъ, какъ о человѣкѣ „съ блистательнымъ умомъ, самобытнымъ просвѣщеніемъ и поэтическимъ огнемъ“. Дѣйствительно, А. Д. Марковъ первый угадалъ въ Языковѣ его будущее призваніе, заставлялъ его читать и изучать Ломоносова и

Державина, воощрять его къ занятіямъ литераторскою, выправлялъ и хвалилъ его первые опыты. Въ 1820 году Языковъ кончилъ курсъ въ Горномъ институтѣ и послѣ весьма непродолжительнаго пребыванія въ Инженерномъ училищѣ — въ которое онъ попалъ такими же неисповѣданными судьбами, какъ и въ Горный институтъ — молодой Языковъ бросилъ школу и вступилъ въ жизнь. Предавшись съ большимъ увлеченіемъ своей поэтической дѣятельности, которая въ то обильное поэтами время столь многихъ увлекала и обильчала возможностью быстрой извѣстности, Языковъ сталъ съ 1822 г. помѣщать довольно много первыхъ своихъ стихотворныхъ опытовъ въ „Новостяхъ Литературы“ и въ „Соревнователѣ Просвѣщенія“; очень быстро успѣлъ онъ обратить на себя вниманіе бойкостью и смѣлою новизною своего поэтического языка и замѣчательно-легкимъ складомъ своего стиха, въ которомъ ярко и легко передавалъ нехитрыя впечатлѣнія своей юности — воспѣванія Харити, вина и дружбы. Онъ сталъ вскорѣ извѣстенъ въ литературныхъ кружкахъ петербургскихъ; но юношу-поэта это не удовлетворяло: ему хотѣлось серьезно поучиться, и лучшимъ путемъ къ наукѣ казался ему университетъ. Вѣроятно по совету уже извѣстнаго намъ А. О. Воейкова (родственника Жуковского), молодой Языковъ, несмотря на свои чисто-русскія наклонности, рѣшился избрать именно Дерптскій университетъ, и, записавшись рекомендательными письмами Воейкова, онъ вскорѣ уѣхалъ въ Дерптъ, а съ начала 1822 учебнаго года и сталъ посѣщать лекціи Дерптскаго университета.

Едва-ли можетъ подлежать какому-либо сомнѣнію то, что пребываніе въ Дерптѣ повлияло очень дурно на молодого русскаго поэта. Его очень широкая натура нашла себѣ слишкомъ большой просторъ въ этомъ необширномъ городкѣ, въ которомъ студентство играло важнѣйшую роль и не стѣснялось въ проявленіяхъ своего молодого буйства и разгула никакими условіями, приличіями и требованіями общественнаго мнѣнія. Тотъ разгулъ и просторъ, тѣ шумныя и необузданныя пиршества, тѣ проказы товарищеской студентеской среды, которые составляли тогда и теперь еще составляли почти необходимую ступень развитія для

серьезнаго нѣмца передъ его окончательнымъ вступленіемъ въ жизнь сухо-дѣловую и пунктуально-расчетливую—вся эта обстановка оказалась положительно вредною для Языкова, можно почти сказать: загубила его. Всю немногосложную и очень небогатую фактами біографію этого талантливаго поэта, благодаря его пребыванію въ Дерптскомъ университетѣ, очень не трудно подраздѣлить на два періода: — на молодость, длившуюся очень недолго, очень шумную и разгульную, и, въ то же время, очень бѣдную впечатлѣніями; и на довольно продолжительную, преждевременную старость, со всѣми ея тягостями, болѣзнями, страданіями, странствованіями на воды и безплодными затратами силъ и времени на несомнѣемые лѣченія, которыми приходилось расплачиваться за безумія молодости. Результатомъ слишкомъ шестилѣтняго пребыванія Языкова въ Дерптѣ было то, что онъ все же никакъ не могъ отрѣшиться отъ увлеченій шумнаго разгула и, наконецъ, долженъ былъ отказаться отъ всякой надежды на возможность выдержать экзамены и получить дипломъ. Такъ въ 1829 году, уже пользуясь весьма почетною извѣстностью, какъ поэтъ оригинальный и талантливый, Языковъ все же покинулъ Дерптъ „студентомъ безпатентнымъ“. Нельзя однакоже не отмѣтить въ періодѣ этого шестилѣтняго буршества одинъ очень свѣтлый мигъ, который оставилъ въ душѣ Языкова яркій слѣдъ на всю остальную жизнь. Не трудно угадать, что мы говоримъ здѣсь о томъ лѣтѣ 1826 г., которое Языкову удалось провести въ Тригорскомъ, почти въ ежедневныхъ, дружескихъ сношеніяхъ съ Пушкинымъ, тогда уже находившимся на вершкѣ своей поэтической славы. „Я вопрошалъ совѣсть мою и внималъ ея отвѣтамъ“—имѣеть Языковъ къ Вульфѣ въ февралѣ 1827 г.—„и не нахожу во всей моей жизни ничего подобнаго, красотою нравственною и физическою, ничего пріятнѣйшаго и достойнѣйшаго сіять золотыми буквами на юскѣ памяти моего сердца — нежелю лѣто 1826 года!“ Еще въ 1824 г. Пушкинъ уже желалъ познакомиться съ Языковымъ, котораго зналъ тогда только по первымъ его произведеніямъ, отмѣченнымъ печатью несомнѣннаго дарованія; но только въ 1826 году удалось имъ сойтись и подружиться, и

дружба ихъ уже не прекращалась до самой смерти Пушкина. Для Языкова эта дружба послужила источникомъ чистѣйшаго поэтического вдохновенія и побудила его создать цѣлый рядъ превосходныхъ піесей, въ которыхъ поэтический союзъ и поэтическая обстановка Тригорскаго и Михайловскаго нашли себѣ достойный отголосокъ. Въ біографіи Пушкина мы упоминали о стихотвореніи, въ которомъ Языковъ воспѣлъ Тригорское и увѣковѣчилъ память того веселья, которымъ такъ щедро надѣлило поэтовъ общество милыхъ сосѣдей; въ біографіи Языкова какъ нельзя болѣе уместно будетъ привести другое, менѣе извѣстное, но весьма замѣчательное стихотвореніе, въ которомъ, обращаясь къ памяти Пушкина, онъ превоз-



Языковъ.

сходно рисуетъ намъ типъ той любопытной старушки и того уединенія, въ которомъ ея возлюбленный питомецъ писалъ лучшія главы „Онѣгина“ и создавалъ „Бориса Годунова“:

„Свѣтъ Родионовна! забуду ли тебя?
Въ тѣ дни, какъ, сельскую свободу возлюбя,
Я покидалъ для ней и славу, и науки,
И нѣмцевъ, и сей градъ профессоровъ и скуки,—
Ты, благодѣтельная хозяйка стѣн той,
Гдѣ Пушкинъ, не сраженъ суровою судьбой,
Презрѣвъ людей, молву, нѣтъ ласки, нѣтъ нѣмцы,
Священнодѣйствовалъ при алтарѣ Камены!
Всегда привѣтами сердечной доброты
Вотрѣчала ты меня, мнѣ здравствовала ты;
Когда чрезъ длинный рядъ полей, подъ зноємъ лѣта,
Ходилъ я навѣщать изгнанника-поэта...

Какъ сладостно твое святое хлѣбосольство
Намъ баловало вкусъ и жажда самолюбство!
Съ какими радушіемъ—красою древнихъ лѣтъ—
Ты набирала намъ затѣйливый обѣдъ!
Сама и водку намъ, и брашна подавала,
И соты, и плоды, и вина уставляла
На милой тѣсотѣ стариннаго стола!
Ты занимала насъ—добра и весела—
Пре стародавнихъ баръ плѣнительныхъ разсказомъ:
Мы удивлялись почтеннымъ ихъ проказамъ;
Мы вѣрили тебѣ—и смѣхъ не прерывалъ
Твоихъ безхитростныхъ сужденій и похвалъ;
Свободно говорилъ языкъ словоохотливый—
И легкіе часы летѣли беззаботно!”

И гораздо позднѣе, въ 1831 году, Языковъ посвятилъ еще одно прекрасное стихотвореніе воспоминаніямъ Тригорскаго и Михайловскаго, до поводу полученнаго имъ извѣстія о смерти Артыя Родіоновны... Видно, что съ этими милыми, лучшими воспоминаніями юности глубоко и тѣсно сроднилось его поэтическое вдохновеніе!

Почти тотчасъ по выѣздѣ изъ Дерпта, начался для Языкова второй и горестный періодъ его жизни, который мы выше назвали періодомъ преждевременной старости... Повидимому, дѣйствующій здоровьемъ и силами, 26-ти-лѣтнимъ юношей вернулся онъ на житіе въ Москву. Обладавъ независимымъ состояніемъ, онъ могъ свободно распоряжаться собою и судьбой своей... Можно было ожидать для Языкова блестящей будущности и громкой славы... Но вышло иначе... Какъ человѣкъ состоятельный, Языковъ могъ уклониться отъ общей въ то время, почти для всѣхъ обязательной, служебной карьеры: едва заглянувъ на службу въ тотъ же Межевой Департаментъ, въ которомъ одно время служилъ и Баратынскій, Языковъ уже тяготился службою, и вышелъ въ отставку, собираясь уѣхать въ деревню, и тамъ окончательно „посвятить себя Музамъ, и работать для славы“. Но этимъ мечтамъ не суждено было сбыться: вскорѣ послѣ поселенія въ деревнѣ, Языковъ сталъ хворать и вынужденъ былъ лѣчиться. Всѣ досуги его поглощались вынужденными заботами о здоровьи, и поэзій приходилось посвящать себя только урывками. Въ концѣ 1835 и въ 1836 году, во время довольно продолжительныхъ перерывовъ болѣзни, Языковъ оживалъ и строилъ

обширные планы, чувствуя въ себѣ избытокъ творческихъ силъ: „принимаясь за большіе труды“—писалъ онъ другу своему Вульфъ въ 1836 г.:— „можно мнѣ мелочничать“... И дѣйствительно, около этого времени было написано имъ одно изъ лучшихъ и наибольшихъ произведеній его—драматическая сказка „Жаръ-Птица“. Но перерывъ болѣзни длился не долго

Какъ ни старался вновь пользоваться какою свѣтлой минутой своей жизни, усердно работая для современныхъ альманаховъ (Сѣверные Цвѣты, Дѣяніца Максимовича), а потомъ участвуя въ Московскомъ Наблюдателѣ и Москвитинѣ,—хвораніи, неизлѣчимый недугъ, мало-по-малу одолевалъ его, и наконецъ, сломилъ его силу... Въ 1837 году болѣзнь усилилась до такой степени, что Языковъ долженъ былъ поѣхать на воды и лѣчиться за границей, цѣлыхъ пять лѣтъ. Памятью этихъ скитаній за границей остался цѣлый рядъ прекрасныхъ картинъ природы въ стихотвореніяхъ: „Маякъ“, „Гастуна“, „Морское купанье“, „Корабль“, „Море“, и въ цѣломъ рядѣ элегій, написанныхъ въ Швейцаріи и Италіи. Къ концу пребыванія за границей надежда на выздоровленіе—увяла!—должна была наконецъ покинуть Языкова, и онъ выразилъ овладѣвшее имъ чувство сомнѣнія въ слѣдующемъ прекрасномъ элегическомъ отрывкѣ:

„Богъ вѣсть, не вступилъ ли скитался
Въ чужихъ странахъ я много лѣтъ!
Мой черныи день не разгулялся,
Мнѣ утѣшены вѣтъ какъ вѣтъ!
Печальный, трепетный и томный,
Назадъ, въ отеческій мой докъ,
Спѣшу, какъ птица въ кустъ укромный
Спѣшить, забята дождь!“ (1841 года).

И онъ вернулся (осенью 1843 г.) на родину, поселился въ Москвѣ, и здѣсь, notwithstanding своимъ тяжелымъ недугомъ, прожилъ еще три года. Онъ не могъ уже часто и подолгу предаваться своимъ любимымъ занятіямъ, и писалъ немного; но поэтическое настроеніе его, подъ вліяніемъ тяжелыхъ страданій, уже не возвращалось болѣе къ прежнимъ, легкимъ и веселымъ темамъ, не удовлетворялось болѣе и элегическимъ преимущественно сосредоточивалось на религиозныхъ созерцаніяхъ, и лучшими изъ

его стихотвореній послѣднихъ трехъ лѣтъ являются именно такіа стихотворенія, какъ: „Самсонъ“, „Подражаніе псалму“ (Блаженъ кто мудрости высокой послушенъ сердцемъ и умомъ) и „Землетрясеніе“. Одинъ изъ друзей Языкова сохранилъ намъ слѣдующія любопытныя подробности о послѣднихъ дняхъ его жизни:

„Въ половинѣ декабря 1846 года Языковъ простудился; къ застарѣвшей 15-ти-лѣтней болѣзни присоединилась горячка. Онъ считалъ ее за предназначеніе своей близкой смерти... Напрасно друзья старались разуверить его въ такомъ печальномъ убѣжденіи; онъ былъ непоколебимъ, и серьезно сталъ готовиться къ смерти: пригласилъ священника совершить послѣдній долгъ христіанина, сдѣлалъ нужныя, похоронныя распоряженія, назначилъ даже, кого пригласить на свои похороны, и заказалъ блюда для похороннаго обѣда“...

26-го декабря 1846 г. поэта не стало; его похоронили въ Даниловомъ монастырѣ.

При жизни Языкова вышло три собранія его стихотвореній: первое явилось въ 1833 году, второе и третье въ 1844 и 1845 гг. Отзывы о произведеніяхъ Языкова были несравненно болѣе разнорѣчны, нежели отзывы о поэзіи другихъ представителей пушкинскаго періода. Самъ Пушкинъ былъ на столько же пристрастенъ въ своихъ мнѣніяхъ о Языковѣ, на сколько и во взглядѣ на Баратынскаго и Дельвига, какъ поэтовъ. Вообще согласиться въ этомъ отношеніи со взглядами Пушкина невозможно, и если-бы мы стали сравнивать поэзію Языкова, по внутреннему ея содержанію и по внѣшней формѣ, съ поэзіей Баратынскаго и Дельвига, то мы должны были-бы прійти къ тому заключенію, что она блѣднѣе всѣхъ ихъ содержаніемъ и всѣхъ богаче, всѣхъ рос-

кошнѣе своею внѣшней формой стиха и поэтическаго выраженія мысли. По справедливому замѣчанію одного изъ современниковъ, Языковъ преимущественно „поэтъ выраженія“. Гоголь отчасти повторилъ то же самое въ своемъ остроумномъ отзывѣ о Языковѣ, сказавъ, что „не даромъ пришлось ему имя Языковъ: владѣть онъ языкомъ, какъ арабъ дикимъ коземъ своимъ, и еще какъ-бы хвастается своею властію: откуда ни начнетъ періодъ,—съ головы ли, съ хвоста,—онъ выведетъ его картинно, и заключитъ такъ, что остановишься пораженный“.

Бѣлинскій, строгій и рѣзкій въ сужденіяхъ своихъ о современной литературѣ, встрѣтилъ второе изданіе стихотвореній Языкова подробнымъ критическимъ разборомъ, въ которомъ очень мѣтко опредѣлялъ настоящее значеніе Языкова, какъ поэта, въ исторіи нашей литературы: „Смѣлыя, по ихъ оригинальности, стихотворенія Языкова—говоритъ Бѣлинскій—имѣли на общественное мнѣніе такое же полезное вліяніе, какъ проза Марлинскаго: они дали возможность каждому писать не такъ, какъ всѣ пишутъ, а какъ онъ способенъ писать, слѣдственно каждому дали возможность быть самимъ собою въ своихъ сочиненіяхъ. Это было задачею всей романтической эпохи нашей литературы, задачею, которую она счастливо разрѣшила“—и честь разрѣшенія такой мудреной задачи, добавимъ мы въ заключеніе этой главы, принадлежитъ несомнѣнно тѣмъ представителямъ пушкинской плеяды, которые на столько же способствовали распространенію въ публикѣ идей пушкинской поэзіи, на сколько и завлекали къ чтенію богатствомъ и разнообразіемъ внѣшности своихъ поэтическихъ созданій.



XVII.

А. С. Грибоѣдовъ.—Гусарство и первые литературные опыты.—Служба въ миссіи и „Горы отъ ума“—Неудачи и разочарованія.—Приниреніе съ жизнью и успѣхи по службѣ.—Трагическая смерть.

Рядомъ съ Пушкинымъ, въ толпѣ окружающихъ его современниковъ-поэтовъ, видимъ мы и Грибоѣдова, который былъ всего четырьмя годами старше Пушкина. Но всѣ поэты пушкинскаго періода, не исключая даже и самого Лермонтова, повторяли и развивали на множество ладовъ тѣмъ пушкинской поэзіи, подражая ему и въ самыхъ приемахъ изложенія; одинъ только Грибоѣдовъ является совершенно самостоятельнымъ, независимымъ отъ Пушкина и вообще относится къ пушкинскому періоду нашей литературы точно также, какъ Крыловъ къ карамзинскому—только по времени своей литературной дѣятельности,—никакъ не по содержанію ея.

Александръ Сергѣевичъ Грибоѣдовъ (род. 4 янв. 1795, ум. 1829 г.) принадлежить къ числу немногихъ нашихъ поэтовъ, получившихъ правильное и хорошее образованіе. Онъ имѣлъ возможность воспользоваться въ домѣ родителей превосходнымъ воспитаніемъ. Грибоѣдова основательно обучали не одному французскому языку, но и латинскому и нѣмецкому, и даже музыкѣ учили серьезно, знакомя его не только съ практическою, но и съ теоретическою стороною этого искусства. Съ 1810 г. Грибоѣдовъ поступилъ вольнослушателемъ въ университетъ и при выпускѣ получилъ степень кандидата правъ. Но 1812 годъ и ему, какъ большей части тогдашняго русскаго юношества, становится поперекъ дороги: 17-ти-лѣтній Грибоѣдовъ бросаетъ все, поступаетъ корнетомъ въ Солтыковскій гусарскій полкъ, и въ 1813 г. является уже въ Брестъ-Литовскѣ, въ Иркутскомъ гусарскомъ полку... Объ этомъ пребываніи своемъ въ гусарахъ Грибоѣдовъ не могъ вспомнить безъ особеннаго негодованія, и утверждалъ, что „пробывъ всего четыре мѣсяца въ этой дружинѣ, пѣлыхъ четыре года потомъ не

могъ попасть на путь истинный“. Кажется, что только дружбѣ съ Степаномъ Нивитичемъ Бѣгичевымъ обязанъ былъ Грибоѣдовъ избавленіемъ отъ гусарства и переселеніемъ въ Петербургъ (1815 г.), гдѣ онъ по выходѣ въ отставку (1816 г.), опредѣлился въ 1817 году на службу въ Коллегію иностранныхъ дѣлъ. Тамъ вѣроятно и познакомился онъ съ Пушкинымъ, хотя никогда не могъ съ нимъ сблизиться, потому что принадлежалъ, съ самаго начала своей литературной дѣятельности, къ такому кружку литераторовъ (князь Шаховской, Катенинъ, Жандръ, Корсаковъ, Хмѣльницкій), который ничего не имѣлъ общаго съ Арзамасомъ и его членами, а къ Карамзину и Жуковскому относился даже непріязненно. Нельзя однакоже не замѣтить, что начало авторской дѣятельности Грибоѣдова не обѣщало ничего замѣчательнаго въ будущемъ: на поприщѣ литературы выступилъ Грибоѣдовъ, помѣстивъ въ „Вѣстникѣ Европы“ описаніе какого-то полкового праздника, и потомъ, попавъ въ кружокъ актеровъ и вышепоименованныхъ нами драматическихъ писателей, Грибоѣдовъ сталъ писать комедіи, то одинъ, то въ компаніи съ Жандрою и Хмѣльницкимъ. Такъ въ 1816 году играна была на петербургской сценѣ первая комедія Грибоѣдова — „Молодые супруги“; затѣмъ въ слѣдующемъ году комедія „Притворная невѣрность“, переведенная Грибоѣдовымъ и Жандрою, и комедія Шаховскаго: „Своя семья“, въ которой перу Грибоѣдова также принадлежало нѣсколько сценъ. Но все это не представляло никакого серьезнаго интереса и болѣе служило забавой для Грибоѣдова, нежели выраженіемъ той дѣйствительной силы духа, которая въ немъ крылась и обнаружилась не скоро... Свѣтская, съ нѣкоторымъ отбѣнкомъ гусарства, разсѣянная, а по-тѣ-

часть и разгульная жизнь — жизнь, при которой здоровье, силы, время и деньги не принимались вовсе въ расчетъ, — даже и при замѣчательныхъ способностяхъ Грибодова, не могла, конечно, способствовать развитію его поэтическаго дара. По счастью, Грибодову не пришлось долго идти той набитой колеей, на которую онъ вступилъ такъ рано: случай отвлекъ его отъ свѣтской жизни, заставилъ забыть о свѣтѣ и развлеченіяхъ, въ глубокомъ уединеніи далъ поэту возможность обдумать произведеніе, составившее его славу, и въ основу котораго былъ положенъ имъ рано пріобрѣтенный въ свѣтѣ горькій опытъ наблюденій надъ окружающею его толпою. Въ 1818 году Грибодову предложено было мѣсто секретаря посольства въ Персію, — и онъ его принялъ.

30-го августа 1818 года Грибодовъ выѣхалъ изъ Петербурга въ Москву и далѣе на Кавказъ. Чрезвычайно любопытно то письмо его съ дороги къ Бѣгичеву, въ которомъ онъ описываетъ свое пребываніе въ Москвѣ и высказываетъ, между прочимъ, нѣсколько замѣтокъ, прекрасно характеризующихъ его личность.

Судя по этому письму и по стихотворенію „Прости, отечество!“ — которое было написано Грибодовымъ не задолго до отъѣзда на Кавказъ, — должно предполагать, что онъ охотно уѣзжалъ въ даль, ожидая отъ пребыванія въ новой для него, полудикой странѣ свѣжихъ и сильныхъ впечатлѣній, до которыхъ постоянно былъ страстнымъ охотникомъ. И дѣйствительно, не смотря на многосложность занятій по своей новой должности, не смотря на то, что онъ долженъ былъ посвятить значительную долю времени изученію восточныхъ языковъ, Грибодовъ однакоже успѣлъ въ своемъ далекомъ уединеніи на столько сосредоточиться и окрѣпить духомъ, что въ 1821 году задумалъ написать свою извѣстную комедію, которую и написалъ, въ 1822 г., въ теченіе своего пребыванія въ Грузіи, куда онъ въ это время былъ переведенъ на службу изъ Персіи ¹⁾. Впрочемъ, комедія его потому долго и много разъ передѣлывалась, перерабатывалась отдѣльными частями и была вполне окончена только уже въ 1823 году, когда, отправившись въ отпускъ въ

Москву, онъ провелъ тамъ около года. Третій и четвертый акты „Горя отъ ума“ были, между прочимъ, написаны Грибодовымъ въ Екатерининскомъ (Тульской губерніи, Елифановскаго уѣзда), имѣніи С. Н. Бѣгичева; Грибодовъ жилъ тамъ, послѣ свадьбы своего друга, лѣтомъ 1823 года, въ садовой бесѣдкѣ, гдѣ и были написаны вышеупомянутыя части его знаменитой комедіи. Окончивъ свою комедію и приготовивъ ее къ постановкѣ на сцену, Грибодовъ отправился въ Петербургъ, гдѣ однакоже никакія, самыя энергическія усилія, никакія знакомства и связи въ высшемъ



Грибодовъ.

кругу, никакія уступки и урѣзки въ комедіи не помогли Грибодову: — цензура не пропустила его комедіи, и постановка ее на сцену оказалась дѣломъ совершенно невозможнымъ.

Невозможность увидѣть свою комедію ни въ печати, ни на сценѣ тѣмъ болѣе должна была раздражать Грибодова, что его комедія, распространяясь въ безчисленномъ множествѣ списковъ, всѣхъ приводила въ неописанный восторгъ, и не смотря на то, что она явилась одновременно съ другимъ замѣчательнымъ произведеніемъ, — „Евгеніемъ Онѣгиннымъ“ — слава Пушкина не могла затмить славу Грибодова. Кстати, не мѣшаетъ замѣтить, что Пушкинъ, про-

¹⁾ Онъ состоялъ при А. П. Ермоловѣ для занятій по дипломатической части.

читавъ Горю отъ ума, отнесся къ нему очень строго, и, при всѣхъ достоинствахъ, находилъ въ комедіи Грибоедова много крупныхъ недостатковъ. Такая строгость служить важнымъ свидѣтельствомъ въ пользу комедіи Грибоедова, тѣмъ болѣе, что вообще Пушкинъ былъ, какъ извѣстно, очень снисходителенъ ко всякимъ талантамъ, а друзей своихъ превозносили похвалами даже и гораздо болѣе, нежели они того заслуживали.

Неудача, испытанная Грибоедовымъ по отношенію къ его комедіи, еще болѣе должна была въ немъ усилить недовольство настоящимъ, съ которымъ и прежде, лѣтъ за семь до этого времени, онъ никогда не чувствовалъ никакого расположенія примириться. Желчный, саркастическій тонъ его писемъ, который становится особенно бѣднымъ за это время, ясно свидѣлствуетъ о томъ, что ему жилось очень не весело, тѣмъ болѣе, что онъ уже неспособенъ былъ къ прежнему беззаботному и вѣтренному разгулу, и смотрѣлъ на жизнь серьезно, видѣлъ цѣль предъ собою — и не видѣлъ никакой возможности достиженія ея въ будущемъ. Горько жалуется онъ на полную неопредѣленность положенія своего, на свою одинокость „среди глупцовъ“, которыхъ онъ видитъ около себя „уже слишкомъ много“...

Ничего не добившись, еще болѣе разочарованный въ людяхъ, нежели прежде, Грибоедовъ слѣшилъ оставить столицу, среди шума которой чувствовалъ себя неспособнымъ къ литературной дѣятельности, собирався отправиться за границу, но путешествіе это почему-то ему не удалось; тогда онъ съ удовольствіемъ сталъ помышлять о возвращеніи въ Грузію. Онъ отправился туда черезъ южную Россію и Крымъ, который ему уже давно хотѣлось видѣть... Но и здѣсь разочарованіе, недовольство собой и людьми не оставляли его ни на минуту. „Ну, вотъ почти три мѣсяца я провелъ въ Тавридѣ“ — пишетъ онъ въ одномъ изъ своихъ писемъ; — „а результатъ — нуль. Ничего не написалъ. — Не знаю, не слишкомъ-ли я отъ себя требую? Умѣю-ли писать? Право, для меня все еще загадка. Что у меня съ набыткомъ найдется, что сказать — за это ручаюсь; отчего же я нѣмъ? Нѣмъ, какъ гробъ!“

...„Еще игра судьбы нестерпимая: весь вѣкъ желаю гдѣ-нибудь найти уголокъ для уединенія, и нѣтъ его для меня нигдѣ. Пріѣзжаю сюда (въ Симферополь), никого не вижу, не знаю и знать не хочу. Это продолжалось не болѣе сутокъ; потому-ли, что фортепианная репутация моей сестры извѣстна, или чутьемъ открыли, что я умѣю играть вальсы и кадрили: ворвались ко мнѣ, осыпали привѣтствіями, и маленький городокъ сдѣлался мнѣ тошнѣе Петербурга. — Мало этого; наѣхали путешественники, которые меня знаютъ по журналамъ: сочинитель Фамусова и Скалозуба — слѣдовательно веселый человѣкъ. Тѣфу злодѣйство! да мнѣ не весело, скучно, отвратительно, несносно!... И то неправда. Иногда слишкомъ ласкали мое самолюбіе, знаютъ наизусть мои рѣчи, ожидаютъ отъ меня, чего я могу быть не въ силахъ исполнить: такимъ образомъ, я нажилъ кучу новыхъ друзей, а время потерялъ, и вообще утратилъ силу характера, которую начиналъ приобретать на перекладныхъ. Подожду, авось придутъ въ равновѣсіе мои замыслы безпредѣльные и ограниченныя способности“.

Въ началѣ 1826 г., вскоре послѣ того, какъ на Кавказъ дошли первыя извѣстія о событіяхъ 14-го декабря, къ Ермолову былъ присланъ фельдъегерь съ приказаніемъ немедленно арестовать Грибоедова и выслать его въ Петербургъ, захвативъ всѣ его бумаги. Оказалось, что Грибоедовъ, нѣкогда знакомый и близкій ко многимъ изъ числа декабристовъ, былъ тоже заподозрѣнъ и привлеченъ къ обширному, тогда только что начавшемуся слѣдствію. Твердо увѣренный въ своей полной невинности, Грибоедовъ велъ себя на допросѣ весьма спокойно и ни на минуту не прерывалъ полярнымъ арестомъ своихъ занятій поэзіей. Въ іюнѣ 1826 года онъ былъ наконецъ оправданъ, освобожденъ изъ-подъ ареста и даже получилъ слѣдующій чинъ. Послѣ различныхъ колебаній и сомнѣній, Грибоедовъ, противъ воли своей, долженъ былъ снова возвратиться въ Грузію, гдѣ продолжалъ службу при Ермоловѣ, а потомъ при своемъ родственникѣ, графѣ Паскевичѣ-Эриванскомъ. Отъ конца 1826 года осталось намъ очень замѣчательное письмо Грибоедова къ Бѣлгичеву, ясно обрисовывающее, что въ немъ совершался какой-то тяжелый нравственный

поворотъ, въ смыслъ вынужденнаго примиренія съ дѣйствительностью, которая была ему несносна, но которую онъ не чувствовалъ себя въ силахъ измѣнить, отъ которой не видѣлъ возможности уклониться.

...„Я принялъ твой совѣтъ“, — пишетъ Грибоѣдовъ — „пересталъ уминчать; со всѣми выдаюсь, слушаю всякій вздоръ и нахожу, что это очень хорошо. Какъ-нибудь дойду до смерти, а тамъ увидимъ, больше-ли толку, Тифлискаго или Петербургскаго“. Нѣсколько далѣе, въ томъ же письмѣ, онъ прибавляетъ:

...„Буду-ли я когда нибудь независимымъ отъ людей? Зависимость отъ семейства, друга отъ службы, третья отъ цѣли къ жизни, которую себя назначилъ, и, можетъ статься, наперекоръ судьбы. Поэзія!! Люблю ее безъ памяти, страстно; но любовь одна достаточна-ли, чтобы себя прославить? И наконецъ что слава? по словамъ Пушкина...

Лишь яркая заплата

На ветхомъ рубищѣ пѣвца.

Мученье — быть пламеннымъ мечтателемъ въ краю вѣчныхъ снѣговъ... Когда нибудь,



Могила Грибоѣдова, въ монастырѣ св. Давида, близъ Тифлиса.

и можетъ быть скоро, свидимся... ты удивишься, когда узнаешь, какъ мелки люди... Читай Плутарха и будь доволенъ тѣмъ, что было въ древности. Нынѣ эти характеры болѣе не повторяются“.

Между тѣмъ открылась кампанія противъ Персін, и Грибоѣдовъ, сопровождая Паскевича, былъ чрезвычайно полезенъ ему своимъ знаніемъ восточныхъ языковъ и мѣстныхъ условій жизни; въ походѣ онъ велъ и краткія записки. По окончаніи кампаніи, въ награду за труды при веденіи перего-

воровъ о мирѣ, Грибоѣдовъ былъ отправленъ въ Петербургъ для поднесенія Государю мирнаго (туркманчайскаго) трактата. Онъ пріѣхалъ въ Петербургъ въ мартѣ 1828 г. и поговаривалъ въ кругу друзей своихъ о намѣреніи выйти въ отставку и посвятить себя исключительно занятіямъ литературою. Видно даже, что у него уже были готовы планы нѣсколькихъ будущихъ произведеній. Отрывки одного изъ нихъ — романтической драмы: Грузинская ночь, навіянной изученіемъ Шекспира — онъ

даже читалъ друзьямъ своимъ. Но „наперкорь судьбы“ своей Грибоѣдову не пришлось идти. Осыпанный наградами, онъ, сверхъ всякаго ожиданія, былъ назначенъ въ апрѣлѣ того же года полномочнымъ министромъ при персидскомъ дворѣ. Проѣзжая черезъ Тифлисъ, на пути въ Персію, Грибоѣдовъ женился на княжнѣ Чевчевадзе, которую за нѣсколько времени передъ тѣмъ успѣлъ узнать и полюбить. Вскорѣ послѣ свадьбы, осенью 1828 г., Грибоѣдовъ, вмѣстѣ съ молодою женою и огромною блестящею свитою, окружавшею его, какъ полномочнаго министра, направился въ Тавризъ.

Въ одномъ изъ своихъ писемъ къ друзьямъ онъ такъ описываетъ въ нѣсколькихъ словахъ это свое путешествие:

„...Путешествую съ огромнымъ караваномъ, 110 лошадей и муловъ, ночуемъ подъ шатрами, на высотахъ горъ, гдѣ холодъ зимній. Нинушка моя не жалуется, всѣмъ довольна, игрива, весела; для перемѣны бываютъ намъ блестящія встрѣчи—конница во весь опоръ несется, пылитъ, смѣшивается и поздравляетъ съ счастливымъ прибытіемъ туда, гдѣ бы вовсе быть не хотѣлось“.

Въ томъ же самомъ письмѣ заключается вкратцѣ и программа дѣйствій, которой Грибоѣдовъ думаетъ придерживаться въ Персіи, на своемъ новомъ и важномъ постѣ:

„...Друзей (въ политическихъ сношеніяхъ съ Персіей) не имѣю никого, и не хочу: должны прежде всего бояться Россіи... и я увѣряю васъ, что въ этомъ поступаю лучше, чѣмъ тѣ, которые затѣяли бы дѣйствовать мягко и втираться въ персидскую будущую дружбу. Всѣмъ я грозенъ кажусь и меня прозвали *sakhtir*, *coeur dur*... Къ намъ перешло до 8,000 армянскихъ семействъ, и я теперь за оставшееся ихъ имущество не имѣю ни днемъ, ни ночью покоя, сохраняю ихъ достоинство и даже доходы...“

Эта программа дѣйствій, приводимая въ исполненіе настойчиво и усердно, но не осторожно—и погубила Грибоѣдова. Когда онъ, оставивъ молодую жену въ Тавризѣ, отправился въ Тегеранъ, его способъ дѣйствій и пренебреженіе къ нѣкоторымъ установившимся на востокѣ обычаямъ послужили поводомъ къ тому, чтобы возбудить противъ него персидское духовенство

и невѣстную массу тегеранскаго населенія. Вспыхнулъ мятежъ: домъ русскаго посольства былъ окруженъ, взятъ съ боя приступомъ, послѣ отчаянной обороны, въ которой мужественно дѣйствовалъ самъ Грибоѣдовъ и вся его свита,—и всѣ русскіе растерзаны разсвирѣпавшею толпою, которая пробралась внутрь зданія черезъ проломъ въ крышѣ... Грибоѣдовъ погибъ смертью героя (30-го января 1829 г.)!

Другому великому русскому поэту, ѣхавшему на Кавказъ, чтобы развѣять снѣдавшую его грусть-тоску и забыться среди новыхъ для него военныхъ впечатлѣній, пришлось встрѣтить на пути своемъ смертные останки Грибоѣдова, и онъ посвятилъ ему въ своихъ „Запискахъ“ нѣсколько искреннихъ, теплыхъ, задушевныхъ строкъ; выпишемъ эти строки изъ „Записокъ“ Пушкина:

„...На высокомъ берегу рѣки увидѣлъ (я) противъ себя крѣпость Гергеры. Три потока съ шумомъ и пѣной низвергались съ высокаго берега. Я переѣхалъ черезъ рѣку. Два вола, впряженные въ арбу, подымались по крутой дорогѣ. Нѣсколько грузинъ сопровождали арбу. „Откуда вы?“ спросилъ я ихъ.—„Изъ Тегерана.“—„Что вы возезе?“—„Грибоѣда.“—Это было тѣло убитаго Грибоѣдова, которое препровождали въ Тифлисъ.

Не думалъ я встрѣтить уже когда нибудь нашего Грибоѣдова! Я расстался съ нимъ въ прошломъ году, въ Петербургѣ, передъ отъѣздомъ его въ Персію. Онъ былъ печаленъ и имѣлъ страшныя предчувствія. Я было хотѣлъ его успокоить; онъ мнѣ сказалъ: *Vous ne connaissez pas ces gens-là: vous voyez qu'il faudra jouer des couteaux* ¹⁾. Онъ полагалъ, что причиною кровопролитія будетъ смерть Шаха и междоусобица его семидесяти сыновей. Но престарѣлый Шахъ еще живъ, а пророческія слова Грибоѣдова сбылись: онъ погибъ подъ кинжалами Персіянъ, жертвою невѣжества и вѣроломства.“

Тѣло Грибоѣдова, по его желанію, выраженному имъ при жизни, погребено было въ монастырѣ св. Давида, построенномъ изъ живописной и крутой скалы, на западѣ отъ Тифлиса. Мѣстоположеніе этого монастыря всегда правилось покойному поэту. Супруга воздвигла на могилѣ его великолѣпный памятникъ.

¹⁾ Вы не знаете этихъ людей; вы увидите, что придется пустить въ дѣло ножи.

XVIII.

Н. А. Полевой. — Отзывъ Вигеля. — Дѣтство и родители. — Коммерція и ученіе. — Литературныя опытки и участіе въ журналахъ. — „Московскій Телеграфъ“. — Романтизмъ и философія. — Занятія исторіею. — Борьба и неудачи. — Бѣлинскій — преемникъ Полевого.

Въ началѣ этого послѣдняго періода мы уже говорили о томъ литературномъ движеніи, которое, подъ общимъ названіемъ романтизма, проявилось въ первой четверти нынѣшняго столѣтія въ нашей литературѣ и, проникнувъ въ общество, вступило въ ожесточенную борьбу съ отжившими литературными теоріями и отживающими преданіями стараго застоя. Борьба романтиковъ съ классиками въ первое время не могла быть равною, потому что классики успѣли себя въ значительной степени обезпечить защитою со стороны журналовъ и ученыхъ: и Бесѣда, и Общество любителей россійской словесности, и наконецъ „Вѣстникъ Европы“, съ тѣхъ поръ, какъ онъ поступилъ подъ редакцію Каченовскаго (профессора Московскаго университета) — всѣ стояли за классиковъ. Между тѣмъ у романтиковъ еще не было постоянного и вліятельнаго органа для проведенія ихъ идей въ общество. Въ послѣдніе года царствованія Александра I вся ихъ издательская дѣятельность ограничивалась изданіемъ мелкихъ сборниковъ и альманаховъ, которые вошли въ особенную моду въ это время. Изъ постоянныхъ періодическихъ изданій единственнымъ прибѣжищемъ въ полемикѣ съ классиками былъ для романтиковъ „Сынъ Отечества“, издававшійся Гречемъ съ 1821 года. Но это не былъ журналъ строго-романтическаго направленія. Въ это-то время, на поприще нашей литературы и журналистики выступилъ новый защитникъ и проповѣдникъ романтизма, Н. А. Полевой, главная заслуга котораго заключается въ томъ, что онъ создалъ журналъ, бывшій въ продолженіе цѣлыхъ 10 лѣтъ, въ самое смутное и тяжелое время для русской литературы, единственнымъ

органомъ независимой и смѣлой мысли, и открылъ своею дѣятельностью новый періодъ въ нашей журналистикѣ — періодъ выработки нравственныхъ и общественныхъ идеаловъ и эстетическихъ теорій.

Николай Алексѣевичъ Полевой (род. 1796 г., ум. въ 1846 г.) принадлежалъ къ роду курскихъ купцовъ, Полевыхъ. Онъ родился въ Иркутскѣ, гдѣ отецъ его занимался различными торговыми дѣлами, участвуя между прочимъ и въ Сѣверо-Американской торговой компаніи. Вотъ какъ описываетъ въ своихъ „Запискахъ“ Ф. Ф. Вигель семейство Полевыхъ, съ которымъ онъ познакомился во время своей поѣздки въ Китай, и въ домѣ котораго останавливался въ бытность свою въ Иркутскѣ:

„Между иркутскими купцами, ведущими обширную торговлю съ Китаемъ, были и миллионники, Мыльниковы, Собняковы и другіе; но всѣ они оставались вѣрны стариннымъ русскимъ, отцовскимъ и дѣдовскимъ обычаямъ; въ каменныхъ домахъ большія комнаты содержали въ совершенной чистотѣ, и для того никогда въ нихъ не ходили, ѣжились въ двухъ, трехъ чуланахъ, спали на сундукахъ, въ коняхъ прятали свое золото, и при немовѣрной, даже смѣшной дешевизнѣ, ѣли съ семьей одну селянку, запивая ее квасомъ или пивомъ... Совсѣмъ не таковъ былъ купчикъ, къ которому судьба привела меня на квартиру. Алексѣй Евсѣевичъ Полевой, родомъ изъ Курска, лѣтъ сорока съ небольшимъ, былъ весьма небогатъ, но весьма тароватъ, словоохотенъ и любознателенъ. Жена у него была красавица, хотя уже дочь выдала замужъ; онъ держалъ ее не въ заперти, и мы, кажется, другъ другу очень понравились. Онъ гордился не столько ею самою, сколько

ея рожденіемъ ¹⁾; у нихъ былъ девяти-лѣтній сынишка, Николай, нѣжный, бѣловѣный, худенькій мальчикъ, который влюбленъ былъ въ грамоту и бредилъ стихами: онъ теперь извѣстенъ всей Россіи“.

А. Е. Полевой принадлежалъ къ числу купцовъ, выдѣлявшихся по своему образованію изъ обычнаго купеческаго круга. Это былъ начетчикъ, умный, любознательный, любившій чтеніе и читавшій все, что попадалось подъ руку — Исторію Карамзина и Исторію Боссюэта, дѣянія Петра Великаго Голицева (дальняго родственника его), и Путешествія капитана Кука. Какъ многіе, подобнаго рода начетчики, онъ соединялъ въ себѣ бездну противорѣчій; отъ обычной купеческой рутинны не рѣдко переходилъ къ рискованной дѣятельности прожектера, и бросался на такія предпріятія, которыя поглощали все его достояніе. Проживаясь на такого рода предпріятіяхъ, онъ снова входилъ въ обычную купеческую норму и снова начиналъ сколачивать понемногу копейку посредствомъ сибирской торговли при С.-Американской компаніи или устройства виннаго завода въ Москвѣ. Таковъ же онъ былъ и въ своемъ семействѣ: то нѣжный мужъ и отецъ по европейскимъ понятіямъ, то вдругъ неукротимый и необузданный въ гнѣвѣ. — Эта двойственность отразилась и въ воспитаніи сына. Онъ самъ вызвалъ въ сынѣ страсть къ книгамъ, поощрялъ эту страсть, гордился успѣхами сына въ наукахъ и вполнѣдствіи на литературномъ поприщѣ; когда же находилъ на него мрачная минута, онъ, увлекаясь идеаломъ дѣловитости, практическаго купца, вдругъ принимался рвать и бросать въ огонь книги и тетрадки сына и требовать, чтобы тотъ ни о чемъ не думалъ, кромѣ купеческихъ дѣлъ. Въ результатѣ воспитанія въ домѣ отца по свидѣтельству самого Н. А. Полевого получилось слѣдующее: „Если надобно выразить умственное образованіе мое до 1811 года, то оно было таково: я прочиталъ тысячу томовъ всякой всячины, помнилъ все, что прочиталъ, отъ стиховъ Карамзина и статей „Вѣстника Европы“ до хронологическихъ чиселъ и Библіи, изъ которой могъ пересказывать наизусть, цѣлыя главы; но это

былъ какой-то хаосъ мыслей и словъ, когда самъ я едва начиналъ мыслить“.

Такое бессистемное и безпорядочное чтеніе, въ перемежку съ торговыми занятіями, составляло все образованіе Н. А. Полевого до 18-ти-лѣтняго возраста (1814 г.). — Съ этихъ лѣтъ занятія юноши стали дѣлаться болѣе систематическими. „Съ 1814 г.“, — говоритъ Н. А. Полевой въ своей автобіографіи — „началъ я потихоньку учиться, и прежде всего русской грамматикѣ, по грамматикѣ Соловова, которая какъ-то попала мнѣ въ руки. Тогда-же увидѣлъ я необходимость знать иностранные языки... Пьяный цырюльникъ наполеоновской арміи, итальянецъ, который остался доживать жизнь свою въ одной изъ курскихъ цырюленъ, показалъ мнѣ произношеніе французскихъ буквъ; старикъ, музыкальный учитель, божемецъ, который училъ на фортепиано дочерей моего хозяина ²⁾, и любилъ послѣ уроковъ посидѣть у меня въ конторской комнатѣ и покурить табакъ, научилъ меня нѣмецкой азбуки“...

... „Вскорѣ увидѣлъ я всю недостаточность, всю негнѣдность образованія своего до того времени. Мнѣ надобно было пересоздать всѣ мои идеи, весь запасъ читаннаго мною съ самаго дѣтства. Изученіе языковъ повело меня въ новый міръ чтенія. Настоятельное размышленіе показало мнѣ недостатки системы и образа обыкновеннаго ученія. Я рѣшился самъ для себя написать русскую грамматику и русскую исторію. Грамматика Академіи и Исторія Государства Россійскаго не удовлетворяли меня, когда я сравнивалъ первую съ ясной, точною грамматикою латинскою, а вторую съ Тацитомъ по слогу, съ лѣтописями по изложенію фактовъ. Изученіе латинскаго и греческаго языка, переводы съ нѣмецкаго, французскаго, переработка русской грамматики, критическій разборъ русской исторіи — вотъ что составляло теперь мои занятія. Я отказался отъ легкаго чтенія, и не писалъ уже ни стиховъ, ни прозы. Нарочно налагалъ я на себя самыя тяжелыя работы: выучивалъ по триста вокабулъ въ вечеръ, выписалъ всѣ глаголы изъ Гейкова словаря, переспрагалъ каждый отдѣльно, и

¹⁾ Она была изъ рода Голицевыхъ. — ²⁾ Николай Алексѣевичъ служилъ тогда уже въ конторѣ одного изъ богатыхъ курскихъ купцовъ, такъ какъ дѣла его отца въ это время были сильно разстроены.

составилъ новыя таблицы русскихъ сприяжений (въ 1822 г. почтенный П. П. Свининъ представилъ ихъ въ Россійскую Академію, и мнѣ выдана была за нихъ въ награду большая серебряная медаль). Силы мои казались мнѣ нестоимыми; все было такъ легко, такъ подручно, а впереди все такъ свѣтилось и блестяло. Въ 1817 году осмѣлился я, при самомъ учтивомъ письмѣ, послать къ издателю Русскаго Вѣстника мое описаніе проѣзда и пребыванія въ Курскѣ Императора Александра, и — не умѣю вамъ пересказать, съ какими успѣхамъ увидѣлъ я на сѣрыхъ листочкахъ „Вѣстника“ четкими курсивомъ напечатанныя подъ статью слова: Н. Полевой! Весь Курскъ былъ изумленъ краснорѣчивымъ описаніемъ того, что еще живо трепетало въ сердцѣ каждаго, что составляло предметъ всѣхъ разговоровъ. Но, между тѣмъ, торжество мое внутренно тревожило меня — увы! я видѣлъ, что вся статья была переправлена, перечерчена издателемъ „Русскаго Вѣстника“, и я долженъ былъ сознаться самому себѣ, что переправки его были справедливы. Слѣдовательно, я еще плохой писатель, думалъ я. Что-же дѣлать? „Учиться!“ было мнѣ безпристрастнымъ отвѣтомъ въ душѣ моей, и когда, въ 1818 г., я отправилъ уже въ „Вѣстникъ Европы“ одну за другою, двѣ статьи — редакторъ „Вѣстника Европы“ не переправлялъ ихъ нисколько. Весь 1819 годъ занимался я дѣлами отцовскими, оставя моего хозяина, и уже не скрывалъ своихъ ученыхъ занятій. Къ покровительству губернатора присоединилось знакомство съ просвѣщеннымъ архипастыремъ, епископомъ Евгеніемъ, послѣ того, когда я прочиталъ свое стхотвореніе въ собраніи библейскаго общества, 6-го января 1819 года, и оно было осыпано похвалами всего собранія. Въ февралѣ 1820 года я навсегда оставилъ Курскъ.

Съ этого времени, т. е. съ 1820 года, началась для Н. А. Полевого вполнѣ литературная жизнь. — Онъ занимался теперь купеческими дѣлами очень мало, и только между прочимъ; а со смертію отца въ 1822 году весь предался литературѣ. Въ короткое время онъ сошелся со всевозможными литературными кружками.

Въ Москвѣ онъ раньше всѣхъ естественно познакомился съ проф. Каченовскимъ

(въ журналѣ котораго ему еще прежде удалось, какъ мы видѣли, пристроить двѣ статьи) и съ кружкомъ, враждавшимся около „Вѣстника Европы“. Но застарѣлые взгляды членовъ кружка, рьяныхъ приверженцевъ псевдо-классицизма, вскорѣ отвратили молодого писателя отъ болѣе тѣснаго сближенія съ этимъ лагеремъ. Гораздо благотворите для Н. А. Полевого было знакомство съ княземъ Вл. Еед. Одоевскимъ, Веневитиновымъ, Кирѣевскими, Андросовымъ и другими членами кружка московскихъ шеллингистовъ. Идея нѣмецкой философіи сильно заинтересовала Н. А. Полевого: дѣ-



Н. А. Полевой.

лые вечера проводилъ онъ въ сужденіяхъ и спорахъ о ней, усвоилъ нѣкоторыя ея идеи, сталъ читать книги, написанныя въ духѣ ея. Но самую любимую философію его сдѣлалась въ послѣдствіи философія Кузена, которая была ему болѣе доступна и въ значительной степени упрощала идеи философіи германской. Для массы же общества, совершенно незнакомаго съ какими-бы то ни было философскими взглядами, философія Кузена, проводимая Н. А. Полевымъ въ его литературной дѣятельности, подходила совершенно подъ уровень развитія большинства, служа естественнымъ переходомъ

домъ къ знакомству съ болѣе глубокими и смѣлыми системами германской философіи.

Между тѣмъ литературная извѣстность Н. А. Полевого быстро возрастала. Участіе его въ „Сѣверномъ Архивѣ“ (журналѣ, который издавалъ съ 1822 г. Ѳ. В. Булгаринъ) обратило на него вниманіе всѣхъ петербургскихъ литераторовъ, и въ немъ начали записывать, какъ въ полезномъ сотрудникѣ. Но Н. А. Полевого не удовлетворяла одна сотрудническая дѣятельность. Онъ наслѣдовалъ отъ отца страсть къ широкой и смѣлой предпримчивости и вознамѣрился начать прямо съ того, на что рѣшаются обыкновенно писатели, утвердившіеся уже на литературномъ поприщѣ — съ самостоятельнаго изданія журнала... Давно уже Н. А. Полевой лелѣялъ эту мысль; еще съ самаго начала двадцатыхъ годовъ, когда онъ вращался въ кружкѣ сотрудниковъ и приверженцевъ „Вѣстника Европы“, и тогда онъ составлялъ уже планъ журнала. Было и еще нѣсколько попытокъ начать изданіе журнала въ сообществѣ съ разными лицами; но онѣ оканчивались ничѣмъ. Послѣ многихъ плановъ, думъ и раздумываній, въ половинѣ 1824 года, Н. А. Полевой рѣшился испросить позволеніе издавать журналъ отъ своего имени. Онъ составилъ программу, по которой въ будущій журналъ его могло входить все — кромѣ политики. Программу свою отправилъ онъ при письмѣ къ министру народнаго просвѣщенія, адмиралу Шишкову, который зналъ его лично и относился благосклонно къ его литературнымъ занятіямъ. Никакого покровительства, никакихъ заступничествъ въ Петербургѣ у Н. А. Полевого не было. Не надѣясь на разрѣшеніе, онъ не особенно хлопоталъ о подборѣ сотрудниковъ и заготовкѣ матерьяла для предстоящаго изданія. Онъ былъ увлеченъ въ это время болѣе мыслями о женитьбѣ, чѣмъ объ изданіи журнала (онъ женился въ октябрѣ 1824 г. на дѣвицѣ Н. Ф. Терренбергъ), — какъ вдругъ, почти одновременно съ этимъ важнымъ шагомъ въ жизни, Николаю Алексѣевичу пришлось сдѣлать и другой, не менѣе важный: въ Московскомъ цензурномъ комитетѣ было получено на его имя разрѣшеніе издавать журналъ по представленной имъ программѣ.

Извѣстіе о предстоящемъ появленіи новаго журнала быстро распространилось по

Москвѣ, перелетѣло въ Петербургъ и было встрѣчено разнообразными толками. Большинство литературныхъ кружковъ отнеслось къ новому предпріятію неблагоклонно. Петербургскимъ журналистамъ было непріятно потерять въ Полевомъ полезнаго сотрудника; классики предвидѣли въ журналѣ Полевого новаго непріятеля, при чемъ они не могли опомниться отъ негодованія при мысли, что какой-то молодой кучиный, самоучка, ничѣмъ не заявившій себя въ литературѣ, дерзнетъ вдругъ выступить съ изданіемъ журнала и критиковать въ немъ заслуженные литературные авторитеты. Между тѣмъ, въ это время, живой интересъ къ литературѣ и вообще къ умственной жизни былъ возбужденъ уже въ значительной массѣ общества. Для этой массы нисколько не интересна была мелочная полемика и литературныя ссипетны; она жаждала новыхъ знаній, идей, понятій, изясненія всевозможныхъ вопросовъ нравственныхъ и эстетическихъ. И великимъ преимуществомъ Н. А. Полевого было именно то, что онъ самъ принадлежалъ къ той массѣ общества, которая выступала на поприще умственного движенія въ Россіи; онъ былъ передовой челоѣкъ этой массы, ея представитель; онъ живо и непосредственно интересовался всѣмъ, что ее интересовало; онъ близко принималъ къ сердцу ея умственныя потребности; на самомъ себѣ испытывалъ онъ, какъ трудно даются знанія и развитіе въ странѣ, въ которой книгъ на отечественномъ языкѣ еще такъ мало, а иностранныя и рѣдки, и по большей части недоступны. На этомъ основаніи, въ виду именно возвышенія умственного уровня массы, онъ на первомъ планѣ поставилъ въ своемъ журналѣ энциклопедичность и безпристрастную, строгую эстетическую, критику. „Для изображенія совершеннаго журнала“, говорятъ онъ въ первой книжкѣ „Московского Телеграфа“ — „вообразите зеркало, въ которомъ отражается весь міръ нравственный, политическій и физическій. Такой журналъ едва-ли не болѣе многихъ книгъ принесетъ пользу“.

Выставя такую программу, Н. А. Полевой вполне исполнилъ ее; даже болѣе, чѣмъ можно было ожидать. Въ короткое время онъ сумѣлъ обставить журналъ талантливыми и знающими сотрудниками. Самое

близкое участіе въ журналѣ принялъ братъ его, Ксенофонтъ Полевой. Статьи по естественнымъ наукамъ составлялъ молодой тогда еще ученый, М. А. Максимовичъ, А. И. Красовскій занимался переводами для „Телеграфа“ ученыхъ статей. Не мало участія принималъ въ „Телеграфѣ“ князь Вяземскій, а впоследствии—Пушкинъ. Кн. В. О. Одоевскій въ началѣ 1826 года писалъ для „Телеграфа“ довольно дѣятельно музыкальныя статьи и юмористическіе очерки. Но главная работа лежала на самомъ падателѣ. Онъ избиралъ статьи, отыскивалъ матеріалы для каждой изъ нихъ, съ удивительнымъ тактомъ открывалъ современность предметовъ для содержанія каждой книжки, и самъ (больше всѣхъ) работалъ, то есть слѣдилъ за всѣми явленіями иностранной и русской литературы, находилъ время прочитывать все, извлекалъ, переводилъ, писалъ неутомимо. Вслѣдствіе такой усиленной дѣятельности каждая книжка „Телеграфа“ была полна самыхъ животрепещущихъ новостей по всѣмъ отраслямъ наукъ и искусствъ въ Европѣ и Россіи. Ни одно замѣчательное явленіе современной жизни не пропускалось безъ вниманія и возводилось къ общему, освѣщалось высшими философскими взглядами. Такъ между прочимъ „Телеграфъ“ принесъ несомнѣнную услугу тѣмъ, что онъ впервые познакомилъ русскую публику съ новою еще въ то время наукою—политическою экономіею, излагая мысли Адама Смита, Шторха, Сэ и другихъ экономистовъ французской школы. Въ то же время Полевой первый началъ писать о взглядѣ Риттера на земледѣліе. Но главное мѣсто въ журналѣ занимала эстетическая критика, и слѣдуетъ сказать, что это была первая русская критика въ истинномъ смыслѣ этого слова: первая попытка отнестись къ русской литературѣ съ общео руководящею идеею и подвести всѣ явленія ея подъ эту идею.

Общею, руководящею идеею въ критикѣ Полевого былъ романтизмъ, который въ то время считался передовымъ словомъ литературы и жизни. Мы видѣли уже, что основныя идеи романтизма заключались въ трехъ положеніяхъ: 1) истинный поэтъ весь предается своему вдохновенію и слушается только его голоса; 2) и въ самой своей внѣшней жизни истинный поэтъ долженъ быть

самобытенъ и независимъ отъ всѣхъ условій общественнаго быта: 3) истинная поэзія должна быть національна.

Съ точки зрѣнія этихъ идей Н. А. Полевой осмѣлился проводить въ своемъ журналѣ такую мысль, въ которой литературные аристархи того времени увидѣли верхъ дерзости: — полное отрицаніе всей русской литературы. По мнѣнію критиковъ, до Н. А. Полевого русскій Парнасъ былъ уже переполненъ первостепенными знаменитостями: на одинаковой высотѣ съ Ломоносовымъ, Державиннымъ, Батюшковымъ, Жуковскимъ ставили они и Кантемира, Сумарокова, Хемницера, Озерова и пр. Полевой же началъ доказывать, что у насъ только всего и было что два истинныхъ поэта — Державинъ и Пушкинъ. Вотъ основанія его критики, выраженные въ сжатомъ видѣ въ статьѣ его о Державинѣ и потомъ развитыя во многихъ критическихъ статьяхъ „Московского Телеграфа“:

„Державинъ былъ поэтъ; характеръ его былъ поэтический, въ самомъ обширномъ смыслѣ, поэтический преимущественно. Кромѣ Пушкина, не было у насъ другого, столь исключительно поэтическаго характера, со времени преобразованія Россіи, ни прежде, ни послѣ Державина. Въ духахъ всѣхъ другихъ поэтовъ русскихъ поэзія только отвѣчивалась, не свѣтила самобытно, не наполняла собою, не жгала, такъ сказать, всего бытія ихъ. Отъ того направленія ихъ были либо слишкомъ частны, односторонни, либо слишкомъ отвлеченны и равнообразны. Сила души, устремленная на многое вдругъ, несоединенная въ одну точку, разливалась на все окружающее ихъ, и черезъ то развлекала, разрушала собственно поэтическое стремленіе. Такъ Ломоносовъ былъ поэтъ въ жизни, невѣроятной и романтической, но собственно поэзія была только слабою стихіею обширнаго міра души его. Онъ былъ столь-же ученый человѣкъ, сколько стихотворецъ. У Крылова, Дмитриева, Фонъ-Визина поэзія была вдохновеніемъ ума, а не непобѣдимымъ стремленіемъ выразить себя въ поэтическихъ созданіяхъ. У Жуковскаго она навѣяна уныніемъ души и удивительною перепичивостью чужихъ впечатлѣній. Грѣхъ души Жуковскаго и происшедшее отъ того стремленіе за предѣлы міра, къ чему-то неразгаданному, тайному,

отзываются въ самых торжественныхъ его пѣснопѣніяхъ. Батюшковъ вдохновлялся противоположностью своего бытія съ пламенными думами сердца и души: его сочиненія были какъ будто желанія забыть на время въ наслажденіяхъ поэзіи неисполненныя мечты жизни. Негодованіе сдѣлалось музою Грибоѣдова, иногда только вспыхивавшее божественнымъ огнемъ поэтическаго восторга. Кантемиръ и Хемницеръ, одинъ, какъ вельможа, смѣло шутя, другой, робко и осторожно подсмѣиваясь надъ людьми, — не были истинными поэтами. Такъ являются намъ всѣ другіе русскіе стихотворцы, съ тѣхъ поръ, какъ поэзія разродилась въ Россіи съ бытомъ общественнымъ, перестала быть необходимымъ народнымъ пѣніемъ, свободно, невольно выливающимся изъ души, при звукахъ простой музыки. Не говоримъ о Сумароковыхъ, Херасковыхъ, Петровыхъ, Княжнинныхъ, которые не писали-бы, если-бы не читали написаннаго прежде ихъ другими. Но разсмотрите всѣхъ остальныхъ, старыхъ и новыхъ поэтовъ нашихъ: Ковлова, Баратынскаго, Языкова, Богдановича, Озерова, кн. Долгорукова, и вы убѣдитесь въ частномъ, одностороннемъ, случайномъ, такъ сказать, ихъ стремленіи. Не таковы Державинъ и Пушкинъ, у которыхъ поэзія — необходимость жизни, вся душа, все бытіе ихъ...

Вотъ идеи, на которыхъ была основана критика Н. А. Полевого. Изъ критическихъ статей его, кромѣ статьи о Державинѣ, изъ которой мы представили вышеприведенное извлеченіе, замѣчательны слѣдующія: „Жуковский и его сочиненія“, „Борисъ Годуновъ“, сочиненіе Александра Пушкина“, „Ломоносовъ“, „Кантемиръ“, „Хемницеръ“. „Торквато Тассо Кукольника“ и пр. Каждый изъ этихъ поэтовъ Полевой разбираетъ постоянно съ трехъ точекъ зрѣнія: съ точки зрѣнія искренности и непосредственности поэтическаго вдохновенія, независимости отношенія къ жизни и народности. Многіе изъ его критическихъ мнѣній и характеристикъ такъ глубоко врѣзались въ умы просвѣщенныхъ современниковъ его, что долгое время господствовали въ литературѣ. Можно положительно сказать, что послѣдующая критика 40-хъ годовъ, какъ ни далеко ушла отъ критики Полевого, все же развитіемъ своимъ всецѣло обязана ей.

Критика Полевого — это фундаментъ, на которомъ впоследствии зиждется критика Бѣлинскаго. Нѣтъ ничего удивительнаго, что „Телеграфъ“, вскорѣ послѣ своего появленія, сдѣлался страшенъ для всѣхъ литературныхъ посредственностей, державшихся, при полномъ отсутствіи критики, на одномъ ряду съ первостепенными писателями и пользовавшихся незаслуженною репутаціею. Это навлекло Полевому безчисленныхъ враговъ; со всѣхъ сторонъ посыпалась на „Телеграфъ“ ожесточенная журнальная брань, насмѣшки, эпиграммы. Малѣйшая ошибка, ничтожный промахъ, — которые при другихъ обстоятельствахъ не были-бы замѣчены, ставились Полевому въ страшную вину и раздувались въ гору. Его обвиняли въ недоучености, въ верхоглядствѣ, въ отсутствіи хорошаго тона и вкуса! Не такъ встрѣтила публика появленіе новаго журнала. Полныя свѣжихъ новостей и живого обсужденія всевозможныхъ современныхъ вопросовъ, снабженная серьезною эстетическою критикою, книги журнала читались на-расхватъ. Полевой началъ печатать свой журналъ въ числѣ 700 экземпляровъ. Но уже со второй книжки все разошлось и третья книжка вышла въ числѣ 1,200 экземпляровъ, а въ послѣдствіи подписка дошла и до 2,000 — успѣхъ небывалый до того времени въ журналистикѣ. „Телеграфъ“ сдѣлался вскорѣ любимымъ журналомъ всего образованнаго общества; каждая книжка его ожидалась съ нетерпѣніемъ. Въ продолженіи 10 лѣтъ своего существованія это былъ передовой органъ, воспитавшій цѣлое поколѣніе.

Изданіемъ „Телеграфа“ не ограничивалась дѣятельность Н. А. Полевого. Въ то же время сталъ онъ издавать романы и повѣсти. Таковы были: „Клятва при гробѣ Господнѣ“, „Аббадона“, „Мечты и жизни“. Во всѣхъ этихъ повѣстяхъ и романахъ онъ подражалъ Шиллеру, Гофману или Вальтеру Скотту. Это не были произведенія сильнаго поэтическаго таланта и въ настоящее время онѣ почти забыты, но, во всякомъ случаѣ, это были рассказы умнаго и образованнаго человѣка, проводившаго въ нихъ тѣ же передовыя романтическія тенденціи, которыя развивалъ онъ и въ своихъ критическихъ статьяхъ. Въ свое время этими произведеніями зачитывались, и Бѣлинскій въ молодые

оды приходилъ отъ нихъ въ восторгъ¹⁾. Между прочимъ, заплатилъ Н. А. Полевой и Шекспиру, переведа на русскій языкъ и передѣлавши для театра „Гамлета“. Ю большую часть досуга, оставшагося у Н. А. Полевого отъ издательской дѣятельности, онъ посвящалъ занятіямъ русской исторіей. Плодомъ этихъ занятій были 5 томовъ „Исторіи Русскаго Народа“, изданныхъ Полевымъ между 1829 и 1833 гг. Н. А. Полевой въ своемъ историческомъ трудѣ является тѣмъ-же публицистомъ, какъ и въ „Телеграфѣ“. — Какъ въ своихъ критическихъ статьяхъ онъ вооружается противъ живо-классической школы поэзии, такъ и въ исторіи онъ поставляетъ себѣ цѣлю разрушеніе устарѣлыхъ взглядовъ на исторію, установившихся съ Карамзина. Такимъ образомъ, Исторія Полевого—это полемика, какъ онъ самъ выражается, противъ историческаго классицизма. Съ этой точки зрѣнія трудъ Полевого получаетъ совершенно иное значеніе: тѣ новыя, свѣтлыя идеи, которыя онъ высказываетъ въ своей Исторіи, въ оппозицію взглядамъ Карамзина, безспорно имѣли не малое вліяніе на развитіе общества нашего въ эпоху 30-хъ годовъ.

Различные литературные враги Н. А. Полевого, какъ мы уже сказали выше, не имѣли вліянія на успѣхъ „Телеграфа“; но мало-по-малу образовались у Полевого враги иного сорта, болѣе могущественные и опасные. Принявъ на себя защиту романтическаго направленія, „Телеграфъ“, этимъ самымъ, уже приобрѣлъ себѣ репутацію либеральнаго журнала, а репутація эта могла быть опасною въ періодъ реакціи, особенно усилившейся послѣ европейскаго движенія 30-го года. Свободный, независимый взглядъ „Телеграфа“ на всѣ явленія общественной жизни въ Европѣ и въ Россіи, уже эти одни качества могли въ то время навлечь на журналъ подозрѣніе въ неблагонадежности. Нѣтъ ничего удивительнаго, что многія изъ критическихъ статей „Телеграфа“, написанныя смѣло и рѣзко, не понравились многимъ высокопоставленнымъ лицамъ, и Полевой подвергся за напечатаніе ихъ самому строгому цензурному наблюденію. Наконецъ, критическая статья

противъ патріотической драмы Кукольника „Рука Всевышняго Отечество спасла“, помѣщенная въ одномъ изъ первыхъ номеровъ „Телеграфа“ 1834 г., привела къ запрещенію журнала, которое сопровождалось административнымъ слѣдствіемъ относительно политической благонадежности самаго издателя.

Съ прекращеніемъ „Телеграфа“ кончается и цвѣтущій періодъ дѣятельности Н. А. Полевого. Матеріальные убытки, понесенные Полевымъ, вслѣдствіе запрещенія журнала, хотя и весьма значительные, были ничтожны въ сравненіи съ тѣмъ нравственнымъ погромомъ, который ему пришлось при этомъ вынести. Обремененный многочисленнымъ семействомъ и долгами, вынужденный отказаться отъ своего любимаго призванія, Полевой искалъ дѣятельности по себѣ и, не находя ея, болѣе и болѣе мельчалъ и оскудѣвалъ силами среди той литературной поденщины, на которую онъ былъ обреченъ тяжкими обстоятельствами. Сначала, по приглашенію Смирдина, онъ принялъ дѣятельное участіе въ издаваемой имъ „Библіотекѣ для чтенія“, редакторомъ которой былъ тогда профессоръ Сенковскій. Но бывшему редактору „Телеграфа“ мудрено было ужиться съ Сенковскимъ, который смотрѣлъ на сотрудниковъ, какъ на подчиненныхъ, и позволялъ себѣ весьма безцеремонно выправлять ихъ статьи... Въ 1837 г. Полевой, переѣхавъ въ Петербургъ, принялся за изданіе другого Смирдинскаго журнала („Сынъ Отечества“) и въ то же время писалъ повѣсти, ставилъ на сцену пьесу за пьесой, занимался и исторіей, и критикой... Но, вынужденный обстоятельствами къ сближенію съ такими литературными дѣятелями, какъ Гречъ и Булгаринъ, побуждаемый нуждою къ спѣшной работѣ, Полевой вскорѣ долженъ былъ убѣдиться въ томъ, что мѣсто его, какъ передового дѣятеля литературы, успѣли занять другіе, люди молодого поколѣнія, воспитанные подъ вліяніемъ его идей, что они и новели далѣе дѣло развитія русскаго общества. Горькимъ разочарованіемъ и нравственнымъ утомленіемъ отзываются многія изъ писемъ Николая Алексѣевича къ брату его Ксенофонту, писанныя въ

¹⁾ См. Соч. Вѣлинскаго, т. I, стр. 335.

началъ сороковыхъ годовъ: „Мой другъ, поздравь меня“, -- пишетъ онъ въ одномъ изъ этихъ писемъ (18 мая 1840 г.)—„я уже болѣе не Донъ-Кихоть Ламанхскій“... „Послѣ 15 лѣтъ журнальнаго прищипа, я уже не журналистъ болѣе; съ 9-й книжки („Р. Вѣстника“) начнется редакція Никитенки, и забыви меня Богъ, принялся когда нибудь снова за журналы! Я обязался теперь только ставить статьи въ книжки. Такое распоряженіе съ журналомъ было необходимо для всѣхъ другіхъ дѣлъ моихъ.—Второе распоряженіе: я уже болѣе не драматическій писатель, ибо также далъ себѣ слово (кромя обѣщанныхъ мною въ семь году бенефисныхъ бездѣлокъ) ничего и никогда не писать болѣе для сцены—трудъ неприятный, неблагодарный и бесплодный!“ Несмотря на этотъ зарокъ, Полевой, въ послѣд-

ній годъ своей жизни, трудясь непрестанно надъ обработкой популярной „Исторіи Наполеона“ для русскихъ читателей, въ то же время рѣшился приняться еще разъ за дѣятельность журнальную. Онъ сталъ издавать „Литературную Газету“—работалъ и трудился надъ нею день и ночь, и окончательно надломилъ свою энергію и силы. Газета не пошла, и Полевому грозило страшное разореніе, отъ котораго однакоже смерть успѣла его избавить... Въ концѣ января 1846 г. онъ заболѣлъ нервною горячкою. 22 февраля скончался, на 49-мъ году отъ рожденія. Тѣло его погребено на Волковомъ кладбищѣ; недалеко отъ его могилы погребены были вносѣдствіи Бѣлинскій, Добролюбовъ, Костомаровъ. Самые мостки, пролегающіе мимо этого длиннаго ряда скроенныхъ могилъ, получили названіе „Интераторскихъ“.



XIX.

Лермонтова по отношенію къ его эпохѣ. — Биографическія подробности. — Письма Лермонтова и воспоминанія о немъ. — Русскій байронизмъ и русская дѣйствительность. — Отзывы современниковъ о Лермонтовѣ.

Пушкинъ, съ конца 20-хъ годовъ, повертъ на новую дорогу, отрѣшился отъ байронскихъ идеаловъ своей молодости, и, буда этому новому пути, пришелъ къ изданію лучшихъ своихъ произведеній, въ которыхъ явился вполне народнымъ русскимъ поэтомъ. Но вмѣстѣ съ тѣмъ, мы указали выше и на тотъ замѣчательный фактъ, что лучшія произведенія Пушкина, созданныя имъ послѣ того, какъ онъ совершенно рѣшился отъ вліянія байронизма, пользовались въ обществѣ гораздо меньшимъ успѣхомъ, чѣмъ ево первыя поэтическія опыты, въ которыхъ характеръ былъ такъ слабъ, такъ несамостоятеленъ, и оди мрачныя краски особенно живо бросались въ глаза. Въ то время мрачныя, безотрадные, всеотрицающіе гены Байрона вообще пользовались большимъ успѣхомъ въ нашемъ обществѣ и значительная доля молодого поколѣнія увлекалась ими до самозабвенія, затрачивала чужія жизненныя силы свои на подражаніе этимъ непривлекательнымъ идеаламъ, въ то время, когда другіе увлекались философией.

И вотъ, въ лицѣ Лермонтова, является еди молодой нашего поколѣнія 30-хъ годовъ такой поэтъ, который и въ стихахъ, и въ дѣлѣ старался исчерпать, олицетворить тотъ мрачный и непривѣтный байронизмъ, въ которомъ современная молодежь искала себѣ идеаловъ и удовлетворенія своему отрицательному направленію; является поэтъ, который отъ подражаній Пушкину переходитъ къ подражаніямъ Байрону, передаетъ самыя глубокіе мотивы его поэзіи гораздо живѣе и полнѣе Пушкина, занимается его тоньше и умѣетъ перенести на наши образы англійскаго поэта въ роковую и полную яркихъ красокъ обстановку дикой кавказской жизни и природы.

И какъ живой, естественный отголосокъ этой эпохи въ русской жизни, поэтъ сталъ дорогъ русскому сердцу, и русскіе люди сороковыхъ годовъ съ полною искренностью поставили его имя рядомъ съ самыми дорогими для русскаго сердца именами...

Михаилъ Юрьевичъ Лермонтовъ (род. 1814 г., ум. 1841 г.) по происхожденію принадлежалъ къ небогатому дворянскому роду Тульской губерніи. Родился Лермонтовъ въ Москвѣ, и полугодомъ былъ увезенъ бабушкой своею, Е. А. Арсеньевой (урожденной Столыпиной), въ ея пензенскую деревню (село Тарханы). О родителяхъ Лермонтова мы знаемъ только то, что мать его умерла очень рано (на 21-мъ году жизни, когда Михаилу Юрьевичу было всего два съ половиною года); объ отцѣ — не знаемъ рѣшительно ничего. Несомнѣннымъ фактомъ должно считать только то, что мать, умершая рано, не могла оказать никакого вліянія на воспитаніе поэта, а отецъ, простой армейскій офицеръ, не могъ принять на себя заботы по этому мудреному дѣлу, и вынужденъ былъ предоставить сына попеченіямъ бабушки. Бабушка Лермонтова ничего не жалѣла для своего обожаемаго внука, и доставила ему, на сколько сама понимала и умѣла, всѣ средства для того, чтобы онъ могъ получить самое лучшее по тому времени воспитаніе и блестящее образованіе свѣтскаго человѣка. Лермонтовъ съ дѣтства былъ окруженъ преданіями, причудами, обычаями и предрассудками того самаго кружка, который окружалъ въ дѣтствѣ и Пушкина, съ тою, впрочемъ, разницею, что въ кружкѣ этомъ начинала тогда проявляться нѣкоторая склонность къ англomanіи, нѣкоторое предпочтеніе англійскихъ обычаевъ и

английского языка прежде преобладавшим въ воспитаніи нашей аристократіи языку и обычаямъ французскимъ. Не смотря на этотъ поворотъ, и Лермонтовъ, подобно многимъ другимъ русскимъ поэтамъ, первые стихи свои писалъ по-французски и съ нѣкоторою досадою имѣлъ полное право замѣтить однажды: „какъ жалко, что у меня была мамушкой нѣмка, а не русская! Я не слышалъ сказокъ народныхъ: въ нихъ вѣрно больше поэзіи, чѣмъ во всей французской словесности“.

Учили Лермонтова въ дѣтствѣ многому, и между прочимъ всѣмъ новѣйшимъ языкамъ; кажется, принимались даже учить и



Лермонтовъ.

древнимъ... Изъ впечатлѣній ранняго дѣтства вѣлья не указать на то, что десятилѣтній Лермонтовъ успѣлъ побывать на Кавказѣ съ бабушкой, ѣдившей на воды, и даже не на шутку влюбился въ какую-то бѣлокурую и голубоглазую дѣвочку лѣтъ девяти. Невѣя не согласиться съ тѣми, которые указываютъ на эти первые впечатлѣнія чуткаго, воспримчиваго ребенка, какъ на важныя, оказавшія существенное вліяніе на развитіе его поэтическаго дарованія.

Около 1826 года Лермонтовъ привезенъ былъ въ Москву и помѣщенъ въ Московскомъ университетскомъ благородномъ пансіонѣ. Сверхъ того, онъ бралъ частные уроки

у Мерлякова, перваго между современными знатоками словесности. Въ Университетскомъ благородномъ пансіонѣ пробылъ Лермонтовъ лѣтъ пять и потомъ готовился поступить въ университетъ. Можно было ожидать, что и ему, какъ Пушкину, удасться миновать военной карьеры, потому что бабушка, любившая его до безумія, на всѣ просьбы о томъ, какую карьеру изберетъ онъ для своего внука, всегда говаривала: — „А какую онъ хочетъ; лишь бы не былъ военнымъ“.

Въ прелестныхъ „Запискахъ“ Е. А. Хвостовой (урожденной Сушковой) сохранились намъ драгоцѣнныя подробности о Лермонтовѣ, только-что вступавшемъ въ юношескій возрастъ; изъ воспоминаній, представляемыхъ намъ этими „Записками“, мы видимъ, что Лермонтовъ и тогда уже обладалъ сильными поэтическимъ дарованіемъ, а въ его впечатлительной и страстной натурѣ уже и тогда начинали выказываться тѣ черты, которыя потомъ составляли наиболѣе видную сторону его характера.

Въ подтвержденіе нашихъ словъ, заимствуемъ изъ „Записокъ“ Е. А. Хвостовой слѣдующій отрывокъ, въ которомъ она описываетъ свое странствованіе на богомолье въ Троице-Сергіевскую лавру въ сопровожденіи Лермонтова, которому тогда было лѣтъ 16—17.

...„Мы пришли въ лавру изнуренные голодные“—разсказываетъ Е. А. Хвостовъ. „На паперти встрѣтили мы слѣпотаго нишаго. Онъ дряхлою, дрожащею рукою поднесъ намъ свою деревянную чашечку; всѣ мы надавали ему мелкихъ денегъ; услыша звякъ монетъ, бѣднякъ крестился, сталъ намъ благодарить, приговаривая: „пошли вамъ Богъ счастья, добрые господа; а вотъ наемники приходили сюда тоже господа, тоже монеты, да шалуны, насмѣялись надо мною, и положили полную чашечку камышковъ. Богъ съ ними!“

„Помолясь святымъ угодникамъ, мы мирно возвратились домой, чтобы пообѣдать и отдохнуть. Всѣ мы суетились около стола въ нетерпѣливомъ ожиданіи обѣда, одинъ Лермонтовъ не принималъ участія въ нашихъ хлопотахъ; онъ стоялъ на коѣннѣхъ передъ стуломъ, карандашъ его быстро бѣгалъ по клочку сѣрой бумаги, и онъ какъ будто не замѣчалъ насъ, не слышалъ

какъ мы шумѣли, усаживаясь за обѣдъ и принимаясь за ботвинью... Окончивъ писать, онъ вскочилъ, тряхнулъ головой, сѣлъ на оставшійся стулъ, противъ меня, и передалъ мнѣ ново-вышедшіе изъ-подъ его карандаша стихи:

У вратъ обители святой
Стоялъ просящій подавня,
Безсильный, блѣдный и худой,
Отъ глада, жажды и страданья.

Буска лишь хлѣба онъ просилъ
И взоръ являлъ живую муку,
И кто-то камень положилъ
Въ его протянутую руку!

Такъ я молилъ твоей любви
Съ слезами горькими, съ тоскою, —
Такъ чувства лучшія мои
Навѣкъ обмануты тобою.

Въ слѣдующемъ году Лермонтовъ окон-



Село Тарханы.

чилъ курсъ въ Университетскомъ пансіонѣ и на публичномъ экзаменѣ получилъ первую награду за сочиненіе и успѣхи въ исторіи. „Весело было смотрѣть“—замѣчаетъ по тому поводу Е. А. Хвостова — „какъ онъ былъ счастливъ, какъ торжествовалъ. Зная то чрезвычайное самолюбіе, я ликовала за него. Смолоду его грызла мысль, что онъ чуждъ, нескладенъ, незнатнаго происхожденія, и въ минуты увлеченія онъ признавался мнѣ не разъ, какъ бы хотѣлось ему юлаться въ люди, а главное никому въ этомъ не быть обязану, кромѣ самого себя“.

Однакоже въ университетѣ Лермонтову не пришлось пробыть долго:—онъ долженъ

былъ изъ университета выйти по поводу участія своего въ одной изъ студенческихъ шалостей, въ сущности совершенно невинной, но которая, въ то строгое время, не могла пройти даромъ молодежи. По жалобѣ профессора М., Лермонтовъ былъ исключенъ изъ университета, вмѣстѣ съ нѣсколькими другими молодыми людьми.

Куда же было дѣваться молодому человѣку въ началѣ 30-хъ годовъ, когда немногіе пути, открываемые въ то время университетомъ, такъ рано уже для него закрылись? За что принятъ въ то время, когда все кругомъ было занято только одной общей мечтой о службѣ и карьерѣ, и когда никакая

серьезная дѣятельность не была доступна для молодого человѣка въ возрастѣ Лермонтова? Конечно, оставалось только одно: — поступить въ военную службу! И вотъ, въ мартѣ 1832 года, Лермонтовъ поступаетъ въ Петербургскую школу подпрапорщиковъ, и остается тамъ два года (1832—1834). Въ теченіе этихъ двухъ лѣтъ, онъ, конечно, не оставляетъ своихъ стиховъ, и отъ мелкихъ лирическихъ произведеній переходитъ къ первымъ самостоятельнымъ эпическимъ опытамъ, въ родѣ: „Уланша“, „Монго“, „Петергофскій праздникъ“. Здѣсь же явились и первые опыты восточныхъ повѣстей, и первые опыты подражаній Байрову, въ созданіи мрачныхъ; неразгаданныхъ характеровъ. Къ пребыванію въ школѣ относятся поэмы: Изманъ-бей (1834) и Хаджи-абрекъ (1833), которая безъ вѣдома Лермонтова передана была однимъ изъ его товарищей извѣстному книгопродавцу-издателю Смирдину и напечатана въ 1835 г. въ „Библиотекѣ для Чтенія“. Что касается до самого Лермонтова, то онъ, повидимому, въ это время нисколько не гонимся за авторскою славою и не спѣшилъ печатать своихъ произведеній, къ которымъ относился чрезвычайно строго: многія изъ его поэмъ и стихотвореній, написанныхъ на школьной скамейкѣ (между 1831—1834 г.), явились въ свѣтъ не ранѣе, какъ черезъ пять или шесть лѣтъ послѣ того, когда авторомъ дана была имъ окончательная отдѣлка. Довольно любопытна для насъ та характеристика личности Лермонтова въ этотъ періодъ его жизни, которую онъ самъ оставилъ намъ въ одномъ изъ своихъ шутивныхъ стихотворныхъ разсказовъ (Монго) Вотъ какъ онъ описываетъ тамъ себя подъ именемъ Маѣшки:

Онъ лѣтъ въ законъ себѣ поставилъ,
Дома съ дежурства уѣзжалъ;
Хотя и дома былъ безъ дѣла;
Порой разсуждалъ онъ сѣло,
Но чаще онъ не разсуждалъ.
Разгульной жизни отпечатокъ
Иные захѣчали въ немъ;
Печалей будущихъ заботокъ
Хранилъ онъ въ сердцѣ молодомъ;
Его покоя не смущало,
Что не касалось до него;
Насмѣшекъ гибельное жало

Врою желѣзную встрѣчало
Надъ самоубійствъ его.
Слова онъ вѣшалъ осторожно
И опрометчивъ былъ въ дѣлахъ;
Порой, трезвый, вралъ безбожно.
И молчаливъ былъ — на пиратъ:
Характеръ вовсе бесполезный
И для друзей, и для враговъ.

Вскорѣ послѣ того, какъ Лермонтовъ оставилъ юнкерскую школу, онъ написалъ драму „Маскарадъ“ (1834) и поэму „Бояринъ Орша“ (1835). Но собственно литературная извѣстность его началась не ранѣе, какъ съ 1837 года, когда, вскорѣ послѣ смерти Пушкина, написана была имъ превосходная пьеса „На смерть поэта“ („Погибъ поэтъ, невольникъ чести“), въ которой онъ выразилъ свое полное сочувствіе поэту, такъ преждевременно похищенному смертью, и, въ то же время, налилъ всю желчь свою противъ того кружка, который такъ мало способенъ былъ оцѣнить Пушкина... Стихотвореніе надѣлало шуму и черезъ товарищей Лермонтова быстро разошлось по Петербургу во множествѣ списковъ. Вскорѣ послѣ того, наслышавшись различныхъ, противорѣчивыхъ толковъ о дуэли и смерти Пушкина, Лермонтовъ прибавилъ къ своему стихотворенію еще 16 самыхъ рѣзкихъ, окончательныхъ стиховъ („а вы, надменные потомки“). Вскорѣ послѣ того (27 февр. 1837 года) Лермонтовъ переведенъ былъ прапорщикомъ въ Нижегородскій драгунскій полкъ, стоявшій въ Грузіи, и отправился на Кавказъ.

Однакоже, просьбы и хлопоты его бабушки, Арсеньевой, привели къ тому, что уже въ октябрь того же года онъ былъ возвращенъ съ Кавказа и переведенъ въ гвардію (въ 1-ю Гродненскій гусарскій полкъ). Въ это время и литературная критика наша уже успѣла оцѣнить его: онъ написалъ свою превосходную „Пѣсню про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова“, въ которой всѣ привѣтствовали совершенно новое въ нашей литературѣ явленіе, поразившее смѣлымъ сочетаніемъ высокохудожественныхъ картинъ, полныхъ силы и достоинства, съ внѣшностью безыскусственныхъ произведеній народной поэзіи.

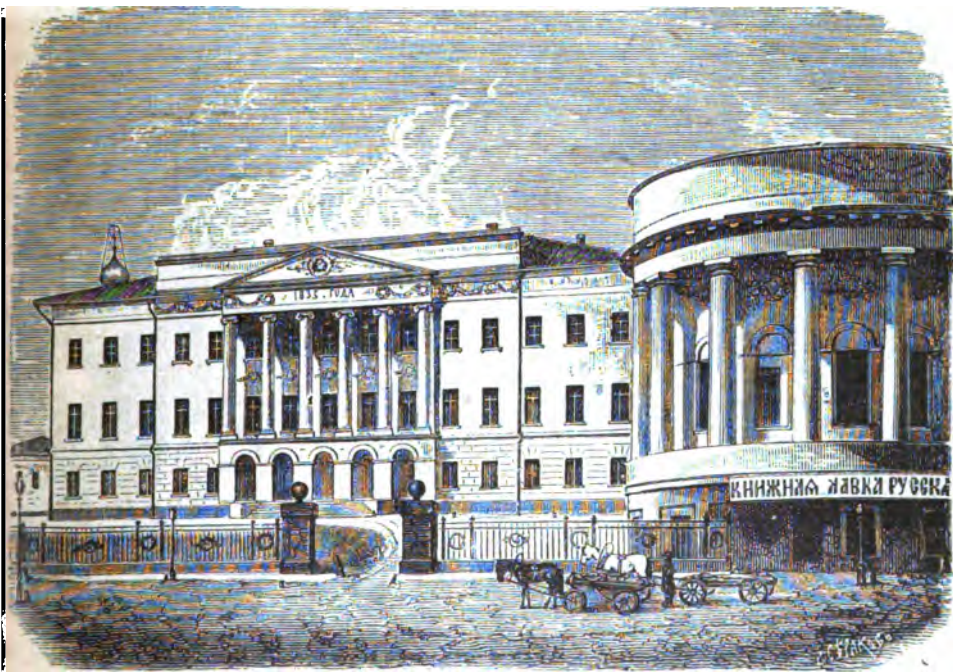
Эта небольшая пьеса должна была тѣмъ

болѣ удивить всѣхъ, что въ то время еще мало было извѣстно другое, гораздо ранѣ этого времени написанное, произведение Лермонтова — „Демонъ“ (между 1829 и 1834), бѣдное содержаніемъ, но изумляющее богатствомъ и роскошью красокъ, и безконечнымъ разнообразіемъ картинъ кавказской жизни и кавказской природы.

Очень важны для поясненія литературной дѣятельности Лермонтова тѣ три письма его (къ московской пріятельницѣ), которыя сохранились намъ отъ періода времени между 1835—1838 годами, и которыя

мы цѣликомъ приводимъ здѣсь. Письма эти не столько важны своими біографическими подробностями и намеками, сколько прямыми указаніями на тѣ вліянія внѣшнія и на то внутреннее настроеніе, которыя побудили Лермонтова создать типъ „Героя нашего времени“.

... „Признаюсь вамъ, каждый день болѣе и болѣе убѣждаюсь въ томъ, что никогда ни на что не буду годенъ, не смотря на всѣ мои прекрасныя мечты и плохіе опыты на жизненномъ пути... потому что, либо случая не встрѣчаешь, либо смѣлости не



Московскій университетъ (старое зданіе).

хватаетъ!... Мнѣ говорятъ: случай со временемъ встрѣтится, а время придастъ вамъ смѣлости!... А кто знаетъ, — когда все это случится. — останется-ли у меня хоть тѣнь той пламенной и юной души, которою Богъ надѣлилъ меня такъ некстати? И не будетъ-ли сила моей воли истощена постоянною сдержанностью?... Кто знаетъ, наконецъ — не буду-ли я тогда и вовсе разочарованъ во всемъ, что побуждаетъ насъ къ поступательному движенію въ жизни... Вѣрите-ли: я до такой степени не способенъ

увлекаться собой, что когда случайно понравится мнѣ какая-нибудь моя же мысль, я стараюсь припоминать, откуда я ее вычиталъ?—и вслѣдствіе этого я теперь ничего не читаю, чтобы не думать. Я и въ свѣтъ выѣзжаю теперь... чтобы дать себя знать, чтобы показать, что я могу находить удовольствіе и въ порядочномъ обществѣ!..“

„Пишу вамъ, милый другъ, наканунѣ отъѣзда въ Новгородъ. До настоящей минуты все ожидалъ, не случится-ли со мною хоть что нибудь пріятное, о чемъ-бы я могъ и

васъ извѣстить; однакоже ничего подобнаго не случилось, и я рѣшаюсь писать вамъ, что умираю здѣсь съ тоски. Первые дни по приѣздѣ сюда (съ Кавказа) все приходилось рыскать: представлялся разнымъ лицамъ, дѣлалъ церемонные визиты всякіе, потомъ каждый день сталъ ѣздить въ театръ... Хорошъ театръ, да только ужъ понадоѣлъ таки мнѣ. Да къ тому же еще и добрые-то родственники мнѣ покою не даютъ! Не хотятъ, чтобы я выходилъ въ отставку... Однимъ словомъ, я порядочно упалъ духомъ и даже очень-бы хотѣлъ поскорѣ поки-

нуть Петербургъ и уѣхать куда бы то ни было, въ полкъ или къ чорту; тогда, по крайней мѣрѣ, будетъ хоть какой нибудь поводъ къ жалобамъ, а вѣдь это все-таки утѣшеніе, не хуже другого... (15-го февр. 1838).“

Въ теченіе 1838 и 1839 гг. Лермонтовъ оставался въ Петербургѣ и писалъ сначала очень немного. Зато въ 1839 г. написалъ поэму „Мцыри“ и началъ цѣлый рядъ превосходныхъ разсказовъ въ прозѣ, которые потомъ вышли подъ однимъ общимъ заглавіемъ: „Герой нашего времени“.



Домикъ Лермонтова, въ Пятигорскѣ.

Произведеніе это, въ значительной степени уже утратившее для настоящаго времени свой живой интересъ, останется однимъ изъ важнѣйшихъ памятниковъ того времени, которому всецѣло принадлежалъ самъ Лермонтовъ. Въ лицѣ Печорина онъ старался представить „портретъ, составленный изъ пороковъ всего современнаго ему поколѣнія“; изображая его, онъ „рисовалъ современнаго человека, какимъ онъ его понималъ и къ его, и къ нашему общему несча-

стію, слишкомъ часто встрѣчалъ“. Лермонтовъ сознается, что, создавши характеръ Печорина, онъ старался указать на „болѣзнь“, постигшую все современное русское общество... Но все это высказывалъ Лермонтовъ уже въ предисловіи ко второму изданію „Героя“, послѣ того, какъ въ обществѣ стали сильно поговаривать, будто авторъ въ этой повѣсти изобразилъ себя самого и описалъ свои собственные похожденія. Биографъ Лермонтова совершенно

основательно замѣчаетъ, что и дѣйствительно „Лермонтовъ писалъ Героя съ любовью“, и что въ „чертахъ его характера, съ любовью описанныхъ авторомъ, слѣдуетъ видѣть именно тѣ признаки извращенія, которые дала таланту эпоха“. Но нельзя однакоже не замѣтить, что эти „признаки извращенія“, отчасти, принадлежали и просто той формѣ, какую байронизмъ долженъ былъ принимать на русской почвѣ. Въ Западной Европѣ байронизмъ являлся громкимъ протестомъ личности противъ стѣснявшихъ ее условій европейской историче-

ской жизни, паслѣдованныхъ обществомъ; — у насъ онъ представлялъ собою не болѣе, какъ энергическій протестъ противъ небольшого избраннаго меньшинства, противъ тягости временныхъ условій нашей общественной жизни, противъ апатіи или же неразвитости всей массы общества. Само собою разумѣется, что, видоизмѣняясь такимъ образомъ на русской почвѣ, байронизмъ въ произведеніяхъ нашихъ поэтовъ долженъ былъ или проявляться въ видѣ совершенно бездѣльных, туманныхъ характеровъ (таковъ напр. Демонъ Лермонтова), либо въ



Гротъ Лермонтова, въ Пятигорскѣ.

видѣ характеровъ, представляющихъ собою смѣсъ нашихъ національных особенностей, смѣсъ чертъ, исключительно принадлежащихъ нашей почвѣ, съ другими чертами, заимствованными отъ байроновскихъ героев. Такимъ-то именно героемъ является Печоринъ, котораго біографъ Лермонтова опредѣляетъ довольно вѣрно простымъ указаниемъ на слѣдующія замѣчаемыя въ немъ противорѣчія:

„Русскій офицеръ сороковыхъ годовъ, раз-

рушитель женскихъ сердецъ, готовый гордиться этимъ передъ цѣлымъ свѣтомъ; офицеръ-дэнди — чуть-чуть не англійскій лордъ, который обращаетъ особенное вниманіе на породистость. страстный (но еще болѣе чувственный) убійца Бѣлы, Вѣры, княжны Мэри; поклонникъ дикихъ страстей „народа дикаго“, черкесовъ; герой, ненавидящій фальшивый лоскъ и необратившій вниманія на все то, что просто и естественно, и потому невидѣвшій народа за блескомъ мундировъ“.

Все это признаем мы теперь каррикатурнымъ, и печоринство представляется намъ давно отжившимъ свой вѣкъ; но все это было дѣйствительною, не вымышленною принадлежностью русской общественной жизни и русскаго общественнаго типа глѣть сорокъ тому назадъ, особенно въ средѣ лучшихъ людей нашего высшаго круга, которые способны были болѣе другихъ чувствовать всю ложь окружавшей ихъ жизни, и въ то же самое время не чувствовали въ себѣ силъ просто и естественно отстраниться отъ этой лжи, перейти на другую дорогу. Къ числу такихъ-то людей принадлежалъ и Лермонтовъ, такой же „невольникъ чести“, какъ и Пушкинъ; такимъ является намъ Лермонтовъ и въ той прекрасной характеристикѣ, которую оставилъ намъ нѣмецкій поэтъ Боденштедтъ ¹⁾, познакомившійся съ Лермонтовымъ въ Москвѣ подъ конецъ его жизни (1840—41 гг.):

„Недостатки Лермонтова были недостатками всего свѣтскаго молодого поколѣнія въ Россіи“ — замѣчаетъ Боденштедтъ; „но достоинствъ его не было ни у кого. Вѣрнѣйшее изображеніе его личности все-таки останется намъ въ его произведеніяхъ, гдѣ онъ высказывается вполне такимъ, какимъ былъ, тогда какъ въ жизни онъ былъ лишь тѣмъ, чѣмъ хотѣлъ казаться“. Не надо понимать это въ дурномъ смыслѣ: если Лермонтовъ и надѣвалъ маску, то надѣвалъ не съ злымъ намѣреніемъ... Характеръ его былъ самаго крѣпкаго закала, и чѣмъ грознѣе падали на него удары судьбы, тѣмъ болѣе становился онъ твердымъ. Онъ не могъ противостоять преслѣдовавшей его судьбѣ; но въ то же время не хотѣлъ ей покориться. Онъ былъ слишкомъ слабъ, чтобы одолѣть ее, но и слишкомъ гордъ, чтобы позволить одолѣть себя... Вотъ почему и пряталъ онъ свои страданія подъ личиною веселости, а самія ѣдкія остроты его отвѣчаются горечью слезъ“.

Такимъ же точно рисуютъ намъ Лермонтова и другіе его современники, заслуживающіе

полнаго довѣрія и отвергающіе съ негодованіемъ всѣ враждебные, неблагопріятные отзывы о личности и характерѣ Лермонтова: они основывались на одномъ наблюденіи той свѣтской маски, которую Лермонтовъ считалъ долгомъ надѣвать передъ людьми, мало его знавшими! Въ числѣ этихъ современниковъ подаетъ свой голосъ въ пользу Лермонтова и Бѣлинскій, такъ прекрасно опредѣлившій значеніе Лермонтова, какъ поэта, и на себѣ испытавшій все обаяніе его личности, когда она поставлена была въ условія простыхъ, искреннихъ отношеній къ искусству ²⁾.

Страшнымъ, роковымъ образомъ сбылся надъ Лермонтовымъ тотъ жребій, который онъ какъ бы предназначилъ себѣ въ известномъ своемъ юношескомъ стихотвореніи (Нѣтъ, я не Байронъ, я другой еще невѣдомый избранникъ); въ немъ онъ говорилъ, между прочимъ, сравнивая себя съ Байрономъ:

„Я раньше началъ, кончу ранѣ,
Мой умъ немного совершить“...

И дѣйствительно „Герой нашего времени“ еще не совсѣмъ былъ оконченъ, а ужъ надъ головою автора его успѣли собраться новыя грозныя тучи. Въ февралѣ 1840 года Лермонтовъ дрался на дуэли съ сыномъ барона де-Баранта (известнаго французскаго историка и посланника при нашемъ Дворѣ) и за эту дуэль былъ тѣмъ же чиномъ переведенъ въ Тенгинскій пѣхотный полкъ. Въ третій разъ въ жизни пришлось ему ѣхать на Кавказъ. На пути туда было написано известное стихотвореніе его: Тучки небесныя, вѣчныя странники! Вскорѣ послѣ того вышелъ въ свѣтъ Герой нашего времени и первое полное собраніе его стихотвореній, которыя до тѣхъ поръ помѣщались почти исключительно въ Отечественныхъ Запискахъ

Ровно черезъ годъ, весной 1841 г., Лермонтову разрѣшено было на короткое время пріѣхать въ Петербургъ—и тутъ въ послѣдній разъ пришлось ему увидѣть „милыя

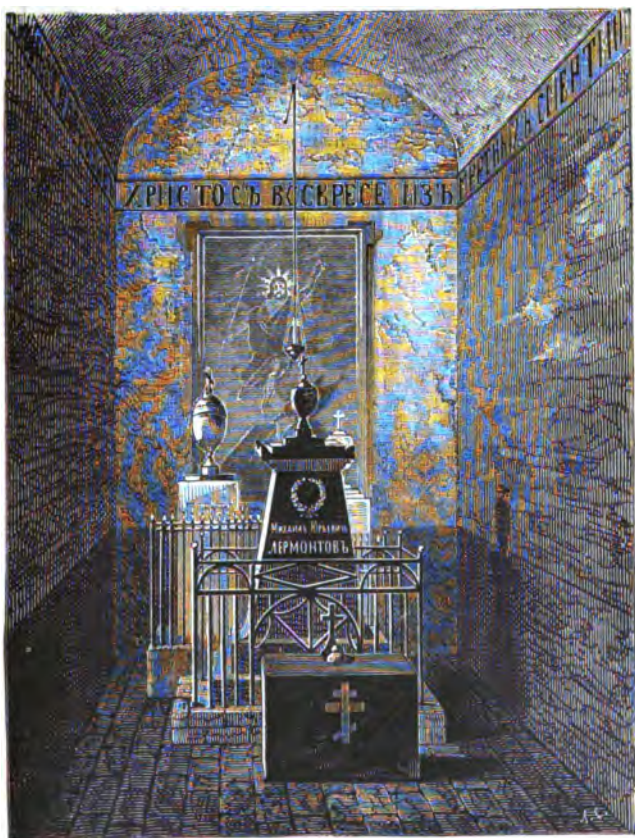
¹⁾ Боденштедтъ подарилъ нѣмецкую литературу превосходнымъ переводомъ Лермонтова. — ²⁾ См. известный рассказъ Бѣлинскаго о бесѣдѣ съ Лермонтовымъ, котораго онъ посѣтилъ подъ арестомъ (въ Воспоминаніяхъ Панаева. „Современникъ“ 1861 г. II, 656—653).

Сѣверъ“. Въ апрѣлѣ 1841 года выѣхалъ онъ изъ Петербурга, а 15-го іюля того же года онъ былъ убитъ на дуэли съ сослуживцемъ своимъ Мартыновымъ¹⁾.

Одинъ изъ очевидцевъ этого печальнаго событія сохранилъ намъ въ своемъ разсказѣ

нѣсколько подробностей о погребеніи Лермонтова:

... „Человѣкъ 10 или 12 его пріятелей, — военные — въ мундирахъ, не военные²⁾ во фракахъ — понесли гробъ на могилу. Надъ гробомъ священникъ прочиталъ молитву



Могила Лермонтова, въ селѣ Тарханы.

Когда стали опускать гробъ въ землю, оказалось, что онъ не можетъ войти въ боковую пещеру, сдѣланную на днѣ могилы: тогда какой-то стоявшій въблизи черкесъ прыгнулъ туда и кинжаломъ пооббилъ землю. Могила, вырытая у подножія великаго Машука, на небольшомъ склонѣ, освѣ-

щенномъ кавказскимъ солнцемъ, казалась лучшимъ для поэта монументомъ...”

Вскорѣ послѣ того, прахъ поэта-изгнанника былъ отправленъ изъ Пятигорска въ Чембарскій уѣздъ Пензенской губ., въ то самое село Тарханы, въ которомъ провелъ онъ у бабушки годы ранняго дѣтства.

¹⁾ Нельзя не замѣтить, что Мартыновъ не былъ виноватъ въ этой дуэли: самъ Лермонтовымъ былъ онъ вынужденъ къ вызову. —²⁾ Въ томъ числѣ и братъ А. С. Пушкина, Левъ Сергѣевичъ.

Тамъ скромная гробница поэта возвышается подъ кровомъ простой часовни, рядомъ съ могилою его бабушки, которая такъ иѣжно любила его и, къ величайшему горю своему, должна была его пережить.

Послѣдній годъ поэтической дѣятельности Лермонтова былъ особенно богатъ лирическими произведеніями, полными силъ и совершенства, явно свидѣтельствующаго о наступающей зрѣлости еще молодого и не вполнѣ разившагося, но громаднаго таланта. Въ этомъ отношеніи нельзя не согласиться съ Бѣлинскимъ, который замѣчаетъ, что Лермонтовъ умеръ въ то время, когда въ его душевномъ настроеніи очевидно совершался важный переворотъ. „Лермонтовъ немного написалъ“—говоритъ Бѣлинскій—„безконечно меньше того, сколько позво-

лялъ его громадный талантъ. Беззаботный характеръ, пылкая молодость, жадная впечатлѣннй бытія, самый родъ жизни--отвлекали его отъ мирныхъ кабинетныхъ занятій, отъ уединенной думы, столь любезной музамъ; но уже кипучая натура его начала уставаться, въ душѣ пробуждалась жажда труда и дѣятельности, а орлиный взоръ сталъ спокойно вглядываться въ глубь жизни“...

Справедливость этого вывода становится особенно очевидна всякому, прослѣдившему въ хронологической послѣдовательности все написанное Лермонтовымъ, особенно, если при этомъ не забывается тотъ въ высшей степени знаменательный фактъ, что поэтъ, создавшій такъ много прекраснаго, умеръ на двадцать-сѣдѣмъ году жизни!



XX.

И. В. Гоголь. — Биографическія подробности. — Романтическое фантазерство и высокое мѣнье Гоголя о себѣ самомъ. — Переходъ къ простому наблюденію и спокойному изображенію жизни. — Неудачныя попытки въ области науки. — Сознательный періодъ творчества. — Вліяніе душевной болѣзни на дѣятельность литературную. — Жалкое положеніе Гоголя въ послѣдніе годы жизни.

Мы уже неоднократно имѣли случай замѣчать, что романтизмъ главнымъ своимъ принципомъ постановилъ свободу творчества и народность поэзіи. Эти два принципа только и остались отъ романтизма, пережили его, и, до нашего времени, сохранили свое значеніе. Однакоже, романтизмъ, проповѣдывая свободу творчества, понималъ эту свободу довольно своеобразно: онъ ограничивалъ ее, избирая предметами поэтическихъ произведеній преимущественно экстраординарные стороны жизни, величественные моменты ея; героями его постоянно были избранныя, сильныя натуры, глубоко скорбѣвшія о судьбахъ всего человѣчества, способныя къ „титанической“ борьбѣ противъ дѣлагаго міра. Эта склонность романтическихъ поэтовъ созерцать жизнь преимущественно въ ея исключительные моменты произошла отъ двухъ причинъ: съ одной стороны, подъ обаяніемъ впечатлѣнія грандіозныхъ событій современной исторической эпохи; съ другой — какъ завѣщанная ложнымъ классицизмомъ привычка считать достойными поэтическаго вдохновенія только однихъ героевъ, выдающихся изъ толпы, представлять изъ жизни этихъ героевъ одни торжественные моменты.

Но, мало-по-малу, событія, ознаменовавшія наступленіе XIX столѣтія, начали уходить въ глубь прошедшаго, а вмѣстѣ съ тѣмъ и обаяніе, производимое ими, стало исчезать. Наступили времена болѣе мирныя и тихія. Подъ вліяніемъ всеобщей реакціи, люди сосредоточились въ наблюденіи самихъ себя. Мрачное разочарованіе Байрона смѣнилось томною скукою при видѣ безконечно-тянущейся день за днемъ будничной канители. Затѣмъ, въ обществѣ явилось желаніе спокойно и холодно изучать дѣй-

ствительность, которая не покорялась поэтическимъ мечтаніямъ. Отъ поэзіи начали требовать представленія обыденной жизни, окружающей поэта, живой, осязательной дѣйствительности, знакомой и близкой сердцу каждаго. Лирическая восторженность, мало-по-малу, смѣнилась спокойною созерцательностью, холодною ироніею или насмѣшливо-грустнымъ юморомъ; самыя стихи смѣнились прозою, и господствующими поэтическими формами новаго времени сдѣлались романъ и повѣсть.

Подобный переворотъ произошелъ почти одновременно во всѣхъ европейскихъ литературахъ.

Какъ естественно и неодолимо было влеченіе отъ фантастическихъ образовъ къ дѣйствительности, отъ лирической восторженности къ спокойному созерцанію, и отъ стиховъ къ прозѣ, — это мы видимъ на геніальномъ представителѣ романтизма въ Россіи — Пушкинѣ. Подъ конецъ своего литературнаго поприща Пушкинъ окончательно выступаетъ на почву спокойной и здравой наблюдательности; а вмѣстѣ съ тѣмъ, чаще и чаще, начинаетъ прибѣгать къ прозѣ. Въ своихъ прозаическихъ произведеніяхъ — „Капитанской дочкѣ“, „Дубровскомъ“ и пр. — онъ представилъ первые образцы русскаго нравоописательнаго романа. Вообще говоря, въ 30-е годы романъ и повѣсть все болѣе и болѣе выступаютъ на первый планъ въ нашей литературѣ. Является цѣлый рядъ беллетристовъ — Загоскинъ, Лажечниковъ, Даль, Вельтманъ, Н. А. Полевой, кн. В. Одоевскій, Павловъ, Марлинскій и проч. Въ иныхъ романахъ этихъ писателей преобладаютъ еще романтические идеалы, въ другихъ ясно замѣтно подражаніе Вальтеръ-Скотту; но уже и въ

нихъ являются мѣстами болѣе или менѣе удачныя попытки изобразить сцены изъ русской жизни исторической и современной, съ претензією на комизмъ, сатиру и юморъ. И вотъ, при этихъ-то обстоятельствахъ на литературное поприще выступаетъ Гоголь, ставшій во главѣ новаго литературнаго движенія и создавшій школу, господствующую въ литературѣ и нынѣ.

Николай Васильевичъ Гоголь-Яновскій родился въ 1809 году, 19-го марта, въ Полтавской губерніи, въ мѣстечкѣ Сорочинцахъ. Отецъ его, Василій Афанасьевичъ Гоголь, былъ сынъ полкового писаря (одна изъ почетныхъ должностей) при Запорожскомъ казацкомъ войскѣ. Только два поколѣнія отдѣляли Гоголя отъ эпохи казацкихъ войнъ, и дѣдъ его, полковой писарь, сообщалъ своей семьѣ много рассказовъ изъ этого времени. Вообще Гоголя окружала въ дѣтствѣ жизнь, едва вступившая изъ своего средневѣковаго, воинственнаго, полудикаго броженія въ русло общихъ порядковъ русской гражданственности, исполненная свѣжихъ преданій старины, легендъ и воинственныхъ пѣсенъ; жизнь, въ которой непосредственная, младенчески-религіозная набожность сплеталась неразрывными узами съ роємъ народныхъ суевѣрій. Дѣдъ Гоголя былъ въ этомъ отношеніи живымъ представителемъ только-что минувшаго прошлаго, и не даромъ Гоголь не разъ упоминаетъ о немъ въ Вечерахъ на Хуторѣ. Можно навѣрное сказать, что этому дѣду Гоголь былъ обязанъ половиною своихъ малороссійскихъ рассказовъ. „Дѣдъ мой, говоритъ онъ въ повѣсти „Вечеръ наканунѣ Ивана Купала“, умѣлъ чудно рассказывать. Бывало, поведетъ рѣчь — цѣлый день не подвинулся-бы съ мѣста и все-бы слушалъ... Но ни дивныя рѣчи про давнюю старину, про набѣды Запорожцевъ и Ляховъ, про молодецкія дѣла Подковы, Полтора-Кожуха и Сагайдачнаго, не занимали насъ такъ, какъ рассказы про какое-нибудь старинное дѣло, отъ которыхъ всегда дрожь проходила по тѣлу и волосы ерошились на головѣ. Иной разъ страхъ бывало такой заберетъ отъ нихъ, что съ вечера все показывается Богъ знаетъ какимъ чудовищемъ“...

Въ то время, когда дѣдъ былъ для маленькаго Гоголя представителемъ отжившей старины, отецъ его, Василій Афанасьевичъ,

явился представителемъ современности. Онъ былъ человекъ начитанный и бывалый, любилъ литературу, выписывалъ журналы, обладалъ въ то же время даромъ рассказывать и приправлять свои рассказы малороссійскимъ юморомъ. Усадьба его, Васильевка, была центромъ общественной околоса. Среди всевозможныхъ празднествъ, въ этой усадьбѣ отецъ Гоголя не рѣдко устраивалъ и домашніе спектакли. На этихъ спектакляхъ разыгрывались только-что появившіяся малороссійскія комедіи Котляревскаго — Наталка — Полтавка, Москаль Чаривникъ. Отецъ Гоголя написалъ и самъ въ подражаніе Котляревскому нѣсколько комедій, которыя тоже разыгрывались въ Васильевкѣ.

Грамотѣ выучился Гоголь дома отъ наемнаго семинариста. Потомъ его отдали съ младшимъ братомъ Иваномъ для приготовленія къ поступленію въ Полтавскую гимназію одному изъ учителей этой гимназіи. Но когда дѣтей взяли домой на каникулы и братъ Гоголя умеръ, Гоголя не отсылали уже болѣе въ Полтаву и онъ оставался нѣкоторое время дома. Между тѣмъ, тогдашній черниговскій губернаторъ, прокуроръ Бажановъ, увѣдомилъ отца Гоголя объ открытіи въ Нѣжинѣ гимназіи высшихъ наукъ князя Безбородко, и совѣтовалъ ему помѣстить сына въ находящійся при этой гимназіи пансіонъ, что и было исполнено въ маѣ мѣсяцѣ 1821 года. Гоголь вступилъ своекоштнымъ воспитанникомъ, а черезъ годъ зачисленъ казеннокоштнымъ. Нельзя сказать, чтобы Гоголь былъ многимъ обязанъ этой гимназіи высшихъ наукъ и вынесъ оттуда какія-либо основательныя познанія не только въ высшихъ, но и въ самыхъ элементарныхъ наукахъ. Онъ мало занимался уроками; обладая отличною памятью, онъ схватывалъ на лекціяхъ верхушки и, занявшись передъ экзаменомъ нѣсколько дней, переходилъ въ высшій классъ. Особенно не любилъ онъ математики; но и къ изученію языковъ не питалъ особенной склонности: по окончаніи курса онъ не могъ еще читать французскія книги безъ словаря. Къ нѣмецкому же и англійскому языкамъ онъ и впоследствии питалъ какое-то странное отвращеніе. Онъ, шутя, говаривалъ, будто „не вѣрится, чтобы Шиллеръ и Гёте писали на нѣмецкомъ языкѣ: вѣрно на какомъ

нибудь особенномъ; но не можетъ быть, чтобы на нѣмецкомъ“.

Если въ новыхъ языкахъ Гоголь оказалъ столь незначительные успѣхи, то классическіе и подавно не дали ему. „Онъ учился у меня три года“, говоритъ въ своихъ воспоминаніяхъ о Гоголѣ учитель латинскаго языка въ Нѣжинскомъ лицѣ, Кулжинскій: „и ничему не научился, какъ только переводить первый параграфъ изъ хрестоматіи при грамматикѣ Кошанскаго: *universus mundus plerumque distribuitur in duas partes:—coelum et terram* (за что и былъ прозванъ вмѣстѣ съ другими такими-же латинистами: *universus mundus*). Во время лекцій, Гоголь всегда, бывало, подъ скамьею держитъ какую-нибудь книгу, не обращая вниманія ни на *coelum*, ни на *terram*. Надо было признаться, что не только у меня, но и у другихъ товарищей моихъ онъ, право, ничему не научился. Школа приучила его только къ нѣкоторой логической формальности и последовательности понятій и мыслей, а болѣе ничѣмъ онъ намъ не обязанъ“.

Не говоря уже о языкахъ, даже и русской грамотѣ не научила Гоголя гимназія высшихъ наукъ по свидѣтельству его біографа. „Ученическія письма Гоголя“, говоритъ онъ, „отличаются отсутствіемъ всякихъ правилъ орфографіи. Чтобы сдѣлать ихъ болѣе ясными, я разставилъ, какъ слѣдуетъ, знаки препинанія, обратилъ прописныя буквы, на которыя онъ былъ тогда очень щедръ, въ строчныя, и поправилъ неправильныя окончанія въ прилагательныхъ именахъ“.

Единственно, чему выучился Гоголь въ лицѣ, это искусству рисованія, и, судя по его письмамъ къ домашнимъ, онъ очень прилежно и съ любовью занимался въ школѣ этимъ искусствомъ.

Будучи такимъ образомъ не послѣднимъ талантомъ въ классѣ, Гоголь въ то же время былъ первымъ шалуномъ и любимцемъ своихъ товарищей. Особенно привлекала ихъ къ нему неистощимая его шутливость. Уже въ дѣтствѣ обнаружился въ немъ саомытнй юморъ, и никто такъ не умѣлъ скопировать и представить какую либо всѣмъ извѣстную личность, какъ маленькій Гоголь.

Мало занимаясь уроками, Гоголь много

читалъ,—читалъ все, что только попадалось ему подъ руку. Такимъ образомъ уже на школьной скамьѣ онъ успѣлъ познакомиться съ русскими поэтами; особенно восхищался, конечно, Пушкинымъ и Жуковскимъ, перечитывалъ выходяшіе въ то время альманахи и нумера „Вѣстника Европы“, на который подписывались его родители. Чтеніе альманаховъ и журналовъ возбудило въ немъ подражательность. Сначала эта подражательность проявилась въ видѣ пародіи. Но отъ пародіи онъ перешелъ къ изданію серьезнаго рукописнаго журнала, и большихъ трудовъ стоило ему это предпріятіе. Нужно было написать самому статьи почти по



Гоголь.

всѣмъ отдѣламъ, потомъ переписать ихъ и, что всего важнѣе, сдѣлать обертку на подобіе печатной. Гоголь хлопоталъ изъ всѣхъ силъ, чтобы придать своему изданію наружность печатной книжки, и просиживалъ ночи, разрисовывая заглавный листокъ, на которомъ красовалось названіе журнала „Звѣзда“. Все это дѣлалось, разумѣется, украдкою отъ товарищей, которые не прежде должны были узнать содержаніе книжки, какъ по ея выходѣ изъ редакціи. Наконецъ перваго числа мѣсяца книжка журнала выходила въ свѣтъ. Издатель бралъ иногда на себя трудъ читать вслухъ свои и чужія статьи. Все внимало и восхищалось. Въ „Звѣздѣ“, между прочимъ, помѣщена была повѣсть Гоголя: „Братья Твердиславичи“

(въ подражаніе повѣстямъ, появившимся въ современныхъ альманахахъ), разными его стихотвореніи, трагедія Разбойники (пятистопными ямбами), баллада „Двѣ Рыбки“, въ которой Гоголь трогательно изобразилъ судьбу свою и своего брата, сатира на жителей города Нѣжина подъ заглавіемъ: „Нѣчто о Нѣжинѣ или дуракамъ законъ не писанъ“, въ которой онъ изобразилъ типическія лица разныхъ сословій.

Воротаясь однажды послѣ каникулъ въ гимназію, Гоголь привезъ на малороссійскомъ языкѣ комедію, которую играли на домашнемъ театрѣ его отца и сосѣда Трощинскаго, и изъ журналиста сдѣлался директоромъ театра и актеромъ. Кулисами служили ему классныя доски, а недостатокъ костюмовъ дополняло воображеніе артистовъ и публики. Потомъ ученики сложились и устроили себѣ кулисы и костюмы, копируя единственный театръ, видѣнный Гоголемъ, — театръ его отца. Начальство гимназій, желая приохотить воспитанниковъ къ французскому языку, ввело французскія пьесы. Вообще репертуаръ гимназическаго театра состоялъ изъ пьесъ Мольера, Флоріана, Коцебу, Фонъ-Визина, Княжнина и малороссійскихъ комедій. Театръ этотъ вскорѣ приобрѣлъ популярность въ городѣ, и городскіе жители стали сѣзжаться на представленія гимназистовъ. Гоголь особенно отличался въ роляхъ старухъ; многіе нѣжинцы еще помнятъ Гоголя въ роли Простаковой и говорятъ, что онъ исполнялъ ее превосходно.

Гоголь окончилъ курсъ наукъ въ 1828 году по 2-му разряду съ правомъ 14-го класса. Читая переписку Гоголя съ родными и друзьями за это время, можно составить себѣ довольно ясное и опредѣленное представление о нравственномъ и умственномъ развитіи Гоголя. Съ одной стороны это былъ юноша, исполненный непосредственного, дѣтскаго религіознаго благочестія, которое такъ и сквозитъ во многихъ письмахъ его.

Вмѣстѣ съ тѣмъ, это былъ пламенный энтузіастъ, которому будущее представлялось въ радужныхъ и величественныхъ чертахъ. Онъ воображалъ себя великимъ дѣятелемъ на пользу отечества, ему грезились постоянно какой-то важный трудъ, которымъ онъ долженъ оочастливить всю Россію.

„Испытуй“, говоритъ онъ, „силы для подвигу труда важнаго, благороднаго, на пользу отечества, для счастья гражданъ. Для блага себѣ подобныхъ и, дологъ нерѣшительный, неуверенный (и справедливо) въ себѣ, я вспыхиваю огнемъ гордаго самозванія, и душа моя будто видитъ этого незваннаго ангела твердо и непреклонно все указующаго въ мѣту жаднаго исканія“. Въ чемъ долженъ былъ заключаться этотъ будущій важный трудъ на пользу и благоденствіе гражданъ, объ этомъ Гоголь имѣлъ еще смутныя понятія, и мечты его болѣе всего стремились на государственную службу.

Въ то же время не мало было въ немъ и задатковъ романтизма. Такъ онъ воображалъ себя непонятнымъ гениемъ. „Правда“, говоритъ онъ въ письмѣ къ матери отъ 1828 года, „почитаюсь загадкою для всѣхъ: никто не разгадалъ меня совершенно. У васъ почитаютъ меня своенравнымъ, кажимъ-то несноснымъ педантомъ, думающимъ, что онъ умнѣе всѣхъ, что онъ созданъ на другой ладъ отъ людей. Вѣрите-ли, что я внутренно самъ смѣюсь надъ собою вмѣстѣ съ вами? Здѣсь (т. е. въ Петербургѣ) меня называютъ сиренникомъ, идеаломъ кротости и терпѣнія. Въ одномъ мѣстѣ самый тихій, скромный, учтивый; въ другомъ — угрюмый, задумчивый, неотесанный и проч.; въ третьемъ — болтливъ и докучливъ до чрезвычайности; у иныхъ умный, у другихъ глупъ. Какъ угодно почитайте меня, но только съ настоящаго поприща вы узнаете мой характеръ“. Какъ всѣ неопытные гении романтизма, онъ уже въ 18 лѣтъ воображалъ себя претерпѣвшимъ отъ людей бездну всякихъ непріятностей. „Но вѣдь ли кто вынесъ“, пишетъ онъ въ томъ же письмѣ, „столько неблагодарностей, глупыхъ смѣшныхъ притязаній, холоднаго презрѣнія и проч. Все выносилъ я безъ упрековъ, безъ роптаній, никто не слыхалъ моихъ жалобъ, я даже хвалилъ виновниковъ моего горя“. Претерпѣвши все это отъ пошлой толпы, Гоголь, конечно, и презиралъ эту толпу какъ всѣ романтики.

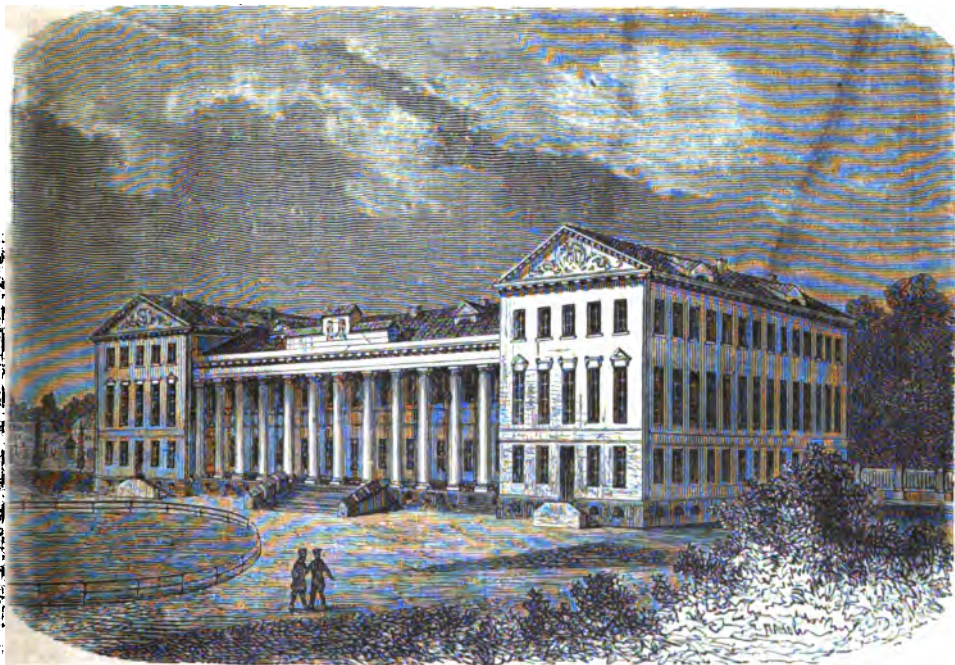
„Ты знаешь всѣхъ нашихъ существователей“, пишетъ онъ къ товарищу, „всѣхъ населившихъ Нѣжинъ. Они задавили корою своей земности, ничтожнаго самодовольствія высокое назначеніе человека. И между

этими существователями я долженъ пресмыкаться. Изъ нихъ не исключаются и дорогіе наставники наши“.

Вмѣстѣ со всѣмъ этимъ, мы видимъ въ юномъ мечтателѣ и романтикѣ двѣ черты, которымъ впоследствии пришлось играть важную роль въ жизни Гоголя. Съ одной стороны уже въ эту эпоху обнаружилась въ немъ склонность къ суровому аскетизму, заключавшемуся въ строгой умѣренности, въ сосредоточеніи всѣхъ интересовъ и радостей жизни исключительно въ духовной и умственной сферѣ. Другую преобладаю-

щую чертою его характера является передъ нами властолюбіе, склонность во все вмѣшиваться, поучать и подчинять своей волѣ окружающихъ.

По окончаніи курса, Гоголь исполнился мечтами о побѣдѣ въ Петербургѣ. Какъ всѣ провинціалы онъ составилъ себѣ, конечно, самыя преувеличенныя представленія о столицѣ. Онъ воображалъ, что въ Петербургѣ не замедлятъ осуществиться всѣ его пламенные мечты, что онъ сейчасъ же опредѣлится на службу и пойдетъ шагать по лѣстницѣ почестей и славы. Въ своихъ



Ни́жний лицей.

мечтахъ онъ даже опредѣлялъ, что квартира его въ столицѣ будетъ непременно выходить окнами на Неву, воображая, конечно, что устроить это такъ же легко, какъ въ Ни́жнѣ имѣть квартиру окнами на рѣчку, протекающую черезъ городъ. Но мечты его не замедлили смѣниться разочарованіемъ, вскорѣ по пріѣздѣ въ Петербургъ. „Скажу еще“, пишетъ онъ матери въ началѣ 1829 г., „что Петербургъ мнѣ показался вовсе не такимъ, какъ я думалъ. Я его воображалъ гораздо красивѣе, великолѣпнѣе, и слухи, которые распускали другіе о немъ, также

живы. Жить здѣсь не совсѣмъ по-свински, т. е. имѣть разъ въ день щи да кашу, несравненно дороже, нежели думаете“ и т. п. Вмѣсто квартиры окнами на Неву, онъ занялъ, пополамъ съ тозарищемъ, бѣдную квартирку въ двѣ комнаты въ четвертомъ этажѣ одного изъ грязныхъ и биткомъ набитыхъ домовъ Мѣщанской. Оказалось вскорѣ, что и на службу поступить въ Петербургѣ не такъ легко, какъ воображалъ молодой мечтатель. Тщегно ходилъ онъ съ разными рекомендательными письмами по канцеляріямъ и переднимъ начальствующимъ лицъ.

„Вездѣ совершенно“, пишетъ онъ матери, „я встрѣчалъ однѣ неудачи и, что всего страннѣе, тамъ, гдѣ ихъ вовсе нельзя было ожидать. Люди, совершенно неспособные, безъ всякой протекціи, легко получали то, чего я, съ помощію своихъ покровителей, не могъ достигнуть“. Къ этому всему приключилась еще юному энтузіасту фантастическая влюбчивость въ какую-то столь выскопоставленную особу, что Гоголь въ письмѣ къ матери не рѣшается даже назвать ее по имени.

Къ подобной фантастической влюбчивости присоединилась еще тоска по родинѣ, разочарованія въ нѣжинскихъ мечтахъ и неудача въ попыткахъ пристроиться какъ нибудь въ Петербургѣ, и все это произвело такое сильное нравственное потрясеніе въ Гоголя, что, не помня себя, онъ почувствовалъ необузданное стремленіе бѣжать куда глаза глядятъ и рѣшился на отчаянный поступокъ, который онъ и самъ называетъ безразсуднымъ: онъ удержалъ у себя деньги, присланныя матерью для уплаты въ опекунскій совѣтъ долга по заложенному имѣнію, предоставивши матери, въ вознагражденіе за эти деньги, пользоваться, какъ ей угодно, его частью отцовскаго наслѣдства — и поѣхалъ за границу... При этомъ курьезнѣе всего было то, что путешествіе это ограничилось городомъ Любекомъ. Онъ пріѣхалъ въ этотъ городъ моремъ, осмотрѣлъ его достопримѣчательности, прожилъ тамъ не болѣе мѣсяца, взялъ нѣсколько ваннъ въ Травемюнде и возвратился снова въ Петербургъ въ сентябрѣ 1829 г. Эта оригинальная поѣздка, прямое слѣдствіе юношескаго лирическаго порыва, во всякомъ случаѣ, принесла Гоголю ту пользу, что установила равновѣсіе его нравственныхъ силъ, отрезвила его и освѣжила.

Въ апрѣлѣ 1830 г. Гоголь нашелъ наконецъ мѣсто въ Министерствѣ Удѣловъ; это была самая низшая должность канцелярскаго служителя, на которой всѣ занятія заключались въ перепискѣ бумагъ. Онъ не пробылъ и года на этомъ мѣстѣ и вышелъ въ отставку, вынеся изъ своей службы только умѣнье шивать бумагу, да нѣсколько чиновничьихъ типовъ, которые онъ воспроизвелъ въ своихъ произведеніяхъ.

Между прочимъ Гоголь обращался и въ

театральную дирекцію съ намѣреніемъ поступить въ актеры. Онъ долженъ былъ подвергнуться домашнему испытанію и его забраковали безъ малѣйшаго одобренія. Стуча такимъ образомъ, что называется, во всѣ двери, Гоголь не пренебрегъ и литературой. Такъ онъ написалъ стихотвореніе „Италія“ и отправилъ его incognito къ издателю „Сына Отечества“, гдѣ оно было напечатано въ № 12 за 1829 г. Вслѣдъ за тѣмъ, онъ надалъ свою идиллію Гансъ Кюхель-Гартенъ, которую, какъ мы видѣли, написалъ еще въ гимназіи. Гоголь и въ этомъ нападѣи не выставилъ своего имени, а избралъ псевдонимъ Алова. Н. А. Полевой прихлопнулъ эту идиллію рецензією, исполненною безпощадныхъ насмѣшекъ. Эта рецензія такъ сильно подѣйствовала на Гоголя, что онъ немедленно бросился со своимъ слугою Якимомъ по книжнымъ лавкамъ, отобралъ экземпляры изданія, нанялъ извозчика въ гостинницѣ и сжегъ ихъ всѣ до единого.

Предавши сожженію „Ганса Кюхель-Гартена“, Гоголь окончательно раздѣлился съ своимъ романтизмомъ лицейскаго періода. Знакомясь болѣе и ближе съ современною литературою, онъ вскорѣ замѣтилъ, что въ ней вѣетъ совершенно инымъ духомъ; въ это самое время начали входить въ моду романы и повѣсти, особенно же историческіе. Вотъ почему, вскорѣ уже по пріѣздѣ въ Петербургъ, Гоголь, въ письмахъ своихъ въ Малороссію, умоляетъ всѣхъ своихъ родныхъ и знакомыхъ присылать ему всевозможныя историческія свѣдѣнія о Малороссіи, описанія нравовъ, обычаевъ, костюмовъ, игръ, пѣсенъ, легендъ и проч. „Это мнѣ очень, очень нужно“, пишетъ онъ пріятелю, „Принеси чувствительнѣйшую благодарность“, пишетъ онъ къ матери (24 іюля 1829 г.) — „за ваши драгоценныя извѣстія о малороссіянахъ, прошу васъ убѣдительно не оставлять и впредь таковыми письмами. Вѣсти единенія готовлю запасъ, котораго, порядочно не обработавши, не пушу въ свѣтъ; я не люблю спѣшить, а тѣмъ болѣе заниматься поверхностно“.

Такимъ образомъ, уже вскорѣ по пріѣздѣ въ Петербургъ началъ Гоголь обрабатывать свои „Вечера на хуторѣ близъ Диканьки“.

Въ февралѣ 1830 г. въ № 148 „Отече-

свенныхъ Записокъ" появилась уже безъ подписи одна изъ повѣстей Гоголя, составившихъ „Вечера“ — именно „Басса-врюкъ или Вечеръ наканунѣ Ива-на Купала“. Въ „Сѣверныхъ Цвѣтахъ“ за 1831 г. была напечатана глава изъ историческаго романа „Гетманъ“, подъ которою Гоголь выставилъ 0000. Въ № 1 „Литературной Газеты“ на 1831 г. онъ напечаталъ „Учителя“ изъ малороссійской повѣсти „Страшный Кабанъ“, а въ № 17 той же газеты другой отрывокъ изъ той-же повѣсти — „Успѣхъ посольства“ подъ псевдонимомъ Гнечикъ.

Вмѣстѣ съ этимъ Гоголь помѣщалъ въ журналахъ и серьезные статьи. Такъ онъ перевелъ съ французскаго „О торговлѣ Русскихъ въ концѣ XVI и началѣ XVII вѣка“ для „Сѣвернаго Архива“, а въ „Литературной Газетѣ“, въ № 17, 1831 г. была напечатана статья Гоголя: „Нѣсколько мыслей о преподаваніи дѣтямъ Географіи“.

Надо полагать, что эти первые повѣсти и статьи, разбросанныя по журналамъ, не замедлили обратить на Гоголя вниманіе литературнаго міра. Мы видимъ, что въ 1831 году Гоголь является уже съ рекоменда-тельнымъ письмомъ къ Жуковскому, а тотъ рекомендуетъ его Плетневу. Къ этому же времени относится и знакомство Гоголя съ Пушкинымъ, причемъ въ Гоголѣ обнаружились еще значительные остатки романтизма. Благоговѣя передъ талантомъ Пушкина, Гоголь съ трепетомъ позвонилъ рано утромъ у его двери и, когда слуга Пушкина объявилъ, что баринъ еще почиваетъ, Гоголю пригрѣзилось тотчасъ же, что поэтъ всю ночь бесѣдовалъ съ музами; но, къ полному разочарованію юнаго романтика, слуга, на вопросъ его, что дѣлалъ баринъ ночью, отвѣчалъ, что онъ всю ночь проигралъ въ карты.

П. А. Плетневъ былъ въ то время инспекторомъ Патріотическаго института. Онъ принялъ въ Гоголѣ живое участіе и исходатайствовалъ для него мѣсто старшаго учителя словесности (10 марта 1831 г.). Кромѣ того Плетневъ ввелъ его наставникомъ дѣтей въ дома П. И. Балабина, Лонгинова и Васильчикова.

Однакоже Гоголь оказался столько-же неспособнымъ къ педагогическому поприщу, сколько и къ государственной службѣ. По

свидѣтельству Лонгинова и отъымамъ другихъ лицъ, Гоголь не имѣлъ прямыхъ способностей преподавателя элементарныхъ наукъ. Ходъ его преподаванія былъ нестройнъ; онъ умѣлъ только манить ученика впередъ и впередъ, оставляя въ умѣ его пробѣлы, которые предоставлялъ ему пополнять, когда вздумается.

Къ концу 1831 года у него готово было уже нѣсколько повѣстей, составившихъ первый томъ „Вечеровъ“. Онъ вознамѣрился напечатать ихъ отдѣльнымъ изданіемъ. Плетневъ, для избѣжанія всякихъ литературныхъ дрягъ и пристрастій, посоветовалъ ему строжайшее incognito и придумалъ для его изданія заглавіе: „Повѣсти, изданныя пасичникомъ Рудымъ Панькомъ близъ Диканьки“ (принадлежащей князю Кочубею).

Изданіе имѣло громадный успѣхъ, такъ что къ концу того же года была издана 2-я часть Вечеровъ и объ разошлись не болѣе, какъ въ одинъ годъ.

Вечера на хуторѣ — представляютъ какъ-бы переходъ въ Гоголѣ отъ романтизма къ реализму. Въ нихъ вы не видите еще изображенія пошлой дѣйствительности и того „смѣха сквозь слезы“, который является впервые въ послѣдующемъ созданіи Гоголя — „Миргородѣ“. Юморъ, которымъ проникнуты „Вечера“ — представляется вѣкъ веселымъ, молодымъ смѣхомъ, безъ малѣйшаго оттенка грусти: это чисто малороссійскій, неподдѣльно-народный юморъ. Въ то же время рассказы проникнуты горячею до энтузіазма любовью ко всей той дѣйствительности, которая изображается въ нихъ. Видно, что эти рассказы писалъ человекъ, только-что уѣхавшій изъ родной земли, исполненный глубокой тоски по ней и съ нѣжностью вспоминающій о каждой мелочи, на которую онъ прежде не обращалъ ни малѣйшаго вниманія. Это придаетъ рассказамъ особенную, невыразимую прелесть.

Изданіе „Вечеровъ“ сразу выдвинуло Гоголя впередъ въ литературномъ кругу. Это была самая свѣтлая эпоха въ его жизни. Гоголь былъ цѣннымъ и ласкаемъ Жуковскимъ и Пушкинымъ, который былъ безъ ума отъ „Вечеровъ“, и первый оцѣнилъ вполне вѣрно талантъ Гоголя и достоинство его рассказовъ. Въ то же время успѣхъ „Вечеровъ“ обезпечилъ до нѣкоторой сте-

нени материальное положеніе Гоголя; онъ не только пересталъ нуждаться самъ, но могъ помочь даже семейству, т. е. матери и сестрамъ. Лѣто 1832 года онъ провелъ на родинѣ, отдыхая отъ всѣхъ трудовъ и невзгодъ петербургской жизни. Можно было думать, что Гоголь окончательно сталъ на свою почву и направленіе его жизни должно было опредѣлиться успѣхомъ „Вечеровъ“. Но, при крайне честолюбивомъ и увлекающемся характерѣ, Гоголь послѣ малѣйшаго успѣха переходилъ тотчасъ же къ грандіознымъ замысламъ, передъ которыми ему казалось ничтожнымъ все то, что онъ сдѣлалъ прежде; а между тѣмъ эти замыслы сбивали его постоянно съ прямой дороги и приводили къ заблужденіямъ, сначала только смѣшнымъ, а впоследствии и печальнымъ. Такъ случилось и въ эту пору его жизни, послѣ успѣха „Вечеровъ“. Уже въ 1833 г. онъ отзывается въ письмѣ къ Погодину съ презрѣніемъ о своихъ разсказахъ. „Да обречутся они неизвѣстности“, говоритъ онъ, „покажется что-нибудь увѣсистое, великое, художническое не изыдетъ изъ меня! Но я стою въ бездѣйствіи, въ неподвижности. Мелкаго не хочется, великое не выдумывается...“

Чтобы не терять времени въ ожиданіи великихъ художественныхъ созданій, Гоголь принялся за великіе историческіе труды. Онъ задумалъ писать исторію Малороссіи и къ этому еще исторію среднихъ вѣковъ. Оба сочиненія онъ предполагалъ исполнить въ самыхъ громадныхъ размѣрахъ. Такъ, напримѣръ, въ письмѣ къ М. А. Максимовичу въ 1833 году онъ говоритъ: „Я пишу исторію среднихъ вѣковъ, которая, думаю, будетъ состоять томовъ изъ 8, если не изъ 9“.

Хотя занятія исторіею Малороссіи и не увѣнчались многотомнымъ сочиненіемъ, но они все-таки привели Гоголя къ хорошему результату: изъ нихъ вышла знаменитая малороссійская эпопея Гоголя — „Тарасъ Бульба“. Что же касается до занятій исторіею среднихъ вѣковъ, то они тѣсно соединяются съ неудачнымъ профессорствомъ Гоголя. Профессорство это весьма рельефно выставляетъ, какъ вѣкъ Гоголя, такъ и са-мого автора „Мертвыхъ душъ“.

Еще до опредѣленія адъюнктомъ въ Петербургскій университетъ, Гоголь хлопоталъ объ опредѣленіи своемъ въ универ-

ситетъ Св. Владиміра въ Кіевѣ; но туда онъ ѣхалъ не иначе, какъ въ ординарные профессоры. Зимой 1834 года въ министерствѣ готовили уставъ и штаты для университета Св. Владиміра и заботились о присканіи наставниковъ. Для всѣхъ кафедръ были уже въ виду достойные кандидаты: только для русской исторіи не было чело-вѣка. Начальство вспомнило о Гоголѣ и предложило лицу уполномоченному познакомиться съ нимъ и пригласить его на кафедру адъюнктомъ. Гоголю было тогда не болѣе 25 лѣтъ. Пришедши къ лицу, пригласившему его, онъ съ первыхъ словъ очаровалъ его своимъ умнымъ и краснорѣчивымъ разговоромъ. Къ концу бесѣды Гоголю было объявлено, чтобъ онъ принесъ свои документы и прошеніе. Черезъ нѣсколько дней Гоголь опять явился, опять очаровалъ своимъ разговоромъ, но ни документовъ, ни прошенія не принесъ. Когда ему за третьимъ разомъ напомнили объ этомъ, онъ, не безъ нѣкотораго замѣшательства, вынулъ изъ бокового кармана и подаль свой аттестатъ объ окончаніи курса въ гимназій высшихъ наукъ, съ правомъ на чинъ 14-го класса, и прошеніе объ опредѣленіи его ординарнымъ профессоромъ. „Знаете-ли что?“ отвѣчали ему: „васъ нельзя вдругъ опредѣлить ординарнымъ при этомъ аттестатѣ. Согласитесь сперва въ адъюнкты“. Гоголь долго упрямился, не соглашался. Дошло до министра, который съ своей стороны приказалъ объявить молодому писателю, что онъ охотно опредѣлитъ его адъюнктомъ. Но Гоголь не согласился.

Послѣ того вскорѣ ему представился случай занять кафедру средней исторіи въ Петербургскомъ университетѣ. На этотъ разъ Гоголь ограничился болѣе скромными притязаніями и, не требуя неслыханно ординатуры, согласился поступить въ университетъ въ званіи адъюнкта. Но не долго пришлось профессорствовать Гоголю. Не смотря на приготовленія къ многотомной исторіи среднихъ вѣковъ, знаній Гоголя хватало только на одну лекцію. Онъ прочелъ эту лекцію съ блистательнымъ краснорѣчіемъ (лекція эта была потомъ напечатана въ „Арабескахъ“ подъ заглавіемъ: О среднихъ вѣкахъ). Студенты были очарованы чтеніемъ Гоголя. „Мы съ нетерпѣ-

нѣмъ ждали слѣдующей лекціи — говорить въ своихъ „Воспоминаніяхъ“ о Гоголѣ Иванчикій, бывшій студентомъ въ то время: „Гоголь пріѣхалъ довольно поздно и началъ ее фразой: „Азія была какимъ-то народовержущимъ вулканомъ“. Потомъ говорилъ немного о великомъ переселеніи народовъ, но такъ вяло, безжизненно и сбивчиво, что скучно было слушать, и мы не вѣрили сами себѣ, тотъ-ли это Гоголь, который на прошлой недѣлѣ прочелъ такую блистательную лекцію? Наконецъ, указавъ намъ на кое-какіе курсы, гдѣ мы можемъ прочесть объ этомъ предметѣ, онъ раскланялся и уѣхалъ. Вся лекція продолжалась 20 минутъ. Слѣдующія лекціи были въ томъ же родѣ, такъ что мы совершенно наконецъ охладѣли къ Гоголю и аудиторія его все больше и больше пустѣла... Всѣ слѣдующія лекціи Гоголя были очень сухи и скучны; ни одно лицо историческое не вызвало его на бесѣду живую и одушевленную... Какими-то сонными глазами смотрѣлъ онъ на прошедшіе вѣка и отжившія племена. Безъ сомнѣнія, ему самому было скучно, и онъ видѣлъ, что скучно и его слушателямъ. Бывало, пріѣдетъ, поговоритъ съ полчаса съ каеэдръ, уѣдетъ, да ужъ и не показывается цѣлую недѣлю, а иногда и двѣ. Потомъ опять пріѣдетъ, и опять та же исторія. Такъ прошло время до мая“...

Черезъ годъ Гоголь уже и думать позабылъ объ исторіи среднихъ вѣковъ. Изъ всего этого увлеченія у него только и осталось, что нѣсколько статей въ „Арабескахъ“, да отрывки изъ задуманной имъ трагедіи „Альфредъ“, изъ эпохи вторженія Норманновъ въ Англію, — отрывокъ, показывающій въ Гоголѣ полное отсутствіе трагическаго таланта. Въ 1835 г. онъ вышелъ въ отставку, оставивъ и профессорское, и педагогическое поприще, и весь предался литературѣ.

Между тѣмъ, литературный талантъ Гоголя быстро развивался, не смотря на всѣ отклоненія поэта отъ своего пути. Въ 1834 г. онъ издалъ Арабески и Миргородскія повѣсти. Въ произведеніяхъ этой эпохи Гоголь отчасти все еще стоитъ на прежней почвѣ малороссійскаго эпоса („Тарасъ Бульба“). Въ немъ все еще проявляется порою романтическая страсть къ сверхестественному („Вій“), а въ повѣсти Портретъ онъ

платитъ дань 30-мъ годамъ, подчиняясь замѣтному вліянію Гофмана, который былъ въ то время въ модѣ и имѣлъ множество поклонниковъ въ русской литературѣ, начиная съ кн. Одоевскаго и кончая Бѣлинскимъ. Но, рядомъ съ этимъ, у Гоголя, въ произведеніяхъ этой эпохи, является уже сильная склонность къ изображенію обыденной жизни, во всей ея пошлости. Въ эти годы публика впервые знакомится съ неподражаемымъ юморомъ Гоголя, съ его „симвомъ сквозь слезы“. Произведенія — Старосвѣтскіе помѣщики, Повѣсть о томъ, какъ поессорился Иванъ Ивановичъ съ Иваномъ Никифоровичемъ, Невскій проспектъ, Носъ, Коляска, Шпнелъ — стоятъ уже вполне на реальной почвѣ. Съ этихъ повѣстей слѣдуетъ считать рѣшительный поворотъ Гоголя, а вмѣстѣ съ нимъ и всей русской литературы на чисто-реальную дорогу изображенія русской дѣйствительности во всей ея обыденности. Къ этой же эпохѣ (отъ 1834 по 1835 г.) относятся и всѣ комедіи Гоголя.

При этомъ слѣдуетъ обратить вниманіе на то, что главнымъ руководителемъ Гоголя, на этомъ новомъ пути, былъ Пушкинъ, который, принадлежа самъ къ предъидущей эпохѣ, тѣмъ не менѣе имѣлъ гениальную способность чутъ вѣяніе новой эпохи, замѣчая это вѣяніе на своемъ собственномъ творествѣ. Гоголь самъ свидѣтельствуетъ о вліяніи на него Пушкина. Такъ, въ своемъ письмѣ къ П. А. Плетневу по случаю повѣсти о смерти Пушкина, онъ говоритъ: „все наслажденіе моей жизни, все мое высшее наслажденіе исчезло вмѣстѣ съ нимъ. Ничего не предпринималъ я безъ его совѣта. Ни одна строка не писалась безъ того, чтобы я не воображалъ его передъ собою. Что скажетъ онъ, что замѣтитъ, чему посмѣется, чему паречетъ неразрушимое и вѣчное одобреніе свое — вотъ что меня только занимало и одушевляло мои силы. Тайный трепетъ певкушаемаго на землѣ удовольствія обнималъ мою душу“.

Изъ этихъ словъ самого Гоголя мы видимъ, какое живое участіе въ развитіи таланта Гоголя принималъ Пушкинъ. Самыя лучшія проповѣди Гоголя — „Ревизоръ“ и „Мертвыя души“ — были предприняты по внушенію поэта; ему, какъ своему преем-

нику, передавалъ Пушкинъ сюжеты, которыми онъ думалъ воспользоваться самъ.

Изъ „Авторской же исповѣди“ мы видимъ, что у Гоголя, со временемъ оставленія службы (въ 1835 г.), совпадаетъ начало перехода отъ безсознательнаго творчества, инстинктивно внушаемаго природою — къ творчеству сознательному, на которое Гоголь начинаетъ смотрѣть ужъ не какъ на забаву въ часы досуга, а какъ на свой нравственный долгъ, какъ на государственную службу, какъ онъ выражается. Такой сознательный взглядъ на свое творчество и заставилъ Гоголя выйти въ отставку, бросить всѣ постороннія занятія и посвятить всѣ силы искусству.

„Я разстался съ университетомъ“, пишетъ онъ Погодину въ концѣ 1835 г.; — „черезъ мѣсяцъ опять беззаботный казакъ. Незнаанный я взомелъ на кафедру и незнаанный схожу съ нея. Но въ эти полтора года — годы моего безславія, потому что общее мнѣнiе говорить, что я не за свое дѣло взялся — въ эти полтора года я много вынесъ отсюда и прибавилъ въ сокровищницу души. Уже не дѣтскія мысли, не ограниченный кругъ моихъ свѣдѣнiй, но высокія, исполненныя истины и ужасающаго великія мысли волновали меня... Я тебѣ одному говорю это; другому не скажу я: меня назовутъ хвастуномъ и больше ничего. Мимо, мимо все это! Теперь вышелъ на свѣжій воздухъ. Это освѣженіе нужно въ жизни, какъ цвѣтамъ дождь, какъ засидѣвшемуся въ кабинетѣ прогулка. Смѣяться, смѣяться давай теперь побольше. Да здравствуетъ комедія!“

Въ то время, какъ Гоголь писалъ это письмо, онъ уже ставилъ на петербургскій театръ своего „Ревизора“. Живое, энергическое участіе принималъ онъ въ постановкѣ пьесы, ходилъ на каждую репетицію и ни одного жеста и слова актеровъ не пропускалъ безъ своихъ совѣтовъ и указанiй.. Наконецъ, въ апрѣлѣ 1836 года, „Ревизоръ“ явился на сценѣ и Гоголь впервые испыталъ грустное положеніе комическаго писателя, серьезно относящагося къ своему дѣлу, среди массы невѣжественнаго и пошлаго общества. Прежде онъ только смѣшился и всѣ были довольны; теперь же онъ вздумалъ осмѣять — встрѣтилъ противъ себя всеобщее ожесточеніе... „Всѣ противъ меня“.

пишетъ онъ въ письмѣ къ М. С. Щенкину (1836 г. апрѣля 29) — „чиновники пожимы и почтенные кричатъ, что для меня нѣтъ ничего святаго, когда я дерзнулъ такъ говорить о служащихъ людяхъ; полицейскіе противъ меня; купцы противъ меня; литераторы противъ меня. Бранятъ и ходятъ на пiэсу; на четвертое представленіе нельзя достать билетовъ. Еслибъ не высокое заступничество Государя, пiэса моя не была бы ни за что на сценѣ, и уже находились люди, хлопотавшіе о запрещенiи ея. Теперь я вижу, что значить быть комическимъ писателемъ!... Малѣйшій призракъ истины — и противъ тебя возстають, и не одинъ человекъ, а цѣлыя сословія. Воображаю, что же было бы, если бы я взялъ что нибудь изъ петербургской жизни, которая мнѣ больше и лучше теперь знакома, нежели провинціальная. Досадно видѣть противъ себя людей тому, который ихъ любитъ между тѣмъ братскою любовью“. Подъ вѣтомъ этого всеобщаго ожесточенія, которое Гоголь весьма живо изобразилъ въ своей комедіи „Театральныя разѣзды послѣ представленія новой комедіи“, и притомъ недобровольный въ то же время игрою актеровъ, особенно исполняемой Дюромъ главной роли (Хлестакова), Гоголь рѣшительно упалъ духомъ. „Я усталъ душою и тѣломъ“, пишетъ Гоголь неизвѣстно къ кому въ письмѣ, прилагаемомъ обыкновенно при „Ревизорѣ“ въ собраніяхъ его сочиненiй: „клянусь, никто не знаетъ и не слышитъ моихъ страданiй. Богъ съ ними со всѣми! мнѣ опротивѣла моя пiэса!“

Подъ такими впечатлѣніями у Гоголя явилось желаніе убѣжать, какъ онъ выражается, Богъ знаетъ куда, и онъ предпринялъ путешествіе за границу. „Ѣду за границу“, пишетъ онъ М. П. Погодину 10 мая 1836 г., „тамъ размыкаю ту тоску, которую наносятъ мнѣ ежедневно мои соотечественники. Писатель современный, писатель комическій, писатель правовъ долженъ подалѣе быть отъ своей родины. Пророкъ нѣтъ славы въ отчизнѣ. Что противъ меня уже рѣшительно возстали теперь всѣ сословія, я не смущаюсь этимъ; но какъ-то тяжело, грустно, когда видишь противъ себя несправедливо возстановленныхъ своихъ же соотечественниковъ, которыхъ отъ души любишь, когда видишь, какъ ложно, въ

какомъ невѣрномъ видѣ ими все принимается! Частное принимаютъ за общее, случай за правило! Что сказано вѣрно и живо, то уже кажется пасквилемъ. Выведи на сцену двухъ-трехъ плутовъ—тысяча честныхъ людей сердится, говоритъ: „Мы не плуты“. Но Богъ съ ними! Я не оттого їду за границу, чтобъ не умѣлъ перенести этихъ неудобствъ. Мнѣ хочется поправиться въ своемъ здоровѣ, развлечься и потомъ, избавши нѣсколько постояннаго пребываніе, обдумать хорошенько труды будущіе. Пора

уже мнѣ творить съ большимъ размышленіемъ“...

Такимъ образомъ лѣтомъ, въ половинѣ іюля 1836 года, Гоголь уѣхалъ за границу. Съ этой поры начинаются постоянныя его скитанія по Европѣ, причеъ большую часть своей остальной жизни провелъ онъ въ Римѣ. Иартѣдка онъ прїѣзжалъ въ Россію, гдѣ онъ оставался не долго и по большей части въ Москвѣ, въ которой сосредоточивались болѣе близкіе друзья его періода — Погодинъ, Шевыревъ, Аксаковъ, Щепкинъ и пр.



Могилы Гоголя.

Свои скитанія по чужимъ краямъ онъ объясняетъ въ своей „Авторской исповѣди“ тѣмъ, что Россія встала передъ нимъ въ живыхъ образахъ только тогда, когда онъ былъ далеко отъ нея. „Во все пребываніе мое въ Россіи“, говоритъ онъ, „Россія у меня въ головѣ разсыялась и разлеталась. Я не могъ никакъ собрать ее въ цѣлое; духъ мой упалъ и самое желанье знать ее ослабѣвало. Но какъ только я выѣзжалъ изъ нея, она совокуплялась въ мысли моей вновь въ одно цѣлое, желанье знать ее про-

буждалось во мнѣ вновь, и охота знакомиться со всякимъ свѣжимъ человѣкомъ, недавно выѣхавшимъ изъ Россіи, становилась вновь сильна. Во мнѣ рождалось даже умѣнье выпрашивать, и часто въ одинъ часъ разговора я узнавалъ то, чего не могъ, живя въ Россіи, узнать въ продолженіи недѣли. Всякій знаетъ, что за границей знакомства дѣлаются гораздо легче, что на водахъ въ Германіи и на зимовьяхъ въ Италіи сходятся люди, которые, можетъ быть, не столкнулись-бы никогда внутри земли

своей и оставались-бы вѣкъ незнакомыми. Вотъ что заставило меня предпочесть пребываніе въ Россіи, даже и въ отношеніи къ тому, чтобы побольше слышать о Россіи."

Между тѣмъ въ 1837 году Гоголь принялся за „Мертвыя души“. Исторія этого послѣдняго и важѣйшаго творенія Гоголя совпадаетъ съ исторіей того нравственнаго перелома, который обратилъ Гоголя изъ комическаго писателя въ мистика и религіознаго фантазера. Онъ началъ писать „Мертвыя души“ все еще подъ наятіемъ непосредственнаго творчества; хотя онъ серьезно уже смотрѣлъ на свой смѣхъ и сознавалъ въ немъ свой нравственный долгъ, государственную службу, но онъ все еще не шелъ далѣе этого смѣха. „Я началъ было писать“, говоритъ Гоголь о „Мертвыхъ душахъ“ въ „Авторской исповѣди“, „не опредѣливши себѣ обстоятельно плана, не давши себѣ отчета, что такое именно долженъ быть самъ герой. Я думалъ, просто, что смѣлый прозектъ, исполненіемъ котораго занять Чичикова, наведетъ меня самъ на разнообразныя лица и характеры; что родившаяся во мнѣ самою охота смѣяться создастъ сама собою множество явленій, которыя я намѣренъ былъ перемежать съ трогательными. Но на всякомъ шагу я былъ останавливаемъ вопросами: зачѣмъ, къ чему это? что долженъ сказать собою такой-то характеръ? что должно выразить собою такое-то явленіе? Спрашивается: что нужно дѣлать, когда приходятъ такіе вопросы? Прогонять ихъ? Я пробовалъ, но неотразимые вопросы стояли передо мною; не чувствуя существенной надобности въ томъ и другомъ героѣ, я не могъ почувствовать и любви къ дѣлу изобразить его. Напротивъ, я чувствовалъ что-то въ родѣ отвращенія: все у меня выходило натынуто, насильственно и даже то, надъ чѣмъ я смѣлся, становилось печально“.

Эти сомнѣнія и были началомъ послѣдняго перелома въ жизни Гоголя—перелома, выразившагося постоянною внутреннею борьбою и мрачнымъ мистическимъ настроеніемъ, которое располагало его даже къ нѣкоторому увлеченію католицизмомъ, какъ это можно видѣть изъ письма его къ матери, отъ 22 дек. 1837 г.:—„на счетъ монаховъ чувствъ и мыслей объ этомъ, вы правы, что спорили съ другими, что я не

переменно обрядовъ своей религіи. Это совершенно справедливо; потому что, какъ религія наша, такъ и католическая совершенно одно и то-же, и потому совершенно нѣтъ надобности перемѣнять одну на другую. Та и другая истинна; та и другая признаетъ одного и того же Спасителя нашего, одну и ту же Божественную Премудрость, постигшую нѣкогда нашу землю, претерпѣвшую послѣднее униженіе на ней, для того, чтобы возвысить выше нашу душу и устремить ее къ небу. И такъ, на счетъ монаховъ религіозныхъ чувствъ вы никогда не должны сомнѣваться“.

Къ этому нравственному настроенію присоединились странныя и весьма неопредѣленные болѣзни Гоголя, которыя особенно усилились съ начала 40-хъ годовъ, проявляясь въ различныхъ мучительныхъ припадкахъ. Читая описаніе этихъ припадковъ въ письмахъ Гоголя, можно полагать, что главнымъ образомъ у Гоголя было сильное расстройство нервовъ. Оно произошло, по всей вѣроятности, вслѣдствіе причинъ моральныхъ: аскетизмъ и мистическая экзальція ведутъ постепенно за собою расстройство нервной системы.

Печальны были послѣдніе десять лѣтъ жизни Гоголя. Это была какая-то медленная агонія, обратившая здороваго и сильнаго человѣка въ блѣдную, изможденную тѣнь. Люди, знавшіе Гоголя прежде, не узнавали его. Прѣжняя необузданная шутовскость Гоголя, склонность къ комическимъ разсказамъ, подчасъ даже и къ рѣзкимъ эксцентрическимъ проблескамъ — все это исчезло впоследствии, и Гоголь обратился въ вѣчно-мрачнаго, угрюмаго, сосредоточеннаго, подчасъ и капризнаго изувѣра, тяжелаго и себѣ, и другимъ. Непомѣрное самолюбіе Гоголя сказалось и въ этомъ послѣднемъ, мистическомъ періодѣ его жизни. Громадный успѣхъ „Ревизора“ и первой части „Мертвыхъ душъ“, изданной въ 1842 году, до того возбудилъ Гоголя, что онъ вообразилъ себя уже не гениемъ, а каинимъ-то новымъ пророкомъ, которому было предназначено свыше быть провозвѣстникомъ небесной воли. Эта мысль привела Гоголя въ экстазъ и заставила съ презрѣніемъ смотреть на всѣ свои прѣжнія произведенія. „Созданіе чудное творится и совершается въ душѣ моей“, говоритъ онъ въ письмѣ къ

С. Т. Аксакову въ 1841 г., „и благодарныя слезами не разъ теперь полны глаза мои. Здѣсь явно видна мнѣ святая воля Бога: подобное внушеніе не происходитъ отъ человѣка; никогда не выдумать ему такого сюжета“. Въ томъ же письмѣ онъ говоритъ, что его теперь нужно особенно лѣлать; что онъ теперь представляетъ изъ себя сосудъ скудельный, весь въ трещинахъ, старый и еле-держашійся, но въ этомъ сосудѣ заключено сокровище.

Плодомъ этого настроенія была книга, подъ заглавіемъ „Выбранныя мѣста изъ переписки съ друзьями“, которую Гоголь издалъ въ началѣ 1847 года. Надо полагать, что Гоголь считалъ появленіе этой книги дѣломъ необыкновенной важности. „Наконецъ моя просьба“, пишетъ онъ Плетневу 30 іюня 1846 г.: „ее ты долженъ выполнить, какъ навѣрнѣйшій другъ выполняетъ просьбу своего друга. Всѣ свои дѣла въ сторону, и займись печатаньемъ этой книги, подъ названіемъ „Выбранныя мѣста изъ переписки съ друзьями“. Она нужна, слишкомъ нужна всѣмъ: вотъ что, покаместъ, могу сказать; все прочее объяснить тебѣ сама книга“.

„Выбранныя мѣста изъ переписки съ друзьями“ были недружелюбно приняты русскою публикою. Все въ этой книгѣ, начинавшейся съ страннаго завѣщанія Гоголя, доказывало, — что публика утратила безвозвратно великаго поэта...

Какъ ни было само по себѣ странно увлеченіе Гоголя, но, во всякомъ случаѣ, это было искреннее и нелицемерное увлеченіе идею, которое всегда заслуживаетъ глубокаго уваженія. Было нѣчто по-истинѣ почтенное и выходящее изъ ряда обыденнаго въ положеніи этого человѣка, который, возлюбивъ свою бѣдность, отказался отъ всякаго имуществва, предоставивъ матери и сестрамъ свою часть въ имѣніи, а самъ скитался по свѣту, не имѣя угла и все свое движимое нося съ собою въ небольшомъ походномъ чемоданчикѣ, который при томъ же былъ биткомъ набитъ различными критиками, рецензіями на его сочиненія, вырѣзанными имъ изъ различныхъ журналовъ и газетъ. Онъ могъ-бы

жить весьма безбѣдно; кромѣ порядочной суммы, выручаемой имъ за свои изданія, онъ получалъ различныя вспомошествованія и пенсіи свыше. Такъ въ 1845 году была назначена ему трехгодовая пенсія по 1,000 рублей въ годъ. Но при всемъ этомъ онъ постоянно нуждался въ деньгахъ, много раздавая въ помощь бѣднымъ, при чемъ особенно любилъ онъ помогать нуждающимся русскимъ художникамъ въ Римѣ, со многими изъ которыхъ былъ близко знакомъ. Съ этою цѣлью не рѣдко онъ нарочно заказывалъ имъ картины, которыя потомъ раздавалъ по церквамъ. А въ 1844 году онъ вдругъ вадумалъ всѣ деньги, вырученныя за полное собраніе его сочиненій, пожертвовать въ пользу бѣднымъ, но достойнымъ студентамъ, преимущественно же нуждающимся талантамъ. „Талантамъ“, пишетъ онъ при этомъ — „дается слишкомъ нѣжная, слишкомъ чуткая, тонкая природа; много, много ихъ можно оскорбить грубымъ прикосновеніемъ, какъ нѣжное растение, перенесенное съ юга въ суровый климатъ, можетъ погибнуть отъ неумѣлаго съ нимъ обхожденія непривычнаго къ нему садовника“. Изрѣдка и въ этотъ періодъ находили на него минуты просвѣтленія, въ которыя онъ дѣлался какъ-будто снова прежнимъ Гоголемъ: къ нему возвращалась прежняя веселость, шутливость и снова посѣщало его вдохновеніе. Онъ возвращался къ своимъ „Мертвымъ душамъ“; но то, что ему удавалось написать въ эти минуты, онъ потомъ сжигалъ подъ гнетомъ новаго помраченія. Такимъ образомъ отъ второй части его „Мертвыхъ душъ“ только и могли уцѣлѣть нѣсколько главъ, напечатанныхъ уже послѣ его смерти.

Въ 1848 году Гоголь совершилъ странствованіе въ Іерусалимъ и, возвратясь оттуда въ Россію черезъ Одессу, болѣе уже не ѣздилъ за границу. Последніе годы своей жизни онъ провелъ въ Москвѣ, борясь со своими недугами. Наконецъ въ февралѣ 1852 г. онъ окончательно слегъ, и скончался въ четвергъ 21-го февраля 1852 года, 43 лѣтъ отъ роду.

XXI.

В. Г. Бѣлинскій. — Дѣтство и отрочество его; учителя и ученье. — Характеръ и направленіе умственной дѣятельности Бѣлинскаго. — Увлеченіе философскими теоріями и театромъ. — Три періода литературной дѣятельности. — Бѣлинскій, какъ истолкователь Пушкина, Лермонтова и Гоголя.

Въ біографіи Н. А. Полевого мы уже имѣли случай замѣтить, что въ половинѣ 20-хъ годовъ, въ Москвѣ, образовались философскіе кружки, увлекавшіеся философскими ученіями Шеллинга. Вліяніе этихъ кружковъ въ концѣ 20-хъ годовъ сдѣлалось ощутительно во всемъ направленіи умственного движенія современнаго общества. Философія Шеллинга учила, что каждый историческій народъ долженъ выражать въ своемъ историческомъ развитіи ту или другую идею; что только тотъ народъ и можетъ быть названъ историческимъ, который самобытенъ въ этомъ отношеніи, и что значеніе народа въ ходѣ общечеловѣческой цивилизаціи опредѣляется этою самобытностью. Подобныя положенія шеллингова ученія навели всѣхъ мыслящихъ людей на вопросы о значеніи русскаго народа въ средѣ другихъ европейскіхъ народовъ, о его самобытности и объ усвоеніи западной цивилизаціи, подъ сильнымъ вліяніемъ которой находилось наше общество со временъ Петра. Всѣ эти вопросы, съ особенною силою поднявшіеся въ нашей литературѣ въ концѣ 20-хъ и въ 30-е годы, повели къ окончательному распаденію мыслящаго общества на двѣ большія партіи — славянофиловъ и западниковъ.

Съ другой стороны, философія Шеллинга выработала новыя взгляды, относительно теоріи искусства и значенія литературы въ жизни народа. Послѣдовательнымъ выводомъ изъ ученія о народной самобытности очевидно представлялось то положеніе, что если цивилизація каждаго народа должна быть самобытна, то тѣмъ болѣе самобытна должна быть и литература его; она должна выражать всецѣло духъ народа, ту идею, которую онъ носитъ въ себѣ и вырабатываетъ. Эти положенія натолкнули въ свою

очередь шеллингистовъ на вопросы о значеніи и характерѣ русской литературы, о необходимости поставить ее на вполнѣ народную самостоятельную почву. Шеллингисты усматривали, что русская литература, начиная съ возникновенія ея, съ Ломоносова и до Пушкина, была литературою подражательною, и нисколько не выражала собора духа русскаго народа; вслѣдствіе этого естественно, что въ кружкахъ шеллингистовъ развилась наклонность къ отрицанію самаго существованія русской литературы.

Философія Шеллинга имѣла два различныхъ проводника въ общество: съ одной стороны — журналистику, съ другой — университеты (преимущественно Московскій). Въ Московскомъ университетѣ первыми проповѣдниками шеллингова ученія были профессоръ М. Г. Павловъ и Н. И. Надеждинъ. С. П. Шевыревъ и М. П. Погодинъ. Кромѣ Павлова, читавшаго курсъ физики и селскаго хозяйства, всѣ остальные, упомянутые нами профессора принадлежали къ филологическому факультету. Естественно, что студенты этого факультета всего болѣе подчинились вліянію шеллинговой философіи.

Подъ этимъ вліяніемъ воспитался и знаменитый русскій критикъ, стоявшій во главѣ умственного движенія въ 40-е годы, Виссаріонъ Григорьевичъ Бѣлинскій.

Виссаріонъ Григорьевичъ Бѣлинскій былъ сынъ чепбарскаго уѣднаго глѣбника. Родился онъ въ 1811 году и дѣтство провелъ въ глуши уѣднаго городишка. Немного фактовъ имѣемъ мы о дѣтскихъ годахъ Бѣлинскаго, но и эти факты самаго невеселаго свойства. Бѣлинскій самъ говорилъ послѣдствіемъ, что изъ своей семьи онъ не вынесъ ни одного отраднаго воспоминанія.

Въ началѣ 20-хъ годовъ Бѣлинскій посту-

шил въ чембарское уѣздное училище. Объ этомъ періодѣ жизни Бѣлинскаго мы имѣемъ слѣдующее свидѣтельство покойнаго писателя Лажечникова, отрывокъ изъ „Записокъ“ котораго былъ напечатанъ въ „Русскомъ Вѣстникѣ“ 1859 года:

„Въ 1823 году ревизовалъ я чембарское училище. Новый домъ былъ тогда только что для него и построенъ. Во время дѣлаемаго мною экзамена, выступилъ передъ меня, между прочими учениками, мальчикъ лѣтъ 12, котораго наружность, съ перваго взгляда, привлекла мое вниманіе. Лобъ его былъ прекрасно развитъ, въ глазахъ свѣтился разумъ не по лѣтамъ: худенькій и маленький, онъ, между тѣмъ, на лицо казался старѣе, чѣмъ показывалъ его ростъ. Смотрѣлъ онъ очень серьезно. Такимъ воображалъ-бы я себя ученаго доктора, между позднѣйшими нашими потомками, когда, по предсказанію науки, измѣлчается родъ человѣческій. На всѣ дѣлаемые ему вопросы онъ отвѣчалъ такъ скоро, легко, съ такою увѣренностью, будто налеталъ на нихъ, какъ ястребъ на свою добычу (отчего я тутъ же называлъ его ястребкомъ), и отвѣчалъ болѣею частію своими словами, прибавляя ими то, чего не было даже въ казенномъ руководствѣ: доказательство, что онъ читалъ и книги, не положенныя въ классахъ. Я особенно занялся имъ, бросаясь съ нимъ отъ одного предмета къ другому, связывая ихъ непрерывною цѣпью, и, признаюсь, старался сбить его... Мальчикъ вышелъ изъ труднаго испытанія съ торжествомъ. Это меня пріятно изумило, а также и то, что штатный смотритель (Авр. Грековъ) не конфузился, что его ученикъ говоритъ не слово въ слово по учебной книжкѣ. Я спросилъ его, кто этотъ мальчикъ. „Виссаріонъ Бѣлинскій, сынъ зѣшняго уѣзднаго штабъ-лѣкаря“, сказалъ онъ мнѣ.“

Въ 1825 году, въ августѣ, 14 лѣтъ отъ роду, Бѣлинскій былъ переведенъ въ Пензенскую гимназію, въ 4-й низшій классъ (гимназіи въ это время были 4-хъ-классныя и курсъ оканчивался 1-мъ классомъ). О гимназическихъ годахъ Бѣлинскаго мы имѣемъ воспоминанія учителя естественной исторіи при Пензенской гимназіи, М. М. П—ва, который былъ весьма близокъ съ Бѣлинскимъ.

„Въ гимназіи, по возрасту и возмужало-

сти, онъ, во всѣхъ классахъ, былъ старше многихъ сотоварищей“, говоритъ П—въ; „наружность его мало измѣнилась впоследствии: онъ и тогда былъ неуклюжъ, угловатъ въ движеніяхъ. Неправильныя черты лица его, между хорошенькими личиками другихъ дѣтей, казались суровыми и старыми. На вакаціи онъ ѣздилъ въ Чембаръ, но не помню, чтобы отецъ его пріѣзжалъ къ нему въ Пензу; не помню, чтобы кто-нибудь принималъ въ немъ участіе. Онъ, видимо, былъ безъ женскаго призора; носилъ платье кое-какое, иногда съ непочиненными прорѣхами; другой на его мѣстѣ смотрѣлъ-бы жалкимъ, заброшеннымъ мальчкомъ, а у него



Бѣлинскій.

взглядъ и поступки были смѣлые, какъ-бы говорившіе, что онъ не нуждается ни въ чьей помощи, ни въ чьемъ покровительствѣ. Таковъ онъ былъ и послѣ, такимъ и пошелъ въ могилу.“

Учился въ гимназіи Бѣлинскій плохо, но за то весь былъ преданъ чтенію, къ которому онъ, какъ мы видѣли, пристрастился еще въ уѣздномъ училищѣ. „Онъ бралъ у меня журналы“, говоритъ П—въ, „пересказывать прочитанное, судилъ и радилъ обо всемъ, задавалъ мнѣ вопросъ за вопросомъ. Скоро я полюбилъ его. По лѣтамъ и тогдашнимъ отношеніямъ нашимъ, онъ былъ неравный мнѣ; но не помню, чтобы въ Пензѣ

съ кѣмъ-нибудь другимъ я такъ душевно разговаривалъ, какъ съ нимъ, о наукахъ и литературѣ“.

Между прочимъ, по словамъ П—ва, „Бѣлинскій читалъ съ жадностью тогдашніе журналы („Вѣстникъ Европы“, „Телеграфъ“, „Московский Вѣстникъ“ и проч.) и всасывалъ въ себя духъ Полевого и Надеждина“.

Какъ всѣ впечатлительные и даровитые юноши, Бѣлинскій не замедлилъ, подъ обаяніемъ чтенія литературныхъ произведеній, перейти къ попыткамъ писать самому стихами и прозой. Будучи 15-ти лѣтъ, во 2-мъ классѣ гимназіи, онъ началъ писать стихи и повѣсти. Но уже въ 1830 году онъ смотрѣлъ на эти попытки критически, убѣдясь, что не рожденъ быть поэтомъ.

„Бывши во второмъ классѣ гимназіи“, говорить онъ въ письмѣ къ своему бывшему наставнику, „я писалъ стихи и почиталъ себя опаснымъ соперникомъ Жуковского; но времена измѣнились. Вы знаете, что въ жизни юноши всякій часъ важенъ: чему онъ вѣритъ вчера, надъ тѣмъ смѣется завтра. Я увидѣлъ, что не рожденъ быть стихотворцемъ и, не хотя идти наперекоръ природѣ, давно уже оставилъ писать стихи. Въ сердцѣ моемъ часто происходятъ движенія необыкновенныя; душа часто бываетъ полна чувствами и впечатлѣніями сильными, въ умѣ рождаются мысли высокія, благородныя; хочу ихъ выразить стихами, и не могу! Тщетно трудясь, съ досадою бросаю перо. Имѣю страстную любовь ко всему изящному, высокому, имѣю душу пылкую и, при всемъ томъ, не имѣю таланта выразить свои чувства и мысли легкими гармоническими стихами. Рвения мнѣ не дается и, не покоряясь, смѣется надъ моими усиліями; выраженія не укладываются въ стопы, и я нашелся принужденнымъ приняться за смиренную прозу... Есть довольно много начатаго и ничего оконченнаго и сработаннаго, даже такого, что-бы могло помѣститься не только въ „Альманахѣ“, гдѣ собирается все отличное, но даже въ „Дѣтскомъ Журналѣ“. Въ первый еще разъ я съ горестью проклинаю свою неспособность писать стихами и лѣньность писать прозою“.

Мы не имѣемъ положительныхъ свѣдѣній о томъ, кончилъ ли курсъ Бѣлинскій съ

аттестатомъ, или вышелъ изъ гимназіи до окончанія курса. Въ 1829 году онъ приѣхалъ въ Москву, поступилъ при посредствѣ какихъ-то вліятельныхъ знакомыхъ въ Московскій университетъ; но и въ университетѣ, какъ и въ гимназіи, онъ не особенно заботился о своихъ формальныхъ отношеніяхъ къ факультету, объ окончаніи курса и полученіи аттестата. По крайней мѣрѣ въ 1832 году онъ оставилъ университетъ, выйдя изъ 2-го курса съ аттестациею „способностей слабыхъ и нерадивыхъ“.

Но, между тѣмъ, университетъ не остался безъ вліянія, и весьма сильнаго, на развитіе даровитаго юноши. Мы говорили выше, что Московскій университетъ, и въ особенности филологическій факультетъ этого университета, были средоточіемъ пропаганды шеллингова ученія. Подъ этимъ вліяніемъ въ началѣ 30-хъ годовъ образовался изъ студентовъ филологическаго факультета особенный кружокъ, какіе часто образуются въ университетахъ изъ товарищей — однокурсниковъ или же земляковъ. Это были молодые люди весьма талантливые, занимающіеся; большая часть изъ нихъ приѣхала изъ провинцій, съ единственною цѣлію образованія. Изъ наиболѣе выдающихся членовъ кружка были К. Аксаковъ, М. Батковъ, Ключниковъ, Красовъ и др.: всѣ они впоследствии приобрѣли почетную извѣстность въ литературѣ. Къ этому кружку примкнулъ и Бѣлинскій. Во главѣ же этого кружка явился Н. В. Станкевичъ. Это былъ сынъ богатаго воронежскаго помѣщика. Богѣе названный, тихій по характеру, поэтъ и мечтатель, онъ могъ казаться своимъ друзьямъ поистинѣ существомъ не отъ міра сего, воздушнымъ, безтѣлеснымъ гениемъ, полнымъ тонкаго изящества и вѣснаго чувства. Онъ оказывалъ неотразимое вліяніе на всю московскую передовую молодежь не столько силою воли или діалектики, сколько именно своимъ природнымъ чутьемъ всего изящнаго и гуманнаго, чутьемъ, еще болѣе развитымъ философіею. Подъ его вліяніемъ, члены кружка развивались: читая „Телеграфъ“ Полевого, „Телескопъ“ Надеждина, слушали лекціи Надеждина, Павлова и прочихъ профессоровъ факультета, и уже въ университетѣ успѣли проникнуться духомъ философіи Шеллинга. По вечерамъ друзья собирались у Станке-

внча; и тамъ молодые романтики вели задушевные бесѣды о поэтическихъ произведеніяхъ, только-что прочитанныхъ, о дружбѣ и любви, о встрѣчахъ съ неземными существами. Изъ русскихъ писателей они зачитывались Пушкиннымъ, Жуковскимъ, впоследствии Гоголемъ и Лермонтовымъ; изъ иностранныхъ самыми любимыми были — Шекспиръ, Гёте, но въ особенности Шиллеръ и Гофманъ; при этомъ Станкевичъ, будучи образованнѣе всѣхъ своихъ сотоварищей и зная нѣмецкій языкъ, читалъ и переводилъ своимъ друзьямъ — въ томъ числѣ и Бѣлинскому — нѣмецкихъ поэтовъ, или же знакомилъ ихъ съ произведеніями этихъ поэтовъ, передавая имъ впечатлѣнія, вынесенныя имъ изъ чтенія. Подъ влияніемъ чтенія Гофмана, въ особенности его повѣсти „*Seltzame Leiden eines Theater-Directors*“, друзья до страсти полюбили театръ и онъ былъ единственнымъ развлеченіемъ въ ихъ скромной, исполненной умственного труда жизни. Они смотрѣли на театръ, какъ на святилище, сосредоточивающее въ себѣ всѣ искусства, питали къ нему обожаніе и входили въ него съ благоговѣніемъ. „Театръ! любите-ли вы театръ такъ, какъ я люблю его“, — говорятъ Бѣлинскій въ первой статьѣ своей „Литературныя мечтанія“, — „то-есть всѣми силами души вашей, со всѣмъ энтузіазмомъ, со всѣмъ изступленіемъ, къ которому только способна пылкая молодость, жадная и страстная до впечатлѣній нязищаго? Или, лучше сказать, можете-ли не любить театра больше всего на свѣтѣ, кромѣ блага и истины? И въ самомъ дѣлѣ, не сосредоточиваются-ли въ немъ всѣ чары, всѣ обаянія, всѣ обольщенія изящныхъ искусствъ?“ Этою страстью къ театру, возбужденною въ Бѣлинскомъ въ университетскіе годы, мы обязаны тѣми характеристиками Бѣлинскаго ролей Мочалова, Каратыгина и проч. и театральными обозрѣніями, которыя онъ помѣщалъ впоследствии, время отъ времени, сотрудничая въ журналахъ.

Въ 1832 году Бѣлинскій, какъ мы сказали, вышелъ изъ университета. Около этого же времени онъ написалъ драму, которая вышла блѣдная и безцвѣтная, и это окончательно убѣдило Бѣлинскаго, что онъ не рожденъ для поэтическаго творчества. По выходѣ изъ университета, Бѣлинскій про-

должалъ вращаться въ кружкѣ своихъ прежнихъ товарищей. Въ то-же время онъ терпѣлъ самую страшную нужду, перебиваясь кое-какъ уроками и случайными работами. Жилъ онъ между Петровкою и Трубою, въ какомъ-то переулкѣ надъ бузницею и воулѣ пращениной, въ ужасной обстановкѣ, сырости, смрадѣ и вони; въ что придется, чѣмъ питаются самые бѣдные рабочіе. Вотъ при какихъ обстоятельствахъ жизни онъ отнесъ въ „Телескопъ“ Надеждина свою первую статью „Литературныя мечтанія“, напечатанную въ нѣсколькихъ нумерахъ „Молвы“, начиная отъ 24 сентября 1834 года. Съ этого года Бѣлинскій выступаетъ на поприще литературной дѣятельности, какъ критикъ.

Всю литературную дѣятельность Бѣлинскаго можно раздѣлить на 3 періода. Первый періодъ обнимаетъ собою время отъ 1834 по 38 годъ: это періодъ участія въ „Телескопѣ“ и влияния на Бѣлинскаго философіи Шеллинга. Затѣмъ отъ 1838 по 1841 годъ — второй періодъ обнимаетъ собою дѣятельность въ „Московскомъ Наблюдателѣ“ и начало сотрудничества въ „Отечественныхъ Запискахъ“; послѣ 1841 года Бѣлинскій продолжаетъ сотрудничать въ „Отечественныхъ Запискахъ“, а съ 1847 года въ „Современникѣ“, и эти годы его литературной дѣятельности составляютъ третій періодъ. Мы рассмотримъ каждый періодъ въ отдѣльности.

Въ первомъ періодѣ, участвуя въ „Телескопѣ“ и „Молвѣ“, Бѣлинскій находился еще подъ сильнымъ влияніемъ тѣхъ идей, которыя господствовали въ то время въ русской литературѣ. Онъ является передъ нами романтикомъ въ духѣ Н. А. Полевого. Подобно Полевому, Бѣлинскій смотритъ на поэта, какъ на мученика своего вдохновенія, безкорыстно, до самоотверженія преданнаго творчеству и стоящаго постоянно въ разладѣ съ пошлою толпою, непонимающей гения. Видѣтъ съ тѣмъ, онъ отрицаетъ существованіе русской литературы, совершенно на тѣхъ-же основаніяхъ, на какихъ отрицалъ до него Н. А. Полевой: „гдѣ-же“, говоритъ онъ: „спрашиваю васъ, литература? У насъ было много талантовъ и талантиковъ, но мало, слишкомъ мало, художниковъ по призванію, то-есть такихъ людей, для которыхъ писать и жить, жить и писать, одно и то-же; которые гибнутъ отъ меценатовъ, которыхъ

не убиваютъ ни деньги, ни отличія, ни несправедливости, которые до послѣдняго вздоха остаются вѣрными своему священному призванію. Вместе съ тѣмъ, и взглядъ Бѣлинскаго относительно вреднаго вліянія на творчество ложно-классической школы въ свою очередь, согласовался съ тѣмъ, что писалъ въ это время Полевой объ этомъ-же предметѣ. „Вдохновенію“, говоритъ Бѣлинскій, „и не нужна наука; оно ученіе науки, оно никогда не ошибается“.

Но, и находясь подъ вліяніемъ Н. А. Полевого, Бѣлинскій уже въ первый періодъ значительно опередилъ своего учителя и во многихъ отношеніяхъ отличается отъ него въ своихъ эстетическихъ взглядахъ. Тѣ же самые взгляды, которые Полевой развивалъ на основаніи своихъ романтическихъ идеаловъ, Бѣлинскій основываетъ на принципахъ шеллинговой философіи.

Но въ чемъ молодой и начинающій Бѣлинскій опередилъ не только Н. А. Полевого, а и всѣхъ своихъ старшихъ современниковъ 30-хъ годовъ, — это въ своей критической оцѣнкѣ Гоголя, помѣщенной имъ въ „Телескопѣ“ 1835 года, въ статьѣ „О русской повѣсти и повѣстяхъ Гоголя“ („Арабески“ и „Миргородъ“). Гоголь въ это время былъ самъ писателемъ только-что начавшимъ свою дѣятельность. Талантъ Гоголя былъ замѣченъ съ первымъ появленіемъ его на поприщѣ литературы; произведенія его читались съ удовольствіемъ, но, между тѣмъ, критика не успѣла еще уяснить его значеніе и оцѣнить по достоинству его талантъ. Петербургскіе журналисты — Сенковский, Булгаринъ, Гречъ и др., при полномъ отсутствіи всякой руководящей идеи въ своихъ критическихъ статьяхъ, смотрѣли на Гоголя вѣсьма поверхностно и легкомысленно, видя въ немъ не болѣе, какъ русскаго Поль-де-Кока, и, хваля его остроуміе, замѣчали въ то-же время въ немъ отсутствіе чувства изящнаго и пристрастіе къ сальностямъ всякаго рода. Полевой съ своей стороны мало цѣнилъ Гоголя, реальная поэзія котораго нисколько не подходила къ его романтическимъ идеаламъ. Первымъ цѣнителемъ таланта Гоголя явился Бѣлинскій: онъ возвѣстилъ русской публикѣ, что произведенія Гоголя, — не одни только курьезные рассказы балагура, а драгоценные перлы художественнаго творчества въ истинномъ значеніи этого слова; что нико

гда современныхъ русскихъ писателей нельзя назвать поэтомъ съ болѣею увѣренностью и нисколько не задумываясь, какъ Гоголя; что, кромѣ идеальной поэзіи, можетъ быть еще поэзія реальная, поэзія жизни, поэзія дѣйствительности, истинная и настоящая поэзія нашего времени, и Гоголь есть именно поэтъ жизни дѣйствительной... Высказывая такіе идеи, Бѣлинскій опережалъ даже и себя, свои собственные эстетическія понятія этого періода своей жизни.

Съ прекращеніемъ „Телескопа“ въ 1836 году, кончается первый періодъ дѣятельности Бѣлинскаго. Въ продолженіи 2-хъ лѣтъ онъ не является на литературномъ поприщѣ, и мы не имѣемъ никакихъ свѣдѣній о томъ, что дѣлалъ и какъ жилъ въ продолженіи этого времени Бѣлинскій. Намъ извѣстно только, что въ эти два года въ кружкѣ Станкевича совершился поворотъ отъ философіи Шеллинга къ философіи Гегеля.

Философія Гегеля учила, какъ извѣстно, что все существующее есть развитіе идеи, которая проходитъ три ступени: въ первой фазѣ развитія идея существуетъ — сама въ себѣ, въ безсознательномъ состояніи; потомъ она выходитъ изъ него, опредѣляется, разлагаясь на свои противорѣчія; наконецъ, въ третьей фазѣ заключается примиреніе этихъ противорѣчій въ разумѣ человѣка. Изъ этой системы вытекаютъ два положенія: 1) все, что дѣйствительно — то и разумно, такъ какъ оно есть проявленіе разумной идеи, и 2) высшая цѣль мыслящаго человѣка — объективно, безстрастно созерцать всѣ явленія жизни и всѣ ихъ противорѣчія сводить къ примиренію въ своемъ разумѣ. Такая теорія, какъ мы увидимъ сейчасъ, не замедлила отразиться въ эстетическихъ понятіяхъ Бѣлинскаго и его критикѣ.

Одновременно съ увлеченіемъ теоріею Гегеля произошла и внѣшняя перемѣна въ литературной дѣятельности Бѣлинскаго. Мы уже говорили, что въ „Московскомъ Наблюдателѣ“, издававшемся съ 1835 года Степановымъ, редакціею заведывалъ Шевыревъ. Но съ 1838 года Шевыревъ отказался отъ редакціи, и журналъ поступилъ въ заведеніе Бѣлинскаго и его друзей; и Бѣлинскій выступилъ въ немъ послѣ двухлѣтняго молчанія съ новымъ направленіемъ своей критики.

Этотъ періодъ дѣятельности Бѣлинскаго, съ 1838 по 1841 годъ, представляетъ наименѣе плодотворные годы его литературнаго поприща. Подъ вліяніемъ увлеченій философій Гегеля, понятой крайне одностороннимъ, книжнымъ, отвлеченнымъ образомъ, Бѣлинскій внесъ и въ эстетическія понятія односторонность и исключительность. Онъ началъ доказывать, что истинно-художественными произведеніями могутъ быть названы только такія, въ которыхъ онъ видѣлъ объективное, олимпийское, спокойное созерцаніе жизни. Такимъ образомъ ему пришлось выкинуть изъ области поэзіи всю лирику, и въ особенности сатиру. Требуя, чтобы поэзія, безстрастно созерцающая жизнь, существовала сама для себя, ни о чемъ болѣе не заботилась, какъ о художественности своихъ формъ; объявивши, что истинная поэзія есть поэзія формы,—Бѣлинскій выключилъ изъ области поэзіи и всѣ тѣ произведенія, въ которыхъ онъ видѣлъ увлеченіе со стороны поэтовъ живыми вопросами общественной жизни. Съ этой точки зрѣнія съ особенною злобою и ожесточеніемъ началъ Бѣлинскій на современную французскую литературу, а вмѣстѣ съ тѣмъ, и на самую народность французскую. Теорія чистой поэзіи и опроверженіе теоріи сторонниковъ поэзіи, тѣсно связанной съ жизнью, систематически развиты Бѣлинскимъ въ статьѣ „Менцель, критикъ Гёте“. Эту статью ставятъ обыкновенно рядомъ съ другою статью: „Очерки бородинскаго сраженія, соч. Ѳ Глинка“. Эти обѣ статьи составляютъ послѣднюю степень увлеченія Бѣлинскаго философіею Гегеля; на обѣ эти статьи Бѣлинскій смотрѣлъ самъ въ послѣдствіи съ негодованіемъ, сердцемъ и принимая напоминаніе о нихъ за желаніе оскорбить его.

„Московский Наблюдатель“, обстоятельства котораго были уже плохи при прежней редакціи, не долго просуществовалъ и при новой. Чуждый всякаго разнообразія, наполняемый постоянно сухими и скучными, философскими и эстетическими разсужденіями, извлеченіями изъ Гегеля и Ретшера, журналъ этотъ не могъ занять публику и привлечь много подписчиковъ. Въ 1839 году онъ долженъ былъ прекратить свое существованіе на пятой книжкѣ. Положеніе Бѣлинскаго снова сдѣлалось бѣдственнымъ: послѣ прекращенія „Наблюда-

теля“ снова остался онъ безъ куска хлѣба и работы. При такихъ обстоятельствахъ, какъ нельзя болѣе кстати, послѣдовало со стороны А. А. Краевского приглашеніе Бѣлинскому взять на себя отдѣлъ критики и библиографіи въ „Отечественныхъ Запискахъ“, которыя были куплены А. А. Краевскимъ у Свиньина и обновлены подъ новой редакціей въ 1839 г.

Съ радостью ухватился Бѣлинскій за это приглашеніе. Оно его избавило отъ нужды отъ долговъ и возрождало нравственно. Одно переселеніе въ Петербургъ уже исполнило Бѣлинскаго живой радости: „нѣтъ“, сказалъ онъ однажды И. Панаеву, „мнѣ, во что бы то ни стало, надобно вонъ изъ Москвы... Мнѣ эта жпань надоѣла, и Москва опротивѣла мнѣ...“

Петербургъ дѣйствительно повліялъ на Бѣлинскаго благотворно. Въ Петербургѣ не такъ удобно предаваться мечтамъ и отвлеченнымъ фантазіямъ, какъ въ Москвѣ. „Петербургъ оказываетъ на нѣкоторыя натуры отрезвляющее дѣйствіе“, говоритъ Бѣлинскій въ своей статьѣ „Москва и Петербургъ“: „сначала кажется вамъ, что отъ его атмосферы, словно листья съ дерева, спадаютъ съ васъ самыя дорогія убѣжденія; но скоро замѣчаете вы, что то не убѣжденія, а мечты, порожденные праздною жизнью и рѣшительнымъ незнаніемъ дѣйствительности, и вы остаетесь, можетъ быть, съ тяжелою грустью, но въ этой грусти такъ много святаго, человѣческаго!“

Въ то-же время не мало подѣйствовали на Бѣлинскаго новыя встрѣчи и знакомства. Съ 1839 года, со времени начала сотрудничества Бѣлинскаго въ „Отечественныхъ Запискахъ“, начинается наиболѣе замѣчательный періодъ его дѣятельности. Правда, что умственный переворотъ, который совершился въ это время съ Бѣлинскимъ, произошелъ не вдругъ; въ 1839 и 1840 г. Бѣлинскій печатаетъ въ „Отечественныхъ Запискахъ“ тѣ статьи, которые были написаны имъ еще въ Москвѣ, и въ новыхъ статьяхъ повторяетъ всѣ тѣ же воззрѣнія; но, при всемъ томъ, въ этихъ новыхъ статьяхъ вы чувствуете уже приливъ новыхъ силъ, впечатлѣній и взглядовъ. Такъ, къ этому времени относятся прекрасныя характеристики „Горя отъ ума“, „Ревизора“ и сочиненій Лермонтова. Въ этихъ статьяхъ

Бѣлинскій уже не ограничивается однимъ проведеніемъ эстетическихъ теорій, но высказываетъ множество взглядовъ психическихъ и моральныхъ; дѣлается не только критикомъ, но и публицистомъ, анализирующимъ окружающую его дѣйствительность...

Въ статьяхъ 1841 года все болѣе и болѣе выступаютъ на сцену новыя воззрѣнія, совершенно противоположныя московскимъ. Такъ, напримѣръ, въ статьѣ „Русская литература 1840 г.“ онъ отдаетъ уже справедливость современнымъ французскимъ

стремленіямъ; для этого нужна симпатія. любовь, здоровое практическое чувство истинны, которое не отдѣляетъ убѣжденія отъ дѣла, сочиненія отъ жизни“. Вмѣстѣ съ тѣмъ и содержаніе его критическихъ статей значительно расширилось. Рядомъ съ критикомъ вы повсюду видите публициста, карающаго въ русскомъ обществѣ отсутствіе умственныхъ интересовъ, рутину, узость мѣщанскаго эгоизма, распушенность провинціальныхъ нравовъ, отсутствіе гуманности въ отношеніи къ низшимъ.

Въ то-же время не опускалъ Бѣлинскій изъ вида и развитіе русской литературы. Онъ успѣлъ обратить вниманіе въ этотъ періодъ на всѣ ея явленія прошедшей и современной жизни и представить рядъ полныхъ и всестороннихъ очерковъ, характеристикъ. Такъ, въ 1841 году, въ „Отечественныхъ Запискахъ“ былъ помѣщенъ имъ рядъ статей, обобщающихъ русскую народную поэзію; эти статьи составляютъ цѣлый трактатъ въ 253 страницы, помѣщенный въ 5-мъ томѣ собранія его сочиненій. Весь 1844 г. былъ Бѣлинскимъ посвященъ статьямъ по поводу сочиненій А. Пушкина: эти статьи составляютъ цѣлый томъ (8-й) въ собраніи его сочиненій и представляютъ полную критическую исторію русской литературы, начиная съ Ломоносова и кончая Пушкинымъ.

Въ этотъ періодъ окончательно утвердилось значеніе Бѣлинскаго въ литературѣ и обществѣ. Всѣ передовыя, юныя литературныя силы сгруппировались вокругъ него. Можно положительно сказать, что всѣ писатели послѣдующей эпохи 50-хъ годовъ гг. Григоровичъ, Тургеневъ, Гончаровъ, Н. Некрасовъ, А. Майковъ, Ф. Достоевскій и проч., были воспитаны критикою Бѣлинскаго, ею возбуждены къ творческой дѣятельности и ей во многомъ обязаны своею извѣстностью.

Въ 1846 г. кончилось сотрудничество Бѣлинскаго въ „Отечественныхъ Запискахъ“. Разстроенное прежними невзгодами и усиливкою, срочною журнальною работою, здоровье его требовало отдыха и тщательнаго лѣченія. Онъ провелъ лѣто и осень на югѣ Россіи. По возвращеніи же въ Петербургъ въ ноябрѣ мѣсяцѣ, онъ былъ приглашенъ постояннымъ сотрудникомъ въ новый журналъ, — „Современникъ“, изданіе котораго



Бюстъ Бѣлинскаго, работы Гз.

писателямъ и признаетъ за ними большое достоинство, именно за то участіе ихъ въ общественныхъ интересахъ, за которое онъ прежде ихъ порицалъ. Въ 1848 году Бѣлинскій еще смѣлѣе становится на почву теоріи „искусства для жизни“. „Свобода творчества“ (говоритъ онъ въ разборѣ „Рѣчи о критикѣ“ Никитенко) „легко согласуется съ служеніемъ современности: для этого не нужно принуждать себя писать на тѣмы, насиловать фантазію; для этого нужно только быть гражданиномъ, сыномъ своего общества и своей эпохи, усвоить себѣ его интересы, слить свои стремленія съ его

предприняли Н. А. Некрасовъ и И. И. Панаевъ, собравъ вокругъ себя всѣ лучшія литературныя силы того времени.

Здѣсь Бѣлинскій выступилъ еще съ болѣе смѣлыми и реальными идеями, проповѣдникомъ поэзіи для жизни, поэзіи глубоко проникнутой общественными интересами, и защитникомъ „натуральной школы“, родоначальникомъ которой онъ считалъ Гоголя и въ которой привѣтствовалъ разумное и полезное низведеніе поэзіи изъ заоблачныхъ высей на землю, въ міръ обыденной дѣйствительности. Лучшею статьею его, въ этомъ періодѣ, можно считать „Взглядъ на русскую литературу 1847 года“, представляющую характеристику романа, и разборъ романа Гончарова „Обыкновенная исторія“.

Рядомъ съ проведеніемъ эстетическихъ теорій и критическими характеристиками, немаловажное мѣсто занимаетъ продолженіе всей литературной дѣятельности Бѣлинскаго—полемика. Страсть къ полемикѣ обнаружилась въ Бѣлинскомъ съ самаго перваго появленія его на литературномъ поприщѣ въ Москвѣ. При этомъ всю его полемическую дѣятельность можно раздѣлить на два періода—московскій и петербургскій. Сотрудничая въ московскихъ журналахъ, Бѣлинскій направлялъ свою полемику главнымъ образомъ противъ петербургскихъ журналистовъ 30-хъ годовъ. Вообще, въ 30-е годы все умственное движеніе сосредоточивалось въ Москвѣ; петербургская же литература представляла полное запустѣніе. Въ ней было отсутствіе всякихъ двигающихъ общество и руководящихъ идей; журналистика была или ничтожная, исполненная мелочной придирчивости, зависти, нелитературныхъ намековъ (таковы были: „Сѣверная Пчела“ и „Сынъ Отечества“; издаваемые Гречемъ и Булгаринымъ); или же это была журналистика чисто-спекулятивная, гаерничавшая передъ публикою, возводившая на пьедесталъ литературныя посредственности всякаго рода, а къ такимъ писателямъ, какъ Лермонтовъ и Гоголь, относившаяся съ плоскими насмѣш-

ками и шуточками. Такова была „Библиотека для Чтенія“ съ Сенковскимъ во главѣ. Вотъ противъ этихъ-то журналовъ, желая уронить ихъ въ глазахъ публики и показать все ихъ ничтожество, направилъ Бѣлинскій цѣлый рядъ саркастическихъ полемикъ, въ которыхъ онъ отъ насмѣшливаго тона переходитъ иногда въ превратительный или исполненный патетическаго негодованія.

Во время петербургскаго періода у Бѣлинскаго появились новые литературные враги, которыхъ не было прежде: это были теперь уже московскіе журналисты, именно славянофилы, которые съ 1841 года сгруппировались вокругъ „Москвитинина“. Къ славянофиламъ Бѣлинскій относился иногда съ большимъ ожесточеніемъ, но не пыталъ къ нимъ такого негодованія и презрѣнія, какъ къ Гречу, Булгарину или Сенковскому. Онъ видѣлъ въ славянофилахъ людей заблуждавшихся, но во всякомъ случаѣ литературно, гражданственно-честныхъ, и признавалъ даже относительную пользу этой партіи. „Прежде всего“, говоритъ онъ въ одной изъ своихъ статей: — „славянофильство, какъ убѣжденіе, заслуживаетъ полнаго уваженія, даже и въ томъ случаѣ, если съ нимъ вовсе не согласны. Много можно сказать въ пользу славянофильства, говоря о причинахъ, вызвавшихъ его явленіе; но, разсмотрѣвъ его ближе, нельзя не увидѣть, что существованіе и важность этой литературной категоріи чисто-отрицательная, что она вызвана и живетъ не для себя, а для оправданія и утвержденія именно той идеи, на борьбу съ которою обрекла себя...

Сотрудничество Бѣлинскаго въ „Современникѣ“ продолжалось не долго. Силы его были окончательныя истощены чахоткою. Весною 1847 г. онъ отправился, по совѣту доктора и съ помощію друзей, за границу. Заграничное лѣченіе на короткое время поправило его здоровье; но петербургскій климатъ не замедлилъ оказать свое дѣйствіе. Бѣлинскій умеръ 28-го мая 1848 года, 38-ми лѣтъ.

XXII.

С. Т. Аксаковъ. — Два періода въ его дѣятельности литературной: подражательный и самобытный. — Мастерскія описанія природы. — Положительный взглядъ на наше прошлое.

Вся литературная жизнь Аксакова распадается на двѣ, рѣзко-противуположныя половины; въ первой половинѣ онъ является приверженцемъ псевдо-классицизма, восторженнымъ поклонникомъ и защитникомъ литературныхъ началъ, отжившихъ свой вѣкъ уже до Пушкина; во второмъ, послѣ долгаго, многолѣтняго перерыва, выступаетъ со своими описаніями природы и воспоминаніями объ отдаленномъ прошломъ, и очень быстро приобретаетъ вполне заслуженную извѣстность писателя талантливаго и самобытнаго. Но этотъ второй періодъ литературной дѣятельности С. Т. Аксакова наступаетъ для него въ концѣ 40-хъ и началѣ 50-хъ годовъ, въ послѣдніе 10 или 12 лѣтъ его жизни: вотъ почему, волей-неволей, намъ приходится отнести біографію старца-Аксакова къ біографіямъ писателей, которые гораздо позже его выступили на литературное поприще, но почти одновременно съ нимъ приобрѣли извѣстность и обратили на себя общее вниманіе.

Сергій Тимоѣевичъ Аксаковъ родился въ Уфѣ, 20-го сентября 1791 г. Родъ Аксаковыхъ принадлежитъ къ числу весьма древнихъ, и ведетъ свое начало отъ какого-то Шимона Африкановича, при великомъ князѣ Ярославѣ выѣхавшаго (1027 г.) съ 3000 подвластныхъ ему людей изъ варяжской земли; отъ правнуковъ его пошли Воронцовы, Вельяминовы и Аксаковы. Въ домашнемъ быту наибольшая доля нравственнаго вліянія оказана была на его воспитаніе и развитіе матерью, женщиною рѣдкаго ума, прекрасно образованной и воспитанной, и слѣпо, страстно, самоотверженно-преданной дѣтямъ, въ числѣ которыхъ Сергій Тимоѣевичъ, какъ старшій и какъ любимый сынъ, былъ постояннымъ предметомъ вѣжныхъ заботъ

и вниманія. Отецъ его, добрый и простой степнякъ-помѣщикъ, съумѣлъ развить въ немъ только любовь къ природѣ и къ охотѣ во всѣхъ ея многообразныхъ видахъ, пополнявшихъ обширные, нескончаемые досуги нашего стариннаго барстаа.

На восьмомъ году С. Т. Аксаковъ былъ отданъ въ гимназію въ Казани. Но въ гимназіи онъ не былъ предоставленъ на волю судьбы, какъ это случалось прежде; теперь случается съ большинствомъ мальчиковъ, попавшихъ въ среднее учебное заведеніе. Заботливая мать и тутъ ни на минуту не забывала о немъ, и неуспѣшно должна была наблюдать за сыномъ изъ своего деревенскаго уединенія; маленькій Аксаковъ былъ постоянно поручаемъ ею на воспитаніе лучшимъ изъ числа преподавателей и надзирателей Казанской гимназіи. Сверхъ того, по обычаю „добраго стараго времени“, при молодомъ баринѣ находился безотлучно вѣрный и глубоко-преданный семейству дядька, Евсень — одинъ изъ тѣхъ типовъ, которые давно уже перешли въ область исторіи. Судя по тому, что рассказываетъ о себѣ самъ Сергій Тимоѣевичъ, переходъ отъ домашняго воспитанія къ быту учебнаго заведенія и въ особенности — разлука съ матерью, были для него до такой степени трудны, что здоровье его, вообще слабое, какъ у всѣхъ нервныхъ дѣтей, нѣсколько разъ не выдерживало столкновенія съ житейскимъ опытомъ и подвергалось большимъ опасностямъ. Прежде чѣмъ Аксаковъ окончательно успѣлъ свыкнуться съ суровыми гимназическими порядками того времени, матери пришлось даже, по совѣту докторовъ, взять его на цѣлый годъ изъ гимназіи, для отдыха и подкрѣпленія силъ дома.

Въ концѣ гимназическаго курса (въ

1803—4 гг.) Аксаковъ, вообще выказывавшій большія склонности къ литературѣ, и страстно читавшій и въ гимназiи, и дома, пристрастился къ театру, и эта страсть не покидала его въ теченiе всей жизни. Въ 1804 году онъ сблизился съ однимъ изъ воспитанниковъ гимназiи, Александромъ Панаевымъ, такимъ-же, какъ онъ, охотникомъ до театра и до русской словесности. Панаевъ издавалъ вмѣстѣ съ своимъ братомъ Иваномъ журналъ подъ названiемъ „Аркадскiе вѣстники“, въ которомъ всѣ сочинители подписывались какими-нибудь пастушескими именами: Адонисъ, Доратъ, Амнитъ, Ирисъ, Ламонъ, Палемонъ и т. п. „Замѣчательно“, прибавляетъ Аксаковъ, „что наше направленiе и журнальные приемы были точно такiе же, какiе держались потомъ въ Россiи нѣсколько десятковъ лѣтъ“. Между тѣмъ въ началѣ 1805 года основанъ былъ въ Казани университетъ. Такъ какъ университетъ этотъ не представлялъ собою учрежденiя, органически выросшаго и развившагося изъ мѣстныхъ потребностей, то онъ мало чѣмъ отличался отъ гимназiи. Профессоры и адъюнкты были назначены изъ учителей гимназiи (всего счетовъ шестеро), студенты переименованы воспитанники гарнаго класса гимназiи, и университетъ — скороспѣлка, какъ его называетъ Аксаковъ, открытъ былъ (14 февраля 1805 года) и дѣйствовалъ уже черезъ полтора мѣсяца послѣ утвержденiя его устава государемъ.

Вполнѣ предавшись театру, который въ то время въ Казани былъ лучше, чѣмъ во многихъ провинциальныхъ городахъ Россiи, Аксаковъ безпрестанно посѣщалъ его, вмѣстѣ съ другомъ своимъ, А. Панаевымъ, бывавшъ въ кружкѣ товарищей домашнiе спектакли, при которыхъ до самозабвенiя влеклся своимъ актерскимъ способностямъ и страстью къ декламации. Ученье не лишкомъ его занимало, да и по правдѣ сказать, наука, въ томъ видѣ, въ какомъ она тогда являлась въ Казанскомъ университетѣ, едва ли была способна привлечь къ себѣ слъ и вниманiе его страстной, впечатлительной натуры. Но занятiя словесностью, какъ развлеченiе, продолжали занимать часть его досуговъ. Въ 1806 году при университетѣ составилось маленькое литературное общество, подъ предсѣдатель-

ствомъ И. М. Ибрагимова. Основателями были: В. и Д. Перевощниковы, И. и А. Панаевы, Кондыревъ, Аксаковъ и учитель гимназiи Богдановъ. „Мы собирались“ — рассказываетъ Аксаковъ — „каждую недѣлю по субботамъ и читали свои сочиненiя и переводы въ стихахъ и прозѣ. Всякiй имѣлъ право дѣлать замѣчанiя, и статьи нерѣдко тутъ же исправлялись, если сочинитель соглашался въ справедливости замѣчанiй; споровъ никогда не было. Принятое сочиненiе или переводъ вписывали въ заведенную для того книгу. Впослѣдствiи, число членовъ умножилось, сочинили уставъ, и съ Высочайшаго утвержденiя было открыто Общ-



Аксаковъ.

ство любителей словесности при Казанскомъ университетѣ. Въ университетѣ оставался Аксаковъ недолго. „Въ январѣ 1807 года подалъ я просьбу объ увольненiи изъ университета для опредѣленiя къ статскимъ дѣламъ; въ мартѣ получилъ я аттестатъ, по-истинѣ не заслуженный мною, съ приписанiемъ такихъ наукъ, какiя я зналъ только по наслышкѣ, и какiхъ въ университетѣ еще не преподавали. Мало вынесъ я научныхъ свѣдѣнiй изъ университета, не потому, что онъ былъ еще очень молодъ, не потому и не устроень, а потому, что я былъ слишкомъ молодъ и дѣтски увлекался въ разныя стороны страст-

ностью моей натуры. Во всю мою жизнь чувствовал я недостаточность этих научных свѣдѣній, особенно положительных знаній, и это мѣшало мнѣ и въ служебныхъ дѣлахъ, и въ литературныхъ занятіяхъ“.

Изъ Казани Аксаковъ отправился въ Петербургъ, гдѣ въ 1808 г. и поступилъ на службу переводчикомъ въ комиссію составленія законовъ. Чрезвычайно любопытнымъ фактомъ въ литературномъ развитіи Аксакова является несомнѣнно то, что онъ,—еще будучи гимназистомъ и студентомъ, еще помѣщая свои первые опыты въ „Аркадскихъ пастушкахъ“, и въ нихъ, конечно, подражая Карамзину, — въ то же время „не любилъ Карамзина, смѣлся надъ его слогомъ и содержаніемъ его мелкихъ прозаическихъ сочиненій“. Книга Шишкова („Разсужденіе о старомъ и новомъ слогѣ“) окончательно утвердила его въ отрицательномъ взглядѣ на Карамзина и уже сдѣлала его „шишковистомъ“. Знакомство съ племянникомъ Шишкова, сослуживцемъ по комиссіи, и потомъ съ самимъ Шишковымъ, еще болѣе увлекло его въ этомъ, совершенно ложномъ, литературномъ направленіи, и сдѣлало его „славянофиломъ“. Слово это, по замѣчанію С. Т. Аксакова, существовало уже и тогда, но выражало не совсѣмъ то, что оно выражаетъ позднѣе

Не смотря на всю фальшь „шишковизма“, которому С. Т. Аксаковъ напрасно придаетъ названіе „славянофильства“, юный Аксаковъ и этой теоріи предался съ такой же страстностью, съ какою поочередно, до этого времени, предавался уже словесности, театру и охотѣ. И это направленіе, въ которомъ славянофильство и пристрастіе къ старинѣ высказывалось, между прочимъ, рьяною приверженностью къ отжившимъ литературнымъ приемамъ и теоріямъ псевдоклассицизма — это направленіе много повредило развитію литературнаго таланта въ Аксаковѣ. Замѣшавшись въ среду безталанной и мелкой литературной братіи, составившей „Бесѣду любителей русскаго слова“, гдѣ, подъ предсѣдательствомъ Шишкова и Державина, скопились всѣ бездарности,—начиная отъ Хвостова и оканчивая Шаховскимъ и А. А. Писаревымъ, — Акса-

ковъ поддался направленію „Бесѣды“ до того, что и самъ сталъ скорѣе подражать членамъ въ своихъ литературныхъ опытахъ. Самъ Аксаковъ говоритъ, что въ собраніяхъ „Бесѣды“ ничего такого не происходило, „что бы и тогдашнимъ его повѣстямъ удовлетворяло; что бы кто ни прочелъ — всѣ остальные говорили одни полные комплименты; критическія замѣчанія были еще пошлѣе“ — и все это не мѣшало ему увлекаться Шишковымъ и его партіей и совершенно искренно ставить представителей Бесѣды выше Карамзина, Озерова и Батюшкова

Въ 1811 г. Аксаковъ покинулъ Петербургъ и поселился надолго въ своемъ оренбургскомъ помѣстьи. Въ столицахъ бывалъ онъ только нрѣдка и на короткое время. Въ одинъ изъ такихъ пріѣздовъ (въ 1815 г.) онъ познакомился съ Державиннымъ и оставилъ намъ превосходное описаніе этого краткаго знакомства въ своихъ „Запискахъ“. Скорѣе послѣ того онъ женился и почти безвыѣздно прожилъ въ деревнѣ до 1826 г., когда, перебравшись на житье въ Москву онъ получилъ тамъ, по знакомству съ Шишковымъ, мѣсто цензора. И въ это время онъ все еще продолжалъ быть дѣятелемъ прежняго литературнаго закала, все еще держался прежнихъ литературныхъ преданій и все, что онъ писалъ и печаталъ¹⁾, носило на себѣ ту же печать у богатаго шишковизма отъ котораго онъ никакъ не могъ отпиться. Даже на его связяхъ и привязанностяхъ оставался все прежній отбѣсъ пристрастія къ бездарностямъ, представлявшимъ себя опорой русскихъ началъ въ литературѣ: Загоскинъ, Кокошкинъ и Писаревъ — являются закадычными друзьями С. Т. Аксакова, въ которомъ никому изъ его современниковъ и въ голову не приходило предугадать будущаго замѣчательнаго писателя-художника.

Но время шло своимъ чередомъ; литература русская крѣпла и развивалась; заглохли старые споры, появилась цѣлая школа новыхъ талантливыхъ поэтовъ и писателей съ Пушкиннымъ во главѣ; поднялись новые вопросы, требовавшіе разрѣшенія; само славянофильство, развивавшее въ поколѣніи 30-хъ

¹⁾ Мы разумеѣмъ его „Филоклетъ“ (М. 1815) и его весьма плохой переводъ сатиры Буало М. (1826), давно забытый всѣми.

годовъ на почвѣ, приготовленной изученіемъ итмечкой философіи, измѣнилось совершенно, выдвинувъ изъ среды своей новыя, весьма замѣчательныя силы и цѣлый рядъ много повредившихъ ему бездарностей, достойныхъ покойной „Бесѣды“... Наконецъ, литература наша, въ концѣ 30-хъ и началѣ 40-хъ годовъ, благодаря Гоголю и его ближайшимъ послѣдователямъ, окончательно сошла со своего пьедестала и сблизилась съ жизнью... И въ эту-то пору, уже на шестомъ десятии своей жизни, С. Т. Аксаковъ снова выступаетъ, послѣ долгаго молчанія¹⁾, на поприще литературной дѣятельности, „мгновенно измѣненный и какъ будто чѣмъ-то оплодотворенный послѣ долгихъ и бесплодныхъ стремленій“²⁾. Не можетъ быть никакого сомнѣнія въ томъ, что „новые анализы художества не остались бесплодными для воспримчиваго чувства и свѣтлаго ума С. Т. Аксакова, что простота формъ Пушкина, въ повѣстяхъ, и особенно Гоголя, съ которыми Сергѣй Тимофеевичъ былъ такъ друженъ, подѣйствовали на него“³⁾. Не отказываясь отъ своихъ прежнихъ пристрастій, онъ увидѣлъ себя вынужденнымъ отказаться отъ своихъ прежнихъ литературныхъ заблужденій и попыталъ свои силы въ совершенно новомъ литературномъ родѣ.

И тутъ-то выказалась нестоимая талантность натуры Аксакова. Первою его книгою, обратившею на себя общее вниманіе, были его „Записки объ уженіи рыбы“ (М. 1847 г.), выдержавшія въ короткое время три изданія; за ними послѣдовали его превосходныя, классическія „Записки ружейнаго охотника Оренбургской губерніи“ (М. 1852 г.), также переизданныя въ короткое время три раза, и наконецъ въ 1856 и 1858 гг. вышли въ свѣтъ—„Семейная хроника и воспоминанія“ и „Дѣтскіе годы Багрова внука“—произведенія, окончательно упрочившія славу Аксакова, какъ писателя-художника. Другой славянофилъ и весьма извѣстный писатель, А. С. Хомяковъ, прекрасно характеризуетъ всѣ эти послѣдніе труды С. Т. Аксакова и очень вѣрно указываетъ намъ на общую связь между такими,

повидимому, совершенно различными произведеніями, какъ Записки объ уженіи, Записки ружейнаго охотника—и Семейная хроника.

„Страстный рыболовъ“—говоритъ Хомяковъ—„лишенный случайностями жизни привычнаго наслажденія, С. Т. захотѣлъ вспомнить старыя годы, прежнія тихія радости,—и написалась книга, книга, о которой авторъ и не мечталъ, чтобы она доставила ему литературную извѣстность. И читатель бралъ ее также добродушно, безъ ожиданія художественнаго наслажденія, а просто въ надеждѣ узнать кое-что объ искусствѣ уженія... и потомъ, вчитываясь, онъ съ страннымъ удивленіемъ замѣчалъ, что ему все занимательнѣе становился предметъ, заманчивѣе и красивѣе прихоти водяныхъ потоковъ и разливы озеръ и прудовъ, милѣе самыя рыбы, отъ пошлаго пескаря до рѣдкаго лоха. Нашлись люди, которые догадались, что тутъ скрывалось искусство, и искусство истинное... его слушали, слушали съ удовольствіемъ, съ увлеченіемъ; и самъ онъ далъ свободу своимъ воспоминаніямъ, самъ сталъ увлекаться ими все болѣе и болѣе, чувствуя, что у него и, такъ сказать, передъ нимъ—не просто холодные читатели, но невидимые и незнакомые, но уже сочувствующіе друзья. Сравнительно тѣсный кругъ воспоминаній рыболова уступилъ мѣсто воспоминаніямъ охотника. Въ нихъ природа русская раскинулась въ чудной красотѣ, и русскій писанный языкъ сдѣлалъ шагъ впередъ, даже послѣ Пушкина и Гоголя. Потомъ другіе предметы обратили на себя его дѣятельность; но онъ уже не терялъ того, что приобрѣлъ. Это безконечно-важное приобрѣтеніе была свобода отъ художественной преднамѣренности. Когда С. Т. перешелъ отъ воспоминаній охотничьихъ къ другимъ біографическимъ, своимъ собственнымъ или чужимъ, воспринятымъ какъ собственныя, онъ сохранилъ ту же простоту, ту же, можно сказать, прямоту въ отношеніи къ предметамъ, ту же добросовѣстность въ воспоминаніяхъ и въ воссозданіи прошедшаго. Снова перечувствовать прошедшее и дру-

1) Съ 1826 по 1847 г. С. Т. ничего не печаталъ, кромѣ небольшихъ критическихъ статей въ Московскомъ Вѣстникѣ и Молвѣ. — 2) Слова Хомякова (см. Некрологъ Аксакова „Русск. Бес.“ т. XV). — 3) Тамъ же.

гимъ разсказать перечувствованное: вотъ его единственная задача!“

При этомъ Хомяковъ обращаетъ вниманіе и еще на одну сторону всѣхъ сочиненій Аксакова, писанныхъ въ этотъ послѣдній, замѣчательный періодъ его жизни: „онъ первый изъ нашихъ литераторовъ взглянулъ на нашу жизнь съ положительной, а не отрицательной точки зрѣнія“.

Дѣйствительно, такое явленіе между нашими писателями 40-хъ и 50-хъ годовъ представлялось-бы нѣсколько страннымъ и одиночпмъ, если бы авторъ не писалъ своихъ воспоминаній уже въ старости, когда все описываемое имъ оказывалось отдаленнымъ отъ него на полъ-вѣка.

Въ теченіи двѣнадцати послѣднихъ лѣтъ своей жизни Сергій Тимофеевичъ, словно почувствовалъ въ себѣ новый приливъ творческой силы, трудился неутомимо, и не только выдалъ въ свѣтъ вышесчисленныя нами сочиненія, но еще успѣвалъ помѣщать многое въ журналахъ, преимущественно въ

Москвитянинѣ; незадолго до смерти онъ читалъ друзьямъ своимъ отрывки изъ повѣсти Наташа, и даже на смертномъ одрѣ передалъ послѣднюю статью свою, О ловлѣ бабочекъ, въ сборникъ Братчина (1859. Спб.).

Сергій Тимофеевичъ скончался 30 апрѣля 1859 года въ Москвѣ, и погребенъ въ Симоновѣ монастырѣ. Изъ сыновей Сергія Тимофеевича, двое — Иванъ Сергѣевичъ и Константинъ Сергѣевичъ — прославились впоследствии, какъ писатели. И. С. Аксаковъ, недавно умершій, былъ и поэтомъ, и ученымъ, и публицистомъ. Особенно громкую извѣстность пріобрѣлъ онъ какъ издатель газетъ Москва и День, въ которыхъ постоянно ратовалъ за тѣсное единеніе Россіи съ славянскими народностями. К. С. Аксаковъ былъ исключительно ученымъ филологомъ и историкомъ, и несмотря на раннюю кончину, оставилъ нѣсколько прекрасныхъ изслѣдованій по русскому языку и русской исторіи.



XXIII.

А. В. Кольцовъ и среда, изъ которой онъ вышелъ. — Впечатлѣнія юности. — Серебрянскій и Станкевичъ. — Вліяніе кружка московскихъ друзей. — Неудачныя попытки измѣнить окружающую среду. — Значеніе поэзіи Кольцова. — Н. С. Никитинъ, какъ поэтъ и общественный дѣлатель.

Со времени Пушкина любовь къ чтенію и литературѣ проникла въ самые отдаленные уголки Россіи, въ которыхъ прежде никто не заботился о поэзіи, никто со страстью не предавался чтенію. Важнымъ признакомъ времени слѣдуетъ въ этомъ періодѣ считать и то, что литература, начиная съ 20-хъ гг., положительно перестаетъ быть исключительно дворянскимъ занятіемъ, тѣсно связаннымъ съ преданіями и предразсудками сословія или замкнутого кружка, стоящимъ въ прямой зависимости отъ покровительства Двора или частнаго меценатства... Литература начинаетъ болѣе и болѣе приобретать значеніе серьезнаго дѣла, насущной потребности, живой, движущей общественной силы, постепенно удаляясь отъ той формы служенія музамъ и отечеству, въ которой она такъ часто проявлялась до Пушкина. Вліяніе литературы начинаетъ проникать глубоко и въ низшіе слои общества: и отсюда начинаютъ выступать на литературное поприще талантливые литераторы, блестящіе журналисты, серьезные критики и замѣчательные поэты. Благодаря такому расширенію литературной среды, благодаря тому, что она постоянно пополняется свѣжимъ притокомъ силъ изъ всѣхъ слоевъ общества, литература 30-хъ годовъ, несмотря на всѣ неблагоприятныя условія общественной жизни нашей, стѣснявшія ея развитіе, все-же достигаетъ важнаго значенія въ обществѣ и становится однимъ изъ наболѣе сильныхъ цивилизующихъ началъ, воспитывающихъ поколѣнія. Блестящимъ доказательствомъ такого, цивилизующаго значенія литературы служить, конечно, появленіе въ нашей литературѣ такого поэта, какъ Кольцовъ.

Алексѣй Васильевичъ Кольцовъ родился въ Воронежѣ (въ 1809 г.). Онъ

былъ сынъ воронежскаго мѣщанина, обладавшаго весьма значительнымъ достаткомъ. Не мѣшаетъ замѣтить, что въ воронежскомъ быту слова купецъ и мѣщанинъ имѣютъ свое, особое значеніе: купца ми называютъ тѣхъ лицъ торговаго сословія, которыя извѣстны въ городѣ обширностію своихъ оборотовъ, кредита и капитала; мѣщанами — всѣхъ мелкихъ и небогатыхъ торговцевъ, причемъ не обращается никакого вниманія на гильдейскія повинности, такъ какъ ихъ, для приобрѣтенія полноправности, платятъ иногда люди и ничѣмъ не торгующіе. Но, по свидѣтельству новѣйшаго біографа, фамилія Кольцовыхъ именно принадлежала не къ мѣщанскимъ, а къ богатымъ купеческимъ, и домъ Кольцовыхъ на главной, Дворянской, улицѣ города Воронежа до сихъ поръ принадлежитъ къ числу лучшихъ городскихъ зданій. Съ самаго дѣтства, противоположно господствовавшему до сихъ поръ мнѣнію, Кольцовъ положительно не зналъ нужды ни въ чемъ, а если его и окружала грязь, то ужъ никакъ не „грязь голоднаго бѣдняка, а та, которая толстымъ слоемъ залегаеетъ на пути всякаго дикаго и невѣжественнаго быта“. А таковъ именно и былъ тотъ бытъ, который окружалъ Кольцова съ самаго дѣтства. Объ этомъ бытѣ лучше всего можно судить потому, что Кольцовъ, выученный грамотѣ подъ руководствомъ одного изъ воронежскихъ семинаристовъ, опредѣленъ былъ въ уѣздное училище всего только на четыре мѣсяца, послѣ чего образованіе его считалось уже законченнымъ, потому что свѣдѣнія его совершенно равнялись свѣдѣніямъ окружавшихъ его людей, а большаго знанія для веденія торговыхъ дѣлъ не требовалось.

Полуграмотный Кольцовъ пристрастился

къ чтенію, и весьма естественно полюбилъ въ этомъ чтеніи именно то, что болѣе всего было доступно его пониманію—лубочныя сказки о Бовѣ, о Ерусалѣ Лазаревичѣ, а потомъ и „Тысяча и одна ночь“, которыя отыскались въ книжномъ запасѣ одного изъ его сверстниковъ. Изъ того же запаса онъ успѣлъ ознакомиться, нѣсколько позже, и съ романическими произведеніями Дюкре-дю-Мениля и Августа Лафонтена и даже съ тяжеловѣсными произведеніями Хераскова. Кольцову было лѣтъ 16, когда ему попались въ руки сочиненія Дмитріева, которыя и подѣйствовали на него на столько сильно, что онъ почувствовалъ въ себѣ непреодолимое желаніе подражать имъ, и самъ захотѣлъ складывать пѣсни:—онъ еще не понималъ тогда различія между стихами и народной пѣсней, и даже не читалъ стихи, а пѣлъ ихъ. Первымъ руководителемъ Кольцова въ дѣлѣ стихотворства былъ воронежскій книгопродавецъ Дмитрій Антоновичъ Кашкинъ, который раньше всѣхъ замѣтилъ въ юношѣ Кольцовѣ поэтическія наклонности; стараясь даже до нѣкоторой степени направить его въ этомъ дѣлѣ, указать ему настоящій путь, онъ подарилъ ему „Русскую Просодію“, изданную для воспитанниковъ Университетскаго благороднаго пансіона; онъ же давалъ ему и книги изъ своей лавки, указывая на основаніи личнаго знакомства съ литературой то, что могло заинтересовать молодого человѣка, что было доступно его пониманію. Такъ черезъ Кашкина Кольцовъ ознакомился съ сочиненіями Жуковского, Пушкина, Дельвига и другихъ современныхъ поэтовъ. Но гораздо сильнѣе было вліяніе, оказанное на юношу Кольцова другомъ его, Серебрянскимъ, воспитанникомъ воронежской семинаріи. Еще недавно отыскано было нѣсколько тетрадей, написанныхъ первыми опытами Кольцова, въ перемежку съ дѣльнымъ рядомъ стихотвореній Серебрянскаго, положительно указывающихъ на то, что другъ Кольцова, воспользовавшійся благами правильного, хотя и не обширнаго образованія, далеко превосходилъ Алексѣя Васильевича въ стихотворствѣ: стихъ его, по времени, оказывается довольно хорошимъ, а метръ даже и весьма разнообразнымъ. Бѣлинскій имѣлъ полное право сказать, что „дружескія бесѣды съ

Серебрянскимъ были для Кольцова истинною школою развитія во всѣхъ отношеніяхъ, особенно въ эстетическомъ“. Но не одно только чтеніе и дружба съ Серебрянскимъ способствовали развитію въ Кольцовѣ страсти къ стихотворству:—этому много способствовало, по замѣчанію новѣйшаго біографа, и самое время, самыя тѣ двадцатые годы, въ теченіе которыхъ страсть къ стихотворству, овладѣвшая съ конца прошлаго вѣка всѣмъ нашимъ грамотнымъ людемъ, перешла и въ провинцію. Какъ бы смѣшна ни казалась намъ эта общая страсть къ стихамъ,—эта стихоманія, но мы не станемъ смѣяться надъ тѣмъ уваженіемъ къ поэзіи, къ образованію, которыя тѣсно были связаны съ стихоманіей; не станемъ отрицать и того, что связанное съ нею же уваженіе къ чувству, къ женщинѣ, къ мягкимъ, вполнѣ человѣческимъ отношеніямъ—все это должно было приносить навѣстную долю пользы.

Долго не удавалось Кольцову поладить со стихомъ; долго не могъ онъ, не смотря даже и на помощь друзей своихъ, добиться возможности облекать свою мысль хотя-бы и въ сносную стихотворную форму. Онъ чувствовалъ въ себѣ и дѣйствительный поэтический жаръ, и глубоко сочувствовалъ окружающей его роскошной, степной природѣ, съ которою онъ былъ знакомъ съ дѣтства,—а стихъ не давался ему, и, даже еще въ 1829 году, однимъ изъ лучшихъ въ числѣ его произведеній явилось, напригнѣръ слѣдующее, въ которомъ онъ такъ выражаетъ свои сѣтованія на судьбу:

Скучно и нерадостно

Я провелъ вѣкъ юности:

Жилъ въ степи съ коровами,

Грусть въ лугахъ разгуливалъ,

По полямъ съ лошадкою

Одинъ горе мнѣ бывалъ,

Дикаремъ-степнякомъ;

Дома въ городѣ ѣздивалъ

За дѣлами крайними,

Чаще-жъ за отцовскими

Мудрыми совѣтами;

И въ такихъ занятіяхъ

Двадцать лѣтъ ударило.

Но клянуся вамъ совѣстью,

Я еще не зналъ любви.

Въ городахъ всѣ дѣвушкамъ

Какъ-то мнѣ не нравились.
Въ слободахъ-селеніяхъ
Вѣдѣхъ брезгалъ-гребовалъ и т. д.

Этотъ небольшой отрывочекъ одного изъ юношескихъ стихотвореній Кольцова важенъ для насъ по тѣмъ біографическимъ подробностямъ, которыя въ немъ заключаются. Изъ него узнаемъ мы, что большая часть юности Кольцовымъ проведена была въ степи, гдѣ онъ помогалъ отцу своему въ его торговыхъ занятіяхъ (отецъ Кольцова занимался гуртами для доставки сала на салотопенные заводы). „Онъ былъ сынъ степи“—говоритъ Бѣлинскій—„степь воспитала его и взлѣтѣла“. Съ другой стороны то же самое стихотвореніе указываетъ еще и на рано-установившіяся непріязненные отношенія между юношей Кольцовымъ и его отцомъ; нельзя не видѣть нѣкотораго сарказма въ намекѣ его на то, что онъ ѣздитъ изъ степи въ городъ „за отцовскими мудрыми совѣтами“. Видно, что уже и въ 1829 году Кольцовъ чувствовалъ себя въ нѣкоторомъ разладѣ съ окружавшею его средою, и какъ будто сознавалъ себя выше ея и выше тѣхъ интересовъ, которыми она была исключительно предана. Наконецъ важенъ еще и третій намекъ юношескаго стихотворенія: важно для біографа то, что Кольцовъ, по его собственному, совершенно-чистосердечному сознанію, „не зналъ любви до 20-ти лѣтъ“. Этими фактомъ совершенно объясняется намъ то важное обстоятельство въ жизни Кольцова, которое послужило какъ бы послѣднимъ толчкомъ, пробудившимъ его къ поэзіи, пробудившимъ его искать наконецъ и такіе звуки, и такую форму, въ которыхъ онъ уже могъ совершенно свободно выражать свои чувства, свою поэтическую душу.

Въ семейство Кольцова вошла молодая дѣвушка, въ качествѣ служанки, и Кольцовъ полюбилъ ее со всею силою первой любви, со всѣмъ жаромъ молодого, еще не настрадавшаго чувства. Бѣлинскій замѣчаетъ, что любовь Кольцова къ этой молодой дѣвушкѣ вовсе „не была шалостью, не была выраженіемъ безотчетнаго чувства, — первые пробудившиеся потребностью молодой кипящей крови. Нѣтъ, это была страсть глубокая и сильная, вліяніе которой Кольцовъ чувствовалъ всю жизнь свою

Но эта любовь, составлявшая жизнь и блаженство молодого поэта, не нравилась другимъ... Надо было разорвать ее во что-бы-то-ни-стало... Для этого воспользовались отсутствіемъ юнаго Кольцова въ степь, — и когда онъ воротился домой, то уже не засталъ ее тамъ... Это несчастіе такъ жестоко поразило его, что онъ схватилъ сильную горячку. Оправившись отъ болѣзни, онъ бросился какъ безумный въ степь развѣдывать о несчастной. Сколько могъ далеко ѣздить самъ, еще дальше посылалъ преданныхъ ему людей. Не знаемъ, долго-ли продолжа-



Кольцовъ.

лись эти розыски; только результатомъ ихъ было извѣстіе, что несчастная жертва расчѣта, попавшись въ донскія степи, въ казачью станицу, скоро зачахла и умерла въ тоскѣ разлуки и въ мукахъ жестокаго обращенія...

„Эта любовь“ — замѣчаетъ Бѣлинскій (близко знавшій Кольцова и отъ него слышавшій объ этомъ эпизодѣ)—„и въ счастливую пору, и въ годину несчастія, сильно подѣйствовала на развитіе поэтическаго таланта Кольцова“. Его стихотворные опыты обратились вдругъ въ горячія пѣсни любви и ненависти, въ унылыя, задумчивыя выраженія тоски и горя, въ полныя и звучныя отзвѣвы на впечатлѣнія окружа-

шаго его міра. И въ этотъ-то важный періодъ его поэтического развитія судьба свела его съ человѣкомъ, который послужилъ для него живымъ звѣномъ, связавшимъ его съ современною нашею литературною жизнью. Это былъ Н. В. Станкевичъ, о которомъ мы уже упоминали въ біографіи Бѣлинскаго. Станкевичъ, сынъ воронежскаго помѣщика, бывшій въ то время въ Московскомъ университетѣ, пріѣзжалъ во время каникулъ въ деревню отца, а оттуда заглядывалъ иногда въ Воронежъ. Слухъ о талантѣ Кольцова дошелъ до Станкевича, который познакомился съ Кольцовымъ, прочелъ его стихотворные опыты и одобрилъ многое. Года два спустя, Станкевичъ встрѣтился съ Кольцовымъ въ Москвѣ, куда тотъ отправился (въ 1831-мъ году) по дѣламъ и порученію отца своего. Затѣмъ, въ 1833 г., вышла въ свѣтъ маленькая книжка стихотвореній Кольцова, изданная по предложенію Станкевича и на его счетъ. Хотя въ этой книжкѣ и заключалось всего 18 пьесъ, избранныхъ Станкевичемъ изъ всего, написаннаго Кольцовымъ до 1835 года, однакоже и по этому немногому уже можно было судить о томъ, что Кольцовъ обладаетъ вполне самороднымъ и дѣйствительно - замѣчательнымъ поэтическимъ даромъ.

1835 годъ Бѣлинскій называетъ эпохою въ жизни Кольцова потому, что онъ въ этомъ году успѣлъ побывать въ обѣихъ нашихъ столицахъ, прожить тамъ довольно долго, увидеть полную, лучшую жизнь и перезнакомиться съ различными литературными кружками, съ множествомъ новыхъ лицъ, начиная отъ Пушкина, Жуковскаго и князя Вяземскаго до журналистовъ и литераторовъ средней руки. Новѣйшій біографъ Кольцова прибавляетъ къ этому совершенно справедливо, что періодъ времени между 1836—1838 гг. былъ вдвойнѣ замѣчательнъ въ жизни Алексѣя Васильевича: „съ одной стороны литературная извѣстность, доставившая ему и славу, и почитателей въ родномъ городѣ; съ другой, къ концу періода, начало крутого перелома въ его жизни, слѣдствіемъ котораго было отчужденіе отъ окружавшаго его общества“.

Въ началѣ онъ только чувствовалъ въ себѣ какую-то перемену, въ которой не

могъ дать себѣ полнаго и яснаго отчета; ему казалось, что у него силъ какъ будто прибыло; онъ чувствовалъ себя выше всѣхъ окружавшихъ его, и, взглянувъ на свою жизнь, задавшись иными цѣлями, воображалъ себѣ, что и этихъ цѣлей ему будетъ очень легко достигнуть, и даже окружащихъ не трудно будетъ передѣлать на свой новый ладъ. Мы видимъ изъ писемъ его, что, напримѣръ, въ 1836 г., вскорѣ послѣ возвращенія изъ Петербурга въ Москву, Кольцовъ, направляющійся въ отсутствіи отъ всѣхъ дѣлами, проводитъ время среди самыхъ разнообразныхъ занятій — и не торопится ими: „Батинька два мѣсяца въ Москвѣ, продаетъ быковъ; дома я одинъ; дѣлъ много. Покупаю свиней, становлю на винный заводъ на барду; въ рошѣ рублю дрова; осенью нахалъ землю; на скорую руку ѣзжу въ села; дома по дѣламъ хлопочу съ зарн до полночи“.

„На душѣ тепло, покойно“, — пишетъ онъ около того же времени къ другому пріятелю. „Хорошее лѣто, славная погода, сѣнее небо, свѣтлый день, вечерняя тишь все прекрасно, чудесно, очаровательно... и я жизнью живу и тону всею душою въ удовольствіяхъ нашего лѣта“... „Степь опять очаровала меня; я чортъ знаетъ до какого забвенія любовался ею. Какъ она хороша показалась, и я съ восторгомъ глѣлъ. Пора любви — она къ ней идетъ. Только это чувство было другого совсѣмъ рода; послѣ миѣ стало на ней скучно. Она хороша на минуту, и то не одному, а самъ-другъ, и то не надолго. Къ ней пріѣхалъ погостить — и въ городъ, въ столицу, въ кипятокъ жизни, въ борьбу страстей! А то она сама по себѣ слишкомъ однообразна и молчалива!“...

Къ сожалѣнію, однакоже, это легкое, примирающее расположеніе, эта терпимость къ людямъ не долго удержались въ убѣжденіяхъ Кольцова. Увлеченный идеями кружка своихъ московскихъ друзей, съ которыми онъ отчасти уже знакомъ изъ біографіи Бѣлинскаго, Кольцовъ попытается примѣнить ихъ и на практикѣ, и этимъ самымъ внесъ величайшій разладъ въ свои отношенія къ окружающимъ и въ свою семью... Видя крайній неуспѣхъ своей проповѣди и въ то-же время не переставая увлекаться идеями кружка московскихъ друзей, онъ сталъ мало-по-малу ожесточаться противъ всей

окружавшей его среды и против самой своей дѣятельности. Центръ его нравственнаго тяготѣнія сталъ болѣе и болѣе удаляться отъ Воронежа, отъ торговыхъ дѣлъ и хлопотъ—все опостылѣло ему, кромѣ того избраннаго московскаго кружка друзей, занимавшихся эстетическими теоріями, литературою и развѣщеніемъ высшихъ нравственныхъ вопросовъ, къ которымъ его постоянно и непреодолимо влекло. „Писать къ вамъ хочется“—такъ писалъ Кольцовъ къ пріятелю въ Москву въ 1838 г. — „а ничего нейдетъ изъ головы. Плоха что-то моя голова сдѣлалась въ Воронежѣ, одурѣла вовсе, и самъ не знаю отчего:—не то отъ этихъ дѣлъ торговыхъ, не то отъ перемѣны жизни. Я было такъ привыкъ быть у васъ и съ вами, такъ забылся для всего другаго; и тутъ вдругъ все надобно позабыть, дѣлать другое, думать о другомъ вѣдь и дѣла торговныя тоже сами не дѣлаются, тоже кой-чемъ надобно подумать. Такъ одряхлѣлъ, такъ отяжелѣлъ: право, боюсь, чтобъ мнѣ не сдѣлаться вовсе человѣкомъ матеріальнымъ. Боже избави! уже это будетъ весьма рано; не хотѣлось-бы это слышать отъ самого себя“. При подобномъ настроеніи, Кольцовъ не могъ судить справедливо и безпристрастно о тѣхъ людяхъ, которыхъ видѣлъ около себя; есть даже основаніе предположить, что онъ самъ значительно ухудшалъ свое положеніе, удаляясь отъ сношеній со многими даже и весьма хорошими, весьма почтенными людьми, только потому, что расходился съ ними во взглядахъ и убѣжденіяхъ. Не дорожа никакими связями, кромѣ своихъ связей съ московскимъ кружкомъ, Кольцовъ мало-помалу оттолкнулъ отъ себя всѣхъ и увидѣлъ себя совершенно одинокимъ, и притомъ еще многимъ противъ себя вооружилъ. Тогда-то, весьма естественно, сталъ онъ искать возможности покинуть Воронежъ, сталъ писать друзьямъ своимъ, „что ему тамъ не одобровать“. „Тѣсенъ мой кругъ“—пишетъ онъ въ 1840 г.—„грязенъ мой міръ, горько жить мнѣ въ немъ, и я не знаю, какъ я еще не потерялся въ немъ давно. Какая-нибудь добрая сила невидимо поддерживаетъ меня отъ паденія. И если я не перемѣню себя, то скоро упаду; это неминуемо, какъ дважды-два-четыре“...

Въ этихъ словахъ, конечно, есть своя не-

большая доля преувѣченія: обстановка, окружавшая поэта въ 1836 г., не измѣнилась съ того времени; оставалась тою же самою и въ 1840 году—но взгляды поэта на дѣйствительность измѣнились съ тѣхъ поръ совершенно, и эта перемѣна много принесла ему горя, много и бесполезной борьбы, особенно въ семейномъ быту.

Въ 1840 году, осенью, Кольцовъ побывалъ въ послѣдній разъ въ Москвѣ и Петербургѣ, гдѣ прожилъ три мѣсяца съ Бѣлинскимъ. Послѣ этого онъ уже не выѣзжалъ изъ Воронежа, тѣмъ болѣе, что постоянное недовольство, борьба, хлопоты и непріятности успѣли около этого времени поколебать его сильную натуру, и здоровье его вдругъ ослабѣло. До самой послѣдней минуты, изнемогая отъ тяжелой болѣзни и неравной борьбы съ жизнью, бѣдный поэтъ все еще мечталъ о возможности покинуть Воронежъ, вырваться изъ того заколдованнаго круга, въ который заключала его зависимость отъ отца и отъ дѣда. Горькими сомнѣніями и недоверіемъ къ самому себѣ дышать строки одного изъ послѣднихъ его писемъ, написаннаго незадолго до смерти:

„Какъ вы скажете“—спрашиваетъ онъ у друзей своихъ—„удерживаться-ли въ Воронежѣ, дома, бросить-ли все, ѣхать въ Петербургъ? Удержаться дома,—жизнь-быть мнѣ будетъ плохое. Но все, какъ ни говори, а со двора меня не согнать“... „Есть еще способъ уладить все—жениться. Но зато надо взять тамъ, гдѣ другимъ угодно. Это значитъ пожертвовать собой, сгубить женщину и себя. Ѣхать въ Питеръ—мнѣ не дадутъ для этого ни гроша. Ну, положимъ, найдусь туда пріѣхать... Но, пріѣхавши туда, что я буду дѣлать? Наняться въ приказники?—не могу; отъ себя заниматься?—не на что. Положить надежду на мои стипенди: что за нихъ дадутъ? И что буду за нихъ получать въ годъ—пустяки: на сапоги, на чай, и только. Талантъ мой—надо говорить правду—особенно теперь, въ рѣшительное время—талантъ мой пустой. Нѣсколько пѣсенокъ въ годъ—дрянь. За нихъ много не дадутъ. Писать въ прозѣ не умѣю, а мнѣ тридцать три года. Вотъ мое положеніе“... Полгода спустя, въ октябрь 1842 г., Кольцовъ скончался на тридцать-четвертомъ году!

Кольцовъ не много успѣлъ написать при жизни; изъ этого немногаго, почти все, что

было имъ написано до 1830 года, очень несовершеннo, слабо и несамостоятельно. Лучшимъ періодомъ его литературной дѣятельности было время отъ 1834—по 1842 г.; въ этомъ періодѣ онъ самъ указывалъ на 1838 годъ, какъ на одинъ изъ самыхъ плодотворныхъ и притомъ на такой, въ теченіе котораго были имъ написаны лучшія произведенія его. Все, что есть лучшаго у Кольцова, принадлежитъ къ совершенно особому роду, который только при немъ и явился у насъ въ литературѣ, только при немъ получилъ и значеніе:—это пѣсня, народная пѣсня, со всею своею сжатостію, со всею силою и выразительностью богатаго языка, и притомъ облеченная въ высоко-художественную форму. Обаяніе народности, производимое пѣсней Кольцова, такъ велико, что ее почти невозможно читать—ее хочется пѣть. Обаяніе это на столько сильно, что даже странный размѣръ пѣсень Кольцова, вовсе несвойственный произведеніямъ народной поэзіи, не нарушаетъ общей гармоніи производимого ими впечатлѣнія. И что всего важнѣе, такіа пѣснь, какъ „Іѣсъ“, Пѣсни Лихача Кудрявича, Измѣна суженой, Косарь, Раздумье селянина, Пѣсня пахаря, Хуторокъ и т. п.—не только принадлежать къ числу самыхъ замѣчательныхъ произведеній русской лирики вообще: онѣ сверхъ того являются еще произведеніями, важными въ отношеніи историческомъ, какъ попытки связать въ одно органическое цѣлое нашу искусственную литературу и неистощимо-богатую безыскусственную поэзію народа. Съ этой стороны, прекрасныя пѣсни Кольцова особенно много говорятъ сердцу каждаго русскаго человѣка.

Преданія о поэтѣ Кольцовѣ еще были живы въ Воронежѣ, когда въ этомъ благодатномъ уголкѣ Россіи уже народился новый и не менѣе Кольцова талантливый поэтъ—Никитинъ.

Иванъ Савичъ Никитинъ родился въ Воронежѣ 21-го сентября 1824 г. Отецъ его происходилъ изъ духовнаго званія и прозывается Кириловымъ: фамилію Никитина принялъ онъ уже по выходѣ изъ духовнаго званія, записавшись въ воронежскіе мѣщане. У него былъ свой домъ, въ

самой живописной части города, на высокихъ холмахъ праваго берега р. Воронежа; была и весьма выгодная свѣчная торговля не только въ самомъ Воронежѣ, но и по мѣстнымъ ярмаркамъ; былъ даже свой собственный, небольшой свѣчной заводъ. Это былъ человѣкъ замѣчательно-умный, получившій нѣкоторое образованіе, начитанный; всѣ относились къ нему съ почтеніемъ, какъ къ толковому, бойкому, изворотливому человѣку, который умѣлъ и торговать, и угостить, и принять. Уважали его также и за непомерную, богатирскую силу, „которою онъ наводилъ ужасъ на кулачныхъ бояхъ“, тогда еще процвѣтавшихъ въ Воронежѣ. Мать Ивана Савича происходила изъ воронежскихъ мѣщанокъ и была существо доброе, тихое, безотвѣтное...

Первымъ учителемъ Никитина былъ сапожникъ, научившій его грамотѣ; первыми книгами, которыя завлекли его къ чтенію, были сентиментальныя повѣсти Коцебу и таинственные, страшные романы Радклифъ. Въ 1832 г., когда мальчику было 8 лѣтъ, отецъ отдалъ его въ духовное училище, гдѣ мальчикъ шель очень хорошо. Отецъ радовался его успѣхамъ, хотя и былъ къ нему постоянно очень строгъ. Въ 1841 г. по окончаніи курса въ духовномъ училищѣ, Иванъ Савичъ поступилъ въ воронежскую духовную семинарію. И здѣсь онъ занимался успѣшно, болѣе всего, конечно, по словесности; здѣсь же представилъ онъ своему преподавателю словесности первые свои стихотворные опыты, которые тотъ вполне одобрилъ. Въ особенности много занимался молодой Никитинъ чтеніемъ русскихъ поэтовъ, зналъ ихъ почти наизусть, и зачитывался статьями Бѣлинскаго, который оставилъ глубокой слѣдъ въ душѣ Никитина. Въ 1843 г. Никитинъ окончилъ философскій курсъ; отецъ задумывалъ было отправить его въ университетъ, думая этимъ удовлетворить любимой мечтѣ сына. Но судьба судила иначе...

Около этого времени дѣла отца Никитина пришли въ расстройство; торговля упала; старикъ-отецъ сталъ заневать... И молодой Никитинъ, вмѣсто университета, очутился прикащикомъ въ свѣчной лавкѣ отца, среди той практической торговой дѣятельности мелкаго торгаша, которая была ему не по душѣ и представлялась „грязною и нит-

тожною". Конечно, ни поддержать, ни поправить пошатнувшіся дѣла отца онъ не могъ, въ особенности, при такомъ взглядѣ на дѣло. Отецъ вынужденъ былъ продать домъ и переселиться на окраину города, въ дранную лачугу, около принадлежавшаго ему постоялаго двора. Въ это время умерла мать Никитина и отецъ его, съ горя, спился окончательно, допился до запоя, и въ припадкахъ своей страшной болѣзни былъ неудержимо-буйнъ... Онъ пропилъ и раззорилъ окончательно свой послѣдній достатокъ: и нищета, во всемъ своемъ ужасѣ и безобразіи, окружила молодого поэта. Ему поневолѣ пришлось оставить свои мечты и вернуться къ дѣйствительности. Онъ считалъ арендатора, снимавшаго постоянный дворъ, и самъ сталъ „дворничать“, т. е. заниматься его содержаніемъ.

Тяжелый трудъ, при которомъ приходилось ни днемъ, ни ночью не знать покоя, отрезвилъ молодого мечтателя и сблизилъ его съ живою дѣйствительностью народной жизни. Вмѣстѣ съ тѣмъ, этотъ трудъ доставилъ ему нѣкоторый достатокъ, нѣкоторую возможность вздохнуть свободно отъ тяготѣвшей на немъ бѣдности и семейнаго несчастія. Мало-помалу, у Ивана Саввича явилось даже настолько досуга, что онъ сталъ чаще и чаще заниматься поэзіей, и въ 1849 году пытался даже напечатать свои стихотворенія „Лѣсъ“ и „Дума“ въ столичныхъ журналахъ и въ мѣстныхъ губернскихъ вѣдомостяхъ. Но имя Никитина, какъ поэта, становится извѣстнымъ только съ 1853 года, когда гранули военные громы, началась Крымская кампанія, и вся Русь откликнулась на нихъ общимъ одушевленіемъ... Онъ написалъ въ это время стихотвореніе „Русь“ и вмѣстѣ съ двумя другими („Поле“ и „Съ тѣхъ поръ“, какъ міръ нашъ необъятный“) отправилъ къ редактору „Губернскихъ Воронежскихъ Вѣдомостей“. Стихотвореніе „Русь“, написанное горячо, сильно и красиво, полное истиннаго патріотическаго чувства, обратило на себя общее вниманіе и возбудило интересъ къ автору не только въ воронежскомъ обществѣ, но и далеко за предѣлами Воронежа. Двое почтенныхъ дѣятелей литературныхъ, Н. И. Второвъ и К. О. Дольникъ, люди съ университетскимъ образованіемъ, съ научной подготовкой, близко-стоявшіе къ редакціи Губер-

скихъ Вѣдомостей, захотѣли узнать Никитина; познакомились, сблизились съ нимъ, ввели его въ свой кружокъ—и отогрѣли его наболѣвшую душу. Черезъ нихъ вошелъ онъ въ сношенія съ петербургской и московской журналистикой и сталъ печатать въ журналахъ свои стихотворенія, которыя всюду принимались очень охотно. Все это очень оживило Никитина и возбудило его къ усиленной дѣятельности: изъ-подъ пера его уже выливались тогда такія произведенія, какъ „Моленіе о чашѣ“, какъ „Сладость молитвы“, указывавшія на полную зрѣлость таланта. Стихотвореній на



Никитинъ.

конецъ накопилось столько, что изъ нихъ могъ выйти порядочный томикъ. Нашелся для изданія ихъ въ свѣтъ и обязательный издатель — графъ Д. Н. Толстой, и первое изданіе стихотвореній Никитина вышло въ свѣтъ въ началѣ 1856 г.

Это первое изданіе стихотвореній Никитина было встрѣчено довольно сухо и холодно журнальной критикой; Кудрявцевъ даже довольно сурово разоблачилъ произведенія Никитина на страницахъ „Русскаго Вѣстника“. Но публика отнеслась къ молодому поэту иначе:—изданіе его раскупалось очень охотно, и дало ему возможность окончательно выпутаться изъ сѣтей нужды.

А между тѣмъ, у него уже была готова большая поэма изъ народнаго быта, которую онъ называлъ „Кулакъ“ — и рѣшился напечатать отдѣльно (въ началѣ 1858 г.). Эта поэма и цѣлый рядъ стихотвореній Никитина, въ то же время печатавшійся въ журналахъ, заставили всѣхъ измѣнить взглядъ на Никитина, какъ поэта. Не только журнальная критика, но даже и сама Академія Наукъ, въ лицѣ академика Я. К. Грота, встрѣтила поэму Никитина чрезвычайно благосклонно. Разборъ поэмы, написанный Я. К. Гротомъ и весьма лестный для автора, былъ прочитанъ имъ въ засѣданіи Русскаго Отдѣленія Академіи и потомъ напечатанъ въ „Извѣстіяхъ“ Академіи Наукъ.

Поэма Никитина въ этомъ разборѣ была названа „замѣчательнымъ явленіемъ русской поэзіи“. Свѣжестью и силою вѣло отъ нея; глубокимъ знаніемъ народной жизни отзывалось каждое ея слово, каждая строка. Поэма раскупилась такъ быстро, что къ концу года не осталось въ продажѣ ни одного экземпляра, и петербургскіе книгопродавцы стали ухаживать за Никитинымъ, предлагая имъ продать поэму или продать право на второе изданіе. Но у Никитина не то было въ головѣ...

Друзья подали Никитину мысль объ основаніи въ Воронежѣ книжнаго магазина съ отдѣленіемъ для продажи бумаги и канцелярскихъ принадлежностей. Такое предпріятіе могло бы наконецъ развязать руки Никитину и избавить его отъ „дворничества“, которое страшно его тяготило и разстроивало его здоровье. Но нужны были деньги... Пріятели помогли и въ этомъ случаѣ, и добыли денегъ отъ В. А. Кокорева, который весьма охотно и деликатно пришелъ на помощь поэту и далъ ему возможность, хотя въ послѣдніе годы жизни, пожить сколько нибудь лучше и спокойнѣе... Книжный магазинъ пошелъ отлично; еще лучше пошла при немъ бумажная торговля (1859 г.). Никитинъ былъ совершенно доволенъ своей судьбой и счастливъ своимъ положеніемъ. Въ столѣ его уже лежали почти

готовыя произведенія: „Городской голова“ и „Дневникъ Семинариста“ — полныя жизни и автобіографическихъ, глубоко-прочувствованныхъ страницъ... Но силы поэта уже были надомлены; начиналась чахотка, которую еще болѣе ускорили и развивали страшныя семейныя сцены съ буйнымъ и пьянымъ отцомъ. Никитинъ дожилъ однакоже до втораго изданія своихъ стихотвореній, въ которое не включилъ поэму „Кулакъ“. Съ неумолимою строгостью выпустилъ онъ изъ него и все, что было имъ написано до 1856 г., и теперь казалось ему слабымъ. Дожилъ онъ и до радостнаго событія 19-го февраля 1861 года — но встрѣтилъ его уже на смертномъ одрѣ, въ состояніи безнадежности. Осенью того-же года онъ составилъ духовное завѣщаніе, по которому передалъ весь свой небольшой достатокъ, полученный путемъ литературы и книжной торговли, нѣсколькимъ семействамъ изъ бѣднѣйшей своей родни. Онъ скончался 16-го окт. 1861 г. и былъ торжественно похороненъ на Новою Митрофановскомъ кладбищѣ, рядомъ съ могилою Кольцова. Весь городъ провожалъ его до могилы.

Биографъ и другъ Никитина, М. Ѳ. де-Пуле, совершенно справедливо замѣчаетъ, что между Кольцовымъ и Никитинымъ „кромѣ происхожденія, нѣтъ ничего общаго. Никитинъ былъ вполнѣ литераторъ, тогда какъ Кольцовъ, несмотря на большую даровитость, несмотря на крупное литературное значеніе, литераторомъ никогда не былъ“. Критика встрѣтила первое изданіе стихотвореній Никитина довольно холодно потому именно, что ожидала найти въ немъ „новаго Кольцова, воронежскаго мѣшанина и поэта“. Но эти странныя притязанія были совсѣмъ забыты впоследствии, когда „въ послѣдніе четыре года своей жизни, рядомъ произведеній, даровитости которыхъ не подвергалась уже ничьему сомнѣнію, Никитинъ снова возбудилъ къ себѣ горячія симпатіи и сошелъ въ могилу, сопровождаемый искреннимъ сожалѣніемъ современн. литературы“.

XXIV.

Важѣйшіе проповѣдники нынѣшняго вѣка: Филаретъ, Митрополитъ московскій, и Николентій, архіепископъ Херсонскій.

Царствованіе Императора Николая, столь богатое развитіемъ различныхъ отраслей литературной и научной дѣятельности у насъ на Руси, не отстало отъ предшествовавшихъ ему царствованій и въ томъ отношеніи, что во главѣ духовныхъ пастырей нашей Церкви явились два достойныхъ преемника митрополита Платона (Левшина), одаренные умомъ свѣтлымъ и обширнымъ и краснорѣчіемъ въ высокой степени замѣчательнымъ. Эти дѣятели были извѣстны всей Россіи при жизни, и — по высокимъ достоинствамъ своимъ, по своимъ проповѣдническимъ трудамъ и произведеніямъ литературнымъ — создали себѣ имя, которое съ благодарностью и уваженіемъ будутъ вспоинать многія поколѣнія русскихъ людей. Одинъ изъ этихъ высокочтимыхъ нами дѣятелей былъ знаменитый митрополитъ Московскій Филаретъ (Дроздовъ); другой — архіепископъ херсонскій и таврическій Николентій (Борисовъ).

Митрополитъ Филаретъ — въ мірѣ Василій Михайловичъ Дроздовъ — родился въ 1732 г. 26 декабря, въ городѣ Коломнѣ (Московской губ.). Отецъ его, діаконъ каедральнаго Коломенскаго собора, Михаилъ Θεодоровичъ Дроздовъ, его жена, Евдокія Никитична, и дѣдъ его (со стороны матери), Никита Аванасьевичъ — священники Богоявленской церкви въ Коломнѣ — принимали почти одинаковое участіе въ воспитаніи Василя Дроздова, во время его дѣтства и отрочества, проведеннаго дома. Затѣмъ, по достиженіи девятилѣтняго возраста, въ декабрь 1791 г., Василій былъ опредѣленъ въ коломенскую семинарію, гдѣ учился латинской грамматикѣ, поэзіи, риторикѣ, всеобщей исторіи, философій и др. наукамъ. Самъ митрополитъ Филаретъ въ „Воспоминаніяхъ“

своихъ рассказываетъ объ этомъ времени такъ:

„Въ коломенской семинаріи учился я до класса философскаго. Наставникомъ по этому классу былъ такой человѣкъ, котораго скудость могъ постигнуть и ученикъ даровитый. Я имѣлъ желаніе поступить оттуда ¹⁾ въ академію (т. е. Московскую славяно-греко-латинскую), но отецъ мой далъ намекъ, что образованіе въ лаврской семинаріи солиднѣе. Опасеніе мое насчетъ дурнаго содержанія въ этой семинаріи и работъ, какія возлагаются на семинаристовъ, отецъ устранилъ общаніемъ содержать меня на свой коштъ. Дѣло было рѣшено. Въ мартѣ 1800 года прибылъ я въ лавру (Троице-Сергіеву). Сначала меня не хотѣли принять въ философскій классъ, потому что лаврская семинарія не хотѣла равнять себя съ другими. Сдѣлали мнѣ экзаменъ: спрашивали изъ логики дефиницій. Я далъ отвѣтъ. Вечеромъ пришелъ я вмѣстѣ съ отцомъ къ ректору Августину, который тутъ-же, въ своихъ покояхъ, заставилъ меня написать диссертацию на вопросъ: „an dantur ideae innatae?“ (т. е. существуютъ-ли прирожденные идеи?). — На это ничего бы не могъ я отвѣчать по урокамъ своего прежняго наставника; но роясь, когда учился въ Коломнѣ, въ книгахъ своего отца, читалъ я учебникъ по философій Винклера. Тамъ получилъ я объ этомъ вопросѣ нѣкоторое понятіе. И моимъ отвѣтомъ были довольны. Меня приняли въ философскій классъ“.

Здѣсь Василій Дроздовъ окончилъ курсъ въ 1803 г., съ званіемъ студента, и вслѣдъ затѣмъ опредѣленъ былъ при той же семинаріи сначала учителемъ греческаго и еврейскаго языковъ, а потомъ учителемъ

¹⁾ Т. е. изъ коломенской семинаріи, по случаю закрытія ея, которое произошло вмѣстѣ съ упраздненіемъ епархіи.

пштинѣ, риторикѣ и краснорѣчію. Въ томъ же году, 16-го ноября, Василій Дроздовъ, согласно прошенію его, постриженъ въ монашество, съ именемъ Филарета, и посвященъ въ іеродіаконѣ. Въ своемъ прошеніи, поданномъ, по поводу постриженія, митрополиту Платону, учитель Дроздовъ писалъ: „Обучаясь и потомъ обучая подъ архинастырскимъ Вашего Высочайшаго покровительства покровительствомъ, я научился находить въ ученіи удовольствіе и пользу въ уединеніи. Сіе расположило меня къ званію монашескому. Я тщательно испыталъ себя въ семь расположеніи въ теченіе пяти лѣтъ, проведенныхъ мною въ должности учительской“...

И, вскорѣ послѣ того, онъ писалъ къ отцу своему (за двѣ недѣли до постриженія): „Батюшка! Василья скоро не будетъ; но Вы не лишитесь сына: — сына, который понимаетъ, что Вамъ обязанъ болѣе, нежели жизнью, чувствуетъ важность воспитанія, и знаетъ цѣну Вашего сердца“.

Въ 1809 году, въ числѣ другихъ отличнѣйшихъ семинарскихъ преподавателей, Филаретъ Дроздовъ былъ выписанъ во вновь преобразованную С.-Петербургскую духовную академію. „Вскорѣ послѣ того, какъ я пріѣхалъ въ Петербургъ, ректоръ (лаврской семинаріи) Евграфъ повезъ меня къ Теофилактѣ¹⁾“, — такъ рассказываетъ Филаретъ въ своихъ „Воспоминаніяхъ“. „Теофилактъ спросилъ меня: „чему я учился?“ Я отвѣчалъ: философій. Онъ вздумалъ сдѣлать мнѣ экзаменъ; спросилъ: что есть истина? Я, знакомый только со старыми Вольфианскими и Лейбницевыми понятіями философскими, отвѣчалъ: „истина логическая есть то-то, истина метафизическая — то-то. Теофилактъ не удовольствовался, спросилъ: что есть истина вообще? — Я затруднялся, не зная, что отвѣчать. Спасибо ректору: онъ вывелъ изъ замѣшательства шуткою. „На этотъ вопросъ“, сказалъ онъ Теофилакту, „не давай отвѣта и Христосъ Спаситель“. Вопросы Теофилакта перешли къ языкамъ. Узнавъ о знакомствѣ моемъ съ языками древними — еврейскимъ, греческимъ и латинскимъ, онъ рекомендовалъ непремѣнно учиться и какому-нибудь изъ новыхъ, а въ особенно-

сти французскому, увѣряя, что на немъ пишутъ, или на него переводятъ все примѣчательное въ наукѣ. Это заставило меня обратиться къ изученію французскаго языка. Можетъ быть, впрочемъ, было бы лучше, если бы я зналъ нѣмецкій языкъ“...

Въ 1812 г. Филаретъ, обратившій на себя вниманіе начальства своими чрезвычайными способностями и даромъ слова, какъ духовный проповѣдникъ, былъ опредѣленъ ректоромъ С.-Петербургской академіи, затѣмъ вскорѣ возведенъ въ санъ епископа ревельскаго (1817) и архіепископа тверскаго и кашинскаго (1819); въ 1820 наименованъ архіепископомъ ярославскимъ и ростовскимъ, и наконецъ, 3-го іюля 1820 г., — архіепископомъ московскимъ и коломенскимъ и архимандритомъ Св. Троицы Сергіевой лавры.

Въ теченіе этого періода (1812 — 1820) Филаретъ неустанно и непрестанно трудился на трудномъ поприщѣ духовнаго просвѣщенія, то какъ преподаватель, то какъ составитель учебниковъ, необходимыхъ для академическаго курса, то какъ ревизоръ и обозрѣватель (въ качествѣ члена коммиссіи духовныхъ училищъ) учебно-образовательныхъ заведеній по духовному вѣдомству въ губерніяхъ Петербургскаго и Московскаго учебныхъ округовъ. За это время онъ успѣлъ издать въ свѣтъ свои богословскія сочиненія: „Начертаніе церковно-библейской исторіи“, „Записки на книгу Бытія“ — первый въ Россіи опытъ ученаго изъясненія Св. Писанія, и наконецъ „Пространный катихизисъ“, принятый въ руководство во всѣхъ учебныхъ заведеніяхъ. При этомъ онъ успѣвалъ и говорить свои прекрасныя проповѣди, къ которымъ готовился при помощи глубокаго и многосторонняго наученія св. отцевъ Церкви; успѣвалъ и совершенствовать, и расширять свой обширный кругъ знаній и переводить любимаго изъ духовныхъ писателей, Григорія Богослова.

Обширная и неутомимая дѣятельность Филарета обратила на него вниманіе и самого императора Александра Благословеннаго, который удостоилъ знаменитаго пастыря Церкви высокаго довѣрія: поручилъ ему на храненіе актъ, назначавшій преем-

¹⁾ Теофилактъ Русановъ, въ санѣ архіепископа, принималъ должность профессора словесности въ преобразованной академіи, и пользовался въ ней большою силою, по своимъ связямъ со Сперанскимъ.

никомъ престола Великаго Князя Николая Павловича (впослѣдствіи Императора Николая I). Императоръ Александръ I угадалъ въ Филаретъ умъ всеобъемлющій, государственный! Императоръ Николай I, воплотивъ соглашаясь со своимъ предшественникомъ во взглядѣ на Филарета, возвелъ его въ санъ митрополита московскаго (22-го авг. 1826 г.) и до самой своей кончины относился къ нему съ величайшимъ уваженіемъ и благосклонностью.

Со времени вступленія Филарета на московскую кафедру въ санъ архіепископа, онъ болѣе и болѣе начинаетъ приобретать значенія, не только какъ духовный пастырь, но какъ дѣятель государственный. Несмотря на то, что онъ самъ не вступался ни въ какія мірскія дѣла и отношенія, ни одинъ изъ вопросовъ государственной важности не миновалъ его въ продолженіе всего царствованія Императора Николая, и Филаретъ обо всемъ, сѣло и твердо, высказывалъ свое мнѣніе, которое въ большинствѣ случаевъ принималось въ соображеніе при окончательномъ рѣшеніи вопроса. „Мнѣнія“ и „отзывы“ Филарета, послѣ его кончины собранные и приведенные въ порядокъ однимъ изъ его почитателей, составили нѣсколько объемистыхъ томовъ.

При этомъ высокомъ своемъ положеніи, митрополитъ Филаретъ не только продолжалъ съ просвѣщеннымъ рвеніемъ свою высокопоучительную проповѣдническую дѣятельность, но даже настолько умѣлъ принимать къ сердцу всѣ жизненные вопросы, волновавшіе наше общество 30-хъ годовъ, что на извѣстное стихотвореніе Пушкина: „Даръ напрасный, даръ случайный“—отвѣчалъ слѣдующими прекрасными стихами:

„Даръ случайный, даръ прекрасный,
Жизнь—зачѣмъ ты мнѣ дана?
Умъ молчитъ, но сердцу ясно:
Жизнь для жизни мнѣ дана.
Все прекрасно въ Божьемъ мірѣ:
Сотворивъ міръ въ немъ скрытъ,
Но Онъ въ чувствахъ, но онъ въ лирѣ,
Но Онъ въ разумѣ открытъ.
Познавать его творенье,
Видѣть духомъ, сердцемъ чтить,—
Вотъ въ чемъ жизни назначенье,
Вотъ что значить — въ Богѣ жить“.

Знаменитый поэтъ нашъ былъ такъ настроенъ глубокимъ смысломъ этихъ почувствованныхъ стиховъ, что отвѣтилъ на нихъ просвѣщенными и вдохновенными строками („Въ часы забавъ иль прайдной скуки“), въ которыхъ чрезвычайно живо передалъ впечатлѣніе рѣчей Филарета и въ заключеніе восклицалъ:

....И нынѣ съ высоты духовной
Мнѣ руку простираешь ты,
И силой кроткой и любовной
Смиряешь буйныя мечты.
Твоимъ огнемъ душа палима,
Отвергла мракъ земныхъ суетъ,
И внемлетъ арфѣ Серафима
Въ священномъ ужасѣ поэтъ“.



Митрополитъ Филаретъ.

Съ такою же живою отзывчивостью откликнулся митрополитъ Филаретъ и на государственныя нужды Россіи во время борьбы ея съ Европою въ Восточную войну 1854—55 гг. и во время Крымской кампаніи. Поддерживая во всѣхъ духъ бодрости своими вдохновенными рѣчами, митрополитъ въ то же время принесъ въ даръ на военныя потребности и нужды „православнаго воинства“ болѣе 160,000 руб.

5-го августа 1867 года былъ горько и отпразднованъ въ Москвѣ 50-ти-лѣтній

юбилей пастырской дѣятельности митрополита Филарета — и это празднество было празднествомъ всей Русской Церкви. Въ Высочайшемъ рескриптѣ, котораго митрополитъ Филаретъ былъ удостоенъ въ этотъ знаменательный день, заслуги его получили достойную и правильную оцѣнку. Послѣ упоминанія объ „епархіальномъ служеніи“ митрополита, въ рескриптѣ сказано, между прочимъ:

„Многочисленныя пастырскія позванія ваши заключаютъ въ себѣ неисчерпаемый источникъ назиданія и поученія для православныхъ, и служатъ лучшимъ руководствомъ при изученіи предметовъ вѣры для многихъ уже поколѣній православнаго русскаго юношества; въ то же время они перелагаются на чужеземные языки для научнаго и общественнаго употребленія въ другихъ странахъ и въ нихъ пріемиются съ уваженіемъ. Глубокая опытность ваша въ дѣлахъ высшаго церковнаго управленія содѣлала необходимымъ и драгоценнымъ ваше слово, совѣтъ и постоянное, въ продолженіи многихъ десятиковъ лѣтъ участіе ваше въ обсужденіи всѣхъ важнѣйшихъ церковныхъ вопросовъ и мѣръ по духовному вѣдомству. Ваша пастырская попечительность о высшихъ интересахъ православнаго міра простирается далеко за предѣлы отечества и въ особенности на Востокѣ, пріобрѣтая Вашему имени почетную пѣвѣстность“.

Филаретъ скончался 19-го ноября 1868 г. Одинъ изъ умнѣйшихъ и талантливѣйшихъ современныхъ публицистовъ, извѣщая глубоко потрясенную Москву объ этомъ событіи, прекрасно передалъ общее впечатлѣніе, произведенное этою кончиною:

„Филарета не стало!... Упразднилась сила, великая, нравственная, общественная сила, въ которой весь русскій міръ слышалъ и ощущалъ собственную силу, — сила, созданная не извнѣ, порожденная мощію личнаго духа, возросшая на церковной народнои почвѣ. Обрушилась громада славы, которую красовалась Церковь и утѣшался народъ! Отжита навѣкъ та величавая, долгая современность, что обошла собою пространство полвѣка, что передала длинный рядъ событій и поколѣній и какъ бы уже претворилась въ неотъемлемое историческое достояніе Москвы, въ ея живую стихію, которой, казалось, не избыть и во-вѣки“...

Всѣ творенія митрополита Филарета, много разъ переизданныя при жизни его, еще разъ, въ значительно-пополненномъ видѣ, были изданы послѣ его кончины, и, въ числѣ ихъ, „Слова и рѣчи“ Филарета занимаютъ первое мѣсто, на ряду съ самыми выдающимися памятниками нашего духовнаго краснорѣчія. „Глубокая сосредоточенность мысли, строжайшая послѣдовательность въ развитіи тѣмы, сила выраженія — вотъ что составляетъ неотъемлемую принадлежность каждаго слова этого архипастыря. Никто изъ нашихъ проповѣдниковъ не обладаетъ такимъ великимъ искусствомъ проникнуть въ самую глубину содержанія текста, избраннаго для проповѣди, осмотрѣть его со всѣхъ сторонъ, раскрыть весь его смыслъ. Сжатость и совершенная чистота, сила и точность, строжайшая правильность, простота, нисходящая до языка простой бесѣды, и, вмѣстѣ, необыкновенное изящество — вотъ отличительныя свойства его образцоваго слова. Какъ по внутреннему содержанію, такъ и по языку, и по формѣ, и по тщательной отдѣлкѣ, рѣчи его представляютъ верхъ совершенства ораторскаго искусства. Отъ нихъ вѣетъ твореніями древнихъ великихъ учителей Церкви, — тѣми твореніями, которыя онъ такъ любилъ изучать“.

Другой замѣчательный и высоко-талантливый проповѣдникъ нынѣшняго столѣтія, архіепископъ Херсонскій и Тавричскій Иннокентій, родился въ городѣ Сѣвскѣ Орловской губ., въ 1800 году. Отецъ его, Алексѣй Борисовъ, былъ священникомъ въ Сѣвскѣ, и самъ Иннокентій, при рожденіи, былъ названъ Иваномъ. О его дѣтствѣ и раннемъ періодѣ юности почти ничего неизвѣстно; знаемъ только, что пѣр родителейскаго дома онъ, сначала, поступилъ въ Воронежское духовное уѣздное училище, а потомъ снова вернулся на родину, въ г. Сѣвскъ, гдѣ въ то время находилась Орловская духовная семинарія. Учился онъ хорошо и легко, потому что уже и на ученической скамѣ выказывалъ замѣчательныя способности и бойкость ума; но рѣзкій, живой, увлекающійся характеръ ювони много мѣшалъ его занятіямъ. Въ 1819 г. Иванъ Борисовъ окончилъ курсъ въ семинаріи и вскорѣ послѣ того, по требованію

духовнаго начальства, въ числѣ лучшихъ учениковъ Орловской семинаріи, былъ высланъ въ Кіевъ, въ тольکو что преобразованную тамъ духовную академію. Здѣсь-то, среди избранныхъ и талантливыхъ юношей, Иванъ Борисовъ, горячій и самолюбивый, впервые созналъ свои силы и принялся за ученіе съ такою энергіей и такимъ рвеніемъ, и притомъ съ такою самостоятельностью, что вскорѣ оставилъ далеко за собою всѣхъ своихъ товарищей. Безпристрастный биографъ Иннокентія замѣчаетъ, что „Борисовъ (въ академіи) болѣе самъ образовывалъ себя черезъ чтеніе, размышленіе и упражненіе въ сочиненіяхъ, нежели черезъ лекціи наставниковъ, которыя вообще мало удовлетворяли его“. Мало того: онъ самъ много способствовалъ усовершенствованію своихъ товарищей въ наукахъ, то сообщая имъ краткіе экстракты изъ прочитанныхъ имъ книгъ, то раскрывая передъ ними ученіе того или другого философа съ такою ясностью, легкостью и подробностью, что изумлялъ всѣхъ и совершенно затмѣвалъ профессорскія лекціи. Сочиненія свои Иванъ Борисовъ писалъ обыкновенно на-бѣло, безъ малѣйшаго труда или усилія; и не смотря на то, что въ теченіи года лекціями занимался мало, однако же на экзаменѣ отвѣчалъ такъ, что изумлялъ своихъ преподавателей. Въ высшемъ отдѣленіи академіи, Борисовъ, по внутреннему вѣченію, обратился, главнымъ образомъ, къ составленію и обработкѣ проповѣдей, въ которыхъ, хотя и чувствовалось, до нѣкоторой степени, вліяніе французскаго проповѣдника Массильона (съ произведеніями котораго въ это время ознакомился Иванъ Борисовъ), но несомнѣнно выказывался уже и самостоятельный, крупный ораторскій талантъ¹⁾.

Въ 1823 г. Иванъ Борисовъ окончилъ курсъ духовной академіи, со степенью магистра, и, какъ отличнѣйшій ученикъ, отправленъ былъ въ С.-Петербургскую духовную семинарію инспекторомъ и профессоромъ церковной исторіи и греческаго языка. Но и здѣсь онъ обратилъ на себя въ такой степени вниманіе духовнаго начальства, что, когда онъ принялъ постриженіе—его быстро повели отъ одного повышенія

къ другому. Въ мартѣ 1826 г. мы уже видимъ его инспекторомъ С.-Петербургской духовной академіи, профессоромъ богословскихъ наукъ въ той же академіи и архимандритомъ! И дѣйствительно, блестящіе способности преподавательскія и замѣчательный ораторскій талантъ невольно всѣхъ располагали и привлекали къ Иннокентію. Онъ увлекалъ студентовъ академіи живостью и доступностью своихъ лекцій по „обличительному“ и „основному“ богословію—т. е. тѣмъ именно богословскимъ наукамъ, „которыя даютъ наиболѣе простора человѣческому разуму“; притомъ онъ поражалъ слушате-



Архіепископъ Иннокентій.

лей тѣми проповѣдями, которыя произносилъ въ Александро-Невской лаврѣ и въ Казанскомъ соборѣ. Въ то же время, въ журналѣ „Христіанское Чтеніе“ онъ напечаталъ (сверхъ своихъ проповѣдей и другихъ статей) два обширныхъ своихъ сочиненія: „Жизнь св. Апостола Павла“ и „Послѣдніе дни земной жизни Господа нашего Иисуса Христа“, изъ которыхъ послѣднее въ особенноти всѣмъ пришлось по-сердцу, такъ что книжки журнала (близкаго къ паденію) раскупались нарасхватъ.

¹⁾ Нѣкоторыя изъ его проповѣдей были въ это время напечатаны въ „Трудахъ“ Кіевской Академіи и обратили вниманіе на Борцова. Lit.

Въ 1830 г. Иннокентій перемѣщенъ былъ въ Киевскую духовную академію ректоромъ и ординарнымъ профессоромъ богословскихъ наукъ, и тѣ десять лѣтъ, которыя онъ провелъ въ этомъ званіи, считаютъ не даромъ лучшими годами въ жизни этого ученаго учрежденія, воспитавшаго Иннокентія. Онъ сумѣлъ собственнымъ участіемъ, собственнымъ примѣромъ и собственнымъ гениемъ не только расширить и оживить преподаваніе наукъ въ академіи, но и вызвать самихъ студентовъ къ самообразованію. „Желая дать воспитанникамъ всестороннее образованіе, онъ совѣтовалъ имъ не ограничиваться кругомъ наукъ, преподаваемыхъ въ академіи, а заниматься чтеніемъ и по другимъ наукамъ, напр. астрономіи, естественной исторіи“...

„Я удивляюсь“ — сказалъ онъ однажды студентамъ — „какъ вы не дорожите временемъ и мало дѣлаете; въ прошедшую сырную недѣлю и первую недѣлю великаго поста я написалъ около 80-ти листовъ“.

При такой обширной, непрестанной, кипучей дѣятельности, Иннокентій съ изумительною энергіею и настойчивостью продолжалъ вырабатывать въ себѣ тотъ дивный ораторскій даръ, которымъ онъ надѣленъ былъ свыше. Онъ не пропускалъ ни одного высокаторжественнаго и праздничнаго дня безъ проповѣди, и проповѣдывалъ непрерывно, то въ Киево-Печерской лаврѣ, то въ Киево-Софійскомъ соборѣ, то въ Киево-братскомъ монастырѣ. Проповѣди его привлекали толпы народа и отличались своею необыкновенною доступностью для всѣхъ классовъ. Говорилъ онъ ихъ превосходно, всегда безъ тетради, съ жаромъ и увлеченіемъ, — но, тѣмъ не менѣе, эти проповѣди свои Иннокентій писалъ, вырабатывалъ до удивительнаго, до возможнаго литературнаго совершенства, и печаталъ, не опасаясь за ихъ успѣхъ. Въ печати, одинъ за другимъ, являлись сборники его проповѣдей — „Собраніе словъ и бесѣдъ“ (два тома), „Страстная седмица“, „Свѣтлая седмица“, „Первая седмица великаго поста“ — и всѣ читали ихъ съ жадностью, съ восторгомъ, и имя Иннокентія, какъ проповѣдника необычайно-вдохновеннаго, стало извѣстно всей Россіи.

Въ 1836 году Иннокентій былъ уже впе-

каріемъ Киевской епархіи и епископомъ Чигиринскимъ; а въ 1840 году сначала переведенъ епископомъ въ Вологодскую епархію, а потомъ (въ томъ же году) въ Харьковскую, гдѣ оставался около семи лѣтъ. Литературныя занятія Иннокентія въ это время, не смотря на обширную дѣятельность по епархіи, продолжались съ прежнею энергіею и чрезвычайною плодотворностью. Въ это время имъ были изданы въ отдѣльных книгахъ: „О грѣхѣ и его послѣдствіяхъ“ — бесѣды на св. Четырехдесятницу; „Молитва св. Ефрема Сиріина“ — бесѣды на св. Четырехдесятницу; „Великій постъ или новыя бесѣды на св. Четырехдесятницу“; „Паденіе Адамово“ — бесѣды на великій постъ; „Слова и рѣчи къ пастырямъ Харьковской“; „Три слова о землѣ“. Въ письмѣ къ одному изъ друзей своихъ Иннокентій старался объяснить такую плодотворность и даже нѣкоторую поспѣшность въ печатаніи своихъ произведеній. „Жатва многа, необозрима“; — пишетъ онъ въ 1847 году — „а дѣлателей, какъ сами вѣсте, мало и далеко не по жатвѣ. Сіе-то самое и меня, при всѣхъ недосугахъ, заставляетъ печатать именно, что Богъ послалъ, не забывая много объ отличныхъ достоинствахъ мысли или слова въ печатаемомъ. Ибо изъ многихъ опытовъ, особенно изъ писемъ ко мнѣ съ всѣхъ краевъ Россіи, знаю, какъ много вездѣ душъ, жаждущихъ духовнаго чтенія. Какая же бы съ нашей стороны была жестокость — отказывать имъ въ пищѣ или заставлять долго ждать потому только, что намъ хочется представить этотъ хлѣбъ на серебряномъ подносѣ или съ извѣстными фигурами?“

Около этого времени, кромѣ своихъ проповѣдей, Иннокентій обратилъ свой талантъ писательскій на новый родъ литературной дѣятельности: онъ началъ заниматься составленіемъ и изданіемъ акаѣистовъ — „Страстіямъ Господнимъ“, „Покрову Пресвятой Богородицы“, „Квиноному Гробу“ и другихъ. По его собственному сознанію, текстъ и содержаніе этихъ акаѣистовъ онъ заимствовалъ изъ извѣстнаго западно-русскаго „Почаевскаго акаѣистника“, то сокращая, то очищая, то усиливая помѣщенные въ немъ акаѣисты. Многие изъ этихъ акаѣистовъ положены были на музыку извѣстнымъ рус-

скимъ композиторомъ Львовымъ и всѣхъ приводили въ восторгъ, въ превосходномъ исполненіи Придворной пѣвческой капеллы.

Въ 1841 году Иннокентій былъ возведенъ въ санъ архіепископа, а въ 1848 году назначенъ управлять епархіею Херсонско-Таврическою. 29 мая 1848 г. Иннокентій прибылъ въ Одессу, и на другой-же день — день Сочествія Св. Духа — совершилъ первую свою торжественную службу и сказалъ первое слово къ новой паствѣ. Нельзя не замѣтить при этомъ одной, чрезвычайно характерной, черты, живо рисующей намъ Иннокентія, какъ вдохновеннаго и глубоко убѣжденнаго проповѣдника: праздникъ Св. Троицы былъ его любимѣйшимъ праздникомъ. „Это — вѣнецъ христіанскихъ торжествъ“, повторялъ онъ не разъ, — „то же, что свѣтлый куполъ въ величественномъ зданіи. Полна душа моя столь высочайшимъ торжествомъ христіанства: говоришь, бывало, о немъ, сколько угодно, не готоваясь... Говоришь, — и потокъ неудержимой рѣчи самъ собою льется; говоришь — и не наговоришься!“¹⁾

Съ самаго вступленія своего въ управленіе новою епархіею, постоянно трудясь надъ ея устроеніемъ, Иннокентій выказалъ здѣсь и такія стороны своей духовной и нравственной природы, которыя напоминали о доблестяхъ мужественныхъ защитниковъ Троице-Сергіевой обители въ началѣ XVII вѣка. Въ виду тѣхъ тягостныхъ условий, при которыхъ намъ пришлось на Югѣ Россіи и въ Крыму вести борьбу со всею на насъ ополчившеюся Европой, въ виду кровавыхъ и страшныхъ событий этой борьбы, Иннокентій проявилъ истинно-геройскую твердость и невѣроятную силу таланта ораторскаго, которымъ много способствовалъ поддержанію мужества во всей своей паствѣ. Онъ говорилъ свои вдохновенныя рѣчи и подъ громомъ пушекъ союзнаго флота, бомбардировавшаго Одессу, говорилъ ихъ въ Севастополѣ, въ минуты самыхъ страшныхъ опасностей, и всѣхъ ободрялъ своими высокими самоотверженіемъ, своею готовностью умереть вмѣстѣ со своею паствою, — пострадать за отечество.

„Помните, что за вами — Россія; предъ

вами — потомство; надъ вами — Богъ и Его всесвѣтой Промыслъ!“ — восклицалъ онъ, обращаясь къ мужественнымъ защитникамъ Севастополя „Не малое что-либо и даже не просто-человѣческое происходитъ здѣсь, а выходить и изъ-подъ печати (Апокал. VI, 1) вѣковыя тайны Промысла Божія... Рѣшается, надолго рѣшается, судьба Востока и Запада, а можетъ быть и всего свѣта!... О, есть за что пролить вамъ кровь свою, какъ она ни драгоцѣнна для васъ! Есть ради чего привести въ жертву свою жизнь, какъ она ни важна и невознаграदिима!“

Случалось, въ этотъ страшный и тревожный періодъ, что знаменитый проповѣдникъ говорилъ свои чудныя проповѣди по нѣсколькимъ днямъ сряду, каждый день обращаясь къ своей паствѣ съ утѣшающимъ словомъ! Всѣхъ „словъ и рѣчей“, по поводу войны 1854 и 1855 гг., было произнесено Иннокентіемъ около сорока!²⁾ Въ то же время успѣлъ онъ написать еще нѣсколько новыхъ акаѳистовъ („Пресвятой Троицѣ“, „Воскресенію Христову“, „Архангелу Михаилу“ и проч.).

Неудивительно, что такая усиленная, чрезвычайно-возбужденная дѣятельность подорвала окончательно давно уже надломленные силы архипастыря. Грозныя приступы давно появившейся въ немъ болѣзни стали сказываться уже въ 1856 г., хотя онъ по-прежнему дѣятельно продолжалъ заниматься дѣлами своей епархіи, печатаніемъ своихъ сочиненій и различными изысканіями по описанію священныхъ древностей Крыма и Русской церковной исторіи. Еще въ концѣ 1856 г. онъ писалъ къ одному изъ своихъ друзей: „Меня одолѣли археологическіе помыслы... Не только всѣ старія заѣхъ лѣзутъ въ глаза, поднимаясь изъ архива давняго забвенія, но и новыя предположенія готовы вспорхнуть цѣлымъ стадомъ: — только позволю и не притвори дверь...“ Но уже весною 1857 года, при объѣздѣ Тавриды, онъ почувствовалъ себя очень дурно... 23 апрѣля онъ произнесъ въ Симферопольскомъ соборѣ послѣднюю свою проповѣдь, о „загробной жизни“ — полную высокихъ и прекрасныхъ мыслей.

„Главное поле брани для христіанина есть его сердце“ — говорилъ онъ въ этой пропо-

¹⁾ Эти слова были сказаны Иннокентіемъ наканунѣ его кончины — почти за нѣсколько часовъ до нея.

²⁾ Они вошли въ составъ двухъ особыхъ томовъ его сочиненій, отпечатанныхъ въ 1855 и 1856 гг.

вѣди... „Внѣшніе враги не много значать для него, если внутри нѣтъ митежа... И противъ сего-то домашняго зла должны быть устремлены всѣ силы и все мужество... Кто не ведетъ сей внутренней бранн, тотъ — христіанинъ по одному имени. Только побѣда надъ самимъ собою дѣлаетъ насъ искренними христіанами... Безъ сего нѣтъ, и не можетъ быть спасенія“. Едва возвратившись въ Одессу изъ своего объѣзда, Иннокентій занемогъ и не вставалъ болѣе: 26 мая 1857 г., въ день Сочествія Св. Духа—любимый его праздникъ—Иннокентія не стало.

Значеніе Иннокентія въ исторіи нашего духовнаго краснорѣчія всего лучше опредѣляется сравненіемъ его проповѣднической дѣятельности съ проповѣдническою дѣятельностью митрополита Филарета. О проповѣдникѣ говорятъ обыкновенно, что онъ можетъ двояко дѣйствовать на своихъ слушателей — путемъ разума и путемъ чувства. Эти два противоположные пути нашли себѣ превосходныхъ вѣроучителей въ митрополитѣ Филаретѣ и въ Иннокентіи: — насколько первый дѣйствовалъ преимущественно на разумъ путемъ неотразимаго убѣжденія, на столько же второй — дѣйствовалъ преимущественно на сердце, увлекаая его неудержимымъ порывомъ. Филаретъ обладалъ несравненно болѣшнимъ запасомъ научныхъ и философскихъ знаній, и по самой природѣ своей былъ болѣе способенъ въ нихъ углубляться и проникаться ими; Иннокентій былъ великій художникъ и поэтъ, и по счастли-

вому выраженію одного изъ его современниковъ— „не наука, а искусство, высокое искусство человѣческаго слова: вотъ въ чемъ состоитъ его истинное призваніе!“ Разница характеровъ и направленій таланта обоихъ знаменитыхъ проповѣдниковъ—Филарета и Иннокентія—выражалась отчасти и въ ихъ собственныхъ литературныхъ пристрастіяхъ: насколько Филаретъ былъ проникнутъ глубокимъ уваженіемъ къ Григорію Богослову, настолько же Иннокентій—всѣмъ сердцемъ преданъ Іоанну Златоустому.

Въ заключеніе сказаннаго нами объ Иннокентіи приведемъ прекрасный и вполне безпристрастный отзывъ о немъ покойнаго митрополита Московскаго Макарія (Булгакова)—одного изъ друзей знаменитаго исповѣдника:

...„Пресвященный Иннокентій былъ великій проповѣдникъ, не всегда себѣ равный, но всегда оригинальный и вдохновенный, всегда общедоступный, всегда производившій магическое вліяніе на слушателей, — великій не настолько въ печатныхъ своихъ проповѣдяхъ, ...сколько тогда, когда онъ произносилъ ихъ. Это былъ геніальный ораторъ, именно на кафедрѣ церковной... Какъ писатель русскій, пресвященный Иннокентій, по справедливости, долженъ занять одно изъ первыхъ мѣстъ въ исторіи русской литературы; а какъ проповѣдникъ, онъ займетъ одно изъ первыхъ мѣстъ между духовными витіями не только нашего времени и отечества, но и всѣхъ временъ и народовъ“.



XXV.

Важѣйшіе представители новѣйшей литературной школы: Гончаровъ, Тургеневъ, Островскій и Писемскій.

Сильное литературное движеніе двадцатыхъ и тридцатыхъ годовъ, вызвавшее къ жизни такъ много новыхъ силъ и воспитавшее ихъ подъ животворнымъ вліяніемъ Пушкина и его школы, много способствовало развитію у насъ вкуса къ литературѣ, возбужденію къ ней живого интереса и, наконецъ, тому повороту на путь критическаго, глубокаго изученія русской жизни, первымъ представителемъ котораго явился Гоголь и Бѣлинскій. Подъ непосредственнымъ вліяніемъ критики Бѣлинскаго и высокохудожественныхъ типовъ, созданныхъ Гоголемъ, развилось и выросло новое поколѣніе русскихъ писателей: Григоровичъ, Гончаровъ, Тургеневъ, Островскій, Некрасовъ, Ф. Достоевскій, Л. Толстой, Писемскій и многіе другіе, украсившіе русскую литературу рядомъ прекрасныхъ произведеній, въ основу которыхъ положено было всестороннее, критическое изученіе современной русской жизни и многообразныхъ типовъ, выработанныхъ русскою дѣйствительностью.

Иванъ Александровичъ Гончаровъ род. въ 1812 г., въ Симбирскѣ. Отецъ его былъ однимъ изъ довольно зажиточныхъ симбирскихъ купцовъ; онъ умеръ рано, когда его сыну было три года, и оставилъ Ивана Александровича въ полномъ попеченіи его матери. По счастью, мать Ивана Александровича принадлежала къ тому прекрасному типу русскихъ женщинъ, которыя всю душу свою полагаютъ за дѣтей; не смотря на то, что ей самой не удалось воспользоваться положительнымъ никакимъ образованіемъ, она ничего не жалѣла на образованіе сына, и тѣмъ самымъ много способствовала развитію его природныхъ дарованій. Немаловажно было и другое вліяніе, оказанное въ дѣтствѣ на Ивана Александровича его крестнымъ отцомъ, старымъ морякомъ, по выходѣ въ отставку поселившимся въ Симбирскѣ, въ домѣ отца

Гончарова. Старый морякъ, образованный, умный и живой человекъ, котораго всѣ любили и уважали, и около котораго собиралось лучшее, отборнѣйшее симбирское общество, заботился очень ревностно о воспитаніи своего крестника и дѣйтельно помогалъ матери въ ея заботахъ о сынѣ Живые, разнообразныя и полныя интереса рассказы крестнаго отца о его странствованіяхъ по морямъ и далекимъ чуждымъ странамъ такъ глубоко запади въ душу его крестника, что, по его собственному признанію, осуществившееся впоследствии кругосвѣтное путешествіе было лишь крайнимъ отголоскомъ рано пробудившейся въ немъ страсти къ путешествіямъ, которыя и въ дѣтствѣ занимали его, составляли его любимое чтеніе.

Гончаровъ учился сначала дома, потомъ попалъ въ частный пансіонъ, который устроилъ за Волгою, въ центрѣ нѣсколькихъ богатѣйшихъ помѣстій, принадлежавшихъ наиболѣе крупнымъ мѣстнымъ землевладѣльцамъ. Пансіонъ этотъ былъ, по тому времени, явленіемъ весьма замѣчательнымъ. Онъ основанъ былъ мѣстнымъ священникомъ для дѣтей окрестныхъ помѣщиковъ, и на столько же отличался по устройству и порядкамъ своимъ отъ всѣхъ подобныхъ ему частныхъ заведеній, на сколько и стоявшій во главѣ его священникъ отличался отъ простыхъ сельскихъ поповъ смежныхъ приходовъ. Это былъ человекъ весьма образованный, окончившій курсъ въ Казанской духовной академіи, и притомъ обладавшій пріятною, нѣсколько щеголеватую внѣшностью и хорошими манерами. Для полноты этого рѣдкаго, по тому времени, типа нашего духовнаго сословія, не мѣшаетъ замѣтить, что этотъ священникъ былъ даже и женатъ на француженкѣ, которая преподавала свой родной языкъ воспитанникамъ мужа. При этомъ оригинальнымъ пансіонѣ Иванъ Алексан-

дровичъ нашелъ и разрозненную небольшую библиотеку, въ которой его жажда къ чтенію получила полное удовлетвореніе: тутъ попались ему въ руки путешествія Кука и Крашенинникова, Мунго-Парка и Палласа, историческія сочиненія Карамзина и Голицева, Роллена и Милота, произведенія Нахимова и Расина, Фонъ-Визина и Тасса, а рядомъ съ ними дѣтскіе правоучительные рассказы Беркена, „Телемакъ“ Фенелона, и потомъ, тутъ-же, мрачные романы: „Радклифъ“, „Саксонскій разбойникъ“ и даже одинъ томикъ „Ключа къ тайнствамъ природы“ Эккартсгаузена! И вся эта невообразимая смѣсь была не только прилежно прочитана, но даже почти выучена наизусть юнымъ Гончаровымъ. Это повальное чтеніе безъ всякаго руководства и контроля, безъ всякаго порядка и послѣдовательности, не могло однакоже не подѣйствовать на усиленное развитіе фантазіи, и безъ того уже слишкомъ живой отъ природы, и когда 12-ти-лѣтній Гончаровъ былъ изъ Симбирска отвезенъ въ Москву и опредѣленъ тамъ въ одно изъ среднихъ учебныхъ заведеній, страсть къ чтенію, развиваясь болѣе и болѣе, много способствовала быстрому ознакомленію юноши съ нѣмецкимъ и англійскимъ языками и усовершенствованію въ знаніи французскаго языка, извѣстнаго ему уже съ дѣтства.

Въ 1831 году Гончаровъ поступилъ въ Московскій университетъ, по филологическому факультету. Здѣсь онъ еще засталъ Лермонтова, и потомъ Станкевича и его кружокъ, съ которымъ, впрочемъ, Гончаровъ, сидя въ другомъ концѣ обширной аудиторіи, не былъ знакомъ вовсе.

Тогдашній университетъ, такъ много разъ уже описанный многими изъ современниковъ, произвелъ на талантливаго и хорошо подготовленнаго юношу самое благопріятное впечатлѣніе. Новые и тогда еще молодые профессоры — Шевыревъ, Надеждинъ и Давыдовъ — оказали на него, какъ и на всю массу тогдашней студенческой молодежи, сильное вліяніе. Давыдовъ читалъ свои лекціи по исторіи русской литературы, Надеждинъ — теорію изящныхъ искусствъ и археологію, а Шевыревъ — исторію древнихъ и западныхъ литературъ; кромѣ того, недовольствуясь программой, одинъ изъ

этихъ молодыхъ и рьяныхъ ученыхъ читалъ студентамъ общій очеркъ исторіи философіи ¹⁾, а другой — очеркъ философіи въ искусствѣ ²⁾. Всѣ эти лекціи, вообще благотворно дѣйствовавшія на слушателей, должны были въ высшей степени привлечь и вниманіе молодого Гончарова по новостямъ идей и самаго языка. Въ ту пору еще впервые слышалась съ кафедръ рѣчь живая и смѣлая, еще впервые искусство и наука сближались съ жизнью, рутинна и схоластическая изгонялись изъ университетской аудиторіи, и умы слушателей освѣжались внесеніемъ здравыхъ критическихъ взглядовъ на литературу и науку, а подъ вліяніемъ развивающагося вкуса къ изученію философіи, жизни представлялась рядомъ стремленій къ достиженію идеаловъ добра, правды, красоты, совершенствованія и прогресса. Все это совпадало съ возникавшею тогда и въ литературѣ жизнью, внесенною, послѣ долгихъ застоевъ, Пушкинымъ и его плеядою, и критическимъ переворотомъ, который проваденъ былъ въ журналистикѣ тѣмъ же Надеждинымъ, Полевымъ и другими, окончательно уничтожившимъ старую риторическую школу.

Окончивъ полный курсъ наукъ въ Московскомъ университетѣ, подъ непосредственнымъ вліяніемъ всѣхъ этихъ благопріятныхъ условій, воспитавшихъ и Лермонтова, и Бѣлинскаго, и Станкевича, и Б. Аксакова и многихъ другихъ почтенныхъ русскихъ писателей и общественныхъ дѣятелей, Иванъ Александровичъ сначала отправился на родину, гдѣ и провелъ нѣсколько мѣсяцевъ, а потомъ — въ Петербургъ. Тутъ онъ опредѣлился на службу, переводчикомъ, въ Министерство Финансовъ, и служебная формальность стала такъ много отнимать у него времени, что только досуги могъ онъ посвящать своимъ любимымъ занятіямъ русскою и иностранною литературою. Но — „гдѣ не бываетъ наслажденій?“ справедливо восклицаетъ Гоголь. „Живутъ они въ Петербургѣ, не смотря на суровую, сумрачную его наружность. Трещитъ по улицамъ суровый 30-ти-градусный морозъ, завизгиваетъ исчадіе сѣвера, вѣдьма-вьюга, заматавъ тротуары... но привѣтливо, сквозь летящіе перекрестно хлопья снѣга, свѣтитъ вверхъ

¹⁾ Давыдовъ. — ²⁾ Надеждинъ.

окошко, гдѣ-нибудь въ четвертомъ этажѣ; въ уютной комнаткѣ, при скромныхъ стеариновыхъ свѣчахъ, подъ шумокъ самовара, ведется согрѣвающий и сердце, и душу разговоръ, читается свѣтлая страница вдохновеннаго русскаго поэта, какими наградила Богъ свою Россію, и такъ возвышенно-пылко трепещетъ молодое сердце юноши, какъ въ водится въ другихъ земляхъ и подъ

полуденнымъ роскошнымъ небомъ¹⁾ Это вѣроятно испыталъ на себѣ и молодой Гончаровъ, посѣщая въ первые годы службы и петербургской жизни тѣ частныя кружки, которыми было такъ богато наше общество конца 30-хъ и начала 40-хъ годовъ, кружки, въ которыхъ интересы литературные постоянно являлись на первомъ планѣ,—единственные живые и потому всѣмъ близ-



Гончаровъ.

іе интересы тогдашняго русскаго общества... Чаше другихъ кружковъ, сколько амъ извѣстно, И. А. Гончаровъ посѣщалъ кружокъ Николая Аполлоновича²⁾ и Евгеніи Александровны Майковыхъ, въ домѣ которыхъ собирались всѣ лучшія литературныя и художественныя силы того времени, —среди нихъ—выросли двое юношей,

подававшихъ большія надежды въ будущемъ.³⁾ Въ томъ же кружкѣ бывалъ нѣкто Салоницынъ, богатый и прекрасно образованный человекъ, занимавшійся воспитаніемъ молодыхъ Майковыхъ по искренней дружбѣ, связывавшей его съ родителями. Салоницынъ былъ страстнымъ охотникомъ до всякихъ домашнихъ торжествъ, пред-

¹⁾ Сочин. и письма Гоголя, изд. 1857; IV, 409.—²⁾ Н. А. Майковъ—извѣстный нашъ живописецъ (ум. 1873 г.).—³⁾ Аполлонъ Николаевичъ Майковъ, извѣстный поэтъ нашъ, и Валентинъ Николаевичъ Майковъ, погибшій, къ сожалѣнію, преждевременно, на котораго Бѣлинскій указывалъ, какъ на своего преемника.

пріятій и затѣй, и потому, желая вѣроятно поощрить своихъ юныхъ воспитанниковъ къ занятіямъ литературою (и въ томъ, и въ другомъ замѣчалась большая склонность къ поэзіи), онъ задумалъ издавать въ домашнемъ кружкѣ Майковыхъ небольшой журналъ, принявъ на себя и переиздѣаніе, и переписываніе его отдѣльныхъ номеровъ¹⁾. Въ этомъ-то журналѣцъ появились, если не ошибаемся, первые литературные опыты Гончарова, въ видѣ двухъ небольшихъ, тщательно отдѣланныхъ эпизодическихъ разсказовъ юмористическаго содержанія²⁾. Затѣмъ, въ началѣ сороковыхъ годовъ, Гончаровъ, помѣщавшій отъ времени до времени свои переводныя статьи въ современныхъ журналахъ и постоянно трудившійся надъ пополненіемъ своего образованія, приступилъ наконецъ къ созданію своего перваго крупнаго произведенія—„Обыкновенной Исторіи“, этой скорбной повѣсти юношескихъ увлеченій, охлаждаемыхъ суровымъ опытомъ нашей тогдашней русской жизни, низводившей молодыхъ людей отъ мечтаній о прогрессѣ и совершенствованіи къ идеалу чиновничьяго формализма. Вторая часть „Обыкновенной Исторіи“ не была еще окончена авторомъ, когда первая, черезъ посредство одного пріятеля, попала въ руки Бѣлинскаго, и удостоилась съ его стороны самыхъ горячихъ похвалъ и одобреній. Онъ побуждалъ молодого писателя къ окончанію его произведенія и собирался помѣстить „Обыкновенную Исторію“ въ томъ журналѣ, который самъ думалъ издавать въ 1847 году, и который стали издавать Панаевъ и Некрасовъ; туда же перешли и всѣ статьи, собранныя Бѣлинскимъ для его предполагаемаго журнала; въ числѣ ихъ, редакторами „Современника“ приобрѣтена была отъ автора и „Обыкновенная Исторія“, напечатанная въ „Современникѣ“ въ томъ же 1847 году. Одновременно съ „Обыкновенной Исторіей“ въ головѣ ея автора смутно по-

сплелся и другой образъ, медленно и спокойно складывавшійся планъ и другого произведенія, окончательно упрочившаго впоследствии литературную извѣстность Гончарова. Мы говоримъ объ его „Обломовѣ“, котораго первые отрывки были помѣщены въ „Иллюстрированномъ Альбомѣ“, при „Современникѣ“ 1848—49 г., подъ заглавіемъ: „Сонъ Обломова“, между тѣмъ какъ все произведеніе выдано было въ свѣтъ лишь десять спустя³⁾.

Въ 1852 году Гончаровъ получилъ отъ Морскаго Министерства предложеніе отправиться въ кругосвѣтное плаваніе, въ качествѣ секретаря при адмиралѣ Путятинѣ, который отправлялся для заключенія торговаго трактата въ Японію. Гончаровъ согласился на это продолженіе и отправился кругомъ Свѣта на фрегатѣ Паллада, продолжая обдумывать и обрабатывать своего „Обломова“, и наираясь въ то же время новыхъ, свѣжихъ впечатлѣній. Результатомъ долгаго и труднаго плаванія, закончившагося еще болѣе труднымъ путешествіемъ по горамъ и степямъ Сибири, были сначала отдѣльные отрывки изъ общаго описанія всего путешествія, которые Гончаровъ по возвращеніи, печаталъ въ разныхъ журналахъ, а потомъ и полное, высокохудожественное описаніе всего путешествія, изданное Гончаровымъ въ двухъ большихъ томахъ (въ 1856 и 1857 гг.), подъ заглавіемъ „Фрегатъ Паллада“.

Но ни яркія впечатлѣнія путешествія, ни многосложныя служебныя занятія, которыми авторъ долженъ былъ предаться по возвращеніи въ Петербургъ — ничто не могло отклонить Гончарова отъ окончанія его любимаго и давно-выношеннаго труда; и вотъ въ 1857 году онъ отправился на воды за границу, и здѣсь, въ Карлсбадѣ, дописалъ всего „Обломова“, котораго, собственно говоря, до той поры окончена была только первая часть. Весь романъ явился автору

¹⁾ Онъ былъ на всѣ руки мастеръ: отличный каллиграфъ и переплетчикъ. Ресунками этотъ журналъ снабжалъ самъ Н. А. Майковъ и другіе. Этотъ любопытный журналъ сохранился и бережется въ семьѣ Майковыхъ, какъ святыня.—²⁾ За сообщеніе этихъ подробностей мы приносимъ глубокую благодарность Л. Н. Майкову.—³⁾ Около того же времени, т. е. въ 1848—49 гг., напечатанъ былъ въ „Современникѣ“ Гончаровымъ небольшой, но чрезвычайно живой и забавный очеркъ петербургскихъ чиновничьихъ нравовъ, подъ заглавіемъ: Иванъ Савичъ Поджабринь, впоследствии перепечатанный въ одномъ изъ томовъ сборника „Для Легкаго Чтенія“.

въ такой степени сложившимся, такъ цѣльно-созрѣвшимъ въ его сознаниі, что быстрота написанія всего, весьма объемистаго творенія способна была бы изумить всякаго, незнакомаго съ обычнымъ способомъ творчества Гончарова, много лѣтъ сряду обдумывающаго свои созданія и приступающаго къ написанію ихъ лишь незадолго до ихъ выпуска въ свѣтъ. Такъ было и съ *Обломовымъ*: почти десять лѣтъ сряду онъ составлялъ главную задачу литературной жизни автора, и почти весь (кромя первой части) былъ написанъ въ 47 дней! Гончаровъ писалъ его, не отрываясь, и такъ спѣшилъ его окончить, какъ-будто не надѣялся дожить до возможности увидѣть свой трудъ въ печати!... Наконецъ, *Обломовъ*, давно ожидаемый публикою, явился на страницахъ „Отечественныхъ Записокъ“ (1858 и 1859 гг.), и произвелъ чрезвычайно сильное впечатлѣніе на публику, даже въ то, богатое впечатлѣніями, время начала прошлаго царствованія. Богѣе всего поражало всѣхъ то искусство, съ которымъ авторъ умѣлъ сочетать въ превосходномъ и художественно-цѣломъ типѣ *Обломова* всѣ непривлекательныя стороны характера, выработаннаго неказистою русскою дѣйствительностью, барствомъ и захолустною апатіей помѣщичьего быта, со всѣми лучшими и наиболѣе привлекательными сторонами коренного русскаго человѣка... Къ тому же, рядомъ съ *Обломовымъ*, представлявшимъ собою типъ отживающаго прошлаго, Гончаровъ выставилъ *Ольгу*, другой, прекрасный типъ русской женщины, и въ лицѣ ея всѣмъ представлялось то наступающее, лучшее будущее ближайшихъ поколѣній, во главѣ которыхъ должны были явиться матерями женщины, подобныя *Ольгѣ*.

Затѣмъ Гончаровъ приступилъ къ окончанію другого большаго романа, задуманнаго имъ почти одновременно съ „*Обломовымъ*“ (въ 1849 г.). Служебныя занятія и другія обстоятельства петербургской жизни постоянно отрывали его отъ этого литературнаго труда и не давали ему возможности сосредоточить на немъ все вниманіе... Онъ писалъ его урывками, по отдѣльнымъ главамъ, оставляя его надолго, возвращаясь опять къ нему, и наконецъ поспѣшилъ его закончить въ 1868 г.; романъ, подъ заглавіемъ „*Обрывъ*“, вышелъ въ свѣтъ въ

1868—1869 гг., въ теченіи которыхъ онъ печатался въ „Вѣстникѣ Европы“, и потомъ отдѣльною книгою въ 1870 году.

Съ того времени Гончаровымъ было напечатано лишь нѣсколько небольшихъ и легкихъ набросковъ, въ которыхъ, однакоже, ярко выступаетъ его замѣчательная наблюдательность и тонкій анализъ характеровъ. Нельзя не упомянуть и еще одинъ небольшой критическій очеркъ о Горѣ отъ ума, подъ заглавіемъ: „Милліонъ терзаній“ (помѣщ. въ „Вѣстникѣ Европы“ за 1871 г.). Въ этомъ очеркѣ талантливому автору *Обломова* удалось бросить совершенно новый взглядъ на гениальное произведеніе Грибоѣдова и указать на нѣкоторыя черты въ характерѣ Чацкаго, дотолѣ неподмѣненные никѣмъ изъ нашихъ критиковъ.

Иванъ Сергѣевичъ Тургеневъ родился 28 октября 1818 года, въ Орлѣ. Онъ принадлежалъ, по происхожденію, къ старинной дворянской фамиліи; изъ числа историческихъ лицъ его фамиліи особенно замѣчательны двое: тотъ Петръ Тургеневъ, который обличилъ лже-Дмитрія, и за это обличеніе былъ въ тотъ же день казнень на Лобномъ мѣстѣ въ Москвѣ, и тотъ Яковъ Тургеневъ, извѣстный шутъ Петра Великаго, которому въ новый 1700 годъ пришлось обрѣзывать ножницами бороды бояръ.

Отецъ Ивана Сергѣевича, Сергѣй Николаевичъ Тургеневъ, служилъ въ Елисаветградскомъ кирасирскомъ полку, который квартировалъ тогда въ Орлѣ, и тамъ же женился на Варварѣ Петровнѣ Лутовиновой. Сергѣй Николаевичъ вышелъ въ отставку полковникомъ и скончался въ 1835 году, когда Ивану Сергѣевичу пошелъ семнадцатый годъ; мать Ивана Сергѣевича дожила до глубокой старости и скончалась въ 1850 г. (на 70-мъ году отъ роду).

Иванъ Сергѣевичъ — средній изъ трехъ сыновей Сергѣя Николаевича. Въ раннемъ дѣтствѣ и въ юности жизнь его подвергалась неоднократно большимъ опасностямъ. Когда, въ 1820 году, все семейство Тургеневыхъ отправилось за границу, и посѣтило, между прочимъ, Швейцарію, то четырехлѣтній Иванъ Сергѣевичъ, при осмотрѣ извѣстной Бернской медвѣжьей ямы, чуть

было не провалился туда: — отец едва успел вытащить его оттуда, во-время ухватив за ногу ¹⁾).

По возвращении из этого путешествия за границу, семейство Тургеневых надолго поселилось в родовом своем имении, Мценского уезда Орловской губ. Тут пятнадцатилетний Иван Сергеевич был окружен учителями и воспитателями различных наций: — в числе его учителей и воспитателей не было только ни одного русского. Первое знакомство с русскими книгами и с русской поэзией пришло к нему прямо из народа: — крепостной человек матери Ивана Сергеевича, страстный чтец и поклонник Хераскова, ознакомил своего барича с Россіядой, которая и была одною из первых русских книг, прочтенных Иваном Сергеевичем.

В 1828 году родители Тургенева переехали в Москву, и в 1834 году Иван Сергеевич поступил в Московский университет; но пробыл здесь не долго, и на следующий же год перешел в Петербургский, где и окончил курс по философскому факультету, кандидатом.

Первые литературные опыты были однако сделаны Тургеневым ранее окончания курса, и попали в печать через посредство Плетнева, который сумел отличить будущего писателя в толпе его товарищей. Вот как сам Тургенев рассказывает об этом в своих Воспоминаниях. „В началѣ 1837 г., я, будучи третьекурснымъ студентомъ С.-Петербургскаго университета... представилъ на разсмотрѣніе профессора русской словесности, П. А. Плетнева, одинъ изъ первыхъ плодовъ моей музы — какъ говорилось въ старину, — фантастическую драму въ пятистопныхъ ямбахъ, подъ заглавіемъ „Стенію“. Въ одну изъ слѣдующихъ лекцій, П. А., не называя меня по имени, разобралъ съ обычнымъ своимъ благодушіемъ, это совершенно нехлѣбное произведение, въ которомъ, съ дѣтскою неумѣlostью, выражалось рабское подражаніе Байроновскому „Манфреду“. Выходя изъ зданія университета и увидѣвъ меня на улицѣ, онъ подозвалъ меня къ себѣ и отечески пожурилъ меня, при чемъ

однако замѣтилъ, что во мнѣ что-то есть! Эти два слова возбудили во мнѣ смѣлость отнести къ нему нѣсколько стихотвореній; онъ выбралъ изъ нихъ два, и, годъ спустя, напечаталъ ихъ въ „Современникѣ“, который унаслѣдовалъ отъ Пушкина. Заглавія второго не помню; но въ первомъ воспѣвался „Старый Дубъ“, и начиналось оно такъ:

Маститый царь дѣсовъ, кудравой головою
Склонился старый дубъ надъ сонной гладью водъ
и т. д.“

По окончаніи курса въ С.-Петербургскомъ университетѣ, весной 1838 года, Тургеневъ отправился „доучиваться“ въ Берлинъ. „Мнѣ было всего 19 лѣтъ“, — рассказываетъ онъ въ своихъ „Воспоминаніяхъ“ — „объ этой поѣздкѣ я мечталъ давно. Я былъ убѣжденъ, что въ Россіи возможно только набраться нѣкоторыхъ приготовительныхъ свѣдѣній, но что источникъ настоящаго знанія находится за границей. Изъ числа тогдашнихъ преподавателей С.-Петербургскаго университета не было ни одного, который бы могъ поколебать во мнѣ это убѣжденіе: впрочемъ они сами были имъ проникнуты: его придерживалось и министерство, во главѣ котораго стоялъ графъ Уваровъ, пославшій на свой счетъ молодыхъ людей въ нѣмецкіе университеты. Въ Берлинѣ я пробылъ (въ два пріѣзда) около двухъ лѣтъ. Я занимался философіей, древними языками, исторіей, и съ особеннымъ рвеніемъ изучалъ Гегеля подъ руководствомъ профессора Вердера“.

Сообщая эти подробности о своемъ пребываніи въ Берлинѣ, Тургеневъ въ то же время даетъ возможность заглянуть очень глубоко въ свое тогдашнее нравственное настроеніе, указываетъ на результаты, внесенные имъ изъ пребыванія за границей, и на тотъ путь, которымъ сложились убѣжденія, руководившія въ теченіе всей жизни его литературною и общественною дѣятельностью.

„Стремленіе молодыхъ людей — моихъ сверстниковъ — за границу (замѣчаетъ Тургеневъ въ „Воспоминаніяхъ“) напоминало исканіе славянами начальниковъ у заморскихъ варяговъ. Каждый изъ насъ точно

¹⁾ Въ другой разъ, отправляясь за границу, уже 20-ти-лѣтнимъ юношей, Иванъ Сергеевичъ чуть не погибъ во время пожара парохода „Николай I“, близъ Травенюнде.

также чувствовалъ, что его земля (я говорю не объ отечествѣ вообще, а о нравственномъ и умственномъ достоинствѣ народа) велика и обильна, а порядка въ ней нѣтъ. Могу сказать о себѣ, что лично я весьма ясно сознавалъ всѣ невыгоды подобнаго отторженія отъ родной почвы, подобнаго насильственнаго перерыва всѣхъ связей и нитей, прикрѣпляющихъ меня къ тому быту, среди котораго я выросъ... но

дѣлать было нечего. Тотъ бытъ, та среда, и особенно та полоса ея, если можно такъ выразиться, къ которой я принадлежалъ — полоса помѣщичья, крѣпостная, — не представляли ничего такого, что могло бы удерживать меня. Напротивъ: почти все, что я видѣлъ вокругъ себя, возбуждало во мнѣ чувства смущенія, негодованія — отвращенія наконецъ. Долго колебаться я не могъ. Надобно было либо покориться и смиренно



Тургеневъ.

пообрѣсти общей колеей, по избитой дорогѣ; либо отвергнуть разомъ, оттолкнуть отъ себя „всѣхъ и вся“, даже рискуя потерять многое, что было дорого и близко моему сердцу. Я такъ и сдѣлалъ... Я бросился внизъ головою въ „Нѣмецкое море“, долженствовавшее очистить и возродить меня, и когда я наконецъ вынырнулъ изъ его волнъ — я все-таки очутился „западникомъ“, и остался имъ навсегда“.

Изъ-за границы Тургеневъ вернулся въ

1841 г. не прямо въ Петербургъ, а сперва въ Москву, гдѣ жила его мать. Здѣсь познакомился онъ съ славянофилами: Аксаковымъ, Хомяковымъ, Кирѣевскимъ. Тогда славянофильство только-что нарождалось, только-что начинало заявлять о своемъ существованіи — но Тургеневъ, при тѣхъ западническихъ убѣжденіяхъ, о которыхъ мы только-что упоминали выше, и тогда уже отнесся къ нему отрицательно.

Должно быть, однакоже, попытка идти

„общей колеей“ была сдѣлана и Тургеневымъ, потому что, по возвращеніи въ Петербургъ, онъ поступилъ на службу: онъ, нимало не нуждаясь въ службѣ, Богъ вѣсть почему и для чего, около года состоялъ однакоже при канцеляріи министра внутреннихъ дѣлъ... Но попытка эта не привела ни къ чему — и не смотря на самыя неблагоприятныя условія, въ какія была поставлена наша литература въ началѣ 40-хъ годовъ, Тургеневъ вскорѣ всею душою предается именно литературѣ... Начало его литературнаго поприща тоже неразрывно связано съ именемъ Бѣлинскаго, какъ и все то, что сколько-нибудь выходило изъ общаго литературнаго уровня, въ періодъ дѣятельности этого замѣчательнаго критика.

„Около Пасхи 1843 года“, — пишетъ Тургеневъ въ своихъ „Воспоминаніяхъ“ — „въ Петербургѣ произошло событіе, и само по себѣ крайне незначительное, и давнымъ-давно поглощенное общимъ забвеніемъ. А именно: появилась небольшая поэма нѣкоего Т. Л., подъ названіемъ „Параша“. — Этотъ Т. Л. былъ я; этой поэмой я вступилъ на литературное поприще... Въ день отъѣзда изъ Петербурга въ деревню я сходилъ къ Бѣлинскому (я зналъ, гдѣ онъ жилъ, но не посѣщалъ его, и всего два раза встрѣтился съ нимъ у знакомыхъ), и, не назвавшись, оставилъ его челоѣчку одинъ экземпляръ. Въ деревнѣ я пробылъ около двухъ мѣсяцевъ и, получивъ майскую книжку „Отечественныхъ Записокъ“, прочелъ въ ней длинную статью Бѣлинскаго о моей поэмѣ. Онъ такъ благосклонно отзывался обо мнѣ, такъ горячо хвалилъ меня, что, помнится, я почувствовалъ больше смущенія, чѣмъ радости. Я не „могъ повѣрить“, и когда, въ Москвѣ, покойный И. В. Кирѣевскій подошелъ ко мнѣ съ поздравленіями, я поспѣшилъ отказаться отъ своего дѣтища, утверждая, что сочинитель „Параша“ не я. Возвратившись въ Петербургъ я, разумеется, отправился къ Бѣлинскому, и знакомство наше началось“...

Бѣлинскій, при свиданіяхъ съ Тургеневымъ, говорилъ съ нимъ особенно охотно потому, что тотъ недавно вернулся изъ Берлина, гдѣ занимался гегелевскою филосо-

фіей и былъ въ состояніи передать ему самыя свѣжіе, послѣдніе выводы.

„Бывало, какъ только я приду къ нему, онъ, исхудалый, больной (съ нимъ сдѣлалось тогда воспаленіе въ легкихъ и чуть не унесло его въ могилу), тотчасъ встанетъ съ дивана, и, едва слышнымъ голосомъ, безпрестанно кашляя, съ пульсомъ, бывшимъ сто разъ въ минуту, съ неровнымъ румянцемъ на щекахъ, начнетъ прерванную накануне бесѣду“...

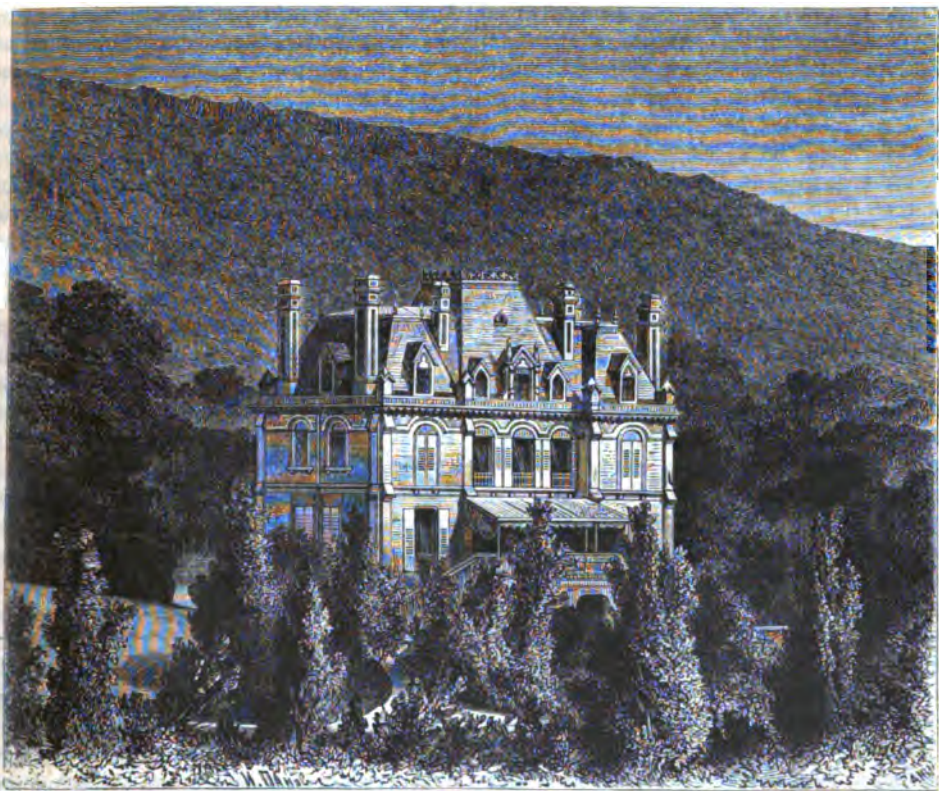
„...Что касается собственно до меня, то должно сказать, что Бѣлинскій, послѣ перваго привѣтствія, сдѣланнаго моею литературною дѣятельности, весьма скоро — и совершенно справедливо — охладѣлъ къ ней: не могъ же онъ поощрять меня въ сочиненіи тѣхъ стихотвореній и поэмъ, которыми я тогда предавался. Впрочемъ, я скоро догадался самъ, что не предстояло никакой надобности продолжать подобныя упражненія — и возмѣтилъ твердое намѣреніе все оставить литературу; только вслѣдствіе просьбы И. И. Панаева, не имѣвшаго чѣмъ наполнить отдѣлъ смѣси въ 1-мъ номерѣ „Современника“, я оставилъ ему (уважалъ въ концѣ 1846 г. изъ Петербурга) очеркъ, озаглавленный „Хоръ и Калинычъ“. (Слова изъ „Записокъ Охотника“ были придуманы и прибавлены тѣмъ же И. И. Панаевымъ, съ цѣлью расположить читателя къ снисхожденію). Успѣхъ этого очерка¹⁾ побудилъ меня написать другіе; и я возвратился къ литературѣ“.

„Записки Охотника“ и нѣкоторая часть мелкихъ повѣстей и разсказовъ Тургенева, написанныхъ между 1844—1850 гг., вскорѣ доставили ему громкую литературную извѣстность, которая однакоже не могла примирить его съ Россіею конца 40-хъ годовъ: ему жилось въ ней такъ тяжело и грустно, что въ 1848 году онъ совсѣмъ было рѣшился оставить Россію и остаться навсегда за границей. Грустное чувство, которое имъ невольно овладѣвало при мысли объ этомъ рѣшеніи, отразилось и на большей части „Записокъ Охотника“ (написанныхъ за границей, преимущественно въ Парижѣ): — особенно замѣтно это настроеніе въ описаніяхъ и картинахъ природы,

¹⁾ Бѣлинскій, въ одномъ изъ своихъ писемъ къ Тургеневу, писалъ ему: „Хоръ обидѣтъ въ истъ замѣчательнаго писателя — въ будущемъ“.

которую Тургеневъ не полагалъ увидѣть болѣе. Самъ Тургеневъ замѣчаетъ въ своихъ „Воспоминаніяхъ“, что „конечно, не написалъ бы „Записокъ Охотника“, если бы остался въ Россіи“, и въ этомъ ощущеніи своемъ замѣчательно сходится съ Гоголемъ, который почти въ то же время писалъ свои лучшія страницы о Россіи „изъ прекраснаго далека“.

Въ самомъ началѣ 50-хъ годовъ, слѣдовательно около того времени, когда талантъ Тургенева успѣлъ уже вполне развиться и окрѣпнуть, а литературная извѣстность его упрочилась вполне — ему пришлось, какъ Пушкину, провести два года въ деревенскомъ уединеніи, которое, по его собственному сознанию, принесло ему свою долю пользы. Поводомъ къ удаленію въ деревню



Бывшая вила Тургенева въ Баденъ-Баденъ.

была статья, написанная Тургеневымъ тотчасъ по полученіи извѣстія о смерти Гоголя. Статья эта, не пропущенная Петербургской цензурой, была пропущена Московской, и появилась въ „Московскихъ Вѣдомостяхъ“ (въ мартѣ 1852 г.). Обстоятельства сложились такъ неудачно, что этотъ случайный фактъ былъ истолкованъ „какъ преднамѣренное нарушение цензурныхъ правилъ и ослушаніе имъ“ — и Тургеневъ „по-

саженъ на мѣсяцъ подѣ арестъ въ части, а потомъ отправленъ на жительство въ деревню, гдѣ и пробылъ два года“. „Но все къ лучшему“, — замѣчаетъ Иванъ Сергѣевичъ въ своихъ „Воспоминаніяхъ“; — „пребываніе подѣ арестомъ и въ деревнѣ принесло мнѣ несомнѣнную пользу: оно сблизило меня съ такими сторонами русскаго быта, которыя при обыкновенномъ ходѣ вещей, вѣроятно, ускользнули бы отъ моего вниманія“.

И действительно, уединение придало еще больше зрелости и силы таланту Тургенева; съ половины 50-х годовъ и до половины 60-хъ имъ были написаны лучшія его произведенія — „Рудинъ“ (1855), „Дворянское гнѣздо“ (1858) и наконецъ „Отцы и дѣти“ (1862). Мастерски набросанные и художественно воспроизведенные типы мечтателя Рудина, Лизы и Елены доставили Тургеневу такое положеніе въ средѣ нашихъ писателей, какого немногимъ до него удавалось достигнуть. Онъ сталъ положительно кумиромъ всей молодежи, которая жадно читала все, выходившее изъ-подъ его пера... Но у этого увлеченія, у этой громкой славы Тургенева явились свои, очень тягостныя терніи... Вотъ что, по этому поводу, рассказываетъ самъ Иванъ Сергѣевичъ въ своихъ „Воспоминаніяхъ“: „...Я бралъ ванны въ Вентнорѣ, маленькомъ городкѣ на островѣ Вайтѣ — это было въ августѣ 1860 года, — когда мнѣ пришла въ голову первая мысль „Отцовъ и дѣтей“, этой повѣсти, по мысли которой прекратилось — и, кажется, навсегда — благосклонное расположеніе ко мнѣ русскаго молодого поколѣнія. Не однажды слышалъ я и читалъ въ критическихъ статьяхъ, что я, въ моихъ произведеніяхъ, „отправляюсь отъ идей“, или „провожу идею“; иные меня за это хвалили, другіе, напротивъ, порицали; съ своей стороны я долженъ сознаться, что никогда не покушался „создавать образъ“, если не имѣлъ исходною точкою не идею, а живое лице, къ которому постепенно примѣшивались и прикладывались подходящіе элементы. Точно то же произошло и съ „Отцами и дѣтьми“; въ основаніе главной фигуры, Базарова, легла одна поразившая меня личность молодого провинціального врача (онъ умеръ незадолго до 1860 г.). Въ этомъ замѣчательномъ человѣкѣ воплотилось на мои глаза — то, едва народившееся, еще бродившее начало, которое потомъ получило названіе „нигилизма“. Впечатлѣніе, произведенное на меня этой личностью, было очень сильно и въ то же время не совсѣмъ ясно; я, на первыхъ порахъ, самъ не могъ хорошенько отдать себѣ въ немъ отчета и напряженно прислушивался и приглядывался ко всему, что меня окружало, какъ бы желая повѣрить правдивость собственныхъ ощущеній. Меня смущалъ слѣдующій

фактъ: ни въ одномъ произведеніи нашей литературы я даже намекъ не встрѣчалъ на то, что мнѣ чудилось повсюду; поневолѣ возникло сомнѣніе: ужъ не за призракомъ ли я гонюсь“...

Но результатомъ всѣхъ этихъ исканій и сомнѣній былъ типъ Базарова, въ которомъ Тургеневъ, съ поразительною вѣрностью угадавъ „вѣянія новой эпохи“, представилъ „новаго человѣка въ самый моментъ его появленія“ — и представилъ критически... Типъ этотъ никѣмъ не былъ понятъ, и поднялъ страшную бурю противъ автора во всѣхъ, самыхъ противоположныхъ литературныхъ лагерьхъ.

„Я испытывалъ тогда впечатлѣнія“, — говоритъ Тургеневъ — „хотя разнородныя, но одинаково тягостныя. Я замѣчалъ холодность, доходящую до негодованія, во многихъ мнѣ близкихъ и симпатическихъ людяхъ; я получалъ поздравленія, чуть не лобызанія отъ людей противнаго мнѣ лагерь. отъ враговъ. Меня это конфузило... огорчало; но совѣсть не упрекала меня; я хорошо зналъ, что я честно отнесся къ выведенному мною типу“. Хотя въ своемъ отвѣтѣ на критики, по поводу „Отцовъ и дѣтей“, Тургеневъ и замѣчаетъ, что „точное и сильное воспроизведеніе истины, реальности жизни — есть высочайшее счастье для литератора, даже если эта истина не совпадаетъ съ его собственными симпатіями“ — однакоже впечатлѣніе, произведенное на общество „Отцами и дѣтьми“, разнѣвая, болѣе или менѣе кривыя истолкованія этой повѣсти, и все, что писалось и высказывалось въ обществѣ по поводу новаго типа (Базарова), созданнаго Тургеневымъ, подѣйствовало на него очень неблагоприятно и, какъ кажется, въ значительной степени способствовало переселенію Ивана Сергѣевича за границу. Въ 1863 году Иванъ Сергѣевичъ купилъ себѣ участокъ земли въ Баденъ-Баденѣ, построилъ на немъ домъ и прожилъ тамъ до 1870 г.

По окончаніи прусско-французской войны Тургеневъ покинулъ Баденъ-Баденъ, продалъ свое тамошнее владѣніе, и основался въ Парижѣ, откуда онъ, точно также, какъ и пазъ Баденъ-Бадева, ежегодно прѣзжалъ въ Россію.

Долговременное пребываніе Ивана Сергѣевича за границей и его обширныя лите-

ратурныя связи въ Германіи и Франціи много способствовали тому, чтобы имя его, какъ писателя, приобрѣло, въ большей части Европы, такую же громкую и почетную извѣстность, какою оно пользуется въ Россіи. Сочиненія его были переведены на французскій, нѣмецкій и англійскій языки. Французы говорятъ даже съ гордостью, что имя Тургенева на столько же принадлежитъ французской литературѣ, на сколько и русской...

Однакоже, долговременное, почти постоянное пребываніе И. С. Тургенева за границей, укрѣпивъ его связи съ западно-европейскими литераторами, значительно ослабило его связи съ Россією. Онъ сталъ писать мало, и послѣдній большой романъ его („Новъ“ ¹⁾) далеко не имѣлъ такого успѣха, какъ его прежніе романы. Еще менѣе понравились въ Россіи его „Стихотворенія въ прозѣ“, не смотря на удивительное совершенство, до котораго онъ довелъ языкъ въ этихъ маленькихъ, тщательно отдѣланныхъ и законченныхъ произведеніяхъ. Послѣдніе два года жизни Тургеневъ почти постоянно былъ прикованъ къ постели тяжкимъ недугомъ и скончался послѣ долгой и мучительной болѣзни, 23-го августа 1883 г. Тѣло его было привезено въ С.-Петербургъ и съ чрезвычайными почестями предано землѣ на Волковомъ кладбищѣ, 27-го сент. того же года.

Алексѣй Теофилактовичъ Писемскій родился 10-го марта 1820 года, въ усадьбѣ Раменье, Чухломскаго уѣзда Костромской губерніи. Родъ Писемскихъ издавна принадлежалъ къ стариннымъ дворянскимъ родамъ Костромского края. Въ небольшой и чрезвычайно любопытной автобіографіи, которая осталась въ посмертныхъ бумагахъ Писемскаго, мы находимъ слѣдующія свѣдѣнія о предкахъ и родителяхъ Алексѣя Теофилактовича. „Я происхожу“, — пишетъ онъ, — „отъ стариннаго дворянскаго рода. Одинъ изъ предковъ моихъ, нѣкто дядя Писемскій ¹⁾, былъ посланъ

царемъ Іоанномъ Грознымъ въ качествѣ посла въ Лондонъ для осмотра племянницы королевы Елисаветы, на каковой племянницѣ царь предполагалъ жениться. Другой предокъ мой изъ рода Писемскихъ пошелъ въ монастырь и удостоился быть причисленнымъ къ лику святыхъ, въ сонмъ которыхъ до сихъ поръ именуется Макаріемъ Писемскимъ, и мощи его почіуютъ въ Макарьевскомъ на р. Унжѣ монастырѣ. Вотъ и вся историческая слава моего рода. Позднѣйшіе Писемскіе, о которыхъ я слыжалъ, были, по большей части, люди богатые; но та ближайшая вѣтвь, отъ которой собственно я происхожу, была совершенно захудалая: дѣдъ мой былъ безграмотенъ, ходилъ въ лаптяхъ и самъ пахалъ землю. Богатый родственникъ его, малороссійскій помѣщикъ, взялся устроить судьбу отпа моего — Теофилакта Гавриловича Писемскаго, которому тогда было четырнадцать лѣтъ. Устройство судьбы ребенка состояло въ томъ, что отпа моего пообмыли, пообшили, выучили грамотѣ и опредѣлили солдатомъ въ войска, пошедшія завоевывать Крымъ“.

Теофилактъ Гавриловичъ вышелъ суровымъ, закаленнымъ воиномъ ²⁾. Постъ завоеванія Крыма, уже въ офицерскихъ чинахъ, онъ еще долго служилъ на Кавказѣ и, наконецъ „прослуживъ лѣтъ тридцать, въ чинѣ майора, вернулся на родину, т. е. въ Костромскую губернію“... „На родинѣ ему пришлось жениться на моей матери. изъ довольно досточного семейства Шиповыхъ“. Характеризуя своего отпа, А. О. Писемскій говоритъ:

„Отецъ мой, въ полномъ смыслѣ, былъ военный служака того времени: — строгій исполнитель долга, умѣренный въ своихъ привычкахъ до пуризма, человекъ неподкупной честности въ смыслѣ денежномъ, и выѣстъ съ тѣмъ сурово-строгий къ подчиненнымъ.. Наши крѣпостные люди его трепетали, но только дураки и лѣнтяи, а умныхъ и дѣльныхъ онъ даже баловалъ иногда...“ „Мать моя была совершенно иныхъ свойствъ: нервная, мечтательная, тонокумная и, при всей недостаточности воспита-

¹⁾ Писемскій — посолъ Іоанна Грознаго къ Елисаветѣ Англійской — былъ не дядя, а думный дворянинъ. Онъ выѣхалъ изъ Россіи въ Англію въ августъ 1582 г.; вернулся въ октябрѣ 1583 г.

²⁾ А. О. Писемскій изображалъ отпа своего въ роли „ветерана“, вставленной въ небольшую пьесу его: „Ветеранъ и новобранецъ“.

нія, прекрасно говорившая и весьма любившая общительность. Собою она, за исключеніемъ весьма умныхъ глазъ, была не хороша, и по поводу ея наружности покойный отецъ мой, когда я былъ уже студентомъ, нѣлъ со мною такого рода бесѣду:

— „Скажи мнѣ, Алексѣй, отчего это твоя мать, чѣмъ дольше живетъ, тѣмъ красивѣе становится?“

— „Оттого, папенька, что у маменьки много душевной красоты, которая съ годами все больше и больше выступаетъ“.

Отецъ согласился со мною.“

Родня, со стороны матери, была весьма образованная. Многие изъ родственниковъ Евдокія Алексѣевича пользовались высокимъ общественнымъ положеніемъ и даже значеніемъ въ царствованіе Императора Александра I. Нѣкоторые изъ нихъ были страстными масонами. Но въ близкихъ отношеніяхъ къ Писемскому былъ только одинъ изъ родственниковъ его матери, Всеволодъ Никитичъ Бартеневъ, бывший флотскій офицеръ и человѣкъ не только образованный, но вполне просвѣщенный. О немъ А. Ѳ. Писемскій, до конца жизни, сохранилъ самыя теплыя воспоминанія.

Все дѣтство Писемскаго, до 10-ти-лѣтняго возраста, протекло въ г. Ветлугѣ, гдѣ отецъ его былъ городничимъ. „Учиться меня особенно не нудили, да я и самъ не очень любилъ учиться; но зато читать и читать, особенно романы, любилъ до страсти: до четырнадцати-лѣтняго возраста я уже прочелъ (въ переводѣ разумѣется) большую часть романовъ В. Скотта, Донъ-Кихота, Фоблаза, Жяльблаза, Хромого Вѣса, Серапионовыхъ братьевъ Гофмана, персидскій романъ Хаджи-Баба: дѣтскихъ же книгъ я всегда терпѣть не могъ, и, сколько припомню теперь, всегда ихъ находилъ очень глупыми“.

По четырнадцатому году Писемскій поступилъ въ Костромскую гимназію, во второй классъ. Учился онъ недурно, хотя наставники его были „всѣ плохи“ — по его признанію. Здѣсь однакоже успѣлъ Писемскій выказать свои способности сценическія и авторскія: — онъ „стяжалъ себѣ большую славу на авторскомъ поприщѣ“ и сталъ писать повѣсти, описывая въ нихъ „такія сферы, которыя совершенно были для него невѣдомы“.

Въ 1840 году Писемскій поступилъ въ Московскій университетъ, по физико-математическому факультету, и замѣчаетъ по этому поводу въ своей автобіографіи:

„Будучи большимъ фразеромъ, я въ этомъ случаѣ благодарю Бога, что избралъ математическій факультетъ, который сразу же отрезвилъ меня и сталъ приучать говорить только то, что самъ ясно понимаю...“ „Но этимъ, кажется, только и кончилось благотворное вліяніе университета. Научныхъ свѣдѣній... я приобрѣлъ не много, но зато познакомился съ Шекспиромъ, Шиллеромъ, Гёте, Корнелемъ, Расиномъ, Ж.-Ж. Руссо, Вольтеромъ, Викторомъ Гюго и Ж. Зандомъ, и сознательно оцѣнилъ русскую литературу“. Къ концу университетскаго курса относится и одинъ изъ блестящихъ сценическихъ успѣховъ Писемскаго: онъ такъ сыгралъ роль „Подколесина“ (въ Женихѣ Гоголя), что многіе ставили его игру выше игры знаменитаго Щепкина. Упомянемъ объ этомъ біографическомъ фактѣ не потому только, что самъ Писемскій придавалъ ему большое значеніе, а потому, что страсть къ сценѣ, въ слѣдствіи, значительно облегчила ему постановку его собственныхъ драмъ на сценѣ и дала ему возможность написать нѣсколько прекрасныхъ драматическихъ произведеній.

Но тотчасъ послѣ этого блестящаго успѣха, по окончаніи университетскаго курса (1844 г.), жизнь заявила Писемскому свои весьма опредѣленные и весьма прозаическія требованія. „На моемъ успѣхѣ въ роли Подколесина кончилась моя научная и эстетическая жизнь. Впереди мнѣ предстояли горе и необходимость служить: отецъ мой уже померъ; мать, пораженная его смертію, была разбита параличемъ и лишилась языка: средства къ существованію были весьма незначительны. Все это понимая, я впалъ, по прѣзрѣнію въ деревню, въ меланхолію и нонхондрію, изъ коей спасла меня любовь...“

Это чувство подѣйствовало на него въ такой степени сильно, что даже побудило его написать первый его романъ, подъ заглавіемъ „Боярщина“. Но романъ былъ „прямо прихлопнутъ цензурой“, а „совѣсть его (автора) не удовлетворялась незаконными отношеніями къ любимой женщинѣ“. а потому Писемскій рѣшился, „во-первыхъ“

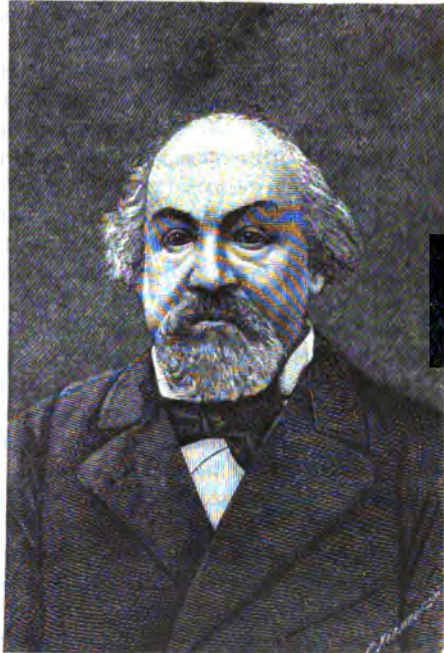
посвятить себя службѣ, а потомъ жениться, избравъ для этого дѣвушку, совершенно уже не кокетку, изъ семьи хорошей, но небогатой¹⁾. Супруга, избранная Писемскимъ — Екатерина Павловна Свинина (дочь основателя „Отечественныхъ Записокъ“) — оказалась истиннымъ другомъ и вѣрнымъ товарищемъ своего мужа на жизненномъ пути и много способствовала успокоенію его живой, кипучей и перво-подвижной натуры.

А. О. Писемскій, послѣ женитьбы своей, поступилъ на службу чиновникомъ особыхъ порученій при костромскомъ губернаторѣ¹⁾. Затѣмъ онъ былъ назначенъ ассессоромъ губернскаго правленія въ г. Костромѣ, и состоялъ въ этой должности около пяти лѣтъ. Въ 1853 г. онъ вышелъ въ отставку, переселился въ Петербургъ и зачислился вскорѣ потомъ на службу при министерствѣ удѣловъ (до 1859 г.).

Всѣ эти поступленія на службу, выходы въ отставку и переселенія Писемскаго тѣсно связаны съ исторіею его литературной жизни, литературныхъ связей и отношеній; а потому и необходимо дополнить вышеприведенныя цѣпы фактами литературной дѣятельности Писемскаго. Когда, подъ вліяніемъ молодого и горячаго чувства, Алексѣй Теофилактовичъ написалъ свою первую повѣсть „Боярщина“ и отправилъ ее въ редакцію „Отечественныхъ Записокъ“, то получилъ отъ редакціи самый лестный отзывъ о своемъ произведеніи, вмѣстѣ съ предложеніемъ — быть въ этомъ журналѣ постояннымъ сотрудникомъ. Такой успѣхъ ободрилъ Писемскаго, и онъ тотчасъ засталъ за новую повѣсть, подъ заглавіемъ „Тюфякъ“. Но затѣмъ онъ получилъ извѣщеніе, что „Боярщина“ запрещена цензурою за безнравственность²⁾ — и это до такой степени его возмутило, что онъ бросилъ и новую повѣсть свою, не желая ее дописывать. Онъ подумывалъ даже и навсегда отказаться отъ литературы..

Но женившись и поуспокоившись духомъ, Писемскій сталъ опять посвящать свои досуги любимому занятію; къ тому же въ 1850 году, около маститаго редактора „Москвитинина“, М. П. Погодина, собрался кружокъ

новыхъ и талантливыхъ сотрудниковъ, — знакомыхъ, пріятелей и земляковъ Писемскаго³⁾, которые стали его приглашать къ участію въ обновленномъ журналѣ. Писемскій дописалъ свою повѣсть „Тюфякъ“ и помѣстилъ ее въ „Москвитининѣ“. Успѣхъ повѣсти былъ замѣчательный — и возбуждилъ Писемскаго въ такой степени, что онъ всею душою предался своей страсти къ ли-



Писемскій.

тературѣ, и въ цѣломъ рядѣ самыхъ разнообразныхъ произведеній выказалъ большую силу творчества. Въ теченіи 4—5 лѣтъ онъ написалъ и помѣстилъ въ журналахъ, кромѣ своихъ двухъ первыхъ повѣстей, слѣдующіе очерки изъ народнаго быта, комедіи, романы и повѣсти: „Бракъ по страсти“, „Комикъ“, „Ипохондрикъ“, „Богатый женихъ“, „Питершикъ“, „М-г Батмановъ“, „Раздѣлъ“, „Тѣшій“, „Фанфаронъ“. Все это было написано до 1859 г., слѣдовательно, до переселенія изъ Костромы въ Петербургъ.

¹⁾ По окончаніи курса Писемскій нѣкоторое время служилъ въ костромской палатѣ государственныхъ имуществъ, а потомъ въ московской. — ²⁾ Эти пріятели и знакомцы были: Ан. Григорьевъ, поэтъ Алтазовъ, Эдельсонъ, А. Н. Островскій, А. Петѣвичъ, Н. В. Бергъ и др.

Въ петербургскихъ литературныхъ кружкахъ 50-хъ годовъ Писемскій обратилъ на себя общее вниманіе, какъ совершенно новый литературный типъ, какъ чисто русскій самородокъ. Одинъ изъ современниковъ, въ своихъ воспоминаніяхъ о Писемскомъ, совершенно вѣрно характеризуетъ впечатлѣніе, которое прѣзвѣій писатель производилъ на коренныхъ петербуржцевъ:

„Трудно себѣ и представить болѣе полный и цѣльный типъ чрезвычайно умнаго и вмѣстѣ оригинальнаго провинціала, чѣмъ тотъ, который явился въ Петербургъ въ образѣ молодого Писемскаго, съ его крѣпкой, коренастой фигурой, большой головой, испытующими, наблюдательными глазами и гнѣвной походкой... Онъ производилъ на всѣхъ впечатлѣніе какой-то диковинки посреди Петербурга, но диковинки не простой, мнѣмъ которой проходишь, бросивъ на нее взглядъ, а такой, которая останавливаетъ и заставляетъ много и долго думать о себѣ... Нельзя было подмѣтить ничего вычитаннаго, затверженнаго на память, захваченнаго со стороны, въ его рѣчахъ и мнѣніяхъ. Всѣ сужденія принадлежали ему, природѣ его практическаго ума и не обнаруживали никакого родства съ ученіями и вѣрованіями, наиболѣе распространенными въ средѣ тогдашнихъ образованныхъ людей“.

Эта послѣдняя черта въ особенности выдвигала Писемскаго, среди тѣхъ литературныхъ и журнальныхъ кружковъ Петербурга, которые преимущественно пробавлялись книжными теоріями и стремились къ достиженію общественныхъ идеаловъ, создаваемыхъ западно-европейскими мыслителями. Писемскій явился въ эти кружки съ готовою, вполне-зрѣлою опытностью человека, отлично-знакомаго съ русскою жизнью провинціальныхъ центровъ и деревенскаго захолустья, съ огромнымъ запасомъ наблюденій и яркихъ образовъ. Такіе блестящіе очерки народнаго быта, какъ „Плотнощія артели“ (напечатанная въ „Отеч. Записк.“ 1855 г.), въ которыхъ впервые выступали настоящіе русскіе мужики, нисколько-неприкрашенные авторомъ и говорившіе настоящимъ мужицкимъ языкомъ—поразили всѣхъ силою и правдивостью творчества. Въ Писемскомъ, какъ авторѣ подобныхъ очерковъ, кромѣ большого таланта, приходилось еще признавать и большое знаніе русской жизни

и русскаго народнаго быта; критика открыто высказала, что до Писемскаго никто, — даже самъ Гоголь, — не заглядывалъ такъ глубоко въ сердце простаго русскаго человека... Интересъ къ Писемскому и его произведеніямъ былъ возбужденъ чрезвычайно-сильный, и въ обществѣ, и въ литературѣ. Всѣ съ нетерпѣніемъ ждали его новыхъ произведеній; но 1856 и 1857 г.г. были небогаты ими: Писемскій былъ отъѣченъ командировкою въ Астрахань и на побережье Каспійскаго моря, которую принималъ по предложенію морскаго министерства. Въ концѣ 1857 г. Писемскій принялъ участіе въ редактированіи журнала „Библиотека для Чтенія“, въ которомъ потомъ и печаталъ весьма многія изъ своихъ произведеній.

Самымъ блестящимъ годомъ въ литературной дѣятельности Писемскаго слѣдуетъ считать 1858, когда почти одновременно явились два крупныхъ произведенія молодого и плодовитаго автора: первая повѣсть его „Боярщина“ (въ это время разрывъ цензуры) и большой романъ „Тысяча душъ“, который всѣмъ признается за лучший изъ романовъ Писемскаго. Въ это время слава Писемскаго была окончательно упрочена, въ особенности, когда, послѣ „Тысячи душъ“, онъ поставилъ на сцену свою превосходную драму „Горькая судьбина“—единственную, вполне удачную, драму изъ простонароднаго быта изъ всѣхъ, какія до сихъ поръ явились на русской сценѣ.

Этотъ рядъ блестящихъ успѣховъ литературныхъ и сценическихъ вскружилъ голову Алексѣю Теофилактовичу. Онъ вообразилъ себѣ, что для него настало время всецѣло посвятить себя литературѣ, что публика и журналы будутъ постоянно относиться къ нему также благопріятно и горячо, какъ въ концѣ 50-хъ годовъ—и поэтому въ 1859 году онъ еще разъ вышелъ въ отставку.

Ожиданія Писемскаго, однакоже, не сбылись. Съ начала 60-хъ годовъ наступилъ тотъ періодъ реформъ и броженія въ обществѣ, который совершенно видоизмѣнилъ теченіе русской жизни и отозвался въ литературѣ и журналистикѣ чрезвычайно странными, невиданными еще въ Россіи явленіями. Мечтанія и утопическія стремленія взяли верхъ надъ дѣйствительнымъ.

простымъ и прямымъ пониманіемъ нужды русской жизни. На литературное поприще выступили новые дѣятели, которые правились публикѣ и старались угодить ея новымъ вкусамъ. Писемскій пришелъ въ ужасъ отъ тѣхъ теорій, которыя проповѣдывались открыто и печатно, угадалъ своимъ практическимъ умомъ, что новое литературное и общественное движеніе приведетъ къ весьма печальнымъ результатамъ — и рѣшился высказать смѣло и открыто свои возраженія на то, что совершалось въ Россіи въ началѣ 60-хъ годовъ. Высказанную имъ горькую правду онъ облекъ въ живые и сильные образы новаго художественнаго произведенія, которому далъ весьма характерное заглавіе: „Взбаломученное море“. Картина общественного броженія, въ которой Писемскій съ одинаковою безпощадностью выставилъ и отживающіе типы стараго поколѣнія, и нарождающіеся типы новыхъ людей молодого поколѣнія — была ярко и сильно набросана... И никому не понравилась! Критика, во всѣхъ видахъ, осмѣяла и уничтожила новый романъ Писемскаго; а публика, и въ особенности молодежь — отнеслась къ нему съ отвращеніемъ, даже съ ожесточеніемъ... Писемскаго причислили къ разряду отсталыхъ, къ разряду неспособныхъ понимать блага прогресса — и отъ него отвернулись, его перестали читать, его забыли, какъ забыли надолго Тургенева послѣ его Отцовъ и Дѣтей, гдѣ онъ вывелъ типъ Базаарова.

Писемскій не ожидалъ этого удара... Онъ былъ имъ ошеломленъ и первое время не зналъ, какъ освоиться со своимъ положеніемъ. Но затѣмъ онъ увидѣлъ, что ему болѣе нечего дѣлать въ Петербургѣ, гдѣ литературные и журнальные кружки отъ него отвернулись и приходилось уступить мѣстомъ другимъ, моднымъ авторамъ... Тогда Писемскій переселился въ Москву. въ 1866 г. вновь поступилъ на службу совѣтникомъ въ Московское губернское правленіе, гдѣ и оставался на службѣ еще шесть лѣтъ, до 1872 г. Здѣсь Писемскій примкнулъ къ кружку московскихъ литераторовъ, которые недовѣрчиво и неблагоприятно относились къ петербургской прогрессивной журналистикѣ; здѣсь, преимущественно въ „Русскомъ Вѣстникѣ“, и продолжалъ онъ печатать свои произведенія, изъ кото-

рыхъ, впрочемъ, ни одно не достигло той высоты и того значенія, какихъ достигали романы, очерки и драмы Писемскаго, въ лучшую пору его дѣятельности, въ концѣ 50-хъ годовъ. Лучшими изъ послѣднихъ его произведеній слѣдуетъ считать романы: „Масоны“ и „Люди сороковыхъ годовъ“; лучшимъ изъ драматическихъ произведеній послѣдняго періода считается по справедливости „Ваалъ“.

Важнымъ недостаткомъ всѣхъ произведеній послѣдняго періода является слишкомъ мрачный взглядъ на всѣ новыя явленія русской жизни и слишкомъ непріязненное, недовѣрчивое отношеніе ко всему молодому поколѣнію русскихъ людей. Природная жгучесть черевъ — чуръ впечатлительнаго автора, перенесенныя имъ неудачи и тяжелыя испытанія уязвленнаго самолюбія, отчасти-же и болѣзненное расстройство организма — все это дурно вліяло на Писемскаго въ послѣдній, московскій періодъ его дѣятельности. Но онъ все же, съ полнымъ сознаніемъ достоинства, могъ высказать своимъ почитателямъ на двадцатипятилѣтнемъ юбилеѣ своей литературной дѣятельности (19 января 1875), что, „единственною путеводною звѣздой во всѣхъ его трудахъ было желаніе высказать своей странѣ, по крайнему разумѣнію, хоть, можетъ быть, и нѣсколько суровую, но все-таки правду про нее самоѣ“...

Послѣдніе годы жизни были для Писемскаго очень тяжелы: постоянныя болѣзни, принадлежн жестокой плохондріи, семейныя несчастія — все это дѣлало жизнь его невыносимо-тяжкой. Только торжества, совершавшіяся въ Москвѣ по поводу Пушкинскаго праздника, нѣсколько оживили Писемскаго и вынудили его вновь выйти, хоть на время, изъ того уединенія, въ которомъ онъ проводилъ послѣдніе годы. Писемскій принялъ участіе въ празднествахъ и сказалъ на одномъ изъ нихъ весьма дѣльную рѣчь о Пушкинѣ, какъ историческомъ романсистѣ.

Полгода спустя, Писемскій скончался тихо и незамѣтно, 21-го января 1881 года, — только небольшой кружокъ преданныхъ ему людей и близкихъ знакомыхъ провожалъ его до скромной могилы.

Александръ Николаевичъ Островскій родился въ Москвѣ 31 марта 1823 г. Отецъ его, Николай Ѳеодоровичъ Островскій, потомственный дворянинъ, состоялъ на службѣ при гражданскомъ судѣ, а потомъ, покинувъ службу, занимался ходатайствомъ по частнымъ дѣламъ. Это занятіе и доставляло ему средства, но тому времени достаточныя; жилъ онъ въ Замоскворѣчьи, въ собственномъ небольшомъ домикѣ. Но семья возрастала быстро, и семейный бытъ Николая Ѳеодоровича былъ весьма скромнень. Только уже второю женитьбою, на баронессѣ Т., удалось Николаю Ѳеодоровичу настолько поправить свое состояніе, что онъ и многочисленную семью свою сумѣлъ поднять на ноги, и дѣтямъ своимъ могъ кое-что оставить.

Александръ Николаевичъ былъ старшимъ изъ троихъ сыновей отъ перваго брака. Воспитанія домашняго не получилъ онъ рѣшительно никакого. При дѣтяхъ Николай Ѳеодоровича, правда, числился въ воспитателяхъ какой-то семинаристъ, потому еще и какой-то малороссъ-учитель, по фамиліи Тарасенко, но, собственно говоря, ни тотъ, ни другой изъ этихъ педагоговъ не оказали на развитіе будущаго драматурга никакого вліянія. Матери Островскій лишился въ раннемъ дѣтствѣ; отецъ его былъ постоянно занятъ своими дѣлами, и его дѣти — какъ и большинству дѣтей, въ русскихъ семействахъ средняго класса, въ то время, — приходилось вырастать на просторѣ и свободѣ, безъ всякихъ стѣсненій и въ всякихъ системъ.

Дальнѣйшее воспитаніе и первоначальное образованіе пришлось получить А. Н. Островскому въ первой Московской гимназій, которая тоже, въ ту пору, немного могла ему дать свѣдѣній, тѣмъ болѣе, что и онъ, подобно множеству русскихъ даровитыхъ натуръ, прилежаніемъ не отличался. Однакоже курсъ въ гимназій онъ кончилъ, благополучно перешелъ потомъ въ университетъ и поступилъ на факультетъ юридическій. Но тутъ ему курсъ кончить не удалось: вышли у него какія-то неприятели съ профессоромъ К., и онъ покинулъ университетъ, прослушавъ въ немъ только три курса. Это было, если мы не ошибаемся, въ 1843 году. Пришлось, конечно, поступить на службу, и молодой Островскій опредѣ-

лился коллежскимъ регистраторомъ въ Московскій коммерческій судъ.

Только зная всѣ эти обстоятельства, можно отчасти понять, почему именно талантъ Островскаго проявился въ цѣломъ рядѣ произведеній, заимствованныхъ изъ купеческаго быта. Съ дѣтства живя въ Замоскворѣчьи, среди сплошнаго купеческаго населенія, и въ домѣ отца постоянно встрѣчая купцовъ, приходившихъ къ нему толковать о дѣлахъ своихъ, молодой Островскій, вѣроятно, уже очень рано успѣлъ близко ознакомиться съ московскимъ купеческимъ бытомъ и глубоко проникнуть въ его различныя стороны. Служба въ коммерческомъ судѣ открыла новое поле для наблюденій и дала ему возможность взглянуть на общую картину уже хорошо извѣстнаго ему быта съ иной и весьма важной точки зрѣнія. Подъ непосредственнымъ вліяніемъ дѣтства и юности, проведенныхъ въ Замоскворѣчьи, и первымъ литературнымъ опытомъ Островскаго были, весьма естественно, „Сцены изъ Замоскворѣцкой жизни“ и „Очерки Замоскворѣчья“, помѣщенные въ 1847 году въ современныхъ журналахъ; подъ несомнѣннымъ впечатлѣніемъ службы въ коммерческомъ судѣ явилась, три года спустя, первая и лучшая изъ комедій Островскаго „Свои люди — сочтемся“ — мрачная эпопея одного изъ множества злостныхъ банкротствъ. Эта комедія, напечатанная въ Москвитинѣ за 1850 г., обратила на себя всеобщее вниманіе: всѣ были поражены зрѣлостью таланта молодого автора и полнотою, цѣлностью его произведеній. На сцену комедія въ то время не попала: и несмотря на то, что, подобно всякому драматическому произведенію, и эта комедія Островскаго очень много терпѣла въ чтеніи — ее всѣ читали съ большимъ удовольствіемъ и сознавали, что сравнивать ее можно было только съ комедіями Гоголя. Авторъ въ этой комедіи впервые удалось приподнять край завѣсы, которая до того скрывала отъ всѣхъ совершенно особый, своеобразный и на-глухо замкнутый всякому наблюденію бытъ такого обширнаго и важнаго въ нашемъ обществѣ сословія, какъ купечество... Попытка — вывести на сцену этотъ новый общественный элементъ и представить во всей полнотѣ его нравственнаго безобразія — была въ такой степени смѣлою.

представляла собою нѣчто такое невиданное въ литературѣ, что многіе изъ введенныхъ Островскимъ характеровъ показались преувеличеніями, измышленіями автора, совершенно невозможными, несуществующими въ дѣйствительности. Самое окончаніе комедіи „Свои люди—сочтемся“, въ которомъ плутоватый зять (Подхалюзинъ), разбогатѣвшій черезъ плутни тестя (Большова), преспокойно засаживаетъ его въ яму, и потомъ обращается къ публикѣ съ приглашеніемъ зайти въ его „магазин-

чикъ“, увѣряя, что тамъ „и малаго ребенка въ луковицѣ не обочтутъ“—самое это окончаніе, вполне характерное, органически связанное со всѣмъ ходомъ пьесы, многимъ показалось въ такой степени чудовищнымъ, что Островскій нашелъ себя вынужденнымъ впоследствии помѣнить конецъ своей комедіи, и вставить сцену, въ которой очень некстати является добродѣтельный квартальный, непринимавшій „благодарность“ отъ Подхалюзина—и порочный зять несетъ на себя одинакую кару съ порочнымъ тестемъ.



Островскій.

Но эта комедія была только блестящимъ началомъ цѣлаго ряда прекрасныхъ произведеній Островскаго, въ которыхъ широко и сильно проявился замѣчательный талантъ молодого автора, и выказалось глубокое знаніе того міра, изъ котораго онъ почерпалъ содержаніе для своихъ комедій. Въ теченіе семи лѣтъ, послѣ первой своей комедіи, Островскій написалъ еще восемь ¹⁾

большинхъ комедій, напечатанныхъ въ Москвитинѣ, въ Русской Бесѣдѣ и въ Библіотекѣ для Чтенія (1852—1859 гг.), и, сверхъ того, печаталъ, въ то же время, въ другихъ журналахъ отдѣльныя сцены, представляющія собою какъ-бы этюды, какъ-бы разрозненныя части одной большой картины.

Въ этомъ длинномъ рядѣ произведеній

¹⁾ Комедіи: „Бѣдная Невѣста“, „Не въ свои сани не садись“, „Бѣдность не порокъ“, „Не такъ живи какъ хочется“, „Въ чужомъ пиру похмѣлье“, „Доходное мѣсто“, „Воспитанница“, „Гроза“.

Островскій, почти вездѣ, рисуетъ очень мрачную картину семейной жизни и общественной дѣятельности того слоя купечества, въ который еще не проникли живые лучи просвѣщенія, и которому знакомы еще только очень немногія, чисто-внѣшнія проявленія цивилизаціи. Мастерски рисуетъ онъ намъ картину того поразительнаго застоя и апатіи, среди котораго вырастаютъ, старѣются и коснѣютъ цѣлыя поколѣнія, не обращая вниманія на поступательное движеніе вѣка, устроивая и располагая свою жизнь по тому же плану, по которому жили отцы и дѣды, стѣсняя ее въ такіе рамки, которыя уже рѣшительно не пригодны для современности, и основывая свои узкіе идеалы на обычаѣ и предразсудкѣ. При этомъ, по справедливому замѣчанію современнаго критика, „Островскій умѣетъ заглядывать въ глубь души человѣка, умѣетъ отличать натуру отъ всѣхъ извнѣ принятыхъ уродствъ и наростовъ; оттого внѣшній гнетъ, тягость всей обстановки, давящей человѣка, чувствуются въ его произведеніяхъ гораздо сильнѣе, чѣмъ во многихъ рассказахъ, страшно возмутительныхъ по содержанію, но внѣшней, официальной стороной совершенно заслоняющихъ внутреннюю человѣческую сторону“ ¹⁾.

Изъ всѣхъ натуръ, разборомъ которыхъ занимается въ своихъ комедіяхъ Островскій, ему болѣе всего ярко и живо удалось, съ самыхъ разнообразныхъ сторонъ, обрисовать типъ самодура, который, въ томъ или другомъ видѣ, занимаетъ одно изъ самыхъ видныхъ мѣстъ во всѣхъ комедіяхъ Островскаго. Ему вполне принадлежитъ честь созданія этого типа въ нашей литературѣ, въ которой, до него, никогда и никто изъ нашихъ писателей не принимался за изученіе такого рода характеровъ, между тѣмъ какъ большая часть пьесъ Островскаго основана именно на проявленіяхъ самодурства въ семейной и общественной средѣ.

Изъ всѣхъ комедій, написанныхъ Островскимъ до 1859 года, особенное вниманіе обратили на себя его пьесы: „Бѣдность не порокъ“, „Не въ свои сани не садись“ и, преимущественно, „Гроза“, въ которой характеръ Катерины, глубоко-

обдуманый и прочувствованный авторомъ, приводилъ всѣхъ въ неописанный восторгъ. „Характеръ Катерины“ — замѣчаетъ тотъ же критикъ — „какъ онъ исполненъ въ „Грозѣ“, составляетъ шагъ впередъ не только въ драматической дѣятельности Островскаго, но и во всей нашей литературѣ. Онъ соответствуетъ новой фазѣ нашей народной жизни, онъ давно требовалъ своего осуществленія въ литературѣ; около него вертѣлись наши лучшіе писатели; но они успѣли только понять его надобность и не могли уразумѣть и почувствовать его сущности: это сумѣлъ сдѣлать Островскій“ ²⁾. Затѣмъ, разбирая всю обстановку, мрачную и тягостную, среди которой характеръ Катерины является дѣйствительно „лучомъ въ темномъ царствѣ“, критикъ говоритъ, что „русскій сильный характеръ“, на сколько онъ проявился въ „Грозѣ“, прежде всего „поражаетъ насъ своею противоположностью всякимъ самодурнымъ началамъ...“ „Онъ сосредоточенно рѣшителенъ, неуклонно вѣренъ чутью естественной правды, исполненъ вѣры въ новые идеалы, и самоотверженъ, въ томъ смыслѣ, что ему лучше гибель, нежели жизнь при тѣхъ началахъ, которыя ему противны. Онъ руководится не отвлеченными принципами, не практическими соображеніями, не мгновенными пафосомъ, а просто натурою, всѣмъ существомъ своимъ“...

Съ начала 60-хъ годовъ Островскій значительно уклонился отъ прежняго общаго направленія своей литературной дѣятельности: онъ написалъ нѣсколько драматическихъ хроникъ, въ стихахъ; изъ нихъ несомнѣнно лучшею является первая въ числѣ ихъ — „Козьма Захарьевичъ Мининъ-Сухорукъ“. Но Островскій не произвелъ въ этомъ родѣ ничего замѣчательнаго, ничего такого, что бы хоть сколько-нибудь прибавило блеска къ его вполне заслуженной литературной славѣ. Почти то же можно сказать и о большей части его мелкихъ и крупныхъ произведеній за послѣднія 10—12 лѣтъ. Изъ всей массы ихъ, весьма значительной, выдвигаются только сцены: „Шутники“, драмъ „Грѣхъ да бѣда на кого не живетъ“ и комедія: „Не все коту масленица“.

¹⁾ Добролюбовъ, Сочиненія, III, 26.—²⁾ Тоже, III, 537.

Въ 1872 году Александръ Николаевичъ Островскій отпраздновалъ двадцатипятилѣтній юбилей своей литературной дѣятельности, и продолжалъ неутомимо трудиться на литературномъ поприщѣ, каждый годъ ставя новую пьесу на сцену. За два года до смерти, А. Н. Островскій былъ избранъ въ руководители московской сцены и занялъ мѣсто директора театра. Усиленные труды по этой новой должности окончательно подорвали его и безъ того уже потрясенное здоровье. Въ концѣ мая 1886 г. онъ почувствовалъ сильное утомленіе и поспѣшилъ отъѣздомъ изъ Москвы въ свое любимое селцо Щельково ¹⁾, въ которомъ обыкновенно проводилъ лѣто со своимъ семействомъ. Но отдохнуть ему не удалось: 2-го іюня 1886 г. онъ скончался скоропостижно, и, по желанію, выраженному имъ при жизни, похороненъ былъ въ своемъ имѣніи. Въ заключеніе всего, что мы нашли возможнымъ сказать объ Островскомъ, считаемъ не лишнимъ привести здѣсь ту общую характеристику комедій, созданной Островскимъ, которую находимъ у Добролюбова:

„Комедія Островскаго — это не комедія

интригъ и не комедія характеровъ собственно, а нѣчто новое, чему мы дали-бы названіе „пьесъ жизни“, если-бы это не было слишкомъ обширно и потому не совсемъ опредѣленно. Мы хотимъ сказать, что у него на первомъ планѣ является всегда общая, независимая ни отъ кого изъ дѣйствующихъ лицъ, обстановка жизни. Онъ не караетъ ни злодѣя, ни жертву: оба они жалки вамъ, нерѣдко оба смѣшны; но не на нихъ непосредственно обращается чувство, возбужденное въ насъ пьесою. Вы видите, что ихъ положеніе господствуетъ надъ ними, и вы вините ихъ только въ недостаткѣ энергіи, необходимой для выхода изъ этого положенія. Такимъ образомъ и борьба, требуемая теоріею отъ драмы, совершается въ пьесахъ Островскаго не въ монологахъ дѣйствующихъ лицъ, но въ фактахъ, господствующихъ надъ ними. Часто сами лица комедій не имѣютъ много, или и вовсе никакого сознанія о смыслѣ своего положенія и своей борьбы; но за то борьба весьма отчетливо и сознательно совершается въ душѣ зрителя, который невольно возмущается противъ положенія, порождающаго такіе факты“...



¹⁾ Селцо Щельково (Бинешемскаго уѣзда, Костромской губ.) лежитъ въ очень живописной мѣстности. А. Н. Островскій приобрѣлъ его, въ долъ съ братомъ своимъ Михаиломъ Николаевичемъ, отъ своей матери.

XXVI.

Представители новейшей литературной школы: — Некрасовъ, Григорьевичъ, Достоевскій и Л. Толстой.

Николай Алексѣвичъ Некрасовъ род. 22 ноября 1821 г., въ одномъ изъ мѣстечекъ Каменецъ - Подольской губерніи: тамъ квартировалъ въ то время полкъ, въ которомъ служилъ отецъ поэта, Алексѣй Сергѣевичъ Некрасовъ. Мать Николая Алексѣвича была родомъ полька — Александра Андреевна Закревская; Алексѣй Сергѣевичъ женился на ней, познакомившись съ семейю Закревскихъ въ Херсонской губерніи, гдѣ Закревскій приобрѣлъ обширныя помѣстья.

Отецъ Н. А. Некрасова дослужился до чина майора, вышелъ въ отставку и поселился на житье въ своемъ родовомъ имѣнии, деревнѣ Грешнево, Ярославской губерніи, на почтовомъ трактѣ между Ярославлемъ и Костромой. Состояніе у А. С. Некрасова было нрядное; но его имѣніе было заутано въ разные процессы, а семья росла съ каждымъ годомъ, и наконецъ доросла до 13 человекъ (дочерей и сыновей)¹⁾. Это вынуждало А. С. Некрасова служить по выборамъ, и одно время онъ былъ даже исправникомъ...

Впечатлѣнія дѣтства Николая Алексѣвича были далеко неотрадны. Въ домѣ царилъ тотъ хаосъ захолустной помѣщичьей жизни, среди котораго воспиталось и погнбло не одно поколѣніе талантливыхъ русскихъ людей. Властелинъ (какъ называлъ отца въ одномъ изъ своихъ стихотвореній нашъ поэтъ) не любилъ перемониться ни съ дѣтми, ни съ домашними, ни съ крестьянами... Жесткая рука его давала себя чувствовать, и, кажется, только ему одному во всемъ домѣ жилось хорошо, среди псарей, собакъ и шумныхъ пиршествъ съ сосѣдями. Единственнымъ свѣтлымъ воспоминаніемъ изъ всего дѣтства поэта была его мать: — ея образъ остался въ его памяти на всю жизнь, и даже на смертномъ одрѣ вдохновилъ его прекраснымъ стихотвореніемъ, посвященнымъ памяти этой женщины. Но мать

была существомъ несчастнымъ, забытымъ, безгласнымъ и страждущимъ не только за себя, но и за всѣхъ окружавшихъ ее крѣпостныхъ людей, которыхъ ей рѣдко удавалось спасать отъ дикой расправы супруга. Впрочемъ, не мѣшаетъ замѣтить, что „властелинъ“ любилъ своего сына Николая и даже баловалъ его по-своему. Въ 1832 году онъ отдалъ его въ Ярославскую гимназію (Николай Алексѣвичъ пробылъ въ ней до пятаго класса), но безпрестанно бралъ его къ себѣ зной и дѣтомъ, на всѣхъ праздникахъ, и даже любилъ иногда брать съ собою въ разъѣзды по дѣламъ своей исправнической службы. Можно себѣ представить, чего долженъ былъ насмотрѣться и наслушаться во время подобныхъ поѣздокъ юноша-Некрасовъ!

Но какъ ни дурны были задатки домашняго воспитанія, „искра Божія“, вложенная матерью въ сердце юноши, не погасла. Все, что онъ видѣлъ и слышалъ кругомъ себя, не ожесточало его, не способствовало очерствѣнію его сердца, а напротивъ воспитывало въ немъ то чувство жалости и любви къ народу, которое потомъ такъ громко высказалось въ его послѣдующей поэтической дѣятельности... Отецъ, конечно, и не предвидѣлъ того, что развивалось въ молодомъ сердцѣ его сына, не предвидѣлъ, какія мысли зрѣли въ его молодой головѣ, когда, въ 1839 году, отправлялъ его съ рекомендательными письмами въ С.-Петербургъ, для опредѣленія кадетомъ въ тогдашній Дворянскій полкъ. Онъ думалъ, что скоро должна будетъ сбыться его любимая мечта, и онъ увидитъ своего сына Николая офицеромъ... Но вышло нѣчто совсѣмъ иное. Н. А. Некрасовъ встрѣтилъ въ столицѣ своего ярославскаго товарища Гущицкаго (уже студента университета), а черезъ него познакомился съ профессоромъ духовной семинаріи Д. И. Успенскимъ. Они

¹⁾ Изъ нихъ теперь въ живыхъ два брата Н. А. Некрасова: — Константинъ и Оеодоръ Алексѣичи и одна сестра, Анна Алексѣвна.

оба отклонили юношу отъ поступленія въ корпусъ и возбудили въ немъ охоту продолжать ученіе. Оба пріятеля помогли Некрасову приготовиться къ экзамену и облегчили его вступленіе въ университетъ, въ которомъ Николай Алексѣевичъ и пробылъ два года (1839—1841) вольнослушателемъ.

Едва только вѣсть о вступленіи сына въ университетъ достигла отца его, почтенный родитель отвернулся отъ него съ пренебреженіемъ, и на-отрѣзъ отказался выдавать ему содержаніе, предоставивъ добывать себѣ средства къ жизни чѣмъ ему угодно.

Тяжелъ былъ искусь, которому долженъ былъ подвергнуться юноша въ лучшіе годы молодости. Некрасовъ поселился на Малой Охтѣ, брался за всякія работы—уроки, корректуры и журнальныя компіляции—и все же терпѣлъ нужду ужасную и бѣдствовалъ такъ, какъ немногимъ приходится бѣдствовать. Недаромъ, въ одномъ изъ своихъ послѣднихъ поэтическихъ воспоминаній, Н. А. Некрасовъ говоритъ:

Я отрокомъ покинулъ отчій домъ.

(За славой я въ столицу торопился).

Въ шестнадцать лѣтъ я жилъ своимъ трудомъ

И между тѣмъ урывками учился.

Лѣтъ двадцати, съ усталой головой,

Ни живъ, ни мертвъ (я голодалъ по-дѣлу),

Но горделивъ—пріѣхалъ я домой...

Къ этому тяжкому періоду всевозможныхъ лишеній физическихъ и тяжкихъ испытаний нравственныхъ, жестоко терзавшихъ гордаго юношу, относится начало поэтической дѣятельности Николая Алексѣевича ¹⁾. Въ 1839 г., ободряемый Н. А. Полевымъ, юноша-Некрасовъ посылаетъ свои стихотворенія въ „Литературную Газету“, издаваемую тогда А. А. Краевскимъ, и въ „Отечественныя Записки“. Въ 1840 г., болѣе заботясь о кускѣ хлѣба, нежели о славѣ, поэтъ рѣшился собрать во-едино свои первые поэтическіе опыты подъ общимъ названіемъ „Мечты и Звуки“. Подъ заглавіемъ только начальныя буквы имени и фамиліи автора... Критика, въ лицѣ Жуковскаго и Полевого отнеслась къ книжкѣ снисходительно, и, кажется, эта книжка

окончательно утвердила Н. А. Некрасова въ его рѣшеніи покинуть университетъ и предаться исключительно литературной дѣятельности. Между 1841 и 1845 гг., Некрасовъ напрягалъ всѣ силы на то, чтобы выйти изъ-подъ гнета нужды; писалъ, компилировалъ, переводилъ, даже ставилъ водевили на сцену Александринскаго театра (подъ псевдонимомъ Перепельскаго)... Въ это время сошелся онъ съ Бѣлинскимъ, а черезъ него, вѣроятно, и съ Панаевымъ.

Покойный Ф. М. Достоевскій замѣчаетъ, по поводу связей Некрасова съ Бѣлинскимъ: „Онъ благоговѣлъ передъ Бѣлинскимъ и, кажется, всѣхъ больше любилъ его во всю свою жизнь. Тогда еще Некрасовъ ничего не написалъ такого размѣра, какъ удалось ему вскорѣ, черезъ годъ потомъ... О знакомствѣ его съ Бѣлинскимъ я мало знаю, но Бѣлинскій его угадалъ съ самаго начала и, можетъ быть, сильно повліялъ на настроеніе его поэзіи. Не смотря на всю тогдашнюю молодость Некрасова и на разницу лѣтъ ихъ, между ними навѣрно ужъ и тогда бывали такія минуты и уже сказаны были такія слова, которыя вліяютъ навѣкъ и связываютъ неразрывно“.

Въ 1845 г. Некрасовъ, уже составившій себѣ нѣкоторую пзвѣстность, надалъ въ свѣтъ свой первый сборникъ, подъ заглавіемъ: „Физиологія Петербурга“; въ 1846 году имъ изданъ былъ замѣчательный по составу „Петербургскій Сборникъ“, обратившій на себя общее вниманіе читающей публики. Сборники эти, по словамъ Панаева, „принесли Некрасову небольшіе барышн... Но у него уже развивались въ головѣ болѣе обширныя литературныя предпріятія, о которыхъ онъ сообщалъ Бѣлинскому.

Слушая его, Бѣлинскій дивился его сообразительности и смѣливости и восклицалъ обыкновенно:

— Некрасовъ пойдетъ далеко... Это не то, что мы.. Онъ наживетъ себѣ капиталъ!

Ни въ одномъ изъ своихъ пріятелей Бѣлинскій не находилъ ни малѣйшаго практическаго элемента и, преувеличивая его въ Некрасовѣ, онъ смотрѣлъ на него съ какимъ-то особеннымъ уваженіемъ ²⁾.

¹⁾ Первое его стихотвореніе „Мысль“ было напечатано уже въ 1838 г. въ „Сынѣ Отечества“.

²⁾ В. И. Панаевъ. Воспоминанія, стр. 329.

Бѣлинскій однакоже не ошибся. Не прошло и году, какъ уже Некрасовъ сошелся съ Панаевымъ настолько, что подбилъ его сообща приобрести у П. А. Плетнева издательское право на „Современникъ“, основанный въ 1836 году Пушкинымъ Юноша-поэтъ, быстрыми шагами приближаясь къ громкой извѣстности и обезпеченію, могъ уже въ 1847 году предложить Бѣлинскому участіе въ своемъ журналѣ, а зѣтъ черезъ десять уже явился обладате-

лемъ такого состоянія, которое ставило его въ совершенно независимое положеніе въ литературномъ мірѣ.

Хотя замѣчательный умъ и большой поэтический талантъ Некрасова способствовали тому, чтобы журналъ его „Современникъ“ шелъ очень хорошо, однакоже обогатить Некрасова „Современникъ“ не могъ. Не можетъ подлежать никакому сомнѣнію, что состояніе Некрасова нажито было не отъ литературы, и что въ частной жизни



Некрасовъ.

его было много такихъ сторонъ, которыя вынудили нѣкоторыхъ друзей его юности порвать съ нимъ связи навсегда; но для справедливой и безпристрастной оцѣнки его частной жизни, его значенія, какъ человека и гражданина—еще не наступило время... Мы можемъ судить только Некрасова-поэта, и только о немъ можемъ говорить въ нашемъ очеркѣ. Не можемъ однакоже не отмѣтить того знаменательнаго факта, что между поэтической дѣятельностью

Некрасова и его дѣятельностью общественною существовать постоянно какой-то разладъ; въ его поэзіи онъ выражался ильымъ рядомъ пьесъ, рисующихъ намъ тягостное внутреннее состояніе души поэта, который никакъ не можетъ примириться съ самимъ собою...

Въ 1856 году появилось первое полное собраніе стихотвореній Некрасова, въ видѣ тоненькой книжки въ десять печатныхъ листовъ. Смѣлость, съ которою поэтъ из-

сался самых болѣзненныхъ явъ русской жизни, сила порицанія и отрицанія его бичующей сатиры и т. п., совершенно новыя, невѣдомыя дотоѣ тѣмъ поэтамъ, которые являлись впервые предъ удивленнымъ русскимъ читателемъ—все это разомъ подняло значеніе Некрасова, который сталъ идиоломъ современной молодежи. Это первое собраніе стихотвореній раскупилось очень быстро, и за нимъ послѣдовали, одно за другимъ, многія изданія стихотвореній Некрасова, постоянно увеличивавшіяся въ объемѣ, по мѣрѣ того, какъ поэтический талантъ Некрасова болѣе и болѣе овладѣвалъ всѣмъ горизонтомъ современной русской общественной жизни.

Къ яркой лирикѣ поэта стали мало-по-малу примѣшиваться сначала отрывки задуманныхъ имъ обширныхъ поэмъ („Саша“, „Псовая охота“, „Говорунъ“, „Записки графа Гаранскаго“), а потомъ и цѣлыя поэмы (Дѣдушка, Русскія женщины), такъ что седьмое изданіе, напечатанное въ 1874 году, уже заключало въ себѣ цѣлыхъ шесть томовъ. Въ этихъ шести томахъ—это можно сказать смѣло—заключается цѣлая исторія нашей общественной жизни за послѣднее двадцатилѣтіе.

Приобрѣтя громкую славу поэта, понимающаго нужды народа, близко знакомаго съ современными нуждами русскаго образованнаго общества, Некрасовъ, въ то-же время, неутомимо трудился и на журнальномъ поприщѣ, ловко группируя около себя наиболѣе талантливыхъ представителей нашей литературы и критики. Съ 1847 и по 1866 г. онъ издавалъ Современникъ, а затѣмъ, когда этотъ журналъ былъ запрещенъ, Некрасовъ, послѣ небольшого перерыва, принялся за изданіе „Огочественныхъ Записокъ“ (съ 1868 г.), которыхъ и не покидалъ до самой смерти.

Рано облизавшись съ жизнью народа и глубоко сочувствуя его нуждамъ, его бѣдствамъ, его скудости матерьяльной и умственной, Некрасовъ во множествѣ отдѣльныхъ, прекрасныхъ пьесъ очертилъ различныя стороны русской народной жизни, выставилъ много сильныхъ народныхъ характеровъ, указалъ на многія живыя стороны русскаго народнаго типа. Подъ-конецъ жизни, мрачно-настроенный событиями нашей общественной жизни 70-хъ годовъ,

Некрасовъ задумалъ написать большую поэму, подъ общимъ названіемъ „Кому на Руси жить хорошо“. Въ этой поэмѣ онъ хотѣлъ поочередно перебрать всѣ сословія и состоянія людей, живущихъ на Руси, и указать, каково вообще живется русскимъ людямъ. Къ сожалѣнію, поэма эта, въ высшей степени замѣчательная, не была имъ закончена и основная мысль ея осталась не вполне выясненною.

Съ конца 1876 года Н. А. Некрасовъ сталъ расхварываться, и тяжелая внутренняя болѣзнь, медленно развиваясь, шла настолько вѣрнымъ путемъ, что никакими усилями науки, никакими пожертвованіями невозможно было ни остановить, ни ослабить ея хода. Несчастный поэтъ выносилъ ужасныя физическія страданія. Въ то время, когда онъ уже лежалъ на смертномъ одрѣ, вышла въ свѣтъ книжка его послѣднихъ стихотвореній, подъ трогательнымъ заглавіемъ: „Послѣднія пѣсни“... Эти пѣсни были дѣйствительно послѣдними. Въ одной изъ нихъ, прощаясь съ жизнью, поэтъ восклицаетъ (3-го марта 1877 г.):

Непобѣдимое страданье,
Неутолимая тоска...
Влечетъ, какъ жертву на злканье,
Недуга черная рука.
Гдѣ ты, о муза! Пой, какъ прежде!
„Нѣтъ больше пѣсенъ, мракъ въ очахъ;
Сказать:—умремъ! конецъ надеждъ,
Я прибрела на костыляхъ!“

27-го декабря 1877 года—поэта не стало. Тѣло его было предано землѣ на кладбищѣ Новодевичьяго монастыря.

Ө. М. Достоевскій, провожавшій поэта до могилы (и пережившій его только на три года), почтилъ его память въ своемъ „Дневникѣ“ слѣдующими прекрасными и глубокопрочувствованными строками:

„Некрасовъ есть русскій историческій типъ, одинъ изъ крупныхъ примѣровъ того, до какихъ противорѣчій и до какихъ раздвоеній, въ области нравственной и въ области убѣжденій, можетъ доходить русскій человекъ въ наше печальное, переходное время. Но этотъ человекъ остался въ нашемъ сердцѣ. Порывы любви этого поэта такъ часто были искренни, чисты и простосердечны! Стремленіе же его къ народу—столь высоко, что ставить его, какъ поэта, на высшее

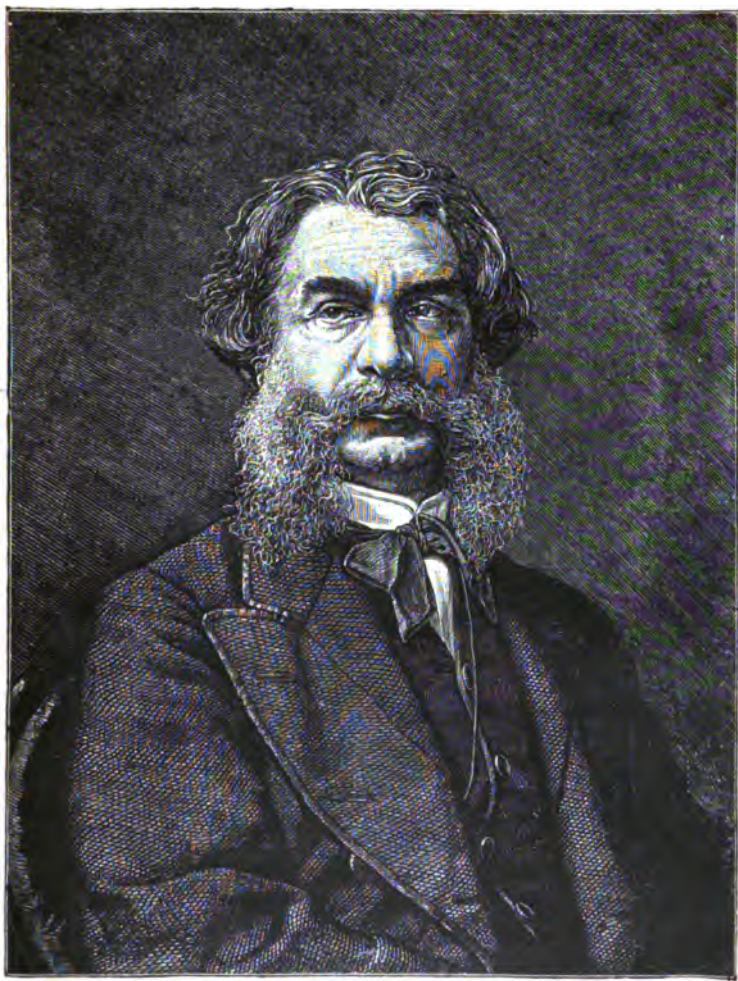
мѣсто. Что-же до человѣка, до гражданина, то опять-таки, любовью къ народу и страданіемъ по немъ, онъ оправдалъ себя самъ, и многое искупилъ, если и дѣйствительно было что искупить“...

Дмитрій Васильевичъ Григоровичъ родился (19 марта 1822 г.) въ Симбирской губерніи (и уѣздѣ), въ селѣ Никольскомъ. Онъ былъ единственный сынъ отставного гусара екатерининскихъ временъ, женившася на французскѣмъ-эмигрантѣ, г-жѣ де-Вармонъ, отецъ которой погибъ на гильотинѣ. Росъ въ дѣтствѣ одиноко до 7-милѣтняго возраста, и тогда переселился съ отцомъ и съ матерью въ отцовское имѣнье, сельцо Думбино, Каширскаго уѣзда, Тульской губерніи. Между книгами матери находился портфель съ рисунками старыхъ мастеровъ, и этому портфелю Дмитрій Васильевичъ обязанъ первыми художественными впечатлѣніями, пробужденіемъ въ немъ стремленія къ рисованію; благодаря быстро и сильно развившейся въ немъ охотѣ къ этому искусству—кисти и карандаши были для него въ дѣтствѣ лучшими подарками. Выростая одинокимъ ребенкомъ въ семьѣ, Дмитрій Васильевичъ былъ избавленъ отъ всякихъ гувернёровъ и гувернантокъ: воспитаніемъ занималась мать (отецъ скончался еще въ 1825 году). Десяти лѣтъ Дмитрій Васильевичъ былъ отданъ въ Москву, въ пансіонъ или, вѣрнѣе, въ семейство иностранцевъ (итальянцевъ), которые приѣмомъ воспитанниковъ въ свою семью желали обезпечить воспитаніе собственныхъ дѣтей. Семейство это было въ высшей степени артистическое, и, главнѣйшимъ образомъ, время ученія было посвящено рисованію и изученію иностранныхъ языковъ. Четырнадцати лѣтъ Дмитрій Васильевичъ привезенъ былъ въ Петербургъ и отданъ для приготовленія къ поступленію въ инженерное училище. Годъ спустя, поступленіе это и состоялось благополучно, и 18-ти-лѣтній Григоровичъ былъ уже кадетомъ въ Михайловскомъ инженерномъ училищѣ. Но скорѣй стало совершенно ясно, что талантливый юноша вошелъ не въ тѣ двери... Съ перваго же шага сталъ онъ выказывать полнѣйшее отвращеніе къ

математикѣ, а въ слѣдующемъ году уже не упускалъ онъ ни одной свободной минуты для продолженія своихъ занятій искусствами:—въ единственный свободный день, воскресенье, онъ уходилъ въ академію художествъ, стараясь позабыть корпусную и учебную обстановку своей недѣли, и по цѣлымъ днямъ рисовалъ тамъ, подъ руководствомъ художника Тамаринскаго. Семнадцатилѣтняго юношу Григоровича художество поглотило совершенно; онъ не только продолжалъ со страстью учиться рисовать, но заинтересовался и самою исторіею искусства: принялся съ жадностью за чтеніе біографій великихъ художниковъ. Товарищи его, подтрунивая надъ его художественными стремленіями, даже изобрѣли особый способъ, чтобы дразнить его и выводить изъ терпѣнія:—стояло только заспорить съ Григоровичемъ о томъ, что Санціо — не фамилія Рафаэля, но обозначаетъ святой, и Григоровичъ готовъ былъ драться съ тѣмъ, кто рѣшился поддерживать такую явную неглупицу! Наконецъ натура взяла свое:—въ 1840 г. Д. В. Григоровичъ вышелъ изъ училища и переселился на житье въ академію, гдѣ нанялъ комнатку у смотрителя. Здѣсь, продолжая заниматься художествомъ, Григоровичъ познакомился съ Брюловымъ, съ Шевченкой, а потомъ, случайно познакомившись съ пѣвцомъ Леоновымъ, вышелъ на свое настоящее поприще—литературное. Дѣло въ томъ, что Леоновъ жилъ съ надателемъ „Энциклопедическаго Лексикона“, Плюшаромъ, и вотъ именно знакомство съ Плюшаромъ, по собственному выраженію Д. В. Григоровича, „рѣшило его судьбу“. Плюшаръ издавалъ тогда „Сто одну повѣсть и сорокъ сороковъ анекдотовъ“. Здѣсь-то и удалось будущему писателю помѣстить свои первые переводы и литературныя работы. Кромѣ того въ кружкѣ Плюшара, около котораго, какъ около человѣка капитальнаго и предприимчиваго, вращались въ ту пору всѣ молодые литературныя силы, Дмитрій Васильевичъ сошелся съ сыномъ Н. И. Греча (рано умершимъ талантливымъ юношею) и съ Некрасовымъ, который тогда завѣдывалъ литературнымъ отдѣломъ въ „Литературной Газетѣ“ Краевскаго. Здѣсь же, въ кружкѣ сотрудниковъ „Литературной Газеты“, знакомится онъ и съ чрезвычайно талантливымъ — увѣ! безвременно

погибшимъ — Валерьяномъ Майковымъ, въ которомъ всѣ видѣли преемника Бѣлинскому. Въ „Литературной Газетѣ“ помѣщаетъ Дмитрій Васильевичъ первые свои повѣсти и рассказы: Собачки и Театральная

каре́та, а затѣмъ рядъ фельетоновъ о художественныхъ выставкахъ въ Академіи Художествъ. Вскорѣ послѣ того, когда Некрасовъ оставляетъ „Литературную Газету“ и начинаетъ издавать свои сборники, Д. В.



Д. В. Григоровичъ.

Григоровичъ пишетъ для его Физиологіи Петербурга свои извѣстные очерки Шарманчики и Лотерейный балъ. Мало-помалу начиная пріобрѣтать нѣкоторую литературную извѣстность, молодой писатель однакоже не увлекается ею и, напротивъ

того, все болѣе и болѣе начинаетъ чувствовать отвращеніе къ мелкой журнальной работѣ, вѣроятно сознавая свою способность къ болѣе важному и болѣе серьезному труду. На основаніи этого сознанія, Д. В. Григоровичъ, въ 1846 г., распростился

съ Петербургомъ и уѣхалъ въ деревню. Здѣсь написалъ онъ первое литературное произведение — повѣсть „Деревня“, вполне достойное его пера. Велерьянъ Майковъ очень остался доволенъ повѣстью Д. В. Григоровича, и пристроилъ ее въ „Отечественныхъ Запискахъ“ Краевского (декабрь, 1846 г.), такъ какъ только-что начинавшійся Современникъ не рѣшился напечатать этой новой повѣсти, въ которой молодой авторъ слишкомъ глубоко заглядывалъ въ омутъ нашего крѣпостного быта и безъ прикрасъ вскрывалъ язвы народа. Бѣлинскій, со свойственнымъ ему художественнымъ чутьемъ, далъ самый сочувственный отзывъ о „Деревнѣ“, и угадалъ въ начинающемъ авторѣ несомнѣнный талантъ. Это сильно ободрило Дмитрія Васильевича, который сталъ еще ближе присматриваться къ народу и, въ теченіи періода между 1847—1855 гг., напечаталъ, одно за другимъ, вѣскольکو крупныхъ литературныхъ произведеній. Здѣсь были написаны: „Антонъ Горемыка“, „Бобыль“, „Недолгое богатство“, „Четыре времени года“, „Проселочныя дороги“, „Неудавшаяся жизнь“, „Прохожіе Рыбаки“, „Пахарь“, „Переселенцы“. Плодовитый авторъ и въ послѣдующее пятилѣтіе точно также не переставалъ писать, не прекладывая пера, и почти каждый годъ, въ нашихъ толстыхъ журналахъ 50-хъ годовъ, появлялось по вѣскольکو очерковъ и повѣстей Д. В. Григоровича; всѣ они читались съ большимъ интересомъ и большая часть ихъ пользовалась въ средѣ нашего образованнаго общества вполне заслуженнымъ успѣхомъ. Многіе изъ рассказовъ Григоровича сдѣлались даже классическимъ матеріаломъ для чтенія въ школахъ и проникли въ народъ (напр. „Прохожіе“).

Не вдаваясь въ подробный разборъ литературной дѣятельности Д. В. Григоровича, мы замѣтимъ только, что его главною, выдающеюся заслугой было то, что онъ первый рѣшился выйти на трудный путь изученія народа, первый рѣшился въ ли-

тературѣ заговорить о народѣ, о его нуждахъ, его добродѣтеляхъ и недостаткахъ, его безчисленныхъ бѣдствіяхъ и страданіяхъ. Его успѣхъ и примѣръ увлекли вслѣдъ за нимъ многихъ, и ближайшимъ продолжателемъ дѣла, начатаго Д. В. Григоровичемъ, явился самъ И. С. Тургеневъ. въ цѣломъ рядѣ своихъ высокохудожественныхъ „Рассказовъ охотника“.

1858 годъ можно считать весьма важнымъ годомъ въ литературной дѣятельности Д. В. Григоровича. Онъ былъ вызванъ изъ своего захолустья, оторванъ отъ своего „малаго коноплянника“ и приглашенъ Морскимъ Министерствомъ отправиться на годъ въ Средиземное море на кораблѣ „Ретвизанъ“. Результатомъ годового плаванія была цѣлая книга живыхъ, занимательныхъ, легко-читающихся очерковъ, знакомящихъ съ любопытнымъ путешествіемъ автора по островамъ и побережьямъ Средиземнаго моря.

Очерки эти выходили въ свѣтъ сначала въ „Морскомъ Сборникѣ“, а потомъ собраны были авторомъ въ одну книгу, подъ общимъ заглавіемъ „Корабль Ретвизанъ—годъ въ Европѣ и на Европейскихъ моряхъ“. Но едва-ли читателямъ этой интересной книги приходило въ голову, что она была „лебединою пѣсней“ Д. В. Григоровича. Послѣ возвращенія своего изъ заграничнаго плаванія, онъ подарилъ публикѣ всего двумя-тремя рассказами, и круто повернулъ на другое поприще, къ которому смолodu чувствовалъ такое сильное влеченіе: — онъ окончательно посвятилъ себя художествамъ, и въ качествѣ секретаря Общества Поощренія Художниковъ, въ значительной степени способствовалъ учрежденію и пополненію существующаго при Обществѣ музея ¹⁾. Труды, сопряженные съ этою новою дѣятельностью, способствовали тому, что онъ уже возвращался къ литературѣ лишь изрѣдка, почти случайно.

Повѣсти и рассказы Григоровича, составившіе 8 толстыхъ томовъ, успѣли уже выдержать три изданія.

¹⁾ Въ 1863 г. Д. В. Григоровичъ избранъ былъ секретаремъ Общества Поощренія Художниковъ и съ тѣхъ поръ, въ теченіи 20 лѣтъ, съ рѣдкимъ безкорыстіемъ, неутомимо работалъ на пользу русскаго искусства, которому и успѣлъ оказать несомнѣнные услуги.

Графъ Левъ Николаевичъ Толстой род. (1828 г., 23 августа) въ селѣ Ясная Поляна (Тульской губ., Крапивненскаго уѣзда), родовомъ имѣніи его матери. Отецъ его, отставной подполковникъ, участвовавшій въ кампаніяхъ 1812 и 1813 годовъ, графъ Николай Ильичъ Толстой, происходилъ по прямой линіи отъ графа Петра Андреевича, сподвижника Петра Великаго. Мать Льва Николаевича — урожденная княжна Марья Николаевна Волконская, единственная дочь князя Николая Сергѣевича Волконскаго.

Мать графа Льва Николаевича Толстого умерла въ 1830 г., когда ему не было еще и двухъ лѣтъ. Воспитаніемъ его, также какъ и трехъ его старшихъ братьевъ — Николая, Сергѣя и Дмитрія, и младшей сестры Марьи, послѣ смерти матери, занималась дальняя родственница молодыхъ графовъ — дѣвица Татьяна Александровна Ергольская, о которой въ семьѣ графовъ Толстыхъ сохранилось самое теплое воспоминаніе. Т. А. Ергольская издавна была тѣсно связана съ семьей Толстыхъ тѣмъ, что и сама сиротою выросла и воспиталась въ домѣ дѣда Толстыхъ, графа Ильи Андреевича Толстого.

Въ 1837 г. все семейство Толстыхъ, до тѣхъ поръ бевыѣздно жившее въ деревнѣ, переѣхало въ Москву, такъ какъ старшему сыну предстояло поступленіе въ университетъ. Воспитателями дѣтей въ это время были — нѣмецъ Федоръ Ивановичъ Рессель, а по переѣздѣ въ Москву — французъ Просперъ Сень-Тома. Кажется, что именно ихъ и описалъ графъ Л. Толстой въ „Дѣтствѣ“ и „Отрочествѣ“.

Первые уроки русскаго и французскаго языковъ были преподаны Л. Н. Толстому Т. А. Ергольской и тѣкою его (родной сестрой отца), графиней Александрой Ильининой Остенъ-Сакенъ, жившею въ домѣ брата. Въ Москвѣ, кромѣ вышепомянутыхъ гувернёровъ, въ семью Толстыхъ стали ходить учителя, и ученіе шло довольно правильно.

Въ 1837 г. лѣтомъ скоростизно умеръ отецъ Льва Николаевича. Дѣла оказались сильно запутанными, и опекушею надъ дѣтми назначена была воспитывавшая ихъ тетка, графиня А. И. Остенъ-Сакенъ. Ради сокращенія расходовъ, рѣшено было двухъ

старшихъ сыновей оставить въ Москвѣ, а меньшихъ (Дмитрія, Льва и Марію съ Т. А. Ергольской) перевести въ деревню. Тутъ ученіе дѣтей пошло не совсѣмъ ладно: учителями дѣтей являлись то нѣмцы-гувернёры, то русскіе семинаристы, и какъ тѣ, такъ и другіе не по-долгу заживались въ домѣ.

Въ 1840 г. опекуша семьи Толстыхъ, графиня А. И. Остенъ-Сакенъ, скончалась и опека перешла къ другой родной теткѣ (также сестрѣ отца), Пелагеѣ Ильининой Юшковой, жившей съ мужемъ въ Казани. Для большаго удобства наблюденія за воспитаніемъ молодыхъ графовъ, П. И. Юшкова перевезла (въ 1841 г.) все семейство Толстыхъ въ Казань, и даже старшій братъ ихъ, Николай, по ея желанію, перешелъ изъ Московскаго университета въ Казанскій.

Въ Казани меньшіе братья продолжали домашнюю подготовку къ университету, и изъ нихъ Сергѣй и Дмитрій поступили въ 1842 г. на математическій факультетъ, на которомъ и окончили полный курсъ наукъ. Графъ Левъ Николаевичъ, годомъ позже, поступилъ (въ 1843 г.) на факультетъ восточныхъ языковъ, но пробылъ на немъ только годъ, и затѣмъ перешелъ на факультетъ юридическій. Здѣсь пробылъ онъ два года и собирався переходить въ третій курсъ, въ то время, когда его братья приступали къ выпускнымъ экзаменамъ. Но когда братья окончили экзамены и стали собираться въ деревню, графъ Л. Н. Толстой вдругъ рѣшился бросить университетъ и выйти изъ него до окончанія курса. Напрасно уговаривали его ректоръ и нѣкоторые изъ профессоровъ — рѣшеніе было принято, и 18-ти-лѣтній юноша уѣхалъ съ братьями изъ Казани въ Ясную Поляну, доставшуюся ему по раздѣлу изъ отцовскаго имѣнія. Здѣсь прожилъ онъ почти бевыѣздно до 1851 г., лишь изрѣдка заглядывая въ Москву и Петербургъ.

Мы рѣшительно не знаемъ, писалъ-ли въ это время графъ Л. Толстой и какая участь постигла его первые опыты? Не знаемъ также и въ какомъ возрастѣ впервые явилось у него желаніе писать? Достоверно можемъ утверждать только то, что окончательный толчокъ его литературному таланту данъ былъ живыми и сильными впечатлѣніями кавказской жизни и природы.

Въ 1851 г. любимый братъ графа Л. Н. Толстого—Николай, служившій на Кавказѣ, пріѣхалъ въ отпускъ, и пробылъ нѣкоторое время въ деревнѣ. Вѣроятно онъ и возбуждилъ въ своемъ юномъ братѣ желаніе ви-

дѣть новый край и новыхъ людей. Желаніе пожить съ любимымъ братомъ въ странѣ, прославленной нашими поэтами, превозмогло надъ всякими другими соображеніями, и графъ Левъ Николаевичъ уѣхалъ изъ



Графъ Л. Н. Толстой.

нѣнья на Кавказъ. Впечатлѣнія величавой природы и новизна пестрой, оригинальной, полудикой жизни до такой степени пришлись по вкусу молодому графу, что онъ, въ томъ же 1851 г., поступилъ на службу

юнкеромъ въ ту же батарею, въ которой служилъ его братъ (въ 4-ую батарею 20-й артиллерійской бригады); батарея стояла на Терекѣ, въ станицѣ Старогладовской.

Здѣсь-то, на Кавказѣ, графъ Л. Н. Толстой въ первый разъ началъ писать въ романической формѣ. Сначала задумалъ онъ написать большой романъ изъ своихъ семейныхъ воспоминаній и преданій; изъ начала этого романа составились послѣдствіи „Дѣтство“, „Отрочество“ и „Юность“. Въ 1852 г. Дѣтство было закончено и послано въ „Современникъ“. На Кавказѣ же было написано „Отрочество“, рядъ превосходныхъ очерковъ кавказской военной жизни, подъ заглавіемъ „Набѣгъ“, „Рубка гѣса“ и кавказская повѣсть „Казани“ (явившаяся въ печати гораздо позднѣе).

Вѣроятно, во времени пребыванія на Кавказѣ относится и слѣдующая біографическая подробность, рассказанная графомъ покойному Погодину и весьма ярко обрисовывающая намъ нѣкоторыя стороны характера молодого графа.

„Проправившись (въ юности) въ карты, графъ Л. Н. передалъ зятю свое имѣніе, съ тѣмъ, чтобы онъ изъ доходовъ уплачивалъ его долги, и присылалъ на содержаніе ему только 500 р. сер. въ годъ. Въсѣтъ съ тѣмъ, графъ далъ ему слово не играть болѣе въ карты. Но на Кавказѣ графъ не выдержалъ; снова сталъ играть—проигралъ все, что у него было, и, сверхъ того, задолжалъ 500 р. сер. по векселю нѣкому К., который его обыгралъ. Срокъ уплаты по векселю подходилъ, а денегъ для уплаты у графа Л. Н. не было; да и зятю-то писать онъ не смѣлъ,... и былъ въ отчаяніи. Жилъ онъ тогда въ Тифлисѣ, гдѣ держалъ юнкерскій экзаменъ. Онъ не спалъ ночей, мучился, обдумывалъ, что ему дѣлать, и вспомнилъ о молитвѣ и силѣ вѣры. Онъ сталъ молиться отъ глубины души, считая свою молитву испытаніемъ силы вѣры; молился, какъ молятся юноши, и легъ спать какъ будто успокоенный... Поутру, лишь только онъ проснулся, подають ему пакетъ отъ брата изъ Чечни. Первое, что онъ увидѣлъ въ пакетѣ — былъ его разорванный вексель. Братъ писалъ къ нему: „Садо (мой кунакъ ¹⁾), молодой малый, чеченецъ, прогнѣ) обыгралъ Кн., выигралъ твой вексель, привезъ ко мнѣ, и ни за что не хочеть братъ съ тебя денегъ“.

На Кавказѣ гр. Л. Н. Толстой пробылъ съ 1851 по 1853 годъ, ежегодно участвуя въ зимнихъ экспедиціяхъ и вынося, наравнѣ съ простыми солдатами, всѣ тягости строевой службы въ походѣ. Здѣсь-то и научился онъ рисовать съ такою удивительною силою и правдою типы русскихъ солдатъ, которыми переполнены его „Военные рассказы“. Въ 1853 г., едва началась Восточная война, графъ, по его собственной просьбѣ, былъ переведенъ въ Дунайскую армию и, назначенный въ штабъ князя М. Д. Горчакова, участвовалъ въ кампаніи 1854 года.

По отступленіи нашей арміи изъ княжества, графъ перешелъ въ Севастополь и, продолжая служить въ легкой артиллеріи, участвовалъ въ оборонѣ Севастополя. Въ маѣ 1855 г. онъ былъ назначенъ командиромъ горнаго дивизіона, принималъ участіе въ сраженіи при Черной (4 августа), былъ при штурмѣ Севастополя, и послѣ штурма отправленъ курьеромъ въ С.-Петербургъ, гдѣ и причисленъ къ ракетной батарее.

Въ этотъ періодъ, между 1853 и 1855 гг., были написаны: „Севастополь въ декабрѣ“ и „Севастополь въ маѣ“.

По окончаніи кампаніи, въ 1855 г., гр. Л. Н. Толстой вышелъ въ отставку и жилъ зимою въ Петербургѣ и Москвѣ, а лѣтомъ — въ Ясной Полянѣ. Этотъ періодъ былъ наиболѣе плодотворнымъ въ его литературной дѣятельности; въ журналахъ за это время, то и дѣло, появлялись его повѣсти и рассказы: „Юность“, „Севастополь въ августѣ“, „Два гусара“, „Три смерти“, „Семейное счастье“, „Поликушка“ — были написаны и напечатаны за это время. Талантъ графа Л. Н. Толстого, повидимому, вполне опредѣлился и литературная извѣстность его упрочилась на столько, что въ глазахъ образованнѣйшей части русской публики молодой авторъ занялъ почетное мѣсто въ плядѣ любимыхъ русскихъ писателей 60-хъ годовъ, рядомъ съ Тургеневымъ, Гончаровымъ, Островскимъ, Григоровичемъ и Писемскимъ. Но занятія литературою далеко не поглощали всей дѣятельности графа Л. Н. Толстого: имъ, видимо, посвящали онъ

¹⁾ Въ кавказскомъ разговорномъ языкѣ, тоже, что пріятель.

только свои досуги. Новые вѣянія дали себя почувствовать въ нашемъ обществѣ, поднялись новые и мудреные вопросы, потребовались новые люди, новыя силы... Графъ Л. Н. Толстой, смолodu близко стоявшій къ народу, понялъ это и ясно опредѣлилъ себѣ свою задачу. Въ то время, когда комиссіи, созванныя по крестьянскому дѣлу, работали надъ освобожденіемъ крестьянъ, графъ Л. Н. Толстой занялся серьезно вопросомъ о нашей, тогда еще несуществовавшей народной школѣ, и сталъ изучать ее и въ теоріи, и на практикѣ. Кажется, въ связи съ этимъ изученіемъ школьнаго вопроса стоятъ и двѣ побѣдки графа за границу, совершанныя имъ между 1855—1861 гг.?

Послѣ 19^{го} февраля 1861 года графъ Л. Н. Толстой, въ числѣ очень немногихъ русскихъ помѣщиковъ, рѣшился безвыѣздно поселиться въ своей Ясной Полянѣ и съ тѣхъ поръ долго жилъ въ деревнѣ. Глубоко сознавая свой долгъ по отношенію къ народу, графъ былъ (въ первое время послѣ освобожденія крестьянъ) мировымъ посредникомъ, ревностно занимался народными школами и даже сталъ издавать весьма оригинальный педагогическій журналъ, подъ названіемъ „Ясная Поляна“.

Въ этомъ журналѣ онъ началъ проводить своеобразные взгляды на народное образованіе, на потребности народнаго обученія и на школьный бытъ. Рядомъ съ этими взглядами графъ впервые рѣшился высказать нѣкоторыя сомнѣнія насчетъ того, чтѣ вообще привыкли разумѣть подъ названіями — образованности, цивилизаціи, прогресса и т. п. Вопросы поднималъ графъ Л. Н. Толстой смѣло, ставилъ рѣзко, доказывалъ иногда нѣсколько парадоксально, но доводы его бывали и сильны, и вѣсны.

Одинъ изъ нашихъ журналистовъ такъ разсказываетъ о своемъ знакомствѣ съ графомъ Л. Н. Толстымъ именно въ эту пору его дѣятельности:

„Въ 1862 г. я съ нимъ познакомился въ Москвѣ. Передо мною былъ высокій, широкоплечій, съ тонкой таліей человѣкъ, лѣтъ 35, въ усахъ, безъ бороды, съ серьезнымъ, даже нѣсколько мрачнымъ выраженіемъ лица, которое, впрочемъ, принимало

оттѣнокъ добродушія, когда онъ смѣялся. Разговоръ зашелъ о событіяхъ, которыми такъ полна была русская жизнь того времени. Графъ Толстой тотчасъ же обнаружилъ, что онъ живетъ внѣ этой жизни, что ему чужды интересы того слоя, который считаетъ себя образованнымъ. Онъ явился противникомъ прогресса, который, по его мнѣнію, выгоденъ только для небольшой части общества, наименѣ занятой, и составляетъ положительное зло для большинства, для народа, для котораго онъ тѣмъ невыгоднѣе, чѣмъ выгоднѣе онъ для образованнаго меньшинства“. „Присутствованіе горячо съ нимъ спорили; онъ самъ то увлеклся, то начиналъ пронизывать; я больше слушалъ, чѣмъ говорилъ. Въ то время, когда всѣ бредили прогрессомъ, такая оригинальная смѣлость мысли меня поразила и я чувствовалъ невольную симпатію къ этому новому Руссо, который началъ противопоставлять благамъ цивилизаціи — блага природы: лѣса, дичь, рѣку, физическое развитіе, чистоту нравовъ и т. п. Кабалось, что этотъ человѣкъ живетъ жизнью народа, его взглядами, что онъ преданъ народному благосостоянію всѣми силами своей души, хотя и понимаетъ его иначе, чѣмъ другіе. Доказательство — его школа, эти мальчики, о которыхъ онъ говорилъ съ явкою любовью, выхваляя ихъ даровитость, понятливость, ихъ художественное чувство, ихъ нравственную чѣстность, до которой далеко дѣламъ другихъ сословій...“

Вскорѣ послѣ описываемыхъ журнальных споровъ, графъ Л. Н. Толстой женился (въ 1862 г.) на Софьѣ Андреевнѣ Берсъ¹⁾, происходившей (по матери) изъ семьи Исленьевыхъ, которая была въ тѣсной и давнишней дружбѣ съ родителями графа Толстого. Исленьевы принадлежали большому селу Красное, неподалеку отъ Ясной Поляны. Дѣти Исленьева были первыми друзьями и деревенскими посѣтителями семейства Толстыхъ.

Женившись, графъ Л. Н. Толстой вполне посвятилъ себя семейной жизни, которая постоянно была для него идеаломъ, и еще болѣе предавался сельской идилліи. Многие лѣтъ сряду не появлялись ни гдѣ его про-

¹⁾ Отецъ Софьи Андреевны, — Андрей Евстафьевичъ Берсъ, докторъ, москвитинъ по рожденію и воспитанникъ Московскаго университета. Мать — Любовь Александровна, урожденная Исленьева.

изведенія, и только въ концѣ 60-хъ годовъ графъ Л. Н. Толстой сталъ печатать въ „Русскомъ Вѣстникѣ“ свой новый и большой романъ „Война и миръ“, въ которомъ съ изумительнымъ мастерствомъ набросалъ широкую и превосходную картину эпохи войнъ Россіи съ Наполеономъ и Отечествен- ной войны. Успѣхъ романа былъ необычай- ный: имъ зачитывались и покупали его на- расхватъ. Одинъ изъ критиковъ, говоря объ этомъ романѣ, подмѣчаетъ очень вѣрно нѣ- которые его особенности: „Замѣчательно“, говоритъ онъ, „что во всѣхъ произведе- нияхъ графа Л. Н. Толстого до „Войны и мира“ не было ни одной рельефной жен- ской фигуры, а тутъ ихъ явилась цѣлая плеяда, удивительно тонко, психически- вѣрно и красиво очерченныхъ. Богатство и разнообразіе мужскихъ фигуръ, великолѣп- ныя описанія сраженій, цѣлая масса чу- десно-нарисованныхъ сценъ, въ которыхъ являются лица всѣхъ положеній въ обще- ствѣ, начиная съ императоровъ и кончая мужиками и бабами, — дѣлаютъ это прои- зведеніе однимъ изъ лучшихъ украшеній на- шей словесности“. Дѣйствительно, со вре- мени появленія въ свѣтъ этого произведе- нія, авторъ „Войны и мира“ занялъ такое высокое и выдающееся положеніе въ на- шемъ литературномъ мірѣ, какого до него не занималъ ни одинъ изъ нашихъ авто- ровъ, кромѣ Пушкина. Всѣ съ нетерпѣ- ніемъ ожидали отъ графа Л. Н. Толстого новыхъ и новыхъ произведеній; но онъ не спѣшилъ ихъ выдавать въ свѣтъ, предав- шись снова педагогикѣ народной сельской школы и то печатая азбуки, то книги для чтенія для народныхъ школъ. Нельзя не отмѣтить и еще одного важнаго біогра- фическаго факта:—въ 1873 г. графъ Л. Н. Толстой напечаталъ въ Московскихъ Вѣдомостяхъ письмо о самарскомъ голодѣ. Слухи объ этомъ голодѣ ходили и прежде, являлись о немъ корреспонденціи, но имъ никто не придавалъ особеннаго значенія, а со стороны мѣстной администра- ціи приняты были всѣ мѣры къ тому, чтобы страшная истина не проникла въ печать. „Но письмо нашего писателя было такого рода, что произвело огромное впечатлѣніе. Безъ фразъ, безъ риторства, оно говорило ужасающими фактами. Графъ Левъ Нико- лаевичъ былъ самъ на мѣстѣ, обошелъ

крестьянскіе дворы, коротко записалъ, что видѣлъ, и этотъ перечень говорилъ о без- выходномъ положеніи крестьянъ“. Помощь была оказана и правительствомъ, и обще- ствомъ—быстрая и дѣятельная...

Только въ 1875 г. стали (опять въ „Рус- скомъ Вѣстникѣ“) появляться первыя главы новаго романа графа Л. Н. Толстого, подъ заглавіемъ „Анна Каренина“. Въ этомъ про- изведеніи своемъ онъ, съ особенною лю- бовью, провелъ рѣзкую противоположность между пустотою свѣтской жизни съ ея ми- шурнымъ блескомъ, шумомъ и суетою — и между тихими, чистыми радостями спокой- ной жизни человѣка, „крѣпкаго землѣ“, жи- вущаго среди природы и семьи.

Въ слѣдующіе 5 — 6 лѣтъ, послѣ выхода въ свѣтъ „Анны Карениной“, въ литера- турныхъ кружкахъ было много толковъ о томъ, что графъ Л. Н. Толстой собираетъ матеріалы для новаго большаго историче- скаго романа, который долженъ служить какъ-бы продолженіемъ романа „Война и миръ“, и въ которомъ главными дѣйствующими лицами должны явиться декабри- сты. Токли эти, кажется, имѣли нѣкоторое основаніе, такъ какъ одинъ отрывокъ изъ этого романа былъ напечатанъ въ сборникѣ „Складчина“. Но событія, глубоко поколе- бавшія русскую общественную жизнь въ 70-хъ годахъ, повиднмому, нашли себѣ отголосокъ и въ такой крѣпкой натурѣ, какъ графъ Левъ Николаевичъ—пронikli и въ заколдованный міръ его ясно-полян- скаго уголка, такъ старательно ограждае- маго отъ волнъ „моря житейскаго“. Въ виду того общаго колебанія, той общей шат- ности, которая такъ быстро, такъ стремни- тельно стала распространяться въ образо- ванныхъ кружкахъ нашего общества, смуща- ющая молодежь и подрывая основы вѣры и нравственности—графъ Л. Н. Толстой за- дался идеей о необходимости принятія за разработку чисто-религіозныхъ и нравствен- ныхъ вопросовъ, въ ихъ примѣненіи къ жизни. Подъ вліяніемъ этой идеи онъ со- вершенно отказался отъ литературной дѣ- ятельности и даже отрекся отъ своего ли- тературнаго прошлаго. Въ послѣдніе годы онъ писалъ только небольшіе духовно-нав- ственные рассказы для народнаго чтенія, и падалъ въ свѣтъ драму изъ народнаго быта „Власть тьмы“.

Феодоръ Михайловичъ Достоевскій родился въ 1822 году, въ Москвѣ. Отецъ его былъ докторъ. Рости пришлось нашему писателю въ большомъ семействѣ. Должно предполагать, что въ семьѣ существовала такая обстановка, которая могла способствовать въ ребенкѣ развитію задатковъ его будущей дѣятельности. Не одинъ Феодоръ Михайловичъ вышелъ изъ своей семьи съ писательскими наклонностями. Въмѣстѣ съ нимъ росъ и старшій братъ его, Михаилъ Михайловичъ, извѣстный впоследствии литераторъ и талантливый переводчикъ Шиллера и Гёте, издатель журналовъ *Время* и *Эпоха*.

Мальчикъ росъ худымъ и блѣднымъ; натура у него была чрезвычайно нервная и впечатлительная до болѣзненности, даже съ нѣкоторою склонностью къ галлюцинаціямъ. Прелестный рассказъ объ одной изъ подобныхъ галлюцинацій самъ Феодоръ Михайловичъ передаетъ въ своемъ *Дневникѣ Писателя* („Мужикъ Марей“ 1876, стр. 41—42); и хотя онъ замѣчаетъ въ этомъ рассказѣ, что галлюцинаціи потомъ, съ дѣтствомъ, прошли, но мы полагаемъ, что болѣзненная нервность осталась навсегда одною изъ господствующихъ сторонъ его натуры, и даже выразилась впоследствии, подъ вліяніемъ неблагоприятныхъ условій жизни, страшнымъ недугомъ, не покидавшимъ Феодора Михайловича до конца жизни.

Въ дѣтствѣ Феодора Михайловича, видимо, не было недостатка въ такихъ впечатлѣніяхъ, которыя могли благопріятствовать его развитію, и даже развитію многостороннему. Доступны были ребенку и впечатлѣнія природы, въ которой особенно сильнымъ казался Феодору Михайловичу нашъ сѣверный, березовый лѣсъ. Онъ самъ говорить, вспоминая о своемъ дѣтствѣ: „ничего въ жизни я такъ не любилъ, какъ лѣсъ съ его грибами и дикими ягодами, съ его букашками и птичками, ежиками и бѣлками, съ его столь любимымъ мною сырымъ запахомъ перелѣвшихъ листьевъ. И теперь даже, когда я пишу это, мнѣ такъ и слышался запахъ нашего деревенскаго березника: впечатлѣнія эти остаются на всю жизнь“.

Не было у ребенка недостатка и въ книгахъ. Въ 12 лѣтъ Феодоръ Михайловичъ уже успѣлъ прочесть почти всего Вальтеръ-Скот-

та, Купера; прочелъ и нѣкоторыхъ русскихъ писателей; знаетъ навѣрно, что прочелъ „Исторію Государства Россійскаго“ Карамзина. Получивъ первоначальное воспитаніе дома, въ Москвѣ, Ф. М. Достоевскій былъ привезенъ въ С.-Петербургъ и, 15-лѣтнимъ юношей, опредѣленъ въ 1837 г. въ главное Инженерное училище. Въмѣстѣ съ нимъ вступилъ въ училище и братъ его, Михаилъ Михайловичъ. Здѣсь, въ средѣ товарищей своихъ, онъ засталъ сильно-развитую любовь къ литературѣ, къ которой вообще воспитанники военно-учебныхъ заведеній николаевскаго времени питали большое пристрастіе; здѣсь-же, въ стѣнахъ училища, встрѣтилъ онъ и нѣсколько такихъ людей, съ которыми его связи не порывались до конца жизни. Въ числѣ его товарищей былъ между прочимъ и другой будущій русскій литераторъ—Д. В. Григоровичъ.

Самъ Феодоръ Михайловичъ съ особеннымъ чувствомъ вспоминаетъ, въ этомъ періодѣ своей жизни, о встрѣчѣ съ Иваномъ Николаевичемъ Шидловскимъ. Этому образованному и талантливому человѣку Феодоръ Михайловичъ былъ въ значительной степени обязанъ своимъ литературнымъ развитіемъ. Нельзя не отмѣтить еще и того весьма существеннаго біографическаго факта, что, не смотря на возрастающую въ юношѣ-кадетѣ страсть къ литературѣ и изученію исторіи, онъ, однакоже, прекрасно учился и математическимъ наукамъ, и курсъ въ Инженерномъ училищѣ закончилъ блистательно: былъ выпущенъ третьимъ изъ 30 воспитанниковъ, достигнувшихъ старшаго класса.

Не мѣшаетъ замѣтить, что Феодоръ Михайловичъ, окончивъ курсъ въ училищѣ, вступилъ въ жизнь сиротою: спустя годъ по вступленіе въ училище, братья Достоевскіе лишились въ короткій промежутокъ времени и отца, и матери. Это сиротство еще болѣе сблизило Феодора Михайловича съ его братомъ Михаиломъ Михайловичемъ и связало ихъ узми такой дружбы, которая въ дальнѣйшемъ теченіи жизни способна была выдержать всякія испытанія.

Каждому, окончившему трудный курсъ Инженернаго училища, въ то отдаленное время, открывалась хорошая служебная карьера Слѣдующаго, машиннаго, общему потоку, и Феодоръ Михайловичъ также поступилъ

на службу въ Петербургъ, въ инженерный департаментъ. Но служба прилась не по-нутру юношѣ: ему хотѣлось дѣятельной роли, въ которой бы онъ могъ приносить

дѣйствительную пользу окружающимъ, а служить спустя рукава, аккуратно посѣщая департаментъ — онъ никакъ не могъ. Онъ чувствовалъ въ себѣ иное, хотя еще и весьма



Д. Лавинский

неопредѣленное призваніе, и, прослуживъ годъ, самъ не зная почему — вышелъ въ отставку.

Въ какомъ состояніи находилась въ ту пору душа поэта, это лучше всякихъ нашихъ словъ можетъ пояснить намъ тотъ авто-

биографическій отрывокъ ¹⁾, въ которомъ самъ Феодоръ Михайловичъ рассказываетъ о своемъ первомъ знакомствѣ съ Некрасовымъ и Бѣлинскимъ.

„Я жилъ въ Петербургѣ; уже годъ какъ вышелъ въ отставку изъ инженеровъ, самъ не зная зачѣмъ, съ самыми неясными и неопредѣленными цѣлями. Былъ май мѣсяцъ 1845 года. Вначалѣ зимы я началъ вдругъ „Бѣдныхъ людей“ — мою первую повѣсть, до тѣхъ поръ еще ничего не писавши. Кончивъ повѣсть, я не зналъ, какъ съ ней быть и кому отдать. Литературныхъ знакомствъ я не имѣлъ совершенно никакихъ, кромѣ развѣ Д. В. Григоровича, но тотъ и самъ еще ничего тогда не писалъ, кромѣ одной маленькой статейки „Петербургскіе шармашики“ въ одинъ сборникъ. Кажется, онъ тогда собирался уѣхать на лѣто къ себѣ въ деревню, а пока жилъ въ которое время у Некрасова. Зайдя ко мнѣ, онъ сказалъ: „принесите рукопись“ (самъ онъ еще не читалъ ее: „Некрасовъ хочетъ къ будущему году сборникъ издать, я ему покажу“. Я снесъ, видѣлъ Некрасова минутку; мы подали другъ другу руки. Я сконфузился отъ мысли, что пришелъ со своимъ сочиненіемъ и поскорѣе ушелъ, не сказавъ съ Некрасовымъ почти ни слова. Я мало думалъ объ успѣхѣ, а этой „партии Отечественныхъ Записокъ“, какъ говорили тогда, я боялся. Бѣлинскаго я читалъ уже нѣсколько лѣтъ съ увлеченіемъ, но онъ мнѣ казался грознымъ и страшнымъ. „И осмѣетъ же онъ моихъ Бѣдныхъ людей!“ — думалось мнѣ иногда. Но лишь иногда писалъ я нѣкъ съ страстью, почти со слезами... „Неужто все это, всѣ эти минуты, которыя я пережилъ съ перомъ въ рукахъ надъ этой повѣстью, — все это ложь, миражъ, невѣрное чувство?“ Но думалъ я такъ, разумѣется, только минутами и минительность немедленно возвращалась.

Вечеромъ того-же дня, какъ я отдалъ рукопись, я пошелъ куда-то далеко, къ одному изъ прежнихъ товарищей; мы всю ночь проговорили съ нимъ о „Мертвыхъ душахъ“ и читали ихъ, въ который разъ — не помню. Тогда это бывало между молодежью; сойдутся двое или трое: „а не почитать ли намъ, господа, Гоголя?“ — садятся и читаютъ, и

пожалуй, всю ночь. Тогда между молодежью весьма и весьма многие какъ-бы чѣмъ-то были проникнуты и какъ-бы чего-то ожидали...

Воротился я домой уже въ четыре часа, въ бѣлую, свѣтлую какъ день петербургскую ночь. Стояло прекрасное теплое время, а, войдя къ себѣ въ квартиру, я спать не легъ, отворилъ окно и сѣлъ у окна. Вдругъ — звонокъ, чрезвычайно меня удивившій, и вотъ Григоровичъ и Некрасовъ бросаются обвинять меня въ совершенномъ восторгѣ, и оба чуть сами не плачутъ. Они напавшій вечеромъ воротились рано домой, взяли мою рукопись и стали читать на пробу: „съ десяти страницъ видно будетъ“. Но, прочтя десять страницъ, рѣшили прочесть еще десять, а затѣмъ, не отрываясь, просидѣли уже всю ночь до утра, читая вслухъ и чередуясь, когда одинъ уставалъ. „Читаетъ онъ про смерть студента“ — передавалъ мнѣ потомъ уже наединѣ Григоровичъ, — „и вдругъ я вижу, въ томъ мѣстѣ, гдѣ отецъ за гробомъ бѣжитъ, у Некрасова голосъ прерывается, разъ и другой, я вдругъ не выдержалъ, стукнулъ ладонью по рукописи: „Ахъ, чтобъ его!“ Это про васъ-то. И такъ мы всю ночь“.

Когда они кончили (семь печатныхъ листовъ), то въ одинъ голосъ рѣшили — идти ко мнѣ немедленно. „Что-жъ такое, что спитъ, мы разбудимъ его — это выше сна!“... „Они пробыли у меня тогда съ полчаса, въ полчаса мы Богъ знаетъ сколько переговорили, съ полслова понимая другъ друга, съ восклицаніями, торопясь; говорили и о поэзіи, и о прозѣ, и о „тогдашнемъ положеніи“, разумѣется и о Гоголѣ, цитую изъ „Ревизора“, изъ „Мертвыхъ душъ“, но, главное, о Бѣлинскомъ“... „Некрасовъ снесъ рукопись Бѣлинскому въ тотъ же день“... „Новый Гоголь явился!“ закричалъ Некрасовъ, входя къ нему съ Бѣдными людьми. — „У васъ Гоголи-то какъ грибы растутъ“, строго замѣтилъ ему Бѣлинскій; въ рукопись взялъ. Когда Некрасовъ опять зашелъ къ нему вечеромъ, то Бѣлинскій встрѣтилъ его „просто въ волненіи“: „приведите, приведите его скорѣе!“

На другой день состоялось свиданіе Феодора Михайловича съ Бѣлинскимъ. „Онъ

¹⁾ „Дневникъ Писателя“ 1877 г., стр. 21 и сл.

заговорилъ со мною пламенно, съ горящими глазами. „Да вы понимаете ли сами-то“, повторялъ онъ мнѣ нѣсколько разъ и вскрикивая по своему обыкновенію, — „что это вы такое написали?... Вы только непосредственнымъ чутьемъ, какъ художникъ, это могли написать, но осмыслили ли вы сами-то всю эту страшную правду, на которую мы вамъ указали? Не можетъ быть, чтобы вы, въ ваши 20 лѣтъ, уже это понимали... Вы до самой сути дѣла дотронулись, самое главное разомъ указали. Мы, публицисты и критики, только разсуждаемъ, мы словами стараемся разъяснить это, а вы, художникъ, одною чертою, разомъ въ образѣ выставили самую суть, чтобы ощупать можно было рукой, чтобы самому неразумяющему читателю стало вдругъ все понятно. Вотъ тайна художественности. Вотъ правда въ искусствѣ! Вотъ служеніе художника истинѣ! Вамъ правда открыта и возвѣщена, какъ художнику, досталась какъ даръ: — цѣните же вашъ даръ и оставайте вѣрными, и будете великимъ писателемъ!“...

„...Я рыснулъ отъ него въ упоеніи. Я остановился на углу его дома, смотрѣлъ на небо, на свѣтлый день, на проходившихъ людей и весь, всѣмъ существомъ своимъ ощущалъ, что въ жизни моей произошелъ торжественный моментъ, переломъ навѣки, что началось что-то совсѣмъ новое, но такое, чего я не предполагалъ тогда даже въ самыхъ страстныхъ мечтахъ моихъ“.

Повѣсть появилась въ печати въ январѣ 1846 года, въ изданномъ Некрасовымъ „Петербургскомъ Сборникѣ“, подъ титуломъ „романа“, хотя потомъ Достоевскій всегда называлъ свое первое произведеніе просто „повѣстью“. Въ „Сборникѣ“ Некрасова имя Ѳ. М. Достоевскаго красовалось съ именами Бѣлинскаго, И. С. Тургенева, Искандера и др.

Выразивъ свое восхищеніе автору, Бѣлинскій и въ печати отзывался о талантѣ Ѳ. М. Достоевскаго самымъ лестнымъ для него образомъ. Критикъ нашъ провозгласилъ, что хотя Достоевскій и многимъ обязанъ Гоголю, какъ Лермонтовъ — Пушкину, но что, тѣмъ не менѣе, онъ самъ по себѣ вовсе не подражатель Гоголя, а талантъ самобытный и громадный. „Онъ началъ такъ“, прибавлялъ Бѣлинскій, „какъ не начиналъ еще ни одинъ изъ русскихъ писателей“...

Увлечшись исполнѣ „Бѣдными людьми“, Бѣлинскій даже пророчествовалъ: „Талантъ г. Достоевскаго принадлежитъ къ разряду тѣхъ, которые постигаются и признаются не вдругъ. Много, въ продолженіи его поприща, явится талантовъ, которыхъ будутъ противопоставлять ему, но кончится тѣмъ, что о нихъ забудутъ именно въ то время, когда онъ достигнетъ апогея своей славы“.

Начатыя связи съ Бѣлинскимъ не прекращались. Подъ влияніемъ нашего критика, Ѳ. М. Достоевскій задумалъ въ тотъ же годъ лѣтомъ, какъ оконченъ былъ „Бѣдные люди“, вторую свою повѣсть: „Двойникъ, приключенія господина Голядина“. Герой разсказа здѣсь также — бѣдный забытый, приниженный чиновникъ. Бѣлинскій съ самымъ живымъ интересомъ отнесся къ этому новому труду молодого писателя. Еще не зная содержанія повѣсти, онъ уже сталъ хлопотать о помѣщеніи ея въ „Отечественныхъ Запискахъ“, гдѣ былъ тогда сотрудникомъ. Черезъ Бѣлинскаго Теодоръ Михайловичъ познакомился съ А. А. Краевскимъ, издававшимъ названный нами журналъ, и обѣщалъ ему отдать свою повѣсть для напечатанія въ первые мѣсяцы 1846 года.

Интересуясь молодымъ талантомъ, Бѣлинскій въ концѣ 1845 г., кажется, въ началѣ декабря, по воспоминаніямъ Теодора Михайловича, устроилъ литературный вечеръ, попросивъ начинающаго писателя прочесть на немъ свою повѣсть. На вечерѣ были друзья и близкіе знакомые Бѣлинскаго и, между прочимъ, И. С. Тургеневъ. Три или четыре прочитанныя главы „Двойника“ понравились Бѣлинскому; похвалилъ ихъ и Тургеневъ. Но самому автору не особенно нравилось его новое произведеніе. Онъ былъ недоволенъ именно формой своей повѣсти. Не смотря на всѣ старанія, Теодоръ Михайловичъ „не оспилилъ“ (по его словамъ) этого произведенія въ 1846 году. Впослѣдствіи, уже пятнадцать лѣтъ спустя, повѣсть, передѣланная и сильно исправленная, была помѣщена въ „Общемъ собраніи сочиненій“ Ѳ. М. Достоевскаго, вышедшемъ въ свѣтъ въ 1860 году.

Въ концѣ же этого столь счастливо начавшагося періода жизни случилась важная катастрофа, сильно подѣлствовавшая на всю позднѣйшую дѣятельность Теодора Михайловича. Въ 1849 г. онъ былъ аресто-

ванъ и посаженъ въ крѣпость, какъ замѣшанный въ тайномъ политическомъ обществѣ. Дѣло это извѣстно подъ именемъ „дѣла Петрашевскаго“. Вмѣстѣ съ Ѳеодоромъ Михайловичемъ былъ арестованъ и старшій братъ его, Михаилъ Михайловичъ, тогда уже женатый человѣкъ, отецъ троихъ дѣтей, изъ которыхъ старшему было всего семь лѣтъ. Арестъ брата въ особенности безпокоилъ Ѳеодора Михайловича. Самъ за себя, какъ человѣкъ одинокій, холостой, онъ нисколько не опасался. Онъ зналъ, что семья брата осталась безъ копѣйки, зналъ и то, что братъ не участвовалъ въ тайно организованномъ обществѣ Петрашевскаго дѣлательно, хотя и пользовался книгами изъ общей бібліотеки, находившейся въ домѣ Петрашевскаго, такъ какъ былъ страстнымъ поклонникомъ Фурье. Но заботы о братѣ скоро исчезли. Спустя два мѣсяца послѣ ареста, братъ его, вмѣстѣ со многими другими, былъ освобожденъ, по волѣ самого покойнаго Императора Николая. Князь Гагаринъ, ведшій слѣдствіе по дѣлу Петрашевскаго, нарочно вызвалъ Ѳеодора Михайловича въ комендантскій домъ, чтобы сообщить радостное извѣстіе о свободѣ брата. Временной арестъ Михаила Михайловича остался для него безъ всякихъ послѣдствій. Великодушіе Государя Императора простерлось до того, что старшаго Достоевскаго даже не выслали, какъ подворительнаго человѣка, изъ Петербурга.

Сидя въ крѣпости и находясь подъ слѣдствіемъ, Ѳеодоръ Михайловичъ написалъ свой прелестный рассказъ „Маленькій герой“.

Изъ слѣдствій и показаній самого Ѳ. М. Достоевскаго выяснилось, что вина его была очень незначительна, и потому, когда, несмотря на то, слѣдствіе кончилось самымъ несчастнымъ для него образомъ и онъ былъ приговоренъ къ смертной казни, вмѣстѣ съ другими участниками кружка, Государю угодно было смягчить приговоръ и замѣнить его другою конфирмаціею: „лишивъ всѣхъ правъ состоянія, сослать въ каторжную работу въ крѣпостяхъ на четыре года и потомъ опредѣлить рядовымъ“.

Ничего незнавшій о помилованіи, Ѳеодоръ Михайловичъ долженъ былъ пережить нѣсколько ужасныхъ часовъ, послѣ которыхъ каторга уже не могла ему показаться страшною.

Ѳеодоръ Михайловичъ, какъ человѣкъ глубоко - религіозный и высоко - нравственный, переносилъ всѣ невзгоды каторги съ замѣчательною твердостью и невозмутимымъ спокойствіемъ. Силы давала ему не только вѣра, подкрѣпленная чтеніемъ Библіи (единственной книги, разрѣшенной ему въ каторгѣ), но и любовь къ „бѣднымъ людямъ“, которой онъ поклялся быть вѣрнымъ до конца. Вотъ почему каторга не только не ожесточила его, а напротивъ заставила еще болѣе любить „все униженное и оскорбленное, все больное и несчастное“, и даже тамъ искать лучшихъ сторонъ человѣческой души, гдѣ, по видимому, не оставалось ужъ и признаковъ человѣческаго образа...

Можно почти сказать, что каторга, навсегда наложивъ печать на Ѳеодора Михайловича, окончательно опредѣлила направление его будущей литературной дѣятельности.

„Послѣ каторги“, такъ рассказываетъ Ѳеодоръ Михайловичъ, „я прямо, по волѣ покойнаго Государя (Николая I), поступилъ въ рядовые и черезъ три года службы былъ произведенъ въ офицеры...“ „Помню, что выйдя въ 1854 г. въ Сибирь изъ острога, я началъ перечитывать всю написанную безъ меня за пять лѣтъ литературу. „Записки Охотника“, едва при мнѣ начавшіяся, и первыя повѣсти Тургенева я прочелъ тогда разомъ, залпомъ. Правда, тогда мною сіяло степное солнце, начиналась весна, а съ ней совѣтъ новая жизнь — конецъ каторги, свобода!“

Страсть къ литературѣ, сдерживаемая долгое время, проснулась съ новою энергіею и силой. Кое-какія мелочи были написаны послѣ освобожденія, еще въ Сибирѣ, но приняться настоящимъ образомъ за литературу Ѳеодоръ Михайловичъ могъ уже только тогда, когда ему разрѣшено было покинуть военную службу и возвратиться въ С.-Петербургъ.

Здѣсь онъ принялъ самое ревностное участіе въ журналѣ „Время“, которое издавалъ его любимый братъ Михаилъ Михайловичъ. Въ 1860 г. вышло первое изданіе „Сочиненій“ Ѳеодора Михайловича, а вскорѣ послѣ того въ журналѣ брата помѣщенъ былъ большой романъ „Униженные и оскорбленные“. Однакоже, наша журнальная критика 60-хъ годовъ, набалованная радостью блестя-

шихъ произведеній Тургенева, Гончарова, Григоровича и Л. Толстого, отнеслась очень холодно къ новому произведенію Ф. М. Достоевскаго. Только Добролюбовъ, не признавая за романистомъ большого таланта, отнесся справедливѣе другихъ къ его новому роману.... Однакоже и самая недоброжелательная критика должна была смолкнуть, когда, немного спустя, явился „Записки изъ Мертваго дома“.... О Ф. М. Достоевскомъ опять заговорили, какъ объ одномъ изъ крупныхъ свѣтилъ нашего литературнаго горизонта... Но испытанія судьбы не оставляли въ покоѣ Феодора Михайловича. Два новыя несчастія, одно вслѣдъ за другимъ, постигли его въ это время. Въ 1863 г. умерла его жена, а въ слѣдующемъ 1864 г. онъ лишился нѣжно любимаго брата. Журналъ „Время“ остался на рукахъ Феодора Михайловича. Неопытный въ издательскомъ дѣлѣ, — такъ-какъ онъ совершенно не вѣшивался въ коммерческую сторону предпріятія при жизни брата, — Ф. М. Достоевскій оказался въ самомъ затруднительномъ положеніи. Ходу изданія вредило и то, что въ публикѣ весьма многие считали умершимъ не Михаила Михайловича, а Феодора Михайловича... Думая, что журналъ лишился своего талантливаго сотрудника, читатели стали относиться къ нему несочувственно.

Постигшія утраты, причинившія не мало горя, и затруднительныя обстоятельства заставили Феодора Михайловича прекратить изданіе журнала „Время“. Бѣда бѣду погоняетъ, говоритъ русская пословица.... Многие изъ „вѣрныхъ“ друзей оказались невѣрными... Этотъ періодъ времени самъ Феодоръ Михайловичъ считаетъ самымъ тяжелымъ для себя.

Найти утѣшеніе во всѣхъ этихъ невзгодахъ можно было только въ трудѣ. Феодоръ Михайловичъ окончательно ушелъ въ себя и неутомимо работалъ надъ новымъ художественнымъ произведеніемъ. Этотъ трудъ „тяжелого“ времени носитъ на себѣ, дѣйствительно, отпечатокъ грусти, отчаянія и вмѣстѣ съ тѣмъ, чего-то примиряющаго со всѣми несчастіями и страданіями. Анализъ характера главнаго героя доведенъ здѣсь до совершенства. Трудъ этотъ — навѣстный романъ „Преступленіе и наказаніе“ — окончательно упрочилъ славу Феодора Михай-

ловича, какъ писателя, способнаго къ тончайшему психическому анализу.

Въ 1867 г. Феодоръ Михайловичъ вторично женился и жилъ за границей четыре года сряду. Здѣсь-то, изъ „прекраснаго далека“, наблюдая за печальными событіями русской общественной жизни, онъ написалъ свои романы „Идіотъ“ и „Бѣсы“, которые, повидимому, были вызваны смутой и общимъ шатаніемъ, вдругъ обувшими нашу жизнь и литературу и такъ губительно отзвѣвавшимися на молодежи.

Феодоръ Михайловичъ хотѣлъ особенно серьезно заняться разборомъ вопроса объ „отцахъ и дѣтихъ“, выяснитъ себѣ отношеніе между поколѣніемъ отживающимъ и поколѣніемъ нарождающимся къ жизни, и, въ этихъ видахъ, почти одновременно принялся за изданіе журнала „Дневникъ Писателя“ и за романъ „Подростокъ“.

„Дневникъ Писателя“ — одно изъ самыхъ крупныхъ литературныхъ явленій послѣдняго времени. Это собственно не журналъ (потому что единственнымъ сотрудникомъ, авторомъ и издателемъ въ немъ былъ самъ Феодоръ Михайловичъ), а скорѣе — обширное сочиненіе о русской современности 1876 и 1877 гг., выходившее періодическими выпусками.

Кажется, ни въ одной литературѣ ничего подобнаго не было. Писатель, самъ отъ себя, минуя другія періодическія изданія, начинаетъ говорить съ публикой обо всемъ, что ему кажется важнымъ... Феодоръ Михайловичъ, окончивъ изданіе „Дневника“, говоритъ на послѣднихъ его страницахъ, что „я вѣдъ издавалъ мой листокъ сколько для другихъ, столько и для себя самого, изъ неудержимой потребности высказаться въ наше любопытное и столь характерное время“.

Еще за нѣсколько времени до появленія въ свѣтъ этого замѣчательнаго изданія, носились въ обществѣ слухи о томъ, что Достоевскій хочетъ издать что-то особенное, что-то въ родѣ своихъ мемуаровъ, записокъ. Первое появленіе январскаго выпуска въ 1876 году было встрѣчено со всѣхъ сторонъ полнымъ сочувствіемъ; всѣ бросились читать. Каждого интересовала дѣль и направленіе листка. Глава первая, озаглавленная: „Вмѣсто предисловія о Большой и Малой Медвѣдицѣ, о молитвѣ великаго

Гёте и вообще о дурныхъ привычкахъ“, должна была открыть, о чемъ авторъ хочетъ говорить въ своемъ „Дневникѣ“. Но это „предисловіе“ ничего не объяснило... Своею нѣкоторою таинственностью оно, однако, завлекло: „Дневникъ“ читали и перечитывали. Въ этомъ своемъ листкѣ Феоdorf Михайловичъ явился уже окончательно публицистомъ; художникъ сказывался иной разъ только въ той формѣ, въ какой онъ проводилъ свои идеи. Автора всецѣло занимають вопросы, волнующіе наше общество, начиная съ самыхъ мелкихъ, быденныхъ, до великихъ, національных, общечеловѣческихъ. Часто взгляды Ф. М. Достоевскаго не подходили вполнѣ къ господствующимъ понятіямъ, но зато никто не могъ заподозрить ихъ въ неискренности... Горючая любовь къ народу, къ Россіи, къ ея славѣ и величію — все это ясно видно на страницахъ „Дневника“. Уже съ первыхъ выпусковъ его всякій почувствовалъ, что писатель не побоятся упрека въ утопизмъ и будетъ говорить прямо, на сколько возможно, о всемъ, что онъ считаетъ благороднымъ, высоко-нравственнымъ. „Я несправедливый идеалистъ, — такъ рекомендуетъ себя Ф. М. Достоевскій въ одномъ мѣстѣ своего „Дневника“, — я ищу святыхъ, я люблю ихъ, мое сердце ихъ жаждетъ, потому что я такъ созданъ, что не могу жить безъ святыхъ...“

Выступивъ въ своемъ „Дневникѣ“ съ простою цѣлью высказаться, писатель вдругъ увидѣлъ настоятельную необходимость явиться для многихъ совѣтникомъ, учителемъ... Симпатичность его идей, чистосердечное отношеніе къ серьезнымъ вопросамъ жизни, часто новая точка зрѣнія, даже иной разъ нѣкоторая „утопичность“ — все это сильно подѣйствовало, въ особенности, на нашу молодежь. Въ обществѣ ходить по этому поводу множество разсказовъ, да и самъ Ф. М. Достоевскій упоминаетъ въ своемъ „Дневникѣ“ о томъ, что къ нему прямо обращались за совѣтомъ весьма часто совершенно незнакомые ему юноши, присылая письма о такихъ вещахъ, о какихъ не пишутъ людямъ малоизвѣстнымъ. Всѣхъ, кто обращался за совѣтомъ, а иной разъ даже прямо за утѣшеніемъ разъясненіемъ, тянуло къ нему простое, открытое, искреннее направленіе „Дневника“. Вообще „Днев-

никъ Писателя“ представляется весьма крупнымъ и важнымъ по своему значенію явленіемъ нашей общественной жизни 70-хъ годовъ.

Въ концѣ 1877 года Ф. М. прекратилъ изданіе „Дневника“, обѣщая возобновить его „со временемъ“; почти въ то-же время сталъ онъ печатать свой новый большой романъ „Братья Карамазовы“, который всѣми, послѣ „Дневника“, ожидался съ большимъ нетерпѣніемъ, и, многими своими страницами, невольно долженъ былъ привести въ изумленіе каждаго читателя. Планъ и идея новаго романа, по собственному признанію Феоdorf Михайловича, сложились у него „непримѣтно и невольно“, въ двухлѣтній періодъ изданія „Дневника“. Этотъ романъ, писанный, вѣроятно, урывками, не смотря на большую неправильность плана, значительную растянutosть и эпизодичность, явился однакоже такимъ страннымъ отголоскомъ на вопросъ объ отношеніяхъ отцовъ и дѣтей, давно уже мучившій Феоdorf Михайловича, что читать его страшно... Еще страшнѣе было слушать, когда онъ самъ на публичныхъ чтеніяхъ раскрывалъ и перечитывалъ одну изъ многихъ прекрасныхъ страницъ этой „семейной хроники“, полныхъ потрясающаго трагизма!

Увлеченный успѣхомъ своего романа поджигаемый всѣми тягостями, всѣми трудностями эпохи, переживаемой въ послѣдніе годы Россіи, Феоdorf Михайловичъ вновь почувствовалъ въ себѣ приливъ сильнѣйшаго желанія участвовать въ дѣятельности общественной. Живымъ доказательствомъ этого желанія явились его безпрестанныя чтенія своихъ и чужихъ произведеній на литературныхъ вечерахъ, и его прекрасныя, вдохновенныя рѣчи на Пушкинскомъ празднествѣ въ Москвѣ (гѣтомъ 1880 года), которыя всѣхъ привели въ неописанный восторгъ на этомъ народномъ торжествѣ. Осенью 1880 года явились даже слухи о томъ, что Феоdorf Михайловичъ готовитъ какое-то новое, большое произведеніе, что онъ собирается съ будущаго 1881 года возобновить свой „Дневникъ“; но — увы! всѣмъ этимъ надеждамъ не суждено было сбыться... 1-й номеръ „Дневника Писателя“ вышелъ уже въ день вѣхорова Феоdorf Михайловича, который, послѣ самой краткой болѣзни, скончался 28

января 1881 года. Весь Петербург провожал своего любимого писателя до могилы: въ похоронномъ шествіи участвовали десятки тысячъ человѣкъ. . Могила Феодора Михайловича Достоевскаго въ Александро-Невской лаврѣ явилась одною изъ рѣдкихъ русскихъ литературныхъ могилъ, надъ которою всѣ партіи, самыя крайнія по противоположности своихъ убѣжденій, примирительно подали другъ другу руки...

Въ заключеніе нашего очерка мы не можемъ отказать себѣ въ удовольствіи привести здѣсь слова Ф. М. Достоевскаго, отчасти объясняющія намъ, почему онъ могъ и долженъ былъ пріобрѣсти, у насъ въ Россіи, то уваженіе и значеніе, которыми пользовался при жизни, которое не утратить и по смерти:

„Я никогда не могъ понять мысли“, говоритъ Ф. М. Достоевскій, „что лишь одна десятая доля людей должна получать выс-

шее развитіе, а остальныя девять десятыхъ должны лишь послужить къ тому матеріаломъ и средствомъ, а сами оставаться во мракѣ. Я не хочу мыслить и жить иначе, какъ съ вѣрой, что всѣ наши девяносто милліоновъ (или тамъ сколько ихъ тогда народится) будутъ всѣ когда-нибудь образованы, очеловѣчены и счастливы. Я знаю и вѣрую твердо, что всеобщее просвѣщеніе никому у насъ повредить не можетъ. Вѣрую даже что царство мысли и свѣта способно водвориться у насъ, въ нашей Россіи, еще скорѣе, можетъ быть, чѣмъ гдѣ-бы ни было, ибо у насъ и теперь никто не захочетъ стать за идею о необходимости озвѣренія одной части людей для благосостоянія другой части, изображающей собою цивилизацію, какъ это вездѣ во всей Европѣ. У насъ-же добровольно, самымъ верхнимъ сословіемъ, съ царскою волею во главѣ, разрушено крѣпостное право!“



ГЛАВА XXVII.

Важнѣйшіе представители новѣйшей русской поэзіи: А. Майковъ, Л. Мей, А. Толстой, Ф. Тютчевъ, Я. Полонскій, А. Фетъ.

Въ періодъ русской литературы, послѣдовавшій за смертью Пушкина, русская поэзія стала все болѣе и болѣе развиваться въ томъ высоко-художественномъ направленіи, которое придалъ ей Пушкинъ въ послѣдніе годы своей поэтической дѣятельности.

Легкое отношеніе къ выбору сюжетовъ поэтическаго творчества, воспѣваніе поэтической лѣни и свободы отъ всякихъ заботъ и обязанностей, туманная мечтательность и неопредѣленные поэтическіе образы, пересаженные къ намъ съ чуждой, иноземной почвы, — все это уступило мѣсто направленію болѣе самостоятельному и болѣе реальному. Наши поэты вполнѣ освободились отъ всякаго вліянія западной поэзіи, стали почерпнуть свои образы изъ живой дѣйствительности, и со страстью принялись за изученіе русской старины и народности, — и русская поэзія послѣдняго полуувѣка заняла такое же видное и почетное мѣсто среди европейской поэзіи, какъ и русская изящная литература. Въ числѣ нашихъ поэтовъ этого послѣдняго періода самое видное мѣсто занимаетъ, по чрезвычайному разнообразію и выработкѣ своего таланта, Аполлонъ Николаевичъ Майковъ.

А. Н. Майковъ родился 23 мая 1821 г. въ Москвѣ. Онъ происходитъ изъ стариннаго дворянскаго рода Майковыхъ, которые еще въ XV в. прославились тѣмъ, что изъ Майковыхъ вышелъ извѣстный строгостью жизни отшельникъ и проповѣдникъ, Нилъ Сорскій, основатель Сорской пустыни въ Бѣлозерскихъ дебряхъ. Въ русской письменности Нилъ извѣстенъ своими поученіями и борьбою противъ ереси Матвѣя Башкина, которую онъ, въ противоположность своему современнику Іосифу Волоцкому, совѣтовалъ выводить не кострами и казнями, а мѣрами кротости и убѣжденія. Въ прошломъ вѣкѣ, основаніе первого рус-

скаго публичнаго театра было тѣсно связано съ именемъ одного изъ Майковыхъ. Мы видѣли уже (см. стр. 48), что богатый ярославскій помѣщикъ Майковъ много способствовалъ Ф. Г. Волкову при открытіи театра въ Ярославлѣ: — въ его домѣ, въ 1755 г. въ Ярославлѣ, на берегу Волги, была устроена сцена нашего перваго публичнаго театра. Старшій сынъ этого театралнаго помѣщика, бригадиръ Семеновскаго полка, Василій Ивановичъ Майковъ, былъ вполнѣ дѣловитъ, въ екатерининское время, однимъ изъ довольно извѣстныхъ писателей: его сатирическія поэмы написанныя довольно гладкими стихами и съ рѣзкимъ оттѣнкомъ народнаго юмора, читались охотно и обратили вниманіе Императрицы Екатерины на поэта. Родной братъ Василя Майкова былъ прадѣдомъ нашего поэта. Отецъ А. Н. Майкова, Николай Аполлоновичъ Майковъ, былъ, въ своемъ родѣ, человѣкомъ весьма замѣчательнымъ. Въ періодъ Отечественной войны, будучи блестящимъ гусарскимъ офицеромъ, Николай Аполлоновичъ былъ тяжело раненъ въ Бородинскомъ сраженіи и вынужденъ долго и серьезно лѣчиться. Въ это время, отъ скуки, онъ началъ самоучкой заниматься живописью, которая вполнѣ стала главною цѣлью его жизни и совершенно его поглотила. Вполнѣ онъ приобрѣлъ извѣстность, какъ художникъ, отличавшійся замѣчательною тонкостью и нѣжностью кисти, и получилъ званіе академика живописи за свои художественныя работы. Императоръ Николай, въ высшей степени одаренный художественнымъ вкусомъ, любилъ бывать въ мастерской Н. А. Майкова и часто поручалъ ему выполненіе художественныхъ заказовъ для церквей и дворцовъ своихъ. Еще будучи молодымъ человѣкомъ, художникъ Майковъ женился на Евгеніи Петровнѣ Гусятниковой, жен-

щина весьма образованной и нелишенной поэтического дарования, и, переселившись в Петербургъ, занялъ здѣсь особую, вполне художническую жизнь. Известный писатель, И. А. Гончаровъ, другъ семьи Майковыхъ, говорить въ своихъ „Воспоминаніяхъ“ о Н. А. Майковѣ:

„Онъ жилъ, какъ жила въ былое время артисты, думая болѣе всего объ искусствѣ, любя его, занимаясь имъ, и почти ничѣмъ другимъ. Домъ его кипѣлъ жизнью, людьми, приносившими сюда неистощимое содержаніе изъ сферы мысли, науки, искусствъ. Молодые ученые, музыканты, живописцы, многие литераторы изъ круга 30-хъ и 40-хъ годовъ— всѣ толпились въ обширныхъ, неблестящихъ, но пріятныхъ залахъ его квартиры, и всѣ, вмѣстѣ съ хозяйками, составляли какую-то братскую семью или школу, гдѣ всѣ учили другъ у друга, размѣниваясь занимавшими тогда русское общество мыслями, новостями науки, искусствъ“...

Въ такой-то благопріятной обстановкѣ и пришлось расти нашему поэту, вся жизнь котораго сложилась чрезвычайно удачно для развитія его поэтического дара.

Все дѣтство поэтъ Майковъ провелъ въ имѣніи отца, с. Никольскомъ (близъ Троице-Сергіевой лавры) и въ имѣніи своей бабушки, среди природы и свободы сельского быта. Когда въ 1834 г. отецъ поэта переѣхалъ на постоянное житіе въ Петербургъ, одинъ изъ пріятелей его, В. А. Саломитинъ¹⁾, человекъ весьма умный и тонко образованный, принялъ на себя заботы о воспитаніи и образованіи двухъ старшихъ сыновей художника Майкова. При его помощи Аполлонъ Майковъ въ три года закончилъ полный гимназическій курсъ, а въ 1837 г., шестнадцатилѣтнимъ юношей, поступилъ въ Петербургскій университетъ. Четыре года спустя онъ вышелъ изъ университета со степенью кандидата юридическихъ наукъ.

Саломитинъ и въ университетѣ продолжалъ руководить занятіями Аполлона Николаевича, и много способствовалъ тому, чтобы тотъ получилъ блестящее и много-

стороннее образованіе, при отличномъ знаніи четырехъ иностранныхъ языковъ— французскаго, нѣмецкаго, англійскаго и итальянскаго.²⁾ Почти одновременно, въ юношескомъ возрастѣ, въ Аполлонѣ Николаевичѣ въ равной степени проявились художественныя наклонности и къ живописи, и къ поэзіи:—онъ даже очень долго не въ состояніи былъ самъ опредѣлить, по какому пути онъ пойдетъ? Живописцемъ-ли будетъ, или поэтомъ? Стихи началъ онъ писать уже съ 15-ти лѣтъ, и первые, но все же весьма замѣчательные поэтическіе опыты помѣщалъ въ томъ рукописномъ альбомѣ „Лунныя ночи“, который составлялся въ кружкѣ Майковыхъ, при участіи ихъ друзей—художниковъ, писателей и поэтовъ.

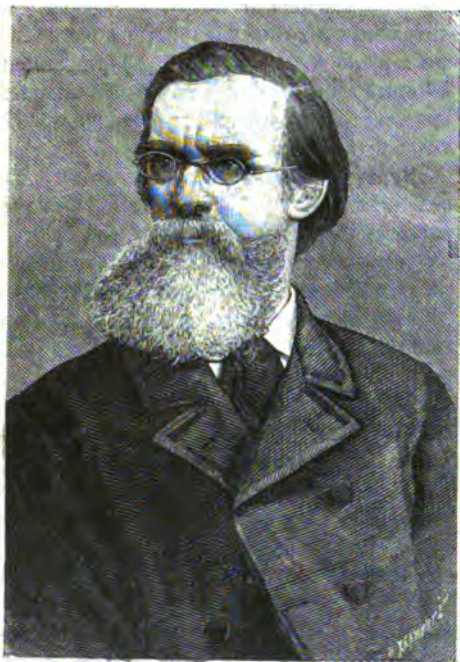
Первую известность молодой поэтъ получилъ уже на студенческой скамьѣ, когда профессора Никитенко и Шевыревъ, почти одновременно, ознакомили своихъ слушателей въ Московскомъ и Петербургскомъ университетахъ съ юношескими произведеніями А. Н. Майкова. Вскорѣ послѣ того, его стихи явились въ печати, сначала „въ Одесскомъ Альманахѣ“ 1841 г., а потомъ въ „Библіотекѣ для чтенія“ и въ „Отечественныхъ Запискахъ“ за тотъ же годъ— и обратили на себя вниманіе Бѣлинскаго, который въ 1842 году привѣтствовалъ совершенно искренними похвалами появленіе книжки „Стихотвореній Аполлона Майкова“. „Многія изъ стихотвореній Майкова“— замѣчаетъ Бѣлинскій въ своей критикѣ— „обличаютъ дарованіе неподдѣльное, замѣчательное и ничто общающее въ будущемъ... Только сильныя дарованія въ первыхъ своихъ произведеніяхъ даютъ залогъ будущаго развитія“...

Такой блестящій литературный успѣхъ молодого поэта послужилъ поводомъ къ другому успѣху его на житейской почвѣ. Графъ С. С. Уваровъ, покровительствовавшій А. Н. Майкову, поднесъ книжку его стихотвореній Государю, и Государь, милостиво расположенный къ отцу поэта, художнику, приказалъ спросить: „чего желаетъ Майковъ?“ Юный поэтъ просилъ

¹⁾ Мы уже упоминали о немъ выше, въ біографіи И. А. Гончарова См. стр. 307.

²⁾ Впослѣдствіи, А. Н. Майковъ выучился еще двумъ языкамъ: греческому и ново-греческому; съ латинскимъ онъ ознакомился еще въ гимназіи.

Государя, чтобы его „отпустили въ Италию“, — и ему по Высочайшему повелѣнію былъ не только разрѣшенъ (въ то время очень затруднительный) отпускъ за границу, но еще и пожаловано 1,000 руб. на путешествіе по Италиі. За границею А. Н. Майковъ провѣлъ почти два года и на обратномъ пути въ Россію долго жилъ въ Парижѣ, посѣтилъ Дрезденъ и останавливался на нѣкоторое время въ Прагѣ, гдѣ близко познакомился



А. Н. Майковъ.

съ знаменитымъ Вячеславомъ Ганкою и другими представителями чешскаго національнаго возрожденія. Запасъ впечатлѣній, вывезенныхъ изъ-за границы, былъ на столько богатъ и разнообразенъ, что А. Н. Майковъ принялся горячо за свою поэтическую дѣятельность и сталъ помѣщать нѣкоторые произведенія въ „Отечественныхъ Запискахъ“, въ то же время занимаясь критическими очерками выставокъ и отдѣльных художественныхъ произведеній.

Однакоже служба (сначала въ Румянцевскомъ музеѣ, а потомъ въ отдѣленіи ино-

странной цензуры) и семейныя обстоятельства (послѣ женитьбы) стали въ значительной степени отвлекать А. Н. Майкова отъ поэзіи и литературы, и только Восточная война, въ теченіе которой Россія пришлось выдержать первую и трудную борьбу противъ европейской коалиціи, вновь заставила поэта выступить съ цѣлымъ рядомъ горячихъ, патріотическихкихъ стихотвореній. Эти стихотворенія онъ издавъ отдѣльною книжкою подъ заглавіемъ „1854 годъ“.

Сильное патріотическое настроеніе, вызванное историческими событіями и поучительными бѣдствіями Крымской кампаніи, много способствовало охлажденію поэта къ Западу, къ западнымъ теоріямъ и воззрѣніямъ и къ тому кружку петербургскихъ литераторовъ, которые эти воззрѣнія проводили въ жизнь и въ литературу. Въ то же время А. Н. Майковъ, совершенно естественно, сблизился съ кружкомъ славянофиловъ и съ кружкомъ той новой редакціи „Москвитянина“, которая вызвала къ дѣятельности такія силы, какъ Писемскій и Островскій... Можно сказать, что только около этого времени и подъ вліяніемъ идей этихъ московскихъ литературныхъ кружковъ А. Н. Майковъ вступилъ въ періодъ полной зрѣлости своего поэтическаго дарованія. Эта зрѣлость вполне выказалась въ томъ новомъ „Собраніи стихотвореній Аполлона Майкова“, которое издалъ въ свѣтъ графъ Г. А. Кушелевъ-Безбородко, нѣзвѣстный меценатъ петербургскихъ литературныхъ кружковъ конца 50-хъ и начала 60-хъ годовъ.¹⁾

Одинъ изъ талантливейшихъ критиковъ того времени, Дружининъ, справедливо замѣтилъ въ критическомъ разборѣ новаго изданія стихотвореній Майкова:

„Отвѣчая всему живому и человѣческому. г. Майковъ выучился уважать тѣ границы, въ которыхъ должна держаться дѣятельность поэта истиннаго... Это — поэтъ-художникъ, поэтъ-пластикъ, но не лирикъ: писатель, замѣчательный мастерскою, спокойною отдѣлкою своихъ стихотвореній, онъ, съ перваго появленія своего передъ русскою публикой, сталъ поэтомъ мысли и безтрепетно принялъ на себя весь нескончаемый трудъ, сопряженный съ этимъ

¹⁾ „Собраніе стихотвореній“ было напечатано въ 1858 г. въ двухъ томахъ.

званіемъ". Многія изъ стихотворныхъ произведеній Майкова, помѣщенные въ Кушелевскомъ изданіи, уже выказывали въ поэтѣ полную зрѣлость таланта: "Три смерти" и пѣсы въ антологическомъ родѣ были явнымъ доказательствомъ глубокаго пониманія возрѣвнѣй классическаго міра; „Савонарола“—превосходною картинкою изъ яркаго, богатаго запаса преданій Запада; „Рыбная ловля“—единственнымъ въ своемъ родѣ описаніемъ русской природы и простыхъ наслажденій, доставляемыхъ ею охотнику.

Въ 1858 г. запасъ поэтическихъ впечатлѣній нашего поэта еще увеличился новою побѣдою въ Грецію и Архипелагъ. По желанію Великаго князя Константина Николаевича (въ то время генералъ-адмирала), Майковъ былъ командированъ на годичный срокъ въ морское вѣдомство, которое и называло его въ морскую экспедицію, направлявшуюся въ Средиземное море Корветъ „Боянъ“, на которомъ плавали Аполлонъ Николаевичъ, кромѣ греческихъ водъ, посѣтилъ Рагузу, Ниццу, Палермо и Неаполь. Результатомъ побѣдки были новыя произведенія Майкова, извѣстныя подъ общимъ названіемъ „Неаполитанскаго альбома“.

По возвращеніи въ Россію, Майковъ увлекся тѣмъ общимъ возбужденіемъ къ изученію родной старины и отечественной исторіи, которое охватило все наше общество въ концѣ 50-хъ годовъ, отчасти подъ впечатлѣніемъ тѣхъ блестящихъ лекцій по русской исторіи, которыя тогда читалъ въ Петербургскомъ университетѣ талантливый профессоръ Н. И. Костомаровъ. Увлечение поэта нашею стариною и ея величавыми образами было настолько сильно, что онъ посвятилъ нѣсколько лѣтъ жизни на изученіе нашихъ древнихъ памятниковъ, которое въ значительной степени было ему облегчено знакомствомъ съ такими учеными знатоками русской старины, какъ П. И. Мельниковъ (Печерскій) и К. Н. Бестужевъ-Рюминъ. Въ этотъ періодъ времени поэтъ занялся переложеніемъ на русскій языкъ „Слова о Полку Игоревѣ“ и даже принялся писать „Разсказы изъ русской исторіи“ (въ прозѣ) для народнаго чтенія. Нельзя не припомнить и того, глубоко-прочувствованнаго и сильнаго стихотворенія „Поля“, которыя, въ этотъ-же періодъ творчества,

Майковъ привѣтствовалъ освобожденіе крестьянъ и какъ-бы отвѣчалъ на опасенія, высказываемыя многими близорукими людьми, недостаточно знавшими Россію.

Въ періодъ времени между 60-мъ и 80-мъ годами вышло два изданія стихотвореній Майкова (одно въ 1879, другое въ 1884 г.). Въ первомъ изъ нихъ явились такія замѣчательныя произведенія, какъ Исповѣдь Королевы, Новогреческія пѣсни, Былины, поэма Странникъ, заимствованная изъ раскольничьихъ преданій, Бальдуръ (изъ міра скандинавскихъ сказаній), превосходное переложеніе гѣтониснаго половецкаго преданія „Емшанъ“, переложеніе „Слова о Полку Игоревѣ“, и наконецъ лирическая драма „Два міра“, въ которой поэтъ неощражаемо-хорошо изобразилъ паденіе древняго, языческаго міра и возникновеніе новаго христіанскаго, на его развалинахъ. Это, по справедливому замѣчанію одного критика — „самое крупное произведеніе нашего поэта, такое, въ которомъ сосредоточились всѣ лучи Майковской поэзіи“—было удостоено Академіею Наукъ полною Пушкинскою преміею (19 октября 1882 г.). Изданіе 1884 года пополнено новыми пѣсами автора, написанными уже въ 80-хъ годахъ: „Огъвы исторіи“, „Судъ предковъ“, „Родойца“, „Кассандра“. Здѣсь-же помѣщены и прозаическіе разсказы изъ Русской исторіи.

30 апрѣля 1888 года русское общество въ лицѣ всѣхъ представителей русской литературы торжественно отпраздновало 50-лѣтній юбилей литературно-поэтической дѣятельности Майкова, который отвѣчалъ на обращенныя къ нему привѣтствія чтеніемъ отрывковъ изъ тѣхъ новыхъ произведеній, которыми онъ и въ настоящее время не перестаетъ пополнять обширный запасъ поэтическаго матеріала, внесеннаго имъ въ нашу литературу.

Рядомъ съ А. Н. Майковымъ мы должны поставить еще двухъ, близко подходящихъ къ нему по достоинству поэтовъ, также успѣвшихъ отпраздновать свои пятидесятилѣтніе юбилеи и также благополучно здравствующихъ и понынѣ; а именно Я. П. Полонскаго и А. А. Шеншина, болѣе извѣстнаго у насъ въ литературѣ подъ псевдонимомъ Фета.

Яковъ Петровичъ Полонскій родился 6 декабря 1820 года въ Рязани, гдѣ провелъ все свое дѣтство и часть первой молодости. Мать Полонскаго умерла рано, отецъ вынужденъ былъ, вскорѣ послѣ ея смерти, отправиться къ мѣсту новой службы, въ Закавказье, а десятилѣтнему Якову Петровичу, вмѣстѣ съ остальными его братьями и сестрами, пришлось остаться на попеченіи тетокъ (сестеръ матери). Благодаря ихъ нѣжной заботливости, ребенокъ выросъ и подготовился къ поступленію въ рязанскую гимназію, гдѣ впервые и обнаружилъ поэтическій талантъ. Еще будучи ученикомъ VI класса, онъ пи-



Я. П. Полонскій.

салъ стихи въ такой степени недурно, что рѣшился поднести свое стихотвореніе Государю Наслѣднику Цесаревичу (впослѣдствіи Императору Александру II), проѣзжавшему черезъ Рязань. Августѣйшій Путешественникъ принялъ приношеніе юноши-поэта и удостоилъ его награды: прислалъ ему въ подарокъ золотые часы. По окончаніи курса въ гимназіи, Я. П. Полонскій вступилъ въ Московскій университетъ, по юридическому факультету; но, набравъ факультетъ не по склонности, онъ болѣе занимался въ университетѣ поэзіей, нежели юридическими

науками и не безъ труда окончилъ курсъ въ 1844 году. Въ томъ-же году издалъ онъ въ свѣтъ первый сборникъ своихъ стихотвореній, подъ заглавіемъ „Гаммы“, который даже и Бѣлинскимъ былъ встрѣченъ довольно благосклонно.

Затѣмъ начались для поэта „годы странствованій“: — онъ уѣхалъ сначала на югъ Россіи, въ Одессу, а оттуда—въ Закавказье, гдѣ получилъ мѣсто помощника редактора въ газетѣ „Закавказскій Вѣстникъ“. Впечатлѣнія величавой природы Кавказа и богатой красками кавказской жизни сильно повліяли на творчество молодого поэта, который, въ теченіе восьми лѣтъ своего пребыванія въ Закавказьи, издалъ цѣлыхъ три сборника своихъ стихотвореній, и одному изъ этихъ сборниковъ далъ даже мѣстное, туземное названіе „Сазандаръ“ (т. е. пѣвецъ—по-грузински). Наконецъ въ 1852 г., соскучившись по родинѣ, онъ побывалъ въ Рязани и оттуда отправился по дѣламъ въ Петербургъ, гдѣ и остался надолго, покинувъ службу и предавшись исключительно занятіямъ литературою. Здѣсь, въ 1855 г., Полонскій издалъ пятое собраніе своихъ стихотвореній, въ которое, съ нѣкоторыми исключеніями, вошло все напечатанное въ предшествующихъ сборникахъ. Здѣсь-же Полонскій сблизился съ петербургскими литературными кружками и вошелъ въ дружескія отношенія съ Тургеневымъ, Майковымъ, Дружининимъ и другими выдающимися современниками литературы. Въ 1856 г. Полонскому, впервые, представился случай побывать за границей, и онъ, черезъ Варшаву, направился въ Германію и Швейцарію, затѣмъ жилъ долго въ Римѣ и Парижѣ, гдѣ и вступилъ въ первый бракъ. Возвратившись въ Петербургъ въ концѣ 1858 г., Полонскій сблизился съ кружкомъ графа Кутелева-Безбородко и былъ назначенъ редакторомъ журнала „Русское Слово“, который издавался на средства графа. Оставаясь въ теченіи двухъ лѣтъ въ положеніи редактора, Полонскій помѣщалъ въ журналъ „Русское Слово“ цѣлый рядъ своихъ стихотвореній и прозаическихъ статей; но затѣмъ, не поладивъ съ надателемъ, сталъ искать болѣе прочнаго обезпеченія жизни, и въ 1860 г. вновь поступилъ на службу, въ комитетъ иностранной цензуры, гдѣ уже служилъ въ то время его другъ.

А. Н. Майковъ, а предсѣдательствовалъ поэтъ Ѳ. И. Тютчевъ. Но и службѣ, на первое время, стали мѣшать серьезные недуги поэта, отъ которыхъ ему пришлось долго и настойчиво лѣчиться за границей...

Начиная съ 1860 г. стихотворенія Я. П. Полонскаго печатались во всѣхъ петербургскихъ журналахъ, такъ какъ редакторы журналовъ охотно ихъ принимали, а плодотворный и добродушный авторъ не принадлежалъ исключительно ни къ какой литературной партіи. Въ послѣдніе годы Я. П. Полонскій болѣе печаталъ свои стихи въ Вѣстникѣ Европы, въ Нивѣ и въ Русскомъ Вѣстникѣ. Болѣе крупными произведеніями Полонскаго за послѣдніа 15—20 лѣтъ слѣдуетъ назвать его шуточную поэму „Кузнечикъ-музыкантъ“, его поэмы: Мими, Келіотъ и Разладъ; эти немногія поэмы были обставлены множествомъ мелкихъ произведеній, прелестныхъ по вѣншей формѣ и чрезвычайно привлекательныхъ по задушевности и граціозности содержанія. Всѣ эти произведенія, отъ времени до времени собираемыя поэтомъ, являлись въ видѣ отдѣльныхъ сборниковъ, подъ отдѣльными заглавіями, какъ напр. „Снопъ“ (въ 1871 году) или „Озимъ“ (1876 г.).

Прозаическія произведенія Я. П. Полонскаго — его рассказы и повѣсти — далеко уступаютъ въ достоинствѣ его стихотвореніямъ, о которыхъ одинъ изъ современныхъ намъ критиковъ совершенно справедливо замѣчаетъ.

„Любовь къ человѣчеству, стремленіе къ свѣту науки, благоговѣніе передъ искусствомъ и передъ всѣми родами духовнаго величія — вотъ постоянныя черты поэзіи Полонскаго. Если онъ и не былъ провозвѣстникомъ этихъ идей, то онъ былъ всегда ихъ вѣрнымъ поклонникомъ“.

Послѣднее, наиболѣе полное изданіе стихотвореній Я. П. Полонскаго стало выходить отдѣльными томами въ свѣтъ, начиная съ 1886 года, и закончилось въ апрѣлѣ 1887 года, когда былъ отпразднованъ въ Петербургѣ 50-ти-лѣтній юбилей литературной дѣятельности поэта, и понынѣ еще здравствующаго и продолжающаго заниматься поэзіей.

А. Н. Майковъ, привѣтствуя своего друга Я. П. Полонскаго въ день его 50-лѣтняго юбилея, въ своемъ стихотворномъ посланіи такъ вспоминалъ о началѣ своей литературной дѣятельности:

Тому ужъ больше, чѣмъ полвѣка,
На разныхъ русскихъ широтахъ,
Три мальчика, въ своихъ мечтахъ
За вышій жребій человека
Считая чудный даръ стиховъ,
Ихъ предались невозвратно...
...Тѣ трое были... милый мой,
Ты понялъ?... Фетъ и мы съ тобой.

И, дѣйствительно, не только начало поэтической дѣятельности, но и дружба цѣлой жизни и одинаковыя возрѣнія на русскую жизнь, и даже нѣкоторыя общія свойства таланта — все связывало и связываетъ неразрывно двухъ нашихъ поэтовъ-друзей, Полонскаго и Майкова, съ третьими ихъ другомъ, Фетомъ.

Аѳанасій Аѳанасьевичъ Шеншинъ (болѣе извѣстный въ литературѣ подъ именемъ Фета) родился 23-го ноября 1820 г., въ селѣ Новосѣлкахъ (Орловской губ., Мценскаго уѣзда), родовомъ имѣніи отца. Первоначальное образованіе онъ получилъ дома, потомъ попалъ на время въ одно изъ „образцовыхъ“ воспитательныхъ заведеній Остѣвскаго края, но, по счастью, пробылъ тамъ не долго и перешелъ въ Москву, въ приготовительный пансіонъ профессора М. П. Погодина. Вскорѣ послѣ того, онъ поступилъ на юридическій факультетъ Московскаго университета, а потомъ перешелъ на филологическій. Въ 1844 г. А. А. Шеншинъ окончилъ курсъ въ университетѣ и поступилъ въ военную службу, сначала въ Орденскій кирасирскій полкъ, а потомъ перешелъ въ лейбъ-гвардіи Уланскій Его Величества. Прослуживъ до окончанія Восточной войны, юный поэтъ покинулъ службу въ 1856 г., женился и съ тѣхъ поръ бевывѣдно поселился въ своемъ родовомъ помѣстьѣ, гдѣ и до настоящаго времени живетъ, занимаясь хозяйствомъ и посвящая свои досуги поэзіи.

Біографія поэта не многосложна и не богата событіями; но его поэтическая дѣятельность весьма обширна, разнообразна и свидѣтельствуетъ о чрезвычайной плодови-

тости таланта, который в течение долгой жизни почти не утратил ни красок, ни свежести. Первые стихотворные опыты свои Афанасий Афанасьевич напечатал еще будучи юношей (до поступления своего в университет), в 1840 г., в видѣ сборника, под общим заглавіемъ: „Иприческій Пантеонъ“. Подъ этимъ заглавіемъ были выставлены буквы А. Ф., т. е. Афанасій Фетъ. Поэтъ принялъ въ видѣ литературнаго псевдонима фамилію своей матери и впоследствии приобрѣлъ этому псевдониму такую громкую извѣстность, что настоящее имя поэта почти неизвѣстно большинству его почитателей. Сборникъ



А. А. Фетъ (Шеншинъ).

стихотвореній юноши былъ замѣченъ:—его встрѣтили очень благосклонно въ публикѣ и въ журналистикѣ, потому что на многихъ помѣщенныхъ въ немъ произведеніяхъ лежала печать несомнѣннаго таланта и оригинальности. М. П. Погодинъ, какъ издатель „Москвитянина“ и вообще человѣкъ, обладавшій замѣчательнымъ умѣньемъ вербовать себѣ талантливыхъ сотрудниковъ, тотчасъ прибралъ къ рукамъ юношу-поэта, который, вступивъ въ университетъ, рьяно принялся за изученіе классическихъ поэтовъ. Первые стихотворенія Фета, появившіяся послѣ его сборника, всѣ были напе-

чатаны въ „Москвитянинѣ“ Погодина, и только уже значительно позднѣе стали помѣщаться въ „Отечественныхъ Запискахъ“. Въ началѣ 1860 г., когда уже Афанасій Афанасьевичъ давно служилъ въ военной службѣ, вышелъ новый сборникъ всѣхъ его стихотвореній, разбросанныхъ по журналамъ. Новый сборникъ былъ озаглавленъ: „Стихотворенія А. Фета“—и окончательно упрочилъ поэтическую извѣстность Афанасія Афанасьевича. Всѣхъ особенно поразила замѣчательная его способность передавать не только мысли, не только цѣльно-сложившіеся поэтическіе образы, но даже самыя легкія, самыя мимолетныя впечатлѣнія души, самыя тонкіе оттѣнки чувства, самыя неуловимыя черты явленій окружающей насъ природы. Если одинъ изъ критиковъ справедливо назвалъ Майкова „поэтомъ мысли“, по преимуществу, то, въ этомъ же смыслѣ, отличая талантъ Фета отъ таланта Майкова, Афанасія Афанасьевича слѣдовало бы назвать именно „поэтомъ впечатлѣній и звуковъ“. Эта особенность молодого поэта всѣхъ поражала еще и потому, что онъ сумѣлъ придать своимъ стихамъ какую-то особенную прелесть звучностью и мягкостью своего поэтическаго языка и необыкновенною свободою поэтическаго выраженія. Иногда онъ сыплетъ словами, набрасываетъ ихъ почти безъ связи въ свои строки—и изъ этихъ безпорядочно набросанныхъ словъ сама собою складывается передъ нами поэтическая картина; иногда, напротивъ того, простымъ повтореніемъ одного и того же слова, одного и того же звука, онъ достигаетъ такой гармоніи стиха, что въ немъ почти слышатся самыя звуки наблюдаемаго имъ явленія природы...

Въ то время, когда Афанасій Афанасьевичъ служилъ въ гвардіи, онъ сошелся съ петербургскими литературными кружками и сталъ одновременно печатать свои стихотворенія и въ петербургскихъ, и въ московскихъ журналахъ. Въ 1856 и 1863 гг. эти стихотворенія вышли двумя полными падавіями. Но ими не исчерпывалась, однакоже, поэтическая дѣятельность Фета:—онъ оказался не только замѣчательнымъ и оригинальнымъ поэтомъ, но и превосходнымъ переводчикомъ, а потому весьма охотно посвящалъ свои досуги переводу классиковъ.

Такъ, имъ переведены были многія произведенія Шекспира, Гёте и всѣ оды Горация. Въ послѣднее время, поэтъ, уже достигнувшій весьма почтеннаго возраста, издалъ новый сборникъ своихъ стихотвореній подъ заглавіемъ „Вечерніе огни“ (1883—85) и трудился надъ полнымъ переводомъ „Фауста“ Гёте (обѣихъ частей). Въ 1889 году въ Москвѣ былъ торжественно отпразднованъ юбилей 50-ти-лѣтней литературной дѣятельности Фета-Шеншина, который и въ этомъ не отсталъ отъ своихъ друзей и сверстниковъ-поэтовъ, Майкова и Полонскаго.

Вслѣдъ за поэтами-друзьями мы должны рядомъ упомянуть два имени, весьма извѣстныхъ въ русской поэзіи новѣйшаго времени: имя графа А. К. Толстого и Л. А. Мея. Мы сопоставляемъ ихъ имена потому, что какъ тотъ, такъ и другой изъ этихъ поэтовъ—одинаково охотно почерпали сюжеты для своего поэтическаго вдохновенія изъ нашей русской старины и много потрудились надъ воссозданіемъ крупныхъ историческихъ характеровъ, принадлежащихъ нашему отдаленному прошлому.

Графъ Алексѣй Константиновичъ Толстой такъ излагаетъ самъ важнѣйшіе факты своей жизни въ оставленной имъ автобиографической запискѣ:

„Я родился въ Петербургѣ въ 1817 г. 24-го августа, но еще шести недѣль былъ увезенъ въ Малороссію матерью моею и моимъ дядею со стороны матери, Алексѣемъ Алексѣевичемъ Перовскимъ (впоследствии попечителемъ Харьковскаго университета), извѣстнымъ въ русской литературѣ подъ псевдонимомъ Антона Погорѣльскаго¹⁾. Онъ меня воспиталъ, и первые годы мои протекали въ его имѣніи, почему я и смотрю на Малороссію, какъ на мою истинную родину. Мое дѣтство было чрезвычайно счастливо и оставило во мнѣ одни свѣтлыя воспоминанія. Бывъ единственнымъ сыномъ, безъ товарищей играть, и одаренный весьма пылкимъ воображеніемъ, я очень рано привыкъ къ мечтательности, которая вскорѣ рѣшительно превратилась въ склонность къ поэзіи. Мѣстная

природа, гдѣ я жилъ, много тому содѣйствовала: воздухъ и зрѣлище нашихъ большихъ лѣсовъ, страшно любимыхъ мною, оставили во мнѣ глубокое впечатлѣніе, имѣвшее влияние на мой характеръ и жизнь... Восьми или девяти лѣтъ я побѣжалъ съ моими родными въ Петербургъ, гдѣ я былъ представленъ Цесаревичу²⁾ и допущенъ въ кругъ дѣтей, составившихъ Его воскресное общество. Съ того времени благосклонность Его ко мнѣ никогда не оставляла меня. Въ слѣдующемъ году я отправился



Графъ А. К. Толстой.

съ матерью и дядею въ Германію. Въ одно изъ нашихъ пребываній въ Веймарѣ, дядя взялъ меня къ Гёте, къ которому я по инстинкту проникся величайшимъ почтеніемъ... Отъ этого посѣщенія у меня сохранились въ памяти величественныя черты Гёте и то, что я у него сидѣлъ на коленяхъ. Съ тѣхъ поръ и до 17-ти-лѣтняго возраста, когда я выдержалъ выпускной экзаменъ въ Московскомъ университетѣ, я безпрестанно путешествовалъ съ моими родными, то по Россіи, то за границей, но часто возвращался въ имѣніе, гдѣ провелъ свои первые годы, и никогда не могъ видѣть

¹⁾ Имѣ, между прочимъ, написанъ былъ довольно извѣстный въ 30-хъ годахъ романъ „Монастырка“. — ²⁾ Имѣ въ Богѣ почившему Императору Александру II.

тѣхъ мѣстъ безъ особеннаго волненія. По смерти дяди, назначавшаго меня своимъ наслѣдникомъ, я былъ, въ 1836 г., по желанію матери, причисленъ къ русской миссіи при германскомъ сеймѣ во Франкфуртѣ на Майнѣ; позднѣе я перешелъ во II Отдѣленіе Собственной Е. И. В. Канцеляріи, редактирующее законы. Въ 1855 г. (во время Крымской кампаніи) я пошелъ въ число охотниковъ, образовавшихъ стрѣлковый полкъ Императорской Фамиліи, съ цѣлью принять участіе въ военныхъ дѣйствіяхъ; но нашъ полкъ не имѣлъ случая быть въ дѣлѣ и дошелъ только до Одессы, гдѣ мы потеряли болѣе 1000 человекъ отъ тифа, которымъ заболѣлъ и я. Императоръ Александръ II, во время коронаціи въ Москвѣ, изволилъ назначить меня своимъ флигель-адъютантомъ. Но такъ какъ я никогда не готовилъ себя для военнаго дѣла и намѣревался оставить службу вслѣдъ за окончаніемъ войны, то я и представилъ скоро мои сомнѣнія Его Величеству и Государю Императоръ принялъ мою просьбу съ обычною Ему благосклонностью и назначилъ меня егермейстеромъ своего Двора—званіе, которое я сохраняю и до настоящаго времени¹⁾. Вотъ лѣтопись моей военной жизни“.

...“Съ шестилѣтняго возраста началъ я марать бумагу и писать стихи“ — говоритъ далѣе графъ А. К. Толстой въ той-же Запискѣ — „но въ печати я появился только въ 1842 г., когда я дебютировалъ не стихами, а нѣсколькими разсказами въ прозѣ. Въ 1855 г.²⁾ я отдалъ въ первый разъ мои лирическія и эпическія стихотворенія въ разные журналы, а позднѣе я помѣщалъ ихъ ежегодно въ „Вѣстникъ Европы“ или въ „Русскомъ Вѣстникѣ“. Стараясь далѣе охарактеризовать свою поэтическую личность, графъ А. К. Толстой замѣчаетъ, что „независимо отъ поэзии, онъ всегда испытывалъ неодолимое влеченіе къ искусству вообще, во всѣхъ его проявленіяхъ...“ Съ этою страстью въ послѣдствіи соединилась другая: страсть къ охотѣ. „Съ 20-го года моей жизни она стала такъ сильна, и я отдавался ей съ такимъ пыломъ, что жертвовалъ ей всѣмъ временемъ, конемъ могъ располагать“. Графъ часто убѣ-

галъ отъ удовольствій и разсѣяній свѣтской жизни, „чтобы по цѣлымъ недѣлямъ пропадать въ лѣсахъ, иногда съ товарищами, но обыкновенно одинъ. Между нашими записными охотниками я скоро приобрѣлъ извѣстную репутацію хорошаго охотника на медвѣдей и лосей, и всецѣло погрузился въ стихію, которая столь-же мало согласовалась съ моими артистическими инстинктами, какъ и съ условіями моей официальной жизни: она не осталась безъ вліянія на характеръ моего поэтическаго творчества“.

Въ концѣ 50 годовъ имя графа А. К. Толстого приобрѣло большую извѣстность и популярность въ нашей литературѣ и журналистикѣ, благодаря его прекраснымъ лирическимъ и антологическимъ стихотвореніямъ и въ особенности такимъ подражаніямъ старинной русской пѣснѣ, какъ стихотвореніе „Спѣсъ“ или пѣсня: „Ой, кабы Волга-матушка да вспять побѣжала“. За этими лирическими пьесами слѣдовали болѣе крупныя эпическія произведенія („Грѣшница“, „Іоаннъ Дамаскинъ“) и цѣлый рядъ историческихъ балладъ („Василій Шибановъ“, „Старицкій воевода“, „Михайло Репнинъ“). Въ 1861 г. въ „Русскомъ Вѣстникѣ“ былъ помѣщенъ весьма замѣчательный историческій романъ А. К. Толстого: „Князь Серебряный“ (изъ временъ Іоанна Грознаго), выдержавшій не одно изданіе. Изъ той-же самой эпохи вскорѣ послѣ того поэтъ являлся сюжетъ драматической трилогіи, въ составъ которой должны были войти три трагедіи: „Смерть Іоанна Грознаго“, „Царь Θεодоръ Іоанновичъ“ и „Царь Борисъ“. Только первая изъ этихъ трагедій (напечатанная въ 1866 г.) явилась на сценѣ; обѣ остальные, по разнымъ причинамъ, не были допущены на сцену. По личному убѣжденію автора, вторая трагедія этой трилогіи была лучшимъ произведеніемъ „изъ всего, что было имъ написано въ стихахъ и прозѣ“.

Въ 1867 г. вышелъ второй сборникъ лирическихъ произведеній графа А. К. Толстого, съ извѣстнымъ посвященіемъ Государынѣ Императрицѣ Маріи Александровнѣ, которое начинается такъ:

¹⁾ Эта Записка сгорѣла въ 1874 г. — ²⁾ Авторъ Записки ошибается въ этомъ указаніи: въ третьемъ книжкѣ „Современника“ на 1854 г. уже были помѣщены шесть прекрасныхъ его стихотвореній.

„Къ Твоимъ, Царица, я ногамъ
Несу и радость, и печали,
Мечты, что сердце волновали,
Веселье съ грустью пополамъ“.

Въ концѣ 60-хъ годовъ, графъ Толстой, преимущественно обратившись къ изученію неисчерпаемыхъ сокровищъ нашей народной эпической поэзіи, создалъ совершенно новый поэтический родъ: „былинъ“, въ которомъ и проявилъ всю силу и художественность своего дарованія.

Послѣдніе два года своей жизни поэтъ провелъ въ переѣздахъ по различнымъ минеральнымъ водамъ Германіи гдѣ искалъ исцѣленія своего недуга. Убѣдившись въ бесполезности своихъ странствованій, графъ А. К. Толстой вернулся въ Россію и пріѣхалъ прямо въ свое любимое черниговское имѣніе „Красный Рогъ“ (близъ города Почеп) и здѣсь скончался 28 сентября 1875 г. Здѣсь же погребены и останки его.

И. С. Тургеневъ, въ своемъ воспоминаніи объ А. К. Толстомъ, говоритъ о немъ, какъ о поэтѣ, съ глубокимъ сочувствіемъ:

„Положеніе Толстого въ обществѣ“, — замѣчаетъ Тургеневъ — „и его связи открывали ему широкій путь ко всему тому, что такъ цѣнится большинствомъ людей; но онъ остался вѣренъ своему призванію — поэзіи, литературѣ: онъ и не могъ быть ничѣмъ инымъ, какъ только тѣмъ, чѣмъ создала его природа; но онъ имѣлъ всѣ качества, свойства, весь пошибъ литератора, въ лучшемъ значеніи этого слова“.

Левъ Александровичъ Мей, одинъ изъ талантливейшихъ и образованнѣйшихъ нашихъ поэтовъ, родился 13-го февраля 1822 года въ Москвѣ. Отецъ его былъ обрусѣвшій чиновникъ изъ русскихъ нѣмцевъ; мать — урожденная Шлыкова — русская дворянка. Первоначальное образованіе Левъ Александровичъ получилъ въ Московскомъ дворянскомъ институтѣ, въ которомъ учился настолько хорошо, что былъ переведенъ, какъ „отличный ученикъ“, въ Царскосельскій лицей (1835 г.). Продолжая и здѣсь прекрасно учиться, Мей однакоже не слишкомъ ладилъ съ лицейскими порядками, и это отчасти было причиною того, что онъ былъ выпущенъ изъ лицея въ 1841 г. не 9-мъ, а 10-мъ классомъ. Поэтъ по натурѣ и по

призанію, Мей положительно не сдумѣлъ устроить своей жизни, и не смотря на свои блестящія способности, на обширное и разнообразное образованіе, оставался долгое время никѣмъ незамѣченнымъ, мелкимъ чиновникомъ въ канцеляріи московскаго генералъ-губернатора (до 1849 г.). Потомъ, прискучивъ канцелярскую службу, Мей вышелъ на время въ отставку, нуждался, и вновь поступилъ на службу — уже по министерству народнаго просвѣщенія. На этотъ разъ служба пришлась ему по вкусу: — онъ получилъ мѣсто инспектора во 2-й Московской гражданской гимназій. Предавшись съ большимъ увлеченіемъ своей педагогической дѣя-



Л. А. Мей.

тельности, Мей вскорѣ обратилъ на себя вниманіе начальства своимъ „напѣвшимся“ рвеніемъ, не поладилъ съ подчиненными и съ различными твердо установившимися порядками гимназической практики — и долженъ былъ оставить мѣсто. Тогда ужъ онъ окончательно вышелъ въ отставку — и не поступалъ болѣе на службу. Вскорѣ послѣ того онъ покинулъ Москву, переѣхалъ въ Петербургъ и рѣшился всецѣло посвятить себя литературной дѣятельности.

Поэтическія способности проявились въ Л. А. Мей довольно рано: еще на лицейской скамьѣ, подобно Пушкину, онъ не только принималъ участіе въ лицейскихъ

рукописныхъ журналахъ и сборникахъ, но даже и началъ печатать нѣкоторыя изъ своихъ стихотвореній. Затѣмъ, въ теченіи всей службы въ Москвѣ, Мей почти исключительно участвовалъ въ „Москвитинѣ“, гдѣ и помѣстивъ, между прочимъ, свой прекрасный переводъ „Слова о Полку Игоревѣ“ и свою историческую драму „Царская невѣста“ (1849). Съ того же времени, когда Мей перѣхалъ на житье въ Петербургъ, его произведенія стали появляться безпрестанно во всѣхъ петербургскихъ большихъ журналахъ, сборникахъ и повременныхъ изданіяхъ. Мей выказалъ здѣсь все разнообразіе и всю силу своего таланта и какъ замѣчательный поэтъ, и какъ превосходный переводчикъ. Отлично зная древніе классическіе и языки и древне-еврейскій, онъ знакомъ былъ съ четырьмя повѣйшими языками и съ польскимъ; при знаніи языковъ онъ основательно изучилъ и литературы этихъ языковъ, и потому, съ одинаковымъ вкусомъ и умѣньемъ, выбиралъ лучшіе образцы для переводовъ своихъ изъ Теокрыта и Анакреона, изъ Байрона и Шекспира, изъ Мицкевича и Залѣскаго. Работая чрезвычайно много и снѣжно, Мей, конечно, не успѣвалъ придавать тщательную отдѣлку каждому изъ своихъ произведеній, но среди множества написанныхъ имъ стихотвореній есть вещи весьма замѣчательныя и такія, которыя не скоро будутъ забыты. Особенно хороши всѣ переложенія Мея изъ Библіи, которую онъ превосходно зналъ, и всѣ произведенія, заимствованныя изъ нашей русской старины, которую Левъ Александровичъ постоянно изучалъ со страстью и умѣлъ прекрасно понимать. Первое мѣсто въ ряду подобныхъ произведеній занимаетъ, безспорно, „Псковитинка“ Мея — драма въ стихахъ, заимствованная изъ псковской вѣчевой жизни. Вслѣдъ за нею заслуживаютъ упоминанія и другіе пересказы древне-русскихъ преданій, напр.: „Пѣсня про боярина Евпатія Коловрата“, „Пѣсня про княгиню Ульяну Андреевну Вяземскую“, „Спаситель“, „Александръ Невскій“ и „Преданіе — отчего перекрестили вѣяны на Святой Руси“.

Къ сожалѣнію, слишкомъ усиленная и напряженная литературная дѣятельность, выражаемая постоянною борьбою съ тяжелою нуждою, быстро истощила здоровье и силы Лева Александровича, который не прожилъ

въ Петербургѣ и десяти лѣтъ: — онъ скончался 16-го мая 1862 г. на сорокъ первомъ году жизни. Смерть застала его за работою надъ однимъ изъ его произведеній, которое онъ диктовалъ уже больной, лежа въ постели.

Совсѣмъ особнякомъ, въ сторонѣ отъ всѣхъ поэтовъ новаго періода русской литературы, стоитъ Теодоръ Ивановичъ Тютчевъ, который, по рожденію и воспитанію, прямо долженъ быть отнесенъ къ плеядѣ Пушкинскихъ поэтовъ, а по своей поэтической дѣятельности всецѣло принадлежать къ богатому литературнымъ талантами періоду 1850—1870 г.г.

Теодоръ Ивановичъ родился 23 ноября 1803 г., въ родовомъ Тютчевскомъ имѣніи. с. Овселегъ (Орловской губ., Брянскаго у.). Біографъ его остроумно замѣчаетъ, что Тютчевъ „родился въ одинъ годъ съ поэтомъ Языковымъ, пять лѣтъ спустя послѣ Дельвига, четыре года послѣ Пушкина, три послѣ Баратынскаго“ — и тѣмъ указываетъ, что онъ легко могъ быть сверстникомъ нашего великаго поэта... Но судьба его сложилась такъ странно, что онъ приобрѣлъ себѣ поэтическую нѣвѣстность уже въ старости и то совершенно случайно, потому что самъ никогда не заботился ни о какой нѣвѣстности.

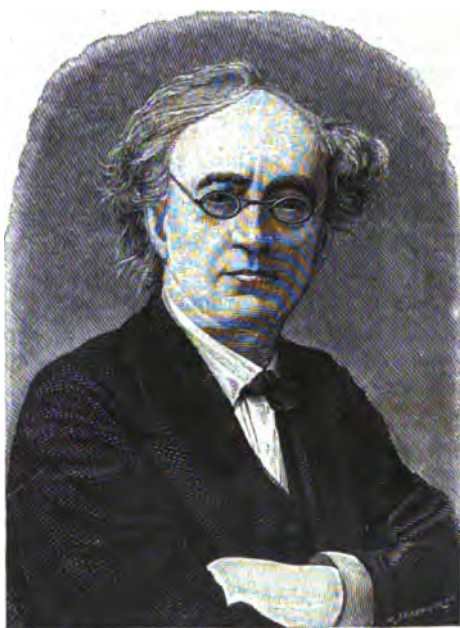
Родъ Тютчевыхъ принадлежалъ къ стариннымъ дворянскимъ родамъ. Предки Теодора Ивановича упоминаются въ лѣтописяхъ и при Дмитріи Донскомъ, и при Іоаннѣ III. Отецъ Теодора Ивановича, Иванъ Николаевичъ Тютчевъ, женился на Екатеринѣ Львовнѣ Толстой, которая была воспитана въ домѣ родной тетки своей, графини Остерманъ. „Затѣмъ“, — по словамъ біографа — „Тютчевы поселились въ своей орловской деревнѣ, на зиму перѣзжали въ Москву, гдѣ имѣли собственныя дома и подмосковную, — однимъ словомъ, зажили тѣмъ нѣвѣстнымъ образомъ жизни, которымъ жилось тогда такъ привольно и мирно почти всему русскому зажиточному досужему дворянству, не принадлежавшему къ чиновной аристократіи и не озабоченному государственною службою“. При этой домашней обстановкѣ и въ домѣ Тютчевыхъ, какъ въ домѣ родителей Пушкина, господствовала французская рѣчь, которая употреблялась не только для разговоровъ, но и для обширной родствен-

ной переписки; точно также, какъ и въ домѣ Пушкиныхъ, преобладали французы-губернѣры и учителя... И только уже тогда, когда Ѳеодору Ивановичу минулъ десятый годъ, къ нему въ воспитатели былъ приглашенъ С. Е. Райчъ, знавшій переводчикъ Виргиліевыхъ „Георгикъ“, Тассова „Освобожденнаго Іерусалима“ и Аріостова „Неистоваго Орланда“. Райчъ оказалъ большое влияние на умственный и нравственный ростъ своего питомца и внушилъ ему любовь къ русской словесности. При его содѣйствіи 14-ти-лѣтній мальчикъ Тютчевъ уже настолько ознакомился съ древними историками, что весьма недурно перевелъ стихами одно изъ посланій Горация, за что и признанъ былъ даже „сотрудникомъ“ Общества Любителей Россійской Словесности. Въ томъ же 1818 г. Ѳ. И. Тютчевъ поступилъ въ Московскій университетъ, а въ 1821 г., когда ему еще не исполнилось 18-ти лѣтъ, онъ сдалъ отлично выпускной экзаменъ и получилъ кандидатскую степень.

Вступая въ жизнь безпечнымъ юношей, Тютчевъ и не думалъ ни о какой карьерѣ; но его родные за него позаботились объ устройствѣ ся, и въ 1822 году отправили его въ Петербургъ, для опредѣленія на службу въ Иностранную Коллегію. Однако же въ Петербургѣ онъ оставался не долго: его родственникъ, графъ Остерманъ-Толстой, увезъ его съ собою за границу и опредѣлилъ сверхштатнымъ чиновникомъ въ Русской дипломатической миссіи въ Мюнхенѣ.

Съ тѣхъ поръ, въ теченіи 22-хъ лѣтъ, Ѳ. И. Тютчевъ не возвращался въ Россію и бывалъ въ ней только наѣздомъ для свиданія съ родными. Сначала онъ служилъ въ Мюнхенѣ, потомъ былъ назначенъ старшимъ секретаремъ посольства въ Туринъ; потомъ вышелъ въ отставку и жилъ опять въ Мюнхенѣ. И только уже въ 1844 году онъ окончательно вернулся въ Россію и безвыѣздно въ ней поселился. Нѣкоторые недоразумѣнія, по которымъ Тютчевъ оставилъ службу въ Туринѣ, быстро уладились, едва только онъ появился въ петербургскомъ высшемъ обществѣ, которое тотчасъ оцѣнило его умъ, его таланты, его огромное образованіе и неисчерпаемую начитанность. „Тютчеву были возвращены“,—говоритъ его биографъ,—„всѣ служебныя права и почетныя званія и повелѣно было состоять по особымъ порученіямъ

при государственномъ канцлерѣ“... „Передъ нимъ открылись настежь всѣ двери — и дворцовъ, и аристократическихъ салоновъ, и скромныхъ литературныхъ гостиныхъ: всѣ наперерывъ желали залучить къ себѣ этого русскаго выходца изъ Европы“... Всѣхъ поражаало въ Ѳ. И. Тютчевѣ въ особенности то, что онъ, проживъ 22 года за границей, дважды женатый на иностранкахъ, сумѣлъ сохранить на себѣ весь своеобразный складъ русскаго ума и характера, и при всемъ уваженіи къ Европѣ — остался русскимъ и по



Ѳ. Тютчевъ.

сердцу, и по страстной, пламенной любви къ Россіи.

Въ 1844 г. Тютчевъ былъ опредѣленъ старшимъ цензоромъ при Особой Канцеляріи Министерства Иностранныхъ Дѣлъ и поадите (какъ мы уже о томъ упоминали выше, на стр. 349) утвержденъ въ званіи предсѣдателя комитета иностранной цензуры.

Чрезвычайно любопытна исторія поэтической дѣятельности Тютчева! Первое печатное стихотвореніе его появилось, какъ мы видѣли, въ 1818 году; послѣдующія, юношескія стихотворенія были имъ помѣщаемы

нѣрѣдка въ альманахахъ 20-хъ годовъ ¹⁾. Затѣмъ, по настоянію одного изъ своихъ мюнхенскихъ пріятелей, Тютчевъ послалъ Пушкину нѣсколько своихъ произведеній, и Пушкинъ, оцѣнивъ ихъ по достоинству, напечаталъ ихъ въ своемъ „Современникѣ“ 1836 г. подъ общимъ заглавіемъ: „Стихотворенія, присланныя изъ Германіи“—и за подписью Ѳ. Т. Эти стихотворенія обратили на себя общее вниманіе, но имя автора ихъ никому не было извѣстно до начала 50-хъ годовъ, когда, наконецъ, И. С. Тургеневъ уговорилъ Ѳ. И. Тютчева напечатать всѣ его стихотворенія. Поэтъ, по его настоянію, предложилъ редакторамъ „Современника“ (Панаеву и Некрасову) право на печатаніе сборника его стиховъ, который и вышелъ въ свѣтъ въ 1854 г. „Съ того времени“,—замѣчаетъ біографъ—„положеніе Тютчева, какъ поэта, измѣнилось: къ нему обращались съ просьбою о сотрудничествѣ, и стихотворенія его стали появляться безъ большихъ перерывовъ, въ разныхъ современныхъ изданіяхъ“.

Сборникъ стихотвореній Тютчева былъ встрѣченъ всѣми съ восторгомъ, и оцѣненъ по достоинству. Стихотворенія Тютчева читались и заучивались наизусть и пріобрѣли такую же извѣстность въ русскомъ обществѣ, какую нѣкогда пользовались только

стихи Пушкина. Такія пьесы, какъ: „Конченъ ниръ, умолкли хоры“. „Не разсуждай, не хлопочи...“, „Слезы людскія“, „Пошли Господь свою отраду“. „Дума за думой“, „Эти бѣдныя селенія“, „Умомъ Россіи не понять“—сразу высоко поставили имя Тютчева, какъ поэта, и сдѣлали его дорогимъ для каждаго русскаго! Извѣстный писатель нашъ И. С. Аксаковъ, написавшій подробную біографію Тютчева, прекрасно опредѣлилъ достоинство его поэтическихъ произведеній:

...„Что особенно плѣняетъ въ поэзіи Тютчева,—это ея необыкновенная грація, не только внѣшняя, но еще болѣе внутренняя. Все жесткое, рѣзкое и яркое—чуждо его стихамъ; на всемъ художественная мѣра; все извѣсти внутри, такъ сказать, обѣяно нащепствомъ. Самое вещество слова какъ-бы теряетъ свою вещественность, какъ-то одухотворяется, становится прозрачнымъ. Мыслью и чувствомъ трепещетъ вся его поэзія! Его музыкальность не въ одномъ внѣшнемъ гармоническомъ сочетаніи звуковъ и римъ. но еще болѣе—въ гармоническомъ соотвѣствіи формы и содержанія“.

Всѣми любимый и уважаемый поэтъ, достигнувъ глубокой старости, скончался 15-го іюля 1873 г., въ Царскомъ-Селѣ, и погребенъ въ С.-Петербургѣ, въ Новодевичьемъ монастырѣ



¹⁾ Только одно, превосходное произведеніе Тютчева—было напечатано въ „Молтѣ“ 1835 г. а именно: Silentium.

14 DAY USE
RETURN TO DESK FROM WHICH BORROWED
LOAN DEPT.

This book is due on the last date stamped below, or
on the date to which renewed.
Renewed books are subject to immediate recall.

**INTER-LIBRARY
LOAN**

OCT 24 1966

JUN 21 '67 -11 AM

MAY 9 1967 5 2

LD 21A-60m-10.'65
(F7763a10)476B

General Library
University of California
Berkeley

YD 18599

